Александр Бек

1

Александр Бек

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1974

Александр Бек

Собрание сочинений
в четырех томах

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1974

Александр Бек

Собрание сочинений

•

Том первый

Повести и рассказы

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1974

Р 2
Б 42

Редакционная коллегия:
Н. ЛОЙКО, М. КУЗНЕЦОВ, А. РЫБАКОВ

Вступительная статья
М. КУЗНЕЦОВА

Комментарии
Т. БЕК

Оформление художника
М. ШЛОСБЕРГА

Б $\frac{70302\text{-}315}{028(01)\text{-}74}$ подписное

А Бек

ПЕВЕЦ ТАЛАНТОВ

(Александр Бек, жизнь и творчество)

I

Бесспорно, что Александру Беку в истории советской литературы принадлежит свое, по праву завоеванное место. Бесспорно и то, что перед нами художник своеобразный, яркий, оригинальный. Но, помимо этих высоких оценок, нужно сказать еще одно: творчество Бека уникально. Писателя подобного творческого метода у нас сейчас нет.

Всемирно известное «Волоколамское шоссе» открывается автохарактеристикой: «В этой книге я всего лишь добросовестный и прилежный писец». А много лет спустя А. Бек закончит свой автобиографический очерк «Страницы жизни» лирическим признанием: «Есть у меня еще одна мечта. Хочется тряхнуть стариной, вновь прийти, как бывало, в «Кабинет мемуаров» (восстановим ли мы когда-нибудь его?!), стать штатным «беседчиком», жадно внимающим рассказам бывалых людей».

Признанный мастер прозы, замечательный художник, имеющий своего умного, родственного по духу читателя,— и вдруг «писец», «беседчик». Сразу надо отказаться от подозрения на «литературную позу»,— Бек был жестоко, беспощадно правдив и в книгах и в жизни.

Тогда, быть может, перед нами художественный прием? В известной степени — да! Но и нечто большее, ставшее второй натурой писателя. Тут вся суть в индивидуальности пути — через «писца» и «беседчика» — к художнику. Но обязательно — «через».

Отвечая на вопрос литературоведческого журнала о том, как помогают ему в работе записные книжки, Бек сказал: «Пользуюсь не только записными книжками, но и (да будет мне прощена неуклюжесть выражения) «записными чемоданами» и даже «записными шкафами».

Откуда они, столь громоздкие спутники писательской работы Бека? От «Истории заводов», «Кабинета мемуаров» — известных горьковских начинаний 30-х годов. В те памятные годы Горький мыслил себе только что созданный Союз писателей как некий

коллективный орган по изучению и художественному освоению только что нарождавшейся социалистической нови. Задуман был труд «Люди двух пятилеток», и при нем был создан «Кабинет мемуаров» — специально подготовленные литераторы-«беседчики» записывали стенографически рассказы выдающихся строителей социализма. Одним из таких «беседчиков» стал Александр Бек.

«В качестве основы для каждой своей вещи беру историю, действительно случившуюся в жизни. Такая история определяет план произведения. Характеры героев тоже пишу с натуры, досконально изучая, исследуя реальные человеческие судьбы. Свободу писателя-художника обретаю лишь после такого изучения и не стесняюсь тогда строить воображаемые, вымышленные сцены, в которых стремлюсь острее и ярче пересказать историю, уже как бы прочитанную мною в жизни». Так скажет Бек о себе уже зрелым автором в 1962 году. Но, начав столь своеобразно в 30-е годы, он останется верен этим принципам на всю жизнь.

Художественная литература о реальных людях и событиях носит название документальной прозы. Автор художественно-документального произведения не волен по своему произволу ни убить своего героя, ни сберечь от смерти, не может ни женить его, ни порой — даже влюбить: все заранее предопределено жесткими рамками реальной биографии. В этих «заданных» границах писали авторы «Чапаева» и «Педагогической поэмы», «Повести о настоящем человеке» и многие другие. Но оригинальность Бека не в том, что он писал художественно-документальную прозу — ее писали и пишут многие писатели. Можно, правда, сказать, что Бек писал только и исключительно документальную прозу, и никакой другой. Кроме того, он писал исключительно о талантах, будь то доменщики, хозяйственники, политики, военные, создатели моторов... Певец талантов — так он сам сказал о себе.

Оригинальность Бека, повторяю, не в обращении к документальной прозе, а в особом качестве ее, оригинальность и своеобразие — в особом творческом методе. Обратимся к истории создания первого произведения А. Бека — повести «Курако». Но сначала — несколько слов о том, что ей предшествовало.

Александр Альфредович Бек (1903—1972) родился в Саратове в семье военного врача. Четырнадцатилетним подростком, окончившим реальное училище, его застала Октябрьская революция, а в шестнадцать лет он добровольцем уходит в Красную Армию. В том же 1919 году юноша Бек стал сотрудником дивизионной газеты. Слово «сотрудник» надо понимать так: он был наборщиком, выпускающим, корректором, непременным автором и «заве-

дующим всеми отделами». Военная многотиражка стала первой литературной купелью будущего писателя.

Затем — годы работы на заводе и учебы, заметки в «Правде», подписанные псевдонимом «Ра-Бе» (что значило «рабочий Бек»), жаркие выступления в кружке рабочей литературной критики. А потом Бек сам становится литературным критиком-профессионалом. Он печатается много и часто в центральных изданиях.

Этих критических статей нет в собрании сочинений — и нет справедливо. Они не только не прибавляют ничего к творческому облику писателя, а скорее уводят в сторону. Критика была в его жизни боковой тропкой. Если сегодняшний читатель Бека откроет в старых комплектах газет эти статьи, не поверит, что они написаны автором «Волоколамского шоссе» и «Жизни Бережкова», позже получившего название «Талант». Я вспомнил об этом эпизоде литературной биографии писателя потому, что Бек в считанные месяцы сумел переломить себя и из сухого критика, проработочно-начетнического толка, стал своеобразным художником.

А произошло это так: Бек с друзьями критиками по группировке «Литфронт» попал сам под очередную «проработку» (это было накануне ликвидации РАППа). Недавно еще грозного критика перестали привечать в редакциях. И в это время только что созданная редакция «Истории заводов» предложила Беку включиться в литературную бригаду, которая уезжала в Сибирь писать историю Кузнецкстроя.

Да, именно — в бригаду... Тогда в ходу были такие решительные намерения: создается административным путем бригада литераторов, каждый пишет свой раздел будущей книги, есть еще, кроме этого, старший писатель, который не столько пишет, сколько руководит и держит связь с «верхами», наконец, есть еще «железные» и «плановые» сроки, в которые надо сдать рукописи. Обращать внимание на какие-то «вдохновение», «муки творчества», взыскательность художника категорично не рекомендуется... Впрочем, это не удивительно, потому что первоначально возглавлял все это бывший руководитель РАППа Леопольд Авербах, прямо-таки обожавший командные методы в литературе. Истины ради, надо отметить, что скоро с администрированием в работе «Истории заводов» было покончено. Но начиналось именно так.

Впрочем, об этом ярко рассказал сам Бек в автобиографической книге «Почтовая проза», которую по аналогии с его романом «Жизнь Бережкова» можно было бы назвать «Жизнь Бека», так как она является своеобразным мемуарным романом о том, как Бек из критика стал прозаиком и в каких муках создавалась его первая повесть «Курако».

На «Почтовой прозе» стоит задержаться, ибо она многое приоткрывает в творческой лаборатории писателя.

Вместе с другими писателями Бек приезжает в Кузнецк. Вокруг кипит и грохочет (по выражению И. Эренбурга) «день второй» социалистической революции. День первый — это революция и гражданская война, день второй — начало 30-х годов, когда страна взялась за создание народного социалистического хозяйства. Происходящее подчас кажется библейским хаосом: пришли в движение миллионные массы, вокруг — кричащие противоречия, но движение вперед к поставленной цели неудержимо. И направляют это движение — люди. К ним-то и обратился будущий прозаик.

А начинает он с бесед. Вместе со стенографисткой ловит будущих героев своих книг и просит рассказать все — всю жизнь. Постепенно рождается методика бесед.

«Я делаю обычно так: пусть человек сначала расскажет в хронологическом порядке все, что он знает, здесь я сравнительно мало перебиваю его вопросами, а возникающие у меня вопросы записываю для памяти, чтобы поставить их потом. Следующий этап — более подробное выяснение разных интересных *эпизодов*. Следующий — ты просишь обстоятельно рассказать об интересующих тебя *лицах*, выспрашивая разные подробности, случаи, черты характера, штришки, причем непременно добивайся конкретизации... И, наконец, следующий этап — твои вопросы касаются разных *проблем*: вопрос быта, организации труда, организации общественной жизни... И обязательно опять эпизоды, штришки, детали, детали и детали.

Таким образом, ты переворачиваешь, перелопачиваешь весь материал несколько раз и получаешь все, что человек может дать».

Виктор Шкловский сказал: «Бек вскрывает людей, как консервные банки».

О том, насколько трудоемка эта — в сущности глубоко предварительная! — работа, свидетельствует, скажем, тот факт, что только одна стенограмма бесед с металлургом Гулыгой составила несколько сот страниц. А когда Бек сдавал часть своих бесед в редакцию «Люди двух пятилеток», то у него оказалось 172 стенограммы. Среди них 22 стенограммы бесед с академиком Бардиным и 4 стенограммы бесед с его матерью; 5 стенограмм бесед с И. Межлауком и т. д. Достаточно представить себе, сколько духовных и нравственных сил должен вложить «беседчик» только в одну беседу, чтобы понять, какой поистине титанический труд проделан Беком на пути к своему герою.

Знаменательно, что процесс этот был обоюдным: писатель шел к своим героям и искал такую форму общения с ними, чтобы те раскрылись перед ним с наибольшей полнотой, но и наиболее проницательные из героев тоже ждали писателя, который пришел бы к ним и запечатлел образ эпохи для грядущих поколений.

Так, например, когда Бек пришел на беседу к известному хозяйственнику-строителю Степану Дыбецу, и после взаимного прощупывания растаял лед недоверия, хозяин показал писателю вырезку из своей статьи в «Правде» за 1922 год, где были следующие строки: «Придет ли когда-нибудь он (будущий историк революции.— *М. К.*) к нам, участникам великого переворота, который совершается в самых глубинах жизни, попросит ли нас, пока мы живы: свидетельствуйте перед историей?»

Пять месяцев на площадке Кузнецкстроя продолжалось это, как выразился сам Бек, «перелистывание людей». Росли сотни, тысячи страниц, но это была далеко еще не книга, не литература, а только пусть и очень ценная, но руда, которая еще должна пойти в переплавку. Главные сражения были впереди — за письменным столом. Беку предстояло пройти мученический путь «писательского вуза» наедине с рукописью. Не раз, изнемогая от адского труда, помарок, бесчисленных вариантов, он воскликнет о себе: «писака-мученик!»

В дневнике найдешь немало безжалостных самооценок: «У меня талант журналиста», «на свое воображение я не полагался», «я, не имеющий, вероятно, почти никакого художественного таланта, хочу воспитать, вырастить, развить это в себе»... И после этой самоуничижительной фразы сказано с уверенностью: «Я знаю, что это осуществимо. Нужно лишь зверское упорство. Нужны годы непрерывной, неустанной, ежедневной работы. И я на это иду».

«Курако» и писался с этим «зверским упорством». Впрочем, совсем не «Курако» — писалась «История Кузнецкстроя», распределенная между тремя литераторами. Однажды, находясь у академика Бардина — тогдашнего строителя и главного инженера будущего Кузнецкого завода, Бек услышал — «Константиныч»: о нем говорили с предельным уважением.

— Кто этот Константиныч? — заинтересовался Бек и получил неожиданный ответ: «Это был наш доменный поп. Позови он — и за ним люди босиком пошли бы... Михаил Константинович Курако. Лучший русский доменщик. Помер здесь в тысяча девятьсот двадцатом году».

Рассказы о Кузнецкстрое, которые записывала бригада писателей, были и рассказом о пути Курако — ведь многие из главных

создателей Кузнецкстроя считали себя верными учениками Курако. Так уж вышло, что Беку «достались» первые главы «Истории Кузнецкстроя», а с ними и Курако... Но писалась не история личности, а история дела — завода. В силу ряда обстоятельств (смерть писателя Н. Смирнова, входившего в бригаду, организационные неполадки, заушательские статейки в местной прессе и т. п.) «Истории...» не получилось как всеобъемлющего коллективного труда. Но в главах, написанных Беком, уже было «нечто».

Тогда-то и родилась идея — напечатать их самостоятельно — как повесть о Курако. Из «Истории Кузнецкстроя» родилась повесть. Повесть-кентавр.

В самом деле — приглядимся к ее композиции. Первая глава — о Курако, о начале его трудовой карьеры на домнах Юга. Зато вторая глава совсем не связана с первой, это — история возникновения акционерного общества Копикуз. Вот это и будут два главных героя, которым автор попеременно отдает свое внимание. В третьей главе мы вновь вернемся к жизни Курако. Четвертая глава — снова история Копикуза, однако в конце главы появится Курако, приглашенный работать в Кузнецк. Пятая глава — некое вторжение документа в чистом виде — подряд идут правительственные телеграммы, хроника событий 1918 года, газетные сообщения. И в центре по-прежнему история Копикуза. Шестая глава снова «дело», и лишь в самом конце ненадолго появится Курако. Зато седьмая и девятая главы отданы целиком Курако, и лишь маленькая восьмая главка — некий эпилог Копикуза. Теперь если мы еще узнаем, что автор хотел вначале назвать повесть «Копикуз», то появление такой повести-кентавра станет понятным.

История Копикуза — акционерного общества копей Кузбасса — рассказана автором с завидной увлекательностью: идея, которая вызвана к жизни насущнейшей потребностью — страна задыхается без железа, остроумно изображенные поиски капитала и союзников в «высшем свете», наконец, драматизм событий гражданской войны, вплоть до прихода Красной Армии в Кузбасс... Все это, конечно, публицистика, но публицистика художественная, высокого класса, написанная экономно и выразительно.

Этого, однако, мало для понимания своеобразия первой повести Бека. В истории Копикуза нас захватывает умение писателя так изобразить ситуацию, что она как бы «беременна» новой, будущей ситуацией. Бек владеет искусством повествования, но, кроме этого, он привлекает точностью портретов своих героев, особенно — главных. История Копикуза — это еще и история характеров, и прежде всего его инициатора — инженера Кратова. Сын

адмирала, студент Горного института, в молодости считал себя социал-демократом и вообще самым левым из левых. Поклялся, что никогда не будет директором. Он стал начальником горно-спасательной станции, которая быстро превратилась во вседонецкую знаменитость, а руководитель прославился еще и личным мужеством. В 1905 году Кратов — издатель журнала «Труд техника и инженера» социал-демократического толка. Затем... Затем печальной памяти год 1908-й, время отступничества от революции, столыпинских реформ и казней, богоискательства, моды на декадентство... Кратов женится на светской красавице, становится директором рудника, делает блестящую карьеру. И вот он уже крупный предприниматель, директор-учредитель Копикуза. Человек бешеной энергии, разносторонне талантливый, честолюбивый и властолюбивый, в какой-то (пожалуй, даже значительной!) степени развращенный капитализмом, но наделенный крепкой деловой хваткой. Он не только сам талантлив, но и ловец талантов. Он привлек к работе знаменитого профессора Лутугина — мировую геологическую величину и всех его талантливых учеников, он же привлек и Курако.

«Стык» истории Курако и истории Копикуза — талант. Ибо повесть — о таланте и талантах. Бек, быть может, не вполне сознавая, нащупал в первом же своем опыте художественной прозы, выражаясь словами О. Берггольц, свою — «Главную книгу»: поэзию таланта. Ведь и позднейшие книги Бека, в сущности, все о талантах. Иных героев у него нет. Причем не частная жизнь таланта, как то нередко бывает, не талант в быту, а талант в сфере своего проявления — инженерный, изобретательский, военный.

Появление Курако в повести эффектно. 1899 год, Юг России. Только что пущенная доменная печь погибла. «Она холодна, неподвижна, она — труп». Ни директор завода-француз, ни иностранцы-мастера не в силах ее воскресить. И вдруг является «мокрый и грязный человек». Это — горновой Курако. Директор высокомерно обращается к нему на «ты». Горновой столь же дерзко говорит «ты» директору, но предлагает воскресить домну. И он ее воскрешает. Подглавка кончается энергичной фразой: «Юг узнал фамилию горнового. Это был Курако».

Затем сжато и динамично рассказана первая часть его биографии — бегство из дома и гимназии, начало работы на металлургических заводах, продвижение по огненной лестнице доменных профессий: подручный, каталь, «верховой», «тигр», горновой. И одновременно — университет жизни: тут же на заводе перенимает у мастеров-иностранцев их опыт, овладевает английским, поглощает одну за другой современные (прежде всего зарубежные) труды по металлургии.

Во всей этой почти пунктиром намеченной биографии Курако выступает ведущая черта: неистовая одержимость делом. Состояние души? — Горение! Он уже не только знает досконально домну, не только может вылечить ее от самых страшных «болезней», но и проектирует свою, более совершенную печь. Весьма парадоксально он доказывает иностранным хозяевам, что уже стал первоклассным доменщиком. Владелец Юзовки — англичанин Бальфур приехал из-за моря на завод, пришел к домне и вместо обычной суеты, грохота, грязи застал спокойствие, тишину, спящего у печи единственного дежурного. Вызванный для объяснений Курако ответил: если рабочие спят, значит, печь идет отлично.

Он стал самым знаменитым русским металлургом Юга России. Вот его-то честолюбец Кратов и завербует в Кузбасс. Но это уже канун революции. Настало время иного строительства — всей социальной жизни страны. Теперь бы только и работать, но тиф скосил Курако. И даже перед смертью Курако бредит новыми доменными конструкциями.

Повесть получилась конспективно сжатой, временами все ограничивалось конденсированной информацией, но из энергичного повествования вставала фигура страстная, одержимая — воистину отчаянный доменщик.

Был найден характер — неповторимый и безмерно привлекательный. Была воскрешена славная страница отечественной индустриальной истории.

Наконец был найден свой стиль. Известные уже в то время писатели Виктор Шкловский и Борис Агапов, ознакомившись с черновиками его первой повести, поразились их обилию. Бек не жалел себя, вырабатывая из себя прозаика. И при всем несовершенстве первой повести у нее есть все черты индивидуального стиля Бека-художника. Его язык не украшен необычными метафорами, в нем не встретишь находок местных речений. Его сила и своеобразие в другом — в ясности мысли, в умении четко и обозримо нарисовать суть проблемы, вокруг которой сталкиваются мнения, фраза его кратка, подчас афористична, «ударна». Это стиль интеллектуальной, думающей прозы, героем которой является человек ищущего ума, таланта. Главный конфликт — столкновение идей. Действие развивается стремительно, в первой повести, быть может, излишне быстро, пожалуй, надо бы больше задержаться на душевных переживаниях героя.

Каков же итог первого литературного опыта Бека?

Перед нами документальная проза в ее наиболее «чистом» виде: каждая сцена, каждая деталь характера могут быть автором документально подтверждены. Они взяты из свидетельств совре-

менников, из тех бесчисленных бесед, которые Бек вел с людьми, знавшими его героев. Одна из глав — искусный монтаж из официальных документов и газетных вырезок тех лет. (Автор как бы подчеркивает, что «не полагается на свое воображение».)

Характер найден в жизни, из жизни же он и пересажен в книгу, как дерево из леса... Кто же автор? — Фотограф, «беседчик», «писец». Бек, видимо, в какой-то мере разделяет это мнение.

А на самом деле?

Художественно-документальная проза сродни портретной живописи. Ни с чем не сравнимо очарование героя, о котором знаешь, что он жил на самом деле и рассказанное о нем — чистейшая правда. И однако... Пушкина писали с натуры и Кипренский и Тропинин — он и похож на обоих портретах, и разный... Натура одна, но преломляется в глазах разных художников по-разному.

Хорошо сказала Л. Гинзбург: «Документальная литература», в том числе и мемуарная, не пересаживает готовый характер; как всякая художественная литература, она его строит».

Бек тоже строил характер своего Курако. Пусть в первой повести это не совсем, не до конца осознано самим автором. Над соотношением в документальной прозе факта и вымысла, или, как позже скажет Бек, «Внимания и Воображения», писатель будет размышлять на протяжении всей жизни.

И в первой повести, хотя Бек и старался быть только «писцом», он был и художником.

Во-первых, выбор героя. Уже здесь начинается принцип художественного отбора, притом отбора индивидуального. Дело не только в том, что избран тип яркий, самобытный. Бек сразу же нашел фигуру, которая станет характерной для всего его последующего творчества.

Во-вторых, образ Курако возникает не только из «объективного» документа, ведь рассказы о нем современников («беседы») — это уже субъективный отбор рассказчиками того, что им кажется главным. В-третьих, Бек тоже отбирает нужный ему материал.

Наконец — последняя и важнейшая стадия — за письменным столом. Здесь действует жесткий закон отбора («ничего лишнего!»), здесь возникает сама логика развития художественного образа, подчиняющая себе повествование, здесь рождается индивидуальная художественная структура. И не только индивидуальная — тут обнаруживаются черты господствующего в данное время художественного мышления.

Поясним. Жизнь Курако обрывается в 1920 году, за десятилетие до того, как автор приехал на строительную площадку Кузнецкстроя, так поразившую его воображение. В повести Бека явст-

венна эстафета, переданная Курако своим ученикам, людям 30-х годов, строителям первых пятилеток. На повести лежит отчетливый отпечаток литературной эпохи тех лет. То было время, когда литература открыла новый поэтический материк — тему труда и творчества. Время, когда страна стремительно рванулась вперед, а писатели, разъехавшиеся по разным краям и новостройкам, искали неповторимую художественную форму, чтобы запечатлеть бег времени, пульс или, точнее — темп эпохи. Появляются романы, поэмы, повести, полные стремительного действия и героических характеров преобразователей, тех, кто за несколько лет совершил революцию в нашей индустрии. Таковы герои, таков весь дух «Соти» Л. Леонова и «Дня второго» И. Эренбурга, «Время, вперед!» В. Катаева и «Людей из захолустья» А. Малышкина, «Танкера «Дербент» Ю. Крымова и «Энергии» Ф. Гладкова. В тесном художественном родстве с этими книгами — «Курако» А. Бека.

Начав с повести-портрета, писатель останется верен этому жанру и впоследствии.

Большинство героев Бека — наши современники, и этим они особенно привлекательны для нас. Мы пристально вглядываемся в изображенные художником черты, в этот особый сплав правды жизни и правды искусства. Но здесь же для писателя в осуществлении его замыслов таятся подчас трудно преодолимые сложности. Ведь Онегин не мог прийти с претензией к автору, а вот живой прототип — совсем иное дело. Не случайно в повестях Бека появятся псевдонимы: иногда прозрачные Луговик-Луговцов; иногда и нет: так инженер Макарычев — это академик Бардин.

По мере проникновения в мир и проблемы отечественной металлургии Беком овладевает все сильнее мечта: «отдать годы труда роману о доменщиках, принести, подарить читателю этот еще неведомый литературе мир — мир новых характеров, рожденных новым веком». Трудится он неистово, буквально отказываясь ото всех радостей жизни. В дневниках скупо сообщается: «У меня трудовая, однообразная жизнь провинциала,— нигде не бываю, кроме как на беседах, ничем не развлекаюсь. Работаю, как пчела». И немного позднее: «Утром просыпаюсь — в голове роман, иду по улице — роман, засыпаю — роман. Огонь горит непрестанно».

В задуманном Беком романе «Доменщики» поначалу предполагаются три части — «Юзовка» («Ночь»), «Гулыга», «Война». Но роман не получается, он распадается на цикл повестей. Первая из них — «События одной ночи». Она явилась как бы дополнением к «Курако». Дополнением и уточнением.

То, что повесть «Курако» была неким литературным кентав-

ром, чувствовал и сам автор. В его дневниках тех лет читаем: «Я показываю его (Курако.— *М. К.*) несколько узко, почти исключительно как доменщика. Надо больше показать как человека — человека большого кругозора и большой души».

Думаю, что Бек правильно поступил, не разрушив свою первую повесть «Курако»,— она по-своему хороша. Но главный герой, требовавший дополнений, получил дальнейшее свое развитие в «Событиях одной ночи». Так, некоторые факты биографии Курако рассказаны здесь более подробно: детство, «война» с директором гимназии, бегство на завод, первая любовь, женитьба... То, что выглядело конспективно в первой повести, здесь изображено крупным планом и как бы приблизилось к читателю.

Но стиль тот же, что и в первой повести, его можно назвать парадоксально-романтическим. Курако необычен и все время неожидан. К примеру, такая, казалось бы, бытовая деталь. Вот он в доменном цехе, в своей будке обер-мастера: «Курако тридцать пять лет. Он разглядывает свое обнаженное тело — не начало ли оно сдавать. Вприпрыжку он пробегает несколько шагов, переворачивается — и вот... он стоит уже вниз головой, упершись в пол руками. На руках он идет к умывальнику, в воздухе двигаются сапоги, подбитые железными гвоздями. У раковины Курако вскакивает на ноги; лицо его покраснело, волосы упали на коричневый лоб: рывком головы он их откидывает назад, они торчат непокорными вихрами.

Горстями он плещет на себя холодную воду, прыгает и покрикивает, как в лесу».

Эксцентрично? Несомненно!

И Курако будет не раз ошеломлять читателей буйной, что называется, былинной — буслаевской мощью своего неукротимого характера. Курако ставит перед собой цель механизировать обе печи. Управляющий-немец благодушно отклоняет проект: «Зачем вам это нужно?.. Русский лапоть — самая дешевая механизация». Взбешенный Курако бросает: «Когда лаптем бьют по морде». Так будет не раз — Курако дерзок, неудержим, страстен — в поступках и мыслях. Да, Бек рисует портрет «доменного попа», а может точнее — доменного протопопа Аввакума!

Есть тут и существенное противостояние двух характеров: Курако и Крицына. Крицын — многосторонне одарен, увлекается астрономией, ботаникой, металлургией, к тому же — директор-распорядитель крупнейшего на Юге России металлургического завода, преуспевающий делец, любимец женщин. Баловень судьбы, и... кладбище талантов. «Бывший доменщик» — скажет о нем Курако. Так возникает уже в одной из первых повестей проблема

ответственности таланта, волновавшая Бека всю жизнь, проблема трагедии таланта, попусту растратившего себя.

Вошли в повесть и новые характеры, которые скоро станут героями произведений Бека,— юный Максим Луговик (Луговцов), только начинающий свой путь доменщика («Я буду вашим Санчо Пансо»,— восторженно говорит он Курако), его отец — старый мастер Влас Луговик. Они уже теснятся в писательском воображении, просятся на бумагу — люди огненной профессии.

Уже здесь, в ранних повестях Бека, обнаруживается редкий дар писателя: с поразительной ясностью говорить о сложных технических проблемах. Вы можете абсолютно ничего не знать о доменном процессе, но все вам станет предельно понятным в таком, к примеру, деле как искусство правильного шлакообразования при выплавке чугуна и других подобных «премудростях», когда вы прочтете одну-две страницы «Событий одной ночи». Нужно отметить и другую особенность его таланта — умение необычайно живописно, драматично, с большой экспрессией изобразить то, что сухо именуется специалистами — «специфика труда». А впоследствии и в изображении войны, полководческого искусства в романе «Волоколамское шоссе» и рождения новых идей, в конструировании мотора в романе «Талант».

Один из зачинателей темы социалистического труда в нашей литературе Федор Гладков в «Цементе» слагал некие гимны труду, патетичные и пафосные: «строгая и крылатая музыка металла», «шкивы крылато струились и трепетали», «песни электропередачи», «струнно пели колеса». Так, используя арсенал старой поэтики, рожденной применительно совсем к другому предмету искусства, Федор Гладков передает поэзию индустриального труда.

Немного позднее — в начале 30-х годов писатели обратятся к иной поэтике — тут будет и крайняя экспрессия, и сопоставление с военным подвигом.

«Люди падали, отказывались есть, спали на земле, у самых кулиг, дрожа от жесточайшей вони, убитая саранча продолжала воевать своим смрадом. Люди шатались в уме: осатаневшего Чусара Каяклы посетила безумная мысль: взрывать саранчу динамитом, а старший рабочий сухрыкульского отряда стрелял в летящую саранчу из нагана». Это — «Саранча» Л. Леонова.

«Механизм бетономешалки внешне напоминает осадное орудие. Гаубицу. Мортиру. Он стоит на маленьких литых колесах.

Поворачивающийся барабан — орудийный короткий ствол.

Ковш — лоток с бомбами...

Вся машина выкрашена в защитный зеленый цвет».

Это «батальная» проза В. Катаева в романе «Время, вперед!».

Каждый из отрывков по-своему прекрасен.

А вот как Бек описывает аварию в цехе:

«В это мгновение страшный взрыв потрясает будку. Оконные стекла, выбитые сотрясением воздуха, со звоном разбиваются об пол. Крицын вскакивает, Курако стремглав выбегает из будки. Им обоим знаком этот грохот. Звук взрыва жидкого чугуна несравним со звуком грома или орудийной пальбы. Этот звук никогда не забывается, и его никогда нельзя спутать ни с каким другим. Кажется, будто огромные массы вещества раздираются на мельчайшие составные части, разрываются в космическую пыль. Крицын смотрит в окно. Печи закрыты, как занавесом, взметнувшейся пеленой песка, снизу освещенной красным. Раздается новый удар. Багровая пелена разрывается крутящимися вихрями, в просветах виднеется пламя».

Бек подчеркнуто отказывается от сравнения с привычными или батальными образами: «звук взрыва жидкого чугуна не сравним со звуком грома или орудийной пальбы». Автор предметно конкретен, он призывает воспринимать доменную металлургию не по аналогии, а во всей ее индивидуальной неповторимости. Пусть это не так много, но мир, открываемый писателем, блещет собственными, а не заимствованными красками...

А ведь это только дебют начинающего прозаика.

«Литературная газета» отмечает удачу автора. Бек записывает в дневнике, что Иван Катаев дал «Событиям» высокую оценку. Но это не значит, что автор достиг совершенства. Ему справедливо указывали на избыток эксцентрики в изображении Курако, дешевой красивости (светские женщины, черная роза и т. д.).

Нет, работы впереди — непочатый край. «Записные чемоданы» растут и растут. «Хватит лет на шестьдесят»,— говорит Бек. Появляются все новые повести — все о том же — о доменщиках.

Своеобразной прелестью наивного, бесхитростного рассказа от первого лица выделяется «Влас Луговик».

У повести подзаголовок — «Тетрадь, найденная в Донбассе». Это не литературный прием, столь часто эксплуатировавшийся писателями разных времен. Беседуя с известным доменщиком и ученым Максимом Луговцовым, Бек узнал, что у него сохранился дневник отца. Из этих тетрадок Власа Луговика и родилась эта повесть, вся дышащая безыскусственной правдой.

Она как бы ожерелье из коротеньких новелл с простодушными заглавиями — «Еще один случай», «Рассказ бабушки», со столь же наивно трогательными концовками — «Конец этому рассказу». Бережно, с большим художественным тактом передана колоритная речь рассказчика:

«Жили мы совсем дико, пугали сами себя ведьмами и другими анекдотами. В зимнее время деревня — это склад бактерий и заразы. Вся скотина в хате — овцы, и свиньи, и телята, и люди — все в одном помещении. Зима лютая, надо сохранить скотину от мороза.

Одежда наша была совсем простая: белая свитка, белая шапка, белая подпояска, белые лапти и белые опорки — словом, все белое, краски совсем не понимали. Потому и название — Белоруссия, что значит — белая Россия».

В художественной литературе такое повествование носит название — «сказ». Образ рассказчика — в центре, он характеризуется разными приемами и весьма немаловажную роль играет его речь («сказ»), ибо из своеобразия говора и возникает прежде всего художественный образ. Бек мастерски справился со своей задачей. Тут совсем иная повествовательная манера, нежели в «Курако». Парадоксальность, эксцентричность, пронзительная непохожесть героя на окружающих — всего этого нет. Нет и прежней «бойкости» повествования. Наоборот, очарование повести — в простоте рассказа, стремлении раскрыть своего героя изнутри.

Влас Луговик — это во многом типичная биография сына русского рабочего класса, который столь бурно начал расти к концу минувшего столетия. Власу Луговику было уже за 50, когда он встретился в 1910 году с Курако, в ночь, описанную во второй повести Бека. Он — из гвардии советских доменщиков, но, добавим, из старой гвардии. Беку существенно важно проследить преемственность поколений своих героев — Курако и его учеников, старых рабочих — типа Власа Луговика, Ивана Коробова и их сыновей.

Возникает и новая художественная задача: «Сейчас я стараюсь вообразить, что чувствуют, что переживают мои герои... В «Курако» я принципиально от этого отказывался, давал только то, что доскопально было мне известно (во всяком случае, сознательно придерживался этого принципа)»,— свидетельствует автор.

У него есть еще и другое произведение того же цикла и того же типа, что и «Влас Луговик»,— «Записки доменного мастера».

Об истории этого произведения Бек рассказал в опубликованном уже после его смерти своеобразном романе — «На своем веку». Это как бы продолжение «Почтовой прозы»: Бек повествует в нем о том, как он познакомился с знаменитой «династией Коробовых» — старым доменным мастером («дедом», как его называли в домашнем кругу и на заводе) Иваном Григорьевичем, его сыновьями — представителями новой, советской интеллигенции, ставшими видными хозяйственниками и учеными...

Характерно, что в «Записках доменного мастера» А. Бек показывает нам своего героя многогранно, изнутри, не только в своем

артистическом труде, но и во всех подробностях обычной жизни. Очарователен и трогателен рассказ о том, как молодой парень Иван Коробов нес в мешке свою будущую жену: «Она только что приехала из деревни, в поезде ее обокрали, и из обуви у нее остались только валенки. А грязь стояла страшная. Я попросил ее пойти со мной к Марфуше, а ей надеть нечего.

Я говорю:

— Садись в мешок.

Она пожалела меня и согласилась. Я посадил ее в мешок и понес, она голову из мешка высунула и за плечо мое держалась. Добрая была».

Примечательно, что влюбленный в своих героев, Бек нигде искусственно не приподымает их, наоборот, как правило, они просты, естественны (исключение, конечно, Курако), написаны с подкупающей, а местами и жестокой правдивостью. У них есть важная родовая черта, при всем богатом индивидуальном разнообразии — это характеры народные, вышедшие из его гущи, что называется коренные и тем безмерно привлекательные.

В короткий предвоенный промежуток (с 1933 по 1941 год) Бек прошел большой путь становления художника. После многих жестоко самокритичных признаний в письмах и дневнике он однажды запишет и такое: «Да, пожалуй, мне дано, хотя, кто знает, в какой мере чувствовать, схватывать характерное. Без этого вся технология, все ее тонкости — безусловно, для меня нужные, необходимые — немного бы стоили».

В самый канун войны вчерне окончен большой роман о доменщиках — «Инженер Макарычев», где прототипом главного героя был академик Бардин. Но во время пожара на даче, в 1942 году, сгорели все материалы, черновики, рукописи, в том числе и роман «Инженер Макарычев».

Подобная же судьба постигла позже написанный роман «Волоколамское шоссе» с той только разницей, что после пожара Бек боялся оставлять рукопись дома, но забыл ее в электричке, и она бесследно исчезла. Пришлось писать роман заново.

Роман о металлургах не увидел света, но повести о них стали писательской любовью на всю жизнь. Бек со временем все расширяет и расширяет круг героев — создателей советской тяжелой индустрии, станового хребта нашей экономики. Бардин, Коробов, Луговцов, Серго Орджоникидзе, Тевосян, Гвахария, а также герои послевоенного восстановления. Им изображены все эпохи — гражданской войны, первых пятилеток, Отечественной войны, после-

военного периода — вплоть до 50-х годов. Героическая и драматическая история советской металлургии нашла в Беке своего художника — летописца. Уже одно это делало Бека видной фигурой в современной литературе.

III

Однако главные произведения были еще впереди.

Бек любил повторять слова Луи Пастера: «Удача приходит только к тем, кто полностью к ней подготовлен». И последующие годы подтвердят это.

О «Волоколамском шоссе» автор этих строк узнал следующим образом. Был конец 1944 года, войска нашей армии, в газете которой я работал, стояли под Ломжей, какая-то сотня километров отделяла нас от Германии. Меня послали с редакционным заданием в одну из дивизий, только прибыл, сразу же вызвали к генералу.

— Скажите,— спросил генерал,— можно ли в типографии армейской газеты срочно издать вот это. Я бы эту книжку раздал каждому офицеру своей дивизии и заставил бы изучить как боевой устав.

Это было «Волоколамское шоссе», напечатанное в сдвоенном номере журнала «Знамя». Генерал дал мне его на ночь, и я залпом и с восторгом прочитал повесть.

Примечательно, что генерал долго расспрашивал о Беке и в заключение сказал: «Бек, конечно, профессиональный военный, ставший писателем, он или полковник, или старше...» А. Бек был тогда, оказывается, красноармейцем, как и в 1919 году.

Странное дело — но тоже на фронте, двумя годами ранее, когда я читал бойцам «Теркина», они меня в один голос уверяли, что Твардовский не подполковник, а старшина, ибо только старшина, по их мнению, мог так досконально знать психологию солдат.

За время войны в нашей литературе появилось довольно большое количество военно-художественной прозы. И главное — в ней было немало превосходных вещей (А. Толстого, Шолохова, Леонова, Симонова, Гроссмана, Горбатова и др.). Однако «Волоколамское шоссе» выделилось из всех, ибо это была повесть не только о героизме, но еще и о военном таланте.

Думаю, что из всех литератур мира — у нас сегодня самая богатая военная проза о минувшей войне. Но и на фоне этого исключительного богатства не меркнет и поныне своеобразие и неповторимость «Волоколамского шоссе».

Прежде чем перейти к анализу «Волоколамского шоссе», в том числе и двух позднее написанных повестей о генерале Пан-

филове, хочется обратить внимание читателя на менее известный, но по-своему превосходный очерк «День командира дивизии», опубликованный впервые под названием «Восьмое декабря».

Александр Бек через две недели после начала Отечественной войны вступил добровольцем в народное ополчение, в Краснопресненскую стрелковую дивизию. Он испытал и марш из Москвы под Вязьму, и воинскую учебу в окопах Резервного фронта, занявшего оборону за Сычевкой, по Днепру и Вазузе, и удар гитлеровских армий в начале октября сорок первого... «Бравый солдат Бейк», как звали его однополчане, не забудет пережитого никогда. В том же октябре сорок первого он был отозван из ополчения. Но вскоре Бек опять на фронте — теперь уже в качестве военного корреспондента журнала «Знамя». Во время сражения под Москвой — он на Волоколамском направлении. «Восьмое декабря» — его корреспондентский отчет.

Все в нем схвачено точно: вечер 7 декабря, чуть более 30 километров от Москвы, в нескольких километрах от станции Снегири, где находится противник... Маленький домик, в котором разместился штаб 9-й гвардейской дивизии и ее командир — генерал Белобородов. Сюда приезжает корреспондент Бек. На шесть утра назначено наступление. Как его описать? Решение писателя до поразительности просто: быть рядом с генералом и дать стенограмму боя — буквально по минутам.

А родилось произведение с характерной для Бека загадочной непростотой: ибо здесь, в этом очерке, уже заложено зерно будущего «Волоколамского шоссе».

Читателям не известен заранее план операции. Все раскроется в процессе повествования — и план советского командования, и его реализация, и план противника. Запомнится сразу внешний облик Белобородова — приземистая фигура, широкоскулое лицо с небольшими круглыми глазами, явно бурятского типа, и в противовес этому — чистый сочный русский говор. Сам Белобородов скажет о себе — «иркутская порода». Он стремительно двигается, мгновенно переходит от смеха к серьезности, порывист. Бек заметит: «Какой быстрый...» Примечателен его диалог с писателем:

— Только чур,— сказал Белобородов,— не привирать. Писать правду.

— Это, Афанасий Павлантьевич, самое трудное па свете!

— А все-таки дерзай!

Позднее, в «Волоколамском шоссе», мы вновь встретимся с беспощадным требованием правды.

И действительно, в данном очерке главное, что привлекает читателя,— безупречно правдивый рассказ.

«5.59,— пишет Бек,— через минуту заговорит артиллерия». Проходит минута, и две, и семь — все тихо. Наконец с опозданием на восемь минут звучит первый залп. На этом неожиданности не кончатся. Ночью разведка побывала в селе Рождествено, немцев не обнаружила, а небольшую группку их прогнала в лес. Странное дело — Белобородов не в восторге от доклада разведчиков: он ждет подвоха от гитлеровцев. Днем это подтвердится: едва его полк ворвался в Рождествено, как по нему внезапно ударили сидевшие в засаде немцы: наши откатились. Затем прервется успешно начавшееся наступление на станцию Снегири.

Что же — это очерк о неудаче? Нет! Об искусстве полководца, о том, как все подчас неожиданно складывается на войне и талант военачальника раскрывается в преодолении этих неожиданностей. Перед нами не только мастерски записанная стенограмма боя, но и стенограмма кипучей, напряженнейшей работы мысли генерала Белобородова. Главная тема очерка — творчество. Военное тврчество. «Иногда измучаешься, пока найдешь решение,— признается в редкую минуту затишья генерал Беку.— А ведь бывает, что надо решать мгновенно. И за одну минуту столько переживешь, будто вихрь через тебя пронесся».

И Бек невольно сравнивает Белобородова и с Бардиным, и с доменщиками Коробовыми, и с другими своими героями. «Это люди творческой страсти — одержимые, влюбленные и беспощадные».

Победа, которая достигнута к утру 8 декабря, рождена мужеством и стойкостью советских солдат, рождена и умом, творчеством, вдохновением военной мысли наших военачальников. Мысль становится равноправным героем военной прозы.

Заканчивая очерк о Белобородове, писатель уже подумывал «о повести, рисующей сражение под Москвой». «Я еще не знал,— писал Бек,—где и как найду главных героев, не знал, какие эпизоды изберу сюжетом, но, чувствуя себя, по сказанному позже слову поэта, «грядущего собственным корреспондентом», был убежден, что обязан изложить хотя бы и не могучим пером страницы мировой истории, в которые мне даровано было заглянуть».

Этот военный роман (по существу, цикл повестей или даже так: роман в повестях!) писался с перерывами — без малого 20 лет — с начала сорок второго по шестидесятый год.

«Волоколамское шоссе» (первые две повести), появившееся еще во время войны, обрело неслыханную популярность, сначала в стране, потом далеко за ее пределами. Книгу перевели на многие языки, о ней охотно и увлеченно писали критики разных стран.

Есть в творческой истории «Волоколамского шоссе» одна любопытная деталь, которая иной раз ускользает от внимания; а дело

в том, что Бек никогда не видел живого генерала Панфилова, которому посвятил столько страниц. В Восьмую гвардейскую дивизию имени Панфилова Бек впервые приехал не под Волоколамском, а много позднее — в феврале 1942 года, после гибели генерала, когда панфиловцы стояли под Старой Руссой.

В дивизии писателя поразила яркая самобытная фигура командира полка казаха Момыш-Улы. «Резкий, властный сын Востока» захватил его воображение, и Бек снова стал «беседчиком» и около месяца прожил в полку, записывая рассказы о генерале Панфилове и боях под Москвой.

Он приезжал еще несколько раз к панфиловцам. А роман «Волоколамское шоссе» написал, по сути, дважды — мы уже упоминали о потере первого варианта рукописи.

Значение «Волоколамского шоссе» заключается в том, что героем у Бека стал острый военный ум, писатель раскрыл перед читателем талант советских полководцев.

В повести четко, достоверно, с бековским умением схватывать характерное переданы детали фронтового быта, динамика и драматизм сражения, психологическое состояние человека в бою — все то, что составляет главные достоинства образцов советской военной прозы. Но все это отображено с определенной и даже, я бы сказал, с единственной позиции: мы видим происходящее глазами командира, мы присутствуем при осуществлении (или срыве!) творческих замыслов офицера. С первых страниц мы входим в этот мир военной души, даже точнее,— военно-профессиональной души, мир требовательности, самовоспитания, тактических замыслов, единоборства с разумом и волей противника. Мы так и остаемся замкнутыми в этом мире до конца повести. В этом есть известная ограниченность. Но зато и сосредоточенность и цельность! Все подчеркнуто направлено к одному — передать психологию советского офицера, решающего боевую задачу.

До бойцов, занявших на подмосковных рубежах оборону, доведена мысль: «не умирать, а жить». Солдат зарылся в землю, сделал окоп, настелил накат, как ему кажется, прочный и надежный. Момыш-Улы — командир батальона в те дни — прострелил слабенький накат. Солдат понял и переделал накат. Теперь все построено прочно, можно ждать врага. Эффективный воспитательный прием, не правда ли? И сам Момыш-Улы доволен собой как офицером, воспитателем и как военачальником, занявшим оборону.

Боец настроен ждать врага. Вот она, серьезная ошибка Момыш-Улы. «Плохо, товарищ Момыш-Улы» — так и называется глава. Плохо сидеть и ждать — ты отдаешь всю инициативу врагу. А у тебя к тому же необстрелянные солдаты — и ожидание не за-

каляет, а расслабляет их. Надо пойти навстречу врагу, надо хоть раз поколотить фашистов. Это решение подсказано генералом Панфиловым, но оно и развязка долгих мучительных раздумий героя, оно вытекает из этих раздумий.

Думать, думать, думать — вот он, внутренний мотив героя, мотив всей книги. Скрытый, сложный, противоречивый, мучительный и по-своему радостный процесс мысли — предмет художественного исследования.

«Лежа на койке, я видел, как противник, преодолев в несколько часов двенадцать — пятнадцать километров незащищенной полосы, которая в тот момент все еще отделяла нас от немцев, выйдет к берегу Рузы, к нашим укрытиям. Встретив сопротивление и обнаружив линию обороны, он, под покровом ночи, скрытно сосредоточит где-нибудь в лесу,— в пункте, который сам выберет,— ударную группу, подтянет артиллерию и затем, вполне изготовившись, поставив войска по излюбленному способу — клином, рванется вперед на узком фронте — на пространстве в полкилометра или в километр. А каждый километр нашего батальонного района прикрывается лишь одним стрелковым взводом и одним отделением пулеметчиков».

Слишком много военных деталей, перегрузка профессиональной терминологией? Но какая ясность изложения, как зрима картина, обрисованная автором. Следом идет воображаемый мысленный поединок с неведомым немецким командиром.

Параллельно в те же годы над подобной же художественной задачей работали и В. Гроссман («Народ бессмертен»), К. Симонов в своих очерках и другие писатели. Для Бека, однако, это была не одна из задач, решаемых военным прозаиком,— а главная, центральная. Уже в «Дне командира дивизии» он поставил в центре единоборство двух военных интеллектов. «Волоколамское шоссе» — дальнейшее развитие этого генерального замысла писателя.

Мысленное единоборство Момыш-Улы с немецким офицером полно внутреннего драматизма. Тут и красота и щегольство мысли, ее диалектичность, мучительные поиски и радостное нахождение решения, и беспощадная правда реальности и крах иллюзий.

«Чутье подсказывало: ты угадал, ты добрался до его черепной коробки. В мозг хлынула ненависть. Презираешь? Скучаешь? Погоди, мы заставим тебя думать!»

Плохой писатель вот на этом бы и закончил «единоборство» — дальше следовал бы эффектный рассказ о реализации замысла.

«А пока... Пока от него, «профессионала-победителя», уже не изволящего утруждать себя мыслью, надо ждать действий по ша-

блону. Таковой известен. Преодолев в несколько часов двенадцать — пятнадцать километров незащищенной полосы и сбив наше боевое охранение... Пришлось усмехнуться. Проникнув в черепную коробку врага, я не очень продвинулся: я пришел, описав круг, к тому, с чего начал».

Все непросто, все полно неожиданностей. Уж, казалось бы, на что простое понятие «шаблон», он всегда «известен» — а так ли это на самом деле? Момыш-Улы, размышляя, все время употребляет шаблонные понятия: «сбив», «прорвавшись», «подавляя»... А все ли тут бесспорно?

И вот встреча с Панфиловым, после только что успешно проведенного боя на соседнем участке. Адъютант генерала радостно отвечает на вопрос комдива, как встретили врага:

— Грудью встретили, товарищ генерал.

Этот лихой, сработанный по привычному шаблону ответ вызывает глубокое недовольство генерала: «Эка сказанул: грудью. Вот доверь такому чудаку в военной форме роту, он и поведет ее грудью на танки. Не грудью, а огнем! Пушками встретили!» Ответ — принцип, ответ — позиция, ответ — характер. Были ведь не только лейтенанты, а и генералы, водившие роты «грудью» на танки,— их еще во время войны зло изобразил в пьесе «Фронт» А. Корнейчук.

Панфилов — генерал ума, прежде всего. «Беречь (солдат.— *М. К.*) не словами, а действием, огнем»,— поучает он Момыш-Улы. А когда последний вновь по шаблону скажет, что готов умереть со своим батальоном на оборонительном рубеже, Панфилов опять строго поправит: «Не торопись умирать, учись воевать».

Теперь понятно, почему встреченный мной под Ломжей генерал хотел учить своих офицеров по «Волоколамскому шоссе».

Панфилов же и поправит ход мысли Момыш-Улы, переспросив комбата: почему вы так упорно считаете, что противник, «сбив» боевое охранение, пойдет дальше... Почему сбив? А если — наоборот — навязать ему, противнику, встречный бой из засады? Не отдавать даром ни одного рубежа? Выскальзывать из попыток окружения и создавать некую гибкую, постоянно возрождающуюся на зимних дорогах вражеского наступления оборону? Так рождается идея панфиловской «спирали», которую талантливо будет осуществлять Момыш-Улы...

Панфилов все больше вызывает любовь читателей и не лихим героизмом, а прежде всего своим воинским дальновидением. Бойцы копают окопы. «Чем?» — спрашивает Панфилов. «Как чем? — изумляется собеседник,— лопатами». И слышит неожиданный совет: «Умом надо копать». Генерал предлагает ложные позиции, учит

хитрить, обманывать врага и в разговоре с солдатами подчеркнет свою излюбленную мысль: «Солдат умом должен воевать».

Диалектика военной мысли стала в повести основой основ и действия и логики развития характеров главных героев. Этому подчинена и композиция, и сюжет, и своеобразная поэзия повести. Рождение нового тактического плана обороны — это кульминационный пункт и радостное творческое открытие. В свое время Алексей Толстой верно заметил, что зритель в театре должен быть «сопереживателем» происходящего на сцене — тогда и возникает чудо театрального искусства. Читатель становится сопереживателем творческого плана разгрома врага — вот «чудо», происходящее в повести «Волоколамское шоссе».

В произведениях о войне — главный, неукротимый, жгучий интерес читателя вызывает внешнее действие. И в «Волоколамском шоссе» много драматичнейших внешних действий, мы как бы переживаем вместе с батальоном его страдный путь отхода к Волоколамску, полный боев, схваток, подвигов. Есть тут и проблема страха, проблема поведения человека в первом бою, проблема чести и долга, и другие, столь же важные. И все же центр тяжести перенесен во внутрь героя, причем не просто в мир его души, а в мир его командирской мысли, тех незримых драм и трагедий, что происходят только в мозгу.

Вот один из подобных моментов. Фронт прорван. Что делать? Какое принять решение? Прежде всего — есть ли сосед слева? Есть — немцы. А справа? Тоже противник.

«Я смотрел на карту, слыша, как тикают часы, как уходят секунды, чувствуя, что уже нельзя смотреть, что уже надо действовать. Но, перемогаясь, я заставлял себя стоять, склонившись над картой. О, если бы вы смогли описать эту минуту,— эту минуту, которая дана была мне, командиру, чтобы принять решение!»

Драматизм минуты — он в трагичности фронтовой ситуации, но одновременно и в напряженности мысли, ибо от того, найдет ли командир в считанные секунды решение, озарит ли его свет неожиданной находки, продиктованной разумом, зависела жизнь и его самого, и людей его батальона.

Всем памятен «Чапаев» Дмитрия Фурманова — бессмертный роман о гениальном самородке-военачальнике гражданской войны. Много важнейших характерных черт героя запечатлел Фурманов. Но, когда речь заходила о работе военной мысли Чапаева, тут романист умолкал, Бек смело перешагнул рубеж, перед которым в раздумье остановился Фурманов.

Бек словно бы сказал — «там, где кончается прежний военный роман, там я начинаю» (перефразируем известный афоризм Ю. Ты-

нянова о документе). Тайники человеческого мозга стали полем действия романиста. Сражение идей и вовне, но идей и внутри — в мозгу героя. Так, пожалуй, о войне еще не писали.

Но художественное открытие Бека не есть его личное «изобретение». Оно подготовлено всем предшествующим развитием советской литературы. В романах Леонова, Шагинян, Эренбурга, Ильина, Малышкина, в повестях Крымова и других авторов предстал перед нами новый герой — строитель социализма, творец, созидатель. Писатели смело проникали в глубь психологии такого человека. Это делал Бек в своих предвоенных повестях о доменщиках. «Волоколамское шоссе» впитало в себя все лучшее, что было завоевано советской литературой в этом плане. «Волоколамское шоссе» оказывало и оказывает благотворное воздействие на развитие советской военной прозы. Но на двух повестях «Волоколамского шоссе» не кончилась военная проза Бека.

Создание повестей о панфиловцах растянулось почти на двадцать лет. И сегодня надо говорить о всем цикле.

Читатели осаждали Бека вопросами: почему он не пишет продолжения «Волоколамского шоссе»! Бек отмалчивался.

Шли годы, писатель работал над другими произведениями, уже появился начатый до войны роман «Жизнь Бережкова»; на письменном столе возникали рукописи с новыми творческими замыслами, а «Волоколамское шоссе» все еще не продолжалось.

Видимо, не пришло еще время для исследования всех моментов творческой истории некоторых произведений Бека — живы многие современники, чьи судьбы в той или иной степени в них затронуты, и необходимые каждому исследователю чувства такта и деликатности не позволяют торопиться.

Но вот об одном и притом, как нам кажется, существенном факте в творческой биографии Бека следует сказать. Речь идет об известной эволюции взглядов писателя на документальную прозу вообще и роль в ней художественного вымысла, в частности.

Судя по дневникам и письмам самого Бека в 30-е годы, и в особенности во время написания повести «Курако», он занимал крайние позиции: считал обязательным точно следовать оригиналу, писать только то, что подтверждено документально (в том числе беседой), не позволяя себе никаких отступлений от этих принципов. Но уже тогда, ощутив известную ограниченность своей позиции, он начнет от нее отступать — «домысливая» своих героев, обращаясь не только к свидетелям, а и к собственному воображению, которому еще недавно отказывал в доверии.

«Волоколамское шоссе» (первые две повести) писались в соответствии со старыми принципами, которые Бек отстаивал в них

с особым рвением, как то бывает тогда, когда сам изобретатель принципов вынужден убеждать в их справедливости не только других, а и себя самого. Отсюда «писец», стремление к «зеркальной» точности в изображении героя.

Однако логика художественного творчества уже входила в процесс создания повести. Момыш-Улы из «Волоколамского шоссе» был не только портретом (и всего менее — фотографией). Возникал характер, созданный художником. Более того, мне кажется, что с этим героем происходило то самое, что в истории литературы носит название «бунта героев». Общеизвестны признания Пушкина (о Татьяне), Льва Толстого (об Анне Карениной), равно как и других художников о том, что созданные их талантом характеры неожиданно выходили из повиновения, начинала действовать доселе скрытая от самого автора логика художественного образа, подчас расходившаяся с первоначальным авторским замыслом.

Да и сам Бек в 1959 году в своей маленькой исповеди «На крыльях» признается, что образ Момыш-Улы, который командовал батальоном панфиловцев в дни битвы под Москвой, «родился под пером» и в немалой степени вымышлен и создан фантазией.

И после этого признания, освободившись от скованности «документом», «фактом», он словно обретает два крыла: «Внимание и Воображение». На них он и полетел во фронтовой блиндаж сорок первого года, продолжая повесть о своем герое.

И вот в 1960 году появляются «Несколько дней» и «Резерв генерала Панфилова».

Действие начинается с того, чем кончалось «Волоколамское шоссе»: 26 октября сорок первого года, домик, где остановился Панфилов на окраине Волоколамска, который вот-вот займет противник.

Война — всегда неожиданность, неразгаданность. Притом — каждый ее исторический период неповторим и до крайности своеобразен. У Бека — сражение под Москвой, оно, и только оно — его герой. Вся неповторимость той осенне-зимней битвы воскрешена писателем с пронзительной четкостью. Сейчас есть уже немало отличных книг об этой битве, и все же повести Бека читаются с неослабленным вниманием и радуют остротой и свежестью художественного взгляда на происходящее.

Конечно, новые повести развивали уже найденное, и поэтому некоторая утрата новизны несомненна. Возникала боязнь — не есть ли перед нами лишь количественное увеличение написанного?

Этого не случилось, и если внимательно вчитаться в новые повести, то можно заметить принципиально важные и существенные черты.

Они, на мой взгляд, в перенесении центра тяжести с Момыш-Улы на генерала Панфилова. Более того, возникает даже и некоторое противостояние этих фигур, причем авторский идеал отдан «неказистому, негромогласному» генералу Панфилову, ибо он — «генерал реальности», «генерал правды». Добавим еще — генерал сердечности... И, наоборот, несколько критичнее стало отношение автора к тому, кем он часто любовался в первых двух повестях, подчеркнем, к литературному герою — Момыш-Улы.

Еще в первых повестях Панфилов деликатно, но настойчиво учил воинскому мастерству, полководческому мышлению Момыш-Улы. И все же энергичный, беспощадный, волевой Момыш-Улы не только вел за собой действие, но нередко и заслонял, говоря кинематографическим языком, «весь экран». В новых повестях он тоже отважен, умен, находчив, решителен, и количественно ему отведено страниц куда больше, чем Панфилову. Но роль Панфилова стала виднее, его значение во всей системе образов — сильнее.

В первых повестях порой коробила читателя некая, что ли, деспотичность в характере комбата, его пристрастие к крайним мерам, суровость, переходящая временами чуть ли не в жестокость (случай с Брудным, который со своим взводом нанес большие потери немцам, но не удержал дорогу)... Впрочем, в первых повестях автор стремился оправдать эту жестокость характера героя суровостью обстоятельств. В новых повестях — и автор и Панфилов более строги к этому герою.

Заев — отважный командир роты, неожиданно растерялся в бою. Момыш-Улы непреклонен: расстрелять. Ни один офицер батальона не поддерживает решение командира. С трудом они уговаривают Момыш-Улы не вершить суд и приговор на месте, а отправить провинившегося в трибунал. Тем временем о случившемся узнал Панфилов. Однако, приехав в батальон, он (щадя авторитет командира) и вида не подает, что знает о происшествии. А между тем мягко, тактично, но недвусмысленно осуждает поступок своего любимца с таким расчетом, чтобы Момыш-Улы сам понял свою неправоту, сам исправил сделанное в горячке.

А ведь рядом был и другой пример. Автор не раз столкнет Момыш-Улы с генералом Звягиным. Тот как раз сторонник крутых мер. Звягин скажет ему: «Подтягивать, карать, никому не давать спуску, это... Это, старший лейтенант, наша с вами доля». Странное дело, Момыш-Улы сам чуть не попадает под карающую руку Звягина, и только вмешательство Панфилова выручит его.

Панфилов в этом отношении противостоит и Момыш-Улы, своему воспитаннику, и Звягину — своему начальнику. Противостоит не как «добренький» — нет, он строг и требователен,— он проти-

востоит им как начальник, верящий в людей, дающий подчиненным возможность полностью проявить себя.

И тут весьма показательны две сценки «со значением».

Первая — это встреча Панфилова с Момыш-Улы, после того как в батальоне его случилось некое происшествие. Отступая, батальон несколько дней голодал, а когда наконец дорвался до пищи — начались желудочные заболевания. Никого из врачей и фельдшеров не оказалось — они увезли раненых,— но было лекарство — опий. Момыш-Улы распорядился дать его людям, но по незнанию приказал дать «лошадиную дозу» и чуть не погубил весь батальон. Случайно все обошлось. Теперь, пригласив Момыш-Улы к себе, Панфилов демонстративно наливает ему и себе по пятнадцать капель и провозглашает тост: «Чокнемся за то, чтобы точно отмерять. Вы меня поняли?» Точно отмерять — в самых разных ситуациях Момыш-Улы не хватало именно этого.

И еще: у Панфилова появилась трофейная зажигалка, загоравшаяся, однако, с трудом. Генерал просит ее починить, и это делает лейтенант Заев, к тому времени, что называется, реабилитированный. Секрет прост — бензин плохой, и зажигалку надо предварительно согреть в руке. Итак, тепло человеческих рук, тепло сердца — вот что требуется. «Любопытно»,— задумчиво говорит Панфилов. А позднее, когда генерал Звягин в горячке отстранит от командования Момыш-Улы, Панфилов подарит капризную зажигалку Звягину, подарит «со значением».

Панфилов выступает носителем добра, мужественной человечности. Существенная черта! Вспомним, однако, что повести эти писались в эпоху уже иную, о которой поэт сказал, что теперь «народ добрее, к себе помягче стал». Такой чуткий писатель, как Бек, не мог не откликнуться на дух времени.

Генерал Панфилов — интеллектуальный центр произведения. «Неотступное думание» — вот что сопровождает его как неизменный рефрен. Процесс «неотступного думания» был намечен в первых двух повестях. Теперь он раскрыт художником глубже, многограннее и при этом — сердечнее.

Думаю, что генерал Серпилин из романа К. Симонова «Живые и мертвые» или Бессонов из романа Ю. Бондарева «Горячий снег» — это прямое развитие тех традиций, что были заложены А. Беком в созданном им образе генерала Панфилова.

Сегодня часто пользуются термином интеллектуальная проза, когда речь идет о произведениях, изображающих драму идей, поэзию мысли. Проза Бека, и в частности, военная проза,— это тоже проза интеллектуальная, ее герой — полководческая мысль, пластично воплощенная в образе советского генерала Панфилова.

Проза Бека одновременно и интеллектуальна и пластична, ибо герой и диалектика его мысли изображены во всей конкретной предметности их бытия, в кипении неотступного творчества.

IV

«Несколько дней» и «Резерв генерала Панфилова» созданы в послевоенный период. То было время особо интенсивной творческой работы писателя.

Конечно же, он не мог не вернуться к своим любимым доменщикам — им посвящены «У взорванных печей», «Тимофей — Открытое сердце», «Новый профиль».

Была продолжена работа и над романом, начатым еще до войны,— о конструкторе авиационных моторов.

Бек сам рассказывал о происхождении этого произведения. В 1936 году в авиационной катастрофе погиб Петр Баранов, видный деятель партии, начальник Советских Военно-Воздушных Сил, затем руководитель авиационной промышленности. Было решено создать книгу, посвященную его памяти, с рассказами о нем людей советской авиации и промышленности (в романе Баранов выведен под фамилией Родионов). Беку было поручено собрать материал.

«Закипела милая сердцу работа. Я опять ездил по вечерам на беседы, слушал с раскрытой душой и лаконичного Туполева, и шумного Микулина, и малоизвестного тогда Лавочкина, и еще многих других. Слушал и опять как бы вдыхал живительный, насыщенный ионами таланта, натиска, дерзания воздух».

Роман был начат, назывался «Жизнь Бережкова», автор с упоением писал его, когда в окошко дачи постучал сосед: война!

Если считать с момента, когда автор сел за рукопись, то на роман ушло с перерывами 16 лет — с 1940 по 1956 год. А если прибавить годы бесед — то и все 20.

У романа есть и другое заглавие, которое сейчас стало главным — «Талант» (второе ушло в подзаголовок). В этом заглавии — суть произведения. Ибо роман — о становлении таланта, его метаниях, воспитании, и наконец, ответственности таланта. Читатель заметит одну композиционную несообразность — довольно объемистый роман (в журнале он был несколько сокращен, что порой шло ему на пользу), а действие доведено только до середины 30-х годов. Да и сами 30-е годы занимают, по сути, лишь последнюю часть книги. Между тем в жизни героев, послуживших автору реальными прототипами, к моменту выхода произведения в свет произойдет

масса волнующих событий. Еще бы! — это же будет полное событий двадцатилетие с середины 30-х годов до середины пятидесятых. А. Беку вовсе не всегда требовалась дистанция времени: «Волоколамское шоссе» и военные очерки писались, что называется, «след в след» за событиями.

Но в «Таланте» есть своя закономерность — повествование кончается тогда, когда был создан первый советский авиационный мотор — детище Бережкова. «Жизнь Бережкова» во многом похожа на «Курако» — похож герой — необыкновенный, эксцентричный, фейерверочный; есть тут и мастерский рассказ о «деле» — становлении советской авиационной промышленности. Разница же в том, что первую повесть писал талантливый, но начинающий литератор, а роман «Талант» — мастер. Теперь характер и «дело» слились в органически неразделимое целое. История первого мотора — это и история жизни Бережкова и в какой-то степени — история Советской страны.

Поначалу кажется, что в «Таланте» Бек как бы вернулся к первоистокам — весь роман словно цикл переходящих одна в другую бесед. В сущности, это роман-монолог, изредка прерываемый вежливо-удивленными репликами самого «собеседника».

Но это не ново. Классическая литература знала такую форму и неоднократно с успехом использовала; всем известный «Робинзон Крузо» тому пример. Мы не случайно вспомнили классику — при внешней близости к «чистому факту» — роман Бека явственно построен по законам художественного произведения. «Два крыла» — «Внимание и Воображение», о которых шла речь, когда писатель приступил к продолжению «Волоколамского шоссе», несут автора и здесь.

Ибо все «ультранеобыкновенные истории», «удалые» рассказы, стремительность действия и эффектные развязки, бурная динамика всего повествования, если и имеют первоисточником экспрессивность рассказчика, то в книге они присутствуют, как говорил Гегель, в «снятом» виде. Мы очень легко угадываем за этим стилем автора «Курако», только теперь манера повествования стала гораздо увереннее, продуманнее.

Жизнь Бережкова складывается как бы из цепи петард — каждая история, очередное изобретение — гейзер необычайного. Но вот в этот веселый и внешне как бы беззаботный рассказ ворвалось нечто иное. Словно бы на карнавале прозвучали зловещие шаги командора... По внешности — эпизод проходной, а в глубине — ключевой. У великого Жуковского, отца аэродинамики, собрались участники «Компаса» — комиссии по созданию аэросаней, и любимый ученик профессора Ладошников вдруг отказался рабо-

тать, ссылаясь на занятость собственными изобретениями. А время суровое — 1919 год, Красной Армии позарез нужны эти аэросани. И вот добрейший Жуковский преображается. Он переходит на «вы», голос звучит тончайшим фальцетом: «Талант, милостивый государь,— это обязанность! Обязанность перед народом!»

И хотя все разрешается тут же, Ладошников понимает свою ошибку и приступает к работе, а гневные слова Жуковского не имеют, казалось бы, касательства к Бережкову, но они припомнятся и читателям, и самому Бережкову еще не раз. Ибо есть, есть в главном герое неведомые ему самому «бездны» эгоизма, глухоты к окружающей жизни, к истории, неумения понять истинный масштаб своей личности. И все это станет не раз источником драм в бурной жизни Бережкова. Ошибаясь, подчас зарабатывая от жизни серьезные «синяки», Бережков будет на практике постигать смысл слов Жуковского: «талант — это обязанность!»

И все это не частная подробность биографии героя, не «дежурная» проблема. Нет, это одна из «вечных» проблем, над которыми билась, которые решала литература разных веков и эпох. И, конечно же, в условиях социалистического общества, где одно из фундаментальных требований морали: уметь ставить общие интересы выше личных, проблема ответственности таланта перед обществом, в конечном счете перед человечеством — архиважная!

Обаяние «Жизни Бережкова» в том, что в ней — сверкающий мир многих талантов. Талантлива эпоха. Большинство героев книги — блистательные таланты: Жуковский, Ладошников, Ганьшин, Шелест, Родионов, Орджоникидзе. Здесь властвует поэзия таланта, поэзия неустанного, не знающего отдыха труда, красота самоотдачи, когда творец забывает обо всем, а высшая радость: открытие.

Свой, неповторимый, пафос звучит в подобной картине творческого озарения:

«Приколов большой лист к доске, я тотчас принялся чертить. В экстазе творчества, с пылающими ушами и щеками, абсолютно ничего вокруг не замечая, ни разу не прикоснувшись к резинке, я изобразил все поперечные разрезы машины, перенося ее из воображения на бумагу. В какую-то минуту я взглянул на свою руку, которая держала карандаш. Боже мой, ведь совсем недавно я дал страшную клятву, на днях повторил ее у Ладошникова: «Пусть рука моя отсохнет, если...»

«Нет, она не отсохла...»

Это роман об уникальности, о «неизъяснимой силе» таланта и его безмерной ценности, которой люди обязаны дорожить. Должен дорожить сам талант, не растрачиваясь на мелочи. Должны дорожить все, кто с ним соприкасается. Пусть даже иным талант ка-

жется «стихийным бедствием», ибо он не укладывается в привычные рамки. Но ведь на самом деле талант не бедствие, а великое благодеяние для человечества, могучий двигатель прогресса.

Есть в романе и великолепные ощущения неистового времени, в котором живет герой,— времени, которое подхлестывает его творческую энергию,— «чувствую себя как на локомотиве истории»,— признается Бережков, и это в высшей степени точное признание. Поэма в прозе о таланте — такова «Жизнь Бережкова».

В заключение же вернемся еще раз к двум своеобразным произведениям, о которых уже шла речь, к «Почтовой прозе» и «На своем веку». Эти два произведения, по сути,— один роман о таланте, ибо у обоих — общий герой. Это — мемуарный роман. О себе. О созревании собственного таланта. Или точнее: о мучительном, упорнейшем выращивании этого таланта. О поисках героя эпохи, находящегося на самой быстрине исторического процесса. О драмах за письменным столом, когда надо было обрести свои, а не заимствованные — стиль, язык, метод. О глубочайших сомнениях в своих возможностях, беспощадной критике самого себя.

Взглянем на героя этого мемуарного романа чуть со стороны — что за человека мы увидим? Характер, наделенный воистину стальным мужеством, упорнейший и целеустремленный. Увидим писателя, влюбленного в советскую жизнь, в ее драмы, победы, неудержимо стремительный лет вперед, а главное — в ее людей, в ее таланты, истинные двигатели двигателей. Писателя, безоглядно погружающегося в глубины жизни, как современные акванавты ныряют в бездны океана, открывая все новые его тайны. Человека прямого, «скромнейшего из скромных», всегда и неизменно искреннего, безупречно, фанатично правдивого, присягнувшего до последнего вздоха говорить читателю правду, одну только правду.

«Почтовая проза», «На своем веку» приблизили к нам, читателям, духовный облик создателя «Волоколамского шоссе» и «Жизни Бережкова», осветили его как бы изнутри.

И мы еще раз во всей художественной зримости ощутили, что, певец талантов, Александр Бек сам был первоклассным талантом.

М. Кузнецов

Повести и рассказы

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ

Начало ноября 1919 года. Станция Серебряково на линии Поворино — Царицын. Сеется дождик, мокро блестят груды арбузов на раскинувшемся вблизи рельсов базаре. Поезд дальше не пойдет: изгиб фронта перерезал железную дорогу.

Шестнадцатилетний паренек-красноармеец в зеленых обмотках, возвращающийся из госпиталя в свою дивизию, в свой 198-й Гурьевский полк, шагает от Серебрякова в направлении к Усть-Хоперской, мерит размытые черные проселки, ведущие в глубь донской степи. Наконец после двух или трех дней пути, как раз в канун второй годовщины Октября, он находит штаб дивизии, разместившийся в станице Кумылженской, или, как говорят на Дону, Кумылге.

Комендант направляет его переночевать в какой-то дом. Там обосновались наборщики и печатники дивизионной газеты. Нашлось место и для путника-ночлежника. Он обогрелся, отдохнул, получил полкотелка гречневой каши, щедро приправленной подсолнечным маслом, выпил чаю с белым хлебом. В другой половине дома зашумела-заходила типографская машина. Вскоре юноша в обмотках уже стоял возле нее, так называемой «американки», с интересом смотрел, как рождались экземпляры завтрашней газеты, выпархивали листки, пока с чистой, без оттиска, оборотной стороной. «Американка» приводилась в движение руками: красноармейцы-типографщики поочередно брались за рукоятку, вращали тяжелый маховик. Надо ли говорить, что взялся покрутить и тот, кого приютили на ночь?

Именно в эту минуту вошел курчавый молодой начальник политотдела дивизии, он же и редактор. Его вни-

мание привлек незнакомый красноармеец, последовали быстрые вопросы, выяснилось, что тот вырос в Саратове, в семье военного врача, окончил реальное училище, вступил в Красную Армию добровольцем, уже повоевал на Восточном фронте под Уральском, где раньше находилась дивизия, теперь, выйдя из госпиталя, разыскал ее на юге.

— Вы когда-нибудь писали?

— Писал в реальном сочинения.

— В школьном журнале не участвовали?

— Не приходилось. У нас школьного журнала не было.

— Ну, это не важно. Вот вам задание. Завтра, в день праздника, в станице будет парад гарнизона. Вы это опишите.

— Описать? Я не сумею.

— Сумеете. Сядете к столу сразу же после парада и... И чтоб к вечеру было готово.

Минули сутки. Юноша-саратовец опять крутил маховик «американки». Снова мягко ложились вылетающие из машины небольшие газетные листы. На каждом был оттиснут трехколонник, живописующий парад в Кумылге,— красное бархатное знамя, проплывшее в сопровождении трубачей, мерные шаги пехоты, промчавшиеся пулеметные тачанки, тяжелые колеса орудий, марш кавалеристов, обнаживших на скаку клинки, стрекот двух самолетов, проделавших в честь праздника разные фигуры. Строки, помнится, были столь восторженными, будто дело происходило не в глухой станице, а на Красной площади в Москве. Под тремя столбцами, посвященными параду, стояла подпись «А. Бек»,— моя подпись! — что, разумеется, добавляло сил, когда в поте лица я налегал и налегал на рукоятку.

С того дня меня уже не отпустили из газеты; я стал ее непременным автором, а также корректором, выпускающим, подчас даже наборщиком, заведующим всеми отделами газеты, умещавшейся на развернутом писчем листе, газеты, что всюду сопутствовала своей дивизии.

Так определилась моя первая профессия: труженик газеты.

В дальнейшем я учился, поработал два года на одном из заводов Москвы, ездил каждый четверг с Замоскворецкой окраины на занятия рабкоровского кружка «Правды», нередко встречал на ее страницах свои заметки и зарисовки, подписанные псевдонимом «Ра-Бе» (что значило «рабочий Бек»), с жаром принимал участие в кружке

рабочей критики, где мы, рабкоры, давали оценку новым книгам и спектаклям.

Прошло еще несколько лет. Я стал литературным критиком-профессионалом.

1931-й год. Времена первой пятилетки. В эту пору, ставшую поворотной для страны, совершился поворот и в моей судьбе. Только что созданная редакция «Истории заводов», возглавляемая А. М. Горьким, предложила мне включиться в литературную бригаду, которая уезжала в Сибирь писать историю Кузнецкстроя.

Пять дней пути на Восток. Сибирская солнечная осень. Станция, дальше которой поезда не идут. Здесь площадка стройки, поле одного из главных сражений пятилетки. Впервые вижу чернеющие в небе фигуры доменных печей и купола воздухонагревателей. Домны лишь монтируются, пущена только одна — над ней курится рыжеватый дым, взгляд повсюду встречает взрытую землю, глинистые откосы котлованов, силуэты монтажников, которые высоко над землей клепают и сваривают железные остовы заводских строений.

В день приезда бригада пришла к главному инженеру Кузнецкстроя Ивану Павловичу Бардину. В его кабинете висела склеенная из многих листов синька — генеральный план завода. Мы слушали уснащенные техническими терминами объяснения Бардина. Лохматые, как бы насупленные брови придавали его сухощавому лицу суровый вид. Повернувшись в какую-то минуту к синьке, он сказал:

— Общая конфигурация завода напоминает чайку на занавесе Московского Художественного театра.

Поразившись этому сравнению, я вдруг ощутил душу говорившего с нами инженера: приоткрылась нежность, которую он питал к заводу.

Лишь много позже я уяснил, что способен быть чутким к людям творческой страсти, способен ощутить, распознать внутренний мир таких людей. Думается, это и позволило мне стать писателем. Однако в те дни на площадке возникающего в центре Сибири завода я, вчерашний литературный критик, никогда раньше не писавший рассказы или повести, даже не помышлявший о художественном творчестве, испытывал естественную неуверенность в себе.

От Бардина и других кузнецкстроевцев мы узнали о богатой предыстории завода. В Кузнецке в 1920 году умер

доменщик-самородок Курако — о нем говорили с любовью, даже с благоговением, называли его «Константиныч»,— надеявшийся воплотить здесь свои мечтания, выстроить могучие механизированные печи. Вторую попытку приступить к возведению завода предприняли «аиковцы» — от слова АИК, Автономная индустриальная колония,— рабочие, приехавшие в начале двадцатых годов из Америки на помощь Советской стране.

При распределении труда между членами бригады на мою долю пришлась вся эта предыстория. Следовало написать о Курако, его школе русских доменщиков, затем об участниках АИКа, ее вдохновителях — голландском коммунисте Рудгерсе и американце Билле Хейвуде, скончавшемся в Москве (его прах, разделенный на две части, покоится в Кремлевской стене и на кладбище в Чикаго).

Но как писать? Каким способом создаются художественные произведения, художественные образы? Разумеется, мне было известно изречение: искусство — это подробность. Однако где взять, где найти подробности? Воображать? Нет, на свое воображение я не полагался. Значит, надо изучать, изучать не только общий ход событий, общие характеристики действующих лиц, но и множество подробностей, казалось бы даже вовсе незначительных, неутомимо собирать крупицы, из которых сложится ткань повести. Охотясь за этими крупицами, я расспрашивал всех, кто пережил, наблюдал то, о чем мне предстояло написать.

Дело создания истории заводов ставилось со свойственным нашему государству размахом. Запечатлеть в записях, сохранить и для грядущих поколений изустные рассказы, свидетельства о великом времени — об этой задаче не раз говорил Горький. В распоряжение нашей бригады были предоставлены стенографистки; мне, взявшемуся за повесть о Курако, предложили разыскать всех, кто его близко знавал, съездить к его друзьям и ученикам в Магнитку, в Донбасс, в Днепропетровск. Для меня это были счастливейшие дни познания, понимания. Жадно выслушивая рассказ за рассказом, умоляя собеседника не торопиться, терпеливо добираясь до подробностей, я будто читал увлекательную книгу про еще незнакомых литературе героев, листал страницы жизни.

Прочитав, наконец, эти страницы, я постарался изложить их собственным пером. Результатом явилось неболь-

шое произведение, выпущенное сначала на правах рукописи издательством «История заводов» для обсуждения на площадке Кузнецкстроя, а затем в 1934 году опубликованное в журнале «Знамя»,— моя первая повесть «Курако».

Далее следуют годы близкого участия еще в одном литературном начинании, тоже предпринятом по неуемному почину Горького,— в «Кабинете мемуаров» при редакции, которая исподволь готовила серию сборников «Люди двух пятилеток».

Нам, нескольким молодым писателям и журналистам — мы именовались «беседчиками»,— было дано поручение: пусть люди двух пятилеток, участники великих дел, сами расскажут о себе. Наше дело — талантливо слушать, то есть настроить собеседника, чутко, заинтересованно ему внимать, вызывать вопросами красноречивые подробности, словом, добиться задушевного яркого рассказа. Мы приносили в «кабинет» эти вызванные нами к жизни, открывающие новую действительность исповеди больших и малых сынов века. Стенограммы бережно хранились, составляли все пополняющуюся библиотеку, или, как мы тогда говорили, «стенотеку». Они рассматривались как основа неких близящихся новых явлений в литературе. Мы понимали: если люди двух пятилеток не расскажут о себе, то и нам, писателям, о них не рассказать.

Мой распорядок дня складывался в те дни так: утро за письменным столом, за второй повестью о доменщиках, вечером обязательно беседа. Пять-шесть стенограмм в неделю — такой была норма «беседчика». Нередко приходилось выезжать в командировки — на Урал, в Сибирь или в районы угольно-металлургического Юга. Более или менее определился круг людей, с которыми я последовательно, исподволь знакомился. Это были главным образом работники тяжелой промышленности, таланты индустрии, сподвижники наркома Серго Орджоникидзе. Подчас я изумлялся,— этого не угасила привычка,— с какой охотой, с какой откровенностью люди — творцы, современники событий, навек врезанных в историю,— говорили о своем жизненном пути. Довелось возмужать в необыкновенное время, значит, надо поведать о нем,— вот что как бы соприсутствовало в беседах, окрашивало обычные слова.

Смерть Горького, смерть Орджоникидзе прервали работу над сборниками «Люди двух пятилеток».

К тому времени,— это был 1937 год,— я уже написал несколько вещей. Назову из них повесть «События одной ночи» и рассказ «Последняя домна». Пройдя школу горьковских изданий, я приобрел определенную сноровку, писательский навык,— навык, безусловно подходящий не для всех, иным, возможно, противопоказанный, но соответствующий моему опыту и склонностям. Поиски героев, действующих в жизни, длительное общение с ними, беседы с множеством людей, терпеливый сбор крупиц, подробностей, расчет не только на собственную наблюдательность, но и на зоркость собеседника — всей этой методикой, ее разными тонкостями я теперь владел.

Окрепнув как писатель, автор нескольких вещей, я мало-помалу отучил себя чураться художественного вымысла. Перед мысленным взором, под пером все чаще возникали сцены, порожденные воображением. Уже можно было помечтать и о романе, посвященном доменщикам.

Незадолго до войны я засел за другое большое произведение, которое закончил лишь много лет спустя. В первоначальных набросках оно называлось «Талант», а впоследствии стало известно читателям как роман «Жизнь Бережкова». (Позже я вернул роману заглавие «Талант».)

Происхождение романа таково. Военное издательство замыслило выпустить большую книгу в память погибшего в трагической аварии Петра Ионовича Баранова, в прошлом в течение многих лет начальника Советских Военно-Воздушных Сил, а затем руководителя авиационной промышленности нашей страны. Дело ставилось по образцу горьковского «кабинета». Были привлечены «беседчики». Среди них вновь оказался и я. В ту пору были только что совершены исторические перелеты на Северный полюс и в Америку. Мне поручили повстречаться с создателями самолетов и моторов, производственниками и конструкторами. Закипела милая сердцу работа. Я опять ездил по вечерам на беседы, слушал с раскрытой душой и лаконичного Туполева, и шумного Микулина, и безвестного тогда Лавочкина, и еще многих. Слушал и опять как бы вдыхал живительный, насыщенный ионами таланта, натиска, дерзания воздух. В итоге этих встреч в воображении возник еще неотчетливый, невыкристаллизовавшийся образ героя книги.

Я упорно трудился над романом, но пришла минута, повернувшая жизнь каждого из нас. Помню ее, эту

минуту. В окошко дачи, где я привык работать, постучал сосед:

— Вы ничего не знаете? Началась война!

Отыскав бечевку, я накрепко связал в несколько пачек все материалы-записи, все черновики своего романа, упрятал эти связки и с первым же поездом уехал в Москву. Две недели спустя я, в составе немалой группы добровольцев-писателей, вступил в Московское народное ополчение, в Краснопресненскую стрелковую дивизию, вновь хлебнул долю солдата, «бравого солдата Бейка», как меня звали в батальоне.

Многодневный марш из Москвы за Вязьму, окопы второй линии обороны, прорыв в начале октября гитлеровских армий, последние часы обреченной Вязьмы — все это поныне хранит память.

Месяцы битвы под Москвой я — уже в качестве военного корреспондента — провел в войсках, оборонявшихся на Волоколамском направлении. Небольшая книжка «Восьмое декабря» (которую я в дальнейшем озаглавил «День командира дивизии»), написанная в радостные дни нашего контрнаступления, явилась своего рода моим корреспондентским отчетом. Тогда же мною завладела мысль о повести, рисующей сражение под Москвой. Я еще не знал, где и как найду главных героев, не знал, какие эпизоды изберу сюжетом, но, чувствуя себя, по сказанному позже слову поэта, «грядущего собственным корреспондентом», был убежден, что обязан изложить, хотя бы и не могучим пером, страницы жизни, знаменательные страницы мировой истории, в которые мне даровано было заглянуть. Острое сознание историчности того, что являлось горячей современностью, историчности еще грохотавшего сражения,— в этом заключалось первое мое побуждение, почва или воздух будущей повести.

В начале 1942 года я поехал в дивизию имени Панфилова, уже продвинувшуюся от подмосковных рубежей почти до Старой Руссы. Опять пошла в ход прежняя, досконально мне известная методика — знакомства и знакомства с теми, кто воевал под Москвой, неустанные расспросы, нескончаемые часы в роли «беседчика». Постепенно слагался образ погибшего под Москвой Панфилова, умевшего управлять, воздействовать не криком, а умом, в прошлом рядового солдата, сохранившего до смертного часа солдатскую скромность, унаследовавшего — таково было мое ин-

тимное авторское ощущение — некую ленинскую складку, ильичевский прищур.

Другого центрального героя я тоже писал с натуры. Меня поразила самобытная яркая фигура командира — казаха Бауржана Момыш-Улы. Этот резкий властный сын Востока уже тоже виделся мне как художественный образ, характер. Прожив около месяца в полку Момыш-Улы, я в раннюю мартовскую ростепель снарядился восвояси, покинул его блиндаж. Со мной вышел комиссар полка — светловолосый кубанец Логвиненко. На прощанье он сказал:

— Вы побывали в орлином гнезде. Смотрите, не окажитесь глупым птенчиком.

Это напутствие зарубкой легло в душу. Еще пять или шесть раз я наведывался к панфиловцам, прежде чем взяться за повесть. Наконец задуманная вещь прояснилась. Я остался наедине с чистым листом бумаги, отодвинул все свои блокноты, написал первую фразу: «В этой книге я лишь добросовестный и прилежный писец». Разумеется, эта запевка была литературным приемом. Под видом сугубо документальной повести я писал произведение, подчиненное законам романа, не стеснял воображения, создавал в меру сил характеры, сцены, нарушая подчас мелкую правду факта, доверяясь внутреннему писательскому голосу, воплощая движение идеи. Конечно, требовалось соблюсти еще множество условий. Разрешу себе остановиться только на одном. В мыслях я определил задачу так: взглянуть на сегодняшнее издалека. Не знаю, удалось ли мне ее решить, но она, эта задача, пожалуй, была наитруднейшей, когда я писал «Волоколамское шоссе».

В том же 1942 году я понес серьезную литературную потерю. На даче сгорели многие мои рукописи и материалы. Огнем были уничтожены черновики и перебеленные главы незаконченного романа «Инженер Макарычев» (образ Макарычева, уже ранее выведенного в «Последней домне», я рисовал с Бардина), погибли многие заметки и стенограммы, относящиеся к истории АИКа, а также и увесистый чемодан, оставленный мне уехавшим перед войной в Голландию Рудгерсом,— чемодан, содержавший всю его личную переписку, личные бумаги времен существования колонии. Эти утраты я пережил как настоящее горе. К счастью, сохранился когда-то сделанный мною, так сказать, «конспект чемодана»,— конспект, который был уложен в ящик, который я бог знает почему отнес к соседу.

В этом же ящике, вернувшемся ко мне, находилось и начало «Таланта».

Встретив в Берлине День Победы, побывав затем в Маньчжурии, повидав Харбин, Порт-Артур, Дайрен, я возвратился к тем, с кем меня сроднила прошлая литературная работа, к героям индустрии.

Ряд лет после того, как отгремело оружие, я трудился над романом, который был отложен в первый день войны,— над романом о жизни конструктора авиационных моторов Бережкова, о творчестве, таланте, о временах, когда совершилось преобразование России.

Порой приходилось прерывать этот большой труд, ибо меня не раз влекла, призывала современность. Я снова откладывал «Жизнь Бережкова», ездил то в «Запорожсталь», написав в итоге этой поездки повесть «Тимофей — Открытое сердце», то на строительство Куйбышевской и Цимлянской гидростанций (повесть «Новый профиль»), то в Сибирь, где на былой площадке Кузнецкстроя вырос завод-чайка и подле него город, который в романе «Молодые люди», написанном мною совместно с Натальей Лойко, назван Ново-Доменском.

Поныне люблю воздух газеты, люблю зайти в редакцию, заглянуть в отделы, взять задание, командировочное корреспондентское удостоверение, привезти из поездки очерк, увидеть его на полосе. Отмечу как курьез, что в справочнике, содержавшем перечень членов Союза писателей, напротив моей фамилии в графе «Жанр» по ошибке значилось: «Поэт, очеркист». Что же, возможно, тут есть и доля истины.

Скажу в заключение о том, над чем работаю сейчас, о своих литературных мечтаниях. Книга «Волоколамское шоссе» была задумана в четырех повестях. Две из них известны читателю. Ныне я отважился продолжить эту книгу. В 1960 году в печати появились новые страницы «Волоколамского шоссе».

Затем я взялся за большой роман о металлургах. Рассказываю в этом произведении, как на смену закостеневшим, подавлявшим техническую мысль, инициативу, порядкам пришли новые времена. Благодатные для промышленности перемены — такова тема этого романа.

Меня всегда привлекает, волнует современность, но пришла пора перебирать, приводить в порядок, в годный

для печати вид всякие накопившиеся у меня прежние записи. Пока что из них выделилась или, так сказать, отпочковалась повесть из времен гражданской войны «Такова должность».

Исподволь пишу большую вещь, где сквозным действующим лицом является В. И. Ленин. Буду счастлив увидеть в некий час на своем письменном столе законченную рукопись этого трудного и дорогого мне романа.

Есть у меня еще одна мечта. Хочется тряхнуть стариной, вновь прийти, как бывало, в «Кабинет мемуаров» (восстановим ли мы когда-нибудь его!), стать штатным «беседчиком», жадно внимающим рассказам бывалых людей. Я теперь еще тверже знаю: если они не расскажут о себе, то и нам, писателям, о них не рассказать.

В 1968 году опубликована моя новая книга «Почтовая проза». В ней в какой-то степени характеризуются тридцатые годы, литературные искания, связанные с «Историей заводов», «Кабинетом мемуаров», а также мои первые шаги писателя-прозаика.

1959—1969

КУРАКО

Глава первая
ЮГ

I

Домны, расклепанные, разобранные, разложенные в штабеля гнутых листов, плит, балок, труб, пересекли океан вместе с мистером Джулианом Кеннеди и его братом Вальтером.

В теплом городе Мариуполе, на берегу зеленоватого моря, сложили из кирпича на извести и цементе два пня. Они поднимались на четыре метра. На пнях начали сборку печей.

Джулиан Кеннеди был знаменит. Решающие конструкции печей носили его имя. Засыпные устройства — системы Кеннеди. Охладительные приборы — системы Кеннеди. Каупера — системы Кеннеди. Джулиан Кеннеди был самым талантливым американским доменщиком — инженером, конструктором, строителем.

В 1898 году американцы закончили передачу завода Никополь-Мариупольскому акционерному обществу. Они уехали на родину, пробыв в Мариуполе пятнадцать месяцев.

Ведение печей приняли французы и поляки. Американские домны охотно и безропотно подчинялись американским инженерам. Когда поводья перешли в другие руки, печи вышли из повиновения.

Печь № 1 считалась погибшей. Тяжелое расстройство хода постигло и вторую домну.

В кабинете директора — мрачные лица. Там говорят по-французски. Распахивается дверь. Входит мокрый и грязный человек. Его сапоги обшиты грубым парусным брезентом. На голове войлочная шляпа, прожженная в нескольких местах. Так одеваются рабочие доменных печей.

Разговор в кабинете смолкает.

Вошедший спрашивает:

— Могу ли я переговорить с мосье директором?

Он произносит эту фразу по-французски. Французские слова вылетают у него непринужденно и легко, как родные.

Директор спрашивает:

— Кто ты и что тебе нужно?

Мастеровой вскидывает голову. Он тоже переходит на «ты».

— Ты должен меня знать. Я горновой второго номера. Берусь наладить печи.

— Что? Какие печи? — раздраженно спрашивает директор.

— Обе!

Это происходило в 1899 году. На Юге России ни один русский инженер не допускался к ведению доменных печей. Еще не началась пятнадцатилетняя война русского инженерства за вытеснение с площадок доменных печей французов, англичан, бельгийцев и немцев.

Горновой был наглец или сумасшедший. Его следовало бы выгнать вон. Директор не сделал этого. Он разрешил воскресить «труп»: в распоряжение горнового предоставлена была погибшая печь.

Печь умерла, едва изведав сладость белого огня, бушующего, как вихрь, под напором горячего дутья. Всего три недели назад раскаленный воздух, в мгновение при прорыве сжигающий насмерть человека, рвался внутрь через двенадцать отверстий, суживающихся, как брандспойты. Они называются фурмами. Теперь печь не дышала ни одной из фурм. Черным застывшим шлаком залиты изящные фурменные рукава системы Кеннеди. Ни одного кубометра воздуха нельзя вогнать в печь. Она холодна, неподвижна, она — труп.

Четверо суток, не смыкая глаз, горновой и трое подручных бились над печью. Утром на пятые сутки, когда песок на берегу хранил еще ночную свежесть, горновой побежал купаться. Он сбросил пробитую огнем брезентовую рубаху, хотел окунуться, упал на песок и заснул.

Печь гудела. Стенки ее клепаного железного панциря дрожали. Если бы у нее был голос животного, она заржала бы от полноты сил. Сквозь глазки фурм, через синее стекло — с ним никогда не расстаются доменные мастера — отчетливо виднелось горение кокса. Сияющие куски двигались, не останавливаясь ни на мгновение, «танцева-

ли», как говорят доменщики. Из руды каплями выступал чугун, и тяжелый огненный дождь непрестанно падал в печи.

Горновой расплавил «козел», какого в России никто никогда не расплавлял. «Козел» — зловещее слово. «Козел» — застывший, затвердевший чугун в печи. «Козел» — это значило капут, каюк, конец: печь надо разбирать до основания.

Кувалдой, ломом, нефтяной форсункой горновой пробил и прожег в спекшейся черной чугунной массе узкий кротовый ход от фурмы к выпускной щели. И, не отходя от печи, по капле, по ложке, по ведру спустил из печи «козел».

Юг узнал фамилию горнового. Это был Курако.

II

О детстве Курако известно немного. Его мать была единственной дочерью Арцымовича, помещика Могилевской губернии. Арцымович не имел сыновей и искал верного человека дочке в женихи, чтобы без опаски передать имение. Где-то встретил Арцымович отставного полковника Курако, инвалида Севастопольской кампании. Полковник приехал к Арцымовичу, познакомился с имением, посмотрел Геннусю и сделал предложение. Арцымович согласился. Дочь вышла за нелюбимого, за старого. Через год она родила мальчишку. Его назвали Михась.

Вскоре Арцымович умер. После его смерти молодая Геннуся полюбила кучера. Полковник бил и запирал жену. Она скрывалась в черный лес и по ночам бегала к любовнику. Полковник уехал от позора.

Михась рос диким, заброшенным мальчишкой. Он перечитал всю библиотеку Арцымовича, проглотил лучшее из французской и русской литературы, знал Чернышевского и Писарева, декламировал наизусть поэмы Пушкина. Его воспитывал гувернер-француз, которого мальчик однажды избил.

Пятнадцати лет Курако удрал из родных мест. Он ударил бутылкой по голове директора училища, побежал к реке, разделся, оставил одежду на берегу и исчез. Крестьянский хлопец Максименко, его молочный брат, дал Курако мужицкую одежду. Они бежали вместе.

Спустя несколько дней в доменный цех Брянского завода в Екатеринославе приняли двух мальчишек. Это были Курако и Максименко.

Больше года Курако разносил в цехе пробы чугуна и стаканы чаю — в горячем виде то и другое.

Невозвратно уходили времена, когда тихая степная Украина получала железо с Урала, за две тысячи верст по водному пути, с речным весенним караваном. В семидесятых годах в таганрогском порту сгрузили с английских кораблей первый южный металлургический завод. Медлительные быки протащили завод от Таганрога до будущей Юзовки. Даже кирпич везли на быках. Больше миллиона штук шамота привез для завода из Англии кузнечный мастер Юз, Иван Иванович — по-русски, Джон — по-английски.

Завод был поставлен на жирных донецких углях. Одна из шахт выходила устьем во двор завода, прямо к коксовым печам. Руда нашлась близ завода — бурые донецкие железняки. Через десять лет были открыты криворожские руды, богатейшие в мире по содержанию железа.

И пришла на Украину небывальщина. О ней писали так:

«Пустынный Юг наш, еще так недавно представлявший одни безбрежные ковыльные степи, ожил. Среди былых пустынь выросли гиганты, извергающие миллионы пудов железа. Возникли поселки и целые города там, где так недавно шумел один бурьян».

Восемнадцать заводов привезли на Юг из-за моря. Старый Урал имел полтораста заводов, прекрасные руды и ни одной тонны кокса. Уральские домны не знали другого горючего, кроме древесного угля, дорогого и негодного для высоких печей — он крошится под давлением столба плавильных материалов. Кокс порист и крепок. Он не разбивается при ударе о чугунные плиты и не пачкает рук. Коксующиеся угли жирны, смолисты. Их размельчают в тяжелую черную пыль и накаливают без доступа воздуха. Продукты разложения смолистых веществ склеивают частицы угля в компактную пористую массу. Старый Урал не имел кокса. Восемнадцать южных заводов стали выдавать чугуна в четыре раза больше, чем полтораста уральских.

Хотя Курако и побил опостылевшего француза-гувернера, он по-прежнему ежедневно слышал французскую

речь. Инженеры, мастера и старшие рабочие Брянского завода были французами. Все книги и записи велись по-французски.

Брянский завод принадлежал русским предпринимателям — Губонину и Голубеву. Это было редкостью. Из восемнадцати южных заводов только четыре основаны с участием русских капиталов.

Но и здесь ни одного русского инженера не допускали к доменным печам. Начальник доменного цеха, бывший французский мастер Пьерон, не доверял им даже лебедок — грубых простых машин, подымающих кокс и руду.

Французы острили, что, не в пример Наполеону, им удалось завоевать Россию без крови и без выстрелов. Остряки ошибались — грохот взрывов и черные лужи «дешевой» крови русской «мастеровщины» отмечали путь металлургического Юга.

Пьерон гордился изобретенной им системой крепления горна — нижней части домны, где скопляется жидкий чугун. Старые доменщики помнят систему Пьерона — знаменитый пикотаж, который Курако вывел впоследствии из употребления.

Система пикотажа была системой взрывов. На полном ходу, на самом горячем дутье, белый и пузырящийся, как кипящее молоко, чугун проедал горн, вырывался на мокрую глину и тысячами тяжелых молний ударял из-под печи. Иногда чугун просачивался в трещину огнеупорной кладки, прожигал себе длинный извилистый ход и вдруг начинал бить фонтаном в нескольких метрах от печи.

Взрывов бывало по десятку в год. Случались взрывы такой силы, что однажды чугунная плита весом в восемьдесят пудов была сорвана со своего места у печи, с бешеным свистом и звоном пробила кровлю, влетела в соседнюю контору и подмяла под себя письменный стол самого Пьерона.

Франция, Англия и Бельгия посылали нам старые, изношенные домны и невежественных, неискусных мастеров. Они приезжали обогащаться в «дикую» обильную страну.

Курако не прятался от взрывов. Со всех ног он бежал на грохот. Прижавшись к печи, вытянув голову вперед, он слушал дыхание домны. Он начинал понимать домну на слух, различать ее запахи и оттенки бьющегося внутри огня. Через год он научился предугадывать взрывы. Это было первое проявление его замечательного таланта.

Однажды ночью мастер-француз поймал Курако в лаборатории. Перед Курако лежали раскрытые записные тетради цеха и толстая французская книга о металлургическом процессе. Парень был наказан. Его перевели в катали.

Через два дня Курако выгнали с квартиры. Каталей в городе на квартирах не держали. Они находили себе пристанище в селах, у мужиков. Когда Курако проходил после работы по улицам, мальчишки кричали ему вслед:

— Дяденька, дай лапоть — чай заварить!

Как и другие катали, он весь — одежда, обувь, белье, поры кожи — был пропитан красной мельчайшей тяжелой пылью криворожской руды. Прохожие сторонились его.

Изо дня в день он подвозил по чугунным плитам двора доменного цеха тачки с рудой, коксом и известняком. Он вкатывал тачки в клеть, и она взвивалась наверх, на колошник домны. Там колошниковые рабочие — «верховые» — высыпали руду, кокс, известняк в ненасытное чрево печи. Держать печь постоянно полной — азбука доменной плавки.

Двенадцать часов в сутки работал Курако. По двенадцати часов ежедневно работали все рабочие доменных печей. Заводы плавили чугун непрерывно, ночью и днем, в праздники и будни, на пасху и на рождество. Печи не терпят остановок, они любят ровный непрестанный ход. Две смены служили домнам. *Только две.*

Через год Курако перевели на колошник. Он дышал выбивающимися кверху газами, спасался в специальной железной будке от вылетающих неожиданно, как из вулкана, столбов синего пламени и кусков руды, видел, как погиб, скорчившись, брат его друга, охваченный взметом огня.

Отец нашел пропавшего сына через семь лет после его исчезновения. В этот год Курако был «тигром» — так назывались рабочие, которые жили у завода, но не имели на нем постоянной работы. Они собирались около казенной винной лавки и ждали, не придет ли мастер. Мастер появлялся и кричал: «Пять человек на уборку шлака!», или: «Трое перетаскивать рельсы!» Тогда сидевшие бросались, как тигры, и, отталкивая друг друга, захватывали случайную работу.

У казенной винной лавки Курако декламировал «тиграм» «Гавриилиаду» Пушкина. «Тигры» валялись в траве и рычали, захлебываясь хохотом. Никто не встал, когда показался старый полковник. Курако увидел отца, и ему стало стыдно перед «тиграми».

Полковник не узнал сына и испуганно оглядывался кругом. Провожатый показал отцу пальцем. «Тигр» подошел к полковнику и, глядя немигающими черными глазами, сказал, что никогда не вернется домой, что будет жить и умрет у доменных печей.

— Михась, пойдем отсюда. Поговори со мной.

У Курако перехватило дыхание, подступающие слезы защемили горло. Стало жаль дряхлого одинокого отца. «Тигры» молчали, Курако оглянулся на них и сказал:

— Ребята, возьмите старика. Донесите его до извозчика. Я не хочу его видеть.

«Тигры» увели полковника.

III

Решающим событием в жизни Курако была встреча с мистером Кеннеди.

Россия не знала американских домен. Мариупольская печь была на несколько метров выше всех других южнорусских приземистых и громоздких домен немецко-бельгийского типа. Мариупольская печь была одета невиданными устройствами. Ее производительность была почти вдвое выше самых больших южнорусских домен.

На Юге не было людей, которые умели обращаться с американкой. Никто на Юге не владел одноцилиндровой пушкой, автоматической засыпкой, секретами десятка приспособлений и приборов, носивших имя Кеннеди. С заводов Юга вербовали в Мариуполь грамотных и способных горновых. В их число попал Курако.

Американская домна покорила Курако сразу и навсегда. Чутьем прирожденного доменщика Курако понял, что американская конструкция соответствует самой природе организма домны, ее назначению, как природе коня соответствуют четыре крепкие ноги, стянутые копытами, и мощная грудная клетка, как природе рыбы — сплющенное тело, жабры и плавники.

В Мариуполе Курако выучился читать со словарем по-английски и перечитал американскую доменную лите-

ратуру, которая нашлась у Кеннеди. Уезжая, Кеннеди назначил Курако первым горновым — старшим рабочим домны.

Когда пароход навсегда увез братьев Кеннеди, Курако долго стоял на берегу, провожая глазами исчезающие в море огни. Вернувшись домой, он всю ночь с молочным братом Максименко пил водку. Ему хотелось в Америку, страна мощных домен манила его. Но он не поехал туда.

IV

В сентябре 1902 года в Мариуполь примчался немец Томас — директор Краматорского завода. Томас заехал в дирекцию, потом прошагал к доменному цеху, нашел Курако и усадил его с собой в коляску. Специальный поезд в составе паровоза и одного вагона доставил их на станцию Краматорская на линии Ростов — Харьков. Одна из печей Краматорки стояла четыре месяца, вторая — восемнадцать дней. Эту последнюю Курако выправил в шесть суток.

Правление Краматорского завода пригласило его начальником доменного цеха.

Курако поставил условие: свой штат и переделка печей.

Курако не был инженером,— и в 1902 году стал первым русским начальником доменного цеха на Юге. Он привез с собой из Мариуполя восемнадцать человек и Максименко поставил горновым.

В день приезда Курако угощал доменщиков. Дирекция предоставила ему квартиру в двенадцать комнат. Доменщики собрались там.

За полночь пришла горькая весть.

Второй брат Максименко — чугунщик — стал жертвой несчастного случая. Неизвестно, что хуже — профессия каталя или чугунщика. Из горна жидкий чугун выпускают по канаве на литейный двор под открытое небо, в песок. Когда разлитый чугун начинает сверху темнеть, его посыпают песком, чтобы на нем можно было стоять, и чугунщики начинают свою адову работу. Они ломами выковыривают красные чушки чугуна из песочных форм. Струи воды из пожарных рукавов поливают чугун и чугунщиков. Кверху валит пар. Чугунщики не могут работать в сухой

одежде — сгорят. Они захватывают чушки клещами, волочат их по песку и грузят затем на платформы. Двое хватают чугунную чушку клещами — в каждой шесть, семь, восемь пудов — и подбрасывают кверху. Брат Максименко поскользнулся при взбросе, чушка сорвалась и раздавила ему череп.

Ночной кутеж оборвался. Курако подошел к своему другу. Все молчали, как всегда, когда близко-близко проходит смерть. Курако не знал, что сказать. Ему хотелось сказать что-то очень важное, очень большое, самое важное и самое большое. Образы Джулиана Кеннеди и чугунщика с залитыми кровью черными усами встали перед ним.

Курако положил руку на твердое плечо Максименко и сказал, что перестроит завод по-американски.

— Чугунщиков на заводе не будет. Ни одного! И каталей не будет! И на колошнике ни одного человека! Веришь мне, брат?

— Верю,— ответил Максименко.

— Печь пойдет так ровно, что у горна можно будет спать. Не будь я Курако, если не заставлю вас спать, барбосы. Веришь мне, брат?

— Верю,— сказал Максименко и не поверил.

V

Курако не исполнил своих обещаний. Ему удалось установить автоматическую засыпку своей системы. Вагончики с грузом взбирались по наклонному мосту и сами опоражнивались, ссыпая шихту в нутро печи. Колошниковые рабочие стали не нужны. Он перестроил по-американски горны своих печей и поднял вдвое производительность цеха. Дальнейшие нововведения дирекция сочла излишними. Рабочие руки были дешевы, и рентабельность затрат казалась сомнительной.

Подошел пятый год. Начальник цеха Курако становится начальником боевой дружины Краматорского завода. Боевая дружина контролирует движение на магистрали Харьков — Ростов. Она — власть на станции Краматорская и на Краматорском заводе.

В 1906 году Курако ускользает от жандармов и возвращается на родину после длительного отсутствия. Отца нет в живых, и Курако вступает в права наследства.

Когда формальности закончены и приложена последняя сургучная печать, Курако отдает имение крестьянам. В губернии полыхают аграрные волнения. Курако схватывают и в арестантском вагоне везут в Петербург.

Идут годы, перекатываются волны времени — о Курако ничего не слышно на Юге.

Глава вторая

ОТКРЫТИЕ КУЗБАССА

I

Профессор Леонид Иванович Лутугин лежит желтый, с провалами старческих щек, полузакрыв глаза. Он не ел четыре дня. Из-за волнений последних дней у него разыгралась нервная астма. Когда приходили приступы, единственное облегчение он находил в том, чтобы дышать диафрагмой, животом, не подымая ребер. Это возможно только при пустом желудке.

В двенадцать ночи кто-то нажал кнопку звонка. В спальню, отстранив горничную, входит Кратов, один из директоров Донбасса.

— Извините, Леонид Иванович, что я врываюсь. Ради бога, не вставайте. Я только что с поезда, в Петербурге всего три часа. Мне нужно переговорить с вами немедленно.

Лутугин смотрит на ночного гостя. Он знает Кратова давно. Они старые приятели. Леонид Иванович показывает Кратову на горло и знаком предлагает сесть.

Кратов не садится. Он ходит по комнате, странно помолодевший, оживленный и взвинченный.

— Скажите, Леонид Иванович.— Кратов останавливается и смотрит на Лутугина острыми стального цвета глазами.— Скажите, примиренье с Геологическим комитетом еще не состоялось?

Лутугин отрицательно трясет головой.

— Забастовка продолжается?

Лутугин кивает.

— Прекрасно,— говорит Кратов, прохаживаясь по комнате.

Он низкого роста, плотен, плечист и весит пять с половиной пудов. Он совершенно лыс, руки и пальцы покрыты густым черным волосом, как шерстью.

Леонид Иванович Лутугин — мировая геологическая величина, знаменитый следопыт и разведчик угля, открыватель подземных Америк, прославленный исследователь Донецкого бассейна.

Он, только он с озорной и веселой ватагой своих учеников знал запутанные, петляющие угольные пласты Донбасса. Он составил геологическую карту Донбасса и получил за нее золотую медаль на Всемирной туринской выставке.

В феврале 1914 года директор Геологического комитета Богданович сказал в публичном докладе, что группа Лутугина за последнее время ведет исследования крайне медленно: «Денег истрачено много, а сделано неизвестно что».

На заявление Богдановича гордые лутугинцы ответили забастовкой. Пока Богданович не принесет публично извинений, ноги их не будет в Донбассе. Вышел скандал. Лутугин нужен углепромышленникам. Он безошибочно указывал точки для закладки новых шахт. Ползая неделями на коленях в грязи, прорывая канавы, отбивая геологическим молотком белые и коричневые камешки, он находил внезапно исчезнувшие пласты.

Посредничать взялся сам фон Дитмар, председатель совета съездов горнопромышленников Юга России. Примирение, казалось, готово было состояться, но в Петербург примчался Кратов.

II

— Прекрасно,— повторил Кратов.— Леонид Иванович, вы знаете, кто я?

Лутугин смотрит недоумевающе. Кратов прячет улыбку в усы.

Иосифа Петровича Кратова Лутугин знает со студенческой скамьи. Лутугин был профессором, когда Кратов кончал Горный институт. Леонид Иванович хорошо помнит выпуск 1900 года. Этот выпуск прозвали директорским. В тот год вместе кончили Пальчинский, Гоготский, Свицын, Бенешевич, Кратов. Сейчас все — директора крупнейших предприятий или акционерных обществ.

Отец Кратова — адмирал Черноморского флота, два брата — морские офицеры. Приезжая в семью, Кратов бравировал своей инженерской тужуркой — два молоточка для него выше, чем черные орлы и золотые шевроны.

В студенческие годы Кратов считал себя социал-демократом, левым, очень левым, самым левым среди своей блестящей компании. На студенческой выпускной вечеринке один из его друзей задорно поклялся, что через пять лет станет директором завода. В ответ Кратов дал иную клятву: никогда не быть директором, никогда не идти в услужение капиталу.

Он отклонил ряд выгодных предложений и пошел заведовать маленькой захудалой спасательной станцией в Донбассе. Он избрал себе миссию: спасать рабочих при подземных катастрофах — при пожарах, взрывах, обвалах — и считал это единственно достойным делом для инженера-социалиста.

— Имбецил,— сказал о сыне старый адмирал, любитель непонятных слов: таким термином в медицине называют идиотов.

Через несколько лет спасательная станция стала вседонецкой. Кратов оснастил ее по образцу лучших станций Европы и Америки. Шесть подъездных путей расходились от нее в разные концы Донбасса. Через двадцать секунд после тревожного телефонного звонка из депо выкатывал специально оборудованный поезд, люди прыгали на подножки и в вагонах надевали маски. В 1904 году Кратов получил золотую медаль с надписью: «За спасение погибающих».

Было так. Подземный пожар охватил шахту «Иван». Колодец шахты затянут удушливым дымом. Дым лежал внизу колыхающимся серым пластом и не поднимался — он тяжелее воздуха. Никто не решался войти в мертвое газовое море. Кратов долго рассматривал план шахты и сказал, что можно ходить внизу без опасности для жизни. Никто не поверил, и Кратов пошел один. Он пробирался по штрекам и вентиляционным ходам, дым доходил до груди, ноги спотыкались о бревна и трупы.

На восстающей выработке Кратов нашел живых, забаррикадировавшихся брезентовым парусом от дыма. Кратов вывел их на-гора. Его китель почернел, лицо было белым. Он никогда не рассказывал о часе, проведенном

над тяжелыми волнами удушливого дыма. Лишь однажды, чтоб отделаться от вопросов, Кратов сказал:

— Здесь не было отваги, только аналитический расчет. Я руководствовался теорией движения легкой жидкости в тяжелой.

В пятом году Кратов не мог усидеть в Донбассе. Он едет в Петербург и издает журнал социал-демократического направления «Труд техника и инженера». За два года девять раз правительство закрывало журнал, и он девять раз возрождался под привычным названием «Труд и техника», «Труд техника», «Техника и труд». В просторной квартире Кратова на Загородном помещался в пятом году Всероссийский союз инженеров и Союз союзов.

Революция подавлена. Спускалась ночь после битвы. Шел 1908 год — год отреченства, столыпинских галстуков, богоискательства и декадентства. В 1908 году Кратов влюбился в красавицу Елену Евгеньевну Баньолесси. Обрусевшая семья Баньолесси осела в Петербурге. Горные инженеры собирались в их уютной квартире. Елена, Леля, была почти девочкой, тоненькой и смуглой. Она щелкала Кратова по проступающей лысине, звала его Оськой, дразнила Моськой. Свадьбу сыграли в девятьсот девятом. Кратов любил жену как одержимый. Она хотела выезжать, одеваться, жить. В девятом году Кратов впервые принимает выгодное положение — он становится директором Берестово-Богодуховского рудника, запущенного и разрушенного после огромного пожара.

Изменив юношеской клятве, Кратов не считает себя подлецом,— перекрещенные молоточки для него по-прежнему выше двуглавых орлов и золотого шитья.

— Нормален! — говорит старый адмирал о сыне.

В один год Кратов выводит Богодуховку вперед. Это десятый — холерный — год. Холера свирепствует в Донбассе. В паническом страхе бегут рабочие с шахт. Кратов в белом халате ежедневно обходит больницу и холерный барак. На глазах рабочих он здоровается за руку с холерными больными. Ему удается сбить волну паники. Бегство с рудника прекращается. Окрестные шахты сокращают добычу из-за отсутствия рабочих рук, у Кратова работы идут нормально.

— Здесь не было риска, только расчет,— говорил Кратов впоследствии.— У французов есть поговорка: трудные положения создаются для того, чтобы выходить из них

с выгодой. Я принимал соляную кислоту и мыл руки карболкой. Заболеть я не мог.

С этого времени благосостояние шахты Кратов измеряет количеством оседлых рабочих и количеством коров. Он вводит премирование за огороды и насаждения. В 1912 году он считается лучшим директором Донбасса и получает восемнадцать тысяч в год.

Все это знает Лутугин. Он не понимает усмешки Кратова.

— Нет, Леонид Иванович, не угадаете. С первого января я директор-распорядитель Копикуза.

Взгляд Лутугина по-прежнему выражает непонимание.

Кратов ходит по комнате и объясняет: Копикуз — это копи Кузбасса. Копикуз — это новое акционерное общество. Владимир Федорович Трепов, тайный советник, придворный, брат знаменитого Дмитрия Трепова — «патронов не жалеть» и Александра Трепова, министра путей сообщения, получил от кабинета его величества в концессию на девяносто девять лет, до 2012 года, целое государство между Обью и Томью. Там лежала кузнецкая угленосная котловина, Кузнецкий бассейн. Какими сложными и тонкими ходами удалось Трепову пробить брешь в кабинете, этого Кратов не знал. Здесь была тайна.

Свои права Трепов передал акционерному обществу Копикуз. Он получил куртаж — сто тысяч рублей — и был избран председателем общества со стотысячным годовым окладом. Директором-распорядителем общество пригласило Кратова с окладом в двадцать четыре тысячи в год.

Лутугин никогда не бывал в Кузбассе. Производить исследования на кабинетских землях строжайше запрещалось. Геологи кабинета, носившие офицерскую форму, определяли угольные запасы Кузнецкого бассейна в полтора миллиарда тонн действительных и одиннадцать миллиардов возможных. Ерунда. В шесть раз меньше Донбасса.

— Дикое место, Леонид Иванович,— говорит Кратов.— Анализы исключительные — уголь без золы, без серы. Где пласты, сколько их — не знает ни одна собака. Двинем, Леонид Иванович, на новые места. Дадим Уралу кокс. Понимаете, что это значит — дать Уралу кокс?

Лутугин знает, что Кратову можно верить. Ему приятно присутствие этого человека. Леонид Иванович повертывается, садится и неожиданно вздыхает всей грудью.

Боли нет, дышится легко. Приступ ушел неожиданно, как всегда.

— Осип Петрович, едем к нашим, они ведут все переговоры, боюсь, что вы опоздали.

В половине второго приятели будят лутугинскую ватагу на Петербургской стороне. Леонид Иванович подобрал себе команду талантливых озорников, работяг и чудаков. Снятков Авенир Авенирыч отказался сдавать дипломную работу в Горном институте, прекрасно зная курс. Он считал диплом буржуазным предрассудком. Лутугин взял Сняткова к себе. Гапеев Александр Александрович, здоровяк и силач, печатал научные работы, будучи студентом; в дни студенческих забастовок бросал в аудиториях химические бомбы и дважды исключался из института. Его взял Лутугин к себе. В лутугинской группе было четырнадцать молодых геологов. Шести из них была запрещена государственная служба и двум — проживание в столицах.

Ночью вопрос был решен. Кратов уговорил лутугинцев окончательно плюнуть на Донбасс, показать Богдановичу шиш и ехать на разведку Кузбасса.

В процедуре составления договора Леонид Иванович не участвовал. В таких вещах он был младенцем и мог запродаться за гроши. Его приглашали банки, предлагали сумасшедшие оклады, чтоб работал только для них. Лутугин отвечал:

— Я стар, много нахапать не успею, а некролог испорчу.

Переговоры с Кратовым вели Снятков и Гапеев. Леонид Иванович поставил только два условия: во-первых, результаты разведок он считает достоянием науки и будет публиковать во всеобщее сведение, не стесняя себя коммерческими тайнами; во-вторых, он не согласен получать ни копейки больше, чем его ученики.

Условия были ультимативными, и правление Копикуза согласилось. Лутугину нельзя было предложить меньше восьми тысяч в год. Все лутугинцы получили по стольку же.

Копикуз не останавливался перед затратами. После разрыва с Богдановичем лутугинцы не считали возможным пользоваться библиотекой Геологического комитета, и Кратов купил для них превосходную геологическую библиотеку Глушкова, замечательно подобранную, со мно-

жеством редчайших изданий. Это обошлось около десятка тысяч. В Петербурге была снята для геологов квартира, в ней оборудована лаборатория, кабинеты, поставлены телефоны. Были приобретены микроскопы, компасы, палатки, всяческие приборы и инструменты, вплоть до больших банок из толстого стекла с герметически завинчивающимися крышками для хранения образцов. Всем лутугинцам Копикуз презентовал бельгийские охотничьи ружья.

В марте 1914 года группа Лутугина отправилась в Кузбасс.

III

Четыре месяца спустя, восьмого июля 1914 года, в свои владения выехал председатель Копикуза тайный советник Трепов. К курьерскому поезду прицепили салон-вагон Копикуза и платформу с двумя автомобилями, укрытыми брезентом. С петербургского вокзала Трепов отправил две телеграммы — начальнику Алтайского горного округа генералу Михайлову и директору Копикуза — Кратову.

«Выезжаю вместе французскими русскими горными инженерами. Тринадцатого июля буду станции Юрга, чтобы проехать оттуда Кольчугино потом Тельбес. Трепов».

Пять дней несся курьерский поезд на восток. Смотреть в окна было утомительно. За Уралом шла равнина, пустая и гладкая, как мертвое морское дно. Города были похожи на деревни.

Кратов встретил гостей в Юрге. Из вагона вышел Трепов, розовый и слегка надушенный, с круглой рыжеватой бородкой, в скромном сером костюме и соломенной шляпе-канотье. Тайный советник был огненно-рыжим и стригся наголо... Начальник станции вытянулся для рапорта. Трепов улыбнулся, сказал: «Не надо, не надо» — и пожал ему руку. Из семейства Треповых он единственный занимается коммерцией, пустив в оборот близость к придворным кругам и к государственной казне. Он куплен петербургским Международным банком или, говоря иначе, передал банку исключительное право пользоваться его услугами.

Когда-то он был губернатором Туркестана, интриговал против Столыпина и попал в немилость. Ему дали отставку, уволили из Государственного совета и послали путешествовать за границу. По возвращении Трепов дал обе-

щание политикой не заниматься. Ему было даровано августейшее прощение.

На высочайшей аудиенции Николай спросил:

— Чем ты теперь займешься, Владимир Федорович?

Трепов сказал, что чувствует склонность к промышленной и коммерческой деятельности.

— Не еврей ли ты, рыжик? — сострил Николай и расхохотался.

Трепов покраснел и не улыбнулся государевой остроте. Он всегда считал царя хамом. Николай обещал покровительство новому дельцу.

— Иди в кабинет, что-нибудь выбери там,— сказал император.

Канцелярия кабинета его величества помещалась в Аничковом дворце на углу Невского и Фонтанки. Кабинет ведал землями, составлявшими личную собственность царя, в отличие от удельного ведомства, управлявшего земельными угодьями членов императорской фамилии.

Два огромных куска земли, каждый величиной в Центральную Европу, принадлежали царю — Алтайский округ и Забайкалье. В Алтайском округе умещался Кузнецкий бассейн и за тысячу километров от него риддеровские полиметаллические месторождения, содержащие золото, серебро, свинец, цинк и медь. Алтайский округ не давал кабинету прибыли. Уголь не разрабатывался за отсутствием рынка. Геологи кабинета уделяли каменному углю не больше внимания, чем всякой другой горной породе, и на геологической карте Алтая оконтуренная площадь угленосных отложений носила название: «Площадь красных песчаников каменноугольной системы». В начале прошлого столетия кабинет делал попытки самостоятельно добывать серебро и свинец, но после истощения самых богатых месторождений дело было оставлено из-за трудностей. Богатства Риддера заброшены к черту в зубы, за тысячу километров от железной дороги, в гористый безлесный район. Кабинет отдавал в концессию риддеровские месторождения. Пять концессионеров прогорели там, и в 1910 году кабинет отдал Риддер за бесценок знаменитому Уркварту.

В канцелярии кабинета Трепов встретил Мамонтова — младшего и неудачливого сына большого Мамонтова, Саввы Иваныча, известного купца, покровителя искусств и строителя Архангельской железной дороги. Мамонтов, промотавшийся барин с холеной бородой, обосновался

в Барнауле заведующим химической лабораторией Алтайского горного округа. Через его руки проходили образцы руд и углей. Мамонтов рассказал Трепову о богатствах Кузбасса. Трепов задумался. Знакомые дельцы не посоветовали ему связываться с кузнецкими углями — они помнили прогоревших концессионеров Риддера. Трепов попросил у кабинета золотоносные участки в Забайкалье. Ему отказали. Мамонтов пришел к Трепову в особняк. Он рассказал о Цейдлере, директоре Надеждинского — самого крупного уральского завода. Цейдлер выступал реформатором старого Урала. Он переоборудовал надеждинские домны и поставил производство рельсов, которые раньше не катали на Урале,— для этого слишком дорога древесно-угольная сталь.

Стране не хватало металла. С 1911 года был разрешен беспошлинный ввоз железа в Россию: его везли по морю и по суше из Западной Европы, и Цейдлер решился на опыт, который изумил Урал. Цейдлер организовал примитивный выжиг кокса на краю Кузнецкого бассейна, заарендовав крестьянские участки, выходившие за пределы владений кабинета. Производство кокса не ладилось, но уральский новатор, пренебрегая насмешками и предостережениями, упрямо добивался своего.

Трепов подумал и решился. Он попросил концессию на Кузнецкий бассейн. Она всемилостивейше была ему дана. Вместе с Мамонтовым Трепов отправился по банкам. Он предлагал недра и искал капитал. Ни один банк не согласился взять недра Кузнецкого бассейна. Русские банкиры с улыбкой разъясняли Трепову элементарнейшие вещи: капитал не может оставаться неподвижным, он требует вложения, но нуждается в одном условии, это условие — гарантированная прибыль.

— Мы получим там рубль на рубль,— уверял Трепов.

Каминка, бывший «марксист», глава Азовско-Донского, самого солидного из русских банков, ответил Трепову:

— Вы наивны, Владимир Федорович. Это у Маркса написано, что капитал становится разбойником и очертя голову бросается куда угодно, если поманить его стопроцентной прибылью. А нам дайте двадцать процентов, но наверняка. Нет ли там рассыпного золота, в этом вашем бассейне?

Трепов не мог возразить — он не знал Маркса и не имел рассыпного золота.

Отчаявшись, Трепов выехал в Париж, захватив Мамонтова, концессионный договор, образцы и анализы угля и краткий меморандум, отпечатанный по-французски на меловой бумаге. Парижский маклер свел Трепова с банками и финансистами, которые специализировались на колониальных странах. Удалось заинтересовать сомнительную и несолидную фирму, носившую звучное название — «Акционерное общество железных дорог Африки и Азии».

Председатель правления мосье Бардэк, низенький неряшливый еврей с брюшком, принял Трепова в конторе — темной комнате с запыленными окнами и немытыми полами.

— Что даст нам это? — спросил Бардэк.

— Миллионы,— ответил Трепов.

— Я верю, там есть хорошие угли. А сбыт? Слишком стесненный рынок.

— Мы имеем покровительство кабинета его величества.

— А сбыт? — повторил Бардэк.— Впрочем... Обеспечена ли вам поддержка военного ведомства?

Трепов перечислил свои связи, Бардэк смягчился, узнав, что начальник главного артиллерийского управления — ближайший друг Трепова.

Африканско-азиатское общество согласилось прощупать дело. Бардэк послал с Треповым двух инженеров-французов Громье и Барильона — обследовать положение на месте.

В 1913 году французы в сопровождении Трепова осмотрели Кузнецкий бассейн, побывали на Тельбесском железорудном месторождении, написали брошюру «Миссион д'Алтай» («Алтайская экспедиция») и дали умеренно благоприятный отзыв о бассейне. Мосье Бардэк согласился финансировать дело при условии, что в дело войдет один из русских банков. Азовско-Донской отказался, Русско-Азиатский отказался, согласился петербургский Международный.

В ноябре 1913 года министерство торговли и промышленности зарегистрировало акционерное общество Копикуз с капиталом в шесть миллионов рублей. Перед обществом встала задача — создать рынок кузнецкому углю. Металлургический завод — крупнейший потребитель угля. Трепов заручился согласием брата — министра путей сообщения — предоставить петербургскому Международ-

ному банку концессию на постройку Южно-Сибирской магистрали, с тем чтоб все рельсы, подкладки и накладки шли с завода, который будет сооружен Копикузом. Главное артиллерийское управление гарантировало военные заказы. Сто миллионов рублей требуется на постройку завода,— это вне масштабов мосье Бардэка. Он заинтересовывает пушечную и металлургическую фирму Шнейдер-Крезо. В июне 1914 года они прибыли в Петербург — Бардэк с сыном, Громье и доверенный Шнейдер-Крезо — горный инженер Рено. Старый Бардэк остался в Петербурге, остальные выехали с Треповым в Сибирь.

Вслед за Треповым из вагона выходят французы: Бардэк-сын,— Трепов называет его «бардачок»,— за ним Рено, толстый, с седыми усами и длинным желтым лицом; последним прыгает с подножки молчаливый Громье. С платформы скатили машины. За рулевое колесо сел Кратов и двинулся впереди, указывая дорогу. Вторую машину повел Рено.

В Кемерово — центральный пункт Кузбасса, где расположилась штаб-квартира лутугинской группы,— приехали к обеду. Трепова качали — он улыбался, пожимал руки и бросил рабочим сто рублей на водку.

День стоял чудесный. После обеда вся компания вместе с Лутугиным выехала по реке Томи на моторной лодке, захватив копикузовского повара Федю, горького пьяницу и мастера на все руки. Правый обрывистый берег вздымался крутизной. Желтый глинистый песчаник исполосован наискось черными выходами угля, как зебра.

Подъехали к кемеровской штольне. Ее устье выходило на реку, и в половодье можно на лодке въезжать в огромный, длинный коридор, прорубленный в сплошном массиве угля.

Выйдя из штольни, вскарабкались по обрыву. Федя обмахнул французам сапоги, притащил из лодки бутылки, икру, консервы, пирожки и разложил костер.

Трепов разделся и полез в реку. Он любил воду, как утка. В вагоне он принимал душ из огромного резинового мешка.

Лутугин нарвал букет диких тюльпанов, из их чашечек пили водку. Кратов притащил снизу полную корзину угля. Руки его почернели. Он бросил куски в костер и следил, как они краснели, трескались и исчезали, как бы растворяясь в пламени. Разговор шел по-французски.

— Сокровища валяются под ногами,— сказал молодой Бардэк.

— И их не берет никто. Кому нужен уголь в этой пустыне? — поморщился мосье Рено.

Рено и Бардэк пикировались всю дорогу. Бардэк восхищался ландшафтом. Рено поражался безлюдью. Он все брал под подозрение. Царство Копикуза явно не нравилось ему. Он бросил банку из-под шпрот и искоса взглянул на измазанные руки Кратова. Кратов перехватил взгляд, и скулы его покраснели. Он сжал пальцы, и в кулаке хрустнул уголь.

— Это не грязь,— сказал он.— Здесь самый чистый уголь во всем мире. Это лучшие коксующиеся угли. Смотрите, какая прелесть.

Кратов разжал ладонь и протянул Рено кусочки и крошки раздавленного угля. Они играли на солнце матовым неярким блеском.

Рено достал из кармашка лупу, протер ее замшей и взял двумя пальцами кусок. Он рассматривал его полминуты.

— Уголь обманул вас,— проговорил он язвительно и вежливо.— Он годится только для паровозных топок.

Отбросив кусок, он вытер пальцы носовым платком.

— Леонид Иваныч, разрешите ваш молоток...

Лутугин передал Кратову геологический молоток с длинной полированной ручкой. На камне Кратов растолок в муку несколько кусков угля. Он ударял яростно и осторожно. В коробку из-под шпрот он высыпал угольную пыль, утрамбовал ее, забил зазубренную отогнутую крышку и щели замазал глиной. Он разгреб костер, бросил банку в самый жар и высыпал сверху уголь из корзины. Зеленоватый дымок пополз по ветру. Кратов побежал к реке мыться.

Солнце заходило. Лутугин встал. Седая борода охватывала его лицо, как веер. Он показал рукою на юг. Уходящее солнце окрасило розовым какие-то далекие снежные грани высокой горы.

— Это гора Мустаг. По-русски — Белок. Мы видим ее за полтораста километров. Я не знаю места, где воздух так прозрачен.

Лутугин стал говорить о Сибири. Он влюбился в эту страну. Он вынул из бумажника и показал фотографию. На снимке была лутугинская группа спустя несколько

дней после приезда. Они расположились полукругом у сугроба снега. В центре стоял Лутугин с букетом цветов, которых не знает среднерусская равнина. Дикие орхидеи с чашечками величиной в маленький стаканчик; огоньки яркого и чистого тона, как хорошо обожженный кирпич; адонисы и пульзатиллы, из которых делают лекарства. Цветы собрали здесь же, рядом с сугробом. Это сибирская весна. Не сошел еще снег в затененных сопками впадинах, а рядом лопухи встают выше человеческого роста.

Чем дальше к востоку, тем воздух суше. В Казани суше, чем в Москве, в Омске суше, чем в Казани. Выстиранное белье в Сибири просыхает скорее. Рояли и пианино в Сибири рассыхаются, и в крупных сибирских городах есть специальные мастерские по переборке рассохшихся инструментов. Сухой воздух Сибири необыкновенно прозрачен. Вечерние зори и лунные ночи Сибири красивее западных. Звезды ночного неба крупнее. Весенний ковер богаче.

Кратов долго плескался и плавал. Он растерся на берегу докрасна. Солнце зашло. Из лодки он захватил ведерко с водой. Совсем стемнело, когда Кратов выгреб жестянку из костра. Глина почернела и потрескалась. Кратов не стал ждать, пока коробка остынет. Он поставил ее на ребро, прицелился и одним взмахом отбил крышку.

Красный камень отлетел и засветился в ночи. Трава вокруг него задымилась. Кратов плеснул из ведра. Камень зашипел и погас. Кратов взял его в руки, ладони ожгло, и Кратов кинул камень высоко вверх. Он шлепнулся о землю и не разбился. Угольная пыль спеклась. Камень был коксом. Все поочередно брали его, и он не пачкал рук.

— А много ли здесь угля? — спросил представитель Шнейдер-Крезо. Впервые в его голосе послышался живой интерес.

— По данным кабинета, двенадцать с половиной миллиардов тонн,— ответил Трепов.

Кратов вскочил:

— Я ручаюсь, что здесь несколько десятков миллиардов. Не меньше, чем в Донбассе.

— Разрешите сказать мне.

Все обернулись к Леониду Ивановичу. Мировое имя Лутугина известно французам.

— К вашему приезду я сделал приблизительный подсчет. Здесь шесть Донбассов. Здесь угля больше, чем в

Германии и Англии, вместе взятых. Здесь двести пятьдесят миллиардов тонн, господа.

Все молчали.

За четыре месяца работы Лутугин выяснил общий характер бассейна. В Донбассе он разработал свой метод прослеживания запутанных путей угольных пластов. Он ввел в науку слово «свита». Он тщательно собирал и изучал под микроскопом породы, идущие сверху и снизу пласта,— известняки, песчаники, сланцы. Угольный пласт идет вместе с облегчающими его породами,— они повсюду сопровождают его, как свита.

Лутугинцы разбились в Кузбассе на три партии и пошли по течению рек. На Томи, у деревни Балахна, был обнаружен выход колоссального пласта, толщиною в пятнадцать метров — выше четырехэтажного дома. Таких пластов Лутугин не видал нигде. По берегам рек, прорезающих бассейн, лутугинцы искали обнаженные горные породы. За сто, за двести километров от деревни Балахна они находили породы в точности такие, какие облегали выход пятнадцатиметрового пласта у Томи. Не видя угля, лутугинцы знали, где он проходит. В Кемерово они везли со всех сторон груды разноцветных камней. Первую свиту Лутугин назвал балахонской. Широкой лентой она шла вокруг всего бассейна, окаймляя его. За балахонской шла безугольная или пустопорожняя свита. Дальше — кемеровская. На поверхности свиты шли концентрическими кругами, в глубину бассейн походил на срезанный сверху кочан капусты. Нижний лист — балахонская свита, второй — пустопорожняя, третий — кемеровская и т. д. Угленосная чаша была глубиной в восемь километров.

Все молчали, и только Рено повторил еще раз:

— Кому нужен уголь в этой пустыне?

На следующий день Трепов повез иностранцев на Тельбес.

IV

На Тельбесе Трепова ожидал Павел Павлович Гладков, молодой профессор Томского технологического института. Мягкий, добрый человек с русыми волосами и развинченной походкой, он был самым даровитым из сибирских геологов. Ему поручил Кратов разведку руды.

Гора Тельбес подготовлена к приезду иностранцев. Гладков вместе с бароном Фитингофом — заместителем Кратова — еще раз оглядел ее. Они смотрели на гору сверху. Она стояла как на блюде. Штольни, пробитые в массиве магнитного железняка, открыты, и можно взглянуть в их темную пасть. Канавы и шурфы расчищены и обведены жидким мелом. Буровые скважины отмечены столбиками с надписями. Можно сразу понять, где и какого качества лежит руда. Река Тельбес омывает гору. Дно реки железное. Предполагалось, что руда идет дальше за реку и противоположный берег тоже железный.

Гора стояла на столе. Это макет, тщательно выполненный Павлом Павловичем Гладковым. Больше двух недель со дня получения известия о приезде Трепова Гладков мастерил из дерева и глины железную гору. Даже барон Фитингоф, присланный Кратовым, не мог не признать, что идея представить Тельбес в миниатюре — превосходна. Вместе с Гладковым он увлекся макетом и приклеивал веточки пихты на вершину горы.

— Владимир Федорович может увезти эту гору в Петербург,— сказал Фитингоф.— Он будет там всем показывать, сколько железа имеет в Сибири Копикуз.

Из Томска верхами прибыли повара. Волоком и вьюком — телега на Тельбес не проходила — доставили кровати на сетках, столовое серебро, белье. В корзинах привезли закуски, в ящиках — шампанское. У шорцев — маленького охотничьего народа с плоскими лицами и зоркими глазами — скупили рябчиков. Из комнат самого большого дома выкурили комаров и гнус. Окна забелели марлей. Дорожки к штольням и к реке подчистили и посыпали песком.

Восемнадцатого июля утром прискакал верхом Кратов. Под мордой его лошади гремел большой колокольчик,— в тайге так отгоняют медведей. Он обогнал кавалькаду Трепова и явился первым на Тельбес, чтобы проверить, все ли в исправности. Он прошел по дорожкам, заглянул в комнаты, узнал, что готовят ужинать. Все было в порядке.

О макете Гладков молчал. Он хотел сделать Кратову сюрприз. Миниатюрный Тельбес стоял на столе в конторе.

— Это что? — спросил Кратов.

Гладков, улыбаясь, разъяснил, указывая на столбики, тут же подсчитал запасы Тельбеса. Он округлил

цифру и подвел итог — шесть с половиной миллионов тонн.

— Топор,— сказал Кратов быстро.

Ему подали топор, и он с плеча, как забойщик, разбил в куски игрушечный Тельбес. Дерево, глина и стекло разлетелись по полу. Сторож, старик Костенко, качая головой, убрал остатки красивой игрушки.

Вдали звенели уже колокольчики Трепова и иностранцев.

Первый день отдыхали. Молодой Бардэк восхищался всем. Он сделал три дюжины снимков в душистой тайге, заросшей пыреем и густо оплетенной хмелем и синим башмачком. Виды Тельбеса он находил красивее швейцарских, пихты — стройнее кипарисов. Узнав, что шорцы язычники, он захотел непременно купить идолов из бересты и перьев. Был вызван охотник Майдаков, проводник Гладкова. Кратов переводил его рассказ. Француз записывал в книжку мудреные названия шорских богов: Ульгена — бога земли и неба и бога-разрушителя — Одазы, что значит отец.

Майдаков рассказал легенду шорцев о железе. Предводитель дьяволов Ярлык-Баш-Хан подрался с духом гор — Темир-Баш-Тагом — железной головой. Три дня и три ночи продолжался бой. Реки вышли из берегов. С деревьев опали листья. Гром стоял на горах. Предводитель дьяволов победил. Железная голова Темир-Баш-Тага разбилась на куски. С той поры появились в тайге горы из черного камня.

— Теперь эти горы принадлежат нам,— пояснил Трепов.

На следующее утро приступили к ознакомлению с Тельбесом. Павел Павлович плохо владел французским. С трудом подыскивая слова, он разъяснил, какие богатства таит в себе гора. Кратов помогал Гладкову в каждой фразе. Цифру запасов Кратов не назвал. Он сказал, что рудные богатства Тельбеса неисчислимы, что речь идет о десятках, а возможно, о сотнях миллионов тонн. Гладков понял, почему был уничтожен макет.

Пошли смотреть руду в натуре.

Штольня «Семейная» пробита в сплошной руде. В ней стены, потолок и пол — железные. Руда черна, и куски ее глухо звенят при ударе друг о друга, как чугун. Мелкая пыль магнитного железняка пристает к молотку и пуши-

стыми сосульками свешивается со стального бойка. Мосье Рено надел странную куртку, которая вся была покрыта маленькими карманчиками и казалась сшитой из них. В каждом карманчике лежал желтый холщовый мешочек под номером. Рено отбрасывал куски первоклассной руды, которые подносили ему. Он укладывал в мешочки пустую породу и куски руды с белыми жилками кальцита и золотистым налетом серы. Положив образец, он тут же что-то записывал в книжку. Гладков исподтишка передразнивал француза, и Трепов, улыбаясь, грозил ему пальцем.

В конторе на канцелярских столах, покрытых скатертью, сервировали торжественный обед. Шампанским запивали тосты. Рено сел за стол в своей куртке с карманчиками. Он никому не доверял ее. Он пил не меньше других, и казалось, его скептицизм начал таять.

Трепов провозгласил тост за союз русского и французского народов. С бокалом встал Кратов.

— Один из наших любезных гостей спросил, куда девать колоссальные сокровища угля в сибирской пустыне. Здесь, в глухой тайге, на тельбесских рудах мы воздвигнем металлургический завод. Наш кокс будет свежей кровью для одряхлевшего Урала. Сибирь,— огромная дикая страна, которая не знает железа,— поглотит миллионы тонн металла. Владимир Федорович поднял бокал за союз народов. Я пью за союз капиталов.

Все закричали «ура».

Рено поднялся для ответного тоста. За столом стихло, и все вдруг услышали звон колокольчика. Он звенел слишком лихорадочно. Видимо, верховой гнал галопом по просеке. Лошадиная морда показалась в окне конторы. Верховой подал телеграмму. Она адресована Трепову.

— Господа,— сказал Трепов, вскрыв телеграмму,— Германия объявила войну России.— И повернулся к Кратову: — Прошу распорядиться: немедленно лошадей.

Обед прервался. Рено не сказал своего тоста. Он вышел из конторы и выбросил камни из своих карманчиков.

Все поняли, что теперь вряд ли найдутся капиталы, чтобы освоить новый район, провести железную дорогу, заложить рудники и построить завод.

На дворе спешно седлали лошадей. Гости уехали под вечер, и Тельбес погрузился в темноту и неизвестность.

Глава третья

ТЕЛЕГРАММА

I

После революции пятого года дружина Курако рассеялась по белу свету.

Максименко вернулся из ссылки в Донбасс в 1913 году. Он отпустил длинные жесткие усы, черные и блестящие, как смоль. Такие усы носили его братья — чугунщик, раздавленный в Мариуполе, и «верховой», сгоревший на Брянке.

Максименко ехал в Юзовку — центр металлургического Юга — наниматься горновым или подручным. Из окна вагона видно было тяжелое красно-бурое облако. Будто прижатое к земле, оно недвижно лежит среди степи. Ветер обтекает, лижет его и не может сдвинуть. Это Юзовка. Скопище пыли непроницаемо для глаза — даже трубы завода не угадываются в нем.

В этом поселке солнце кажется грязным. Среди дня на него можно смотреть незащищенным глазом. Зелень в Юзовке не зелена. Черно-бурый слой мельчайших частичек руды и угля покрывает листья и траву. Этот налет можно снимать пальцем с глянцевитой поверхности листьев, как сажу с закопченного стекла. Сады директорской дачи и бальфуровского дворца, куда приезжает каждое лето из Англии главный акционер завода Арчибальд Бальфур, омываются ежедневно из брандспойтов.

Сквозь пробоину в заводской ограде Максименко входит на территорию завода. Десятки гигантских факелов пылают над батареями коксовых печей. Огонь ярко-красен даже при свете дня. Это сгорают коксовые газы,— старые коксовые печи Юзовки не знают приборов для улавливания газа. Всюду заметны следы разрушения и изношенности. Напирая плечами, катали продвигают вагонетки без рельсов, по чугунным плитам. Плиты сошли с мест, покосились, кое-где отбиты углы, и выбоины темнеют, как гнезда выпавших зубов.

По железной лесенке Максименко поднимается на рабочую площадку домны № 6. Горн протекает и свистит. Мокро и грязно.

Максименко спускается и переходит на рабочую площадку соседней печи. Он останавливается в изумлении. Несколько доменщиков лежат на сухом, чисто подметенном полу. Двое спят, Максименко видит это совершенно ясно. Один стоит, глядя в глазок фурмы сквозь синее стекло. Печь с головы до пят герметически закована в железную броню. Охлаждающая вода спрятана в трубки. Ни одной капли не проступает наружу. Максименко подбегает, наклоняется над спящими. Ровное дыхание, испарина на побледневших лбах. Они спят — в этом не может быть сомнения.

Максименко кричит, не помня себя:

— Где Курако? Где Курако?

Кто-то отвечает без удивленья:

— Он прошел на литейный двор.

Курако стоит во дворе доменного цеха. Он одет, как мастеровой,— синие широкие штаны, синяя куртка. Рядом высокий худой человек. Его странная шляпа — плоская, с широкими полями — бросается в глаза: такие шляпы носят ковбои в американских трюковых картинах.

На литейный двор прямо к печам въезжает коляска. Лакированные крылья матово блестят сквозь свежую пленку пыли.

С подножки соскакивает директор завода Адам Александрович Свицын. У него фигура спортсмена и танцора. Свицын — светский лев среди инженерства Юга, самая яркая его звезда, самая блестящая карьера.

Два человека подходят к Курако с разных сторон — директор завода и вернувшийся из ссылки горновой.

— Здравствуйте, Михаил Константинович,— говорит Свицын.— Из правления получен ответ на ваше предложение. Пойдемте...

— Курако? Константиныч? Ты ли?

Курако оборачивается и видит молочного брата. Они обнимаются, целуются, откидываются назад, смотрят друг другу в глаза и обнимаются вновь.

Курако мало изменился за восемь лет — он отпустил усы и бородку, глаза остались прежними — черными и блестящими, как черносливины.

Свицын прищуривает глаз. Он ожидает. Скулы двигаются, будто он жует.

Курако обращается к человеку в американской шляпе:

— Знакомьтесь. Это Максименко, я рассказывал о нем. Это Макарычев, Иван Петрович,— мой помощник.

Максименко не привык здороваться с инженерами за руку. У Курако все было иначе — Макарычев крепко тряхнул руку горнового.

— Иван Петрович,— говорит Курако Макарычеву,— слышали, получен ответ. Пройдете с Максименко ко мне. Я скоро приду.

Свицын пожевывает. Он садится вместе с Курако в коляску и молчит всю дорогу.

II

Максименко и Макарычев ждут Курако.

В Юзовке у Курако квартира в восемь комнат. Он занимает две, остальные пустуют. В самой большой комнате стены выложены книгами. Корешки, как разноцветные кирпичики, поднимаются до потолка. Здесь беллетристика, история, социология, и ни одной книги по металлургии. На большом столе несколько пузатых квадратных папок, похожих на переплетенные комплекты газет. Это знаменитый куракинский альбом чертежей. Из заграничных и русских журналов, из книг Курако вырезает чертежи, собирает из заводских архивов и вклеивает в альбом. Таких альбомов в России только два: у Курако и у профессора Михаила Александровича Павлова — отца русской металлургии.

Рядом с папками пишущая машинка «мерседес». Ее косой курсивный шрифт знают в Юзовке, в Мариуполе и на Краматорке. Курако отмечает интересные статьи в американских журналах, их переводят и размножают на «мерседесе». Курако рассылает их своим ученикам.

После ареста Курако отбыл ссылку в Вологодской губернии.

В 1910 году он вернулся к любимым печам. Свицын пригласил его начальником доменного цеха Юзовки.

В Юзовке Курако перестроил две печи — ввел наклонные мосты, американские глубокие горны, пушки для механической забивки лётки после выпуска. Печи шли ровно и выдавали чугуна вдвое больше, чем раньше.

Летом 1912 года в Юзовку, как обычно, приехал из-за моря Бальфур. Он имел обыкновение обходить завод в день

приезда. Курако приказал рабочим горна подмести площадку и, оставив одного дежурного, лечь, уснуть.

Через два часа на площадку поднялся Бальфур. Никто не вскочил. Бальфур покраснел. Курако стоял подле печи, ожидая взрыва негодования, но Бальфур повернулся и вышел, не сказав ни слова. Он прекратил обход и уехал в главную контору. Туда вызвали Курако. Курако сказал, что спящие у горна рабочие — высший класс доменного искусства. Если рабочие спят, значит, печь идет отлично, не зависает, фурмы не прогорают, вода не сочится.

— Я прошу одного,— сказал Курако,— разрешите мне быть первоклассным доменщиком.

Бальфур рассмеялся.

— Ваш юмор победил меня,— сказал он.

Три года провел Курако на Юзовке. За три года он дал Югу двух начальников доменных цехов, трех помощников и шесть горновых.

Студенты-практиканты целыми днями обстреливали Курако вопросами — он водил их к себе и переворачивал страницы огромного альбома.

В распоряжения сменных инженеров, ведущих плавку, Курако не вмешивался. Ошибки разбирались, когда инженер кончал смену.

— Пусть плавит сам,— говорил Курако.— Через год он будет готовым начальником цеха или из него никогда не выйдет доменщика.

Курако сам рассылал своих выучеников. Американские печи Мариуполя, привезенные мистером Кеннеди, и Краматорки, перестроенные Курако, повели инженеры, окончившие юзовскую академию. В Мариуполе и на Краматорке вновь ввели в употребление забытые, снятые с петель пушки. Ими управляли горновые, прошедшие в Юзовке школу Курако.

В 1912 году Курако увидел во дворе завода высокого худого человека в широкополой шляпе блином. Американская шляпа заинтересовала Курако, и он подошел к Макарычеву.

Макарычев только что вернулся из Америки. Два года Макарычев работал на заводе Герри — величайшем в мире, и только на Юзовском заводе в разговорах с Курако осмыслил, что видел за океаном. В Юзовке Курако открыл Макарычеву Америку. Разрозненные впечатления Макарычева получали идею в комментариях Курако и давали

форму, полновесную и плотную, мечте русского доменщика-американиста.

Металлургический процесс построен у Герри на основе непрерывного потока. С Верхних Озер движется конвейер пароходов с рудой к заводским пристаням. По железной дороге каждые пять минут подходят составы с углем. Гигантские грубые механизмы опрокидывают руду в огромные печи, неизвестные Европе. По непрерывной ленте к печам ползет кокс. Металлу не позволяют остыть до превращения в готовое изделие: в рельс, балку, цельнотянутую трубу. Жидкий чугун из ковшей выливают в сталеплавильные печи. Раскаленным болванкам стали не дают потемнеть. Огромные и красные, как свежеободранные туши, они подъезжают на железных платформах к колодцам блюминга. Потоки металла непрерывно льются в страну. Рабочих на заводе не видно. Слабые человеческие руки — будь их тысячи и десятки тысяч — не справятся с движением огромных масс металла и плавильных материалов. На заводе Герри люди нажимают рычаги и кнопки. Такой завод жил в голове у Курако. Такой завод лежал в альбоме чертежей. Такой завод во всех подробностях, в звуках и красках, вставал в рассказах Макарычева.

В дирекцию Новороссийского акционерного общества — ему принадлежал Юзовский завод — Курако вошел с предложением выстроить такой завод на Юге.

Максименко и Макарычев ждут прихода Курако. Что-то скажет ему Свицын, какой ответ получен из правления?

III

Они сидят у стола друг против друга — директор завода и начальник цеха, Свицын и Курако, самые прославленные имена металлургического Юга.

Свицын — первый после Курако — самостоятельно повел доменную печь на Юге. В списке директорского выпуска фамилия Свицына стояла первой. Вторым шел Скочинский. По всем предметам они имели круглые пятерки и на мраморную доску золотыми буквами были записаны оба — единственный случай в истории Горного института.

В 1903 году царское правительство решило провести керосинопровод Закавказской железной дороги. Шла жесточайшая борьба за колоссальный заказ на трубы. Побе-

ды добиваются Губонин и Голубев — владельцы Брянского завода в Екатеринославе. Договор готов к подписанию, но начальник цеха Пьерон заявляет, что брянские домны никогда не плавили литейный чугун и не годны для этого — они могут давать лишь передельный, идущий в мартен для передела в сталь. Сделка рушится, удача ускользает. К владельцам завода является Свицын. Он два года был в Екатеринославе на практике. Он берется дать первоклассный литейный чугун из екатеринославских печей.

С доверенностью правления Свицын едет в Екатеринослав. В его полное распоряжение предоставляется одна только что выстроенная печь.

Домну подготовляли к задувке. В те времена перед задувкой печь набивали сухими березовыми вениками, стружками, дровами. В фурменное отверстие просовывали раскаленный на конце лом — веники воспламенялись, и семь суток в печи горели дрова. Лишь после этого загружали шихту. Свицын смотрит, как подвозят к печи дрова, и отчаянное решение зреет в нем. Он уходит и бродит по городу, не замечая улиц. Теоретический расчет говорит, что печь можно сразу загружать коксом; он должен вспыхнуть моментально при соприкосновении с горячим дутьем — с раскаленным воздухом температурой 800 градусов. Свицын знает из иностранных журналов, что этот способ успешно испытан за границей. Опыт воспламенения кокса раскаленным воздухом демонстрировался в лаборатории института. В России никто не решался применить новую задувку домны: при неудаче можно погубить печь.

Свицын возвращается и приказывает отбросить от домны веники, стружки и дрова. Никто не понимает, чего он хочет. Свицыну изменяет выдержка, и он кричит:

— Очистить площадку печи! Все вон! Все к черту!

Свицын приказывает сразу загружать домну коксом, потом тяжелой шихтой по рецепту литейных чугунов.

Французы со всех цехов собираются к печи. Они стоят поодаль, и никто не подходит к Свицыну. Он сам поднимает клапан горячего дутья. Французы бросаются к фурмам и без синих стекол приникают к глазкам. В ту же секунду Свицын видит — Пьерон отпрянул от глазка, как обожженный, повернулся и, не сказав ни слова, медленно пошел прочь. Свицын не может справиться с собой, у него дрожат от радости руки — он понимает, что кокс загорелся

мгновенно. Через двадцать четыре часа печь выдала первую плавку — великолепный литейный чугун, марка ноль-ноль. В двадцать четыре часа Свицын стал знаменитостью. Он шел первым в списке директорского выпуска и первым сделал карьеру. Через три года после окончания института он получает две тысячи в месяц.

В пятом году на Брянском заводе дважды стреляли в директора. Его помощника убили. Пьерон удрал. Никто не соглашался занять пост директора Брянского завода.

Свицын не побоялся пуль. Оппозиционная интеллигенция собиралась в его квартире, как в салоне. Приставу он не подавал руки. Свицын дал понять правлению, что не откажется занять директорский пост. Он получил предложение и стал самым молодым директором Юга.

Они сидят у стола друг против друга, Курако и Свицын, самые прославленные имена металлургического Юга. Пятый год сделал одного директором, другого ссыльным.

Свицын говорит:

— Вышло так, как я предсказывал. Правление отклонило ваш проект, как безудержную фантазию.

— Почему? — спрашивает Курако тихо.

Свицын видит, что Курако больно. Ему хочется что-то сказать в утешение.

— Михаил Константинович! Вы превосходный начальник доменного цеха. К чему портить себе жизнь? Россия сильна мужиком. У нас сколько угодно самых дешевых в мире рабочих рук, и нет оснований вкладывать капитал в дорогие механизмы. Вам сорок лет. Зачем вы мучаете себя пустяками?

— А когда руки не захотят задешево работать?

— Вы витаете в облаках, Михаил Константинович, я стою на земле. Мы не поймем друг друга.

— Я не останусь на заводе,— тихо говорит Курако. Он встает и выходит из директорского кабинета.

Дома ждут его Максименко и Макарычев.

— Я фантазер и дурак,— говорит Курако Макарычеву.— Ничего не вышло. Уйду к бельгийцам в Енакиево.

— Возьмите меня с собой, Михаил Константинович,— просит Макарычев.

Он знает — если Курако велит, придется остаться в Юзовке вести перестроенные печи.

— И я с вами! Плюнь на все, Константиныч!

Курако невесело открывает крышку альбома.

IV

На Енакиевском заводе Русско-Бельгийского общества Курако пробыл два года. Там шесть печей, и в договоре была обусловлена переделка всех шести. Он получал двадцать четыре тысячи в год и обычно не имел денег. Никогда не отказывал подполью и содержал за свой счет в Петербургском политехническом институте двух студентов — сыновей ослепшего юзовского шлаковщика.

По-прежнему днем и вечером Курако ходил в синей рабочей спецовке. Он часто и много пил. Четверть водки ему выпить легче, чем четверть молока.

Вяло и неохотно перестраивал Курако енакиевские печи. Исчезла прелесть новизны. Он повторял пройденное — наклонные мосты, фурменные рукава Кеннеди, глубокий горн, герметическая броня.

Выплавка металла снизилась в годы войны. Транспортные артерии страны переместились, и железные дороги Юга пришли в расстройство. Станы не были подготовлены к прокатке нового сортамента металла, нужного войне.

Курако высчитал, что в сражении на Марне из французских и немецких пушек вылетело за три дня миллион двести тысяч тонн металла — за три дня треть годовой продукции всей России.

— Нечего спорить, кто победит,— говорит Курако.— Воюют металлом. У кого больше металла, тот победит.

Война давала колоссальные прибыли заводам. Можно было работать прескверно и загребать миллионы. В 1915 году Енакиевский завод получил пятнадцать миллионов прибыли. Юзовка — столько же. Курако злился и не сомневался, что Россию раскрошат вдребезги.

В начале 1916 года Енакиевский завод объявляет забастовку. Прорывается скопившееся недовольство. Рабочие требуют бесплатных квартир, доставки воды на квартиры и бесплатного угля. На митингах кричат: «Долой войну, долой самодержавие!»

В печах поднимается уровень жидкого чугуна. Он стекает через отверстия фурм.

— Спустить чугун? — спрашивает Максименко.

— Ну его к черту,— отвечает Курако.— Останавливай на ходу. После расплавим «козлы».

Забастовка кончается победой.

В двадцать дней Курако расплавил шесть «козлов». Это был новый рекорд, но Курако не радовался ему.

В конце 1916 года он закончил переделку печей. Ему нечего больше делать в Енакиеве. Его наперебой зовут южные заводы. Он уезжает, оставляя Макарычева начальником цеха.

Из вагона он смотрит на переделанные печи. К наклонным мостам катали подвозят свои тачки. Чугунщики клещами волокут сизые чушки. Нет бункеров, нет разливочных машин, нет американского непрерывного потока.

— Американцы,— говорит Курако, презрительно глядя на перестроенные домны.— Во фраках без штанов.

Курако кружит по Югу, смотрит заводы, где был мальчиком каталем, «тигром», где расплавлял «козлы» и перестраивал печи. Он чувствует себя усталым. Ему кажется, что ни один завод нельзя переделать. Надо срыть старье до основания и на ровном месте строить новые заводы. В Мариуполе Курако долго смотрит на море и вспоминает братьев Кеннеди. Курако перевалило за сорок. Что осталось ему в жизни? Ничто не влекло его.

В декабре 1916 года Курако приезжает в Юзовку. Он сидит одинокий в номере гостиницы и вспоминает слова Свицына: «Зачем вы мучаете себя пустяками?» В самом деле, зачем? Не проще ли кончить все сразу?

В номер приносят телеграмму.

«Юзовка тчк Гостиница «Великобритания» Курако тчк Акционерное общество Копикуз просит немедленно прибыть Петроград для переговоров строительстве металлургического завода гиганта Кузнецком бассейне Сибирь тчк Директор-распорядитель Кратов».

Глава четвертая

«С ЮГОМ КОНЧЕНО, БАРБОСЫ!»

I

В министерской ложе сидят трое — Трепов, Кратов и Шайкевич — член правления Копикуза, брат директора петербургского Международного банка.

Дума взволнована вчерашним известием об убийстве Распутина.

В правительственной ложе нет ни одного министра. Заседание близится к концу, идет вермишель — мелкие законопроекты.

Сонливый и толстый Родзянко объявляет:

— Переходим к законопроекту министерства путей сообщения о выдаче беспроцентной ссуды в двадцать миллионов рублей Акционерному обществу кузнецких металлургических заводов.

Секретарь читает проект. Чиновник министерства путей сообщения, одергивая парадный вицмундир, проходит к трибуне, чтобы быть наготове для справок.

— В порядке записи слово предоставляется члену Государственной думы профессору Постникову,— цедит Родзянко.

Трепов вынимает золотой портсигар и вспоминает, что в зале заседаний курить воспрещено.

— Сейчас начнут трепать мою фамилию. Трепка Трепова,— неуклюже каламбурит он.— Осип Петрович, пойдемте походим.

Трепов и Кратов выходят в коридор. Шайкевич пожимает плечами — слабость нервов высокопоставленного дельца вызывает в нем легкое презрение.

Волнение Трепова передается Кратову. Он вновь оценивает план Шайкевича, и сомнения поднимаются в нем.

Кратов не верит банкам. У петербургского Международного особенно плохая репутация. Кратов знает несколько дел, раздутых банком и брошенных, как ненужная ветошь, после удачной игры на повышение акций.

Шайкевич — большой Шайкевич, директор банка — предложил создать наряду с Копикузом новое акционерное общество для постройки завода. Правление Копикуза стало одновременно правлением Акционерного общества кузнецких металлургических заводов, председатель — Трепов, член — Шайкевич-младший. Брат большого Шайкевича был членом правления едва ли не всех акционерных обществ, которые финансировал банк: общества Бахмутской соли, Горско-Ивановского каменноугольного, Жилинского брикетного, Николаевского судостроительного и других.

— Зачем два общества в одном деле? — спросил Кратов.

Шайкевич ответил:

— Копикуз укрепился, нельзя его ставить под удар. Если дело с заводом сорвется, это не отразится на акциях Копикуза.

«Копикуз укрепился»,— повторяет про себя Кратов, прохаживаясь с Треповым по коридору Думы. Это сделал он, Кратов. Из шести миллионов рублей он получил четыре с половиной. Остальные растворились в банке. Кратов представил смету на закладку двух шахт в Кольчугине и в Кемерове, каждая на двадцать миллионов пудов в год. Бардэк настаивал на уменьшении вдвое масштаба работ, ссылаясь на стесненность рынка. Кратов наотрез отказался возиться с мелкими шахтенками: он хотел строить европейски оборудованные шахты.

— Кокс на Урал! Вот наш рынок! — твердил Кратов.

Он поехал к Цейдлеру, директору Надеждинска. От имени правления Копикуза Кратов просил Цейдлера принять заказ на рельсы. Цейдлер рассмеялся: заказы распределены вперед на три года. Кратов предложил Цейдлеру повышенную цену на рельсы.

— Сочувствую, но помочь не могу,— ответил Цейдлер.

Тогда Кратов, делая вид, что идет на крайнюю уступку, предложил Цейдлеру поставку кокса в обмен на рельсы. Цейдлер поднял брови,— с выжигом кокса у него все еще не ладилось,— и заключил сделку. Кратов получил рельсов на два миллиона рублей, не тронув капитала, и рынок для кокса.

Бардэк снял возражения.

Кратов выехал на юг в представительства французских и бельгийских коксовых фирм. Все коксовые печи России построены иностранными компаниями — Копперс, Эванс Коппе, Оливье Пьетт, Семет Сольве, Бремер и другие. Обратившись к любой из фирм, владелец коксующихся углей мог получить кокс без затраты капитала. Фирма строила коксовые печи за свой счет. Шахтовладелец доставлял уголь к коксовым печам и получал кокс. За выжиг кокса фирма опять-таки не брала ни копейки. Вознаграждением для нее был дым — побочные продукты коксования. Триста различных компонентов можно получить из каменноугольного газа — сернокислый аммоний для удобрений и взрывчатых веществ, анилин для красочной промышленности, духи, вазелин, аспирин и нафталин. В школах рисуют генеалогическое дерево — внизу кусок

угля, из него поднимается ствол, расходящийся на триста веток.

Коксовые фирмы имели миллионные прибыли. Высокие стены ограждали коксовые заводы в Донбассе. Туда не пускали русских инженеров. Фирмы охраняли секреты коксовых печей.

Кратов предполагал заключить договор на обычных началах — получить печи без затраты капитала. Ни одна фирма не согласилась рисковать капиталом в диком месте, в Кузбассе.

Кратов вспомнил поговорку французов о трудных положениях, которые создаются для того, чтобы выходить из них с выгодой. Он обратился непосредственно к французскому инженеру Пиррону, работавшему у фирмы Оливье Пьетт. Кратов стороной узнал, что фирма держала Пиррона в черном теле, мало платила ему, хотя он был знающим коксовиком-специалистом. Сделка с Пирроном стоила Копикузу дорого и состоялась быстро. С полным комплектом чертежей Пиррон сел с Кратовым в вагон петербургского экспресса.

В Петербурге Трепов, используя старые военные знакомства, получил от Главного артиллерийского управления заказ на поставку бензола и толуола — побочных продуктов коксования. Из них делают взрывчатые вещества для снарядов. Копикуз обязался выстроить коксохимический завод в восемнадцать месяцев — неслыханный для России срок — и получил под заказ ссуду в два миллиона рублей.

В Петербурге Кратова разыскал Оливье Пьетт. Он просил отказаться от договора с Пирроном.

— Вы зарезали фирму,— говорил мосье Пьетт.

Кратов неумолим. Оливье Пьетт согласился выстроить коксовый завод Копикуза, лишь бы Пиррон остался у фирмы.

Строительство начинается осенью 1915 года. Строитель Кемеровского рудника говорит, что в восемнадцать месяцев постройку закончить невозможно.

— Нам придется расстаться,— отвечал Кратов.— Мы найдем людей, которые сделают это.

Кратов назначает строителем рудника и коксохимического завода техника Садова, с которым работал в Донбассе. Сумрачный и нелюдимый Садов прошел тяжелый жизненный путь. Он сибиряк, уроженец Омска, не получив-

ший ни высшего, ни среднего образования. Он не курил и не пил, выбился в люди из монтеров, любил Сибирь, был предан Кратову, как пес. Рабочие боялись его — он суров и груб, может ударить под горячую руку.

В четырнадцатом и пятнадцатом Садов вел строительство Кольчугинского рудника. Он закончил там проходку шахты, выстроил рабочие казармы, колонию служащих и директорский дом. Дом директора-распорядителя Садов спроектировал сам,— там было два этажа, двадцать комнат, бильярдная и зимний сад, столовая на сто человек, комнаты для приезжающих, каждая с отдельной ванной и уборной.

Зимой 1915 года в Кемерове работы велись в тепляках — огромные тесовые коробки покрывали площадь стройки. К весне 1916 года на левом берегу Томи стоял готовый железобетонный каркас коксобензольного завода. Кратов носился по южным заводам, вырывая металл и огнеупор. Ооборудование ждали из Англии.

С каждым месяцем внимание Кратова все больше привлекала южная часть бассейна, смыкающаяся с рудами Тельбеса. Становилось очевидно, что лучшие богатства бассейна сосредоточены там. Заведующим южной группой Кратов назначил Перлова — инженера с двумя значками, окончившего Горный институт и математический факультет Петербургского университета.

Перлов восторгался углями Прокопьевска.

— Как могла природа создать такое чудо? Пласт семнадцать метров —и ни одного прослойка породы. Это чистый углерод. Природа герметически прикрыла его и хранила тысячелетья.

— Она хранила его для нас, Алексей Александрович,— отвечал Кратов.— Она ожидала, пока мы родимся.

Однажды Кратов рассматривал географическую карту России. Под рукой лежала готовальня. Он взял циркуль и воткнул острие в центр Кузнецкого бассейна. Другую ножку он оттянул до Минска и одним движением очертил полный круг — линия проходила через Батум, Одессу, Ригу, через пограничные пункты западного рубежа, пересекала Северный Ледовитый океан, шла сквозь Камчатку, резала пополам Сахалин и касалась Владивостока. Радиус круга был три с половиной тысячи километров. В центре находилась точка, вокруг которой сосредоточивалось три четверти угольных запасов страны. Он, Кратов, стоял

в этой точке, затаив дыхание, с циркулем в руках. Проносились неясные мечты. Об этой минуте он не рассказал никому.

Копикуз укрепился, но с металлургическим заводом все оставалось неясно. Французы опасались вкладывать капиталы во время войны. Летом 1915 года Трепов повез на Тельбес представителя английской металлургической и пушечной фирмы Виккерс. К финансовой связи переговоры не привели.

Дальнейшее расширение рынка кузнецкого угля упиралось в необходимость иметь металлургический завод, и Владимир Федорович Трепов сделал попытку достать деньги у правительства. Через брата — министра путей сообщения — он получил казенный заказ на восемьдесят семь миллионов пудов рельсов и скреплений. Банк создал новое акционерное общество. Кратов представил расчет мощности завода. Он настаивал на крупном масштабе — иначе не оправдывались капитальные затраты на сооружение железной дороги и освоение района. Трепов уговорил брата сделать следующий шаг — просить у Думы двадцатимиллионную беспроцентную ссуду для сооружения завода.

Трепов подходит к министерской ложе, приоткрывает дверь и слышит голос кадета Постникова:

— Придворная камарилья, бездарная в священном деле обороны, делит казенный пирог.

Трепов осторожно прикрывает двери и говорит Кратову:

— Походим еще.

Через десять минут в коридор выходит Шайкевич.

— Провалили,— говорит он Трепову.— Поедем в правление. Я вызову брата по телефону.

Большой Шайкевич молча выслушал рассказ о заседании.

— Скандал! — сказал он.— Общество металлургических заводов придется ликвидировать — с такой рекламой не покажешься на бирже. Строительство завода начнет Копикуз. У нас казенный заказ — это уже капитал.

Правление Копикуза испрашивает от министерства финансов разрешение на новый выпуск акций в двенадцать миллионов рублей.

Кратов телеграммой вызывает Курако.

II

В центре Юзовки два ресторана смотрят друг другу в окна — «Великобритания» и «Гранд Отель».

Шестнадцатого января 1917 года в «Гранд Отель» не впускали завсегдатаев. У дверей стоял розовый и пухлый человек.

— Ресторан закрыт,— говорил он, таинственно понижая голос.— Провожаем Михаила Константиновича.

Напротив, через улицу, старший официант «Великобритании» сообщал:

— Закрыто. Кутят доменщики. Провожаем Михаила Константиновича.

Даже старый татарин Джэп — так прозвали его англичане: джэп, по-английски, японец — не пускает никого в свой подвальчик на пятой линии. Утром шлаковщик Нестор, удивительный безобразник и знаменитый пьяница, передал Джэпу триста рублей от Макарычева и забронировал, выражаясь современным языком, все наличие ликеров и шампанского.

Кутеж начался в «Великобритании». Когда стол залили вином и в грязных тарелках появились окурки, доменщики всем гуртом перешли на свежие скатерти «Гранд Отеля». На рассвете пир угаснет у старого Джэпа, где подается только черный кофе и шампанское. После кофе доменщики пойдут к печам.

Пятьдесят человек сидят за длинным столом. Вперемежку расселись начальники доменных цехов, старшие и сменные инженеры, горновые, механики и силовики. Из Мариуполя, Енакиева, Краматорки, Екатеринослава съехалось куракинское братство — его ученики, птенцы его гнезда, русские американисты. Старший по чину здесь Белоконь — директор Тульского завода. Он единственный директор в этой компании инженерства и мастеровщины.

Курако сидит в голове стола, сбросив пиджак и оставшись в белой косоворотке, заправленной в брюки, и черной жилетке, застегнутой на пять пуговиц. По правую руку Курако — Максименко, слева — Макарычев.

— С Югом кончено, барбосы! — кричит Курако.

Шум мгновенно стихает. Все, кто сидел за столом, обожали своего Константиныча, и каждый чувствовал себя счастливым, когда Курако подходил к нему.

— С Югом кончено! — повторяет Курако.

Это нелепость. Но все пьяны, и никто не спорит.

— Через год мы устроим пир в Сибири. Кто приедет ко мне?

Все отвечают:

— Приедем, приедем...

Курако приглашает каждого в отдельности. Он знает геройские подвиги за каждым, вспоминает вслух, как лазали вместе в горячие домны, как распаривали «козлы» и перестраивали печи. Каждого спрашивает Курако:

— Поедешь работать в Сибирь?

С ним выезжает завтра десять человек. Остальных Курако зовет к пуску. Никто не отказывается. В ответ кричат:

— Да здравствует Курако, отчаянный доменщик!

Это высшая похвала.

— Вот кто отчаянный доменщик,— говорит Курако, показывая на Макарычева.— Иван Петрович, ты будешь начальником кузнецких печей. Согласен?

Макарычев встает и смотрит на Курако влюбленно:

— С тобой хоть на край света, Константиныч.

III

Три месяца Курако живет в петроградской гостинице «Астория». Он томится бездействием. Южане, которых он взял с собой, ежедневно приходят и спрашивают:

— Когда же наконец поедем?

Курако ничего им не может ответить.

Революцию он встретил вдали от родного Юга. Там шли забастовки, все кипело на доменных заводах, а он сидел, ожидая, чем решится судьба Копикуза.

Владимир Федорович Трепов разгуливал по улицам с пышным бантом из красного шелка. Он первый поднял шляпу при встрече с Шайкевичем-большим. Директор Международного банка не заметил поклона.

Трепов звонил Кратову:

— Осип Петрович! Приезжайте, расскажите о новостях.

— Приехать не могу, занят.

Трепов вздыхал и не сразу опускал трубку — он ждал, не пригласит ли его Кратов к себе. Трубка молчала.

Владимир Федорович надевал бант и шел к Аничкову дворцу. Канцелярию кабинета занял Совет рабочих депутатов.

Революция обесценила связи Трепова и сделала Кратова первым лицом в Копикузе. В новом министерстве торговли и промышленности Кратов чувствовал себя, как в инженерном клубе. Министерством управлял Степанов, горный инженер, приятель Кратова по Донбассу. Директором горного департамента стал инженер Малявкин. С ним Кратов учился в Горном институте и работал на донецких углях.

Посещая министерство, Кратов обычно проходил прямо в огромный кабинет, который занимал Петр Акимович Пальчинский, его ближайший друг, душа директорского выпуска. Смолоду Пальчинский считал себя анархистом, в пятом году был арестован и предан военно-полевому суду, бежал за границу, сблизился с Кропоткиным и женился на его племяннице. Он увлекался утопиями Уэльса и идеей технократии — государства, которым правят инженеры. В первые дни объявления войны Пальчинский вслед за Кропоткиным объявил себя оборонцем, примирился во имя победы с правительством царя, вернулся в Россию, работал в банках. Февральская революция сделала Пальчинского товарищем министра торговли и промышленности и председателем комиссии по государственной обороне. Он возмущался мягкотелостью Керенского, требовал введения смертной казни и разгрома большевистской партии. Он говорил Керенскому: «Объявите Петроград прифронтовой полосой, назначьте меня генерал-губернатором — и посмотрите, как наведет порядок горный инженер». Анархист рвался к власти, к военной кровавой диктатуре.

Кратов просил Пальчинского «провести» через Временное правительство подтверждение договора с кабинетом и казенного заказа на рельсы.

Пальчинский сочувственно кивал. Огромный нос делал некрасивым его подвижное лицо.

— Проведем,— успокаивал он.— Дело бесспорное. Я всегда советовал заняться Кузбассом. Минеральное топливо Уралу — это ведь моя идея.

Кратов знал привычку Пальчинского приписывать себе все крупные экономические планы. О чем бы ни заходил разговор, Пальчинский обязательно вставляет: «Я об этом

говорил, я это советовал». Кратов обычно защищал своего друга, когда Пальчинского называли хвастуном, Хлестаковым. Кратов объяснял, что Пальчинский — всеобъемлющий, энциклопедический ум, что он действительно размышлял и высказывался о великом множестве вопросов.

На этот раз Кратов сказал:

— Как же, как же... Ты Еве советовал соблазнить Адама. Все знают, что это твоя идея.

Решение вопроса задерживалось во Временном правительстве. Углепромышленники требовали отмены копикузовской концессии и распространения на Кузнецкий бассейн права свободных заявок, как в Донецком бассейне, как во всех бассейнах мира.

А Курако сидел без дела, впереди темнела неизвестность.

Двадцать девятого апреля утром его вызвал к телефону Кратов.

— Есть важные новости. Буду у вас через полтора часа.

Через час в дверь постучали.

— Входите, Осип Петрович, я жду вас.

В дверях не было Кратова. В комнату вошли четыре доменщика с Юга. Курако расцеловался с молочным братом. Максименко рассказал, что Курако избран членом Юзовского совета рабочих депутатов. Доменщики звали Курако на Юг. На заводах Юга явочным порядком вводится восьмичасовой рабочий день и рабочий контроль. Недалеко время, когда рабочие возьмут заводы в свои руки.

— Нас послали за тобой,— сказал Максименко.

Курако задумался. Снова раздался стук в дверь.

Вошел Кратов и вопросительно оглядел незнакомых людей.

— Говорите, Осип Петрович,— это мои друзья.

Кратов вынул из портфеля несколько хрустящих бумаг.

— Прочтите.

Курако развернул договор Копикуза с Временным правительством. Оно подтверждало все права и привилегии Копикуза, предоставленные ему кабинетом и свергнутым правительством. Копикуз получал ряд добавочных льгот.

— Когда можете выехать в Сибирь, Михаил Константинович?

— Поедем с нами, Курако. Тебя ждут в Совете рабочих депутатов.

Курако посмотрел на Максименко, потом на Кратова. Он сказал:

— Нет, барбосы, с Югом кончено! Завтра курьерским, Осип Петрович.

Глава пятая

ВАГОН №...

I

Из Петрограда до Москвы Гапеев ехал двое с половиной суток. Два матроса с маузерами пробили ему дорогу в вагон. Гинденбург стоял в тридцати километрах от Питера. Город эвакуировался. На поезд нельзя было попасть.

В день приезда Гапеев прочел в «Правде» приказ Реввоенсовета: «Каждый чех, обнаруженный с оружием в руках на линии железной дороги, подлежит расстрелу на месте без суда и следствия».

Леонида Ивановича Лутугина уже не было в живых. Он умер в 1915 году в Кузбассе. После приступа астмы, после четырехдневной голодовки, он выпил недоброкачественного молока и отравился. Кратов выслал из Томска лучших врачей. Они застали труп. Цинковый гроб Гапеев привез в Питер. За катафалком шло пятнадцать тысяч человек. Максим Горький вошел в комитет по увековечению памяти Лутугина.

Лутугинская группа не распалась. Каждую весну лутугинцы уезжали в Кузбасс. Бассейн раскрывал им свои тайны. Цифра, названная Леонидом Ивановичем,— двести пятьдесят миллиардов тонн,— была обоснована и подтверждена. Выплывала новая — четыреста миллиардов.

Весной восемнадцатого года никто не послал лутугинцев в Сибирь. Трепова арестовали и после убийства Володарского расстреляли на взморье против Кронштадта. Копикуз, казалось, перестал существовать. Советские правительственные учреждения покидали Питер.

Лутугинцы не могли там добиться толку и послали Гапеева в Москву. Они заканчивали составление геологиче-

ской карты Кузнецкого бассейна, и бессмысленно было терять лето.

Десять дней Гапеев курсировал от Главугля к Горному совету ВСНХ и обратно. Ему говорили, что в Сибирь едут на крышах и на буферах, что лутугинцы доберутся в Кузбасс только к зиме, что по дороге их укокошат чехи.

Никто не давал средств на продолжение разведок. Будучи решительным по натуре человеком, Гапеев плюнул и обратился в Совнарком. В Кремле его принял управляющий делами Совнаркома.

— Напишите... Я доложу о вашей просьбе... Позвоните мне через неделю...

— Через неделю... Пропадают золотые дни...

— Вы думаете, у Совнаркома нет более важных дел?

Гапеев уходит злой. Хочется бросить все и пробираться обратно в Питер. Он сидит в Москве без дела, мрачный и недовольный.

Через два дня Гапеев застает у себя в номере гостиницы человека в кожаном костюме. Его руки маслянисты и черны. На правом боку висит браунинг.

— Вы товарищ Гапеев?

— Да...

— Я шофер Совнаркома. Мне приказано немедленно доставить вас в Кремль. Пойдемте в машину.

В Кремле Гапеева встречает управляющий делами. Он сообщает, что Совнарком предлагает лутугинской группе выезжать немедленно, по возможности без задержек. Ленин распорядился предоставить лутугинской группе все нужное, не допуская ни малейшей волокиты.

— Владимир Ильич хотел бы, чтобы вы не думали о продовольствии, об одежде, а только о работе. Вам предоставляется отдельный вагон. Он будет продвигаться как военно-оперативный. Вот предписание комиссарам и начальникам станций. Желательно, чтобы вы были на месте через восемь — десять дней. Сколько нужно денег?

Гапеев прикидывает на бумаге. Управляющий делами округляет цифру и выписывает чек.

— Что нужно еще? Продовольствие... Одежда... Вот ордера... Нужны ли инструменты, приборы? Вот мандат... Машина в вашем распоряжении до отъезда. Поезжайте на вокзал и переселяйтесь в вагон. Охрану потребуйте от комиссара узла. Сообщения из Кузбасса шлите прямо сюда — Кремль, Совнарком.

— А чехи? — спрашивает Гапеев.

— Чехи? Мы их раздавим в две недели... Ну, не задерживайтесь, не теряйте времени... Счастливого пути...

Гапеев выходит с мандатами, ордерами и чеком. Его ждет машина. Он садится и не знает, куда ехать. Прежде всего к себе — обдумать, опомниться. Машина взлетает вверх по Тверской.

II

На Страстной площади Гапеев вскочил и дернул шофера за плечо.

— Стой, товарищ!

Гапеев видит знакомую фигуру. Согнувшись, медленно шагает Кратов и тащит на плечах чемодан. Сзади красногвардеец с винтовкой.

«Конец Копикуза»,— проносится в голове. Гапеев кричит:

— Осип Петрович!

Кратов оглядывается на крик. Пот заливает глаза, он никого не видит. Присев на чемодан, он вытирает лысину, лоб и шею платком.

Гапеев соскакивает с подножки.

— Куда вас ведут, Осип Петрович? А это что? Останки Копикуза?

— Поднимите-ка, батенька,— весело говорит Кратов.

Когда-то Гапеев славился своей силой. Он берет ручку, отрывает чемодан от земли и бросает обратно: чемодан мягко шлепается об асфальт. В Кузбассе Гапеев нажил грыжу, а в чемодане явно больше двух пудов.

— Чем вы его набили? Образцы тельбесских руд, что ли?

— Здесь десять миллионов восемьсот семнадцать тысяч керенками. Ссуда Копикузу от Советского правительства...

— А разве он не национализирован?

— Пока живем и здравствуем.

Кратов рассказал, что коллегия ВСНХ решила повременить с национализацией Копикуза. Две недели провел он в Москве в непрестанных хождениях по главкам, убеждая, что национализация Копикуза в данный момент преждевременна и развалит дело. Он виделся несколько раз с председателем ВСНХ.

— И вот...

Кратов похлопал чемодан по вздувшемуся пузу.

Гапеев рассказывает о своих новостях.

— Прекрасно... Еду с вами... Возьмете? — спрашивает Кратов.

— Пожалуйста... А почему вы пешком?

— Извозчика не найду... Дали охрану...

— Я вас подвезу... Садитесь...

Рука Кратова тянется в карман. Он нащупывает бумажку, чтобы дать красногвардейцу на чай. Тот стоит, усталый и мрачный, опершись на винтовку. Темное лицо, как истрескавшееся дерево, изрезано морщинами. На губах нет улыбки. Кратов передумывает. Рука выскальзывает из кармана, Кратов хватает ручку чемодана и тащит через площадь к автомобилю.

III

В 1918 году Ленин особенно много думал о востоке. Немцы захватили Украину. Прусские остроконечные лакированные каски появились в Ростове-на-Дону. Советская Россия потеряла Донецкий бассейн и металлургические заводы Юга. Страна потеряла девяносто процентов годовой добычи угля и семьдесят процентов выплавки металла. Ленин думал о востоке. Он писал, что Страна Советов, несмотря ни на что, может стать страной крупной индустрии, страной угля, железа, машин, электричества и химии, потому что пролетарская революция имеет в резерве гигантские запасы первоклассной руды на Урале и коксующегося угля в Западной Сибири.

Еще из Питера Ленин посылает на Урал телеграмму с предложением разработать проект создания «единой хозяйственной организации, охватывающей область горнометаллургической промышленности Урала и Кузнецкого каменноугольного бассейна».

Президиум ВСНХ объявляет конкурс на лучший проект создания комбината на основе естественных богатств Сибири и Урала. Срок конкурса — шестимесячный. Премия — десять тысяч.

Общество сибирских инженеров высказывается против конкурса. Кратов, бессменный председатель общества, выдвигает иное предложение. От имени общества он входит в переговоры с ВСНХ, заявляя, что в шесть месяцев проект создать невозможно, что десять тысяч ничтожное воз-

награждение. Общество предлагает выполнить работу в порядке договора и представляет смету. ВСНХ дает согласие, Кратов получает в Москве по смете деньги для общества на полугодие и везет их с собой вместе с десятимиллионной ссудой Копикузу.

Разработку урало-кузнецкого проекта Кратов мыслит как продолжение дела Копикуза.

Он всегда рассматривал Общество сибирских инженеров как одну из подсобных организаций в системе Копикуза, одну из фигур его шахматной партии. Общество и раньше занималось проблемой сбыта кузнецкого угля. Предложение ВСНХ подвернулось кстати. Кратову хочется как можно скорее получить вычисления наивыгоднейших вариантов урало-кузнецкого проекта с точностью до одной сотой копейки. Близится время завоевания Урала эшелонами кузнецкого кокса. Кратову кажется, что в осуществлении этого — его миссия на земле.

IV

В вагоне Кратов неразговорчив и замкнут. С ним в купе поместился профессор Владимир Климентьевич Котульский — крупнейший специалист по рудным месторождениям, приятель Кратова по Горному институту. Котульский ничем не напоминал геолога. Полный, медлительный, с породистым барским лицом и холеными розовыми ногтями, он походил скорее на оперного певца. Котульский и в самом деле обладал превосходным баритоном.

Человек двадцать геологов пристроились к вагону, предоставленному Совнаркомом лутугинской группе. Ехали все, кто оставил в Сибири незаконченную полевую работу.

По вечерам собирались группами, пели хором. Котульский солировал:

Что день грядущий нам готовит?
Его мой взор напрасно ловит...

Он ехал на разведки руды в Забайкалье и всю дорогу изводил Кратова. Над урало-кузнецким проектом он издевался:

— Возить уголь за две с половиной тысячи верст... У тебя его раскрадут по дороге...

— В Кузбассе свой завод будет,— вяло отвечал Кратов.

Котульский таил давнюю обиду на Кратова. Он был оскорблен, что Копикуз пригласил разведывать руду в Горной Шории не его, а какого-то Гладкова.

— Завод в Кузбассе? На тельбесской руде? — спросил Котульский и расхохотался.

Кратову захотелось выйти из купе, хохот Котульского действовал ему на нервы.

— О тельбесской руде поговори с Гладковым.

— Что такое твой Гладков? Разве есть в этой сибирской дыре хоть один настоящий ученый?.. Оскандалишься ты со своим Гладковым.

— Владимир, оставим этот разговор...

В Екатеринбург поезд прибыл на шестые сутки. Цвели липы. Белые пушинки садились на желтовато-серый, низкий, как черепаха, бронепоезд. На путях — люди с винтовками. Пулеметные ленты крест-накрест опоясывали грудь. Геологам объявили, что на линии идут бои и дальше вагон не пойдет. Гапеев с мандатом Совнаркома бросается к командующему фронтом. Он уверяет, что геологи стоят вне политики, что чехи не тронут лутугинцев и вагон проскочит в Кузбасс. Командующий рассматривает печать Совнаркома и обещает снестись по прямому проводу с Кремлем.

Геологи разошлись по городу. К вечеру они возвращаются в вагон с покупками и новостями. У Котульского пластырем заклеен нос. В городе он заинтересовался домом купца Ипатьева. Ограда была обшита неструганым тесом, будто внутри шла стройка. Котульский заглянул в щелку, и доска стукнула его по носу. Кто-то изнутри ударял прикладом и кричал:

— Проходи! Стрелять буду!

В доме Ипатьева сидел Николай Романов с семьей.

V

Вагон стоял на вокзальных путях. Кратов скучал в вагоне. Кремль не отвечал.

Достав циркуль, он вырисовывал диаграмму добычи угля рудниками Копикуза. Кружочки становились крупнее с каждым годом.

Семнадцатый год — год потрясения и развала — попрежнему давал повышение, добыча возросла на сорок шесть процентов. Кратов не допустил забастовок: не дожидаясь требований, он сам повысил ставки и сократил рабочий день.

Вся промышленность переживала депрессию, крупнейшие общества замирали, много предприятий национализировано, а Копикуз дышал легко и свободно в его, Кратова, руках.

Кратов тихонько напевает по-французски:

Труд-ные положе-ни-я соз-даются для того...

В купе входит Котульский со свежей газетой. Агитпункт вокзала ежедневно выдает для геологов по одному экземпляру «Правды».

— Поздравляю,— говорит Котульский.— Распрощайся с Копикузом. Сегодня декрет о всеобщей национализации.

Кратов кладет циркуль. Вспоминается карта, взмах руки, окружность от Батума до Владивостока.

Кратов говорит спокойно:

— Покажи.

Он читает:

«В целях упрочения диктатуры рабочего класса и деревенской бедноты, объявить собственностью Российской Социалистической Федеративной Советской Республики все принадлежащие акционерным обществам предприятия...

Подпись: Ульянов (Ленин)»

Кратов читает:

ОТ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ФИНАНСОВ

«Все акции и облигации объявляются аннулированными и не подлежат приему ни в государственных учреждениях, ни в частном обращении, как не имеющие никакой цены».

Кратов переворачивает лист. Он проглядывает подвал — «Пророческие слова», статья Ленина.

«Рождение человека связано с таким актом, который превращает женщину в измученный, истерзанный, обезу-

мевший от боли, окровавленный полумертвый кусок мяса. Маркс и Энгельс, основатели научного социализма, говорили всегда о долгих муках родов, неизбежно связанных с переходом от капитализма к социализму».

Кратов говорит:

— Они не родят.

Вагон стоит на вокзальных путях. Кремль не отвечает. Каждый день геологи читают «Правду».

«Правда», 4 июля

Открытие пятого Всероссийского съезда Советов состоится сегодня, 4 июля, в 2 часа дня в Большом государственном театре.

На съезд Советов прибыло около 1000 делегатов, большевиков — 617, других партий — 340.

Передовая — «Пятый съезд»:

Печать буржуазии усердно подсчитывает мандаты левых эсеров, прибавляет к ним максималистов, анархистов, новожизненцев. Некоторые прибавляют еще не менее 50 левых коммунистов и обнаруживают, таким образом, большинство против Совета Народных Комиссаров... Но мы должны разочаровать буржуазию. Ей еще не суждены триумфы. Партия большевиков и на этом съезде выйдет победительницей.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Чехословацкий восточный фронт. Златоуст занят противником.

«Правда», 5 июля

ПЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ

Свердлов. Итак, фракция левых эсеров покинула зал заседаний. Заседание Всероссийского съезда продолжается. (Аплодисменты.)

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Чехословацкий восточный фронт. Шадринск занят противником.

«Правда», 7 июля

ВО ВСЕ РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ РКП,
ВО ВСЕ РАЙОННЫЕ СОВДЕПЫ,
ВСЕМ ШТАБАМ КРАСНОЙ АРМИИ

Около 3 часов дня брошены две бомбы в немецком посольстве, тяжело ранившие графа Мирбаха. Мобилизовать все силы, немедленно поднять на ноги все для поимки преступников.

Председатель Совета Народных
Комиссаров В. Ульянов (Ленин)

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сегодня 6 июля около 3 часов дня убит бомбой германский посланник граф Мирбах.

Россия теперь по вине негодяев левого эсерства на волосок от войны.

На первые же шаги, предпринятые для захвата убийцы, левые эсеры ответили восстанием против Советской власти.

Все на свои посты! Все под оружие!

«Правда», 8 июля

ТЕЛЕГРАММА

Задерживать все автомобили. Везде опустить шлагбаумы на шоссе. Арестованных не выпускать без тройной проверки и полного удостоверения в непричастности к мятежу.

Ленин

ПОДРОБНОСТИ ЛЕВОЭСЕРОВСКОЙ АВАНТЮРЫ

Захватив центральный телеграф, левые эсеры разослали телеграмму по всем линиям:

«Всякие депеши за подписью Ленина, а равно депеши, направленные контрреволюционными партиями правых эсеров, меньшевиков, кадетов и монархистов, задерживать, признавая их вредными для Советской власти вообще и правящей в настоящее время партии левых эсеров в частности».

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ

Отдано распоряжение об аресте всех левых эсеров и прежде всего об аресте всех членов ЦК ПАРТИИ ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ. Оказывающих сопротивление при аресте — расстреливать.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Восточный чехословацкий фронт. Вследствие прорыва Волго-Бугульминской жел. дороги и недостатка сил Советской власти пришлось оставить Уфу.

«Правда», 11 июля

ЯРОСЛАВЛЬ В РУКАХ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

Белые выступили в ночь на 6 июля в 2 часа. Председатель Совета тов. Закгейм заколот штыками. Военный комиссар тов. Нахимсон захвачен в номере гостиницы «Бристоль». Он расстрелян во дворе офицерским отрядом... Населению сообщено, что Советская власть в Москве свергнута.

НА МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Англо-французско-сербскими войсками занята вся железнодорожная линия от Мурманска до Сорок. За вчерашний день неприятель продвинулся на 11 верст к югу от Сорок. Расстреляны члены Совдепа — Мальцев, Каменев, Вицук.

«Правда», 12 июля

Муравьев, бывший главнокомандующий войск внутреннего фронта, левый эсер, пытался двинуть войска на Москву. Получив отпор, он покончил самоубийством.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Чехословацкий восточный фронт. Ялуторовск занят чехословаками. В районе Екатеринбурга восстания против Советов подавлены.

«Правда», 16 июля

Сегодня в номере:

Германское правительство потребовало от Советского правительства допущения батальона германских солдат в Москву для охраны германского посольства. Совет народных комиссаров в этом отказал.

Коммунист!

Умеешь ли ты обращаться с оружием?

Справишься ли с пулеметом, с ручной бомбой, с минометом?

Если нет, немедля приди в свой район и запишись на обучение.

Будь готов защищать социализм!

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Восточный чехословацкий фронт. Бирск занят противником. Наши силы отходят.

«Правда», 17 июля

ПРИКАЗ ПО АРМИИ И ФЛОТУ

Среди военных специалистов было за последние недели несколько случаев измены. Мохин, Муравьев, Звягинцев, Веселаго и некоторые другие перебежали к иностранным насильникам и захватчикам!

Никакой пощады предателям!

«Правда», 19 июля

Сегодня в номере:

Николай Романов расстрелян.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Восточный чехословацкий фронт. Противник ведет наступление по двум железнодорожным линиям: Екатеринбург — Челябинск и по Западно-Уральской. На первой из указанных линий наши войска отошли в районе станции Мраморской.

«Правда», 24 июля

ПЕРЕДОВАЯ — УГРОЗА РАСТЕТ

Чехословаки взяли Симбирск. Волга перерезана еще в одном месте. Самая крупная артерия страны перехвачена тугой веревкой. Мятеж расползается, как жирное пятно на бумаге. Да здравствует натиск на врага!

Коммунист!

Умеешь ли ты обращаться с оружием?

Справишься ли с пулеметом, ручной бомбой, минометом?

ГУБЕРНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ

...Слово о текущем моменте предоставляется тов. Ленину.

«Последние дни,— начинает оратор,— ознаменовались крайним обострением дел для Советской Республики. Голод — самый отчаянный враг Советской России».

Товарищи!

Ввиду появления холеры в Москве прививайте себе противохолерную вакцину и убеждайте других делать это. Прививки производятся бесплатно.

РЫТЬЕ МОГИЛ БУРЖУАЗИЕЙ

Петроград. Введенная среди буржуазии повинность по рытью могил для холерных проводится энергично. Ежедневно обеспеченное население отправляется на рытье могил.

«Правда», 25 июля

Товарищи и граждане!

Чехословацкие банды временно лишили нас возможности получать и то скудное количество питания, которое мы получали до сих пор. Вчера и сегодня мы не могли совершенно выдавать хлеб населению. Приняты экстренные меры, чтобы добыть муку.

Товарищи рабочие!

В Финляндии и на Украине, где хозяйничают враги народа, на почве истощения работает новая болезнь под названием испанка. Что же будет здесь, где хлеба нет, если удастся дьявольский план взять рабочих измором.

Теснее революционные ряды!

Все на своих местах, все на страже в эти тяжелые дни!

ЯРОСЛАВЛЬ НАШ

Чрезвычайная комиссия выделила из общей массы арестованных 350 человек, в большинстве бывших офицеров. По постановлению комиссии эти 350 человек расстреляны.

ВОССТАНИЕ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ В ВОЛЬСКЕ

Вооруженные банды захватили Вольск, распространившись и на уезд.

КРОВАВАЯ РАСПРАВА В СЫЗРАНИ

Растреляннные рабочие насчитываются сотнями, если не тысячами.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Восточный чехословацкий фронт. Наши части с боем отходят к Екатеринбургу.

Номер «Правды» от 25 июля был последним, который видели геологи. Страна, как женщина, истерзанная, обезумевшая от боли, рожала новый строй.

Утром 29 июля геологи увидели чехов. Екатеринбург стал белым.

Гапеев растерялся. Что делать с мандатом Совнаркома?

Геологи сошлись в проходе и спорили, не зная, что предпринять.

Из купе выходит Кратов. За ним парикмахер,— Кратов никогда не посещает парикмахерских, вызывая мастеров к себе. Он выбрит, подстрижен и надушен. На нем новый костюм вместо дорожной тужурки — позолоченные молоточки празднично сияют на солнце. В руках поблескивает портфель крокодиловой кожи.

— Успокойтесь, господа. Прошу не выходить из вагона... Все дальнейшее я беру на себя...

Он вынимает из портфеля сложенный вчетверо лист плотной бумаги. Она голубая.

Это засвидетельствованная петербургским нотариусом полная доверенность акционерного общества Копикуз. Кратову передоверялись все права общества — он мог заключать договора на неограниченные суммы, продавать имущество общества и приобретать для него, отвечать на иски и вчинять таковые, производить любые расходы по собственному усмотрению, выдавать векселя, обеспеченные всем активом общества.

Через два часа Кратов возвращается из города. Вагон прицепляют к первому поезду, отправляющемуся на восток.

Через двое суток геологи прибыли в Омск. Там заканчивалось формирование временного сибирского правительства.

В Омске стояли несколько дней. Кратов пропадал в городе. Он провел крупную деловую операцию, заключил договор с сибирским правительством на поставку угля и получил в качестве аванса полтора миллиона керенками — они ходили у всех властей.

К пузатому московскому чемодану, покоившемуся всю дорогу на верхней полке, Кратов привязывает ремнями тяжелый маленький баульчик.

Он раздает лутугинцам удостоверения от нового правительства с предписанием военным и гражданским властям оказывать всяческое содействие геологоразведочной работе в Кузбассе.

С едва заметной усмешкой, потонувшей в усах, Кратов сообщает, что Павел Павлович Гладков получил портфель министра торговли и промышленности в новом кабинете.

Котульский прекратил остроты по адресу Гладкова. Вагон покатил дальше на восток. Его номер не сохранился для истории.

Глава шестая
ВОССТАНИЕ

I

Шампанское стынет в серебряных ведрах со льдом. Погоны мелькают среди черных фраков.

В зал входит Кратов.

Оркестр военнопленных мадьяр играет встречу. Кратов в дорожном костюме — сапоги на двойной подошве, инженерская куртка.

Пятого апреля 1919 года Кратов выехал из Томска в Кемерово. Через два дня на недостроенном Кемеровском коксохимическом заводе в маленьких печах упрощенного типа начнутся испытания коксуемости осиновских углей.

Пласты осиновского угольного месторождения выходили на реку Кондому как раз против площадки будущего металлургического завода. Осиновка — ближайший пункт к Тельбесу. Кратов был уверен, что результаты испытаний будут превосходны, но все же волновался. Он выехал, чтобы лично проследить за процессом коксования.

По пути в Кемерово Кратов остановился ночевать в Кольчугине и попал на офицерский бал. Кратову скучно, после дороги у него усталость и насморк. Поручик Зеленков, начальник гарнизона, бывший псаломщик, лезет к Кратову целоваться. Трезвые глаза Кратова брезгливо щурятся. Оркестр играет. Никто не замечает, что музыканты следят за стрелками на больших часах и переглядываются. Кратов исчезает с бала. Он идет в недостроенный директорский дом, где двадцать комнат, столовая на сто человек, бильярдная и зимний сад. Там ему приготовлена комната на ночь.

Поселок угрюмо чернеет сплошным пятном без единого огонька. Музыка прорывается сквозь двойные рамы. Часовой у казармы поглядывает на яркие окна. Из дверей пулеметной команды выставил рыльце «максим» с заправленной лентой. Офицерские комнаты на втором этаже пусты — все на балу. Кратов идет в темноте, сунув правую руку в карман, где лежит маленький браунинг без кобуры.

Когда-то здесь стоял сплошной березняк; три лета все трещало на этом месте — крестьяне рубили, тесали и вози-

ли лес. В 1913 году Кратов привез сюда триста шахтеров из Донбасса. Он отбирал их лично и всех знал по именам. Он приобрел для них крестьянские избы и каждому купил корову и свинью. Рабочие помесячно выплачивали за это. Теперь в бараках кольчугинских копей шесть тысяч человек. В бараках все знают фамилию Кратова. Там получают деньги, на которых стоит его подпись,— собственные деньги Копикуза, боны от рубля до ста. Их называют «кратовками» или «копикузовками», другими деньгами рабочим не платят.

В директорском доме Кратов ложится в постель, насыпает сухую горчицу в носки и надевает их. Горчичник у пяток на двадцать минут — лучшее средство от насморка.

Бал продолжается. Сменяются мазурки и вальсы.

Штейгер Вагнер выпивает последнюю рюмку и смотрит на часы. Две минуты первого. Аккуратный немец идет за калошами. Он рано встает.

В передней его сбивает человек в белье, весь в крови. Он влетает в зал и дико кричит:

— Восстание!.. Восстание!..

Офицеры сразу трезвеют, хватаются за оружие и кидаются к дверям. Оркестр ударяет залпом из шести револьверов. Падают тела. Офицеры выскакивают из окон. Дамы в бальных туалетах бегут в темноту.

Завыл гудок протяжно и тревожно. Из шахтерских бараков выбегают люди.

Поручик Зеленков бросается к казарме. Часовой пропускает, не спрашивая пароля. Едва Зеленков переступает порог, часовой выстрелом в спину кончает с поручиком. Это кольчугинский подпольщик, снявший часового.

Офицеры, отстреливаясь, бегут к лесу. По ним трещит пулемет.

Кратова поднял надрывающий душу гудок. Он подошел к окну и пытался разглядеть зарево пожара. Сквозь двойные рамы слышны выстрелы.

Кратов одевается, не попадая ногами в сапоги. Он выбегает на улицу и мечется, как слепой. Он знает: его не пощадят подпольщики. Год назад, в начале восемнадцатого, в контору Кольчугинского рудника пришли представители ревкома. Кратов собирался уезжать в Петербург: связь с правлением была утеряна, оно притаилось в столице, поток ассигнований иссяк. Перед отъездом Кра-

тов собрал администрацию рудника в директорском кабинете. Ревкомовцы вошли туда. На основании декрета о рабочем контроле они потребовали права участвовать в управлении рудниками.

— Мы считаем рудник своим,— сказал председатель делегации.

Кратов взглянул с интересом.

— Вы уверены, что сможете управлять копями? — спросил он.— Где достанете вы капитал?

— Вот наш капитал,— ответил шахтер.— Этим создано все.

Он положил узловатые темные руки на зеленое сукно стола, сжал и разжал кулаки.

— Прекрасно,— сказал Кратов,— хозяйничайте сами.

Он уехал в столицу, и с этого дня прекратилось поступление на рудник денег, материалов, продовольствия из томской конторы Копикуза. Не стало леса, не стало хлеба, не было наличности для выдачи заработной платы. Ревкомовцы отправляли продотряды на Алтай за зерном; требовали крепежного леса из Сибсовнархоза, уговаривали рабочих не разбегаться.

Когда пришли чехи, к конторе привели захваченных ревкомовцев. Преданный Кратову Садов, строитель Кольчугинского рудника и кемеровских коксовых печей, ударял тычком в губы и в носы связанных шахтеров. Его большой костистый кулак оброс коркой почерневшей крови.

Кратов, уже вернувшийся из Москвы в известном нам вагоне, сидел в директорском кабинете. Он подошел к открытому окну, посмотрел на расправу, поморщился, захлопнул прозрачные створки и наглухо задернул шторы.

И вот мечется он, как слепой, кровь мерещится ему. Он видит: чернеет в темноте чья-то оседланная лошадь. У него колотится сердце, он вскакивает в седло и мчится. В ушах свист — так свистит ветер и пуля. За ночь Кратов проскакал до станции Юрга. Он пишет телеграмму в Томск о восстании и вдруг чувствует острую боль в ногах. Со стоном снимает сапоги. К пяткам нельзя прикоснуться — кожа сошла. Второпях он забыл высыпать горчицу из носков. На коне он не почувствовал боли.

II

Через три дня Кратов, как обычно, сидит в своем кабинете в Томске. Он одновременно директор-распорядитель и председатель временного правления Копикуза. Все общества Международного банка, имевшие дела в Сибири, создали временные правления и поддерживали друг друга. Кратов изворачивался, перехватывая ссуды, выпуская «копикузовки», распределяя за половину номинала новый выпуск акций среди сибирского купечества.

Собранные крохи Кратов бросал на заводскую площадку и на южную группу рудников. Проектное бюро металлургического завода было переведено ближе к площадке — в город Кузнецк. Туда выехал со своим штабом сумрачный и неутомимый Садов, назначенный главным строителем завода. Центральное правление Копикуза оставалось в Томске.

Рядом с кабинетом приемная. Там ковры и картины. На столах образцы тельбесских руд и кузнецких углей. Без доклада в кабинет не входят. Докладывает о посетителях швейцар Константин. Обычно он спрашивает: «Как прикажете доложить?», уходит, возвращается и сообщает: «Просили немного обождать».

Сегодня все проходят мимо Константина без доклада.

Входит человек в адмиральской форме. Это брат Кратова — Михаил Петрович, адмирал Черноморского флота, друг Колчака, нынче начальник Томского гарнизона и вооруженных сил Томской губернии.

Он здоровается с Константином за руку. В 1918 году при Советской власти адмирал служил в Копикузе экспедитором — заклеивал пакеты, перевязывал бечевкой посылки и носил их на почту. С тех пор он сохранил дружеские отношения с некоторыми низшими служащими Копикуза.

— Что слышно на фронте, Михаил Петрович?

— Плоховато, Костя, отдали Уфу.

— Что же так, Михаил Петрович?

Адмирал вертит пальцами в воздухе. Он считает, что Колчак много лучше понимает в морских делах, чем в сухопутных. Не отвечая, адмирал проходит в кабинет.

— Ну, как? — спрашивает Кратов брата.— Что слышно из Кемерова, с Гурьевска?..

— Кажется, спокойно... Карательную экспедицию отправляем в Кольчугино завтра.

Дверь распахивается. Быстро входит Елена Евгеньевна — жена Кратова. Она любит благотворительность и верховую езду.

— Иоська! Я открываю сбор. Ты должен подписаться первый.

— Какой? Куда?

— В Кольчугине перебьют рабочих. Надо помочь сиротам?

— Но ведь их еще не убили, Елена Евгеньевна,— говорит адмирал.

— Давай лист, Леля...

Кратов целует у жены руку и смотрит на нее влюбленными глазами.

Он пишет крупными буквами:

«В пользу вдов и сирот рабочих Копикуза, погибших при подавлении кольчугинского мятежа,

И. П. Кратов — 1000 рублей».

— Теперь вы, Михаил Петрович.

— Мне неудобно, душенька...

— Ну, как хотите... Потом вот что, Иоська: я хочу сегодня на доклад Грум-Гржимайло. Возьмешь меня?

— Тебе будет неинтересно...

— Нет, нет... Офицеры собираются... Я обязательно поеду.

Братья договариваются о субординации между начальником отряда и прикомандированным к карательной экспедиции представителем правления Копикуза. Адмирал шутит, поминутно отвлекается, любезничает с Еленой Евгеньевной. Кажется, что речь идет о деловой поездке, а не об убийстве сотен людей. На листе бумаги Кратов аккуратно и быстро, без единой помарки, перечисляет необходимые меры содействия военных властей быстрейшему восстановлению добычи. Эту памятку он вручает адмиралу. Поболтав еще несколько минут, адмирал прощается и покидает правление.

В кабинет входит Курако в азяме — светло-коричневом костюме из грубой верблюжьей шерсти. Он посещает Кратова редко и всегда приходит запросто.

— Осип Петрович! Я перебрасываю свой штат из Кузнецка на Гурьевский завод.

— Почему?

— На фронте отступление. Будут мобилизовывать всех, кто не на заводах...

— Пожалуй, вы правы.

— Я беру с собой всех, кроме Близунова. С ним можете делать, что хотите.

— Почему?

— Из него не выйдет доменщика. Он слишком любит свою жинку...

— Фу, какой вы...— говорит Елена Евгеньевна.

— У вас странные взгляды, Михаил Константинович,— поддерживает ее Кратов.

— Доменщик должен любить только одну женщину — домну.

В кабинет входит Константин. Он наконец дождался посетителей, о которых следовало доложить...

— Приехали с коксом из Кемерова... Прикажете обождать?

— Давай их сюда сейчас же...

Кемеровцы привезли новости. В Кемерове не было никаких попыток к восстанию — испытание осиновских углей прошло спокойно в назначенный срок. Приезжие развернули упакованные в бумагу конусообразные серебристые куски. Кокс был превосходен. При ударе друг о друга куски издавали металлический звук.

— Прекрасно,— говорит Кратов.— Могу вас поздравить, Михаил Константинович. Вы будете иметь уголь для коксовых печей в трех километрах от завода.

— Разрешите, Осип Петрович, взять один кусок...

— Пожалуйста. Вы будете на докладе Грума?

— Приду...

III

Актовый зал Томского университета переполнен. Сидят профессора, инженеры, студенты, дамы. Много офицеров. В первом ряду Кратов. Рядом адмирал, геологи Гладков и Усов, профессор Гутовский и барон Фитингоф.

Грум-Гржимайло выступает против урало-кузнецкого проекта, выдвигая взамен собственный план — так называемый «план северной сибирской магистрали».

Проекты Грума всегда неожиданны и часто скандальны. Промышленники не допускали его к предприятиям.

Он не шел на сомнительные сделки и мешал темным делам акционерных обществ.

Грум вырос на Урале, стал лучшим мастером качественной стали, называл вздором все, что было написано о производстве черного металла, увлекся металлургией войны, изготовлением орудий смерти. Со всех заводов прогоняли его, как скандалиста. Студентом он прочел у Добролюбова, что русским писателям не даются практические деятели, Штольцы (из романа «Обломов»), потому что не с кого писать.

«Я решил стать Штольцем»,— записал Грум в своей автобиографии. Это не удалось ему. Цейдлер, умнейший делец Урала, директор акционерного общества Надеждинских заводов, сказал однажды Груму:

— Вы слишком порядочный человек, чтоб быть управителем завода.

Грум любил вспоминать эту фразу.

Грум выходит на трибуну. Он огромного роста, с длинными зубами, с насупленными мохнатыми бровями, седая борода спускается до пояса — настоящий дед-черномор. Его встречают аплодисменты.

— Господа,— произносит Грум.

В зал врывается ветер.

Не закрывая за собой дверей, в зал входит Курако и одиннадцать куракинцев вслед за ним. Все одеты одинаково — в светло-коричневые куртки и штаны из грубой верблюжьей шерсти. Среди них инженеры, окончившие по два высших учебных заведения, но ни один не носит форменной фуражки. Курако ненавидел инженерскую форму. Он говорил:

— Не тот инженер, у кого два молоточка на лбу, а тот, кто за рубль сделает то, что дурак за два.

— Господа,— повторяет Грум.— На свете есть страна, работающая черный металл на древесном угле в маленьких заводах, очень напоминающая Урал. Однако в противоположность Уралу железная промышленность не влачит в ней жалкого существования. Напротив, она побеждает на мировом рынке колоссы Западной Европы и Америки, ввозя свои изделия в мировые центры промышленности и культуры. Эта страна — Швеция. Она поставляет сталь недосягаемого для Европы качества. Эта маленькая страна справедливо вызывает удивление металлургов всего мира.

Курако всю жизнь воевал с металлургами немецко-бельгийского типа. Он впервые видел перед собой нового противника — представителя шведского течения — и слушал его с интересом.

Грум перешел к личным воспоминаниям о Швеции. Он рассказал о маленьких чистеньких заводах, об огромных лесах, прорезанных паутиной железных дорог. Железные дороги Швеции приспособились к малой населенности и к малой провозоспособности. Большинство станций упрощенного типа. Это домики в два окна с верандой для пассажиров. К проходу поезда начальник станции, он же стрелочник, телеграфист и сторож, отворяет станцию, пропускает поезд и возвращается к себе.

— В середине прошлого столетия,— продолжает Грум,— шведская железная промышленность находилась накануне краха. Рост коксовой металлургии и падение цен на железо на мировом рынке грозили совершенно погубить слабую металлургию Швеции, работавшую на древесном угле и потому поневоле дорогую. Шведы нашли выход. Они открыли свою страну для иноземного дешевого грязного железа и объединились для борьбы с мировой конкуренцией в области высших сортов стали.

Грум подходит к критике урало-кузнецкого проекта. Год работали над ним инженеры, геологи и профессора Сибири. Кипы экономических записок, таблиц, чертежей могут заполнить небольшую комнату. Основа проекта проста и понятна ребенку. Строятся четыре — только четыре — завода. Один в Сибири на рудах Тельбеса, три на Урале — у горы Магнитной, у Байкала и Алапаевска. Каждый завод американского типа, производительностью восемьсот тысяч тонн металла в год. Все четыре дадут мощность довоенной русской металлургии. Кузнецкий бассейн даст заводам кокс.

Грум говорит:

— Урал обладает самыми чистыми в мире, бессернистыми рудами. Чистота руд — столь драгоценное качество, что засорять их плавкой на коксе, всегда содержащем серу,— государственное преступление.

Грум изложил проект, которому Курако не мог отказать в остроумии. Грум предлагал провести круговую магистраль из Томска на Урал. Он называл ее Северной Сибирской магистралью. Свыше трех тысяч километров

железной дороги просекут сплошной массив почти безлюдных лесов площадью больше Германии. Отсюда Урал получит практически неисчерпаемое количество древесного угля.

Грум перечислил изделия, требующие высококачественного древесноугольного металла: цилиндры паровозов, поршневые пружины, изложницы, прокатные валы с закаленными поверхностями, детали автомобилей, инструментальная сталь.

— Кроме того...

Грум возвысил голос:

— Кроме того, уральские руды как бы специально созданы для предметов вооружения и обороны. На Урале мы возродим булат древних. История металлургии указывает, что все изобретения в ее области делаются и применяются прежде всего в военном деле. Война — это лаборатория мирной культуры. Человеческая культура проходит дорогую и суровую школу милитаризма и только путем этой школы познает возможности, вложенные в металл.

Грум подводил итог. Страна настежь открывает ворота потокам грязного коксового железа из-за границы. Урал становится мировым центром древесноугольного железа, несравненного по качеству. Россия выделывает лучшие в мире орудия войны. Этим она обеспечивает свою мощь в концерне мировых держав. Миллионные капиталы, русские и иностранные, частные и государственные, надо направить не в Кузнецкий бассейн и не в четыре сверхгиганта, а на сооружение Северной Сибирской магистрали и в уральскую древесноугольную промышленность.

Кратов не пошевелился в течение всего доклада. Проект Грум-Гржимайло резал под корень дело, которому он посвятил себя.

Общество сибирских инженеров разрабатывало урало-кузнецкий проект по заданию Высшего Совета Народного Хозяйства на советские средства. Пока Гладков был министром, власти смотрели на это сквозь пальцы. Когда Колчак стал диктатором и создал новое правительство, Кратова вызвал премьер Вологодский,— раньше он был присяжным поверенным в городе Томске.

— Вы занимаетесь странными делами, Осип Петрович,— сказал Вологодский.— Знаете, как называется то, что совершаете вы, работая для большевиков?

— Для большевиков? — переспросил Кратов.— Я никогда не работал и не буду работать для них. Ни для них, ни для кого другого. Вы знаете меня не первый день, Петр Васильевич. Я создаю проект, пригодный для любой общественной структуры и нужный всякой власти.

— Как хотите, Осип Петрович! Я не делаю формального запрета, но предупреждаю. Это опасная дорожка. Советую оставить ее. Подождите до спокойных времен и придумывайте тогда что угодно.

Разработка урало-кузнецкого проекта свернулась. Кратов дорабатывал его в своем домашнем кабинете с самыми близкими людьми. В основу расчетов Кратов клал принцип коммерческой выгоды. Смета полного осуществления урало-кузнецкого проекта составляла миллиард рублей золотом. Вся южная промышленность — металлургические заводы, шахты Донбасса, рудники Криворожья — стоила четыреста миллионов. Миллиард не пугал Кратова, он строил проект так, чтоб его можно было осуществить по частям, растягивая сроки хотя бы на столетие. Даже постройка каждого завода в отдельности мыслилась по принципу концентрических кругов — сначала две домны, четыре мартена и один прокатный стан, потом еще две домны, четыре мартена и стан, потом еще и еще.

Лишь одна проблема оставалась неразрешенной. Кратов ночами думал о ней и не мог ничего придумать. Уголь при перевозке в обычных условиях удваивается в стоимости через каждые шестьсот километров. Переброска огромных масс кузнецкого угля на Урал станет коммерчески выгодной при условии сооружения сверхмагистрали — прямой, как натянутая нитка, и абсолютно ровной, без единого подъема и спуска. Треть миллиарда падала из сметы на сверхмагистраль. Ее нельзя вводить в действие по частям — тут требовалось триста пятьдесят миллионов сразу.

Банки не подымут этой суммы. К большевикам Кратов не относился серьезно. Он считал их падение неизбежным. На правительство военной диктатуры Кратов не рассчитывал: кумир военных — Грум, колчаковцы поддерживали его.

В одну из бессонных ночей Кратов впервые подумал об инженерном правительстве, вспомнил Пальчинского и улыбнулся. Инженеры всегда смеялись, когда Пальчинский, размахивая руками, фантазировал о государстве, ко-

торым правят инженеры. Кратов усмехался вместе со всеми, как практик и реалист.

Бессонной ночью, в тупике от бесплодных поисков реальной комбинации, Кратов взвесил идею Пальчинского. Она уже не казалась смешной.

Кратов сидел сутулый и скучный. Он плохо слушал Грума и думал о проблеме транспорта.

Грум проявлял в Сибири кипучую активность. Он расколол надвое томскую профессуру. Многие отошли от Кратова. В Томске в Обществе сибирских инженеров уже действует урало-сибирская комиссия под руководством Грума, наподобие урало-кузнецкой.

Профессор Поварнин ведет опыты над улавливанием продуктов перегонки при производстве древесного угля. После доклада Грума Поварнин будет демонстрировать керосин из древесины, порох и шелк из древесины и множество других чудес.

Грум заготовил эффектный конец речи.

— Любопытно,— сказал он,— что, составляя сокращение, как это теперь принято, для древесноугольного железа, мы получим слово — «друг». Древесный уголь действительно есть истинный друг русского народа.

Под шум оваций Грум сошел с трибуны.

— Генеральский бред! — раздался выкрик из зала.

Все обернулись. Крикнул Курако.

— Вывести его! — закричал один из офицеров.

На офицера зашикали. Странному украинцу, чья слава украшала город, позволялось многое, что не прощалось другим.

Курако попросил слова. Одиннадцать человек в верблюжьих куртках и в верблюжьих штанах захлопали ожесточенно и весело.

Курако говорил коротко и резко. Он сказал, что грязное железо — это рельсы, паровозы, машины, заводы. Стране серой и нищей нужны миллионы и миллионы тонн грязного металла. На пятьсот килограммов железа идет один килограмм качественной стали. Отказаться от выплавки грязного железа и вместо этого лить пушки из древесноугольного металла — нелепость, плод разгоряченного генеральского воображения.

В переднем углу поднялся офицер и что-то прокричал. Курако остановился на полуслове. Он хотел сказать, что

берется выплавить в новых американских печах металл, не уступающий качеством древесноугольному, что изумительная чистота кузнецких углей позволяет добиться этого. Выкрик офицера отвлек его. Неясная мысль шевельнулась у него. Курако показалось, что не это и не здесь он должен говорить. Он посмотрел по рядам, увидел погоны, петлицы и не захотел больше говорить.

Курако махнул рукой и сошел с трибуны, недовольный собой.

Елена Евгеньевна наклонилась к мужу:

— Мне нездоровится. Проводи меня домой.

Кратов не мог уйти и обратился к Гутовскому. Профессор с готовностью встал. В трудные времена он сохранил верность Копикузу. Он работал с Кратовым с 1914 года, выбирал площадку для завода, поворачивал вместе с Гладковым общественное мнение Сибири в пользу нового начинания и председательствовал в урало-кузнецкой комиссии.

На трибуну входил Гладков. Бывший министр возглавлял Сибирский геологический комитет и выступал против Грума.

— Господа...— начал Павел Павлович.

Внизу щелкнул выстрел. Еще и еще... Публика вскочила. В руках офицеров замелькали револьверы. Заметались истерические крики. Начали прыгать из окон.

Гутовский получил в раздевальне пальто Елены Евгеньевны. К ним подошел офицер-каратель, влюбленный в Елену Евгеньевну.

— Попрощайтесь со мной, Елена Евгеньевна. На рассвете я еду прямо в бой.

Он протянул ей руку.

— Вы мне надоели, уйдите,— сказала она и не подала руки.

Капитан выхватил револьвер и выстрелил несколько раз. Последний патрон пустил себе в висок и упал мертвый.

Елена Евгеньевна еще дышала, ее сейчас же увезли в университетскую клинику. Когда Кратов пробился в раздевальню, там швейцар, отталкивая любопытных, вытирал половой тряпкой лужицы крови. Кратов бросился в клинику. Елена Евгеньевна умерла на извозчике, не приходя в сознание. Кратов вернулся домой, упал головой на письменный стол и всю ночь оставался как каменный. При-

ходили и уходили люди. Кратов не сделал ни одного движения. Только к утру он заплакал. В комнате был Гладков. Кратов посмотрел на него и сказал:

— Теперь мне остался только Копикуз.

Елену Евгеньевну похоронили в тот же день. Кратов не проронил больше о ней ни слова. Вечером после похорон он спросил брата:

— Карательная экспедиция выехала?

— Да. Восемь пулеметов. Начальником полковник Ромашев.

IV

Следующей ночью к Курако постучали. Экономка Анна Ивановна впустила невысокого худого человека с глубоко запавшими черными глазами. Иногда он приходил каждую ночь, иногда исчезал надолго.

Это Сергей Дитман, большевик, член томского подпольного комитета партии. Когда-то, еще до войны, он работал у Курако в Юзовке студентом-практикантом, в 1914 году был арестован и сослан в Нарым.

В дни колчаковщины Курако встретил его на одной из улиц Томска и радостно кинулся с протянутой рукой, крича:

— Дитман, вы ли?

Дитман вздрогнул, быстро взглянул. Курако почудилось что-то странное в его лице, потом выражение изменилось, мелькнуло облегчение, в глазах вспыхнул огонек улыбки и исчез, словно прихлопнутый. Лицо стало отчужденным и непроницаемым.

— Вы ошиблись, я Харин, а не Дитман.

— А-а-а...— понимающе произнес Курако. Потом покраснел и вспылил: — Ты что, барбос, Курако подлецом считаешь?

Дитман молча пожал ему руку.

Сейчас он сидит в кабинете Курако и, забыв об остывшем чае, рассказывает подробности восстания. Он говорит негромко, перемежая речь длительными паузами. Ему тяжело. Он знает, хотя и не сообщает Курако, что в Кольчугине поднялись раньше времени, не зная, что срок перенесен. Этим сломан план общего всекузбасского восстания и кольчугинцы обречены на разгром. Посланы люди, чтобы вывести их в тайгу к партизанам.

Дитман скупо повествует. Курако сидит на столе, обхватив руками колено, и слушает не перебивая.

— Вчера отправились каратели,— говорит Дитман и вновь замолкает.

Курако вспыхивает и нервным движением выхватывает из кармана браунинг:

— Вот. Возьмите.

— Зачем? У меня есть...

— Кому-нибудь понадобится.

Дитман пристально смотрит на Курако. Курако вдруг густо краснеет и отводит глаза. Во взгляде Дитмана он прочитал: «Что же ты, оружье отдаешь кому-нибудь, а сам?»

Револьвер чернеет на протянутой ладони, Курако смотрит в сторону, залившись краской стыда. В мыслях смятение, весь жизненный путь в эту минуту кажется неправильным. Он сует револьвер в карман и искоса взглядывает на Дитмана. У того на лице хорошая улыбка. Курако невольно улыбается в ответ, вскидывает голову и произносит:

— Я пригожусь вам вместе с этой штукой.

Дитман молчит, его глаза просветлели. Курако шагает по комнате, овладевая собой. Прерывая затянувшееся неловкое молчание, он спрашивает:

— А что там?

Взмахом руки он указывает куда-то далеко. Дитман понимает. Он рассказывает последние новости о Советской России. На Юге белых теснят — взяты Бердянск, Мариуполь, Юзовка. Знакомые названия вызывают улыбку воспоминания у Курако,— там сражается сейчас его доменная гвардия, отвоевывая заводы.

На Восточном фронте плохо — Колчак подступает к Волге. Внутри тяжелей всего с транспортом, на месяц совершенно прекращено пассажирское движение, чтобы протолкнуть к центру уголь и хлеб. На днях закончился Восьмой съезд партии, там принята новая партийная программа.

— Вот, вот, расскажите.

Дитман отвечает, что новая программа в Сибирь еще не дошла, но в прошлом году, в период передышки, Ленин много писал о том, как организовать хозяйство.

— Подробнее, подробнее,— просит Курако.

Дитман оживляется, голос становится звучнее. Статьи Ленина были не только прочитаны, но и пережиты им. Он говорит, каждая его фраза согрета чем-то глубоко личным и оттого приобретает какую-то добавочную силу сверх своего логического смысла. Ему самому было бы невозможно различить, если б он захотел это сделать, где он пересказывает Ленина и где говорит свое, много раз передуманное, отложившееся из жизненного опыта.

Курако слушает, налегши на стол, подперев голову руками и неотрывно глядя в лицо Дитмана. На минуту ему становится странно: две тысячи километров отделяют Томск от черты фронта, за которой изнемогает Советская республика, далеко вокруг властвуют колчаковцы, в этот час они чинят, быть может, расправу в Кольчугине, а Дитман с увлечением говорит об организации социалистического общества.

— Вопрос будет решаться тем,— восклицает Дитман,— сумеем ли мы, сумеет ли социализм создать более высокую производительность труда по сравнению с капитализмом.

— Неужели Ленин так и написал?

Стараясь быть точным, Дитман приводит наизусть некоторые выдержки.

— Как это верно, как это верно! — произносит Курако.

— Прежде всего придется преодолеть расхлябанность, распущенность, падение дисциплины.

Возбужденный разговором, Курако с воодушевлением развивает свои планы преобразования России. Центр металлургии и угля будет в Кузбассе, здесь он построит невиданные во всем мире домны. Его черные глаза блестят.

Они сидят далеко за полночь. Курако сам стелет гостю постель на кожаном диване и спрашивает:

— А как там доменные печи?

— Где-то я читал, что одна еще работает.

— Какая? Где?

— В Енакиеве.

— В Енакиеве? Мои барбосы? Откуда вы все это знаете?

Дитман улыбается, не отвечая. За окном синеет. Ночь прошла незаметно.

— Ну, ложитесь, ложитесь,— говорит Курако.

Пожелав спокойной ночи, Курако идет к двери и на

полдороге останавливается. На лице непривычное смущение.

— Мне хочется...— неуверенно говорит он.

С письменного стола он берет серебристый кусок кемеровского кокса.

— Мне хочется переслать это в Россию, на Енакиевский завод. Не знаю, можно ли...

— Кому там передать?

— Инженеру Макарычеву.

— И что сказать?

— Ничего. Это первый кокс Кузбасса. Они сами все поймут.

— Экий вы неисправимый доменщик. Давайте.

Дитман улыбнулся, качая головой.

V

Самодельный броневик и эшелон повстанцев были разбиты карателями около Раскатихи. Повстанцы уходили в тайгу.

Утром каратели на конях влетели в Кольчугино. Поселок был оцеплен.

В штаб отряда сгоняли прикладами все взрослое мужское население. Начался допрос и проверка документов.

Весь день около штаба стояла длинная очередь. Впускали через одну дверь, выпускали в другую.

У тех, кто выходил из дверей, были землистые лица. Их мутило от противного сырого запаха крови и страшных криков. Подозрительных избивали и сбрасывали в подвал.

На рассвете начались расстрелы. Людей уводили к лесу. Трупы убирать запретили. Собаки выли по ночам и бегали с окровавленными мордами. На третьи сутки стали расстреливать днем.

Военным приказом оставшиеся по гудку спускались в шахты. Везде сверкали штыки и шашки наголо.

Каждую ночь рабочие тайком уходили в тайгу к Рогову и Новоселову, наводившим ужас на колчаковцев.

Пустые места на барачных нарах занимали прибывающие сибирские крестьяне.

Черная пыль, прокаленная жарким солнцем, садилась на огромный холм братской могилы, не отмеченный ничем.

Глава седьмая

ЧЕРНОЕ ЗНАМЯ

I

Маленькие тюремные окна пробиты высоко, под самым потолком. Светит луна. Тени решеток накрест перечеркивают каменную стену.

Слышится шепот. Людей не видно. Они лежат, притаившись, укрытые мягкими охапками стружек. Их двенадцать человек — проектное бюро доменного цеха Копикуза.

Чернеет толстое железное кольцо, намертво вделанное в стену: когда-то к нему приковывали каторжников на ночь. Курако пробирается к двери. Он шуршит в стружках, как мышь. У дверей он замирает и прислушивается. Тишина. Давно смолкли скрипы саней на дороге.

Белые ушли с Гурьевского завода. Опасаясь, чтоб они не забрали с собой конструкторов, Курако спрятался с ними в стружках модельного цеха.

Когда-то Гурьевский завод был сереброплавильным и принадлежал кабинету его величества. Он выстроен каторжниками. В старинной книге приказов писали гусиным пером: «Рабу божьему имярек отпустить полста розог».

Триста километров отделяют Гурьевский завод от железнодорожной магистрали. На лошадях везут к заводу уголь и руду, на лошадях отправляют железо.

Завод считается работающим на оборону. Курако перебросил сюда свою группу и включил ее в штат завода. Это гарантировало от мобилизации.

Осматривая впервые завод, Курако отплевывался и хохотал. Маленькая домна с открытым колошником не зашита железной броней. Огонь выбивается сквозь щели каменной кладки и длинным синим языком выхлестывает кверху. Руду и уголь возят на колошник лошадьми по деревянному помосту. Чугунную летку забивают березовыми клиньями, «пихлами» — от слова пихать.

Вода — единственный источник двигательной силы завода. Из пруда — его называют «водяной ларь» — лавина воды ниспадает на огромное деревянное мельничное колесо. Дутье в доменную печь подается деревянной возду-

ходувкой. В огромных деревянных чанах медленно ходят вверх и вниз деревянные поршни, нагнетая воздух.

— Черти! — хохотал Курако.— Деревом железо делают. Эх, Сибирь деревянная!

Из дерева сделан в доменном цехе подъемный поворотный кран в виде огромной буквы Г. Даже механические молоты в кузнице деревянные.

Курако долго стоял у деревянного молота. Молот поднимался медленно, еле полз и внезапно срывался со страшной силой, расплющивая податливое раскаленное железо.

— Гордишься, старик? — сказал Курако и потрогал горячую обугленную поверхность молота.— Думаешь, дерево сильней железа? В музей тебя, чудака, поставим.

Около года провели куракинцы на Гурьевке. В лунную декабрьскую ночь 1919 года, зарывшись в стружки, они выждали ухода белых. Завод остался без власти. Белые ушли, красные не приходили.

II

Отряд Рогова идет на рысях из Кузнецка па Гурьевский завод.

Переднюю кошеву несет отобранная у золотопромышленника пара коней, гладких, как налимы. Дуга увита красными лентами. Полощется по ветру большое черное полотнище — черное знамя отряда.

Трое суток провели роговцы в Кузнецке. Они вошли туда без боя, как почетные и званые гости. Белый гарнизон Кузнецка поднял восстание, и начальник гарнизона полковник Скурат был убит из пулемета, когда скомандовал пулеметчикам открыть огонь по восставшим. Наступающие красные войска были еще далеко. Кузнецкий ревком разослал гонцов в тайгу искать партизан, звать на помощь.

Отряд Рогова, обмерзший, обтрепанный, изголодавшийся, скрывался на звериных тропах от карательных отрядов. На войсковые соединения белого тыла роговцы наводили панический страх. Они обрушивались внезапно и деревянными саблями рубили наповал. Пленных не брали. Всем смерть.

Нестройной тысячной массой с присвистом и гиканьем вступили роговцы в Кузнецк. На заморенных конях

сидели верхами по двое. У большинства самодельное оружие — деревянные сабли и длинные колья. Одеты в полушубки, в женские салопы, в купеческие дохи, в солдатские шинели. Некоторые в одних гимнастерках. Всевозможным тряпьем обернуты ноги, редкие имели пимы. Там и сям блестели одежды из поповских риз. Иметь штаны из ризы или накрыть ризой коня вместо попоны считается у роговцев особым щегольством.

У кузнецкого собора на базарной площади отряд остановился.

Человек в ладной синей бекеше, в черной папахе, в сапогах тронул коня и по каменным ступеням въехал верхом в раскрытые двери собора. Несколько всадников поднялись за ним. Отряд рассыпался по улицам.

Через несколько минут окна собора озолотились изнутри огнем.

Огромный костер горел посреди собора. Туда подбрасывали разрубленные иконы и резную деревянную утварь.

Рогов стоял поодаль, задумчиво глядя на огонь. Каменщик по профессии, он построил много церквей и теперь жег их подряд. К нему подошли представители ревкома договориться об организации власти.

— Не треба народу власти,— сказал Рогов.— Наша мать — анархия.

Он вышел из собора и приказал поджечь его со всех четырех сторон.

Единственным промышленным предприятием Кузнецка был спирто-водочный завод. Рогов послал отборных бойцов с пулеметом на охрану завода. Он запретил трогать только спирт, все остальное — «грабь награбленное».

Из трех тысяч жителей Кузнецка больше половины приходилось на торговые семьи. За Кузнецком не было больше городов. Он стоял на границе тельбесской тайги. Шорцы приносили сюда соболя, горностая и белку, здесь скупали свеженамытое золото, охотники и золотоискатели увозили отсюда продовольствие, одежду, порох и водку.

Торговцы у роговцев вне закона. Купцов рубили на месте, добро вывозили на подводах.

В сомнительных случаях Рогов предоставлял суду народа вынесение приговора. Возле сгоревшего собора сколотили высокий деревянный помост. Сюда выводили

обвиняемых, и скопище людей собиралось вокруг. Отряд голосовал — жизнь или смерть. Однажды к Рогову привели торговца, у которого дома осталось девять человек детей. Рогов передал купца на суд народа. Суд решил — башку долой и жителей Кузнецка обложить данью, чтоб хватило на прокорм детей. Сию же минуту купцу на помосте снесли голову.

На следующий день Рогов судил своих. Четыре роговца убили старика — сторожа копикузовских складов. В суматохе он захватил со склада несколько кусков мыла и нес домой.

— Куда идешь? Стой! — раздался окрик.

Старик испугался и побежал. Четверо всадников настигли его, затоптали конями и насмерть засекли плетьми — в концы плетей в кожу были зашито железо. Рабочие пришли жаловаться Рогову.

— Я за справедливость борюсь, товарищи,— сказал Рогов.— Рабочего человека убивать не дам.

Четырех роговцев вывели на помост. Им проголосовали смерть, и они упали на доски с раскроенными черепами.

Копикуз Рогов ненавидел. Его брата запороли при кольчугинской расправе. Роговцы сорвали замки со складов Копикуза. Склады были набиты скобяным товаром — дверными ручками, петлями, шпингалетами и оборудованием для квартир — умывальниками, ватерклозетными суднами и ваннами. Это предназначалось для жилых помещений на площадке. Ванны привели роговцев в ярость — они стали разбивать в куски фаянс и мрамор, раскидывать петли и ручки. На защиту складов бросился Садов. Жестокого администратора узнали. Сабельным ударом его положили на месте.

Начались поиски инженеров Копикуза. Всем им Кратов давно роздал на случай таблетки с цианистым калием. Захватили инженера Челпанова — коксовика. Один из роговцев нащупал у него в кармане что-то твердое и вытащил две белых пилюли.

— Ишь, буржуй, конфеты носит,— сказал партизан и сунул таблетку в рот.

Он захрипел и свалился мертвым. Челпанова прикончили на месте.

Роговцам указали квартиру Курако. Когда партизаны узнали, что там живет один из главных копикузовцев,

начальник проектного бюро, они начали разгром. Все вещи выволокли из комнаты. Принялись рвать и топтать огромную библиотеку Курако. Мимо проезжал Рогов. Он увидел книги, падающие на снег из разбитых окон, и сказал.

— Гадов бейте, а книжки не тревожьте. От них народу вреда не будет.

Через трое суток отряд Рогова оставил Кузнецк и двинулся на Гурьевский завод.

Идет отряд на рысях. Полощется по ветру большое черное полотнище, черное знамя отряда.

III

Завод остался без власти, а куракинцы, как всегда, в восемь утра садятся за чертежные столы. Ни одного дня не позволял прогуливать Курако.

С утра Курако обходит чертежные столы и просматривает работу каждого.

— Расскажите, что вы сделали,— спрашивает он.

Курако обладал способностью в две-три минуты проникнуть в смысл сложнейших чертежей и улавливать ошибки расчетов, производившихся несколько дней.

Курако проектирует завод по типу величайшего в мире завода Герри, но вчетверо меньше по масштабу.

У окна за чертежным столом сидит Жестовский — студент последнего курса Петербургского политехнического института... Он набело вычерчивает рудный кран. Курако смотрит.

— Ну как, Михаил Константинович?

— Постольку-поскольку. По-эсеровски, пан Жестовский.

Это обычная поговорка Курако, когда он недоволен работой. Лицо Жестовского мрачнеет.

— Эта балка слаба,— говорит Курако.— Возьмите вдвое больше.

— Я два дня высчитывал.

— Еще посчитайте. Вечером скажете.

Курако отходит.

В группу Курако Жестовский попал случайно. В 1917 году в номере петербургской гостиницы, ожидая, как решится судьба Копикуза, Курако сделал карандашом несколько эскизов деталей домны и попросил знакомого

профессора поручить студентам сработать чертежи по карандашным наброскам. Профессор передал работу Владимирскому и Жестовскому — студентам последнего курса. Гордые, что чертят для знаменитого доменщика, студенты быстро закончили работу и принесли Михаилу Константиновичу.

Курако посмотрел на чертеж и удивленно вгляделся в лица студентов. Он никогда не видел их, а между тем чертеж выполнен так, как делали только его, Курако, выученики.

На Юзовском заводе доменный цех имел самостоятельное проектное бюро под руководством Гребенникова, не получившего инженерского диплома, но восемь лет проведшего в Америке на металлургических заводах.

Доменное проектное бюро Юзовки стало школой конструкторов-американистов. Они отличались от других даже в мелочах — чертежи исполнялись на стандартных листах одинакового формата, рамка чертежа отступала от края на пять миллиметров, надписи располагались в правом верхнем углу. Достаточно бросить взгляд на чертеж, чтоб узнать работу куракинской школы. Такой чертеж принесли Жестовский и Владимирский.

— Кто научил вас так чертить? — спросил Курако.

Студенты ответили, что провели лето на одном из уральских заводов, там их учил Казарновский, и с тех пор они не могут чертить по-иному.

— Чему еще вас научил Казарновский?

Студенты стали рассказывать. Курако слушал, улыбаясь. Как упругие мячи, к нему возвращались слова, которые он бросал на Юге. Студенты говорили, и Курако узнавал свою теорию, свое понимание печи, излюбленные свои словечки.

Казарновский два лета — в одиннадцатом и в двенадцатом году — провел на студенческой практике в Юзовке, и это навсегда решило его инженерскую судьбу. Он стал куракинцем, американистом. Он передавал другим, что воспринял от Курако. Так создавалась школа.

— Казарновский едет со мной,— сказал Курако.— Не поехали бы вы? Дело найдется.

Два года провели студенты с Курако, отрезанные от Петербурга.

Вечером Жестовский приходит к Курако. У него решительный и мрачный вид. Он говорит:

— Михаил Константинович, вы правы. Предельной нагрузки балка не выдерживает.

— Вот и отлично.

— Я решил уйти от вас, Михаил Константинович. Из меня ничего не выйдет. Ничего я не знаю, ничего не умею. Люди без институтского образования работают лучше меня.

— Вот это правильно, вот это хорошо.

Курако смеется, и глаза его светятся радостью.

Жестовский стоит, понуря голову.

— Вы действительно ни черта не знаете. Поздравляю, из вас выйдет человек. Об уходе бросьте думать. У меня есть спиртяга, отпразднуем этот случай. Только чур, Жестовский,— помните: каким бы большим начальником вы ни были, никогда не воображайте, что вы много знаете.

Вечером Курако созывает доменщиков.

В праздники у них любимое развлечение — охота; окрестные деревни знают куракинцев. Когда приезжает Курако, крестьяне выпрягают и прячут лошадей, кучера поят допьяна, чтоб Михаил Константинович никуда не мог выбраться от них, чтоб жил с ними сутки, двое и трое.

Другое развлечение доменщиков — споры. Все объединяются против Курако. Никто не помнит, чтоб в споре удалось уложить его на обе лопатки.

Казарновский, Жестовский и другие подолгу готовились к спорам. Последние дни они рылись в гурьевском заводском архиве и перевели разговор на историю сибирской металлургии.

Жестовскому удалось прижать Михаила Константиновича к стенке. Курако не знал, когда и почему был закрыт первый в Сибири Томский железоплавильный завод.

Развеселившийся Жестовский притащил архивную папку и разыскал доклад о закрытии томского завода. Завод закрылся два года спустя после отмены крепостного права.

Курако взял архивное дело из рук Жестовского и прочел сам:

«Переход алтайских заводов от обязательного труда к вольнонаемному изменил условия выгодности заводского хозяйства до такой степени, что в некоторых местностях, где могла существовать горная промышленность при обязательном труде, принося выгоды, по совершен-

ном заменении этого труда вольнонаемным она вместо выгод будет приносить прямой убыток, ибо для привлечения вольнонаемных рабочих придется значительно возвысить заработную плату».

Курако побледнел, как всегда в минуту волнения. Никто не понимал, почему он взволнован.

— Что теперь с томским заводом? — спросил Курако.

— Он сравнялся с землей,— сказал Жестовский.— Там вырос молодой пихтач.

— Это будущая судьба заводов Юга. Три дня готовились, барбосы,— и ничего не поняли.

Курако ходил по комнате и говорил. В Америке на одного рабочего приходится шесть тонн суточной выплавки, в России половина тонны. Техническую отсталость заводы Юга перекрыли нищенской заработной платой и двенадцатичасовым рабочим днем. Старые заводы не выдержат революции — восьмичасового рабочего дня и высокой оплаты труда, потому что там в десять раз больше рабочих, чем требуется уровнем современной техники. Американские гиганты — вот что несет революция.

— Учитесь, барбосы! — говорит Курако.— Кроме вас, никто не умеет проектировать американские печи. Вам придется строить заводы, которые сейчас никому не снятся.

Дверь распахивается без стука.

— На улицу, товарищи! Красные партизаны идут!

— Ура! — кричит Курако.— Вот она — революция!

Все население Гурьевска на улице. Рабочие с красными знаменами встречают партизан.

Впереди отряда скачет Рогов на белой лошади. Он выкрикивает приветствие и поворачивает к церкви. Через несколько минут деревянная церковь пылает.

Курако стоит с Жестовским и Казарновским. Клубы дыма кажутся белыми в темноте. Взвиваются языки огня. Как бы продолжая прерванный разговор, Курако говорит тихо:

— Так расправляется революция со старьем.

Несколько роговцев с деревянными саблями наголо подходят к ним. Курако тянется к деревянному оружью.

— Ха-ха-ха... Покажи, покажи...

Роговец спрашивает:

— Вы что за люди?

Курако называет себя.

— Попался, гад! — кричит роговец.

Он замахивается саблей. Дерево почернело от времени и крови.

Всех троих ведут к Рогову.

Рогов занял лучший дом поселка. Это квартира Курако.

На полу валяется архивное дело. Видны заглавные буквы — «Доклад о приостановке действия томского горного завода...»

Рогов ждет обеда и чистит ногти перламутровым перочинным ножиком. Ему докладывают об арестованных.

Курако всматривается.

— Откуда у тебя ножик? — вырывается у него.— Ведь это Садова.

— Народ башку ему срезал,— хмуро отвечает Рогов.— И тебе то же будет.

Рогов поднимает голову, и Курако видит добрые глаза и простое спокойное лицо.

— Завтра народ вас судить будет. До завтрева живите,— говорит Рогов.

Приносят щи. Курако смотрит остановившимся взглядом на дымящуюся миску. Белый пар поднимается и исчезает бесследно.

— Есть хочешь? — спрашивает Рогов.— Садись, хлебай последний раз.

Курако сбрасывает оцепенение, садится к столу и кричит:

— Под кроватью у меня две бутылки. Помирать, так с музыкой.

Рогов недоверчиво щурится. Он помнит пилюли цианистога калия.

— Наливай первый,— говорит он.

Курако наливает стакан. Он выпивает залпом, переводит дыхание и, не закусывая ничем, нюхает корку черного хлеба. Все выжидающе смотрят. Курако выпивает еще полстакана, крякает и тянется к щам.

Наливает из бутылки Рогов. Привычным жестом он опрокидывает стакан в рот, и в то же мгновение лицо его наливается кровью, глаза выпучиваются, как у удавленника, он хрипит и со свистом хватает воздух. Роговцы бросаются на Курако с саблями. Рогов машет руками на своих.

Курако смеется.

— Это чистый спирт,— говорит он.— Девяносто шесть градусов.

Отдышавшись, Рогов смотрит на Курако и не может скрыть восхищения.

— За что судить будешь? — спрашивает Курако.

— Не я буду судить — народ. Как жизнь прожил? Кому служил? Паразитам служил.

Курако молчит. Вся жизнь пробегает в секунду. Вспоминается то, о чем не любил вспоминать,— товарищи уговаривали стать подпольщиком-профессионалом, он отказался и вернулся к печам. Не здесь ли ошибка всей жизни? Неужели вот оно — пришло возмездие? Курако отвечает:

— Я железо плавил. Оно нужно народу...

— Не треба народу железа,— задумчиво и убежденно говорит Рогов.— От железа — насилие. Без железа все равны будут. Войн не будет. Сильных не будет и слабых.

Рогов понижает голос и с доверчивым детским любопытством спрашивает:

— Не умеешь ты этого — чтоб все железо в порошок, в пыль? Состава такого не знаешь?

— Не знаю.

— Я б тебя в помощники взял... Сибирь подняли бы, в Китай пошли бы. Китай мою программу примет.

— Да тебя в музей надо! — восклицает Курако.

Наутро в модельном цехе собрался народный роговский суд. Туда привели арестованных.

— На верстаки вставайте,— тихо командует своим Курако,— народа не бойтесь, пусть видит народ.

Они взбираются на верстак. В маленькие тюремные окошки, пробитые под самым потолком, видно небо и солнце. Чернеет в стене толстое железное кольцо. Они прятались здесь позавчера.

Рабочие и роговцы наполняют цех. Первым судят Казарновского.

Рогов голосует.

— Инженеру Казарновскому, угнетателю народа, башку долой. Подымите руки...

— А мы дадим?

Рядом с Казарновским вырастает над толпой старик котельщик Егоров. Он большевик. Несколько месяцев назад Казарновский случайно поймал обрывок разговора офицера и уловил несколько фамилий, в том числе Его-

рова. Инженер предупредил всех. Ночью каратели перерыли все барахло в каморке Егорова, но котельщика не нашли. Он скрывался около завода и появился, когда ушли белые.

Маленький человек в защитной шинели, в сдвинутой кубанке с красноармейской звездой вбегает в цех.

— Товарищи! — кричит он.— Я делегат сто двадцать девятого красного полка. Красные бойцы послали меня приветствовать товарищей рабочих. Ура!

Он снимает кубанку и машет. Долго не смолкает приветственный рев. Андрияшко — это фамилия делегата — спрашивает, почему собрались. Ему объясняют.

— Самосуды запрещаю! — кричит Андрияшко.— За самосуды расстрел! Объявляю открытым митинг о международном положении и задачах Советской власти.

— С Красной Армией мы не бьемся,— хмуро говорит Рогов.

Он встает с председательского места и выходит из цеха.

Через час роговцы покинули Гурьевск.

Сутки спустя в Гурьевск вошел 129-й кавалерийский красный полк. Он растянулся длинной лентой. Через каждые три ряда верховых двигались на санях пулеметы.

Глава восьмая

БЕГСТВО

I

Поезд движется медленно, часами простаивая у семафоров. Они сидят в отдельном купе — Кратов, Гладков и Валентина Петровна — жена Гладкова. По обеим сторонам пути валяются красные коробки товарных вагонов. Товарные составы сбрасывались с рельсов, чтобы очистить путь на восток.

Потянулась Анжеро-Судженка — крайний северо-восточный угол Кузбасса. Геологическая карта Кузбасса, составленная учениками Лутугина, напоминает силуэт летучей мыши — два огромных распластанных крыла, острая мордочка смотрит на восток. Краем правого крыла Кузбасс касается сибирской магистрали. В сумерках

темнеют загрязненные вышки надшахтных зданий. Зажигаются редкие огни. Кратов, не отрываясь, смотрит в окно.

— Валя,— говорит Гладков,— куда нас несет? Может быть, останемся?

Жена Гладкова не произносит ни слова. Вторые сутки она не умывалась. В уборных спят и едят. Сейчас она совсем не похожа на свои портреты. Там высокая дама с пышной грудью в кружевах, с китайским веером и белым зонтиком в руке. Здесь грязная женщина, подернутые просинью губы, посеревшее злое лицо.

— Валя,— еще раз ласково и робко повторяет Гладков.

Ответа нет.

— Осип Петрович, как вы думаете? Ведь не расстреляют же нас, а?

Кратов молчит. Он уткнулся в окно и не поворачивается к Гладкову.

Гладков смотрит поочередно на жену и на Кратова. Это два человека, которые семь лет вели его жизнь. Почему они молчат сейчас?

Они сделали его министром сибирского правительства.

— Осип Петрович, почему вы сами не пошли в правительство? Ведь вам же предлагали.

Кратов молчит. Да, ему предлагали, он отказался. Он порекомендовал Гладкова, руководителя разведками Копикуза, открывателя новых богатств Сибири, искателя сибирского железа. Валентина Петровна настояла, чтобы Павел Павлович согласился. Он упирался, но уступил. Она стала женой министра торговли и промышленности временного сибирского правительства. И вот... Поезд, мешки, посеревшие лица, впереди неизвестность. Почему они молчат?

II

Фигура Гладкова была подходяща для министерского поста. Коренной сибиряк, геолог, путешественник, открывший в Сибири железо, связанный с Копикузом, друг Кратова.

Первое сибирское контрреволюционное правительство, подготовившее диктатуру Колчака и разогнанное им, называло себя демократическим и выступало под флагом

сибирского областничества, под знаком потанинства. Потанинцем считал себя и Гладков.

Во время февральского переворота Потанин встречал демонстрацию, сидя в кресле на крыльце Томской городской управы. Ему трудно стоять. Старику шел девятый десяток. Толпе не видно Потанина. Студенты бросились к креслу и подняли его на руках. Его длинная в серебре борода развевалась по ветру, как знамя.

Потанин любил Сибирь, любил свою родину. В этом его программа, его мировоззрение, его жизнь. Он получил за это девять лет каторжных работ, не будучи ни социалистом, ни революционером. О себе и о своем друге Ядринцеве Потанин писал:

«Мы видели перед собой свою родину, лишенную культурных благ, мы видели ее отсталость и хотели уравнять ее в культурном отношении с остальными областями России. Нам хотелось, чтоб на нашей родине было равное количество школ, чтоб безопасность и удобства жизни были такие же, как и к западу от Урала, чтобы и здесь процветали и богатели города, чтобы росла сибирская интеллигенция».

Три кита составляли основу программы Ядринцева и Потанина — отмена уголовной ссылки, создание сибирской интеллигенции путем учреждения университета и свержение московского мануфактурного ига, то есть создание местной промышленности.

«Что бы вы, москвичи, сказали, если бы мы собрали в Сибири весь наш таежный гнус, всех наших ядовитых змей, перевезли через Урал и выпустили на ваши поля? Зачем же вы посылаете в Сибирь убийц, воров, растлителей, всю гнусь вашего общества?»

Их усилия не были бесплодны. Ссылка уголовных преступников в Сибирь была отменена. В Томске открылся первый сибирский университет. Но промышленное иго по-прежнему тяготело над Сибирью.

Перед смертью Ядринцев писал своему другу из Чикаго:

«Америка меня поразила. Это Сибирь через тысячу лет. Я вижу будущее родины. Сердце замирает, и боль, и тоска за нашу родину. Боже мой! Будет ли она такой цветущей?»

К Копикузу сибиряки отнеслись настороженно. Они увидели пришельцев, чужаков, завоевателей. Они назы-

вали приезжих «навозным элементом». Безликие банки, протягивающие руки из Петрограда и Парижа, пугали их. В 1914 году умный Кратов привлек к работе Гладкова и Гутовского. Сибирская интеллигенция поворачивалась к Копикузу. Она начинала видеть в нем осуществление своих надежд.

III

— Что сейчас в Томске? — вслух спрашивает Гладков.

Он не может долго выносить молчания. Он отвечает сам себе:

— Усов перебирается на мою квартиру.

Гладков передразнивает Усова. Он надувает щеки, расправляет плечи, делается грузным и солидным.

— Тэк-с, тэк-с...— говорит он голосом Усова.— Нуте-ка, Павел Павлович, примерим ваши брюки. Коротковаты-с, коротковаты-с.

Гладков передразнивает так похоже, что Кратов не может ударжаться от улыбки. Гладков продолжает разговор с собой:

— Усов получит кафдеру геологии. Он станет директором Сибирского геологического комитета. Я всю жизнь стоял ему поперек дороги.

Гладков внезапно что-то вспоминает и заливается смехом.

— Но его Котульский съест, ей-богу, съест, помяните мое слово, Осип Петрович.

Гладков хохочет. Кратов молчит. Гладков изображает Котульского. Движения становятся медлительными, голова высокомерно поднимается, губы брезгливо отвисают.

— Это мальчишка из бакалейной лавки, а не профессор геологии,— говорит он голосом Котульского.

Очень похоже и очень смешно, но никто не смеется, Гладков становится грустным.

В этот час в Томск приходит телеграмма Сибревкома.

«Примите все меры возвращению Гладкова убеждению его остаться имени Сибревкома гарантируйте ему работу».

Гладков пробыл министром сибирского временного правительства меньше года. Он помогал Кратову и проводил в правительстве субсидии Копикузу. Но единственным настоящим делом, совершенным им в бытность министром, было, по его мнению, создание Сибирского геологического

комитета. Еще в программе Потанина создание Сибирского геологического комитета шло вслед за учреждением сибирского университета. Потанинцы хотели, чтоб сами сибиряки искали и разрабатывали несчетные богатства сибирских недр. Петербургский геологический комитет считал это блажью. Все разведки в Сибири велись петербургскими геологами. Кратов едва ли не первый нарушил эту традицию.

В конце 1918 года Гладков использовал власть министра и создал Сибирский геологический комитет. Во главе его встали сибирские геологи — сам Гладков и Усов. С этого времени все разведки полезных ископаемых Сибири могли проводиться лишь по заданию или разрешению Сибирского геологического комитета. Петербургские геологи боролись против этого. Котульский пришел в ярость. Он отказался подчиняться «соплякам» и не подавал им руки. Он дошел до Колчака и с его дозволения создал Российский геологический комитет в Сибири. Кратов пытался примирить врагов. Успеха он не добился.

IV

Поезд останавливается в поле и стоит всю ночь. На рассвете Кратов соскакивает с подножки. Его меховые сапоги уходят в снег по колено. Паровоз не дымит. Кратов идет в поле. Спереди и сзади, насколько хватает глаз, стоят красные и зеленые составы, теряясь вдали, по обе стороны горизонта. Кратов переходит через площадку на другую сторону пути. В двух километрах виднеется дорога. По ней непрерывно двигаются сани, увозя людей на восток. Кратов возвращается в вагон. Чугунная печка покрылась изморозью. В вагоне нет угля. Гладков и Валентина Петровна прижались друг к другу, накрывшись шубами и одеялами. Гладкова прохватывает временами мелкая дрожь.

— Пробка,— говорит Кратов.— Поезд дальше не пойдет.

— Что же делать?

— Добывать лошадь и сани.

— А может быть, останемся,— жалобно просит Гладков.

— Мы замерзнем здесь, как котята.

Увязая ногами в снегу, падая и задыхаясь, они выходят на лощенную полозьями дорогу. Бесконечной чередой

сани уходят навстречу поднимающемуся белесому солнцу. Трупы лошадей со вздутыми животами и надтреснутыми задами лежат по краям дороги, отмечая черными вехами путь на восток. Глядя вниз, тащатся пешеходы.

— Бросайте вещи и пойдем.

Кратов говорит властно, словно приказывает.

Впереди неожиданно останавливается пара лошадей. Там сбиваются люди. Кратов проталкивается вперед, схватив под руку Валентину Петровну.

В санях сидит старик в меховом картузе, обвязанный пуховой шалью. Правой рукой он обнимает седую женщину в собольем салопе. Лицо его побелело. Уши, щеки, седые баки одинакового грязновато-молочного цвета. Это один из томских золотопромышленников с женой. Они ехали всю ночь и оба замерзли, уснув на ходу. Их грубо выволакивают из саней. Старик ударяется носом о деревянный ободок, и кончик носа отлетает, как у гипсовой статуи. Из саней выкидывают сундуки и узлы. Кратов вталкивает в сани Валентину Петровну и Павла Павловича. Туда втискиваются еще двое. Для Кратова не остается места.

Директор-распорядитель Копикуза стоит на дороге, притоптывая меховыми сапогами, и провожает глазами уплывающие сани.

Глава девятая

ПАРТБИЛЕТ № 1

I

«Срочная.

Новониколаевск. Тайга. Юрга, Кольчугино, Кемерово, Топки. Кузнецк, Гурьевск.

Михаилу Константиновичу Курако.

Уполномоченный Совета обороны немедленно просит прибыть его поезд станцию Томск. Милютин».

Никто не знал, где Курако и жив ли он. Милютин телеграфировал в восемь адресов.

Поезд Ивана Михайловича Милютина из шести классных и двух товарных вагонов подтягивался за наступающей пятой армией. В вагонах расположились крупнейшие специалисты Москвы и Петрограда по всем отраслям хозяйства. В вагоне Милютина стоял сундук, доверху наби-

тый тугими связками желтых советских миллионов — лимонов, как их называли тогда. Экспедиция была сформирована и двинута из Москвы по предписанию Ленина. Милютин имел право без сношения с Москвой делать окончательные распоряжения по всем хозяйственным вопросам. Ленин просил сугубо, архисугубо нажать на восстановление нормального движения по сибирской магистрали. «В этом сейчас гвоздь для снабжения фронта, для переброски сибирского хлеба в голодающий центр»,— говорил на прощание Владимир Ильич.

Хозяйство Сибири было парализовано откатывающимся фронтом. Так ползущий гусеничный танк, подминающий деревья, изгороди, дома, оставляет после себя широкую омертвелую полосу, и не скоро встает придавленная рассеченная трава.

Средняя скорость движения по сибирской магистрали была три километра в час.

Больше половины железнодорожного персонала лежало в тифу. На станционных платформах валялись полуголые трупы. Теплую одежду живые снимали с мертвых. Тела примерзали к обледенелым платформам, их заносило снегом, и некому было убирать.

На станциях не было угля. Паровозы простаивали без топлива. Милютин пошел на крайнюю меру — он остановил все движение на пять суток. Военное командование устраивало ему скандалы по прямому проводу. Пять суток по линии проходили лишь составы с бурым углем из Челябинских копей. На станциях появились крохотные запасы угля — на два, на три, на четыре дня.

Поезд пробивался на восток, к углям Кузбасса. Надо во что бы то ни стало восстановить там добычу и дать магистрали кузнецкий уголь.

Перед Новониколаевском поезд застрял. Впереди линия забита пробкой. Несколько сот пассажирских и товарных поездов стояли в затылок с замороженными паровозами. Лента поездов тянулась на сорок километров. Подобной пробки не знала мировая история железнодорожного движения. Колоссальные трофеи на колесах преграждали движение, как взорванный мост.

Пробку рассасывали с двух концов. Ремонтные бригады развертывали походные кузницы на снегу. За каждый оживленный паровоз премии выплачивались немедленно, на месте. Москва стучала по телеграфу: «Хлеба, хлеба».

Разогретые паровозы уходили на запад. Они назывались ленинскими. Поезд Совета обороны просекало красное полотнище с лозунгами: «Дадим паровозы Ленину». Из пробки вышло двести исправных паровозов.

— Угля! Угля!

Паровозным топкам не хватало топлива. Несколько вагонов с теплой одеждой Милютин отправил из пробки в Кузбасс, чтоб поднять там добычу.

Кузбасс угля не давал.

В конце января 1920 года поезд прибыл в Томск. Милютин вызывал управляющего Сибугля. В вагон явился заместитель управляющего — главный инженер Сибугля Кратов Иосиф Петрович.

Кратову не удалось бежать от красных. Распрощавшись с Гладковым, уехавшим в санях с женой, Кратов пошел пешком к Красноярску. Советские войска взяли Красноярск боковым ударом. Гладков проскочил, Кратов не успел. Он вернулся в Томск. Там его назначили техническим руководителем Сибугля. Кратов сел в свой кабинет, за свой письменный стол,— Сибуголь расположился в помещении бывшего правления Копикуза.

II

После ухода роговцев Курако вернулся из Гурьевки в Кузнецк. Квартира поразила пустотой. Голос странно отдавался в белых штукатуренных стенах. Роговцы топили печи письменным столом, комодом, стульями. Не осталось ни одной смены белья. Рукопись «Доменная печь», над которой Курако работал два года, исчезла. Обрывок Курако нашел во дворе в уборной, и ему бросилось в глаза выбитое прописными буквами имя Джулиана Кеннеди. Курако хотел прочесть и не смог. Буквы танцевали и сливались. Двухлетняя работа погибла. Сам не зная зачем, он сложил аккуратно обрывок и положил в бумажник.

После прихода Красной Армии Курако ввели в члены Кузнецкого ревкома и назначили председателем уездного совнархоза. Одновременно ему пришлось стать управляющим южной группой копей Кузбасса. Его просили взяться за это, чтобы не допустить развала. После испытания на кокс осиновских углей Копикуз нагнал в Осиновку около тысячи рабочих. Они сверлили землю, вкапывались в пла-

сты. Проходку вели и в Прокопьевске, богатейшем месторождении Кузбасса, в сорока верстах от Кузнецка. Теперь все грозило рухнуть. Три месяца рабочие не получали денег. На зиму остались без пимов, рукавиц и полушубков. Курако не знал, что будет дальше с заводом.

Телеграмма Милютина не застала Курако в Кузнецке. Он выехал на Осиновку. Три дня подряд на него валились неожиданности. В санях на паре коней ему привезли на квартиру два каравая черного хлеба. Они затвердели на морозе, как чугун. Не снимая тулупа, привезший разрубил их в комнате топором. Выпали слежавшиеся холодные деньги. Две недели везли их из Томска. Шайки дезертиров шесть раз обыскивали сани. Никто не польстился на черный замерзший хлеб — в Сибири было много пшеницы, сала и молока. Курако выдал расписку в получении. На следующий день пришло извещение о прибытии на станцию Бочаты двух вагонов с теплой одеждой и трех вагонов с оборудованием — буровой инструмент, проволока, гвозди, лопаты... Курако послал на разгрузку лошадей и людей. На третий день он получил бумажку из Сибугля. Курако сразу узнал энергичный лапидарный стиль Кратова и его вытянутую, как проволока, подпись. Кратов сообщил о высылке денег, одежды, оборудования и предписывал ни на день не приостанавливать работ на Осиновке и Прокопьевске.

Курако сам повез деньги на Осиновку. В трех километрах от осиновского улуса, на Туштелепской площадке,— она предназначалась для завода,— он остановил коня. Курако находился на самом возвышенном месте площадки,— здесь будет народный дом. Лесопилка, склады, штабеля камня укрыты снегом. Курако знал площадку наизусть. Он видел под снегом ее террасы, бугры и впадины. Курако нашел глазами точку, где станет первая домна,— он угадал ее безошибочно. Печь, спроектированная им, встала в воображении. Большие и маленькие трубы, оплетающие ее во всех направлениях, похожи на вывороченные внутренности какого-то гигантского животного.

Будет ли здесь завод? Или останется нерожденный, на кальке, как шестимесячный выкидыш в банке с желтоватым спиртом?

Распоряжения Сибугля давали надежду. С какой стати всаживать сюда капиталы, если не будет завода?

Курако тронул коня и шагом проехал мимо площадки.

Вернувшись в Кузнецк, он застал телеграмму Милютина.

Курако запрыгал на одной ноге. Ему захотелось поделиться с кем-нибудь новостью. В городе не было никого из своих, и Курако при свече набросал карандашом своему другу и лучшему ученику, с которым не виделся три года:

«Не знаю, дойдет ли эта цидулька. Сейчас получил телеграмму от Милютина, представителя центра. Будем строить завод. Хорошо в Сибири. Здесь быстрые реки и чистая вода. Когда купаешься и залезешь по шею, на дне видны ноги. Не то что юзовская муть. Фурмы не будут гореть. Приезжай в гости. Может, через год пустим первый номер — останешься совсем. Курако».

На обороте он написал: «Енакиевский завод. Инженеру Ивану Петровичу Макарычеву».

Перед рассветом Курако выехал на лошадях к поезду.

III

Милютин пробыл в Томске больше недели. Он несколько раз говорил с Кратовым. Перед отъездом он пригласил его последний раз.

В вагоне появился самовар. На столе варенье, лимон, торт. Милютин хотел поговорить с Кратовым дружески, начистоту.

Иван Михайлович Милютин — мягкий и деликатный человек. С высшим образованием, побывавший за границей, имевший массу знакомств в кругу московской и питерской интеллигенции, он просто и легко устанавливал отношения взаимного понимания со специалистами. Новая власть появилась перед сибирской интеллигенцией в лице чрезвычайно вежливого и деликатного человека. Из каждого крупного города он слал телеграммы по линии «всем, всем, всем» с призывом бережного и чуткого отношения к интеллигенции. Всем специалистам, работавшим у Колчака, гарантировалась полная безопасность от имени центральной власти. Милютин делал это по прямому поручению Ленина.

Когда Кратов вернулся в Томск, он не подвергся никаким репрессиям.

В первые же дни своего пребывания на посту главного инженера Сибугля Кратов отправил все, что можно,— на-

сосы, железные изделия, теплую одежду — по Кольчугинской ветке южной группе рудников — Осиновке и Прокопьевску. Он послал туда всю наличность, чтобы обеспечить ход капитальных работ.

Милютин считал это непростительной ошибкой. Он дал указания Сибуглю, но Кратов все же проводил свое.

Милютин заварил чай и откупорил бутылку черного муската. Он говорил о столичных новостях, сообщил подробности гибели Трепова и потом спросил Кратова, какое впечатление произвел на него управляющий Сибуглем, большевик Рождественский.

— Мне кажется, он справится не хуже Трепова,— сказал Кратов без улыбки.

Сдержанность Кратова тает. Милютин переводит разговор на урало-кузнецкий проект. Кратов может говорить об этом до утра.

Милютин слушает.

— Нужны ли деньги для окончания проекта?

— Да, Иван Михайлович.

— Сколько?

Кратов называет сумму.

— Общество сибирских инженеров может получить деньги завтра здесь, у меня в вагоне. Скажите, Осип Петрович, почему вы противитесь развитию Анжеро-Судженки?

Кратов смотрит на Милютина с удивлением. Неужели этот человек ничего не понял из того, что он только что говорил о завоевании Урала кузнецким коксом, о перспективах Кузнецкого бассейна? Кратов отвечает сухо и точно:

— Потому, что там бедные, грязные, тощие пласты. Там нет коксующихся углей.

— Но ведь Анжерка и Судженка прилегают к магистрали... Близ магистрали нет больше шахт. Нам нужен уголь немедленно, сегодня, грязный, зольный, тощий, какой хотите. У нас стоят паровозы.

Кратов не понимает этой логики.

Он объясняет Милютину, что единственная коммерчески правильная стратегия — гнать все, что можно, в Прокопьевск, в Осиновку, в южную часть бассейна. Анжерка не дает перспектив Кузбассу; ее нужно, конечно, поддерживать, но не она создаст мировое положение бассейну. В Прокопьевске чудесные угли выходят на поверхность.

Можно снять два-три метра покрова и обнажить пласты, ввести экскаваторы в семнадцатиметровую угольную толщу и прямо в вагоны подавать оттуда уголь. Через год-другой туда подойдет железная дорога, там будет золотое дно России. Разве можно равнять Анжерку с Прокопьевском?

— Через год-другой? Нам нужен уголь немедленно. Только Анжерка может завтра дать его паровозам.

— Я считаю, что мы снабжаем Анжерку достаточно.

— Мало, мало... Как вы не понимаете, Осип Петрович, что жизнь страны, что судьба революции зависят сейчас от сибирской магистрали, от продвижения составов с сибирским хлебом?

Кратов пожимает плечами. Он безразличен к судьбе революции.

В дверь стучат.

— К вам товарищ Курако... По вызову.

— Ага! Попросите его сюда...

— Здравствуйте, Осип Петрович! — восклицает Курако, увидя Кратова.— Опять мы вместе. Вместе завод будем строить.

— В Москве другие планы,— говорит Кратов.

Милютин здоровается с Курако.

— Я много слышал о вас, Михаил Константинович. Вы нужны республике.

Спор продолжается. Курако слушает молча.

Опять стучат в дверь. Телеграмма.

Милютин читает про себя, потом вслух:

— «Поезд Совета обороны Милютину.

Передаю полученную телеграмму кавычки Омск Сибпродком тчк ввиду обострившегося до крайности положения продовольствием предписываю в порядке боевого приказа напряжением всех сил повысить погрузку отправку хлеба центру до максимума тчк ежедневно прямому проводу сообщайте лично мне и наркомпроду первое наличие на станциях желдорог второе количество подвезенного станциям хлеба за сутки третье погрузка хлеба за сутки четвертое если был недогруз причины последнего тчк предсовобороны Ленин кавычки тчк движение погруженных маршрутов задерживается отсутствием угля прошу сосредоточить все силы даже ущерб другим заданиям на снабжении магистрали углем тчк запредсибревкома Михайлов».

— Как хотите, Осип Петрович, а я попрошу вас все средства направить в Анжеро-Судженку. Нам нужна крепкая, бесперебойно работающая угольная база у магистрали. Прокопьевск и Осиновку поставьте на консервацию.

— Я подчиняюсь, но...

— Никаких но... Михаил Константинович, ну убедите же его...

— Курако никогда не согласится с вами,— говорит Кратов.

Курако встает. Он чувствует себя нехорошо. Голова горит. Во рту противно. Вывороченные внутренности гигантского животного промелькнули в глазах.

— Товарищ Милютин прав,— говорит он.

Кратов простился. Милютин попросил Курако остаться.

Через час Курако выходит из вагона. Светит луна. Курако вынимает бумажник. На глаза попадается обрывок. Курако развертывает и видит выбитое прописными буквами имя Джулиана Кеннеди. Курако мнет и бросает бумажку.

IV

Через сутки пара коней доставила Курако на Гурьевский завод. Из Томска он привез спирт. Курако разбудил Казарновского, Жестовского, Зайцева, Джумука — все орлиное гнездо.

— Постройка завода отложена,— говорит он.— Правительство зовет на Юг, восстанавливает старые калоши. Собирайтесь, барбосы. Выступим через неделю.

Лицо его пылало. Он закуривал и выбрасывал папиросы. Табачный дым, казалось, оседал на слизистой оболочке рта какой-то тошнотворной пленкой. Казарновский спросил:

— Не больны ли вы, Михаил Константинович? Поставьте термометр...

— Ерунда. Пей, Казарновский. Мы еще вернемся сюда.

На рассвете Курако выехал в Кузнецк. Через три дня пришло известие, что у Курако сыпняк. Куракинцы послали Жестовского ухаживать за больным.

Жестовский приехал накануне кризиса. Он привел местного доктора и военного полкового врача. На груди Курако вокруг сердца пошли темно-синие, почти черные пятна. Это самая тяжелая форма тифа.

Курако метался в бреду. Он видел аварии. Он кричал:

— Прорвался чугун! Забивай летку! Пушкой! Пушкой! Пусти, я сам. Не умеете работать! Кто меня держит? Почему не пускаете?

Он бредил только домнами. Только доменщик мог понять, что кричал Курако.

Он строил в бреду завод, придумывал новые конструкции, требовал вынести газоочистку из пределов доменного цеха. Доктор сказал:

— Сегодня в двенадцать ночи все решится.

После двенадцати Курако пришел в сознание. Температура упала. Жестовский вздохнул облегченно. Через несколько минут Курако снова забылся. Он лежал тихо, без бреда, с закрытыми глазами. Жестовский не спал трое суток. Он уснул на стуле. Его разбудил вопль.

— Умер! Умер! — кричала сиделка.

Светало. Бледное солнце заглядывало в окно сквозь ветви березы. Полосы света и тени лежали на лице Курако. Жестовский взял руку Курако,— она была теплой. Жестовский хотел найти пульс и не мог. Пальцы дрожали. Он бросился к врачу и поднял его с кровати.

Врач констатировал смерть. Весть о смерти Курако облетела город. Кто-то смерил покойника и сколотил гроб. Мертвого не во что было одеть, в пустой квартире не было ничего, кроме верблюжьего азяма. Жестовский снял тужурку и надел на Курако. Пришли музыканты. Принесли красные знамена. С кирпичного завода пришли рабочие. Съехались крестьяне из соседних сел. Появились попы с хоругвями и образами. Их прогнали, они не уходили. Курако решили похоронить на заводской площадке. Гроб вынесли в полдень, поставили в сани и покрыли ковром. Красноармейцы дали три залпа. Из Кузнецка до площадки двадцать пять километров. Несколько сот человек двинулось за гробом. Падал снег. Шли целый день. По пути крестьяне выходили встречать покойника, становились на колени, и снег заносил их. Они знали Курако. На полдороге процессию встретили рабочие Осиновки. Они подняли гроб на плечи и донесли до площадки. Было темно, когда гроб опускали в могилу. Похоронили Курако на самом высоком месте площадки, где предполагался народный дом.

— Отсюда ему будет видно завод,— сказал кто-то.

На Гурьевском заводе о смерти Курако узнали на следующий день. Скорбную весть привез уполномоченный Реввоенсовета пятой армии. Он остановился у секретаря гурьевской ячейки Лагзинга. Туда сошлись куракинцы. Они молча слушали рассказ о похоронах.

— А вы знаете,— обернулся представитель Реввоенсовета к Лагзингу,— Курако был партийным. У него в бумажнике нашли партийный билет. Партбилет номер первый кузнецкой организации РКП(б). Он давно был связан с нами и вступил в партию за три недели до смерти.

V

Четыре года — с тысяча девятьсот семнадцатого — в улус Майдакова не приезжали купцы. Шкурки — длинношерстные горностаи, седые соболя, козы, такие мягкие, что от одного вида становится тепло — были навалены в кладовой. Четыре года работы лежало там. Никто не приезжал. Кончались запасы пороха.

Майдаков вышел на охоту. В буреломе он разглядел горностаеву тропинку. Кора поваленных деревьев оцарапана у основания острыми коготками зверька. След вел на Тельбес. Он поднимался вверх по Мрас-су. Рядом по бурелому параллельно шел соболь, и это было важнее. Соболь шел рядом, шел на Тельбес.

Странно было Майдакову. Тельбес — населенное место, стоят там рудничные дома. Соболь живет в нетронутой дикой тайге. В самой целине живет соболь. Но след шел к Тельбесу. По бурелому шла запутанная соболиная дорожка.

И рядом горностай. Это еще понятно. Горностай глупее соболя. Он подходит к человеческим жилищам. Охота на него — развлечение мальчишек.

Они вышли втроем к Тельбесу. Впереди шел горностай — императорская шкурка, потом шел соболь, потом Майдаков.

Пусто было на Тельбесе. Дома исчезли. Сгинули постройки. Заросшие, заплывшие, занесенные снегом, стояли шурфы и штольни. И только над горой расставлены ульи пасечника Костенко.

Майдаков знал Костенко. Соболь потерялся в буреломе и пропал. Горностай шел дальше — на Темир, но идти за

ним не стоило. Майдаков постучался к Костенко. Костенко угостил Майдакова светлым липовым медом. Под образами стоял игрушечный Тельбес. Костенко собрал разбитую Кратовым игрушку, скрепил куски глиной и проволокой. Трещины насквозь просекали Тельбес. Там, где стояли столбили с надписью «Руда», не было ничего, кроме окаменевшей глины.

Это все, что осталось от металлургического завода Копикуза. Штабеля камня на площадке разобрали и увезли крестьяне, лесопилку растащили, склады в Кузнецке разгромили роговцы, чертежи Курако уложили в ящики и отправили неизвестно куда.

Старики любят поговорить. Костенко знал пять-шесть слов по-шорски. Майдаков так же говорил по-русски. Они разговорились, ломая для понятности родные языки.

Сказал Костенко:

— Мой, понимаешь, сторожит рудник. Якши, понимаешь? Постройка мой сторожит, а постройки-то нету. Мед мой собирает немного. Понимаешь.

Сказал Майдаков:

— Я много стрелял. Четыре года я стрелял. Никто не менял. Никто не приезжал. Хлеба нету, меду нету, порох тоже нету. Куда пойдем?

VI

В 1934 году на могиле Курако поставлен памятник — рельс Кузнецкого металлургического завода.

1934

СОБЫТИЯ ОДНОЙ НОЧИ

I

Круглая комната обита черным бархатом, черен пол и черен вращающийся купол. Четко тикает часовой механизм, на столе мерцает маленький фонарик, свет не отражается от стен. Наверху открыт люк, и виднеется звездное небо. Смутно поблескивают металлические части телескопа — огромной трубы величиной в человеческий рост, опирающейся на чугунную штангу. Штанга черна, ее не видно, труба кажется висящей в воздухе.

Крицын выписал цейсовский семидюймовый телескоп из Иены, выстроил над домом круглую башенку и оборудовал домашнюю обсерваторию. Нежнейший инструмент установлен на специальном железобетонном фундаменте, чтобы ничтожнейшая вибрация здания не передавалась ему. Башенку Крицын обил изнутри черным бархатом, поглощающим свет, чтоб посторонние лучи не мешали ночным наблюдениям.

Для наблюдателя устроено деревянное крылечко с четырьмя ступеньками; по ним можно подниматься или опускаться вслед за вращением телескопа.

Сейчас на ступеньках сидит женщина, прижав лицо к глазку. Сквозь открытый люк проникает зимний холод. Она придерживает руками шубку, надетую на белое бальное платье. Это жена Кратова, директора соседних Чистяковских рудников.

Рядом стоит Крицын, в черной инженерской тужурке и в высоких сапогах. Его фигура на фоне бархата неразличима, видно лишь лицо.

— Ну, что же вы видите, Елена Евгеньевна?

— Какой-то завиток, вроде локона.

— Присмотритесь хорошенько. Это мириады точек, скопление звезд, туманность Андромеды.

Женщина смотрит; тикает часовой механизм, телескоп двигается вслед за туманностью, на которую наведен. Вращение трубы и купола незаметно для глаза.

Крицын рассказывает об Андромеде. Луч света, прорезывающий пространство с невероятной скоростью — триста тысяч километров в секунду,— доходит от Андромеды до Земли через много тысяч лет. Каждая пылинка в туманности во много раз больше нашей планеты.

— Это мир бесконечности,— говорит Крицын.— Представьте себе, Елена Евгеньевна, куб из алмаза, самого твердого вещества, которое мы знаем. Огромный куб, в версту длины, в версту ширины и в версту высоты. Один раз в тысячу лет прилетает ворон и точит свой клюв об алмаз. Один раз в тысячу лет. Когда ворон сточит весь алмазный куб, пройдет лишь один миг вечности, и ничто не изменится во вселенной.

— А мы?

— Мы? Наша жизнь, Елена Евгеньевна, нуль, бессмыслица. Проживем ее повеселей.

Крицын говорит о звездных мирах, о Млечном Пути, опоясывающем нашу Вселенную, и о множестве других вселенных... Он увлекается астрономией с ранней юности. В студенческие годы он мечтал о такой обсерватории и теперь, через десяток лет, выстроил ее в дымном заводском поселке, где доступна ночным наблюдениям лишь половина неба, противоположная заводу, не озаренная пламенем доменных печей.

Женщина отрывается от телескопа и зябко кутается в шубку.

— Закройте там, наверху, Адам Александрович. Я не хочу этих звезд. Мне холодно. Мне страшно. Ося, ты здесь?

От стены отделяется фигура невысокого человека, одетого, как и Крицын, в черную инженерскую тужурку с перекрещенными молоточками в петлицах. Смутно блестит в полумраке его большая лысина. Это Иосиф Петрович Кратов, муж Елены Евгеньевны, приятель Крицына по институту. Он угольщик, директор рудников — и занимается только углем, целиком отдаваясь делу. Дилетантские причуды Крицына не нравятся ему.

Он обнимает жену и говорит:

— Ты никогда не жалеешь, Адам, что не стал астрономом?

Поворотом рычага Крицын закрывает створки люка, в круглой черной комнате становится еще темнее, тиканье механизма прекращается. Он отвечает не сразу:

— Никогда...

Дверь обсерватории открывается, падает свет из коридора, в башенку заглядывает жена Крицына.

— Адам, Норочка с тобой? Я не могу ее найти...

Норочка — пятилетняя дочь Крицына. Отец балует ее, часто берет с собой в кабинет, в обсерваторию или в комнату для проявления фотоснимков. Он любит болтать и возиться с ней.

— Не волнуйся, киса. Сейчас мы ее разыщем.

Пропустив вперед Елену Евгеньевну и Кратова, Крицын выходит в коридор. У него вытянутое продолговатое лицо с высоким лбом. Небольшая рыжеватая бородка и прическа ежиком делает лицо еще длиннее. Улыбка открывает зубы; верхний ряд правилен и ровен, нижние кривы и сдвинуты.

Юлия Петровна мельком взглядывает на мужа. У нее гордая, властная посадка головы, правильные, точеные черты лица. Она очень внимательна к своему туалету — никаких бантиков, кружев, все просто, изящно и дорого. Ей нравится, когда говорят, что она одевается в английском стиле. Она влюблена в мужа, ревнива и наедине нередко устраивает сцены. Улыбка Крицына сейчас кажется ей принужденной; он как будто чем-то удручен.

Со второго этажа они спускаются в огромный двусветный танцевальный зал, отделанный мореным дубом. В углу большая елка; маковка с блестящей звездой поднимается к потолку.

Под елкой, украшенной гирляндами стеклянных разноцветных бус и шелковыми флагами всех стран, сидит в красном колпаке Дед Мороз величиной с пятилетнего ребенка. Фрукты и сладости остались только наверху, снизу их уже сорвали дети. В ветвях заметно много серых колбасок. Это бенгальские огни, они в несколько раз толще обычных. Крицын сам их изготовил в своей лаборатории. Детский праздник уже кончился, елку сдвинули в угол, теперь в центре зала стоит концертный рояль.

Сейчас четверть десятого. Гости только начинают съезжаться. В зале немного народу; он кажется пустынным, как площадь. Сияют две большие хрустальные люстры, отражаясь в блестящем паркете.

Балы у Крицыных устраиваются по-английски. Таков стиль дома. Хозяева не встречают и не занимают гостей; в нижнем этаже все комнаты открыты, каждый сам ищет развлечений, танцы начинаются после ужина, и разрешается уходить не прощаясь.

Войдя в зал, Крицын издает протяжный легкий свист. Два белых фокса, Боб и Кики, с обрубленными хвостами, с черными пятнами на спинах, мчатся к нему через зал. Крицын любит животных. Во дворе у него есть шестипудовые собаки, на задних лапах они выше человека,— то созданная им самим порода, помесь дога с сенбернаром; в парке у него гуляют павлины и живет медвежонок.

Крицын делает движение к Елене Евгеньевне, чтобы снять с ее плеч шубку. Собакам кажется, что он начинает игру; они улепетывают с радостным визгом, кувыркаясь, падая и скользя по паркету. Удирать от погони — любимейшее развлечение Боба и Кики.

Смешная беготня собак сейчас не забавляет Крицына. Он снова свистит, фоксы мгновенно возвращаются и прыгают, помахивая обрубками хвостов. Собаки понимают Крицына. Они чувствуют, что ему не хочется играть, перестают скакать и вертятся у ног, заглядывая ему в глаза. Он говорит:

— Нора... Где Нора? Ищи, ищи...

Фоксы понимают. Они кидаются из зала, и через минуту издалека раздается их веселый лай.

— Слышишь?.. Вот тебе и Норочка, киса...

У Елены Евгеньевны, похожей на цыганку смуглым и живым лицом, слегка растрепались волосы; одна черная блестящая прядка, в мелких завитках, упала на лоб.

Она уходит поправить прическу. Ее платье со шлейфом отражается в паркете мутным белым пятном. Юлия Петровна прислушивается к лаю: он доносится из кабинета. Она торопливо идет туда. Крицын передает шубку подошедшей горничной и следует за женой вместе с Кратовым.

В кабинете на большом письменном столе стоит девочка, наступив желтыми башмачками на бумаги, и бросает в собак тяжелыми разноцветными камешками, лежащими на зеленом сукне. Камешки падают бесшумно — пол устлан темным пушистым ковром.

Норочке пять лет. Она родилась в конце 1905 года, когда Крицын был начальником доменного цеха. Крицын не крестил ее. У девочки единственная в своем роде метрика:

в ее документе написано, что Нора Адамовна Крицына не принадлежит ни к какому вероисповеданию. Канцелярия екатеринославского губернатора долго не хотела выдавать такой документ, хотя Крицын основывал свое требование на манифесте 17 октября о свободе слова, свободе совести и свободе вероисповедания. «Это нельзя,— говорили ему в канцелярии,— у нас и книг таких нет».— «Никому нельзя, а мне можно!» — ответил Крицын.

Он передал дело адвокату и добился, чтобы завели книгу для лиц, не принадлежащих ни к какой религии. Первая запись в книге была сделана о его дочери.

Юлия Петровна прекращает забаву Норы. Взяв девочку на руки, она сурово пробирает ее. Юлия Петровна — строгая мать, она часто сердится на мужа из-за того, что он балует дочь.

Норочка видит отца. У нее в кулаке зажат зеленоватый тяжелый кусочек. Повернувшись на руках у матери, она бросает им в собак и кричит:

— Папа, откуда у тебя такие камешки?

Мать выносит ее из кабинета. Крицын кричит вдогонку:

— Спокойной ночи, Норочка! Завтра расскажу...

Он подбирает разноцветные кусочки, раскиданные по ковру, и кладет на стол. На письменном столе директора завода можно увидеть порой самые странные предметы: битые кирпичи, золу на листе бумаги, конусообразные надтреснутые куски кокса или обломок железа.

На столе вырастает кучка камней — желтоватых, красноватых, фиолетовых, словно собранных на морском берегу,— это пробы специального чугуна, известного под названием ферромарганца. В свежем изломе ферромарганец серый с ясно проступающими кристаллическими иглами, на воздухе он жадно присоединяет кислород, окрашиваясь в цвета радуги. Все металлические заводы мира нуждаются в ферромарганце для производства литой стали. В России не умели плавить ферромарганец в больших доменных печах, кое-где его выделывали в маленьких вагранках.

Россия — мировой монополист марганцевой руды: чиатурские месторождения на Кавказе богаче всех марганцевых залежей земного шара, вместе взятых. Марганцевая руда вывозилась из России за границу; оттуда после переплавки ее везли обратно в виде ферромарганца. Крицын недавно перестроил домну № 3, перевел ее на плавку

специальных чугунов, и, как всегда, ему улыбнулась удача. Он получил первоклассный восьмидесятипроцентный ферромарганец. Он захватит теперь весь рынок специальных чугунов в России и бросит за границу тысячи и десятки тысяч бочек с русским ферромарганцем. Три миллиона ежегодной прибыли — вот что означают разноцветные камешки, лежащие на его столе.

Кратов молча ходит по кабинету, рассматривая коллекции руд, шлаков, бабочек и полевых цветов, выставленных вдоль стен.

Кратов невысок и массивен, у него холодные серые глаза, он необщителен и замкнут по натуре. Собаки, бабочки, цветы — все это не нравится ему. Кратов убежден, что человек может достигнуть чего-либо действительно крупного, лишь посвятив себя целиком какому-нибудь одному большому делу,— он не верит в Крицына.

Искоса взглянув на кусочки ферромарганца, он спрашивает:

— А не прижмет ли тебя «Продамета»?

Кратов и Крицын понимают друг друга с полуслова. Они вместе десять лет назад, в тысячу девятисотом, окончили Горный институт.

Крицын чувствует, что Кратов скептически относится к его успеху. В нем поднимается раздражение, он смеется.

— Сейчас посмотришь, какой у меня разговор с «Продаметой».

Он берет ручку, лист бумаги и оглядывается непроизвольно на дверь.

На вечерах у Крицына строжайше запрещается разговаривать о делах. Юлия Петровна неукоснительно проводит это правило. Крицыну угрожает большая неприятность, если сейчас войдет жена.

Он пишет два адреса: петербургскому представителю завода Высоцкому и председателю правления «Продаметы» Ясюковичу.

«Продамета» — «Продажа металла» — могущественный синдикат. Он возник после кризиса 1900 года, когда один за другим обанкротились заводы Керченский, «Русский Провиданс», Донецко-Юрьевский, Тульский, Липецкий и Таганрогский. Пять крупнейших металлургических заводов, устоявших среди паники и ликвидаций, обьединились в синдикат. Его возглавил знаменитый в летописях южнорусской металлургии Игнатий Игнатьевич Ясю-

кович, директор Днепровского завода. Некоторые заводы пытались остаться вне синдиката, но политикой цен, гибельной для конкурентов, Ясюкович безжалостно раздавил нескольких противников и принудил присоединиться к «Продамете» все металлургические придприятия Юга. Десять лет металлургия России переживает застой после подъема девяностых годов, но цены на металл стоят выше предкризисного уровня. Синдикат стал монополистом продажи металла, помимо «Продаметы» нельзя купить ни одного вагона южной стали, все заказы принимались только синдикатом, и Ясюкович распределял их по заводам. Заводы были загружены лишь в половину мощности, но приходилось мириться со скудным рационом «Продаметы». Директора понимали, что в условиях застоя попытка сбросить твердую руку Ясюковича была бы безнадежна. Недовольные ожидали нового подъема для борьбы. В 1910 году появились некоторые признаки оживления рынка; кое-где возобновилось железнодорожное строительство второстепенных линий; заказчиком, как и в былые времена, вновь выступало государство. Это были пока незначительные, мелкие заказы; но много говорилось о грандиозных проектах соединения Царицына с Уралом, о постройке Южно-Сибирской магистрали, о восстановлении флота, потерянного в японскую войну,— только такие дела могли поднять металлургию. Правда, подобные слухи возникали не впервые, и кто знает, являлись ли они на этот раз действительными предвестниками высокой конъюнктуры.

Набросав несколько строк, Крицын передает бумагу Кратову. Кратов читает.

Телеграмма в Петербург извещает, что с 1 января 1911 года завод Новороссийского общества выходит из конвенции синдиката по специальным чугунам и объявляет о приеме заказов на ферромарганец, феррошпигель и ферросилиций по ценам на пятнадцать процентов ниже прейскуранта «Продаметы». Под телеграммой подпись: «Директор-распорядитель А. Крицын». У Крицына красивый, четкий почерк, без завитушек и украшений. Чернила еще не просохли, блики электричества сияют в его подписи, в ней разборчива каждая буква. Этой телеграммой он первый бросает вызов «Продамете».

— Смотри, Адам,— предостерегающе говорит Кратов.— Игнатий Игнатьевич не прощает таких фокусов...

— Никому нельзя, а мне можно! — отвечает Крицын. — Помнишь легенду о фортуне? Спереди у нее длинные локоны, а затылок выбрит, лови ее сразу, сзади уже не схватишь...

Он открывает дверь кабинета, которая выходит в большую переднюю с зеркалом во всю стену, — там раздеваются гости.

Высокий, худощавый и изящный, в инженерской тужурке и высоких сапогах, он раскланивается с приезжающими, любезно улыбаясь.

— Виктор Казимирович! — кричит он. — Здравствуйте! Идите сюда на минуту.

В кабинет мелкими быстрыми шагами входит начальник доменного цеха Виктор Казимирович Дзенжан. В инженерском кругу его называют Джим-Джам. Так окрестило его здешнее начальство — заводские англичане, будучи не в силах произнести трудную фамилию. У него седеющие густые усы и маленькие хитрые глаза. Он одет во фрак и белую манишку, на ногах лакированные бальные туфли, — Джим-Джам любит танцевать.

— Поздравляю вас, Адам Александрович, с днем рождения. Я вам нужен?

Дзенжан говорит с сильным польским акцентом и приятно улыбается.

— Спасибо, голубчик. Прочтите-ка вот это.

Крицын передает Дзенжану телеграмму. Дзенжан — выученик Ясюковича. Он начал службу на Днепровском заводе и продвинулся там до поста начальника доменного цеха. Когда-то, в 1901 году, Дзенжан, уже будучи начальником цеха, перевел с французского книгу де Ватера «Курс доменного дела» и издал под своей фамилией с изменениями и дополнениями. Крицын, тогда только что выпущенный инженер, знал в подлиннике курс де Ватера. Он сличил перевод с оригиналом и высмеял Дзенжана в остроумной, оскорбительной статье, напечатанной в «Горнозаводском листке». В ответ Дзенжан разразился в печати бранью, назвав Крицына молокососом и моськой, той, которая лает на слона. Восемь лет спустя Крицын, уже директор Новороссийского завода, получил от Дзенжана письмо с предложением услуг в качестве начальника доменного цеха. Крицын взял его на службу и через несколько месяцев поймал на некрасивой проделке. Желая показать отличный результат работы и получить допол-

нительную премию, Дзенжан подбрасывал по ночам в доменные печи годный чугун со склада под видом бракованного, увеличивая этим выплавку. Пойманный, он суетливо и жалко оправдывался, ссылаясь на недоразумение. Крицын видел его насквозь. Дзенжан тоже хотел славы и денег, но играл трусливо и мелко,— ему никогда не подняться выше начальника цеха.

Прочтя телеграмму, Дзенжан восторгается, всплескивая руками. Он карикатурно изображает старика Ясюковича — у него отвисает челюсть, дрожит голова и трясутся руки, Джим-Джам высмеивает своего старого пана, выслуживаясь перед новым. Крицын говорит:

— Возьмите моих лошадей, Виктор Казимирович, прокатитесь на телеграф, отправьте Игнатию Игнатьевичу этот подарок к рождеству. Это вас не затруднит?

Ему хочется послать с телеграммой именно Дзенжана, выпестованного Ясюковичем; какое-то жесткое удовольствие есть в этом для Крицына.

Дзенжан склоняется, округлив спину:

— Пожалуйста, мне очень приятно, Адам Александрович.

Крицын медленно сгибает лист бумаги. Он сам не понимает, почему у него сейчас такое тягостное настроение. Он счел бы это предчувствием, если бы верил в предчувствия. Он поворачивается к Кратову. Этот невысокий лысый человек молча наблюдает за ним проницательными, острыми глазами. С веселой, легкомысленной улыбкой Крицын вручает телеграмму Дзенжану.

В кабинет вбегает Елена Евгеньевна.

— Что вы здесь сидите? — восклицает она.— Как не стыдно, Адам Александрович! Идемте, вас требуют дамы.

Бесцеремонно подхватив Крицына под руку, она влечет его в танцевальный зал к роялю.

В зале уже больше народу, слышится смех, из бильярдной доносится щелканье шаров.

— Господа! — объявляет жена Кратова.— Адам Александрович нам сейчас споет.

Крицына обступают молодые женщины; они называют романсы и арии. Крицын отказывается, его не отпускают от рояля.

Он с детства любит музыку; у него длинные тонкие пальцы пианиста и сильный мягкий баритон. На этажер-

ках у стен множество нот, целая нотная библиотека. Сейчас ему не хочется петь, он шутит и не сдается.

Со второго этажа в зал спускается Юлия Петровна. Елена Евгеньевна зовет ее:

— Юлечка, идите сюда, уговорите его спеть.

Женщины, окружившие Крицына, расступаются перед его женой.

— Адам, споем что-нибудь вместе.

— Не хочется, киса...

Юлия Петровна быстро взглядывает мужу в лицо. Она знает, что Крицын давно уже красит волосы. Он молод — сегодня день его рождения, ему исполнилось всего тридцать пять,— но почему-то он рано поседел. Он стал директором в тридцать лет, и именно в тот год у него проступила седина.

Знаток и любитель органической химии, Крицын сам вернул волосам естественный цвет, приготовив окрашивающий препарат в собственной лаборатории. Лишь посвященным в тайну заметно, что сильный блеск небольшой рыжеватой бородки и зачесанных ежиком волос несколько ненатурален. Крицын любезно улыбается, но глаза не веселы. Юлия Петровна знает, что это не настоящая улыбка. Она видит, что Крицын чем-то расстроен, и за улыбающимся молодым лицом ей чудится другое — мрачное, с потухшими глазами и седыми волосами.

— Не просите! — восклицает она.— Адам не будет петь.

Дамы энергично протестуют. Крицын разводит руками с комически покорным видом.

— Не сердитесь,— говорит он Елене Евгеньевне.— Хотите, я покажу вам ваш портрет?..

— Мой портрет? Откуда он у вас? Где?

— Здесь! — Крицын обводит рукой зал.— Найдите его.

На дубовых стенах зала почти нет картин, висят лишь два больших полотна Айвазовского и несколько гобеленов — вышитые на канве охотничьи сцены, виды средневековых замков и фигуры детей. Вдоль стен в кадках, в горшках и вазах расставлено множество живых цветов и растений. Крицын сам их выращивает в оранжерее своего сада. Он любит ботанику. Каждое лето он пополняет свою ценнейшую коллекцию полевых цветов; в оранжереях он производит опыты по скрещиванию и прививке... Сегодня

он выставил изумительный экземпляр черной розы. Около нее толпятся, ее нюхают, хотя она не пахнет.

Елена Евгеньевна обегает зал в поисках своего портрета. Юлия Петровна отводит мужа в сторону и спрашивает шепотом:

— Ты чем-то расстроен?

— Нисколько.

— Тебя огорчило письмо Александра?

— Нет, просто тебе померещилось...

Юлия Петровна беспокойно вглядывается в лицо мужа. Ей днем показалось, что глаза Адама омрачились, когда он прочел открытку от брата Александра. Брат не забыл о нынешней дате, но до прошлого года он поздравлял Адама куда сердечней. В прошлом году он побывал здесь в этот день и, признаться, оказался весьма некстати в блестящем кругу приглашенных. Да что спрашивать с этого совершенно не приспособленного к жизни человека. Давно окончив Горный институт, он оставался скромным геологом, живущим на двести рублей в месяц разгуливающим в стоптанных сапогах. Можно бы ему помочь, устроить его получше, но ему нравится неустанно искать медь и уголь в ледяной пустыне, в вечной мерзлоте, за Полярным кругом.

Юлия Петровна вспоминает принужденную улыбку мужа, когда он вышел из обсерватории.

— Напрасно ты повел их на второй этаж...— произносит она.— Не удержался, чтоб не похвастать своим телескопом...

Год назад Адам Александрович с гордостью водил брата по своему дому, или, как он любил говорить, коттеджу. Молодому директору хотелось, чтоб молчаливый долговязый геолог восхитился умением младшего устраивать свою жизнь. Дом, по единодушному признанию юзовского общества, был восхитителен. Все здесь как принято у англичан: первый этаж предназначен обществу, второй — интимной жизни. В первом этаже — танцевальный зал с концертным роялем, кабинет, бильярдная, зимний сад, парадная столовая, несколько гостиных и четыре комнаты для приезжающих. На втором этаже — спальня, детская, ванная, семейная столовая. Там же Крицын устроил лабораторию для занятий органической химией, комнату для фотографии и домашнюю обсерваторию. «Здесь, наверху, моя забава, мой отдых, интимная жизнь,— сказал Адам

брату.— Хорошо?» — «Хорошо,— ответил тот, глядя в окно на грязный, убогий поселок.— Хорошо да совестно». Хозяева дома почувствовали облегчение, когда уехал этот тяжелый родственник... И вот сегодня пришла открытка, сдержанно поздравляющая с семейным торжеством.

— Где же мой портрет, обманщик? — подбегает к Крицыну черноволосая женщина.

Крицын улыбается; видны верхние ровные и нижние кривые зубы.

— Вот он.

Крицын указывает на черную розу, возвышающуюся на подставке у стены.

Вместе с обеими женщинами он подходит к необыкновенному цветку и с видимым удовольствием рассказывает, как удалось ему вырастить этот уникум. Он увлекается, вынимает из кармана пинцет, наклоняет цветок, осторожно раскрывает лепестки и просит заглянуть, как деформированы тычинки у роскошного гибрида, который никогда не даст семян. Он говорит как садовод и ботаник, забыв, что вокруг дамы. Юлия Петровна видит, как светская улыбка сменилась настоящей. Адам увлечен.

— Какая прелесть, какая прелесть! — восклицает Елена Евгеньевна.

В эту минуту в зал входит группа инженеров. Хозяин приветливо машет рукой. Это его однокурсники, приехавшие к нему в день рождения из Екатеринослава.

— Ну, баловень судьбы! — говорит один из вошедших,— чем собираешься нынче удивлять?

Не отвечая, Крицын небрежным движением отламывает чудесную розу, которую выращивал два года. Он прикалывает цветок к платью Елены Евгеньевны, улыбкой приглашая собравшихся полюбоваться сочетанием белого и черного.

— Зачем вы сломали?— восклицает Елена Евгеньевна.

— Чтобы украсить ваше платье.

II

Максим Луговик сидит на полу около кровати. Вокруг беспорядочная груда книг. Это справочники и руководства по химии. Максим быстро перелистывает страницы, отыскивает раздел галоидов, внимательно просматривает и бросает книгу за книгой на кровать. Нигде, ни в одном из

этих толстых томов, не сказано ни слова об аллотропической модификации треххлористого йода. Он, Максим Луговик, сын юзовского горнового, первый открыл это явление.

На коленях у Максима пробирка, наглухо закупоренная притертой пробкой. Он поднимает ее, рассматривает и тихо смеется. В пробирке сухие оранжевые хлопья треххлористого йода. Максим добыл его, пропуская хлор сквозь кипящие йодистые соединения, и обнаружил, что хлопьевидный, марающий руки, вонючий осадок обладает замечательным свойством: при нагревании он становится белым, переходя из одной кристаллической системы в другую, при охлаждении принимает прежний вид, в обоих случаях оставаясь неизменным по химической структуре. Все подобные явления, носящие общее название аллотропических модификаций, наперечет в науке. Они имеют особое значение в нарождающейся теории химического равновесия.

Максим улыбается. О свойствах треххлористого йода не знает еще ни один химик мира. Неужели ему, Максиму, суждено внести что-то новое, что-то свое в теорию равновесия?

Глядя на пробирку, он обдумывает новый опыт. Надо испытать, как будет вести себя треххлористый йод в условиях измененного давления. От последней получки у Максима осталось десять рублей, этого хватит, чтоб устроить самодельный ртутный манометр. Выяснив критические точки температуры и давления, установив константы, он выступит со своей первой научной работой. Вот удивятся в Юзовке!

Он сидит на полу с мечтательной улыбкой, маленький, небритый, сутулый и невероятно грязный. Оранжевые полосы и пятна, следы треххлористого йода, покрывают одежду и лицо. Рубашка и штаны служат ему для вытирания рук; руки не должны быть грязными — это отразится на точности анализа. Среди стриженых мягких волос круглая плешь величиной с полтинник, двенадцать лет назад, когда Максим был мальчиком в заводской химической лаборатории, ему на голову упала капля азотной кислоты, волосы никогда не вырастут на этом месте.

На столе среди множества склянок с химикалиями пылает едва заметным синим пламенем спиртовая горелка. На ней выпаривается бурая жидкость в химическом стакане.

На столе его лаборатория. Химик рассмеялся бы, увидев самодельный пирометр Максима. У Максима нет вытяжного шкафа, и острый, удушливый запах хлора стоит в комнате.

Максим снова берет новейший английский справочник. Он откидывает кожаный твердый переплет, на заглавном листе надпись по-английски от руки: «Наука выше всего. Люис Морган Робертс». Эту книгу ему прислал из Англии бывший начальник заводской лаборатории.

Среди других англичан Юзовки Робертс казался странным: он не делал различия между английскими и русскими мальчиками, работающими под его началом; он одинаково свирепо гонял и штрафовал всех.

Максим вздыхает, вспоминая о лаборатории. Шесть лет назад, в тысяча девятьсот четвертом, его уволили оттуда за бунт. С тех пор его имя числится в черном списке завода. Он служит теперь конторщиком в потребительском обществе, получает тридцать пять рублей в месяц и по вечерам занимается химией в своей комнате. Химия — его страсть. Сберегая по десять рублей в месяц, он покупает реактивы, стремясь добыть один за другим все элементы менделеевской таблицы и увидеть своими глазами их соединения — простые, двойные, комплексные. Занимаясь группой галоидов, он набрел на треххлористый йод.

— Наука выше всего,— тихо повторяет Максим, опустив голову на колени.

Лучше бы ему не знать этих слов. Разве наука доступна таким, как он? И все же он не может отказаться от мечты работать вновь в настоящей, большой лаборатории...

На спиртовке с треском лопается химический стакан. Максим поднимает голову и замечает дым, застилающий комнату. В треснувшем стакане жидкость выкипела и дымится почерневший осадок. Максим хватает тряпкой горячее стекло, стакан рассыпается в руках. Он с сожалением смотрит на осколки,— новый стакан стоит сорок копеек.

— К тебе можно, Максим? Иди на минуточку к нам... Фу, как у тебя дымно!..

В комнату заглядывает Шура, семнадцатилетняя сестра Максима. Едкий запах хлора ударяет ей в нос. Она кашляет и морщится.

— Иду, иду,— отвечает Максим.

Он достает из пробирки ярко-желтый кристалл и кладет на стеклянную пластинку. С горелкой в одной руке, с пластинкой в другой, он идет к сестрам.

Квартира Луговиков состоит из двух комнат и кухни. Одну комнату занимает Максим, другую три его сестры, в кухне живут мать и отец. В комнате сестер на комоде стоит маленькая рождественская елка, обвитая серебряными нитями, с блестящей звездой на маковке. Сегодня сочельник, но в семье Луговиков елку зажгут только завтра утром, когда вернется с ночной смены отец, доменный мастер; без него не начинают праздника. Рождественскую ночь отец проводит дома лишь один раз в два года. Доменщики строго соблюдают очередь на эти ночи.

Вдоль стен стоят три девичьи постели. Перешептываясь и смеясь, сестры в новых сатиновых платьях вертятся у зеркала. Они все уже невесты. Старшей двадцать, младшей семнадцать лет.

Максим осторожно идет с горелкой и стеклянной пластинкой в руках. Он самый старший, ему двадцать четыре года, но в сравнении с сестрами он выглядит ребенком. Он физически недоразвит, очень мал ростом, у него слабые, маленькие руки. Лицо малокровно, бледно. И все же большие, светло-голубые глаза заставляют забывать о его немощи. Сейчас они блистают увлечением.

— Смотрите, что я покажу! — восклицает он.

Поставив горелку на стол, он подносит к ней крошку треххлористого йода на стекле. Пластинку он держит не над огнем, а сбоку, медленно нагревая ее около пламени.

Сестры подходят к столу и с опаской смотрят на синеватое пламя горелки.

В какое-то неуловимое мгновение желтая крупинка становится белой. Максим радостно смеется и восклицает торжествующе:

— Видали? Об этом еще не знает химия.

Сестры недоумевающе смотрят на Максима. Он оглядывает их и огорченно говорит:

— Неужели вы ничего не заметили?

Девушки выталкивают вперед Шуру, самую младшую и самую смелую.

— Отгадай, Максим, зачем мы тебя позвали. Ты ничего не замечаешь?

Максим обводит взглядом комнату, смотрит на елку, на белые девичьи постели, на потолок и отвечает:

— Ничего.

— Посмотри на нас.

Максим смотрит на сестер, улыбающихся и оживленных. Сестры кружатся перед ним, чтоб он осмотрел их со всех сторон.

— Ну, заметил?

Максим беспомощно улыбается.

— Дайте подумать...

— Эх, Максюша... Ведь мы же в новых платьях.

— А... Верно, верно... Куда же вы собрались?

— Сегодня в школе вечер. Помнишь, ты обещал дать нам деньги на билеты...

— Да, да... Сколько же вам надо?

— Два рубля билет.

— Ой, как дорого!

Сестры сразу грустнеют... С сегодняшним вечером у них связано столько планов!

— Но ведь будет ужин... Ты же обещал, Максим.

В голосе Шуры звучат слезы.

— Сейчас, девочки, сейчас...— торопливо бормочет Максим.

Что делать, он не умет отказывать сестрам. Он бежит в свою комнату и выдвигает из-под кровати сундучок. Там лежат десять рублей, отложенные на покупку ртути для манометра. Получив деньги, девушки весело принимаются одеваться. Максим прислушивается к их радостной болтовне, затем прикрывает дверь. Он знает, что они не позовут его с собой...

В квартире становится пусто и тихо: отец на работе, мать в церкви, сестры ушли. Максим гасит спиртовую горелку, медлено идет к себе. На полу разбросаны книги, у кровати стоит раскрытый сундучок. Максим поднимает толстый английский справочник, на заглавном листе которого написано: «Наука выше всего». Максим печально смотрит на пробирку с оранжевыми хлопьями. Что ж, придется отложить на месяц испытание треххлористого йода под давлением.

Максим убирает книги на полку, потом склоняется над раскрытым сундучком. Сверху лежит белорусская пастушеская дудка. Максим достал ее через земляков отца, чтоб подарить ему на рождество. Дудка очень длинная, конец торчит из сундука. Под нею студенческая фуражка и тужурка. Максим вынимает свою студенческую форму.

Два года назад он выдержал конкурсный экзамен в Екатеринославский горный институт. Из всех, кто окончил заводскую школу Новороссийского общества за тридцать лет ее существования, он, Максим Луговик, один-единственный пробился в высшее учебное заведение. Он числится студентом, а работает конторщиком, потому что нужно помогать отцу, пока девочки не вышли замуж.

Максим надевает форму и идет к зеркалу в комнату сестер. Фуражка с черным бархатным околышем и синим верхом не помята и не выцвела, лакированный козырек блестит, как новый. Максим не вынул из нее железного кольца, как делают обычно, чтобы пригнуть края, и верх стоит торчком, как в магазине. Фуражка ему велика, налезает на уши и совсем не идет: его маленькое лицо кажется еще меньше. Форменная тужурка с блестящими металлическими пуговицами тоже почти не пошена. Слежавшиеся складки топорщатся, она тоже велика Максиму.

Он смотрит на себя с улыбкой, опускает взгляд и видит измазанные брюки и грязные порыжевшие ботинки.

«С грязными ботинками ты, мальчик, не сделаешь карьеры!» Так предсказал Максиму давным-давно мистер Альберт Юз в тот день, когда принимал его в лабораторию.

Максим вздыхает, грустно смотрит на красивую студенческую форму и возвращается к сундучку. Там на дне лежат тетради с его стихами.

Он перелистывает тетрадь. Свои стихи он знает наизусть. Вот «Забойщик»:

Когда ненастной ночью или днем,
В то время, как снаружи ветер завывает,
Сижу один я пред огнем,
Который так приветливо пылает,
Приятно тело согревает
И так шумит,— вот этот шум собой
Мне навевает грустных мыслей рой.
Мне стыдно и не хочется тепла,
Я знаю, кем и как оно добыто,
Я знаю, сколько связано с ним зла
И сколько пота тем пролито,
Кто как живой, теперь встает передо мной...
Работает... Удары глухо раздаются.
Он, голый, рубит, лежа на спине.
Пылинки, наполняя воздух, вьются
И затмевают слабый лампы свет,
Грудь, тяжело хрипя, вздыхает,
Здесь душно, лампа потухает.
А он стучит, стучит. Конца ударам нет.

Максим долго стоит, опустив тетрадь. На столе потухшая горелка и смешные самодельные приборы. Максим смотрит на колбы и стаканы, он вспоминает заводскую лабораторию, видения проносятся перед ним.

...Вот он дежурит ночью один в лаборатории, четырнадцатилетний мальчик, на столе перед ним раскрытая книга «Мученики науки». Соскользнув с высокого стула, он идет к двери таинственной комнаты, там его любимое местечко. Он стоит около закрытой двери и прислушивается. Через плечо у него полотенце со множеством дыр, выжженных кислотами. Оно пахнет протухшими яйцами, запахом сернистых органических соединений. Слышны шаги. Он отскакивает от запретной двери. В лабораторию входит десятник мартеновского цеха с пробой рельсовой стали. Максим берет пробу, сталь еще теплая; ее, кипящую, зачерпнули из печи железной ложкой, и, застыв, сталь сохранила форму ложки, форму полуяйца. Он сверлит пробу на маленьком ручном станке, собирает стружки на вогнутое часовое стеклышко, высыпает в пробирку и осторожно льет туда азотной кислоты. Смесь внезапно вскипает, стружки шипят, поднимаются удушливые темные пары, пробирка становится горячей. Он делает анализ механически, по установленным рецептам, таинственные превращения вещества непонятны ему. Через десять минут анализ окончен, десятник уходит, он снова остается один. На стол взбирается мышка, рядом с ней появляется другая. Это его друзья. Мыши становятся на задние лапы и ждут угощения. Улыбаясь, он достает из ящика кусок хлеба с сыром и крошит ломтик сыра для мышей. Они едят втроем. Одним пальцем он осторожно гладит мышку. Она перестает есть, но не убегает. Кусочек сыра он кладет около крысиной норы; оттуда с шумом выскакивает большая серая крыса, хватает сыр и исчезает, ее не удается приручить.

В лаборатории тихо. С книгой в руках он идет к таинственной комнате, осторожно приоткрывает дверь и входит. В центре комнаты на высокой подставке стоит светящийся графин с водой. Во всей комнате это единственный источник света. Максим подходит, и при каждом движении в граненом графине возникают прекрасные цвета — фиолетовый, пурпурный, оранжевый. Он приближается к графину и отходит от него, вызывая переливы светящихся красок. Улыбаясь, он долго играет в эту чудесную игру.

Графин освещается снизу скрытой электрической лампочкой. Слабый рассеянный свет падает из графина на пирометр старинного типа. На мраморной доске колеблется тонкая черная стрелка. В ее движущийся конец вделано маленькое зеркальце. Оно отражает свет вниз. Там тикает часовой механизм, медленно вращающий светочувствительную фотобумагу. Луч от зеркальца чертит на матовой белой бумаге темную зигзагообразную линию. Пирометр измеряет температуру дутья доменной печи. Где-то далеко в трубу, сквозь которую рвется в печь раскаленный воздух, вставлены две спаянные пластинки из разных металлов. Пластинки расширяются не одинаково, и возникает электрический ток. Ток приходит по проводам в лабораторию и колеблет магнитную стрелку. Максим садится на пол у подножия сверкающего шара и старается не двигаться, чтоб не нарушить таинственной системы. Здесь он любит читать. Он раскрывает книгу и рассматривает портреты великих людей науки. Вот Фарадей — знаменитый английский физик и химик. Художник изобразил его юношей. Фарадей моет посуду в лаборатории, через плечо полотенце, волосы растрепаны, глаза смотрят вдаль. Максим читает биографию Фарадея. Фарадей — сын кузнеца, двенадцати лет начал работать в переплетной мастерской и ночами прочитывал книги, принесенные для переплета. Шестнадцати лет Фарадей поступил мальчиком в лабораторию мыть посуду. Наверно, это была такая же лаборатория, такие же непонятные приборы поблескивали на столах. Максим думает о чудесах и тайнах, которые окружают его. Вот он обливал стружки кислотой, вдруг шипение и дым, и пробирка стала горячей. Почему? И кто придумал этот таинственный пирометр? Может быть, Фарадей? Великий химик тоже служил мальчиком в лаборатории, мыл посуду, тер уголь и толок руду. Тикает часовой механизм. Обняв ножку высокой подставки пирометра, сидит четырнадцатилетний мальчик, сын русского горнового, и видит себя ученым — добрым волшебником своей страны. Таким же, каким был сын английского кузнеца. Слышится шорох. Максим испуганно оглядывается и видит в раскрытой двери длинного, невероятно худого человека. Это мистер Робертс, начальник лаборатории. Его высохшее лицо обтянуто пожелтевшей кожей. Он хватает за шиворот Максима и вытаскивает из чудесной комнаты. Робертс кричит:

«Damn your eyes! Damn your bloody eyes!»

Это значит: «Проклятые твои глаза, проклятые твои кровавые глаза!» Это любимое ругательство Робертса. У англичан оно считается совершенно неприличным, при женщинах этих слов нельзя произнести. У Робертса странная и редкая болезнь: зрачки ни секунды не стоят неподвижно, они непрерывно бегают, будто дрожат. Робертс замечает книгу, выхватывает из рук Максима.

Портрет Фарадея спасает маленького работника лаборатории. Начальник смягчается, увидев своего соотечественника. Улыбка появляется на тонких темных губах Робертса...

Слабая улыбка возникает сейчас на лице Максима. Он бродит по комнатам, снова подходит к зеркалу и видит себя, худенького и маленького; студенческая фуражка и тужурка сидят на нем, как чужие.

Внезапно ему становится нестерпимо ясно, что он никогда не станет ученым. Отвернувшись от зеркала, он обводит глазами комнату. Вдоль стен белеют три девичьи постели. Бежать отсюда! Нет, сестер он не бросит, это свыше его сил.

Одиночество сжимает ему сердце. Ему хочется побыть с людьми, поговорить, укрепить веру в себя.

Прислонившись к косяку окна, он размышляет о том, куда ему деться в этот праздничный вечер, в эту ночь под рождество.

III

Обер-мастер доменного цеха Курако проводит рождественскую ночь один в будке под четвертой печью.

Кирпичная нештукатуренная будка, почерневшая снаружи и внутри, приютилась у подножия доменной. Печь возвышается над ней, как огнедышащая башня, как гора с пылающей вершиной.

О печах доменщики так и говорят, как о горах. На их языке будка стоит под печью; так в обыденной речи дом у подошвы горы называется домом под горой.

Курако смотрит на часы, они показывают без четверти десять. Впереди трудная ночь. Он решает прилечь. Со стены он снимает полушубок, расстилает на столе, из-под стола вытаскивает валенки и кладет их в виде подушки.

На нем коричневые штаны из дешевого плиссированного бархата, называемого манчестер, и такая же куртка со множеством пуговиц; материя изъедена искрами, как оспой; на ногах сапоги. На завод Курако ходит без пальто: здесь мягкий климат, зимой обычно стоят легкие морозы в три-четыре градуса, днем часто капает с крыш. Полушубок, привезенный из ссылки, он употребляет в качестве постели.

Курако расстегивает куртку, кладет ее на табурет и идет к раковине водопровода, стягивая через голову нижнюю сорочку.

Худощавое смуглое тело обнажено по пояс. На груди большое белое пятно — это давний ожог, затянутый бледной кожей.

Курако тридцать пять лет. Он разглядывает свое голое тело — не начало ли оно сдавать. Вприпрыжку он пробегает несколько шагов, переворачивается — и вот... он стоит уже вниз головой, упершись в пол руками. На руках он идет к умывальнику, в воздухе двигаются сапоги, подбитые железными гвоздями. У раковины Курако вскакивает на ноги; лицо покраснело, волосы упали на коричневый лоб: рывком головы он их откидывает назад, они торчат непокорными вихрами.

Горстями он плещет на себя холодную воду, прыгает и покрикивает, как в лесу.

Застекленная перегородка разделяет будку на две половины. За перегородкой, на высокой деревянной стойке, бесшумно и медленно вращаются шесть цилиндров, обтянутых желтой бумагой — миллиметровкой. К ним тянутся по стене линии электропроводов. Это пирометры всех шести печей, самопишущие приборы, показывающие температуру дутья и выходящих газов.

Умывшись, надев чистую сорочку, Курако проходит за перегородку к пирометрам и долго наблюдает за движениями изогнутых стрелок.

Их острия сочат красные чернила и касаются вращающейся цилиндрической поверхности. Глядя на красные ломаные линии, непрерывно возникающие из-под кончиков стрелок, можно, не выходя из будки, следить за ходом печей.

Будка представляет странное смешение жилища и технической конторы. На стене против двери свешивается от потолка до пола огромный чертеж доменной печи.

Рядом с чертежом к стенке прикреплен телефон, над ним — круглые стенные часы, на подоконнике — чайник, маленький бочонок пива, черный хлеб и кусок колбасы, на полу вдоль стены высокими стопками сложены книги и пачки чертежных синек.

За окнами ночь. Иногда горизонт освещается будто утренней зарей,— это на краю завода под отвал выливают шлак, его отсветы видны километров на сорок. В будке два окна. Одно выходит на доменный цех, другое смотрит в поселок.

Сколько таких вот поселений без садов, с тесно стоящими, похожими на сарайчики домишками разбросано по Донецкому бассейну... Всюду наряду с закопченными мазанками тянутся ряды приземистых длинных бараков... И все же эти убогие жилища казались такими милыми сердцу, когда он в глуши Вологодской губернии рассказывал товарищам ссыльным о житье доменщиков Юга. Как хотелось скорее вернуться сюда, вдохнуть тяжелый дух бараков, где обитают доменщики.

Выйдя из-за перегородки, Курако бросает взгляд на часы и сильным взмахом ноги без помощи рук сбрасывает тяжелый сапог. Иной раз в цехе точно таким же движением Курако демонстрирует, какая обувь должна быть у доменщика. Он не позволяет рабочим горна носить тесные сапоги или привязанные к ногам плетеные чуни. Если ступишь невзначай в канаву с жидким чугуном, надо скинуть обувь мгновенно...

Неожиданно с силой распахивается дверь.

— Михаил Константинович! На третьем номере темнеют фурмы...

Влас Луговик, сменный мастер доменного цеха, выкрикивает эти слова с порога. Их покрывает и глушит шум доменных печей, ворвавшийся в будку вместе с клубами холодного пара.

У доменщиков возглас «темнеют фурмы» подобен звуку сигнального колокола у пожарных. В обоих случаях промедление гибельно. Потемнение раскаленных масс в печи прогрессирует со зловещей быстротой. Через час-полтора после появления темных пятен печь, если будет предоставлена сама себе, станет бездыханной.

— Закрывай дверь! — кричит Курако.

Влас входит. В будке становится тихо. Возбужденный и потный, он торопит Курако.

— Скорей, Михаил Константинович! Третий номер стынет.

— Знаю,— спокойно говорит Кура́ко и сбрасывает второй сапог.

Влас поднимает седые и насупленные брови. Приземистый, с мускулистой и короткой шеей, в грибовидной войлочной шляпе, в мокрой парусиновой куртке, из-под которой высовывается стеганый ватный пиджак, он с недоумением смотрит на Курако, потом оглядывает будку глубоко запавшими глазами, словно ища объяснения странному поведению Курако. Руки Власа полусогнуты, сильные пальцы двигаются. Он ждет распоряжений, чтоб ринуться в ночь и действовать.

Он восклицает:

— Михаил Константинович! Печка холодает. Приказывайте, что делать!

— Прежде всего — по банке выпить. С праздником, Влас!

Курако выдвигает ногой из-за стола скрипучую плетеную корзину. Из-под крышки торчат концы чистого белья. Курако достает бутылку с красной нераспечатанной головкой, ударяет под донышко ладонью, от стены отскакивает пробка. Курако никогда не пьет на работе, сегодня он нарушает это правило.

Он наливает два стакана и один протягивает Власу.

Влас смотрит на стакан. Электрическая лампочка блестящей точкой отражается в стекле. Он медленно подходит. С сапог стекают черные капли тающего снега — на заводе и в поселке снег не бывает белым.

Влас бережно принимает стакан.

— С рождеством Христовым, Константиныч!

Старые доменщики много пьют. В Юзовке говорят: «Не выходи за доменщика замуж — пропадешь». Ни Курако, ни Власа стакан водки не выведет из строя. Выпив, Курако водой запивает водку. Власу он отрезает колбасы и хлеба.

Влас ставит на подоконник опорожненный стакан и снимает войлочную шляпу. У этого коренастого, с мощными руками, широкого в плечах человека, выпуклый лоб, как у мудреца, и лысина во всю голову. Коротко подстриженная борода, изрядно тронутая сединой, охватывает лицо от виска к виску.

Жуя и улыбаясь, Влас говорит:

. — Нет дела, когда водки нет. Родился — водка, женился — водка, умер — водка, печку раздувать — опять водка, за все она отвечает. Скорей обувайтесь, Михаил Константинович...

Курако стоит перед Власом в своей излюбленной позе — широко расставив ноги и скрестив руки на груди. Ворот рубахи раскрыт, обнажая смуглую грудь, прядь волос ниспадает на лоб. Курако смотрит на часы и отвечает:

— Подожди, сейчас придет начальник. Он сам распорядится.

Влас беспокойно двигается, ему не стоится на месте. Он произносит:

— Давно бы пора ему быть!

— Сейчас узнаем, может быть, пан изволит почивать после обеда. Я бы этого пана...

Курако умолкает, но презрительная усмешка достаточно ясно говорит о его отношении к начальнику цеха. Подойдя к телефону, Курако вертит ручку и просит квартиру Дзенжана. Оттуда не отвечают. Курако не спеша вертит и вертит ручку.

Влас с нетерпением озирается на дверь, оглядывает будку и произносит:

— Михаил Константинович, хватит в будке жить... Для вас-то найдется квартира на поселке.

Со дня поступления на завод Курако живет в будке под четвертой печью. По ночам он спит на столе, положив валенки под голову. Десять месяцев назад он явился сюда в северной одежде из вологодской ссылки. Четыре года о нем ничего не слыхали на Юге, но многие помнили, как гремело когда-то это имя на заводах, имя Курако, начальника доменного цеха Краматорки.

В девятьсот пятом году он, начальник цеха, командовал боевой дружиной Краматорки, затем за революционную работу был арестован и сослан. Отбыв ссылку, он появился в Юзовке, пришел к директору завода Крицыну. Когда-то Крицын, еще будучи молодым инженером, считал себя соперником Курако на поприще доменного дела. Теперь, любезно улыбаясь, он предложил Курако место обер-мастера. Такую должность обычно занимали мастера-практики, не имевшие инженерного образования. Курако вспыхнул, выслушал предложение Крицына,— вспыхнул, сдержал себя и согласился.

Стосковавшись по доменным печам, Курако дни и ночи проводил около них.

К нему постепенно перешло командование плавкой.

Начальник цеха Дзенжан последнее время совсем перестал наблюдать за ходом печей и возился только с третьим номером, переведенным на плавку ферромарганца.

Рецепты шихты третьей печи Крицын и Дзенжан держали в секрете; они не доверяли ведения этой печи никому — ни мастерам, ни Курако; было строжайше запрещено производить какие-либо изменения процесса без приказания Дзенжана. Поэтому Курако и не спешит сейчас. Ему не раз давали понять, что третий номер его не касается.

Влас подходит к Курако. Они смотрят на заводской поселок, подымающийся в гору. Красноватое небо освещает ряды хибарок, выбеленных мелом к рождеству и уже успевших посереть.

Вдали, высоко на горе, виднеется ярко освещенное двухэтажное здание, господствующее над местностью. Свет из окон прорывается сквозь голые сучья деревьев, окружающих дом. Это дом директора завода Крицына, вокруг раскинут большой парк, единственный в поселке. В доме двойной праздник в эту ночь — сочельник и день рождения Крицына. Инженеры со всего Донецкого бассейна, из Криворожья и с Екатеринославщины ежегодно съезжаются к нему в этот день.

— Придется там их потревожить,— говорит Курако.

Он опять вертит ручку аппарата, просит соединить с домом директора. Но жена Крицына, взявшая трубку, кратко отчеканивает:

— Сегодня у нас в доме не занимаются делами. Вам это следовало бы знать.

Не ожидая ответа, она прекращает разговор.

Влас вопросительно смотрит на Курако и видит усмешку под острыми усами.

— Попал в невежи,— произносит Курако.— Ладно, будем ждать.

Но Влас сокрушенно вздыхает, поворачивается и идет к двери.

— Куда ты, Влас?

— Ждать нельзя. Поищу начальника.

IV

Много лет назад Влас Луговик отправился из родной деревни искать счастья. Полтора месяца он шел из Белоруссии в Юзовку. Украина была пустынной степью, покрытой сухим ковылем. На завод Юза вела из Белоруссии проторенная дорожка. Влас пробирался по ней, ночуя в чабарнях — пастушьих хижинах, крытых камышом.

В одной чабарне Власа нанял немец на косовицу в Таврию. Сумрачный старый пастух отозвал Власа в сторону:

— Ты знаешь, малый, к кому нанялся?

— Не знаю...

— Может, он людьми торгует. Заведет тебя к туркам и продаст.

Двадцатилетний Влас заплакал, выпросил обратно паспорт, убежал и спрятался в степи.

В Юзовку он пришел осенним вечером на второй месяц пути. Впервые в жизни Влас увидел паровоз. В белой белорусской свитке, в белой шапке, он долго стоял, как столб, у рельсовых путей. Дул ветер — норд-ост, суховей. Осенью норд-осты в донецких степях дуют по нескольку дней непрерывно. Они выжигают зелень, даже листья дуба сворачиваются.

Из заводских труб вылетали языки огня; стремительно несущийся мутный воздух, насыщенный сернистым газом и тяжелой пылью, хлестал Власа по лицу.

Поздно вечером нашел Влас землянку белорусов. В ней жил его брат Антип, жили земляки, все одной волости, одной деревни. При свете керосиновой коптилки Влас увидел черных, измазаных углем людей в черной грязной одежде. Влас не узнал никого. Антип встретил брата нерадостно.

— Ради чего дом бросил? На что надеешься?

Ночью Влас лежал на нарах. Сквозь дырявую крышу просвечивали звезды. Воспоминания проходили перед ним.

В ту первую ночь на заводе Влас вспомнил своего дядю, который прослужил двадцать пять лет в солдатах. Дядя провожал его из родной деревни и говорил при расставании: «Слушай, Влас, мое напутствие. Утирайся всегда сухим полотенцем. Жить будешь в артели с чужими людьми, вставай раньше всех, чтоб полотенцем еще никто не утирался. Держись этих слов, и будешь человеком».

Лежа на нарах, Влас твердил про себя слова дяди.

Дядя часто рассказывал о службе. Один рассказ особенно запомнился Власу.

«Строгий был у нас ротный командир,— рассказывал дядя.— Всегда в походах посылал меня вперед — искать ему квартиру: «Иди, смотри внимательно, чтоб в доме ни одной души старше меня не было». Командиру сорок восемь лет. Если есть кто-нибудь хоть на год постарше, квартира не годится. Выбрал раз ему квартиру. Живут молодые муж с женой и малое дитя. «Ну как, нашел?» — «Так точно, ваше благородие». Переночевал командир, наутро вызывает и — бац в зубы. «Я тебе приказывал найти квартиру, чтоб старше меня не было, а этот ребенок кричит всю ночь, он старше всех, меня не боится, никого не слушает». И еще раз по зубам. Потом под ранец. Выкладка двенадцать кирпичей, два часа должен стоять как истукан, винтовку держать на караул. И ничего, Влас, не поделаешь, надо терпеть. Узнаешь, что такое служба».

Наутро братья пошли к шахте. Антип там работал саночником. Клеть швыряла людей в черную глубокую дыру.

— Я боюсь шахты,— тихо сказал Влас,— она меня заморит.

— Возись тут с тобой, ну тебя к черту! — ответил брат.— Поворачивай домой оглобли.

Люди на заводе были странно грубы и злобны. Влас промолчал и пошел искать работы где-нибудь на вольном воздухе.

Завод раскинулся в степи без ограды. Под открытым небом плавили металл, под открытым небом ухали паровые молоты и скрежетали прокатные станы. Проход на завод был свободен для всех. У доменной печи шумел базар.

Два месяца Влас ходил по заводу. Придет под доменную, снимет шапку и просит у подручного:

— Дозвольте, дяденька, я за вас канавку сделаю.

Потом пойдет к каталям, постоит и попросит:

— Позвольте, я тачку покатаю.

Его взяли чугунщиком, убирать чугун за шестьдесят копеек в день. Чугунщики работают попарно. После выпуска чугуна они хватают горячие, еще красные снизу чушки клещами, волокут по песку и рывком бросают на платформы. На ногах у чугунщиков плетеные веревочные чуни. Время от времени они окунают ноги в жидкую гли-

пу (для этого устроена специальная лужа), чтоб, не обжигаясь, ходить по раскаленному песку. Напарники становятся братьями-близнецами, на работе их движения ритмичны; раскачав чушку для броска, они разжимают клещи в единую долю секунды; они вместе пьют водку и в драках вступаются друг за друга.

Напарником Власа стал земляк, Василий Школьников, человек исполинского роста и удивительной силы. Он мог носить рельс на плечах. Это была странная пара, два неразлучных друга — маленький и большой. Иногда по ночам они подшучивали над другой парой чугунщиков. Из рельсопрокатной Василий приносил несколько рельсов. Улучив минуту, он накрывал рельсами ряды чушек, которые полагалось убрать второй паре. Те вдвоем, ругаясь, долго ворочали рельсы, чтоб сбросить их с чугуна. Василий и Влас скорее кончали свой урок и ложились на теплый песок. Из жерла печи вырывался столб огня, по стенкам сбегала вода. Сквозь нее из швов и трещин каменной кладки пробивались синие языки сгорающего газа. Влас вспоминал о родной Белоруссии или рассказывал сказки об Иване-дураке.

Он получал восемнадцать рублей в месяц и десять отсылал домой. Жил по-прежнему в землянке, не знал праздников, не ходил в церковь; днем работал — ночью спал; ночь работал — спал днем. В землянке менялся народ, смерть была там привычной — людей сжигало и давило, по ночам случались убийства, умирали от тифа, от водки, от грязи.

Иногда после работы напарники уходили в степь с бутылкой водки. Выпив, Влас пел песни и играл на белорусской дудке, которую привез из дому.

Четыре года Влас работал на уборке чугуна, на пятый Юзы построили вторую доменную печь. Власа и Василия, привыкших к огню, взяли работать на горно.

Вскоре после пуска печь забастовала, чугун не пошел из летки. Достали самую тяжелую трамбовку; двенадцать человек, ухватившись за нее, мерными ударами вгоняли в летку лом. Выбить назад его не удалось. Лом приварился и не выходил из летки. Тогда лом обмотали якорной цепью, привязали цепь к паровозу, выдернули — из летки не пошло ни чугуна, ни шлака.

Юз собрал рабочих горна. Переводчик передал слова хозяина:

— Спасете печь, будет всем награда.

Горбатый мастер англичанин Джон-Джон приказал Власу и Василию прорубить отверстие в стене печи поверх фурменного пояса на высоте двойного человеческого роста.

Устроив склепанные наскоро железные подмостки, напарники пробили стену и докопались ломами до горячего красного кокса. Джон-Джон подвел к отверстию трубу, вставил фурму, укрепил глиной и пустил горячее дутье, Ниже напарники просверлили дырку для выпуска чугуна и шлака.

Всю ночь Влас и Василий ухаживали за печью, выпуская время от времени маленькие порции жидкого металла.

Под утро они отдыхали на песке под доменной.

— Расскажи про Ивана-дурака,— попросил Василий.

Влас знал множество сказок об Иване-дураке. В то утро он рассказал такую:

— Обеднял Иван и решил у помещика хлеба выпросить, Взял гуся и понес его в подарок. «Спасибо, мужичок, только ты нам его подели». Изжарил повар гуся и подал па стол: «Ну, мужичок, дели». Иван отрезал голову и дал барину: «Вы — голова, вот вам голова». Барыне дал задок — в креслах сидеть; барчукам по ножке — на охоту ходить, барышням по крылышку — замуж лететь. «А я, мужик, глуп — мне весь труп». Барин засмеялся и дал Ивану воз хлеба. Встретил Ивана с возом богатый сосед и позавидовал. Взял пять гусей и понес в подарок барину. «Спасибо, мужичок, только ты нам их подели». Изжарил повар гусей и подал на стол. «Ну, мужичок, дели».— «Я не умею, барин, вы делите сами». Барин отправил богатого мужика на конюшню, велел дать розог и послал за Иваном. Пришел Иван, видит пять гусей. «Садитесь за стол, сейчас поделим. Вам, барин и барыня, один гусь — вас будет трое, двум барчукам гусь — их трое; двум барышням гусь — их трое; мне, Ивану-дураку, два гуся — и нас трое. Начинаем обедать». Засмеялся барин: «Этого мужика надо за смекалку наградить, поставить его начальником по двору». Так улыбнулось Ивану счастье.

— Вот и нам с тобой счастье улыбнулось,— сказал Василий, показывая на длинные языки огня, вздымающиеся над печью. Он разумел награду, обещанную Юзом.

Василий поднялся, подошел к печи.

— Русский народ берет смекалкой,—сказал Влас.— Мужик в лесу кладет бревна на сани, один поднимает сто пудов. Этого барин не придумает.

Василий полез наверх по железным перекладинам. Вдруг что-то хрустнуло, и подмостки под ногами подломились. Сверху вылетела глиняная запорка, и поток чугуна полился Василию на голову. Он поднялся, с нечеловеческой силой ломая и разбрасывая полосы железа, и, освободившись, побежал, горя, как факел, не видя ничего перед собой. Человек исполинского роста несся с неимоверной быстротой, огненные космы развевались по ветру, за ним погнались и не могли догнать. Через минуту он упал мертвым.

Власа забрызгало жидким чугуном, на нем загорелась одежда. Срывая с себя рубаху, он покатился по песку к луже с жидкой глиной, в которой чугунщики мочат свои веревочные чуни. Обожженный, облепленый глиной, побежал спасать печь.

Старый Юз подошел к обугленному мертвецу, снял шляпу, перекрестился, посмотрел на столпившихся рабочих, одного ударил палкой, другого сапогом, погнал помогать Власу.

Когда восстановили рухнувшее сооружение, Юз позвал Власа и через переводчика сказал:

— Ты, Лас, самый лучший у меня рабочий...

Печь «разогнали» через три недели. Впервые за много дней чугун нормально вышел из летки. Влас получил в награду месячное жалованье — двадцать четыре рубля.

Из первой плавки рабочие отлили чугунный крест, чтоб поставить на могиле Василия.

Старый Юз увидел крест и отправил на весы. Крест потянул на восемь рублей. Юз приказал вычесть эту сумму поровну со всех рабочих горна. Они не согласились. Крест по приказу хозяина разбили под копром и бросили обратно в печь.

Старый Юз ходил по заводу с толстой палкой, сам вмешивался во все и на месте расправлялся палкой с виноватым. Миллионное дело досталось ему неожиданно и легко. В Англии Юз был начальником кузнечного цеха на железоделательном заводе в Миттельсборо. Российское правительство заказывало там броневые плиты для военных кораблей после поражения в Севастопольской войне. Юз привез партию плит в Петербург. Заказ принимал

шеф флота великий князь Александр Михайлович. Он сказал Юзу:

— Почему вы, заводские люди, не поставите завод у нас? Беритесь, мы поможем.

Юз привлек к делу родственника, торговца железом Арчибальда Бальфура; взяв с собой английского геолога, они отправились в степи Донецкого бассейна. Эти места назывались Новороссией, Новой Россией, при Петре здесь были турецкие владения. Старый пастух показал англичанам выходы угольных пластов. К осени овечьи отары вырывают и вытаптывают траву, земля становится голой и шлифованной. Пастух повел англичан к истокам реки Кальмиуса. На много километров вдоль и поперек обнаженная земля была перечерчена черными полосами сажи. В русской истории Кальмиус известен под именем Калки. Когда-то в битве на Калке татары победили русских; связанных пленных воевод рядами положили на землю, покрыли досками; всю ночь победители плясали и пировали на этом помосте, растаптывая живых людей. Пять столетий спустя Юз выбрал эти места для завода и получил субсидию от русского правительства. Теперь завод — громадина, он весь изрезан рельсовыми путями. Часто и резко кричат паровозы, воют и гудят печи, извергая пламя и тяжелую бурую пыль. За много лет эта пыль толстым слоем покрыла всю заводскую территорию. Ноги увязают в ней, как в песке. Далеко вокруг завод убил траву и деревья, вода и воздух пропитаны запахом сернистого газа.

В мечтах Влас чаще всего видел себя стариком, видел сынов и внуков; все жили одной дружной семьей. Дом стоял у реки, утром поднималось солнце, бабы выгоняли коров, сыны запрягали коней, внуки играли в разбойников, сам он возился в пчельнике, немощный, добрый, счастливый.

Работая в заводе, Влас по-прежнему получал восемьдесят копеек в день, двадцать четыре рубля в месяц, половину он отсылал домой и терпеливо ждал счастья.

Прошло несколько лет с тех пор, как он поступил на завод.

Брат Антип попал в шахте под обвал. Многих раздавило насмерть. Антипу размозжило левую кисть и выбило глаз. Непрерывно выли гудки, как всегда при взрывах, пожарах и обвалах. Отовсюду сбегались люди. Толпа жен-

щин в молчании теснилась к клети, ожидая первого трупа, и первое рыдание, прорезавшее гудящий воздух, возвестило о его появлении.

Антип вышел сам; дрожащей правой рукой он поддерживал левую, обмотанную кровавой тряпкой; из пустой глазницы, не закрытой ничем, сочилась кровь, стекала по лицу, измазанному углем, и капала на темный снег.

Дело обошлось без суда. Антип подписал с конторой мировую, получив девятьсот рублей наличными за руку и глаз.

Влас проводил брата на станцию. Они решили выстроить новый дом над рекой и развести пчел. Поезд увез брата. Влас остался на заводе до весны.

В доменном цехе все знали, что Влас уезжает домой. Плотник сделал ему сундук, маляр выкрасил зеленой масляной краской и сверху нарисовал розы. Первый раз за годы пребывания на заводе Влас не вышел работать в воскресенье; он отправился с земляками на базар. Впервые в жизни Влас купил праздничный костюм — сапоги, пиджачную пару, картуз и голубую рубаху. Земляки заставили надеть все это в магазине и повели Власа к парикмахеру. В зеркале Влас увидел себя, обросшего светлой русой бородой, в новой, непривычной одежде, и засмеялся от радости. «Вот он, Иван-дурак!» — подумал Влас о себе. Он возвращался с гостинцами в обеих руках, пьяный, счастливый и бритый.

Дома, окруженный земляками, он укладывал покупки в новый сундук. Ему принесли письмо. Малограмотный, он вертел конверт, и сердце заныло у него. Письмо прочитали вслух. Антип просил выслать двадцать рублей, чтобы вернуться в Юзовку. О деньгах он писал, что высудили за старые отцовские долги, а остальные с горя пропил. «Пришли, брат, денег на дорогу, может, возьмут сторожем. На заводе каждый месяц хоть маленькая, а все-таки получка, а здесь я работать не гожусь, и без меня хлеба не хватает». Влас сидел неподвижно, потом стал озираться вокруг, ища улыбок на лицах земляков; он не поверил письму — должно быть, над ним посмеялись. Он взял конверт и бумагу, разорвал и бросил на ветер.

Через две недели почтальон принес еще одно письмо, брат снова просил выслать денег на дорогу. Влас сел и заплакал. Он ревел, как ребенок, громко, содрогаясь всем телом, не стесняясь посторонних глаз.

Семь лет Влас провел на заводе, ничего не скопив и не нажив. Что ж, опять посылать деньги домой? Там кадушка без дна, сколько ни лей — все порожняя.

Земляки посоветовали ему жениться.

— Заводи, Влас, семейство на чужой сторонке, а то век с тебя будут деньги тянуть; этим отрежешь, как ножом.

Влас долго присматривал невесту. Юзовские девушки казались ему слишком чисто одетыми, избалованными и капризными. Ему указали шестнадцатилетнюю девочку, сироту, худенькую, забитую и робкую, мачеха отдала ее в няньки. Влас послал сватов, девочку отдали легко, довольные, что сбыли с рук.

Влас пришел знакомиться с невестой, когда дело было уже решено. Она впервые увидела будущего мужа. Они сходились на всю жизнь, еще не перемолвившись словом.

На свадьбе после трех стаканов водки Влас заплакал, свадьба показалась ему похоронами,— в эту ночь он навсегда прощался с родиной.

Из землянки Влас перебрался в семейный балаган, большой дом без комнат. Из деревянных брусьев он сколотил козлы и прибил к ним три нестроганные доски. Это была первая кровать молодых.

Через год у них родился сын, его назвали Максимом. На крестинах Влас взял сына на руки и долго смотрел на маленькое синеватое существо со скрюченными ножками и приплюснутым носом. Его, Власа, жизнь продолжалась в жизни сына. Может быть, счастье, которое обошло Власа, улыбнется когда-нибудь сыну.

Рядом с Власом стояла семнадцатилетняя жена, худенькая, с узкими угловатыми плечами и недоразвившейся грудью.

Глядя на ребенка, Влас сказал строго:

— Теперь он у нас самый старший. Никого у нас старше его нет.

V

Четверть часа спустя Влас возвратился в будку Курако.

Старый мастер сбегал на воздуходувку, обошел рудный двор, заглянул к весовщику — нигде не оказалось начальника цеха.

— Что будем делать, Константиныч?

— Не знаю... Нам с тобой приказано не вмешиваться. Обождем Джим-Джама.

— Эх... Давно бы ему надо быть.

— Садись, Влас... Скажи-ка — как живет сынок?

Влас растерянно озирается вокруг, медленно поворачивая шею. Потом присаживается. Бледное лицо Максима, его кроткий, тоскующий взгляд всплывают в памяти. Вздыхая и не глядя на Курако, он отвечает:

— Малые дети — малое горе, большие дети — большое горе, Константиныч.

— Хороший у тебя сынок, только слишком смирный. Смирных топчут, Влас.

— Это моя смирнота у него.

Трудно понять, отцовская гордость или отцовская горечь слышится в голосе Власа. По-прежнему не поднимая глаз, он добавляет тихо:

— Из лозового куста не вырастет сосна.

Курако останавливается у окна и смотрит на дом Крицына, источающий потоки света. Потом снова ходит, крутит острый ус и откидывает со лба непослушную прядь.

— Скоро мне понадобятся люди для большого дела. Я возьму Максима к себе. Через три года он станет инженером и будет строить вот такие печи.

Сильным и страстным движением Курако протягивает руку к большому чертежу. За стеклянной стеной бесшумно вращаются пирометры, еле слышно тикают стенные часы. Курако стоит перед чертежом, голова вскинута, застыла взлетевшая в стремительном взмахе рука. В будку доносится заглушенный шум печей. Курако прислушивается к гулу; в ровном слабом гудении он различает звуки отдельных домен. В будке тихо. Влас тоже слушает смутное рокотание печей, слегка раскрыв рот и вытянув голову к окну. Чтобы лучше слышать, он снимает широкополую войлочную шляпу. Вновь обнажается высокий выпуклый лоб и большой лысый череп. Влас вновь становится похожим на мудреца. Оба доменщика уловили звук третьего номера; свистящие ноты, всегда различимые в глухом гудении домен у третьей печи сейчас пронзительней и тоньше, чем обычно.

— Садись, Влас,— говорит Курако.

Влас не садится. Он надевает широкополую войлочную шляпу и направляется к двери.

— Куда ты, Влас?

— Искать начальника.

Они стоят друг против друга — легкий, худощавый Курако с уверенной и дерзкой улыбкой, ворот белой рубахи у него распахнут, открывая коричневую грудь, и тяжеловесный, сильный Влас.

Снаружи кто-то дергает дверь.

— Слава вышнему, кажется, начальник! — восклицает Влас.

Он радостно улыбается, напряжение покидает его тело. Курако откидывает крючок и толкает дверь ногой. Врывается и стелется на полу белый клубящийся пар.

В будку входит Максим. Бережно, боясь помять, он несет перед собой, поддерживая обеими руками, какой-то странный конусообразный предмет, накрытый холстиной. Курако затворяет дверь и отходит к окну.

— Я принес вам елку, папа. Здравствуйте, Михаил Константинович!

Максим одет в студенческую форму. Он знает — отец любит, чтобы по большим праздникам он надевал форменную фуражку и тужурку. Сейчас он кажется кособоким, под тужуркой у него что-то спрятано. Сняв фуражку и освободившись от теплых вещей, Максим подходит к Курако с протянутой маленькой рукой. Курако пожимает ее,— это не мужская рука, она податлива и мягка, словно в ней нет костей.

Улыбаясь, Максим осторожно разворачивает холст и водружает на стол маленькую рождественскую елку, обвитую серебряными нитями, с блестящей звездой на маковке. Лукаво и ласково поглядывая на отца и на Курако, довольный своей выдумкой, Максим поправляет елочные украшения.

Влас с нежностью смотрит на сына.

— Зажигайте елку, папа!

Курако чиркает спичку и горящую подает Власу.

— Зажигай, Влас.

Вертя шеей, будто давит ворот, Влас зажигает свечи.

— Тушите свет, Михаил Константинович! — восклицает Максим.

Курако поворачивает выключатель, и сразу резко выступают красноватые проемы окон. За окнами ревут доменные печи, вдали сверкает электричеством директорский дворец, а будку под четвертым номером освещают

несколько тонких мерцающих свечек на маленькой елке. Ушли в полутьму пирометры и огромный чертеж, будка кажется меньше и уютнее. Максим тихо смеется. У него глаза и улыбка ребенка, он похож на мальчика с приклеенными жидкими усами. Он вытаскивает из-под тужурки и протягивает отцу рождественский подарок — настоящую белорусскую сопелку, сделанную из двух дудок: одной — короткой, другой — длинной. Сколько раз Влас вспоминал о такой сопелке. Его старая дудка, привезенная с родины, давно треснула; он вырезывал новые из бузины и из камыша, они не нравились ему; в Юзовке и далеко вокруг он не находил деревьев, которые растут в Белоруссии. Максим достал дудку через земляков и долго прятал, чтоб преподнести отцу на рождество.

— А это вам, Михаил Константинович.

Максим подает Курако толстую хлопушку, украшенную цветной и серебряной бумагой. Внутри хлопушки неизвестный сюрприз — колечко, бумажный колпак или свисток.

Максим познакомился с Курако полгода назад, вскоре после поступления того на завод. Курако сидел у Власа в гостях, они выпили по стопке, по второй и по третьей и вели нескончаемый разговор о доменных печах. Это странная особенность многих доменщиков: где бы они ни встретились, о чем бы ни начали беседовать, разговор обязательно перейдет на печи. Они говорят о домнах, как о живых существах. Доменщики часами могут спорить, как шла печь, и их трудно оторвать от такого спора, как картежников от игры. В разгар такой беседы пришел со службы Максим.

— Это наш обер-мастер, Михаил Константинович Курако,— сказал Влас сыну.

Узнав, что Максим студент, Курако стал расспрашивать, кто экзаменовал его по металлургии. Максим называл профессоров; каждое имя было известно Курако, о каждом он имел суждение, резкое и категорическое. «Если это мастер, то очень знающий мастер», — подумал Максим. Манера Курако бросать отрывистые, резкие фразы не понравились ему — это казалось рисовкой. Курако продолжал спрашивать и непечатными словами выругал профессоров за то, что они не понимают значения конструкции доменной печи, для них все равно — большая печь

или малая, механизированная или с ручной завалкой; они знай себе толкуют об абстрактном доменном процессе. Максима поразила меткость этого замечания. Он сам, читая институтские учебники, постоянно ощущал какой-то разрыв между наукой и живым заводским производством. Эти мысли Максим высказал Курако. Как обычно, он говорил медленно и тихо, как бы размышляя вслух. Курако вскочил, когда услышал, что Максим знаком с трудами Чернова и Павлова. Максим приостановился. Курако пробормотал:

— Говори, говори.

Максим продолжал. Живое, подвижное лицо Михаила Константиновича выражало искреннее удовольствие.

— Вот это здорово, вот это ловко! — восклицал он.

Он налил три стопки. Максим отказался: он не мог и не умел пить водку.

— Удивительно,— сказал Курако.— Настоящий доменщик и непьющий.

В тот вечер они долго говорили. Влас лег спать, а они просидели допоздна. Максиму уже не казались искусственными и наигранными резкие жесты и отрывистые фразы Курако, он принял его целиком. Уходя, Курако стукнул кулаком по столу и сказал:

— Подожди, Максим, скоро я войду здесь в силу.

После этой встречи Михаил Константинович частенько заходил к Луговикам. Всегда оживленный и веселый, он показывал Максиму интересные статьи в журналах, чертежи и, увлекаясь, развивал свои мысли. Между ними повелось, что Курако говорил ему «ты». Встречи с Михаилом Константиновичем волновали Максима, для него это были праздники мысли. В каждом слове Курако он чувствовал силу, волю и дерзость, чего не хватало ему. Смелый доменщик-революционер заставлял его ненавидеть собственное смирение. Сейчас, в канун рождества, Максим ушел из дому в тайной надежде увидеть Курако...

Влас долго смотрит на дудку, поворачивая ее в руках; отблески свечей играют на сухой коричневой коре, покрытой мелкими пупырышками. Это настоящая крушина, редкое дерево белорусских лесов, которого не знают на Украине. Губы сами складываются для игры, пальцы ложатся на дырочки. Влас поднимает дудку и останавливается, не донеся до губ. Он вертит шеей, кладет дудку на стол и порывается к двери.

— Папа, сыграйте что-нибудь нам!

Весело горят свечи на елке, в углах сгустилась тьма, все утратило четкость очертаний.

Влас молчит.

— Он стесняется вас, Михаил Константинович. Если б вы знали, как хорошо он играет!.. Прошу вас, папа, сыграйте нам.

Влас отходит в угол, в полутьму, его почти не видно. Он пробует новую дудку, извлекая отдельные ноты; звуки не гаснут сразу, а замирают постепенно, дудка звучит прекрасно. Курако отходит от двери и садится к столу. Максим стоит у елки, поправляя оплывшую свечку. Влас играет, льется простая и грустная мелодия. Это бедная, неукрашенная музыка, полная тоски. Звуки дудки замирают. Влас начинает тихо петь:

Запоет сердце мое, загрустит
По родине своей.
Отцовский дом покинул я,
Травою зарастет...

Слова песни снова сменяются музыкой. Курако сидит неподвижно, подперев руками склоненную голову. Максим застыл, как завороженный, он смотрит на блестящую звезду. Маленькие белые кисти рук беспомощно повисли.

Влас поет:

На кровле филин прокричит,
Собачка верная моя
Залает у ворот...

Максим смотрит на блестящую звезду. Отец поет о родине, а сын тоскует о лаборатории — там его родина, его родная мать.

Украшен божий свет,
Моря я вижу,
Вижу небеса,
А родины здесь нет,
Не быть мне в той стране родной,
В которой я рожден.

Влас опустил дудку, а Курако все еще сидит с закрытыми глазами, подперев рукой склоненную голову, и Максим все еще смотрит на звезду. В будке тихо, едва потрескивают свечи, слышен шум доменных печей.

Влас прислушивается и вздрагивает. Он кричит:

— Слышите, как она свистит?.. Я не могу, Михаил Константинович!

Бросив дудку на стол, он кидается к двери и исчезает из будки.

— Куда он побежал? — спрашивает Максим.

Курако идет к распахнутой двери. Власа уже не видно, он пропал в красной полутьме. Максим подходит к Курако, они стоят рядом в раскрытой двери, перспектива цеха открывается перед ними. Печи ревут. Огненные короны пылающего газа вздымаются на их вершинах. Домны стоят в ряд под открытым небом — шесть башен, сложенных из камня. Сверху по стенкам сбегают потоки воды, охлаждающей камень. Печи очень стары, потрескавшаяся каменная кладка схвачена железными обручами, синие языки газа проступили сквозь трещины и лижут водяные рубашки, отражения огня играют в мокрой струящейся поверхности. То над одной, то над другой печью пламя внезапно вздымается сильнее — это открывают заслонку на колошнике, чтоб засыпать в печь очередную колошу материала. Тогда вместе с пламенем вырываются из печей темные столбы тяжелой клубящейся пыли; она не поднимается высоко и медленно оседает. Пыль настолько густа, что даже ночью видно, как она садится. Над третьим номером пламя по-прежнему ярко-желтое; оно то вспыхивает сильней, то ослабевает.

— Черт знает, как Влас любит эти печи! — произносит Курако.

Дуновение холодного воздуха из раскрытой двери отклоняет слабые огоньки свечей. Они бьются и трепещут. Ветер гасит свечи одну за другой.

— Куда он побежал? — вновь с беспокойством спрашивает Максим.

Курако затворяет дверь и подходит к выключателю. Вспыхивает белый свет. Снова высится профиль печи на огромном чертеже, четко проступают на стене линии электропроводов, идущие к пирометрам; мизерная елка с дешевыми лакомствами кажется странной и ненужной здесь.

— У нас расстройство на третьей печи, и он не может усидеть. Ее ведет начальник, сейчас он будет здесь. Ждем его с минуты на минуту.

Курако смотрит на дверь и повторяет:

— Как твой отец любит эти печи!.. А я снесу их начисто.

Он замечает хлопушку в руке и с треском разрывает ее. Оттуда выпадает сюрприз — воротник, затейливо вырезанный из папиросной бумаги. Курако вертит сюрприз, бумажное кружево шуршит в руках, воротник становится пышным. Курако кидает его на стол.

— Почему вы бросили, Михаил Константинович, мой подарок?

Не отвечая, Курако идет в угол, где сложены стопы чертежей и книг, он берет сверху последний номер «Журнала Русского металлургического общества» — журнала, который выходит в Петербурге под редакцией профессора Михаила Александровича Павлова.

— Смотри, Максим, этого номера ты еще не видел... Есть интересная статья «План доменного цеха».

Курако быстро переворачивает большие журнальные листы, находит рисунок во всю страницу, изображающий панораму доменного цеха. Восемь печей уходят вдаль. Впереди высится бронированная домна, одетая множеством механизмов и приборов, оплетенная трубами, с причудливыми устройствами на колошнике.

Рисунок отделан тщательно. Печь работает, идет выпуск чугуна, над канавой поднимается дымок. У горна, держа наготове двухцилиндровую пушку, стоят двое рабочих. Около печи больше нет людей.

Ни одного подобного цеха не существует в России, но «Журнал Русского металлургического общества» из года в год разрабатывает теорию передовой, механизированной доменной печи, ратует за нее.

Курако вслух разбирает проект, отдельные решения вызывают его восхищение. Редактор журнала, отец русской металлургии Павлов, для него — учитель. Курако знает все работы Павлова, не пропускает ни одной его статьи. Эх, показать бы ему вот этот чертеж, висящий тут, в доменной будке,— конструкцию печи, которую изобрел, создал Курако.

Обер-мастер Юзовки влюблен в свою мечту, в свою конструкцию. Ему хочется поговорить о ней с Максимом. Протянув руку к чертежу, он восклицает:

— Если б у меня был миллион, я построил бы такую печь и спал бы на колошнике!

Курако хватает дудку со стола и действует ею как указкой.

— Смотри, этот кирпич работает на сжатие, этот на распор, этот на удар. Смотри, как она свободно стоит, она может качнуться от ветра, она может вибрировать. Это, Максим, симфония, музыка. Ее можно так ажурно построить, что она запоет, когда пустишь дутье: «До-о-о...» А можно все это подтянуть туже, она запоет тогда тоньше: «Ля-а-а-а...» Я слышу, черт побери, как она поет...

Курако смотрит на дудку, которую держит в руках, кладет пальцы на дырочки и приставляет ко рту. В будке гудит чистое низкое: «До-о-о».

Максим прислушивается.

— Не то, Михаил Константинович. Здесь нужен звук металла.

— Правильно! — кричит Курако.— Неужели ты тоже ее слышишь?

— Кажется, слышу.

Эти простые слова приводят Курако в восторг.

— Неужели слышишь? Чем тебя за это наградить? — Он обводит взглядом будку.— Вот надену твой подарок.

Он обвивает шею пышным воротником из бумажных кружев, подхватывает Максима под мышки, поднимает, кружится с ним вокруг стола и опускает на пол у окна, которое смотрит в поселок. Дом Крицына сияет вдали. Курако указывает дудкой туда и говорит:

— Там пляшет сейчас горная порода (горной породой Курако называет горных инженеров). Хоть дуй им в уши, ни один из них не услышит этой музыки. Надо стать сильным. Слабых бьют, Максим.

Курако стоит, вытянув руку с длинной дудкой, словно со шпагой; волосы взъерошены, на шее пышный белый воротник.

Максим восклицает:

— Как вы похожи сейчас на Дон-Кихота! Только камзола не хватает. Я буду вашим Санчо Пансо, Михаил Константинович.

Отворяется дверь. В будку входит Влас и говорит понурясь:

— Третий номер не берет дутья...

Это значит, что застывший шлак закупорил фурмы и в печь уже не проходит воздух.

Курако срывает воротник, подбрасывает под потолок и ловит на лету.

— Надо искать пана Дзенжапа... Иди, Влас, к Крицыну. Теперь мы вправе побеспокоить господ.

Влас медленно выходит. Курако кричит ему вслед:

— Захвати палку, разгонишь там собак.

Он оборачивается к окну и поднимает дудку.

— Когда-нибудь я сам их разгоню...

— Что это? «Козел»? — тревожно спрашивает Максим.

— Паны наляпали! — отвечает Курако.

Он обувается и надевает подбитую ватой куртку со множеством пуговиц.

— Я пойду к печи, Максим. Если хочешь, оставайся здесь, читай журнал.

Максим смотрит на чертеж.

— Построите ли вы, Михаил Константинович, когда-нибудь такую печь?

Надев зеленоватую широкополую шляпу, Курако застегивает последние пуговицы и восклицает:

— Придет наше время, Максим! Я их настрою столько, сколько пуговиц у меня на куртке!

Он уходит, захлопнув за собою дверь. Максим смотрит ему вслед с обожанием.

VI

На доменных заводах Курако начал работать с пятнадцати лет. К этому времени он был исключен из четырех учебных заведений — из кадетского корпуса, из двух гимназий и из реального училища. Причина исключения всюду была одна — мальчик не переносил наказаний. Чем строже его наказывали, тем упорнее он не покорялся.

В окружающих усадьбах детям строго запрещалось вести знакомство с отпетым Курачонком. Встречаясь по воскресеньям в церкви, они не здоровались с ним. Курако втайне страдал от этого и никогда не кланялся первым. Он стал атаманом крестьянских мальчишек и, обтрепанный, без шапки, с рогаткой в руках, совершал набеги на помещичьи сады. Горе было барчукам, попадавшим в его руки!

Влюбился он все же не в деревенскую девчонку, а в барышню. Он встречал ее в церкви, хорошенькую, остро-

носую, с очень тонкими ножками в черных чулках, с лентами в темных косах. Однажды, забравшись в чужой сад, он неожиданно столкнулся с ней.

— Здравствуйте, Иночка,— сказал он, покраснев.

Она поджала губы и не ответила.

— Почему вы молчите?

Она дернула плечиками и искоса взглянула на него. Он увидел свою исцарапанную грязную руку, босые, покрытые цыпками ноги и, не помня себя, закричал:

— Дура, дрянь!

Он отхлестал ее по щекам и убежал...

Когда Курако исполнилось пятнадцать лет, мать отдала его в уездную земледельческую школу. Туда принимали всех, кого исключали отовсюду; директор славился жестокостью и выдержкой.

В первое же утро директор заметил, что на общей молитве Курако стоял небрежно, вразвалку. В наказание после обеда вместо прогулки он был поставлен на колени перед иконостасом. Следующим утром на молитве директор искоса наблюдал за мальчиком. Курако поймал взгляд, вздернул голову и принял вызывающе небрежную позу. Дуэль продолжалась несколько дней. На молитве он стоял, расставив ноги, сунув руки в карманы, потом на два часа его ставили на колени перед богом. Затем директор усилил наказание: после уроков Курако отправился в карцер. Выйдя на следующий день оттуда, он в большую перемену запустил кегельным шаром в окно директорской квартиры. Воспитанники были выстроены, директор грозно спросил:

— Кто это сделал?

Курако вышел из строя. Это была его манера: совершать буйные поступки и дерзко сознаваться. Смуглый мальчик в белых холщовых брюках, в белой гимнастерке стоял перед директором, длинным, тощим человеком с прической ежиком, и смело смотрел на него выпуклыми черными глазами. Директор применил сильно действующее средство — пытку лишением сна. После того как воспитанники ложились спать, Курако должен был четыре часа стоять на коленях в пустом зале перед иконой божьей матери. Ночью, переминаясь на коленях, зевая и томясь, Курако нащупал в кармане карандаш. Ему взбрела в голову шальная мысль, и он немедленно ее осуществил. Подмалевав усы богородице и младенцу, он вновь опустился

на колени. Святотатство было обнаружено утром. Курако заперли в карцер и в тот же день назначили порку. Трое дядек притащили его, отбивающегося, брыкающегося, в зал, положили на скамейку у оскверненного иконостаса и всыпали двадцать пять розог. Директор сам считал вслух удары. Когда дядьки слезли с Курако, он кинулся вниз по лестнице в сад, перелез через забор и скрылся. Под утро он постучался к своему молочному брату и верному другу, деревенскому парню Максименко, и рассказал ему все.

— Пойдешь со мной на завод,— сказал Максименко.

Так решилась судьба Курако.

Мальчики ушли на рассвете в крестьянской одежде, в лаптях по екатеринославскому тракту.

Они устроились на Брянский завод в Екатеринославе, стали с той поры считать себя доменщиками. Вначале молочные братья работали оба каталями, затем Курако взяли пробоносом и рассыльным к доменным печам. Он исполнял функции телефона, которого тогда еще не было, бегал по заводу в тяжелых башмаках на толстой деревянной подошве — такую обувь носили рабочие горячих цехов.

Дух непокорности и дерзости по-прежнему жил в нем. На заводе был старый француз-сталевар. Он умел перешибать ладонью струю жидкого металла, словно это была струя воды. Никто на заводе не решался повторить этот фокус. Однажды француз проделал свою штуку при Курако — быстрым движением ладони перерезал струю стали. От удара далеко полетели брызги. Мастер поднял на лоб синие очки и с победоносным видом оглядел окружающих. Не думая, не рассуждая, Курако подбежал к белой, пышущей жаром струе и перерезал ее мгновенным ударом ладони. Секунду спустя он с удивлением смотрел на свою руку — она была невредима, и даже ощущение жара не коснулось ее.

Работа у доменных печей опасна. Курако навсегда запомнил картину прорыва горна, первого прорыва в его жизни. Он стоял на песке спиной к печи и вдруг услышал мощный глухой звук, покрывший шум домен, будто выбросило пробку из гигантской бутылки. Он обернулся и попятился. В печи вырвало стенку, оттуда со свистом рвалось пламя и хлестала раскаленная угольная пыль, во все стороны летели сияющие куски кокса, прорезая воздух

огненными змейками. Все бежали от печи, спасаясь от неминуемого взрыва. Курако, ошеломленный, пятился, и вдруг словно какая-то сила вытолкнула его вперед. Сквозь град тяжелых огненных ядер он пробежал к печи, одним рывком повернул шибер и выключил дутье. Печь мгновенно затихла. Курако стоял, сжимая руками железный рычаг; тлел рукав брезентовой куртки, деревянные башмаки дымились, ресницы и волосы были опалены. Он стоял минуту и две, не чувствуя ожогов. Мелкая дрожь пробегала по телу. Он испытал несказанное наслаждение в ту секунду, когда печь покорилась ему, когда она замерла, повинуясь его воле. Медленно оседала бурая пыль, жаркая огненная куча выброшенных печью материалов покрывалась с краев легким пеплом; взрыва не последовало.

К Курако подошел начальник доменного цеха француз Пьерон, толстый, невежественный и надменный.

— Спасибо, мальчик,— сказал он на ломаном русском языке и сунул Курако два пальца.

Курако потянулся навстречу, увидел два пальца, откинулся назад и протянул французу ногу в обугленном деревянном башмаке. Пьерон побагровел, надулся и ушел...

Мастера ценили Курако, и он быстро продвигался в освоении доменных профессий. В восемнадцать лет он был уже горновым; отчаянный мальчишка стал отчаянным доменщиком.

Его характер оказался как бы специально созданным для доменного дела. Во многих случаях при работе у печей только мгновенные решения и отчаянная смелость могут удержать в повиновении огромные огненные массы, неистово стремящиеся разнести кирпичную оболочку.

Однажды Курако висел на стенке печи, держась за железную скобу, и подтягивал водяные брызгала, чтобы усилить охлаждение опасной точки в кладке горна. Такие точки возникают внезапно и обнаруживают себя неумеренно интенсивным испарением — печь дает знак, что в этом пункте чугун проедает кладку. Надо немедленно взобраться на стенку и направить на опасное место добавочную струю воды. Под действием энергичного поливания чугун, близко подошедший к охлаждаемой поверхности, может застыть и тогда сам защищает горн, как броня. Чтобы освободить обе руки и точнее направить брызгала, Курако повис на стенке вниз головой, уцепившись за скобу ногами. Его войлочная шляпа упала, сверху лилась вода в рас-

трубы широких штанов и вытекала из рукавов брезентовой куртки, как из двух водосточных труб. Мимо проходил подручный и остановился посмотреть, что делает Курако. В эту секунду несколько огненных капель брызнуло из кирпичной стенки, вслед за ними сверкнуло длинное пламя — это хлестнул чугун и накрыл подручного. Курако обдало жаром. Он висел над несущимся потоком жидкого металла; волосы мгновенно просохли, затрещали и начали скручиваться, готовые вспыхнуть. Неимоверным усилием Курако бросил тело вверх и прижался к печи, скрываясь за струями воды от жгучего жара. Раздался оглушительный удар взрыва. Рывком воздуха Курако едва не сбросило с печи, рядом вплющилась в стенку лепешка чугуна, и все заволокло багрово-черной пылью.

Когда остановили дутье, Курако сидел на стенке, невредимый и мокрый. Спустившись, он не смотрел в глаза товарищам. В нем клокотала ярость; он всегда чувствовал себя словно высеченным, когда не справлялся с печью.

Он знал, что не уйдет от домен, пока они не станут покорны ему. А они не были покорны!

Один за другим к нему приходили друзья детства и становились доменщиками. Со своей армией Курако бродил по заводам Криворожья и Донецкого бассейна. Он переходил от французов к бельгийцам, от бельгийцев к немцам, затем к англичанам — и уходил дальше, неудовлетворенный, ища и не находя мастера, перед которым мог бы преклониться.

На Юге строились новые и новые заводы. Среди доменщиков распространился слух, что американцы привезли в Мариуполь две диковинные печи. Курако отправился туда. Он приехал незадолго до пуска и с удивлением рассматривал необычайно высокие печи, забранные снизу доверху в стальной клепаный панцирь, с наклонным мостом для подъема сыпи, с автоматическим устройством на колошнике, со множеством других неведомых аппаратов и приборов. Его взяли горновым на первый номер. Задувка прошла неудачно вследствие незнакомства американцев со свойствами криворожской руды, и после недолгой безуспешной борьбы печь остановилась с «козлом».

К печи подвели несколько резиновых шлангов с блестящими медными наконечниками. Это были нефтяные форсунки системы Кеннеди. Сам Кеннеди, конструктор и строитель мариупольских печей, всегда выбритый и хо-

рошо одетый, сбросил пиджак, надел синие очки и опустился на колени перед печью с форсункой в руках. Он повернул кран, и далеко вокруг разнесся дикий, оглушительный вой; форсунка ревела и стреляла, дрожала и дергалась, выбрасывая нефтяную пыль в струе накаленного воздуха.

Курако подошел вплотную к Кеннеди. Пламени не было видно, из летки медленно выползали красные струйки. Нагнувшись, Курако заглянул в летку: бесцветное пламя форсунки проело пору в мертвой глыбе металла, «козел» лился, как лед льется от огня.

Завернув кран, Кеннеди оттолкнул горнового, показывая руками на глаза. Курако отвел взгляд от летки, перед глазами плыли красные круги,— на пламя форсунки нельзя смотреть без темных очков. Кеннеди продолжал форсунить. Курако быстро надел синие очки и страстным движением протянул обе руки к форсунке. Кеннеди сердито мотнул головой. Курако энергично настаивал. Они безмолвно объяснялись среди пронзительного воя.

Кеннеди взглянул горновому в лицо, улыбнулся и подал дрожащую трубку.

Через сутки в застывшей печи был выжжен соединительный ход между леткой и центральной фурмой. Добиться такого соединения, работая форсункой, очень трудно. Освобожденное пространство заполнили коксом, дали горячее дутье, и печь стала работать одной фурмой, сама излечивая себя.

Спустя несколько дней печь шла полным ходом, будто в ней никогда не было «козла».

Незнание языка отделяло Курако от Кеннеди стеной. Курако пробил эту преграду. Пять учебных заведений не заставили его учиться. Теперь, когда его никто не понукал, он ежедневно по нескольку часов просиживал за английским учебником.

Проникая в замыслы конструктора, Курако рвался к аппаратам, чтобы испробовать их своими руками, но всеми механизмами управляли американцы; для русских они были запретны.

Печи шли ровным, спокойным ходом, и доменный мастер, толстый американец Ричардсон, в рабочие часы часто отлучался из цеха. Подобных начальников Курако называл «баклушниками», они бесили его. Однажды он напрямик сказал Ричардсону:

— Для того чтобы так работать, не стоило пересекать океан.

— Почему не стоило? — хладнокровно ответил американец.— В России есть четыре превосходные вещи: русская водка, русская икра, русские папиросы и русские женщины.

Соответственно этой программе Ричардсон не терял попусту времени. Случилось так, что ход печи расстроился. Курако послал за мастером. Ричардсон веселился где-то в приморском кабачке, и его не нашли. Расстройство становилось тяжелее. Курако побежал к воздуходувной машине и потребовал усилить дутье. Машинист-американец послал его к черту. Курако кинулся к регулятору, сам повернул ручку и дал большой пар. Машинист, огромный рыжий детина, отшвырнул Курако от регулятора ударом кулака. Сбросив шляпу, Курако ринулся на машиниста. Худой и невзрачный, он обладал исключительной физической силой, в минуты ярости она удесятерялась. Он сбил машиниста с ног, тот пытался подняться и снова под ударами падал. Испуганный машинист отполз в угол. Курако стоял на площадке управления, положив на регулятор руку. В результате печь пошла исправно.

Постепенно в Мариуполь стекалась куракинская гвардия. Это были отчаянные доменщики, люди исключительного здоровья и редкой физической силы. По субботам они вместе с Курако уходили в трактир, пили водку, плясали и пели всю ночь, а наутро возвращались к печам. Но все чаще и чаще песни сменялись горячими беседами, спорами. Доменщики не могли оставаться безучастными к тому, что происходило вокруг них. Их захватывал революционный подъем, нараставший в стране.

Много было переговорено, передумано в те предшествующие первой революции годы. На заводе из рук в руки передавалась нелегальщина. Курако перечитал ее немало. Он искал истины, искал понимания жизни и в листовках, тайно напечатанных на папиросной бумаге, и в разных брошюрах и книгах, которые ему удавалось доставать в Краматорке. Там познакомился с учением Маркса. Мысли о неизбежности социалистической революции, о решающей исторической роли рабочего класса были особенно дороги, близки Курако. Теперь он думал о Марксе, ссылался на Маркса, когда развивал среди друзей свою излюбленную идею, что развитие доменного дела, метал-

лургии, индустрии влечет за собой преобразование общества.

Курако охотно ораторствовал в своей компании. Расстегнув ворот, он говорил увлекательно, красиво и страстно. В тесном кругу друзей доменный мастер мог свободно высказывать свои суждения о судьбах родины, о грядущих прекрасных временах. Ему рисовались новые города, новые заводы в свободной стране — в любимой России, где рабочий люд совершит революцию, где кончатся гнет и издевательства над рабочим человеком. Мысли о счастье народа неизменно переплетались у Курако с мечтой о техническом прогрессе, о современных, безукоризненно действующих домнах. Он, Курако, будет беспрепятственно создавать их при новом строе.

Счеты с богом и царем были у него давно покончены. В тот год впервые прокатилось по России имя Максима Горького; горьковские босяки, вольные, дерзкие люди, были понятны и близки Курако. Быть может, поэтому с особой остротой он ощутил ничтожество их судеб, их бессилие.

— Какие доменщики могли бы из них выйти! — воскликнул однажды он, ударив кулаком по столу.

Вскоре американцы уехали из Мариуполя. Ведение мариупольских печей приняли французы. Тут же они посадили «козла». Курако распарил его. Его слава победителя «козлов» широко распространилась на Юге, за ним часто приезжали с заводов, он воскрешал закозленные печи.

Осенью 1902 года, в разгар промышленного кризиса, к Курако приехали с Краматорского завода, принадлежавшего немецкой фирме Борзиг. Одна печь Краматорки стояла на «козле», вторая страдала длительным расстройством хода и выдавала сернистый, негодный металл. Три миллиона пудов бракованного, отвергнутого рынком чугуна лежало в огромных штабелях на дворе завода. В две недели Курако привел в порядок обе печи. Дирекция пригласила его стать начальником цеха. Разговор происходил в кабинете управляющего предприятием, тучного обрусевшего немца; его красная шея свисала толстыми складками на твердый крахмальный воротник. Курако поставил условие — механизировать обе печи.

— Зачем вам это нужно? — спросил благодушно немец.— Русский лапоть — самая дешевая механизация.

Побледнев, Курако ответил:

— Когда лаптем бьют по морде.

Немец не понял и переспросил:

— Что вы сказали?

Курако поднялся с кресла, стукнул кулаком по столу и повторил медленно и четко:

— Когда лаптем бьют по морде.

Директор принялся успокаивать доменщика и пошел навстречу его требованиям. Они договорились, что пятьдесят процентов прибыли, которую даст Курако, будут ассигнованы на переустройство печей.

Курако стал первым русским начальником доменного цеха на Юге. Из Мариуполя в Краматорку перешла его армия. Буквально через несколько дней на заводе начались чудеса. Печи стали выдавать превосходный чугун, и в полтора раза больше, чем в лучшие свои времена. Курако еще ничего не перестраивал, он лишь расставил своих людей и поселился в доменной будке, дни и ночи проводя в цехе. Это действовало, как волшебная палочка.

Его огромная квартира пустовала. Он по-прежнему ходил в одежде доменщика, и друзья у него были прежние.

Проведя полгода в Краматорке, Курако взял месячный отпуск и поехал домой.

Он бежал оттуда в свитке и в лаптях; теперь он вернулся прославленным начальником доменного цеха, зарабатывающим двадцать тысяч в год.

Мать с тихим вскриком бросилась ему на шею. Утекшие годы состарили ее слишком быстро.

Первый день он провел с матерью, на другое утро с ружьем за плечами, в охотничьих высоких сапогах ушел бродить по знакомым местам. Он долго ходил без дорог, узнавая поляны, перелески, болота; неожиданно уперся в высокий забор, огораживающий фруктовый сад соседней усадьбы, и понял, что стремился именно сюда. Он стоял у забора, вспоминая остроносую девочку в черных чулках с темными косами и тонкими губами. Это была его единственная настоящая любовь. На заводах он знал много женщин, но того незабываемого чувства, которое он пережил пятнадцатилетним мальчишкой, он больше не испытал ни разу.

Он стоял у забора, отковыривая краску с прогнившей доски; ему захотелось увидеть то место, где когда-то стояла она. Отступив, он разбежался, вскочил на затрещавший забор и прыгнул в чужой сад. Бессмысленно улыбаясь, вовсе не похожий на прославленного доменщика, он пробирался меж кустов и деревьев. На яблонях наливались плоды. Он сорвал незрелое, твердое яблоко, закусил его и ощутил терпкий, вяжущий вкус, совсем как в детстве при набегах на чужие сады. Он вышел к широкой лужайке. Да, девочка стояла здесь, он протянул ей руку, она дернула плечиками и скривила губы.

— Кто это? Как вы сюда попали?

Курако услышал женский испуганный голос, обернулся и увидел незнакомую девушку в легком летнем платье. Он стоял, закусив яблоко, с ружьем за плечами, в сапогах выше колен, в мягкой зеленоватой шляпе с приспущенными широкими полями, и покраснел, как школьник. Он был все еще мальчишкой, краски юности еще не стерлись с лица, губы еще были пухлыми, и его сразу узнавали все, кто помнил его Курачонком.

Девушка изумленно ахнула и закричала:

— Мама, мама! Идите сюда, к нам пришел Михаил Константинович!

Все окрестные помещики знали о приезде Курако. Сюда давно докатилась слава о его удивительной карьере; теперь все двери были перед ним открыты.

Девушка подошла к Курако, протянула ему руку и сказала:

— Неужели вы забыли Иночку?

Курако раскрыл рот, закушенное яблоко упало к ногам. Идиот, как он сразу не узнал ее? Она стояла в розовом платье, все такая же милая, с тем же острым носиком, и улыбалась. Подошедшая мать увлекла Курако в комнату. Во все стороны верхами полетели гонцы за гостями. В усадьбу съезжались соседи — поглазеть на диковинного доменщика. Вино полилось за столом. Курако никогда не пил легких и сладких вин. Он привык к водке. Но в этот вечер, сидя рядом с Иночкой, он не нашел своего стиля, ему пришлось пить портвейн и наливки. Непривычные вина ударили в голову, он наклонился к Иночке и прошептал на ухо:

— Я люблю вас с тех пор. Помните?.. Только это я вам не скажу никогда.

— Ну и не говорите,— ответила она, улыбаясь.

Через три дня они уже целовались. Инина любила болтать. Он прислушивался. Это были бесконечные уездные сплетни. Курако слушал, морщился и думал о том, что надо увезти ее подальше от этих мест. В Донецком бассейне люди иные, и девушка станет другой.

Поглупевший от любви, он сделал ей предложение; получив согласие, обвенчался в тот же месяц и на завод вернулся с женой.

В день приезда Курако собрал у себя доменную братию. Инина задержалась с туалетом, пир начался без нее. Курако взобрался, как всегда, на спинку стула, бросил на подоконник галстук и крахмальный воротник, расстегнул сорочку и рассказывал о поездке. Доменщики хохотали и шумели. Все было по-прежнему, будто ничего не случилось.

В дверях показалась Инина в пышном белом платье с низким вырезом, волосы были завиты длинными локонами, в руках она держала веер.

— Вот, барбосы, моя доменщина! — закричал Курако.— Выпьем за нее.

Он налил себе водки, поднял стакан и взглянул на жену. Она стояла в дверях, скривив тонкие губы; и, сощурившись, оглядывала грубые усатые лица горновых, газовщиков и мастеров.

— Барыня...— донесся до Курако шепот.

Передернув плечами, она прошла к столу, не подав никому руки.

Курако отошел к окну и, сдерживая приступ ярости, смотрел на пламенеющие печи. Доменщики поднимались и, неловко прощаясь, уходили один за другим...

— Неужели, кроме этих мужиков, у тебя нет приятелей? — спросила Инина, когда они остались вдвоем.

Курако повернулся и медленно оглядел жену. Ее белое платье, полуоткрытая грудь, локоны и тонкие губы — все, что казалось любимым и милым, сейчас было противно ему.

Она подошла и сказала, ласкаясь:

— Ничего, не волнуйся, Михасенька! Теперь у нас все пойдет по-новому.

Он ушел пить водку в трактир и в эту ночь не вернулся домой. Со следующего дня он вновь поселился в доменной будке и лишь изредка появлялся дома.

Инина забеременела. Она жила одна в огромной квартире и ждала появления ребенка, который, как она надеялась, должен был вернуть ей мужа.

Приближалось окончание первого года службы Курако. Предварительные подсчеты показывали, что доменный цех даст около полумиллиона прибыли. Курако сконструировал доменную печь своей системы. Уже была сделана модель: по наклонному мосту двигались вагончики, поднимался конус, раскрывалась воронка, откидывались фурменные рукава, вода циркулировала по трубам. Он просиживал над моделью часами, размышляя о работе конструкций. Его не удовлетворяло загрузочное устройство. Он чертил и рвал чертежи, пока не нашел решения...

Инина родила девочку. Это было крохотное прелестное создание, такое же смуглое, как и Курако, с такими же выпуклыми блестящими и черными, как черносливины, глазами. Курако перенес чертежи и модели из доменной будки на квартиру и часто, оторвавшись от работы, подходил к детской кроватке, брал на руки дочку и с нежной улыбкой следил за бессознательными движениями смуглого маленького тельца. Но Инина не замечала особых перемен в своей судьбе. У мужа остались все те же дружки, по-прежнему он был поглощен своими домнами.

Через полгода перестроенная печь была готова к пуску. Она блестела, выкрашенная смолистым черным лаком, массивные колошниковые устройства системы Курако издали казались ажурными и филигранными, они словно плыли в воздухе. И все же Курако был недоволен. Это не то, о чем он мечтал! Размахнуться по-настоящему он все-таки не смог. Курако видел в воображении механизированный рудный двор, мощные большие печи, ленточные машины для разливки чугуна. Но вместо всего этого, что он уже создал на чертежах, дирекция позволила ему перестроить только одну домну.

В день задувки на завод приехал окружной инженер, желтый и хромой старик в фуражке с двумя молоточками. Согласно законоположению, он должен был подписать разрешение на пуск.

Осмотрев домну, инженер спросил:

— Кто строил?

Курако, в измазанном синем рабочем костюме, в неизменной войлочной шляпе, с гаечным ключом в замасленных руках, ответил, вскинув голову:

— Курако!

Инженер попросил предъявить диплом и разрешение на производство строительных работ. Узнав, что у Курако нет диплома, он запретил пускать печь.

— Вы намудрили здесь, молодой человек. Где у меня гарантия, что у вас не разнесет все это к черту?

Задувка печи — одна из наиболее ответственных и опасных операций доменного дела. Впуск газа в каупера часто сопровождается взрывами. Для образования гремучей смеси достаточно, чтобы какой-либо шов был неплотно зачеканен и пропускал воздух. Небольшие хлопки почти неизбежны при задувке, и обычно секунду спустя после пуска газа вихрь синего пламени с громким выстрелом вырывается через предохранительный клапан.

Сдвинув шляпу на затылок, глядя на старого инженера смеющимися дерзкими глазами, Курако спросил:

— Значит, вам нужно предъявить диплом?

— Да-с, молодой человек, это единственная для меня гарантия.

Курако прыгнул на трубу газопровода и побежал по ней к предохранительному клапану. Опершись ногою о железный рычаг, он крикнул, подняв руку:

— Петро, дай газ!

Все замерло вокруг печи, доменщики знали, что хлопок разнесет человека. Максименко взялся за шибер и остановился, нерешительно глядя на Курако.

— Дай газ! — вновь прокричал Курако, потрясая кулаком.

Максименко повернул рукоятку. В кауперах тотчас засвистело и запело пламя. Курако стоял, вскинув голову, секунду, другую и третью. Хлопка не было.

Спрыгнув с трубы, он подошел к инженеру:

— Вот мой диплом!

Инженер покачал головой, подвигал губами, повернулся и пошел.

— Что, хромой черт, скушал! — бросил Курако ему вслед.

Доменщики кинулись его качать...

В первые месяцы революционной борьбы 1905 года жизнь на Краматорском заводе внешне мало отличалась от обычной.

Представления Курако о том, как народ осуществит свою мечту, не сразу стали отчетливыми, определенными.

Но ход событий в стране вносил все большую ясность в его мысли. Инженеры держали себя так, как будто ничего особенного не происходило. Но Курако напряженно ловил каждое известие, с нетерпением ожидал газет, пытаясь в каждой напечатанной строчке найти особый смысл. Все чаще и все горячей беседовал он со своей братией, все определеннее высказывался. Газеты сообщали о вспыхивавших то там, то тут забастовках. Когда большевики Краматорска призвали рабочих завода присоединиться ко всеобщей забастовке, выступить с оружием в руках, заводская администрация была поражена неожиданным оборотом дела. Первым забастовщиком оказался начальник доменного цеха Курако. Он сам отдал приказ остановить доменные печи. Его доменная армия стала боевой дружиной, и он сам командовал ею. Уже не в трактире, в тесном кругу друзей, а на площади у заводских ворот говорил Курако свои речи.

— Русский лапоть — самая дешевая механизация! — с яростью восклицал он, повторяя слова управителя немца. Это изречение он приводил почти в каждой речи.

Начальник доменного цеха был самым красноречивым и пламенным оратором. И не только оратором, но и начальником боевой дружины. Когда краматорцы получили в свое распоряжение сотню винтовок, Курако сам распределил их между рабочими. Тут же около завода он, меткий стрелок, способный состязаться с любым обученным солдатом, учил рабочих открывать затвор, вкладывать патроны, глядеть через мушку, прицеливаясь в мишень.

Администрация бежала с завода. Властью в Краматорской стал рабочий революционный комитет. Доменщики избрали туда Курако.

По ночам, после заседаний, митингов, военных учений, ему не спалось. Он вскакивал со своего клеенчатого дивана, садился за чертежный стол и легкими карандашными штрихами набрасывал эскизы доменного цеха, который он выстроит здесь, когда победит революция. Неистовый доменщик, он и среди бурных событий, участником которых был, не переставал мечтать о нескончаемых потоках металла, которые преобразят Россию. Он перелистывал журналы, рассвет заставал его за чертежами, он уходил на завод и, вымеривая стальной рулеткой расстояния, вбивал колышки в точках, где станут мощные механизированные агрегаты. Он видел, осязал новый завод на месте старой

Краматорки. Завод, который выстроит освобожденный народ.

В 1906 году Курако был схвачен жандармами и выслан в Вологодскую губернию.

Через четыре года, отбыв срок, Курако вернулся из ссылки. Две тонкие морщинки, словно чуть намеченные острием карандаша, легли на высокий коричневый лоб; губы утратили пухлость, очертания рта, полузакрытого острыми усами, стали резче. Это были едва уловимые изменения, но теперь далеко не всякий, кто помнил Курако мальчишкой, узнал бы его. Вызывающее удальство уже не проявлялось на каждом шагу, глубоко внутрь ушла неистовая дерзость, теперь она лишь изредка проглядывала, когда он вскидывал голову прежним движением. Он не отяжелел, мускулы остались упругими и гибкими; он хранил в себе мечту, как заряд огромной силы, его взгляд по-прежнему выдерживали немногие.

Из ссылки Курако прежде всего заехал в Краматорку. Жизнь разметала его старую гвардию, и в Краматорке уцелели немногие. Как в прежние добрые времена, они собрались в трактире. Курако было о чем порассказать друзьям, было что послушать. На прощание он обещал доменщикам:

— Ждите, ребята, войду в силу — вновь будем вместе.

Однако его гвардия была теперь рассеяна по белу свету, и он, обер-мастер доменного цеха Юзовки, пока не в силах этого изменить.

VII

— Ужинать, господа, ужинать! — зовет Юлия Петровна.

Из всех комнат гости стекаются в столовую. Здесь, кроме большого стола на пятьдесят приборов, накрыто несколько маленьких. Такие же столики поставлены и в двух соседних комнатах.

Вместе с другими в столовую входит грузный, плечистый старик с красным лицом и пышной седой бородой. Это Арчибальд Бальфур, компаньон умершего Джона Юза, ныне главный пайщик предприятия. Ему семьдесят лет. Дважды в год он приезжает в Юзовку и ходит по заводу в цилиндре. Медлительный и благообразный, он прибыл на бал вместе с сыном. Крицын не встречал хозяина в две-

рях и не подошел к нему первый; старый Арчибальд был предоставлен самому себе наравне с остальными гостями.

Благодушно улыбаясь, Бальфур жмет Крицыну руку и произносит по-английски:

— Поздравляю вас, мой дорогой Адам!

Крицын обнимает старика за талию и ведет к большому мягкому креслу, поставленному в центре стола. Он расспрашивает Бальфура о здоровье и дает медицинские советы. Арчибальд опускается в кресло, самодовольно улыбаясь,— в Англии у него двадцать девять внуков, и он намерен еще долго прожить...

Бальфур — делец старомодного, отжившего типа. Тридцать пять лет вел он коммерческие дела предприятия, и тридцать пять лет правление завода неизменно занимало одно и то же помещение — две небольшие комнаты в лондонской Сити. В делах Бальфур руководствовался нерушимой заповедью: все за наличный расчет. Правление не выдавало и не принимало векселей. Банковских дельцов Бальфур опасался не менее, чем грабителей, и никогда не вступал с ними в сношения. Завод много лет производил и продавал рельсы; с 1901 года их перестали покупать в России, промышленный подъем сменился застоем, и юзовское дело неудержимо покатилось к упадку. Не имея сбыта внутри страны, южнорусские заводы экспортировали металл в Турцию, в Румынию и даже в Трансвааль по ценам ниже себестоимости.

Сыновья Джона Юза, с трудом овладевшие русским языком, получившие примитивное заводское воспитание, были не в силах вести обветшалый корабль по обмелевшему, опасному морю. После ряда убыточных годов Бальфур, по примеру многих других иностранных фирм, действовавших в России, решил пригласить русского директора. Ему рекомендовали Крицына, молодого инженера, прославившегося молниеносной карьерой, директора Брянского завода. Бальфур телеграммой пригласил Крицына в Лондон для переговоров и несколько дней спустя получил лаконичный ответ: «Места не ищу. Крицын».

Старый Арчибальд сам поехал к молодому директору. Крицын вел игру, как гроссмейстер, и продал дорого свои услуги. Он получил пятьдесят тысяч рублей в качестве твердого годового оклада плюс два процента прибыли и так называемую полную доверенность. Ему предоставля-

лись все права владельца: только он один, и никто больше, не исключая самого Бальфура, мог распоряжаться на заводе, вести переговоры от имени завода, совершать сделки и производить расходы, принимать и увольнять персонал. Только главный бухгалтер назначался Лондоном. Вне договора было заключено устное соглашение по двум пунктам: Бальфур просил, во-первых, не притеснять англичан, остающихся на заводе, и, во-вторых, прежде чем приступить к перестройке завода, максимально использовать прежнее изношенное оборудование, дожечь старые печи и выколотить все возможное из остальных устройств. Крицын словом джентльмена обязался исполнить обе просьбы Бальфура. Он стал директором-распорядителем огромного комбината, включавшего завод, угольные шахты, железные рудники и целый город. Даже полиция в поселке содержалась на средства завода и подчинялась Крицыну.

Старый Арчибальд сохранил за собой лишь одно право — прогнать Крицына в любой момент, когда он, Бальфур, сочтет это нужным...

Он сидит в мягком кресле и удовлетворенно улыбается. Крицын дал за этот год четыре миллиона прибыли, на следующий год эта цифра увеличится еще на три миллиона, их принесет плавка ферромарганца.

В столовой рассаживаются кто где хочет. Вокруг старого Бальфура сосредоточиваются заводские англичане: Монтегю Бальфур, его сын и его глаз, пребывающий на заводе постоянно; главный бухгалтер Томас, такой же седой и благообразный, как патрон; помощник начальника доменного цеха Флод, вялый, флегматичный человек, вечно страдающий головными болями; механик Колдервуд, химик Крайтрайт и другие.

В другом конце стола группируются поляки: доменщик Дзенжан, прокатчик Чехович, по прозванию Чепухович, с красавицей женой Яниной Владиславовной, начальник мартеновского цеха Бусинский и много других.

Вокруг Крицына садятся его однокурсники, угольщики и металлурги. Они все в инженерских тужурках и в высоких сапогах — это мода горных инженеров. Десять лет назад они вместе окончили Горный институт; их выпуск теперь называют директорским. Это почетное звание завоевали они, победители, молодые директора Юга.

Крицын сидит, улыбаясь и оживленно болтая, а думает о своем. Жена угадала — у него сегодня действитель-

но какое-то тягостное состояние. Он сам не понимает, что его гнетет сейчас.

На минуту забывшись, он в задумчивости слегка пожевывает, хотя еще ничего не ест. В Юзовке знают: когда Крицын начинает жевать, с ним надо быть осторожнее. В кругу юзовских мастеровых живет легенда, что Крицын катает во рту золотой шарик. Это будто бы вызвано тем, что при покушении в 1907 году пуля террориста задела нижнюю челюсть и перебила какой-то нерв; врачи-де прописали Крицыну передвигать во рту золотой шарик. В Крицына действительно стреляли, но никакого шарика во рту у него нет. Легенда, однако, упорно держится много лет.

В эту минуту у Крицына странное лицо: верхняя часть неподвижна, в ней все красиво, пропорционально — высокий лоб, умные глаза, тонкий длинный нос с горбинкой,— а нижняя челюсть двигается взад и вперед вместе с рыжеватой бородкой. В этом движении есть что-то низменное, что-то животное.

«Ты никогда не жалеешь, Адам, что не стал астрономом?» — вспоминает он слова Кратова. Смешно. Разве астрономия дала бы ему такую жизнь? Он имеет свыше ста тысяч рублей ежегодно, у него имение в Крыму, парусная яхта и итальянская моторная лодка, у него великолепный автомобиль, прекрасный дом, огромный парк; он удовлетворяет все свои причуды, занимается спортом, химией, музыкой, фотографией, садоводством, ухаживает за женщинами...

Когда-то он всерьез увлекался астрономией, мечтал открыть новую звезду и после окончания гимназии поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, откуда выпускали астрономов. Через два года астрономия наскучила ему. Он решил оставить университет, успокоив себя простым соображением: стоит ли посвящать жизнь науке, когда свет дальних звезд идет до земли тысячелетия, когда само существование человечества не составляет и бесконечно малой величины в истории вселенной; жизнь бессмысленна, надо насладиться ею.

Россия переживала в то время промышленный подъем девяностых годов. На Юге воздвигались мощные рельсопрокатные заводы, строилось множество железных дорог, вокруг рельсов густо вилась золотая пыль. Со второго кур-

са университета Крицын перешел в Горный институт, стоило стать инженером.

С гимназических лет он отлично знал химию. Интерес к химии пробудился в нем вследствие увлечения фейерверками. Свой первый самостоятельно приготовленный фейерверк Крицын не забудет никогда. Это было в Гродно, в день рождения — ему исполнилось пятнадцать лет. Гости — взрослые и дети — наполнили небольшую квартиру отца, провинциального доктора. Нервничая от нетерпения, Крицын звал их в сад; они одевались слишком медленно, подсмеиваясь над возбужденным мальчиком. Ракеты были расставлены по всему саду и соединены электрическим проводом. Он сам сделал динамо из швейной машины. Он помнит, как включил ток, глухо бухнул ближний бурак, и взлетели огни — синий, зеленый и красный, в небе возникли четыре огненные буквы: он написал свое имя — Адам. Правда, кроме него самого, никто букв не разобрал, но триумф этого вечера, сияние его имени остались ярким воспоминанием детства.

Приготовлять фейерверки Крицына научил знакомый пиротехник; но пиротехник знал только три огня, а Крицыну хотелось пускать в небо всю спектральную гамму. Он пошел по книжным магазинам искать фейерверочную литературу. Книгу о фейерверках он не нашел, но в одном магазине ему посоветовали взять курс химии Менделеева. Он купил оба тома и с увлечением проделал все опыты один за другим. Крицын помнит, как показывал химические фокусы брату Александру и колотил его, если брат не удивлялся. Как странно распределила между братьями свои дары природа: она наградила Александра невероятным упорством, не дав ему блестящего таланта. Адама она создала талантливым и лишила упорства. Ведь он открыл бы уже новую звезду, если бы не бросил астрономию...

Хлопает первая пробка от шампанского. Крицын стряхивает задумчивость и перестает жевать.

С бокалом поднимается Дзенжан. Он кричит с заметным польским акцентом:

— Пью за здоровье короля доменных печей Адама Александровича Крицына!

— Пожалуйста, без доменных печей! — слышится женский голос.

К Крицыну тянутся бокалы, тост Дзенжана приятен ему, хотя он недолюбливает грубую лесть и этот тон не

принят в его доме. В глубине души Крицын знает, что за годы директорства он отстал от доменного дела, но он никому не признается в этом — даже себе.

Быстрыми мелкими шагами Дзенжан обегает стол, чтобы чокнуться с директором. Крицын тихо спрашивает через плечо.

— Как печь? Вы давно там были?

Дзенжану не хочется уходить с бала, у него бегают глазки, он врет:

— Все в порядке, Адам Александрович... Я заезжал туда...

Юлия Петровна прислушивается к разговору.

— Еще двое попались! — восклицает она.— Плати-ка, Адам, штраф!

Юлия Петровна строго следит, чтобы в столовой никто не говорил о делах. Нарушители обязаны на месте уплатить трехрублевый штраф в пользу детского приюта.

— Я виноват, плачу за обоих,— говорит Крицын, вынимая бумажник.

— Нет, позвольте, я уплачу за себя.

Дзенжан вручает Юлии Петровне деньги и целует ей руку. Она собрала уже много штрафов. За столом все знают сенсационную новость — что Крицын отправил телеграмму о выходе из «Продаметы» по специальным чугунам, и немногие удерживаются, чтобы не посудачить об этом.

Провозглашаются тосты за сэра Арчибальда, за Юлию Петровну и за милых женщин. Ужин очень легкий, без водки; у Крицыных пьют только натуральные вина и шампанское, подается одно горячее блюдо и сладкое, затем для желающих — кофе.

На столе много острых закусок: пахучие сыры, салаты, крепко приправленные уксусом, маринованные рыбы, майонезы и пикули. Крицын любит все острое, даже суп он любит с уксусом; майонезы он делает сам, смешивая в точных пропорциях острейшие специи.

Он сидит среди приятелей-директоров и с удовольствием ловит в перешептываниях слово «Продамета». Он вновь всех опередил. С юности он привык быть первым — в списках окончивших институт его фамилия была на первом месте, и он первый стал директором...

Когда-то все они, его друзья, нынешние директора, считались левыми, участвовали в первой студенческой

забастовке, после того как арестованная и изнасилованная курсистка Ветрова сожгла себя в Петропавловской крепости. Крицын кричал тогда вместе с другими: «Смерть палачам, долой самодержавие!» В 1904 году Крицын, уже начальник доменного цеха на Брянском заводе, подписал петицию Николаю с требованием конституции, свободы слова и свободы печати.

Этим и кончились его благие порывы. Получив в 1906 году пост директора Брянского завода, он быстро показал себя. В стране крепчала реакция. Молодой директор пачками увольнял рабочих, замеченных в беспорядках, левизна сползла с него легко и безболезненно, как отшелушившаяся шкурка. Он ходил по заводу с браунингом в заднем кармане. В него дважды стреляли, он отстреливался и убил одного из покушавшихся. Некоторое время спустя убили его помощника, инженера Мылова.

На следующий день Крицын объявил предприятие закрытым, рассчитал поголовно всех рабочих и на три месяца уехал за границу, в курортное местечко на побережье Адриатического моря. Вернувшись, он открыл прием. На завод приняли лишь половину штата, все «подозрительные» были отсеяны, дисциплина восстановлена. Крицын ходил по заводу в сопровождении вооруженных ингушей, они верхами конвоировали его коляску, когда он проезжал по городу. После ряда убыточных годов предприятие начало давать дивиденд. Крицын выиграл игру. В тот год он поседел и начал пожевывать...

Хозяйка приглашает начать танцы. Гости поднимаются. Из-под стола выскакивают фоксы. Умные собаки знают, что люди сейчас начнут быстро кружиться по паркету, можно будет носиться и прыгать вокруг, пока за ними не начнут гоняться,— это будет самым интересным.

Внезапно Боб и Кики настораживаются и с тревожным лаем бросаются через зал в переднюю. Оттуда слышится их громкий лай. Это не игривое, беззлобное тявканье, они на кого-то кидаются с остервенением.

В дверях столовой появляется лакей Гавриил в белых перчатках, он ищет среди гостей Дзенжана. Из передней по-прежнему доносится злобный, хриплый лай. Дзенжан уже встал из-за стола и идет с дамой в зал; он слегка подвыпил и расправляет густые поседевшие усы. Гавриил подходит к нему.

— Виктор Казимирович, за вами пришли с завода.

— А?..— вырывается у Дзенжана.

Он останавливается с полуоткрытым ртом, бледнеет, замирает рука, вцепившаяся в усы. Извинившись перед дамой, он суетливо проталкивается к дверям и бежит через зал по паркету в лаковых туфлях с бантиками. Его провожают любопытные взгляды, кое-кто следует за ним.

В большой передней с зеркалом во всю стену рядом с чучелом медведя стоит Влас, в сапогах, в грязной брезентовой куртке, в войлочной шляпе, низко надвинутой на лоб. Он обороняется палкой от собак. К нему подбегает Дзенжан. Влас снимает перед начальником шляпу.

— Что? Третий номер?

— Не берет дутья, Виктор Казимирович...

Ударом ноги Дзенжан отбрасывает лающего Бобку. Фокс взлетает на воздух, ударяется о зеркало и с пронзительным визгом ползет на животе. Дзенжан бормочет польское проклятие. Услужливый Гавриил подает пальто и фуражку. Дзенжан грубо толкает Власа от двери и выбегает из дома. Он бежит на завод в бальных туфлях кратчайшим путем, прямо с горы, без дороги. За ним на сером снегу остаются белые следы — туфли выворачивают чистый снег из-под загрязненного копотью покрова.

А Влас хмуро озирается на окружающую его роскошь: зеркала, цветы, мрамор широкой лестницы, покрытой пушистым ковром. Из зала доносится музыка.

В переднюю собираются гости; поползло зловещее слово «козел». У Крицына никогда еще не случалось «козлов». «Козел» — это гибель печи, это волчий билет для инженера. Власа обступили и расспрашивают. Он молчит и порывается уйти.

В переднюю входит Крицын. Водворяется молчание, слышно, как скулит ушибленный Бобка. Перед Крицыным расступаются и отводят глаза в сторону.

— Ты зачем здесь? — тихо спрашивает он.

— Третий номер...

Крицын не дает ему договорить.

— Спасибо, дядя Влас.— говорит он весело и громко, будто Влас поздравил его с днем рождения.

Достав серебряный рубль, Крицын добавляет:

— Вот тебе, выпей за мое здоровье...

И шипит, едва шевеля губами:

— Сейчас же убирайся...

Влас держит рубль в толстых заскорузлых пальцах,

кланяется, обводит глазами толпу инженеров и дам, поворачивается, видит в зеркале старика — лысого, седого, в сапогах, с суковатой палкой в руке. Он с трудом узнает себя. Он отворяет тугую дверь и уходит.

Крицын берет на руки и нежно гладит скулящего фокса.

— Кто тебя обидел, Бобка?

В переднюю торопливо входит старый Бальфур с салфеткой вокруг шеи.

— Что случилось, мой дорогой Адам?

Крицын спокойно улыбается и, поглаживая фокса, отвечает по-английски:

— Я расскажу вам, мой дорогой Арчибальд, анекдот из русской истории. Когда убили царя Александра Второго, полиция оцепила место происшествия. Из толпы спрашивают: «Кого убили?» Городовой ответил: «Расходитесь. Кого надо, того и убили». Так и у нас, мой Арчибальд,— что надо, то и случилось.

Уверенность и спокойствие Крицына действуют на всех. Анекдот вызывает улыбки; владеющие английским переводят на ухо соседям и соседкам. До Бальфура анекдот доходит не сразу. И только минуту спустя он начинает смеяться. Салфетка колышется на его грузном теле.

Крицын видит в толпе Елену Евгеньевну с черной розой, приколотой к белому платью. Он подходит к ней.

— Пойдемте, Елена Евгеньевна, я что-нибудь спою. Вы будете аккомпанировать?

— Ура! Адам Александрович будет петь.

Крицын спускает на пол притихшего Бобку и идет в зал, к роялю. Гости следуют за ним. Елена Евгеньевна садится на круглый, без спинки, стул и пробегает пальцами по клавишам. Крицын стоит, худощавый и стройный, в инженерской тужурке и в высоких сапогах, положив на рояль длинные тонкие пальцы с коротко подстриженными ногтями. Улыбка играет на вытянутом продолговатом лице, украшенном рыжеватой бородкой. Раздаются вступительные аккорды. Крицын поет.

Его сильный и приятный голос хорошо звучит в просторном зале. Потом Крицыну шумно аплодируют, он в шутку раскланивается по-актерски. Бальфур пожимает ему руку.

Начинаются танцы. Когда закружились первые пары и оживившийся, забывший об ушибе Бобка вместе с Кики с

веселым лаем запрыгали вокруг танцующих, Крицын незаметно ускользает в переднюю и, одевшись, выходит.

Рядом с домом гараж. Крицын отворяет ворота, входит, заводит мотор. Длинная зеленая машина дрожит. Он садится за руль, выводит машину, выезжает из парка и несется вниз, на завод.

VIII

Длинной железной пикой Дзенжан ударяет в фурму над шлаковой леткой. Острие вонзается в клейкую, еще не затвердевшую массу, пику трудно оторвать.

— Трамбовку и лом! — кричит Дзенжан.

Он торопит рабочих, топает ногами, суетится и бегает, ругается по-польски и по-русски.

Третья печь не гудит, вершина темна, над колошником не полыхает пламя, лишь изредка взовьется и погаснет желтый огонек. По стенкам не струится вода: при застывании печи охлаждающую воду выключают. Фурмы залеплены вязкой, кашеобразной массой стылого чугуна и шлака. В домне, работающей нормально, глаз фурмы светлый, ослепительный, чистый; через синее стекло можно различить стекающие вдоль раскаленных дрожащих кусков кокса белые струйки чугуна и светло-красные или желтые — шлака. При расстройстве печи глазки фурм темнеют, становятся оранжевыми и заволакиваются, как тучками, блуждающими комьями спекшейся размягченной руды. Сейчас глазки едва краснеют, некоторые совсем черны.

Дзенжан сам направляет толстый заостренный лом, двенадцать рабочих раскачивают тяжелую трамбовку, при ударах железо звенит о железо. Достаточно дыры от лома, чтобы открыть доступ дутью,— и печь будет спасена. Лом идет туго, рабочие громко дышат в такт движению трамбовки, при каждом ударе из двенадцати ртов одновременно вырывается «гох». Этот звук, похожий на стон, дает ритм дыханию и ударам.

— Выбивай назад! — кричит Дзенжан.

Двумя кувалдами рабочие бьют по хомутику, к подножию печи падает раскаленный добела, согнувшийся лом. Из фурмы выползает темно-красная густая масса. Это шлак, смешанный с ферромарганцем. Вялый и сонный

шлак медленно стекает по стенке, темнеет на глазах и застывает огромной сосулькой, не дойдя до земли. Пробитое отверстие опять закупорено тестообразной массой.

Дзенжан срывает пальто и бросает на песок. Во фраке, в белой манишке, в лакированных туфлях, с грязными руками и измазанным лицом, он обводит вокруг взглядом, ища и не находя спасения. Недалеко, в тени кауперов, стоит Курако в войлочной шляпе, расставив ноги и сложив руки на груди. Горновой кувалдой отбивает сосульку. Дзенжан в ярости хватает пику и ударяет в фурму; острие застревает в липкой массе, длинный железный прут раскачивается на весу.

— Трамбовку и лом! — кричит Дзенжан.

Рабочие отдирают пику, наставляют в фурму новый лом. Дзенжан сам направляет его. Вновь раздаются тяжелые мерные удары. К печи торопливо идет Влас. Продолжая ударять, рабочие слегка отодвигаются, освобождая Власу место впереди. Поймав трамбовку на ходу, Влас включается в общий ритм.

Лом заело — густой металл имеет склонность привариваться к стали. Лом перестал двигаться, трамбовка со звоном от него отскакивает. Дзенжан орет и ругается. Рабочие бьют и бьют, с хрипом вылетает:

— Гох! Гох! Гох!

— Идет! — протяжно орет Влас при каждом ударе.

Он видит, что лом не идет, чувствует, что удары слабеют, знает, что утомленными рабочими овладевает безнадежность, и кричит:

— Идет, идет, идет!..

Работа трамбовкой изнурительна, люди устало стонут. Влас учащает ритм, чтобы сдвинуть лом, не дав ему привариться.

Минуты текут и текут, трамбовка непрерывно ходит взад и вперед, и наконец лом действительно движется. Удары становятся сильнее, все по звуку слышат, что лом пошел. Теперь уже все кричат:

— Идет! Идет!

Через несколько минут по команде Дзенжана трамбовку бросают и выбивают лом обратно. Лом падает на песок, из фурмы выпучивается багрово-красная густая масса, вновь закупоривая пробитую дыру. Дзенжан шепчет проклятие и поднимает лом. Заостренный конец оплыл, подобно свечке, и светится белым калением, на песок скатыва-

ются две-три капли расплавленной стали. Это значит, что в печи горячо, там держится температура плавления стали, металл в горне еще жидок, и все же — проклятье! — «козел» неизбежен из-за того, что сгустился шлак. Дзенжан со злостью швыряет лом в кирпичную кладку печи.

Искусство ведения плавки в доменной печи есть искусство правильного шлакообразования. Само возникновение доменного производства стало возможным, когда плавильщики металла проникли в тайну шлака. В железной руде, кроме окислов железа, находятся землистые примеси, так называемая пустая порода, состоящая из кремнезема и глинозема. Вместе с тем от сгорающего кокса остается много золы. Все эти ненужные вещества получаются в огромных количествах. Как удалить их из печи? Они неплавки, и нужны невероятные температуры, практически недоступные человеку, чтобы привести их в жидкое состояние. Оказалось, однако, что как только глинозем и кремнезем встречаются в известной пропорции с известью, то образуется легкоплавкая смесь, становящаяся жидкой при температуре плавления чугуна. Эта смесь и получила название шлака. Материалы, которые добавляются к руде для получения шлака, называются у доменщиков флюсами. Вместе с рудой и коксом в печь всегда заваливаются флюсы, главным образом сырой известняк. Если в печи получается избыток извести, то для того чтобы шлак оставался жидким, необходимо прибавить песку, который играет роль флюса по отношению к извести.

При плавке ферромарганца процесс шлакообразования усложняется. Сам марганец является флюсом для глинозема и кремнезема и стремится поэтому уйти в шлак. Чтобы избежать этого, необходимо обильным количеством извести вытеснить марганец из шлака, то есть держать шлаки сильно известковыми. Точка плавления таких шлаков выше обычной, в печи приходится развивать очень высокую температуру для поддержания текучести шлака. Достаточно небольшого охлаждения, совершенно не опасного для чугуна, как известковые шлаки густеют и утрачивают способность вытекать из печи.

Это случилось с третьей печью вследствие устарелости и изношенности воздухонагревателей. Два-три часа назад расстройство можно было бы легко выправить ценой потери некоторого количества марганца. Следовало дать на

колошник песок и этим разжижить шлак. Теперь уже поздно.

Рабочие вновь загоняют в фурму лом. При закозлении эту мучительную и почти бесполезную работу продолжают по двадцать, по тридцать часов непрерывно и прекращают лишь тогда, когда теряющий теплоту металл совершенно отвердевает.

От заводских ворот к печи быстро идет Крицын, в легком изящном пальто и мягкой фетровой шляпе. Дзенжан видит директора, делает несколько шагов навстречу, нерешительно останавливается и мнется на месте. Будто не замечая его, Крицын проходит мимо. Одного взгляда в глазок фурмы достаточно, чтобы понять положение печи. Молча он стоит у домны, следя за мерным движением трамбовки. Рабочие «гохают». Влас кричит:

— Идет, идет!

У Крицына ходит челюсть, будто он жует. Дзенжан подходит к Крицыну сзади, пытается что-то сказать, шевелит губами, бессмысленно двигает рукой и не может выговорить. Крицын резко оборачивается.

— Вон отсюда! — негромко говорит он.

— Простите, Адам Александрович, это какая-то роковая неудача.

— Вон отсюда! Я прощаю воров, но не прощаю неудачников.

Он поворачивается к Дзенжану спиной. Седоусый поляк во фраке что-то бормочет в оправдание. Крицын говорит через плечо:

— Я позову сторожей, чтобы вывести вас за ворота. Потрудитесь в двадцать четыре часа избавить Юзовку от своего присутствия.

Дзенжан поднимает брошенное пальто и медленно бредет к воротам, пальто волочится за ним по песку.

— Где Курако? — спрашивает Крицын.

— Вот он,— указывают ему.

Курако по-прежнему стоит в тени кауперов. Крицын направляется туда.

— Что делать, Михаил Константинович?

— Отпустить людей, не стоит их напрасно мучить.

Крицын недоумевающе смотрит на Курако.

— Вы думаете, спасти печь невозможно?

— Невозможно,— спокойно отвечает Курако.

Он смотрит на Крицына с улыбкой. Оба они знают, что

хороший доменный техник при расстройствах и закозлениях становится неутомимым и проводит у печи по двое и по трое суток.

— Невозможно,— улыбаясь, повторяет Курако.— Но кто совершает невозможное, тот истинный мастер. Если угодно, я расфорсуню печь, через сутки она пойдет курьерским.

Крицын смеется:

— Вы оригинал, Михаил Константинович... Пойдемте в будку, я хочу с вами поговорить серьезно.

— Одну минуту, я отпущу рабочих...

Работу у печи ведет Влас. Рабочие бьют устало, равномерно, испуская одновременно стон, и не подбадривают себя криками. По распоряжению Курако трамбовку бросают. Рабочие ложатся отдыхать на песок. Влас выбивает лом и уходит осматривать работающие печи.

Курако и Крицын идут к будке под четвертым номером. Пламя домен освещает дорогу, под третьей печью темно, нарушены равные интервалы между факелами. Из трещин, зигзагами просекающих каменную кладку печей, просачиваются синие огоньки сгорающего газа. Под ноги попадается много потрескавшихся кирпичей. Из расшатавшейся кладки кирпичи вываливаются сами и падают вниз. Они перегорели и крошатся от удара сапогом. Юзовские печи рассыпаются от старости, только железные обручи удерживают их от разрушения.

Крицын сдержал свое слово джентльмена, которое дал Бальфуру. Он дожигает старые печи, не затрачивая пока что капиталы на модернизацию завода, поэтому он смог показать высокую прибыль в балансе. Около юзовских печей опасно ходить, часто случаются прогары стенок и внезапные прорывы чугуна. Крицын с подчеркнутым спокойствием останавливается у каждой домны и, не торопясь, смотрит в глазки фурм.

Пройдя вдоль линии печей, они входят в будку. На столе прикорнул, свернувшись калачиком, Максим. Потухшая маленькая елка поставлена в угол, на книги и связки чертежей.

Максиму снится: он стоит у доски и решает задачу по тригонометрии. Эта задача перед конкурсными экзаменами полгода торчала, как заноза, у него в мозгу — он так и не смог отыскать решение. Сейчас на доске все идет так легко, уравнение следует за уравнением; он спешит, набрасы-

вает мелом значки синусов и тангенсов. Вот наконец и решение! Из руки выпадает мел и со стуком падает на пол.

Максим пробуждается с улыбкой, поворачивается к двери, видит входящего Крицына и вслед за ним Курако.

Улыбка сползает с его лица. Он встает, неловко кланяется директору, одергивает тужурку и ищет взглядом фуражку, чтобы уйти.

— Знакомьтесь! — восклицает Курако.— Будущий доменщик Максим Власович Луговик. Бывший доменщик Адам Александрович Крицын.

Курако хохочет. Искорки прыгают в глазах, бесенок дерзости проснулся и играет в нем.

— Мы знакомы,— говорит Крицын и кивает Максиму.

Максим кланяется еще раз угловато и робко, поклон кажется ему подобострастным, он презирает себя. Присутствие Крицына, самоуверенного, изящного, счастливого, сковывает Максима; он пытается улыбнуться, улыбка выходит тоже робкой, он чувствует себя ничтожным.

Год назад Максим несколько минут разговаривал с Крицыным в его служебном кабинете. Это произошло вскоре после того, как Крицын стал директором завода. В первые дни своего пребывания на заводе Крицын очаровал весь персонал. Элегантный и любезный, он приветливо улыбался, шутил, внимательно выслушивал всех, пожимал руки мастерам и старшим рабочим. Вкрадчивость его манер показалась естественной и непринужденной. Узнав, что Влас Луговик работает в Юзовке тридцать с лишним лет, Крицын долго с ним беседовал о печах, на прощание подал узкую руку и сказал:

— Если я вам буду нужен, Влас Степанович, приходите ко мне в кабинет и обо всем говорите прямо. Я всегда буду рад вас видеть.

Растроганный вниманием директора, Влас замялся:

— Сынок вот у меня...

— Пожалуйста. Что с вашим сыном?

Влас рассказал, что Максим выдержал экзамен в Екатеринославский горный институт, но не нашел службы в Екатеринославе.

— Пришлите сына ко мне,— сказал Крицын.

Максим пришел в директорский кабинет. Разговор скоро коснулся химии. Крицын проявил живой интерес к

опытам Максима, бросил несколько оригинальных и остроумных мыслей о теории равновесия. Максим возразил, они спорили, как два завзятых химика. Через несколько минут в глазах Крицына мелькнуло утомление, и, посмотрев на часы, он спросил:

— Почему же вам не помогает отец? Он мастер и прилично зарабатывает.

— У меня сестры,— ответил Максим,— через их счастье я не могу переступить.

— А, вот как!.. Не можете переступить?

Максим взглянул на Крицына. Перед ним сидел уже не химик, а директор, переступивший через многое в своей карьере. Крицын любезно улыбался, но лицо его стало замкнутым и отчужденным. Максим прочел приговор в его глазах. Крицын сказал:

— Я подумаю и о результатах вам сообщу.

Максим понял, что ему нечего ожидать. Больше они не встречались.

— Мы знакомы,— повторяет Крицын.— Как ваши успехи, молодой человек? Я всегда с удовольствием вспоминаю нашу встречу.

— Благодарю вас,— бормочет Максим.

Он берет с подоконника фуражку, надевает ее как-то криво и, сутулясь, выходит из будки.

IX

Максим Луговик вырос у доменных печей. Мать ежедневно носила Власу завтрак и обед под доменные, ребенка не с кем было оставить, она брала его с собой. Доменщики играли с ним, как с котенком; возили в железной громыхающей тачке и закапывали по шею в сухой теплый песок, при этом кто-нибудь нахлобучивал ему на голову мокрую войлочную шляпу; мальчик с трудом вытаскивал из песка свое маленькое тело и ползал в тяжелый шляпе доменщика около ревущей и дрожащей печи. С печи непрестанно стекала вода, охлаждающая стенки; горячая, она уходила в водяную канаву; от канавы подымался пар; здесь было любимое купанье Максима.

Сам Джон-Джон играл иногда с мальчиком, разговаривал ломаным русским языком. В шерстяной полосатой

фуфайке, с цветным шарфом, обмотанным вокруг шеи, горбатый Джон был не похож на русских рабочих, и Максим однажды спросил:

— Откуда ты взялся? Кто тебя сделал?

Джон-Джон рассмеялся:

— А ты откуда?

— Меня батька под доменной из чугуна сделал,— ответил мальчик.

Отец приходил с ночных смен в шесть часов утра. Максим всегда вскакивал с постели и бросался навстречу. Влас обычно приносил сыну маленькое угощение в измазанном красном платке — остаток сладкого чая в бутылке, корочку белого хлеба или что-нибудь еще.

— Это от зайчика,— говорил Влас.— Я шел с работы, вдруг выскочил зайчик: «Вот, говорит, передай Максиму».

Иногда Влас дарил сыну несколько копеек. Максим постоянно терял эти деньги — где играет, там бросит и забудет.

— Где же твои деньги? — спрашивал Влас.

— Не знаю,— беспечно отвечал мальчик.

Максима манило все таинственное, не похожее на обычную жизнь. Он часто бегал к центральной шахте, расположенной на территории завода, к крестному отцу — стволовому. Много раз Максим пытался проникнуть в шахту, но крестный не пускал. Крестный управлял клетью, опускаясь и поднимаясь с ней. Когда он выходил из клети, с него стекала вода, как с водолаза; она струилась с широкополой шляпы, со спины и с рукавов. Максиму хотелось стать таким же, когда вырастет,— водолазом или стволовым.

Иногда в Юзовке появлялся дядя Антип, однорукий и одноглазый брат Власа. Он стал босяком и не любил встречаться с Власом. Каждую осень с первыми заморозками сотни босяков собирались в Юзовку греться у коксовых печей: они вповалку ложились на теплые своды печей и спасались от мороза. Максим часто бегал к ним. Он таскал из дому картошку, пришельцы пекли ее в горячей золе и ели вместе с Максимом. Он подсаживался к угрюмому дяде Антипу и слушал разговоры. Ему хотелось побродить с ними, увидеть море, увидеть мир. К весне Максим тайком сплел две пары веревочных чуней и на кладбище вырезал палку. Весной босяки не взяли Максима с собой. А Антип отодрал его за уши и отвел к отцу.

— Что же ты, Максим,— спросил Влас,— не хочешь жить дома? — Мальчик засопел, уткнувшись в колени отца. Он не мог объяснить, что потянуло его из дому.

На следующую зиму Антип не вернулся, босяки сказали, что он заболел желудком и умер в степи.

Семи лет Максим научился читать, через год мать отвела его в школу. Он бегал туда через завод. В доменном цехе высилось уже шесть печей; по железной лесенке Максим поднимался на первый номер, проносился сквозь дым по мосту, соединяющему жерла печей, и спускался с шестого номера.

В своем классе он был самым маленьким, самым слабым и самым способным. Его прозвали «Мужичок с ноготок». Хилый, тихий, похожий на девочку, он избегал драк и шумных игр. Его любовь к таинственному и нездешнему удовлетворяли книги. Он брал их из школьной библиотеки. Дома шумели и пищали девочки, Максим зажимал уши и читал запоем.

В школьной библиотеке была серия «Жизнь великих людей». Максим прочел все эти книги. Его героями стали подвижники мысли. Собственные бедствия мальчик привык переносить с сухими глазами, но горько плакал над судьбой, сожженного на костре Бруно, затравленного Галилея, выпившего чашу с ядом Сократа.

Максим кончил школу первым учеником. Попечитель школы вызвал Власа и сказал:

— У вас, дядя Влас, одаренный сын, с редкими способностями. Такого мальчика нельзя оставить без внимания.

Влас покраснел. Ему было уже больше сорока, ранняя седина и большая лысина старили его, он был уже горновым, и в Юзовке его звали дядей Власом. От волнения он молчал и смотрел в землю, словно боясь взглянуть на долгожданную улыбку счастья.

Кроме четырехклассной, в Юзовке больше не было школ. Попечитель сказал, что Влас должен отправить сына в город, в гимназию.

— За двадцать рублей в месяц вы устроите его на полный пансион.

Влас еще ниже опустил голову и ничего не сказал. Он получал рубль пятнадцать копеек в день, тридцать четыре с полтиной в месяц. Четверо детей подрастало дома, мать часто плакала когда он приносил получку.

Через некоторое время из дирекции завода в школу пришло требование — послать трех лучших учеников из числа окончивших в химическую лабораторию. Среди этих трех оказался Максим.

Летним утром Влас повел тринадцатилетнего сына на работу. Из лаборатории их послали в кабинет технического директора Альберта Юза, сына умершего основателя завода.

После смерти старого Юза предприятием управляли его сыновья — Джон, Артур и Альберт. Джон со старым Бальфуром вели дела в главной конторе в Лондоне, Артур и Альберт жили в Юзовке. Первый был коммерческим, второй техническим директором. Мистера Альберта подтачивал туберкулез. Как и отец, он ходил по заводу с палкой, но это была уже не грозная палка хозяина, а легкая трость больного. Альберт опирался на нее сутылым телом.

Когда Влас и Максим вошли в кабинет, Альберт встал, осмотрел мальчика с головы до ног и показал пальцем на ботинки Максима. Второпях Максим позабыл их почистить. Альберт вырос в России и говорил по-русски. Покачав головой, он сказал:

— Стыдно, мальчик! Мне говорили, что ты в школе лучший мальчик, а ботинки грязные. Надо, чтобы они всегда блестели, тогда у тебя все будет удачно и сделаешь хорошую карьеру. А с грязными ботинками станешь таким, как он.

Альберт указал на Власа, почтительно стоявшего перед хозяином. Низко кланяясь, Влас поблагодарил за науку.

— Иди, мальчик, в лабораторию, будешь мыть посуду,— сказал Альберт.

Максим попал в лабораторию в период коренных реформ на заводе. Раньше в Донецком бассейне было только два завода — Юзовский и Пастуховский. Два десятилетия спустя после основания Юзовки на Юге плавили железо около двадцати заводов. Преобразилась пустынная степь, по которой когда-то шел Влас от чабарни к чабарне. Воздух Донецкого бассейна приобрел новый цвет и запах. Горизонт подернулся дымчатым маревом, и везде слегка пахло серой.

Конкуренция новых, более совершенных предприятий стала чувствительной для Юзов. Они взялись за переоборудование завода, поломали старые доменные печи, на их

месте поставили новые, удвоенной производительности, выстроили бессемеровский цех и новую рельсопрокатную.

Прежде на заводе не было ни одного инженера. Старый Джон-Джон, главный мастер печей, не умел даже грамотно писать на родном английском языке. Юзы выписали из Англии специалистов. Сначала приехал механик, потом электрик, потом химик мистер Робертс.

На третий день после приезда на завод Робертс застал в лаборатории Альберта Юза и горбатого Джона. Альберт беседовал с мастером, греясь у муфельной печи. Со свирепыми ругательствами Робертс выгнал обоих из лаборатории. Альберт попятился перед разъяренным химиком. Джон-Джон с этого дня избегал даже ходить мимо лаборатории: Робертс фыркал, если случайно видел его.

Робертс ввел круглосуточную работу и экспрессные методы анализов. Он потребовал прислать мальчиков-учеников. Весь день он проводил в лаборатории, и по ночам часто видели его длинную фигуру, шагающую через завод.

Максим мыл в лаборатории посуду, тер уголь и размельчал руду. Он получал восемь рублей в месяц. Как и отец, мальчик работал по двенадцать часов в сутки, не зная праздников, одну неделю — днем, другую — ночью. Через год ему стали поручать простейшие анализы. Он научился по-английски; в лаборатории разговаривали только на этом языке. Англичане, приехавшие в Юзовку, не считали нужным учиться по-русски.

В лаборатории обычно стоял колеблющийся белый туман с запахом нашатыря. Этот туман образовывался удивительно странно. На одной горелке выпаривалась соляная кислота, на другой аммиак. Над обеими колбами подымались бесцветные пары; они соединялись в воздухе, и белые облака наполняли комнату. В этот момент Максим всякий раз замирал, поражаясь необъяснимому чуду.

Он делал анализы углерода в стали и кремния в чугуне по установленным рецептам, не понимая смысла реакции. Он сверлил пробы металла на ручном станке, делал навеску на химических весах, растворял стружки в кислоте, выпаривал в муфельной печи, взвешивал осадок и записывал результат. Каждое утро Робертс лично проверял работы мальчиков, из сотни проб выбирал он наугад десять — двенадцать, сам сверлил стружки и заново производил анализ. Он свирепел, если обнаруживал ошибку, ругался, заставлял виноватого переделывать анализ и

штрафовал на полтинник. Если провинившийся работал ночью, Робертс посылал к нему рабочего на дом, мальчика приводили в лабораторию, чтобы он снова произвел анализ и сам исправил ошибку.

Четыре-пять раз в месяц сонного, усталого Максима поднимали с постели по вызову Робертса. Это было самое тяжелое в работе Максима. Его трудно было добудиться: мать приподнимала и сажала его на постели, сама ему надевала ботинки; его тело подергивалось, голова опускалась на грудь, сон вновь овладевал им, мальчик валился на пол.

Физическое развитие Максима приостановилось из-за недосыпания, ночной работы и кислотных паров. Он перестал расти, потерял аппетит, не смеялся, глаза потускнели, мускулы расслабли.

Максим не мог понять, почему он делает ошибки. Он производил анализы самым тщательным образом, никогда не беря часового стеклышка или фильтровальной бумаги грязными руками, но ошибки все-таки случались. Однажды, когда его привели в лабораторию из дому после ночной работы и Робертс с руганью велел заново делать анализ, Максим закричал:

— Не буду!

Эти слова прозвучали неожиданно для него самого.

— Что ты сказал? — грозно спросил Робертс.

— Не буду,— упрямо повторил мальчик.

— Ступай тогда в контору, получай расчет.

Робертс сел и написал записку об увольнении Максима.

— Ну, будешь делать?

Максим не отвечал и плакал. Робертс долго смотрел на Максима, поднялся из-за стола, разорвал записку, бросил на пол, подошел к мальчику, погладил его и сказал:

— Сделай, Максим.

Судорожное рыдание вырвалось из горла Максима. Он взял со стола пробу стали и подошел к ручному сверлильному станку.

Ему приходилось напрягать все силы, чтобы вращать рукоятку станка. Он повисал на ней, поджав ноги, помогая себе тяжестью маленького тела.

Подошел Робертс, посмотрел и сказал:

— Иди, Максим, спать. Я сделаю сам.

После этого случая Максим еще тщательнее, еще точнее

делал работу, проверяя себя повторными анализами. И все же Робертс вновь находил в его анализах ошибки и вновь штрафовал. Максим чувствовал здесь какую-то тайну и не мог разгадать. Он решил после каждого анализа оставлять для себя щепотку стружек. Он заклеивал их в конвертики и надписывал сверху номер пробы.

Однажды, как обычно, посланный Робертсом рабочий поднял Максима с постели и повел в лабораторию. Робертс закричал, объявил о штрафе и приказал переделать анализ.

Максим стал торопливо вытаскивать из карманов конвертики, белая бумажная горка выросла на столе Робертса. Максим нашел нужный номер и воскликнул:

— Сделайте из моих стружек!

Робертс не понял. Мальчик, волнуясь, настаивал:

— Я сделал правильно, у меня нет ошибки. Вот мои стружки, проверьте.

Путая английские слова, спеша, Максим с такой страстной уверенностью убеждал Робертса в своей правоте, что химик заинтересовался. Он взял конверт Максима и ушел к химическим весам.

Максим остался в конторке Робертса. У него колотилось сердце; вытянув тонкую шею, он следил за каждым движением химика. Робертс возвратился через десять минут и сверил записи. Результат анализа точно совпадал с первоначальной записью Максима. Бегающими глазами Робертс долго и удивленно смотрел на мальчика, потом стукнул себя по лбу и произнес непонятное слово:

— Сегрегация...

Сегрегировать — значит собираться в кучу. При медленном остывании жидкой стали прежде всего затвердевает оболочка сравнительно чистого железа, примеси уходят к центру, «собираются в кучу», сегрегируют и застывают позднее. Стружки, насверленные с поверхности пробы, нередко имеют иной химический состав по сравнению со взятыми из центра. Максим, с трудом вращавший рукоятку станка слабыми руками, высверливал неглубоко, и при анализах ему всегда приходилось иметь дело со стружками верхнего слоя. Под сильным нажимом Робертса сверло вгрызалось глубже и доходило до центра пробы. В этом заключалась тайна, которую искал Максим. Явление сегрегации было давно известно науке, пятнадцатилетний Максим Луговик открыл его в юзовской лаборатории.

На следующий день Максим вышел на работу с утра. Он стоял с полотенцем через плечо и вытирал химическую посуду, перед тем как приступить к анализам. В лаборатории было полутемно, мутный осенний рассвет освещал комнату.

К мальчику подошел Робертс, сунул ему толстую книгу в твердом переплете и сказал:

— С этого месяца, Максим, тебе будет прибавка два рубля.

Мальчики за соседними столами приостановили от любопытства работу. Робертс повернулся к ним и крикнул:

— За работу, отродья сатаны!

Максим раскрыл книгу. Это был учебник химии на английском языке.

Подаренный Робертсом учебник открыл новую главу в жизни Максима. Первые страницы ошеломили его, словно в глаза ударил нестерпимо резкий свет.

— Вот оно что! Вот оно что! — с восторгом шептал Максим.

Точные, скупые слова учебника раскрыли перед ним огромный мир, существование которого он смутно ощущал, работая в лаборатории и страдая от бессилия проникнуть в загадку превращения вещества. Он узнавал о существовании атомов и элементов, простейших составных частей вселенной. Перелистывая учебник, перескакивая от главы к главе, словно желая единым духом выпить всю мудрость толстой книги, Максим впервые уловил смысл привычных и непонятных анализов, которые он делал сотни раз по установленным рецептам. Он с нетерпением ожидал ночных дежурств: по ночам он производил в лаборатории опыты, упиваясь не сравнимой ни с чем сладостью познания.

Для понимания химических уравнений и формул Максиму потребовалось знание математики: он стал изучать алгебру и геометрию, достал физику Краевича и учебники по металлургии. Он поглощал страницы с жадностью; ему казалось, что он слишком медленно продвигается вперед; неведомо откуда брались силы в его хилом теле; он буквально истязал себя занятиями. У него появилась экзема. На груди вздувались маленькие пузырьки, наполненные бесцветной жидкостью, они лопались, мокли, кожа покрывалась струпьями. Максим мазал и забинтовывал пораженные экземой места, мазь стягивала кожу, болячки зарубцовывались, а рядом возникали новые гнезда пузырьков.

Целью Максима стало знание, полное знание во что бы то ни стало. Он вспомнил Сократа, о котором читал когда-то. Древний мудрец верил только в знание. В воображении Максима он вставал как живой — приземистый, с большой лысиной и громадным нависшим лбом. Максим часто вспоминал изречение Сократа: «Я знаю, что я ничего не знаю».

В 1903 году Робертс уехал в Англию. Он провел в Юзовке четыре года, срок его контракта истек. Максим с теплым чувством провожал Робертса, англичанина, во многом отличного от остальных заводских иностранцев-начальников, одинаково требовательного ко всем подчиненным — русским и своим соотечественникам. В этом свирепом человеке Максим уловил яростную, беззаветную преданность химии и старался не помнить былых обид. При прощании Робертс подарил Максиму несколько книг из своей библиотеки и сказал:

— Поступай в университет, Максим. Из тебя выйдет настоящий химик.

На смену Робертсу приехал молодой англичанин, мистер Ллойд. Новый начальник одевался нарядно, тщательно следил за костюмом и прической, в лабораторию являлся поздно и никогда не приходил по ночам. В нем, упитанном и самодовольном, совсем не было любви к науке, которая горела в Робертсе и сжигала Максима. Ллойд сразу провел резкое различие между русскими и английскими мальчиками, работавшими в лаборатории. С детьми англичан Ллойд держался вежливо и дружелюбно, с русскими обращался оскорбительно. Русские мальчики обязаны были вставать, когда он входил в лабораторию, англичане продолжали сидеть.

Русские мальчики сговорились отомстить Ллойду, напугать его бунтом. Все англичане Юзовки знали это страшное слово и смертельно боялись его.

В ближайший вечер, когда Ллойд задержался в лаборатории, мальчики выбежали наружу, ударили железками в ставни и закричали:

— Бунт, бунт!

Им не терпелось поглядеть, как выскочит перепуганный Ллойд. В сенях перед дверями они поставили ведра с краской и натянули проволоку. Скоро из сеней послышался топот и шум падающего тела. Максим заглянул в полуоткрытую дверь. С торжеством он рассмотрел мистера

Ллойда, стоявшего на четвереньках в луже черной краски; краской был забрызган костюм и перекошенное от ужаса лицо. А Максим не чувствовал страха, не думал о том, что будет завтра, не старался сдержать смех. На другой день трех мальчиков уволили из лаборатории, и Максима в их числе.

Он пытался поступить в какой-либо цех завода, но его не брали нигде. Он узнал, что его имя попало в черный список.

Максим был уже семнадцатилетним юношей, маленьким, слабым, узкогрудым, над верхней губой пробивался светлый пушок. Максим влюбился в дочь соседа, кладовщика, донского казака по рождению, в здоровую краснощекую хохотушку Маню. Она была гораздо выше Максима и шире в плечах, легко поднимала его сильными руками. Максим любил молчаливо и робко. Маня первая объяснилась в любви и влепила в губы поцелуй на кладбище в весеннюю ночь. Она хохотала, забавляясь его восторженным и смущенным лепетом.

В эту ночь Максим написал свое первое стихотворение. Он посвятил стихи Мане. Они вышли неожиданно грустными и хорошими. Его потянуло к перу. Каждый вечер он стал сидеть над тетрадкой. На бумагу ложились печальные, трогательные строки. В стихах и маленьких рассказах он рисовал скудное, бедное событиями, бескрасочное существование людей, среди которых вырос. Сам вкусивший сладость познания, он с особой горечью и возмущением рассказывал о беспросветной жизни шахтеров и заводских рабочих. Воплощая свой идеал, он писал о Фарадее, о Ломоносове, о Сократе. Великого мудреца древности, некрасивого, с бычьими глазами, отвисшим животом, толстой шеей, он сравнивал со статуэтками уродливых сатиров, продававшимися во всех лавках древней Греции. Максим знал о себе, что некрасив, и когда писал о Сократе, то выражал что-то глубоко личное, живущее в тайниках души.

Несколько лучших стихов Максим послал в редакцию журнала «Русское богатство». Ответ пришел быстро. С дрожью в руках Максим разорвал тяжелый конверт со штампом журнала, откуда выпали его рукописи и письмо. В письме говорилось, что стихи свидетельствуют о таланте, но, чтобы стать писателем, надо много учиться и, если есть хоть малейшая возможность, следует поступить в университет.

Опять университет! Максим вспомнил прощальные слова Робертса. Из Екатеринослава Максим выписал программу гимназии. Боже, как много там предметов! Французский, немецкий, греческий, латынь, география, история, чистописание, рисование, зоология, ботаника, закон божий... Максим свободно читал и говорил по-английски; знал химию в совершенстве; изучил физику в объеме университетского курса; владел, как профессионал, наукой о производстве черного металла. Все это оказалось ненужным, этого на экзаменах не спросят.

Максим достал учебники гимназии и стал готовиться к экзаменам.

Промышленность России проходила в эти годы полосу затяжного кризиса. На складах Юзовского завода скопились огромные запасы чугуна, болванки и проката — их некуда было отправлять. По улицам бродили безработные, доменные печи шли на тихом ходу, дирекция сократила заработную плату. Власу урезали десять копеек в день. Влас загрустил, мать стала чаще плакать. Максим решил поискать работы на заводах Донецкого бассейна. Он отправился с котомкой за плечами — там лежали учебники и хлеб. Экзема у него не прошла, с груди болезнь перекинулась на плечи и захватила шею.

В вагонах и на станциях он зубрил катехизис, твердил даты рождения и смерти царей, заучивал немецкие и французские глаголы. Больной, обвязанный бинтами, с книгой на коленях, он шевелил губами, не замечая шума. Его принимали за сумасшедшего; он терзался, если бесплодно терял час. Больше месяца Максим ездил и ходил по Донецкому бассейну. Он обращался на металлургические, химические и стекольные заводы, предлагая свои услуги для любой работы, требующей знания химии. Его не брали нигде.

Заводы свертывали производство, выбрасывали людей, чтобы продержаться до лучших времен.

Отчаявшись, Максим вернулся домой. Экзема за время поездки расползлась, вышла на лицо и покрыла руки. Выслушав печальный рассказ сына, Влас сказал:

— Ищешь счастья, а счастье легко в руки не дается. Учись дома, Максим. Как-нибудь прокормимся...

Покрытый струпьями, забинтованный, Максим готовился к экзаменам как одержимый. Он не расставался с книгой даже за обедом. Его постоянно напряженный усталый

мозг был настолько поглощен занятиями, что за обедом, желая попросить хлеба, воды или соли, он не мог сразу вспомнить нужные слова. Он водил над столом пальцем. Мать спрашивала:

— Тебе хлеба, Максим?

Он кивал головой и продолжал читать не отрываясь.

Его мозг, казалось, вытягивал соки из тела. Максим опять перестал расти, похудел еще больше и стал сутулиться. Светло-голубые глаза казались необыкновенно большими на маленьком бледном лице, они лихорадочно блестели.

Иной раз, когда голова, забитая сотнями заученных терминов, формулировок, дат, отказывала и, сопротивляясь насилию, не воспринимала больше ни одной строчки из учебников, Максим разрешал себе отдых. В его комнате стояли банки с реактивами, он принимался за химию. После химических опытов он чувствовал себя освеженным.

Изредка к Луговикам приходила Маня. Максим стеснялся показываться ей в бинтах, она сама вбегала к нему, поднимала на руки и несла в комнату девочек. Максим тихо смеялся, отбивался от Мани и прижимался к ней. Всякий раз после ухода Мани его подмывало написать новые стихи, строфы сами слагались в голове: Максим подавлял и отбрасывал рвущиеся на бумагу слова, он не имел права отвлекаться от учебников. Однако стихи были сильнее его, они внезапно пробивались вновь, и Максим торопливо заносил их в тетрадку.

Чтобы скорей подготовиться к экзаменам, Максим решил сдавать за курс реального училища, а не гимназии. В реальном не проходили древних языков и во всем построении программы был уклон в сторону точных наук — математики, физики и отчасти химии, в которых Максим был наиболее силен. На улицу Максим почти не выходил и скрывался от товарищей. Он говорил, что не хочет, чтобы его видели больным, обвязанным бинтами. Однако не только поэтому он избегал людей. Все его товарищи служили, нашли место в жизни; он знал, что его считали чудаком и неудачником, ему было тягостно с ними встречаться, пока он не добился своего. Он подхлестывал себя, готовый, как Сократ, скорее умереть, чем отступиться. Иногда приходили минуты отчаяния. Максим сомневался в себе, затраченные усилия казались бессмысленными и напрас-

ными, он сам переставал понимать, зачем терзает себя, в собственных глазах он становился выродком.

За полтора года невероятно напряженной работы Максим усвоил курс реального училища. По вечерам он пробирался к учителю юзовской школы; учитель гонял его по всей программе. Максим знал ее твердо. Обычно он минуту думал перед тем, как ответить, рылся в памяти, находил нужное среди огромного вороха знаний и затем отвечал уверенно и без ошибок...

В эти годы в стране нарастала и зрела революция; за стенами комнаты Максима творились невиданные в старой Юзовке дела; в степи близ завода происходили митинги, молодежь хлынула в подпольные кружки. Все это прошло мимо Максима.

Весной 1905 года наступили последние дни перед отъездом на экзамены. Максим собрал документы, чтобы приложить к прошению, и запросил из канцелярии екатеринославского губернатора свидетельство о политической благонадежности, без которого к экзаменам не допускали.

Ответ из губернаторской канцелярии почему-то задержался, и в конце апреля Максим, простившись с отцом, матерью и сестрами, уехал в Екатеринослав на экзамены.

Он приехал туда ночью. Шел дождь. Он лег на бульварную скамейку, положил под голову котомку. Его разбудил городовой. Максим рассказал, что приехал держать экзамены, что хочет учиться, хочет стать студентом. Городовой молча выслушал и отошел. Максим снова лег под дождь на мокрую скамейку.

Утром Максим пошел в канцелярию губернатора. Чиновник нашел дело, просмотрел и сказал:

— В выдаче свидетельства вам отказано.

— Почему же?

— Губернатору присвоено право отказывать без объяснения причин.

Ошеломленный, подавленный, Максим отправился в реальное училище. Без свидетельства о политической благонадежности прошения там не приняли. Максим вышел из здания училища и остановился среди улицы. Цвела белая акация, запах ударил ему в голову, он покачнулся и почувствовал, что не может стоять. Шатаясь, он добрался до крыльца и сел на ступеньки. Мимо проходили две женщины, одна оглянулась и сказала:

— Смотри, какой молодой, а пьяный.

Через час Максим вернулся в канцелярию губернатора. Отупев от горя, он слонялся там весь день, глядя на чиновников умоляющими глазами.

Старший чиновник вывел Максима в коридор и сказал:

— Уходите от греха, молодой человек... Не дай бог вы и тут устроите бунт.

— Я хочу учиться...— тихо сказал Максим.

— Не надо было бунтовать,— ответил чиновник.

Вечером на следующие сутки Максим брел со станции домой. На голове не было шапки, в темноте белела обвязанная бинтом голова, на плечах не было котомки, то и другое он где-то потерял.

Близ дома он встретился с Маней. Увидев Максима, Маня метнулась, словно желая скрыться, потом решительно подошла и, не опуская глаз, сказала:

— Не сердись на меня, Максим. Я выхожу замуж. Мы с тобой не пара.

— Замуж? — тихо переспросил Максим.

Маня назвала фамилию молодого заводского служащего, товарища Максима по школе. Максим вспомнил, что у жениха Мани всегда блестели сапоги. В ушах прозвучали слова Альберта Юза. Максим посмотрел на свои стоптанные, покрытые грязью ботинки и ничего не сказал.

— Прощай, Максим... Я к вам больше приходить не буду.

Он не заметил, как Маня отошла. Ее высокая, крупная фигура в белой кофточке смутно виднелась вдали и через несколько секунд исчезла. Максим прислонился к чужому забору и беззвучно заплакал.

Он очнулся около двери дома и не мог припомнить, как сюда попал. Он стоял неподвижно, глядя остановившимися глазами на дверь. Зачем ему возвращаться домой? Что он будет делать дальше, к чему ему жить? Не постучавшись, Максим отошел от двери. Ему хотелось спать, но зарево завода влекло его к себе. Обессиленный, утративший желание бороться, сутулясь и волоча ноги, он медленно шел к доменному цеху. У печей Максим почувствовал облегчение, словно добравшись до цели.

На соседней печи выпускали чугун. В багровом свете Максим увидел отца и спрятался за каупер. Пробравшись к печи, он поднялся по железной лесенке и сел наверху на ступеньку у газовой трубы. Проносился теплый ветерок, огни Юзовки мерцали вокруг. Напрягая слабые мускулы,

Максим отвинтил задвижку люка и, свернувшись калачиком, положил забинтованную голову на трубу лицом к темному отверстию. Он ощутил горячее дуновение из открытого люка — это выходила окись углерода, смертельный газ без запаха и цвета... Вот у него зашумело в ушах, вот задрожали колени... «Прости меня, папа»... Отец почему-то похож на Сократа... «Здравствуй, легкая смерть...»

Спас его отец. Власу почудилось, будто он увидел обвязанную бинтами голову сына. Влас знал, что Максим держит экзамены в Екатеринославе, и странное беспокойство охватило его. Он оглядывал цех, ища сам не зная чего. На второй печи на верху у стенки он заметил белое пятно. У Власа заколотилось сердце. Задыхаясь, он вбежал по железной лесенке и млеющими руками схватил податливое, бесчувственное тело сына. Максима откачали внизу. Он стал дышать, но не пришел в себя. Влас на руках принес сына домой.

Несколько месяцев Максим лежал с пораженным сознанием. Он бредил и никого не узнавал. И — странное дело — он много и жадно ел, пополнел и окреп. Организм, освобожденный от тирании мозга, рвался к жизни со слепой силой смятой и потоптанной травы. Экзема, против которой были бессильны лекарства, прошла сама собой. Доктор высказал предположение, что окись углерода убила болезнь.

Месяц проходил за месяцем, сознание возвратилось к Максиму. Он бродил по комнате, поздоровевший, но печальный, не зная за что взяться.

— Почему у меня ничего не вышло, папа? — с тоской спросил он однажды отца.

— Сова не родит сокола...— тихо ответил Влас.

Как-то вечером к Максиму пришел учитель, который помогал ему готовиться к экзаменам. Неудача Максима была известна в Юзовке. Учитель зашел, чтобы сообщить важную новость: в этом году допускали к экзаменам без свидетельства о политической благонадежности. Наряду с другими свободами и эта была вырвана революцией у правительства.

Максим сначала не поверил. Убедившись, он вспыхнул, в голову бросилась кровь, глаза заблестели.

— Спрашивайте! — попросил он.

Учитель стал задавать вопросы, сначала наводящие и легкие, потом труднее. Закрыв глаза, наморщив с болезнен-

ным усилием лоб Максим медленно отвечал, словно откуда-то с трудом вытаскивал слова. Спрессованные знания лежали в прежнем порядке. Максим извлекал их, проламывая легкую корочку забвения.

В этот вечер он достал из сундука учебники и оставшееся до экзаменов время посвятил повторению пройденного.

Снова, как и в прошлом году, с котомкой за плечами он отправился в Екатеринослав. Его экзаменовали сорок пять дней. Полагалось сдавать за каждый класс в отдельности — от приготовительного до седьмого. Максим садился за парту рядом с приготовишками и вместе с ними выводил в тетрадке палочки и кружки, сдавая чистописание. Решающим был экзамен за последний, седьмой класс. По физике экзаменовал сам директор, коротенький и толстый, как кубышка; он любил, чтоб ему отвечали так, как он объяснял на уроках. Максим вытащил билет — формулу интерференции света — и написал на доске вывод по университетскому курсу Зелова. Толстяк посмотрел и сказал:

— Не годится.

Максим растерялся, он твердо знал, что написал правильно. Он долго стоял у доски, руки безнадежно повисли, потом стер все написанное и сделал вывод заново по учебнику Краевича для средних учебных заведений. «Теперь правильно»,— сказал директор Максиму. По химии достался билет — соли марганца. Максим мелко исписал всю доску, перечислив решительно все соединения марганца.

— Где вы учились химии? — удивленно спросил преподаватель.

— В Юзовке...— ответил Максим.

Двадцать человек держали экзамены вместе с Максимом, выдержал только он один. Получив аттестат, Максим подал прошение в Екатерининский горный институт. Здесь конкурировало свыше двухсот человек, из них были приняты восемнадцать с лучшими отметками, среди них Максим. Наконец-то он стал студентом, первый и единственный из всех окончивших когда-либо юзовскую заводскую школу.

Он стал студентом и не смог учиться. За право учения надо было вносить сорок шесть рублей в год, ему неоткуда было взять эти деньги. Он пытался найти работу в Екатеринославе. Там было два металлургических завода и много других предприятий. Максим обошел все. Обтрепанный и робкий, он тихим голосом расспрашивал о вакансиях. Промышленная депрессия продолжалась, его никуда не взяли.

Искать уроков он не решился... У него не было школьных навыков, он чувствовал, что провалится на этом поприще.

Он вернулся в Юзовку, надеясь, что там удастся поступить на завод. Его опять никуда не приняли — быть может, его имя все еще не было вычеркнуто из черного списка. Найти работу можно было только в шахте. Максим пошел по окрестным шахтам, его приняли стволовым на центральную, туда, где когда-то работал крестный. Так осуществилась его детская мечта. Ранним утром он в тяжелых сапогах, в брезентовой шляпе шел на шахту, чтобы опускать и поднимать клеть, среди льющихся со стен потоков воды. Случайно его встретил попечитель юзовской школы, тот самый, который когда-то сказал Власу, что у него одаренный сын. Попечитель ехал в коляске, узнал Максима и, изумленный, остановил лошадей.

— Что с вами? Где вы работаете?

Максим рассказал. Попечитель вынул блокнот, написал записку и сказал:

— Идите в общество потребителей, там нужен конторщик...

В конторе Максим оказался на плохом счету. Он сидел с рассеянным видом; переписывая бумаги, пропускал буквы; в подсчетах случались ошибки. Иногда он задумывался, опустив ручку в чернильницу, и глядел в стену остановившимися глазами. В эти минуты он не сразу отзывался на зов, и нужен был энергичный окрик, чтобы вернуть его к действительности. Он вздрагивал, съеживался и с ненужной суетливостью принимался работать.

По вечерам он дома занимался химией, тратя на это по десяти рублей в месяц.

Так шли годы, впереди не было просвета.

X

Крицын оглядывает будку. Огромный чертеж вызывает в нем легкую усмешку, он спрашивает:

— Зачем вы возитесь с этим неудачником? Из него ничего не выйдет.

— Да, если он станет директором завода...

— Что? Как вы сказали?

— Я сказал, что из него действительно ничего не выйдет, если он станет директором завода. Присаживайтесь, Адам Александрович.

Крицын садится и смотрит на Курако исподлобья, пожевывая нижней челюстью. Из кармана он вынимает перочинный ножик, открывает лезвие и скребет задумчиво кожу у большого пальца. Эту привычку знают в Юзовке. Крицын берется за ножик в затруднительных случаях.

— Н-нда, вы оригинал, Михаил Константинович...— произносит он.

Крицыну вспоминается, как прошлой зимой в его кабинет вошел Курако.

Они никогда не встречались, и Крицын с любопытством разглядывал человека в валенках и полушубке, чье легендарное имя затмевало когда-то его собственную славу. Курако искал места.

«Какую работу вы хотели бы иметь?» — «Я доменщик, начальник цеха». — «Инженер?» — спросил Крицын, отлично зная, что Курако не имеет диплома. «Нет».— «Что ж, возьму вас обер-мастером».

Крицын испытывал какое-то жестокое удовлетворение, смакуя унижение бывшего соперника. Он ожидал, что Курако вспыхнет и, оскорбленный, выйдет из кабинета. Курако вспыхнул, промолчал и согласился. Крицын понимает, что сейчас его очередь молчать.

Курако стоит в зеленоватой шляпе, в коричневой куртке и таких же штанах; он прислонился к чертежу и насвистывает веселый мотив. Каждый ожидает, когда заговорит другой.

Играя ножичком, Крицын произносит:

— Я выгнал Дзенжана. Прошу вас принять цех.

Курако продолжает насвистывать. Крицын вопросительно смотрит на него и догадывается, что следует выразиться определеннее.

— Довольно свистеть, Михаил Константинович. Я предлагаю вам место начальника цеха. Согласны?

— При одном условии...

Крицын улыбается, как игрок, понимающий тактику партнера.

— Пожалуйста, поговорим об условиях. Сколько?

— Шесть миллионов!

— Ого!

— Я снесу все шесть печей и построю шесть новых на их месте.

— Оставим поэзию, Михаил Константинович. Ваши условия, серьезно?!

Курако отходит от стены. Вскинув голову, он указывает на чертеж:

— Вот мое условие.

Крицын невольно поворачивает голову по направлению властно протянутой руки. Когда-то он сам, будучи инженером-доменщиком, проектировал печь своей системы, множество оригинальных мыслей сверкало в его чертежах,— проект так и остался недоработанным, в набросках. Он увлекся потом замечательной идеей прямого восстановления железа из руды при низких температурах, минуя доменный процесс. Эта идея сулила революцию в технике, он поставил несколько остроумных и удачных опытов, где-то в ящике письменного стола лежит неоконченная его статья «Об индийском способе получения железа».

Крицын смотрит на чертеж. Печь системы Курако не нравится ему, он нашел бы другое решение конструкции, более изящное и легкое. Словно забыв о делах, он развивает перед Курако свой проект идеального профиля. Он увлекается, у него блестят глаза. Курако защищает свои конструкции. Крицын перебивает его, не дослушав, и продолжает фантазировать. Курако отвечает. Спор быстро утомляет Крицына, ему становится скучно, глаза потухают, он садится и скребет кожу ножичком.

— Приятно повитать в облаках, Михаил Константинович,— произносит он,— вернемся, однако, на грешную землю.

— Вы слышали мое условие...

В словах Курако звучит фанатическая непреклонность. Крицын качает головой, смутное ощущение зависти к Курако и жалости к себе пробегает в нем. Он директор, его специальность — делать дивиденды, он знает слишком твердо, что рабочие руки в России дешевле маханизмов.

— Нет, это сумасшедшая цена.

— В таком случае мне нечего делать в Юзовке. Я ухожу сегодня.

— Как? А третий номер?

Курако молча пожимает плечами.

В это мгновение страшный взрыв потрясает будку. Оконные стекла, выбитые сотрясением воздуха, со звоном разбиваются об пол. Крицын вскакивает, Курако стремглав выбегает из будки. Им обоим знаком этот грохот. Звук взрыва жидкого чугуна несравним со звуком грома или орудийной пальбы. Этот звук никогда не забывается, и его

никогда нельзя спутать ни с каким другим. Кажется, будто огромные массы вещества раздираются на мельчайшие составные части, разрываются в космическую пыль. Крицын смотрит в окно. Печи закрыты, как занавесом, взметнувшейся пеленой песка, снизу освещенной красным. Раздается новый удар. Багровая пелена разрывается крутящимися вихрями, в просветах виднеется пламя.

Курако бежит к месту взрыва, перескакивает через препятствия. В стенке второго номера ослепительно зияет круглое рваное отверстие диаметром в человеческий рост. Здесь неожиданно вылетела кирпичная кладка, и содержимое печи было выброшено, как из пушки. Лавина прорвавшегося чугуна дважды с грохотом взлетела в воздух.

Охваченный огнем человек, судорожно корчась, перекатывается по песку. Курако кидается к нему, наваливается вплотную и сбивает пламя собственным телом. Одежда обгоревшего продолжает тлеть и вспыхивать. Откуда-то подбегает Максим. Он вскрикивает и в ужасе хватается за голову. Молниеносным движением Курако срывает и разбрасывает горящие куски материи.

Огромная лужа чугуна, натекшая в выбоину после взрыва, озаряет все вокруг зловещим красным светом. Из пролома пышет жаром, рядом безмолвно темнеет закозленная третья домна, остальные четыре гудят непрестанным ровным гулом.

Одежда сорвана, на голой шее спасенного проступают красноватые пятна ожогов, руки до локтей порозовели, здесь кожа сплошь обожжена. Пахнет паленым волосом. Обгоревшего обступают рабочие. Курако и Максим помогают ему сесть; он смотрит на руки, озирается вокруг, медленно поворачивает короткую мускулистую шею и произносит:

— Вот и сбылась пословица: около воды обмочишься, около огня сгоришь. Бог меня наказал, Константиныч...

Это Влас Луговик. Его нельзя узнать, у него опалена борода, сгорели брови и ресницы. Он сейчас не чувствует боли, нестерпимая боль начнется только через полчаса. Влас пытается подняться, Курако говорит:

— Сиди, Влас, сейчас дадут носилки.

— Я дойду, Константиныч... Веди меня, Максим, в больницу.

К печи идет Крицын, легко перепрыгивая через раскиданные взрывом железные плиты, обходя раскаленные

лепешки чугуна, разбросанные всюду. Доменщики расходятся, заметив директора, Крицын идет к Власу.

— Как же это ты, дядя Влас?

Влас поднимает глаза без ресниц.

— Моей вины тут нет. Доменная очень старая, вся рассыпается. Очень уж вы скупые, Адам Александрович. Добиваете печку до последнего, вот и приходится гореть.

Крицын разглядывает ожоги и дает Власу несколько медицинских советов.

У развороченной взрывом печи идет работа. Водой из брандспойтов заливают красную лужу и наваленную у пролома кучу пламенеющего кокса. Вокруг становится темнее. Рабочие ломами и лопатами расчищают доступ к месту прорыва. Для юзовских доменщиков это привычное дело. Очистив площадку печи, они будут долго кидать в пролом глину и утрамбовывать ее, отодвигая в глубь печи. Забив наглухо глиной отверстие, они выложат его кирпичом, стянут печь еще одним железным обручем и пустят вновь. Все юзовские печи латаны так десятки раз.

Обращаясь к Курако, Крицын говорит:

— Пожалуй, эту печь я вам отдам на растерзание. Сносите второй номер и воздвигайте здесь свою. Печь за печь — мы будем квиты.

Курако и Максим поднимают Власа. Обожженная кожа на руках потемнела. Курако молчит. Крицын продолжает:

— Если печь будет дешево работать, поговорим о перестройке цеха, завтра подпишем контракт.

— Вот ваша дешевка! — восклицает Курако, указывая на Власа.— Я построю печь, которая не жрет людей.

— Значит, согласны? Отлично.

Крицын вынимает портсигар и предлагает Власу дорогую папиросу. Недвижно висят обожженные темные руки.

— Мне нечем взять, Адам Александрович.

Крицын сует ему несколько папирос в карман обгоревших штанов.

К Власу подбегают с носилками. Он еле слышно стонет: начинает ощущаться боль. Курако и Максим подхватывают его, чтобы уложить. Влас тянется к печи и тихо произносит:

— Посмотреть эту прорву...

Медленно ступая, Влас идет к прорыву, широкому, как ворота. Максим поддерживает отца. Из отверстия струится

жгучий жар, внутри печи видны раскаленные красные стенки, они гладкие, словно облитые глазурью.

Доменщики приостанавливают расчистку и молчаливо смотрят на Власа. Из брандспойта льется струя на потемневшую груду кокса, поднимается и улетает пар.

Влас тихо стонет. Странно видеть, как спокойно переносит он страдания. Влас — старый доменщик, он видел и испытал много ожогов, он знает: ничто не избавит его от подступающей страшной боли. Глядя перед собой в пролом, не двигаясь, ни к кому не обращаясь, он говорит:

— Я подошел к ней, вижу — шлак подходит к фурмам, я закричал: «Скорей пускайте шлак, а то где-нибудь вырвет». Только так сказал, и вырвало прямо на меня. Будто кто-то по голове меня ударил ломом. Когда опомнился — на мне горит одежда... Вот она, эта прорва!

Доменщики подались к Власу, чтобы не проронить ни слова.

— Не надо, папа, пойдемте,— говорит Максим.

Он увлекает отца к носилкам.

Власа укладывают, он сдерживает стоны. Курако пытается найти слова, чтобы утешить его:

— Прощайся с этой печью, Влас... Я ее сломаю.— И кладет руку на плечо его сына: — А ты приходи ко мне. Будешь помогать. Да, да, Максим, тебя приглашает начальник доменного цеха... Выстроим такую печь, которая не сожжет ни одного человека.

— Я буду вашим Санчо Пансо, Константиныч,— тихо говорит Максим.

Власа уносят. Максим идет ссутулясь за носилками.

Сбив на затылок войлочную шляпу, Курако стоит, расставив ноги, скрестив руки на груди, и смотрит вдаль, сквозь зарево доменных печей.

...Крицын легко взлетает на автомобиле на гору. Его дом сверкает электричеством. Сидя за рулем, он с удовольствием вдыхает несущийся навстречу воздух. Взрыв печи, обожженный Влас — все это забыто, все позади. Крицыну хочется прокатиться четверть часика, он любит быструю езду. Автомобиль отлично слушается руля, рессоры мягко пружинят. Он выезжает на шоссе, ведущее к Макеевке, и прибавляет газ. В ушах поет ветер, в этот час дорога совершенно пустынна. Крицын увеличивает и увеличивает скорость, наслаждаясь ощущением полета в пространство. Какая прекрасная машина! Расстояние от Юзовки до само-

го крымского имения он покрывает на ней в три с половиной часа. А его моторная лодка, белая, как чайка, с мотором в сто двадцать лошадиных сил, фирмы «Сиам», самая быстроходная на Черном море, изумительное произведение итальянского общества морских автомобилей! Она досталась Крицыну случайно. Ее привезли для одного московского купца. После первой пробы купец сказал: «Продайте ее к чертовой матери, она меня потопит». Крицын купил ее, не торгуясь, за четыре тысячи и в тот же день повел навстречу ветру. Белый рокочущий корпус высоко поднимался над водой, словно стремясь выскочить, и пробивал гребни волн со скоростью сорока километров в час. Два месяца назад Крицын начал переговоры с братьями Райт о приобретении аэроплана. Его влечет этот новый, неизведанный вид спорта, ему хочется летать.

Вдали появилось зарево печей Макеевки, шоссе пошло под гору, Крицын не тормозит и не сбавляет газа. Автомобиль бешено несется, скорость превышает восемьдесят километров в час.

Внезапно из-за поворота возникают огни паровоза. В этом месте шоссе пересекается железнодорожным полотном. Тормозить уже поздно, автомобиль и поезд мчатся наперерез друг другу. Вспоминается прочитанная где-то заметка, что наибольший процент автомобильных катастроф в Америке происходит от столкновения с поездами. Крицын пригнулся к рулю и гонит машину, выжимая все, что она может дать. Автомобиль проскакивает перед паровозом. Крицын успевает взглянуть, в глаза ударяет яркий свет паровозных фонарей. Ослепленный, он нажимает тормоз и вздыхает всей грудью, лоб и спина покрылись потом. Автомобиль медленно катится. Что оставил бы он после себя? Крицын смотрит на зарево Макеевки и впервые, быть может, понимает с ослепительной ясностью, что уже никогда он не напишет свое имя на небе. Библейское сказание об Иакове, продавшем свое первородство за чечевичную похлебку, вспоминается ему.

— Ну и не надо... ну и не надо...— беззвучно шепчет он.

Повернув автомобиль обратно, он вновь развивает скорость. Впереди возникают огни Юзовки. Вот показался его сияющий дом.

Крицын останавливает машину у подъезда, легко взбегает по ступенькам, сбрасывает пальто и входит в зал. Под

музыку рояля множество пар танцуют вальс. Кто-то бросает в него серпантином, бумажная розовая лента обвивается вокруг его черной тужурки. Из круга танцующих выбегает Елена Евгеньевна.

— Где вы пропадали? — спрашивает она.

— Возился с автомобилем... Кто хочет кататься? — громко восклицает Крицын.

— С вами опасно...

— Э... живем ведь только раз... Едем, Елена Евгеньевна! Кто с нами кататься?

Проводив отца в больницу, Максим Луговик глубокой ночью возвращается домой. Дежурный врач сказал, что Власу придется два месяца ходить перевязанным. В студенческой фуражке и тужурке Максим медленно идет мимо шлакового отвала, разговаривая с собой.

Наверху, на высокой насыпи, останавливается паровоз, втащивший три ковша со шлаком. Через минуту опрокидывают первый ковш, под откос бежит огненная река, вокруг сразу становится светло, как днем.

Курако сказал ему: «Приходи. Будешь помогать». Значит, с завтрашнего дня Максиму снова станет доступна заводская лаборатория. Теперь у него будет все для опытов — муфельная печь, манометры, вакуумный колпак, он теперь быстро восстановит константы треххлористого йода. Какое счастье — стать помощником Курако!

Надо спешить домой, успокоить мать. Отец поправится. Дома теперь все пойдет по-другому. А сколько подарков Максим сделает сестрам! Маме он подарит швейную машину, довольно ей шить на руках.

Из ковша выбивают остатки застывшего шлака; горячая глыба, так называемая шлаковая кадушка, сохранившая яйцеобразную форму ковша, с шумом скатывается вниз. Максим идет вдоль отвала. Внизу валяется много старых шлаковых кадушек. Вылитый шлак постепенно темнеет, в ночном небе вновь возникает красное зарево доменных печей.

Неожиданно у самых ног Максима с треском лопается темная шлаковая кадушка, из нее вылетают огненные брызги. Максим испуганно отскакивает. Он не раз наблюдал это странное явление: шлаковые кадушки, полежав несколько часов, внезапно самопроизвольно взрываются. Теория металлургии не знает объяснения этому. Максим

заглядывает в трещину лопнувшей глыбы: внутри виден неостывший, раскаленный шлак.

Наверху опрокидывается следующий ковш, и снова все освещается вокруг. Догадка внезапно озаряет Максима.

— Вот оно что! — восклицает он.

Ведь со шлаком происходит то же самое, что и с крупинкой треххлористого йода. Аллотропическая модификация, переход остывающих кристаллов из одной системы в другую! Да, да, это совершенно ясно!

Максим уже забыл о доме. Он сидит на корточках у лопнувшей кадушки и тихо смеется. Как это просто! Странно, что об этом никто не подумал раньше. Из жидкого ядра внутри кадушки выкристаллизовываются минералы, при дальнейшем остывании они меняют кристаллическую структуру, и происходит резкое изменение объема, раскрываются обручи на остановленных доменных печах, вот почему печи с коническими горнами иногда вырастают на сто-двести миллиметров. Сколько необъяснимых явлений сразу становятся ясными!

Максим разглядывает округленные очертания кадушки, ему приходит мысль, что перед ним модель земного шара — затвердевшая оболочка и жидкая магма внутри. При остывании магмы — тоже своего рода шлака — несомненно, происходит перекристаллизация и возникает внезапное резкое давление, вызывающее вулканические извержения.

У Максима складывается план экспериментов с расплавленным шлаком,— аппаратура теперь ведь доступна ему. Он смеется. Какое замечательное это будет открытие! Скорее бы наступало завтра!

Наверху опрокидывают третий ковш, и ослепительный поток вновь освещает, словно утренней зарей, одинокую фигуру, которая сейчас вовсе не кажется сутулой.

...Ныне на письменном столе советского ученого, действительного члена Академии наук Максима Власовича Луговика лежит тяжелая чугунная звезда, на которой выгравировано:

«Из первого чугуна магнитогорской домны № 1 — старейшему металлургу, строителю доменных печей, ученику Курако...»

1936

ВЛАС ЛУГОВИК

Тетрадь, найденная в Донбассе

Глава первая

Сижу вечером с поникшей головой. Сегодня, 11 ноября 1929 года, мне минуло семьдесят два года от роду. Как прожить на свете последние дни?

Здоровье ослабело, ноги стали тяжелы. Ходишь и спотыкаешься подобно старому коню, а сидеть без дела скучно. Целый век работал на заводе ежедень. Там наука одна: знай одно дело — смотри за печью, чтоб работала в порядке, остальное тебе не требуется. Это вся твоя забота и вся наука.

Дома в молодые годы я умел делать всякую работу: сам делал ведра, сам делал соху и повозку, словом — все по хозяйству. В заводе от всего отвыкаешь.

Теперь я остался без дела. Эта жизнь очень скучная, для меня она хуже работы. Одинокому кашу кушать — и то скучно.

Я сижу в комнате один. Максима проводили в Америку. Женя учится в Днепропетровске, старуха моя пошла в церковь. Она это выполняет, чересчур уж богомольная. Мне это немного не нравится. Я пробовал отговаривать: «Не ходи, у тебя ноги больные».— «Нет, пойду!» — и только.

Летом я занимался в саду, садил овощи, полол и поливал, этим развлекал свою скуку и сам себя веселил. Теперь настала осень. Все иссохло, пожелтело, сад мой остался пустой. Выйду, похожу — везде пусто и холодно. Здесь, на Украине, ноябрь месяц называют «листопад». Это правильное название. Вся земля засыпана листом. Под ногами сухая листва шуршит, словно ветер дует.

По этой суровой погоде в заводе удобнее работать, чем летом,— не так жарко для труженика-рабочего.

А я скучаю от этой погоды. Болят все кости. Семьдесят лет шутить не хотят — свое берут. Старость подходит неза-

метно и берет вежливо вас то за руки, то за ноги. Принимай и угощай эту старость. Я ее не просил, но она давно у меня в гостях. Я не рад такому гостю, а он все ближе подступает, все крепче обнимает.

От скуки я решил заняться, написать кое-что о своей родине и некоторые случаи, которые со мной были, так как я рос сиротою, а потом сорок шесть лет работал в заводе имени Сталина, бывшем Юзовском, и много видел всяких происшествий.

Бывали взрывы неимоверные, перепугаешься до безумия, сам себя не помнишь. Много раз горела на мне одежда, но всегда удавалось выходить благополучно.

Доменная работа — это самый большой труд, которого нет на других работах, как на вальцовке или в шахте. Все работы имеют праздник, доменная — никогда. Работать надо девяносто четыре часа в неделю.

Доменщик не может построить себе хату, потому что в свободное время ему надо спать. Это наш закон: день работать — ночь спать, ночь работать — день спать. Так и век прошел.

В старину печи были плохие, малого калибра, дутье слабое, как в кузнице.

Чугун выходил холодный, выроет в песке яму и застынет. А кранов не было, стащить нечем, разбивай его молотом на крошки и растаскивай, как знаешь. А время не ждет — давай скорей, доменная работает своим путем. Вот тут и лихо. Повозишься целый день, идешь домой — и ноги не идут. Пришел, сел разуваться, одну ногу разул, а другая так и осталась, и заснул на месте, где сидел. И это часто бывало — в месяц два или три раза.

Спишь до четырех часов. В четыре гудок. Проснулся — давай завтракать; позавтракал — обуваться и — на работу. Так и прошла вся жизнь: день работаешь — ночь спишь, ночь работаешь — день спишь. Это наше занятие, больше мы ничего не знали. В воскресенье ломка смен: одно воскресенье сутки работать, другое — сутки гулять. Так и время шло с неделю на неделю и из года в год.

Работа доменщика тяжелей всего в заводе. Люди это со временем увидели, а раньше доменщикам не везло.

Я читал жития святых. Из других квалификаций выходили святые, даже из плотников или из колесников, а доменщик ни один не стал святым. Всегда он грешник и пьяница.

Встал сегодня в шесть часов. На дворе идет снег. Я ему рад. Походил по саду. В кадке вода замерзла. Все мушки, козявки, букашки похоронились в норы. Снег укроет их и обогреет.

Потом пошел в завод. Я имею постоянный пропуск и часто посещаю завод. Теперь я проживаю не в Юзовке, а в Макеевке. Здесь мой сын Максим Власович служит главным инженером. Сейчас его дома нет — он выбыл за границу по всем державам. Получил от него письмо, что с ним было по дороге, какие были приключения на сухопутье и на море, как ехал пароход по океану и какая была погода, как живут американцы, какой привет был в Америке. Принимали нас с почтением.

На заводе идет новая постройка. Вся Макеевка будет перестроена. Все будет механизировано — все подъемы, вся погрузка и выгрузка. Доменные будут ужасно большие и красивые, на удивление всем.

Вся постройка идет кранами. Я долго глядел, как работает один добрейший кран, наверно, очень сильный. Мне понравилось его устройство.

Роют фундамент под воздушную машину. Это будет гигант-машина. Так требует техника: большая печь, надо и большую машину по ней, чтоб было чем дуть. Это я знаю на практике.

На дворе мороз, а слесаря работают на воле, паяют трубы. Стоит горно, нагревают трубы и паяют. Работают быстро, хорошо смотреть на их работу.

Мне приятно ходить по заводу, век бы в нем жил. Идут земляные работы — народ вынимает землю. Много домов снято. Дело кипит во всю прыть.

С завода я вернулся в хату. Сижу, как козявка, и сам себя развлекаю — то читаю, то пишу. Вот я напишу о работе на доменных в зимнее время.

Чугун льда не любит

Чугун — это вещь щекотливая, он льда не любит; если вскочит на лед, то на нем не лежит — весь летит на воздух. У нас прежде в Юзовском заводе водопровод был плохой, воды было мало, поэтому воду наливали в кадушку, чтобы мочить песок для формовки.

Дело было зимой. Поналивали воды около кадушки, и образовалось много льда. У меня формовщик был неопытный, не заворотил канавки на формовку. Я спросил его:

— Что, канавка заворочена?

Он ответил:

— Да.

Пустили чугун в котел. Налили котел дополна, а в доменной чугуна еще было много — я его пустил на формовку.

Чугун пошел быстро и прямо на лед, ударил так сильно, как ни одно орудие не ударит, и взлетел под облака. Я бросился спасать чугун. Это дело было рискованное. Я побежал с лопатой, чтоб заворотить канавку, а в это время чугун воротился сверху и упал прямо на меня. На мне было три рубахи: внизу ситцевая, потом бумазейная и сверху парусовая. Все на мне загорелось. Я был недалеко от воды, бросился в кадушку и этим спас себя. Хорошо, что не растерялся и быстро пошел в воду. А то одна секунда — и была бы смерть. Все рубахи пропали; из-под них я выбрал скрапа около пуда, но тела не пожег, остался невредим и пошел работать дальше.

Конец этому рассказу.

Еще один случай

Спустя несколько дней рабочие набросали в шлаковый котел мусора, а в мусоре был лед. Налили полный котел шлаку, он стоит спокойно. Повезли на отвал. По дороге электрик сидел на столбе, справлял провода. На этом месте тряхануло котел, и он взорвался. Электрика облило шлаком, он упал со столба и сгорел насмерть, до часовни не донесли — помер. Это было с моим случаем на одной неделе.

Конец этому рассказу.

Какой бы ты ни был строгий, но непременно обожжешься. Я уж какой был ученый по работе и аккуратный и то получил ожоги четыре раза, и очень большие. Никогда не забуду первый ожог груди на втором номере, второй — ожог головы и лица, третий — спины, четвертый — сгорел было совсем: голова и все лицо, нос и рот, руки по локоть, все пожег. И все ожоги дала мне вторая печь; остальные мне благоволили.

Глава третья

Сижу у окна. Идет снег, густая метель. Погода плохая, хоть брось. Приходится сидеть в хате — никуда не можно выйти. Сиди да посматривай, что будет дальше — распогодится или нет.

По календарю: история товарища Ворошилова, нашего командующего, его жизнь до революции.

От Максима Власовича нет никакого известия вот уже двенадцать дней. Каждый день приносит газеты, а писем нет. Хоть бы открытку получить, повеселело бы на душе.

Ветер воет, дует с Белоруссии, родины моей. Улетела туда моя думка.

Наше село Кледневич стоит на небольшом пригорке у реки. Кругом был непроходимый лес. В нем грибы, ягоды, орехи. В нем все имеется. Надо лыко — в нем есть сколько угодно, надо оглоблю — в нем есть, что ни спроси — в нем найдешь.

За зиму в этом лесу много снега собирается. Весной он давал массу воды. Бывало, пойдет вода с леса — у нас море образуется. Вся низина залита. Это много помогало жителям — заливные луга. Вода бурлит, лед несет; все, что попадало на ее пути, плетни и изгороди,— все ломает и уносит невесть куда. Но люди не робеют: лесу много, загородим опять, это нам не впервые, мы это уже видели.

На этих заливных лугах растут дорогие травы и цветы — самая ценность для аптеки. Здесь, в Донбассе, мало таких трав, нету заливных лугов.

От этих лугов произошла наша фамилия. Батька мой Степан Семенович служил когда-то пахальком на барском дворе у помещика графа Паскевича. Что значит пахалек? «Пахалек» называется объездной поля, где люди работают. Его обязанность следить за работой в поле.

Вся наша местность когда-то называлась графчиной, а потом барин граф Паскевич в чем-то провинился государю и уехал за границу. Земля была отобрана в казну, и мы стали государственные крестьяне. Степан тогда бросил панский двор и взял надел земли. Он построил дом около самого луга, поэтому фамилия — Луговик.

Моя бабушка много рассказывала мне о крепостной жизни. Она прожила сто двадцать шесть лет и четыре месяца.

Вот ее рассказ.

Погонят нас хлеб молотить. Мы молотим и смотрим, чтоб приказчик куда-нибудь отлучился, а лошадь у нас приготовлена. Как только приказчика нет, набираем в фартуки зерна и таскаем на повозку. Пока приказчик придет, мы воз наносим и отправим домой.

Часто попадали под розги. Работали три дня барину и три — себе. Отработал — и прав, не выполнил — ложись под розги. Дадут полсотни, а то и сотню дадут, а мужиков и в солдаты посылали.

Конец бабушкиному рассказу.

Я это слушал со вниманием, при мне этого не было,— уже была воля, но нужда была.

Жили мы совсем дико, пугали сами себя ведьмами и другими анекдотами. В зимнее время деревня — это склад бактерий и заразы. Вся скотина в хате — овцы, и свиньи, и телята, и люди — все в одном помещении. Зима лютая, надо сохранить скотину от мороза.

Одежда наша была совсем простая: белая свитка, белая шапка, белая подпояска, белые лапти и белые опорки — словом, все белое, краски совсем не понимали. Поэтому и название — Белоруссия, что значит — белая Россия.

Для уплаты податей продавали деревянные изделия: ведра, кадушки, колеса, дрова и другие лесные товары. Во дворах не было ни одного гвоздя железного — все деревянное. Замки на дверях — и то деревянные.

Молодежь гуляла с деревянной музыкой — скрипка, бубен и дудка. Гармошку считали позором. Это была постылая музыка.

Ежели какой человек вздумал пойти на заработки в город, на него пальцами указывали: «Смотри — москвич, экий форсун. Не будет с него человека, будет плут, а не хозяин».

Гармонист — это считался москвич, его никто не принимал в компанию. Если вздумает невесту сватать, никто замуж за него не идет.

В те времена люди селились в пустых местах, никем не обитаемых, между лесами. Жили большими семьями — до четырех поколений, сорок — пятьдесят душ вместе. Работали гуртом, слушали одного, подчинялись ему во всем. Послушание — это дорогое дело, со стороны было радостно смотреть.

Наступил новый год — тысяча девятьсот тридцатый.

Погода стоит хорошая — морозная и ясная. Дорога легкая для лошадей. Лошади хорошо потеют в такую погоду, бегут весело, не надо подгонять. Хозяин только радуется, смотря на лошадей.

Люди много камня возят на постройку в завод. Дело идет полным ходом.

Холод мешает каменщикам — кладка мерзнет. Трудно им работать по морозу. А выполнять надо, подтягивают их строго.

Вчера были у нас гости, высокие люди, инженеры. Они у Максима Власовича под началом.

Я им прочел Максимовы письма из Америки, как производится работа за границей. Все работают машинами, даже кухарка пол метет машиной. Доменные грузят машиной, и чугун разливают машиной.

Мы пили чай и вели совет о заводской работе, о перестройке, о разных материалах, о руде и шлаке, как с ними обращаться, чтоб сделать из плохого хорошее,— словом, обо всем жизненном. Нам надо много думать, как работать на новых доменных без заграничных специалистов. Для этого и послали Максима в Америку и другие державы, чтоб все тонко усматривал и перенимал заграничную практику.

Утром, после гостей, по нонешней хорошей погоде я съездил в Сталино, в бывшую Юзовку, к своим приятелям. Вид Юзовки такой: в большой яме стоит город, построек не видно, все закрыто, как туманом, копотью и газом. Это можно видеть, когда едешь из Макеевки,— дорога идет по горе, много выше Юзовки. Видишь только яму, полную газа.

Я прошел по всему городу. Ужасно много идет новой постройки, воздвигаются громадные дома и дворцы.

Для меня это удивительно. Я здесь видел пустую степь, совсем порожнее место, никем не занятое, только овцы паслись и ветер гулял по полю.

Я прибыл сюда в 1878 году в ноябре месяце десятого числа. Рабочие ютились в землянках, весьма плохих, в земле выкопанных и покрытых землею.

Когда я прибыл в завод, мне отвели место в землянке на верхних нарах. В потолке дыры, снег дует в щели, по-

стели нету, негде схорониться от мороза. Покрою свиткой ноги — голова в снегу, накрою голову — ноги в снегу. Лежишь и думаешь: хотя плохо, да все лучше домашнего и покойнее. Староста не стучит в окно: «Неси подати, а то арестую!» Здесь его нет, не идет под окна. В заводе кончил работу — и свободен до другой смены, никто к тебе не касается. Знай гудок. Гудок гудит — иди на работу, гудок гудит — иди с работы, на отдых.

Завод раньше был бедный, не давал получки до шести недель, много было бунтов.

Сам Юз долгое время жил в землянке. Когда выстроил себе каменный дом, то сохранял ее на память, не давал ломать. Он любил ее показывать и говорил: «Это моя первая квартира». Она стояла, пока не помер старый Юз: после его смерти поломали.

Я хорошо знал старого Юза и много раз с ним разговаривал.

Меня приняли в завод чернорабочим.

В этот первый день моей работы произошел интересный случай.

Я несу кусок рельсы на плечах, и где я проходил, там по дороге лежал еще маленький кусок рельса. Я его поднял. В это время сам хозяин, старый Юз, увидел это дело, задержал меня и позвал переводчика. Я очень испугался, думал, что сейчас хозяин даст расчет. Куда пойдешь? А он сказал: «Ты хороший рабочий. Всегда делай так».

Я работаю всю жизнь и держался этого правила. Я всегда знал, где что лежит в заводе. Ежели что нужно найти и не найдут, то хозяин говорит: «Спросите Ласа».

Меня Юзы всегда звали Ласом, и теперь, наверно, еще знают в Англии, кто это есть Лас.

Глава пятая

Теперь я ворочусь назад, к моей родине.

Случилось у моего батьки Степана Луговика несчастье: умерла жена Елена и оставила двух детей: Пелагею и Гапона. Эта беда была не велика. Сына пришлось отправить в заработки, потом дочку выдали замуж, и сам оженился второй раз, взял девицу Софью, начал опять жить. Пошли дети. Родился Антип, потом много, и все поумирали, потом родился Влас, то есть я.

Вскорости опять получилось несчастье — умерла у Степана жена Софья. Осталось двое детей: Антип и Влас. Антипу — шестнадцать лет, мне — два года, а в доме нет никакой женщины. Вот когда подошел край!

Самого Степана старость одолела, дети на руках, а хозяйки нет, некому хлеб спечь и борщ сварить, а жить не перестать, надо как-нибудь жить.

Гапон в заработках избаловался, оказался гуляка и картежник, отцу не помогает. Вот тут и залез Степан к заимодавцу в долг. В те времена заимодавец давал денег сколько угодно, только бери. Процент — две копейки за рубль в неделю. Получил деньги, скоро отдать нечем, продержишь год, нарастет столько, сколько занял,— рубль на рубль. Через год приезжает заимодавец:

— Давай, брат, посчитаем.

Начали считать, насчитали на сто рублей.

— Ну, как? Чем будешь отдавать?

— Да у меня нечем...

— Тогда надо вексель написать.

Прошел еще год — вот уже долг двести рублей. Это дело не стоит, а нарастает.

Так и запутался Степан, как голубь в силья.

А заимодавец не дремлет. Пришла осень, приезжает за долгом. Берет пеньку, берет семя конопляное, берет льняное семя, добирается до скота, берет теленка, берет жеребенка. Это все проценты, а долг стоит, не уменьшается.

Что делать Степану? Как выйти из этого положения?

Гапон домой не хочет ехать. Потребовал Степан сына через полицию. Поймали Гапона, привезли по этапу оборванного, без копейки.

— Здравствуй, сынок! Надо женить тебя. Сам видишь, что тут выходит с нашей жизнью.

Поехали сваты — никто не хочет идти за Гапона. В чужом селе засватали слепую девку.

Оженил Степан сына тоже в долг. Окончили праздник, Степан заболел, полежал немного и помер. Пришел конец Степанову мучению.

Похоронили Степана, стали жить дальше. Гапон остался за хозяина, пожил два месяца, заболел и помер. Невестка наша ушла замуж за другого. Вот это беда!

Остался двор пустой и мы, два хозяина, два малых брата — Антип и Влас. Остались нам в наследство две кобылы, правда, хорошие, стоимостью шестьдесят рублей, и

пятьсот рублей долга кроме волостной недоимки — там еще набралось до двухсот.

Этот долг лежал на нашей шее. Мы с братом уплатили его до единого гроша. Это нам дали наследство наши родители. Хорошо, что рассчитались,— никому не должны, со всеми полный расчет.

Теперь я сижу на пенсии, ожидаю, пока смерть придет, а думка улетает к молодым годам, когда весело было жить.

Весело жилось оттого, что руки и ноги были молодые и здоровые. Всякая работа была не страшна: ни кирка, ни лопата, ни тяжелые подъемы. Я шесть лет работал чугунщиком, то есть рабочим по уборке чугуна. Эта работа подъемная и трудная. Надо убирать чугунные чушки; на один день на одного человека тысячу пудов, часто и больше попадало. Эта работа очень влияет на ноги. Я работал шесть лет, пока ноги не отказались служить, тогда бросил и ушел на формовку. Чугун убирают два напарника. Напарник — это верный друг, все равно как родной брат. Мы учились один около другого. Земляк как сам может работать, так и земляка учит, приучает себе пару. Первым моим напарником был Василий Школьников, здоровый малый, огромного телосложения, настоящий Геркулес. Он сгорел на втором номере. Вторым напарником был Семен Горохов. Вот я напишу его историю.

О моем напарнике

Семен Горохов был мой земляк, человек хороший, рябой наружности. Однажды он лег около печи отдохнуть и заснул. Кто-то бросил горячий крючок и попал ему на шею. Ожог не очень большой, но он сам дурно сделал — долго не шел в больницу, пока не распухла шея. Когда пошел в больницу, то в одну ночь помер. Семья у него была в деревне, пришлось мне на свой счет хоронить Семена. Имущества у него не было никакого, только одежда, в чем ходил на работу,— самые обрывки.

Прошел год, получаю повестку из полиции явиться на допрос. Являюсь.

— На что требуете?

— Вы такого-то хоронили?

— Хоронил.

— А где его вещи?

— У него никаких вещей не было.

— Да что, он голый был?

— Были обрывки какие-то.

— Где они? С родины требуют его имущество. Если не найдете, то заплатите, и очень дорого.

Я начал думать, куда я их упрятал. Наконец вспомнил, что забросил на верхние нары. Побежал, начал искать. Нашел все тряпки, связанные в кучу, принес в полицию. Там зашили в парусину, запечатали и отправили семейству.

Так кончилась история моего напарника. Некому и помянуть теперь, и могилка развалилась. Там, в Юзовке, целая армия положена горелых и битых, без времени умерших людей. Многие убиты машинами, многие обрывали желудок от тяжелых подъемов, многие погорели в огне и побиты в шахтах.

Глава шестая

Теперь я ворочусь к моей родине. Остались мы с братом сиротами. Антипу — семнадцать лет, мне — три года. Вот это были хозяева! Антипу жениться нельзя — молод. А на руках Влас, малое дите. А жить не перестать, надо как-нибудь жить.

Антип нанялся караулить общественных лошадей. Ему надо в ночь идти, а меня некому оставить. Он из дому, я — вслед. Тогда как-нибудь обманет, чтоб я заснул, или заведет к соседям. Я заиграюсь, а он тайком уйдет. Тогда я там и засну до завтра. Надоел всем соседям, никто нас в хату не пускает. Так кое-как прожили лето.

Пришла осень, надо хлеб молотить. Мы попросились в чужой овин. Брат возил снопы, а я играл на току с хозяйским мальчиком. Он повалил грабли мне на голову, пробил голову до мозгов. Люди залепили рану хлебом, отнесли домой. Я лежал два месяца без памяти — не знал ни дня, ни ночи. Потом видят, что я не помираю, пришла соседка, посмотрела мою голову. Рана вместе с волосами — все связалось в одну болячку. Потом пришли еще соседки, составили совет, что со мной делать. Решили вымыть голову, остричь волосы и очесать вшей. Затопили печь, нагрели котел воды, принесли овечьи ножницы, спустили мне голову на край постели, вымыли, остригли и вычесали вшей. Мне стало легче.

Потом уговорили одну старуху пойти к нам служить. Старуха стала приглядывать за мной и помыла мне чем-то голову. Болячки все слезли вместе с волосами. Я поднялся и стал ходить по хате. Прошло месяц-два — волосы не растут на голове. Антип осерчал на старуху и прогнал ее из дому. Остались мы опять одни.

Я был здоров, только волосы не растут, голова голая, как ладонь. Что делать? Надо искать средства. Стали спрашивать у людей. Нам посоветовали брать парное молоко прямо из-под коровы, сбивать масло и мазать голову. Так и сделали. Принесут мне молока, нальют в бутылку, я сижу и болтаю, пока сядет; потом промою водой и мажу голову. Этим немного вырастил волосы. Сзади выросли, а спереди я так и остался лысый.

Год прошел. Антипу стало восемнадцать. Можно жениться. Стали сватать. Весь округ околотили — никто не хочет к нам идти на нашу бедность. Воротились наши сваты ни с чем. Что делать? Надо ехать в чужой край. Поехали за пятьдесят верст и засватали литвинку. Ну, слава богу, будет у нас хозяйка! Привезли хозяйку, стало много лучше жить, я стал веселей. Мне уже пошел пятый год, она научила меня прясть, и я сделался пряхой.

Я научился прясть очень хорошо. Сидим мы вместе с хозяйкой, прядем и песню поем:

Зеленая груша всю ночь прошумела,
Шумела и гудела,
А я, молодешенька, всю ночь просидела.
Сидела я, не спала,
Тонкую пряжу пряла.
Пряди, моя пряха, пряди,
Приди, не ленися,
И пряжа не рвися.

Когда мне минуло шесть лет, обо мне начали подымать вопрос — насчет науки. Решили послать водить слепца.

В нашем селе был слепой старик Иван Хмура. Брат повел меня до этого Хмуры и отдал ему за пятьдесят копеек в год. Я пошел на эту должность. Каких в ней только случаев не было!

Старик часто бил меня костылем. Если споткнулся, я уже вперед плачу: знаю — как выйдем из деревни, будет бить. Мы должны были ходить из деревни в деревню и просить милостыню в каждом доме. Мне надо было поддерживать правило — следить, в каком доме какие двери,

высокие или низкие, и я должен был заявлять — «согни голову» или «подыми голову».

Однажды идем дорогой, старик мой споткнулся и начал меня бить костылем. В это время по дороге ехало два человека, мне хорошо знакомых. Они меня оборонили, поругали старика, потом отозвали меня в сторону и сказали: «Смотри, мальчик, где порог высокий и дверь низкая, скажи ему — подыми голову, тогда он ударится лицом об стенку, ты его бросай и уходи домой». Я это сделал, как меня научили, сам убежал и залез на печку.

Меня нашли, и был разбор этого скандала. Мои знакомые два человека сказали, что видели, как старик бил меня палкой. Тогда старика начали ругать и помирили наш скандал. Опять я стал водить старика, но это недолго — он заболел и помер. Хоронить его было некому. Я сам похоронил Ивана Хмуру, моего первого наставника.

Это было на восьмом году моего возраста. Я уже образовался хорошо и сам пошел по миру.

Иногда я приходил до своего дяди Харитона Семеновича. Там находил приют, иногда на неделю и больше. Харитон Семенович был старый служака, николаевский солдат, он служил двадцать пять лет. Когда он пришел со службы, у него была бумага: «Волосы стричь, бороду брить и по миру не ходить». Поэтому ему в отставке полагалось десять копеек в день кормовых от общества. Для получения денег нужен был приговор от общества в банк. Мужики взволновались и не хотели давать приговор. Тогда дядя принес на сход небольшой ящик. В этом ящике хранилась его солдатская гимнастерка и памятная книжка, в которой были записаны его походы — в каком году он ходил на Кавказ, в Варшаву и в Севастополь. Его спросили:

— На что этот ящик?

— Откройте и посмотрите, тогда узнаете, за что мне десять копеек дают в день.

Открыли ящик и вынули рубаху. Она была вся в дырочках, все равно как сито. Его спросили:

— Кто это ее так исколол?

Он ответил:

— Это вощи проели в походах.

Все ужаснулись, не стали больше спорить и дали приговор.

Я у него жил покойно. Он рассказывал мне, как им было трудно воевать.

Однажды я к нему пришел, и он посоветовал идти служить мальчиком к попу. Я согласился. Мне поп предложил службу и спросил: «Сколько тебе дать жалованья?» Я спросил два рубля в год, и он меня нанял. Вот я опишу мою службу.

Рассказ о духовнике, у которого я служил

Это был отец Константин Броцкий. Его личность была довольно строгая и страшная — человек огромного роста, грубого телосложения, волосы черные, лицо рябое и брюзглое. С народом он обращался очень грубо — ругался матерщиной, кричал все равно как гудок. Всегда был пьяный, выпивал водки по пяти бутылок в сутки, иногда и больше, но больше семи потреблять не мог. Я не управлялся поставлять ему водку. Мне было доверено брать водку в кабаке; там мне отпускали и без денег, в долг, хоть весь кабак забери.

Я всегда стоял около печки, как солдат на часах, в ожидании его приказа. Его выпивка проходила втайне от людей. Он перед службой не пил никогда — оберегался, а после службы минуты не мог терпеть — давай скорей, весь трусится. Выпьет бутылку, потом идет обедать — еще бутылку, пойдет на отдых — давай еще бутылку, поспит — еще давай. Иногда и ночью требовал водки.

Много раз я видел, когда ему свободно, он сядет у окна и плачет во всю волю, весь подоконник станет мокрый от его слез. Я не смел его спросить, почему он плачет, неловко было спрашивать, но видно было, что он страдал этой болезнью, крепко был заражен ею, не мог оторваться от нее.

Матушка не давала ему напиваться допьяна и меня гоняла, что я ношу ему водку. Однажды я был послан за водкой, воротился назад, нес две бутылки в рукавах. Только взошел в калитку — она навстречу. Я рванулся, упал и разбил бутылку. После этого случая мы построили у пчельника тайный склад. Мой духовник поставил туда десять бутылок полных, и мне было приказано всегда держать запас — десять бутылок. Как только остается девять бутылок, я бегу в кабак и добавляю в склад. Матушка преследовала меня, но мое дело детское: должен выполнять приказ.

Когда являлись посетители, духовник покрывал их матерщиной и спрашивал:

— Вы чего пришли?

— Да вот надо перевенчать молодых.

— Это можно.

Сваты становят две бутылки на стол, и я подаю три стакана.

Мой духовник рявкает:

— Чего стоите? Садитесь!

Посадит. Берет стакан.

— Поздравляю вас с молодыми.

Если какой сват плохо пьет, то матерщиной покрывает. Выпьют пару бутылок.

— Ну, батюшка, сколько за венец?

Тот отвечает:

— Пришлите мне завтра жениха. Я научу его богу молиться, он вам и цену скажет.

Утром приходит жених.

— Власка, веди его солому вытрясать.

У нас была травистая солома — надо было очищать ее от травы. Поставлю жениха на работу, он до завтрака работает.

— А ну, Власка, пойди посчитай, сколько кулей сделал!

Пошел, посчитал — пятнадцать кулей.

— А ну, позови его ко мне.

Является жених. Духовник дает ему стакан водки.

— Веди его, Власка, на кухню завтракать.

Позавтракал, пошел работать опять. До обеда тридцать кулей вытряс, после обеда — еще двадцать. Посчитали — шестьдесят пять кулей.

Вечером зовет жениха к себе, дает стакан водки и говорит:

— Скажи батьке — три рубля за венец и в воскресенье венчать буду.

На другую неделю являются новые сваты, и повторяется такой же выход. Требует жениха к себе.

Является большой бугай.

— А ну, Власка, веди солому вытрясать.

Ставлю его работать. До завтрака сделал три куля, до обеда пять и после обеда пять. Так заставил работать три дня, и за три дня этот не сделал столько, сколько тот, первый, за один день.

Тогда духовник его зовет, покрывает матерщиной и кричит:

— Двадцать пять рублей за венец!

Вот каков был поп Константин Броцкий.

Его семья состояла из четырех душ: жены, тещи и двух дочерей — Оли и Тани. Оле было шестнадцать лет, Тане — семнадцать. Летом к нам стал ездить пристав, а барышни хоронились от него в саду. В прежнее время пристава ездили со звонком. Барышни как услышат звонок, так и хоронятся в саду. Пристав приказал мне: «Вы следите и сказывайте, куда они хоронятся». Я стал следить за этим. Мне за это была награда — двадцать копеек каждый раз. Вот въезжает на двор, я его встречаю, дает двадцать копеек и спрашивает, где барышни. Я укажу: «Вон там». Он тогда станет их искать, туда-сюда пойдет, потом на то место. Они закричат, как сороки. Он берет под руки и ведет в комнаты. Кому что, а мне польза.

Часто к попу приезжали гости играть в карты. От них мне тоже попадало приездное и за чистку одежи.

Духовник приказал мне деньги класть на окно. Он их прибирал и записывал в книжку. Я на гостинцы не тратил ни одной копейки, все клал на окно.

Служил я у попа два года, а в это время у моего брата померла жена и остался ребенок полтора года. Брат потребовал меня домой.

Перед расчетом к нам съехались гости — пристав, его преподобье благочинный, два посторонних попа, волостной старшина, писарь и учитель. Это была большая комиссия. Все сидели в гостиной, и мой хозяин представил меня всей этой компании как своего лакейчика и предъявил мой счет. За два года у меня образовался капитал двадцать четыре рубля шестьдесят копеек.

Духовник сказал:

— Вот маленький мальчик имеет такой капитал, он еще мало смыслит, чтоб взять эти деньги.

Они обсудили это дело и сказали:

— Ты теперь малый, пускай этот капитал лежит в волостной кассе, пока тебе будет восемнадцать лет. Потом получишь, и у тебя будут деньги.

Я заплакал и говорю, что мой брат бедный, у него нет денег, отдайте их брату. Они меня много уговаривали, чтоб положить деньги в кассу, но я настоял отдать брату и с этим поехал домой.

Мой духовник недолго пожил после меня. Этот лютый зеленый змей скоро убрал его в могилу. Теперь покоится под своею церковью в селе Городецком. Старики поминают его как хорошего наставника.

Конец этому рассказу.

Глава седьмая

Сижу вечером один. Кругом тишина. Давай что-нибудь напишу, чтоб было веселей сидеть.

Вот напишу песню:

Заноет сердце мое, загрустит
По родине своей.
Отцовский дом покинул я,
Травою зарастет,
На кровле филин закричит,
Собачка верная моя
Залает у ворот.
Украшен божий свет...
Моря я вижу,
Вижу небеса,
А родины здесь нет.
Не быть мне в той стране родной,
В которой я рожден.

Это мне часто скучно одинокому, и я себя веселю воспоминаниями о родине. Сидишь один, думаешь о своей старости, придешь в уныние и придумаешь что-нибудь — сказку или песню. Так я веселю свое горе.

На улице мороз. Все птицы сидят в закутках и ничего не поют. Голос притих у всех. Но по ветру видно, что скоро станет тепло. Уже февраль месяц, скоро уже время быть теплу в этой стране, эта страна — юг.

Весна — милое время, дорогое для всех. Оденется лес, запоют птицы — и старик станет молодым. Солнышко хорошо обогреет землю и все деревья; они оживут и начнут пускать сначала маленькие бутончики смолистого состава и полукрасного цвета, впоследствии покажут листок, прелестный и ароматный.

Весной выйдут сезонные рабочие. Это самый Орел, все орловские, мои знакомые, работали со мной.

Меня знает вся Орловская губерния, и Смоленская губерния, и прочие губернии, не говоря о Могилевской,— это земляки, им перерыву не было: один уходит, десять приходят.

Много людей я выучил доменному делу, всех наций — татар и русских. И сейчас приезжают и спрашивают:

— Где Влас Степанович?

— Он уже больше работать не может, перешел на инвалидность.

— Ах, жалко! Хороший был человек, добрый доменщик.

Теперь я на пенсии, получаю в страхкассе каждый месяц, четырнадцатого числа каждого месяца. Это для нас, стариков, находка, за это спасибо Советской власти.

Сижу дома и вспоминаю старину.

Нас было два работника — Влас Луговик и Ефим Коломейцев, мой сменщик. Всякая трудная работа — давай, Влас и Ефим, они сделают. «Козел» взорвать — это наше дело: застыла доменная — это Влас и Ефим, они помогут, ремонт за нами; что ни самая погибель — это наша.

Каупера построили — мы первые в России пошли на них работать. Мы с Ефимом — во всей России первые газовщики. Нам было дано английское правило, переведенное на русский язык. Мы его выучили и начали работать с газом.

Газ — это опасное вещество. Он любит, чтоб его воспламенить сразу при выходе, тогда он горит ровно и хорошо греет, как вам угодно, дает большую пользу заводу.

Некоторые рабочие понимают дым и дымный газ, а этот газ светлый, его не видно,— в нем дыму нет. Он скопляется в глухих местах, в ямах, куда воздух мало проникает. Он называется «мертвый газ» и может быть всегда в земле или в скрытом месте около доменных печей. Я вот приведу пример. Моя квартира была вблизи завода, и около балагана у нас были погреба. Наши погреба не годились — нельзя было минуты находиться в погребе. Мы уже приладились: сначала сверху начнешь гнать воздух, потом влезешь в погреб, возьмешь, что надо, и скорей вылезай наружу. Одна соседка утром поспешила, влезла и там упала без памяти. Никто не видел,— муж собирался на работу; хватился — ее вытащили мертвую.

Около печей много народу угорало, особенно зимой. Присядет, где потеплей и от ветра закрыто,— и готов: лежит мертвый. Однажды во время завтрака мальчик, который нагревал заклепки, лег отдохнуть около печи на песок в ямку. Песок был теплый. Он хотел погреться. Вскоре схватились — уже мальчик мертвый. И это на воздухе, на

ветре было. Наверно, судьба такая была мальчику — помереть на этом месте.

Вот этот газ — его не видать — враз добирается до сердца и кончает жизнь.

Опишу еще один случай.

Хитрость

Однажды вблизи первого номера прорвало газовую трубу. Монтеры кое-как замазали, да и ладно. Газ идет на волю, люди угорают. Как десять минут проработаешь, то и ноги не держат, скорей уходи, давай другого. Много раз заявляли, даже самому Юзу, а внимания не обращают. Что делать? Как выйти из этого положения? Надо приступить к хитрости.

Вот в одно время приходит Юз. Ветер был на песок. Я попросил подручного поставить на песке скамейку около трубы и говорю Юзу:

— Хозяин, я хочу вас о чем-то спросить.

Повел его к скамейке и посадил. Переводчик стал рядом со мной. Я начал с ним разговор об английских мастерах. Почему к нам в Россию едут из Англии самые пастухи, которые не то что доменное дело, но и завода не видали. Ему показываешь, как надо работать, учишь канавку делать и другие работы, а через полгода он над тобой начальником.

Дело было летом. Жарко. Юз шапку снял, а газ крутит вовсю.

Переводчик перевел. Юз рассерчал, воткнул свою палку в песок и закричал:

— Я поставлю эту палку, и ты должен ее слушать!

И на этих словах схватился за голову и упал. Мы его вынесли и откачали.

Тогда поверил, что люди угорают, велел трубу заклепать.

Конец этому рассказу.

Глава восьмая

На дворе капель. Ветер гонит облака на юг. Под ногами мокро, глина распустилась: цепляется за ноги, вся хочет взяться за тебя. Но то не страшно — уже апрель месяц, солнце все это поправит, все обсушит. Уже весна, цветочки расцветают, пташки веселятся и поют, много веселее против зимы. Подымается дух у народа и у птицы.

Максим пишет, что выехал из Америки в Европу на пароходе и через месяц будет дома.

Старуха беспокоит меня своими бабьими уборками. Моет полы и окна, белит стены, гоняет меня по всей квартире, нигде нет от нее покоя. Я ей даю уважение, чтоб не было шума и раздора.

Сейчас поехала в Юзовку за мануфактурой. «Поеду!» — и только, зря лошадей гоняет. Мануфактура бабам — лестное дело, они ее любят, оторваться не могут.

А я сижу в хате и читаю книгу гения Ильича, Ленина — Ульянова, о нашем рабочем празднике Первое мая.

Скоро подойдет этот день, все рабочие выйдут на улицу, подымут свое знамя высоко и крикнут в один голос: «Да здравствует свобода бедноты!»

Мы разукрасим дома и квартиры красными знаменами и трауром по нашим погибшим борцам. Вечная память нашим братьям, павшим за свободу! Люди обнажат головы в честь покойных товарищей, крикнут в один голос: «Ура! Ура! Ура!» — и пойдут стройным шагом, грудью вперед. Музыка заиграет похоронный марш, старый большевик скомандует: «В ногу, товарищи! Раз, два, раз, два!» Выйдут на чистую площадь — там приготовлена трибуна, все станут стройно и будут слушать хорошие, многоценные слова. Весь люд убран по-праздничному, красиво смотреть. Это погибель нашему врагу капиталисту. Да здравствует большевистская партия! Вечная память гению Ильичу, Ленину — Ульянову!

Вот я опишу, как проходила революция у нас в Юзовке.

Когда грянула революция, начали останавливать печи одну за другой; пока дошли до последней, и совсем стали. Тут наступило наше бедствие. Базар опустел, хлеба нету и не за что купить. Давай одежу носить в деревню, менять на хлеб. Начиная с пальто и кончая рубашкой — все отнесли в деревню, сами остались голые.

Потом пришли немцы, привезли свои марки, началась торговля. Потом немцы отступили, явился Деникин и начал вешать рабочих по столбам.

Когда мы видели это зверство, взяло сердце, у каждого руки отпали, вся работа опротивела. Каждый рабочий рад в бой сию минуту, кровь кипит ключом. Молодые все ушли: прощай, жена, пойду на войну защитником родины от буржуев.

Вот стали наши рабочие наступать, мы воспрянули. В Юзовке был ужасный бой. Я как раз был на рудном дворе. Вот снаряд бух около меня в кокс! К счастью, черепки мимо полетели. Надо хорониться. Залез в туннель и сижу, как прус в щели. Посидел немного — ничего не слыхать. Вышел. Дай полезу на доменную — погляжу. Влез на лестницу. Вот около меня пуля в колонну вдарилась и дала рикошет. Я тикать на низ, вышел на песок. Вот теперь снаряд бах в доменную! Я побежал, выбежал на шлак. Бах — снаряд сзади шагов на десять! Бегу дальше, опять впереди два разорвалося. Кое-как прибежал на квартиру. В хате никого нету. Смотрю — старуха в подвале, боится выйти.

Вошли в завод красные, вся гвардия с орудиями и пулеметами. Вот была радость! Слава богу, явились наши рабочие. Вот хорошо, пришли свои люди!

А наше хозяйство все побито и поломано, все рассыпалось и завалилось. В заводе нет ничего: ни зубила, ни молотка — все порастащили, а исправлять надо. Кирпича нету и негде взять, кирпичный завод стоит. Давай собирать кирпич в мусоре; кое-как сложили с крошек и пустили одну печь. А материалу нету, нечем работать, надо грузить — и нечем, руды нету, камня нету, сами голодные. Вот и сиди на бобах!

Потом пришли товарищи с фронта, прибыл хлеб, все повеселели, и дело пошло добрей. Помучились два года, и понемногу вылезли на гору, пустили все шесть печей.

Первый номер стал давать чугуна двадцать три тысячи пудов в сутки. Было весело смотреть на доску — какая выработка! Этого еще не было в Юзовке. Восемнадцать тысяч видели, но не двадцать три.

Я был рад этой власти. При старом режиме я работал исправно и послушно, а при новой власти — еще лучше, помогал ей всеми силами, одного часа не гулял, всегда был в работе; некоторые работы делал из ничего, собирал из кусочков и пускал в ход.

Глава девятая

Теперь я опять вернусь к моему сиротству. Брат взял меня от попа, потому что у него померла жена. Дома остался ребенок Степа полутора года. Никакой женщины в доме нет. Я был за повара и за хлебопека. Ребенок кричит

день и ночь, мы около него сидим с Антипом и ничего не поделаем. Вот приняли горя!

Надобно брату жениться второй раз, взял девицу с грудным дитем. Наш ребенок довольно хитрый: как увидит грудь, поднимет крик на всю хату — давай сиську! Это был хаос, а не жизнь. И все это на моей голове. Я был за няньку, и весь ответ лежит на мне. Сами пойдут на работу, меня оставят дома. Я с ними ничего не поделаю, и ревем все трое.

А тут годы неурожайные, хлеба нет.

Прошел слух, что Юз открывает завод и нанимает людей на работу. Брат надумал идти на завод работать. А денег на дорогу нет и негде взять. Обул брат новые лапти, взял липовую палку и поехал на липовой машине за полторы тысячи верст. Шел пешком два месяца, поступил на работу в шахту и месяца через три прислал нам двадцать рублей на хлеб. Мы повеселели.

Я остался хозяином. Мне пятнадцать лет, силы еще мало, сам плохой и инструмент плохой. Однажды надо было мне сделать борону. Я состав приготовил, все принадлежности разложил, а толку не дам. Пошел соседа просить. Он говорит: «Некогда!» Пришлось самому крутиться, как знаешь. Долго голову ломал и плакал, но все-таки сделал борону. Сохи не умею справить, повозки не умею сделать — словом, полный чурбан. Соседи не хотят показать, всем некогда. Вот тут-то плохо бедному сироте. Так я бился, пока научился сам. Сам делал соху, и повозку, и на нее колеса, сам делал ведра,— словом, все по хозяйству.

Дело пошло порядком, но не совсем. Случилось несчастье. По осени вышла кобыла перед вечером и ушла в поле, никем не виденная. Там напали волки и кобылу съели. Это был большой удар по нашему хозяйству. Много пришлось принять горя при такой бедности. Брат мой Антип избаловался в заводе, денег присылал мало и сам домой не ехал. Хозяйство бросил совсем, оставил на меня. У него дома жена и трое детей: один от первой жены — мальчик Степа. Этого мальчика надо было оборонять от мачехи. Бывало, приеду с поля, Степа стоит и плачет, жалуется: «Мне не давали кушать!» Поэтому подымается ссора и брань, даже и драка.

Антипова жена каждый день меня ругает: «Если б тебя не было, он сам бы дома жил!»

Моя доля дома была плохая, но я не унывал, думал так:

«Вырасту и сам себя поправлю».

Скоро я уехал на Украину. Ехал на год, а остался на всю жизнь. Вся наука по земледелию пропала, пришлось учить заводскую работу.

Но все-таки я жил лучше мужика деревенского. Зарабатывал шестьдесят копеек в день, имел кусок хлеба, хотя не совсем хороший, но можно обойтись. Я следил за делом строго, добивался высшей работы, чтобы получать больше. Скоро мне посчастливило — попал горновым на доменную печь. Это меня выручило, доменная помогла мне прожить в чужой стороне.

Глава десятая

Прилетели с теплой страны птицы: утки, чайки, скворцы и маленькие ласточки. По всему Союзу все радуются красной весне. Скот пошел на выпас, плуги вышли в работу и бороны — в действие.

Я с утра выхожу на солнце и сижу в тихом месте. Солнце для человека — лучшее лекарство. Оно излечивает все недуги, можно вылечить всякую болезнь, какая бы ни была. Надо сидеть до загара, пока не станешь желтый, лишь бы не пожечь себе кожу. Мужик много бы болел, но его спасает солнце. Всегда он работает на солнце и поэтому здоров, редко тужит о больнице.

Потом я занимаюсь своим огородом и садом. Для огорода требуется особо тщательная работа: овощ любит землю мягкую, хорошо очищенную, навозную и сырую. Надо часто поливать водою; криничная вода не годится — очень холодная, надо потеплей.

Все это напоминает мне мою родину. Бывало, откроется весна, начнет раскидаться береза, этот ароматный запах напитает душу. Какое там было место дорогое! Сколько рек с прозрачною водою, сколько цветущих лугов с высоким ароматом, сколько тенистых лесов с деревьями всяких пород! Это чудесная панорама. Кругом болота и всякие дебри, птицы всякого рода: чайка, и бекасы, и витуги, дикие утки, и кулики, и журавли, и драчики, и другие благородные птицы всех сортов. Мило слушать их пение, особенно соловьев. Быть там весною в мае месяце так хорошо,

что лучше не надо. Это рай земной, в гору так и подымает. Плохая жизнь — и то была не в тягость.

Я часто вспоминаю эти веселые дни. Они не идут у меня из головы.

Скоро я уехал на Украину. Здесь нет медведей, никогда не увидишь его, а у нас их было много.

Когда в лесу ночуешь, нельзя идти далече от огня. Медведь любит слушать разговор людей, о чем люди говорят. Много раз приходилось натыкаться на него ночью. Пойдешь дрова собирать и наткнешься на него. Люди разговаривают, а он слушает. Наверное, ему это нравится.

Медведи нам мало мешали, они мало шкоды делают; пчел беспокоят, овес в поле топчут, а остальное не трогают.

Вот волки — опасные враги. Если осталась скотина в поле ночевать, то не считай своей — съедят непременно. Такая масса была волков — полное поле и леса! Скотину рвали у пастуха из рук. Налетает — и в секунду готова лошадь. Внутренности вон — и делу конец. Хоть кричи, а пет, стреляй — ничего не боится, свое дело делает. Положил и сам уходит — он знает, что его будет. Назавтра в стаде возьмет барана, кидает на спину и уходит в лес к малым волченятам, живьем приносит. Старых свиней не берет никогда — боится ихней пены: они на него кидаются, и во рту пена, и рюхтят. Тогда он утекает.

Глава одиннадцатая

Теперь я напишу свое отправление на завод.

Когда мне минуло двадцать один год от роду, подошел мой призыв на военную службу. У меня не было ни сапог, ни денег, и некому меня провожать. Спасибо, дали общественных лошадей.

Подводник мой недоволен на мою бедноту. Вижу, что его надо угостить, а у меня ничего нет. Потом я вспомнил, что у меня было сбереженье, состоящее из суммы пятнадцать копеек. Это мое состояние было зашито в свитке на груди. Я распорол свитку, достал деньги и купил водки и рыбы. Хлеба у меня не было, но у подводника был. Мы выпили, закусили, пошли танцевать и песни играть. Назавтра я пошел в присутствие. Разулся, одежу у меня взяли,—

я и не заметил, кто взял,— поставили в станок, измерили рост. Вышел четыре вершка пять осьмых с половиной, смерили грудь — годен, иди, тяни жребий. Я вытянул номер двести двадцать второй и сижу без одежи, ожидаю сдачи в солдаты. Но дело было задержано на двести двадцать первом, а все остальные остались свободны. Товарищи вынесли меня из присутствия на руках, и у них была вся моя одежа. На мне присутствие закрылось.

Дали красное свидетельство. Ну, слава богу, теперь поеду на Украину, счастья пошукаю.

С родного села я выехал очень честно, попрощался с людьми вежливо, чтоб мне пожелали всего хорошего, отдал всем знакомым низкий поклон и всех благодарил за мое воспитание.

Меня провожали хорошо, потому что я всегда держал себя смирно, ко всем относился с уважением, каждому отдавал почтение.

Старым людям я поклонился в ноги и просил у них прощения. Мне все прощали, называли меня счастливым и говорили: «Не робей! Со своей покорной головой ты нигде не пропадешь».

Так и сбылось. Бог дал мне здоровье, и всегда я имел кусок хлеба и кой-какую одежу. Я всем доволен, мне и этого хватает.

Глава двенадцатая

Первого мая в Макеевке открылся городской сад для отдыха рабочих. Посажено много деревьев разных пород, более кавказских, какие могут расти на этой земле,— тополь, акация, клен. Весь этот молодняк посажен стройными рядами, красиво посмотреть. Имеются парники и оранжерея под ведением садовника. Он украшает клумбы разными рисунками из цветов. В саду имеется столовая, устроена очень прилично, подают молодые барышни, кормят хорошо, всегда бывает много гостей. Выстроен большой театр, постоянно бывает представление — каждый вечер во все дни недели. Внизу прекрасный пруд, много народу катается на лодках, а кто так глазеет. Красиво смотреть на эту панораму.

Барышни гуляют под руку с ребятами, убраны прилично, имеют при себе дорогой радикюль; хотя в нем нет ни-

чего, но его носят для сбережения носового платка. Такая уж форма у них заведена. На ребятах хорошие сапоги, костюмы и дворянское кашне, которого раньше наш брат не видал в глаза.

В саду устроено место для чтения газет и книг, имеется добрейшая библиотека, но в летнее время мало охотников читать, да и барышни не дают, приглашают пройтись: «Идем, Ваня, погуляем по саду, ты уже совсем зачитался». Взял барышню под руку и пошел гулять. Нет, товарищи, так не надо. Следует самому себе установить правило: два часа почитать, потом гулять. Сейчас рабочий день семь часов, отработал — и свободен, можно два часа уделить науке.

В прежнее время мы работали двенадцать часов в смену, наука нам давалась туго.

Я ни одного дня не был в школе. Поэтому прошу, дорогой читатель, не осудить меня за мои ошибки. Я самоучка царского времени, никем не проверенный, грамматики не учил и прописи мало видел, потому что не имел состояния купить такие пособия.

Хочется писать верно, буквы ставить по правилу, как полагается, чтоб было понятно каждому читателю, кто возьмет в руки. Хочется написать по вкусу людей, чтоб прочитали и похвалили: верно написано, можно читать. Хочется написать хорошо, а руки не служат. Как ни стараюсь, а все плохо выходит — некрасиво и неправильно.

Я ушел с родины двадцати одного года от роду простым, неграмотным серым мужиком. Пришли с товарищем в уездный город — я разинул рот и стою, как осиновый болван... Товарищ читает вывески, а я ничего не вижу, слепой и жалкий человек, чурбан серый.

Я шел на Юзовку и думал, что я такой не гожусь никуда, кроме как мусор убирать, и подумал, что мне делать — жить или бросить. Иду по степи, а мысли не выходят из головы, что я — ничтожное существо, статуй, а не человек. Взвесил сам себя: я еще молод, и есть у меня немного настойчивости, не все люди учатся малыми, буду учиться самоучкой. Поставил — или научиться грамоте, или не к чему на свете жить.

Поступил на работу и достал церковнославянский букварь. Этот букварь меня долго мучил, целый год, пока не увидел грамотный человек. Этот добрый человек видел мое

старание, взял у меня букварь и бросил в огонь. Этим он мне много помог. Я купил гражданский букварь. Но все-таки это одолел. Тогда давай учить арифметику. Она мне очень трудно поддавалась. Вот я расскажу один случай.

Занятие арифметикой

Дело было ночью. Печь работала хорошо. Я все приготовил к выпуску — время свободное. Я взял листик железа и крошку мела, прилег на песок около фонаря и стал делать арифметику. Я взял очень крепко в голову и забыл, что я близко от доменной.

В это время в печи получилась осадка, и сверху выбросило немного горячего кокса. Один кусок попал мне на край рубахи, и рубаха загорелась. Но я не обращаю внимания, делаю свою арифметику. Когда стало горячо, я схватился и вижу, что весь горю. На мне было три рубахи. Я управился их с себя сбросить и этим спас сам себя, получил только маленький ожог.

Конец этому рассказу.

Глава тринадцатая

Приехал Максим из-за границы, привез дорогие подарки, воротился благополучно, в здоровом виде. Это меня шибко радует.

Женя тоже прибыл на каникулы из Днепропетровска. Он теперь студент третьего курса Горного института, учится на доменщика. Я произвел ему экзамен. Ничего, кой в чем разбирается, добрый будет техник, только немного задается.

Теперь, слава богу, вся семья в сборе.

Много людей приходит к нам с визитами и разными вопросами, которые Максим Власович разъясняет. Он прошел высокую науку, служит главным инженером, человек тонкого ума, дело ведет очень аккуратно, на славу всему Донбассу. Мы с ним осмотрели всю постройку — все кипит в исправности. Скоро будем пускать первый номер, печь добрейшего калибра, даже завидно смотреть. Все обдумано очень хорошо, тонко объяснить не умею. Каупера уже готовы, совсем склепаны, выкладываются кирпичом.

Ходили на степь к Ясиноватой. Там в балке много работает народу: строят новый ставок для скопления воды.

Такому большому заводу масса воды требуется. Местность очень живописная — две балки сошлись вместе, крутые берега. Много здесь поместится воды, богатый будет ставок. Недалеко имеется небольшой лес — дуб и прочие деревья. Место, никем не заселенное, чистая степь, вся в цветах. Будет, значит, мед у пчеловодов.

Я описываю это урочище не зря. Я глядел землю — очень хорошая земля для огородов. Местность — годная для постройки квартир,— от завода далеко, газ не дойдет. Провести сюда трамвай, заселить бы это место.

Максим со мной согласен, а раз он говорит — ему можно верить.

В нем видать все-таки мое воспитание. Крепко я его любил, но баловства не допускал. Баловство в малом возрасте доводит до того, что молодой человек становится никуда не годен. У него появляется какое-то ломание во всяком деле. Примерно так. Подали чай — не так поставили. Подали хлеб — не так положили, да он и невкусный. Отломил кусок, укусил и бросил. Это не нравится, давай другое.

Когда человека сыто воспитывают, с него не бывает толку. Я много видел этой порчи. Дите надо жалеть, чтоб оно не знало, что его жалеют. Показывать в лицо не подобает. Надо помнить, что самое благородное дело — это труд. Человека с малых лет следует приучать к нему. Жалость — это есть тайна родителей.

Отец все-таки меньше забот несет, а мать — это одно в мире существо, которому нет цены.

Тот человек, который растет при матери, всегда обмыт и очесан. Хотя и бедная жизнь, а ему мать все достанет, сама не будет есть, а ему сбережет.

Это я пишу для Максима, чтоб он это помнил, ежели мне раньше старухи помереть придется.

Вспомянем ее труды. Мать носит дите в утробе, переживает болезнь, при рождении принимает великое мучение, но она рада, что родила живого человека, нет конца ее радости, она забывает свою боль от радости. Она кормит дите досыта своей грудью, ночей не спит, успокаивает, всегда трусится, чтоб дите не заболело, не околечилось и не утопло в воде, бережет, как свой глаз.

Это не то что сиротская жизнь. Сколько приходится сироте принять горя, всякой ругани и неправды! Мне это хорошо известно. Тебя и вором становят, тебя и баловни-

ком становят, тебя и неслушником становят — все это ложится на сироту, некому его защитить. При матери это все отпадает. Никто не смеет к тебе прикоснуться и не станет тебя оговаривать.

У матери всегда молитва на устах за счастье своего дитя: какой бы ты ни вырос — для нее все маленький. Где бы ты ни был,— в дороге или на работе,— ее молитвы идут за тобой.

Мать — это драгоценность, которая недопустима никакому порицанию. Нет тяжелей греха, чем мать ввести в слезы. Ее слезы тогда такие горькие, что самый крепкий камень пробивают. За материнские слезы природа не прощает,— они больно ударяют, больней орудийного снаряда. Несчастный тот человек, кто обижает свою мать.

Ей и надо всего кусок хлеба и хорошее слово, она и тем останется довольна. Она рада, что видит жизнь своего дитя, что оно живет счастливо.

Глава четырнадцатая

Четвертого октября в Макеевке был торжественный праздник — пуск новой печи. Это была величайшая церемония, большое сборище народа. Собралась вся Макеевка с красными знаменами, играла духовая музыка, много было украшений и плакатов.

Много понаехало гостей из Москвы, из Харькова и с разных заводов. И точно — есть на что поглядеть! Колоссальная печь, первейшая в России. Все сделано механически, вприточку, на удивление всем. Наверху погрузка идет без людей, самокатом, работать легко. От нового устройства все повеселели, весь народ торжествует.

Печь задули в 12 часов 45 минут дня. Мне было доверено открыть горячее дутье. Это высокая честь. Жалко, Женя не видал,— он уже уехал на учение.

Я ему написал в Днепропетровск письмо о нашем празднике и велел хорошо учиться, чтобы выйти достойным работником многославного Донбасса. Я дал ему наставление на всю жизнь, чтоб работал честно и правильно. «Тогда все узнают, что ты хороший специалист, и дадут дорогую работу. Постепенно дойдешь до хорошего жалованья и получишь высокий сан. Но ежели будешь работать нерадиво, то век будешь болтаться по заводам, нигде места тебе не

будет, все станут презирать, что нет от тебя пользы государству».

На празднике говорилось много речей, и меня пригласили выступить, рассказать про старину.

Потом послан был привет коммунистической партии. Следует воздать ей честь и славу — она нас из грязи тащит на сухое.

Вся Россия обновляется, все идет по-новому на заводах и в деревнях, даже в отдаленных местах и захолустьях.

По всей России будут проведены колхозы и совхозы. Все люди соединятся в артели, будут жить по-братски, будут работать за единой нивой, пахать будут одним трактором, одной бороной скородить, одной молотилкой молотить, одной веялкой веять, в один закром ссыпать.

Старое скоро все позабудется, не поверят, что оно и было... Что было, тому не бывать уже.

1936

ПОСЛЕДНЯЯ ДОМНА

I

В декабрьскую ночь 1919 года в поселке Старопетровск умирал от тифа молодой инженер Русланов.

Еще вчера он рвался с постели, что-то выкрикивал, декламировал в бреду Пушкина. Теперь он уже не декламирует. Днем, не приходя в сознание, он затих. Температура, державшаяся последние дни выше сорока, вдруг упала до тридцати шести. Побежали за доктором. Доктор сказал, что все кончено, организм сдался, прекратил борьбу, медицина не знает средств спасти в этом случае человека.

Вытянувшись, Русланов лежит без движения, лишь судорожно вздымается и опадает грудь под одеялом. Глаза открыты, в свете электричества блестят расширенные остекленевшие зрачки. На темном одеяле покоится странно желтая рука. Пальцы, ставшие тонкими за время болезни, не шевелятся.

Это смерть. Тело еще дышит, но уже не живет. Оскаленный полуоткрытый рот еще вбирает воздух, а в теле уже разрушаются красные кровяные шарики. Доктор, прощаясь, объяснил, что из-за этого так страшно и желтеют умирающие от сыпняка. Остриженная голова вдавилась в подушку, никогда он не встанет уже — любимец Макарычева, двадцатичетырехлетний начальник доменного цеха.

Макарычев сидит у кровати. Худой и длинный, он согнулся, упершись локтями в колени, и смотрит не на Русланова, а в пол.

Придя с завода, он не разделся, на нем измазанное пальто из рыжего бобрика и черная фетровая шляпа с широкими полями. Шляпу он носит не с выемкой посредине, а приплюснув ее донышко кругом, как это принято у актеров и мастеровых. Он давно сидит так, уставившись в пол. С сапог натекла грязная лужица талого снега. Рядом

с Макарычевым стоит у кровати Шевчук, ровесник Русланова, сменный инженер. Сумрачно его мужественное молодое лицо.

Русланов, Шевчук, Луговик, Шишаков — инженерская коммуна Старопетровска. Все они окончили институты в шестнадцатом и семнадцатом годах, революция вынесла их наверх, когда с завода бежали бельгийцы. У них нет семей, они живут вчетвером в одной квартире, пайки идут в общий котел, им готовит ворчливая и добрая эстонка Текла. Вон она стоит в дверях, закрыв фартуком лицо, на синей ткани проступили темные пятна слез.

Двое из инженерской коммуны сейчас в ночной смене на заводе.

Макарычев — инженер другого поколения. Ему тридцать шесть лет, у него семья, он живет отдельно. Вместе с молодыми он провел здесь восемнадцатый и девятнадцатый годы, поддерживая огонь в единственной незастывшей печи.

Русланов, поэт и сатирик коммуны, на каждого сложил эпиграммы. О Макарычеве он написал так:

Мартены, домны, бессемеры
Подвластны мне. Я главковерх.
Но только печи все без меры [1],
Но только мрет за цехом цех.

Бледное зарево чуть розовеет за окнами, слышны равномерные выхлопы газомотора — девяносто ударов в минуту. На много километров вокруг разносится этот неустанный стук.

Коммуна поселилась близ ворот завода. Инженеры спят спокойно, когда дом дрожит, и беспокойно просыпаются, если внезапно наступает тишина. Они давно перестали замечать, что в доме всегда тоненько дребезжат стекла.

Время от времени среди размеренного стука раздается удар неожиданной силы, словно из тяжелого орудия. Фронт близок к Старопетровску, но это не взрыв снаряда, а перебой газомотора. Такие удары носят название контрвзрывов, газ вспыхивает в цилиндрах, проходит в выхлопную трубу и там стреляет вхолостую, не имея работы.

Старопетровск, расположенный в Донецком бассейне, почти на границе области Донского казачьего войска, цен-

---

[1] Печь без меры — техническое выражение. Оно означает: неполная. *(Здесь и далее — прим. автора.)*

тра формирований контрреволюции, много раз бывал полем сражения. Несколько отрядов Красной гвардии, возникших в Старопетровске, отправились воевать на своих, оборудованных здесь же, на заводе, бронепоездах. Однако этим рабочим отрядам пришлось отойти. В поселке побывали белогвардейцы, немцы, петлюровцы и другие войска, боровшиеся против молодой Советской республики. На некоторое время возвращались свои и опять отступали. Завод много раз обстреливался, но газомотор не замолкал, раскаты контрвзрывов покрывали пулеметную и артиллерийскую пальбу.

Нынче, в последние дни декабря 1919 года, фронт вновь перекатывается через Старопетровск. Рабочий поселок, затаившись, ждет Красную Армию. На этот раз белые уходят без боя. Позавчера и вчера круглые сутки по шоссе тянулись обозы и воинские части, сейчас движение схлынуло, лишь изредка доносится торопливое цоканье копыт.

Макарычев сидит, глядя вниз, и слушает хрипы умирающего.

Тихо растворяется дверь, в комнату входит Максим Луговик, сменный инженер доменного цеха. Он худой, маленький, болезненный. На давно не бритом лице торчат отдельные кустики волос. У него добрые голубые глаза; его любят и зовут Максюшей. Пуговицы на пальто оторваны, оно стянуто вместо пояса обрывком электрического провода. Он на минуту прибежал от печи — узнать, жив ли еще Русланов и нет ли какой-нибудь надежды. Услышав стук двери, Макарычев беспокойно вскидывает голову. Он отлучился с завода слишком надолго и время от времени испытывает глухую тревогу. Несколько раз он порывался встать и уйти, но оставался у постели. На шапке и на пальто Луговика он видит налет белой пыли; мелькнувшая в быстром движении головы готовность вскочить и действовать сменяется прежним угрюмо-сосредоточенным видом. Белая пыль означает, что из печи только что выпустили шлак, что шлак известковатый, рассыпающийся при остывании в тончайший белый порошок, что печь, следовательно, идет на хорошем горячем ходу. Не размышляя, Макарычев мгновенно понял все это.

— Вы зачем здесь? — хмуро спрашивает он.

Луговик простым и понятным жестом указывает на умирающего. Ступая на носки, он подходит к постели и, став рядом с Шевчуком, смотрит на изменившееся до неуз-

навaемости, залитое смертной желтизной лицо. Шевчук кладет ему руку на плечо, и они стоят обнявшись, не произнося ни слова.

— Бросили печь, черт вас не видал! — прерывая молчание, бурчит Макарычев.

Луговик тихо отвечает:

— Пусть бы, Иван Петрович, пропала печь, лишь бы Русланов...

Макарычев вскакивает. Его рыжее пальто мешковато и нелепо длинно; это работа шахтера, бывшего сельского портного,— все настоящие портные давно разбежались из Старопетровска.

— Я тебе...— яростно кричит он, сжав кулаки.

Луговик пятится. В первую минуту этот неожиданный приступ ярости ему непонятен. К Макарычеву бросается Шевчук и, схватив за руки, быстро повторяет:

— Иван Петрович, Иван Петрович...

На заводе все знают, что в гневе Макарычев может ударить, не владея собой. Лицо Луговика становится растерянным. Прижав руку к груди, он бормочет:

— Я... простите... Я не то...

И вдруг поняв, что любые слова лишни, он, страдальчески сморщившись, выбегает из комнаты.

Макарычев подходит к окну. В небо поднимаются клубы красноватого дымка. Макарычев касается лбом холодного стекла и ощущает кожей едва уловимую вибрацию.

Проходят минуты, Макарычев возвращается к постели, снова садится и снова смотрит в пол.

II

В часы, проведенные у постели умирающего, Макарычев терзался сознанием своей вины перед ним.

Когда он рассердился на Луговика, ему показалось, что он поступил, как обычно, столкнувшись с недисциплинированностью подчиненного. Но по умоляющей, невразумительной скороговорке Шевчука, по растерянному и страдальческому выражению на лице Луговика он понял, что кричит потому, что в словах: «Пусть бы пропала печь, лишь бы Русланов...» — ему почудилось обвинение.

Месяц назад Макарычев послал Русланова в Ростов и в Таганрог. Белое командование проводило в захваченных

местностях поголовную мобилизацию ряда возрастов, отменив всяческие льготы. Призыву подлежали многие специалисты и квалифицированные рабочие — старопетровцы, в том числе вся инженерская коммуна. Во что бы то ни стало нужны были отсрочки, иначе инженеров забрали бы в белую армию. Макарычев предложил ехать Русланову, напористому, владеющему даром слова, способному убедить, добиться.

Вместе с тем у Макарычева имелось еще одно поручение. Он знал, что где-то на складах остановившегося Таганрогского завода можно разыскать зажигатели для газомоторов. В Старопетровске не осталось ни одного резервного зажигателя. Эти маленькие электроаппараты сгорали после трех-четырех месяцев работы, их поснимали со всех бездействующих моторов, чтобы поддержать на ходу единственный.

Макарычев объяснял задачу, не глядя на Русланова:

— Купите, обменяйте. Дадим уголь, даже хлеб. Без зажигателей не возвращайтесь.

Русланов молчал. Макарычев посмотрел и встретил пристальный, что-то говорящий взгляд. Крупные, обычно смеющиеся губы Русланова были сжаты, он словно показывал, что не хочет выговорить вслух того, о чем думает.

Совсем недавно Русланов перенес повторное воспаление легких, профессиональную болезнь доменщиков. После этого у него не ладилось с сердцем, и в разговорах он несколько раз высказывал вскользь опасение, что не выдержит, если заразится тифом. Макарычев все это знал. Взглянув на Русланова, он хмуро сказал:

— Надо ехать!

Русланов выехал в тот же вечер.

Три недели спустя Русланов привез зажигатели и мобилизационные отсрочки. Ночью, лежа в постели, в темноте, Русланов сказал Шевчуку:

— Я себя плохо чувствую. Знай, Шевчук, если я заболею, то умру.

На следующий день он лежал в жару. В дни его болезни сгорел последний зажигатель и был сменен одним из привезенных.

И вот стучит газомотор, посылая ток к рудничным насосам, на водонапорную башню, в цехи и в поселок; выхлопы сотрясают дома, а Макарычев слушает понурясь смертный хрип, которого не забудет никогда.

III

С улицы доносится стрекот приближающегося мотоцикла. У дома звук резко обрывается. Раздаются нетерпеливые удары в незапертую входную дверь. На стук бежит Текла, но в коридоре уже топают чьи-то сапоги, кто-то быстро идет, не ожидая, пока скажут «войдите». Макарычев оборачивается. Настежь распахнув обе створки дверей, в комнату вторгается высокий офицер в кубанке и черной казачьей черкеске. Его движения стремительны, лицо раскраснелось от ветра.

— Толли, он здесь! — кричит офицер в коридор.— Здорово, Иван Петрович!

Он разговаривает громко, полным голосом. Кубанку он наотмашь бросает на стол.

В дверях появляется Толли; он успел раздеться, на нем вyутюженный серый костюм, белый воротничок, поблескивающие желтые ботинки. Он полноват и сдержан.

Шевчук следит за Макарычевым. Возникнет ли на его лице знакомая неполная, неясная улыбка? Макарычев всегда улыбается неуверенно, словно сомневаясь, так ли надо это делать. Но сейчас тонкие губы сжаты, выдвинутые надбровные дуги, поросшие лохматым волосом, скрывают глаза и бросают густые тени на худое, как у индейца, лицо.

Молодой Шевчук с любопытством разглядывает Белоконя и Толли. Он слышал о них, этих инженерах-доменщиках, которые когда-то были друзьями Макарычева, а потом, в пору революции, метнулись на сторону белых...

Белоконь, Толли и Макарычев — когда-то эти имена стояли рядом. Это была школа Курако, ученики знаменитого доменщика, члены одного доменного братства. Старопетровская инженерская коммуна — младшее поколение куракинской школы. Вон портрет Курако на письменном столе, прядь волос ниспадает на лоб. Рядом серебристый кусок кокса. Курако прислал его сюда через фронты, как привет из далекого Кузбасса.

Когда-то, десять лет назад, Белоконь первым из трех явился к Курако. Сын генерала, кубанский казак по рождению, Белоконь в чине поручика, двадцати семи лет от роду бросил офицерскую карьеру и поступил в Петербургский политехнический институт. Окончив курс, он толкал-

ся в поисках места с завода на завод и случайно попал в Юзовку в тот день, когда Курако стал там начальником доменного цеха. Из Юзовки Белоконь ушел полтора года спустя, поклявшись, что через пять лет вернется с миллионом в кармане и выстроит мощную механизированную печь по чертежам Курако. На место Белоконя Курако взял Макарычева и Толли. Оба быстро выдвинулись. Курако говорил, что у него, как при обороне Севастополя, месяц считается за год. Перед революцией судьба, казалось, улыбнулась куракинской школе. В начале 1917 года Белоконь действительно строил свой завод на Изваринской площадке; Макарычев был начальником доменного цеха в Старопетровске и строил печь самую большую в Европе; Толли добрался до директорского поста и перестраивал Липецкий завод. Все трое оставались верны техническим идеям Курако. Сам Курако — Константиныч, как его называли друзья,— уехал с десятком молодых инженеров в Кузбасс проектировать и строить Кузнецкий металлургический завод. Последний раз они встретились на проводах Курако. Поднимая здравицы за каждого, Константиныч назвал на том пиру Белоконя казачьим напором, Толли — умницей, Макарычева — настоящим инженером.

После шума, вызванного приходом нежданных гостей, наступает минута молчания. В комнате снова явственно слышны предсмертные хрипы.

Все невольно поворачивают головы. Белоконь подходит к постели.

— Кто это? — спрашивает он.

За годы гражданской войны ему много раз довелось видеть агонию тифозных, он узнает ее с первого взгляда.

— Русланов,— хмуро отвечает Макарычев.

— Русланов? Что же вы его, черти, не уберегли?

В тесном мирке профессионалов все наперечет, каждый хоть понаслышке знает о другом. В Старопетровск доходили известия, что Белоконь командует бронепоездом у белых, что Толли сидит на своем потухшем заводе. Белоконь и Толли никогда не встречались с большинством выучеников Макарычева, но всех знали по фамилиям.

Макарычев молчит. Шевчук, слегка зардевшись, отвечает Белоконю:

— Вон, слышите, мотор. Сергей привез из Таганрога зажигатели, заразился по додоге и...

В словах Шевчука пробиваются нотки гордости за умирающего друга. Ему хочется как-то прославить Русланова, на языке вертятся пышные и банальные слова, они не выражают его чувства, он умолкает, не закончив.

Белоконь чиркает спичку и подносит, горящую, к неподвижным глазам умирающего. Глаза остаются по-прежнему раскрытыми, зрачок уже не реагирует на свет.

— Да, кончен человек. Глупо погиб парень...

— Глупо? — резко переспрашивает Шевчук.

Макарычев медленно поднимает голову.

— Это я его послал,— хмуро произносит он.

— Ну, ну, некогда распускать нюни. Из каждого когда-нибудь вырастет лопух. Вот что, Иван Петрович, на сборы осталось полчаса, мой поезд последний, за собой я рву мосты.

— Куда же?

— Доберемся до моря и махнем за границу. И пусть здесь все проваливается в тартарары. Метнем еще раз судьбу: орел или решка.

Шевчук ловит каждое слово. Он внутренне притих, ему смутно чудится, что сейчас протекают какие-то исторические минуты. Он знает, что Курако еще в 1905 году участвовал в вооруженном восстании рабочих Донбасса, командовал боевой дружиной Краматорского завода, затем побывал в ссылке, а после Февральской революции был избран в Совет рабочих депутатов Юзовки. Шевчук знает, что куракинская школа включает не только инженеров, но и мастеров, горновых, механиков. Многие из них большевики. Белоконь и Толли на другой стороне. Курако, возможно, еще и не знает об этом...

Шевчук напряженно ожидает ответа Макарычева. Тот, глядя из-под бровей на Толли, скупо произносит:

— И ты, значит, смотался? Кинул свой завод?

Секунда молчания. Слышен только хрип и отдаленное туканье мотора.

— Разве за границей нет заводов? — произносит Толли.— Начальник цеха получает там сто тысяч франков в год. Приедем в Бельгию, явимся к «папаше».

«Папашей» прозван с давних времен в среде металлургов толстяк бельгиец Бие, директор Старопетровского

завода. Он скрылся вскоре после Октября, захватив платиновую посуду из лаборатории.

— Недавно он здесь был,— с невеселой усмешкой вспоминает Макарычев.— Особенно не разговаривал, спросил только, куда делись его ковры. Покрутился один день и к вечеру уехал. Оставил вместо себя мистера Спельта, и тот через несколько дней смотался. Все, подлецы, разбегаются.

— Этак мы до утра проговорим,— обрывает Белоконь, будто не понимая смысла слов Макарычева, затем, не сморгнув, предлагает: — Отправляйся, Иван Петрович, за тяжелой артиллерией.

Тяжелая артиллерия — семья, это словцо Курако.

Насупившись, помрачнев, Макарычев поворачивается к постели Русланова.

Толли усмехается:

— Его не спасешь. Здесь ты сам скоро отправишься за ним.

Спокойный и медлительный Толли подходит к кровати, опирается локтями о спинку и вглядывается в смерть. Неторопливо, уверенно Толли говорит, что инженерство России обречено на гибель. В центральной России он долго наблюдал большевиков, знает их догму и практику. Все эти завкомы, коллегии, пайки, расчеты на благотворительность, которая названа энтузиазмом,— все это противоречит внутренним законам индустрии.

— Большевики упорны,— говорит он.— Они доведут Россию до того, что мужик сдерет проволоку с телеграфных столбов.

Толли говорит, не повышая голоса, без ноток ненависти, как иронический и спокойный наблюдатель.

У Макарычева рвутся с языка гневные, укоряющие слова. Он высказался бы сейчас перед бывшими друзьями — они бы его слова запомнили...

Но вид умирающего сковывает его. Однако Белоконь по-своему истолковывает его молчание.

— Про Русланова забудь,— криво усмехаясь, произносит он.— Брось свою интеллигентную честность!

Внезапно потухает электричество. Одновременно прекращается дребезжание стекол. Тишина. Макарычев секунду стоит, прислушиваясь. Махнув рукой, что-то неразборчиво пробормотав, Макарычев стремглав бросается из комнаты.

IV

Макарычев бежит по территории завода к силовому цеху. Слабое зарево над домной № 6 освещает ему путь. В стороне над коксовыми печами пылают редкие огни.

Макарычев шагает через раскиданные балки, трубы, листы. Следы разрушения смешаны с остатками омертвевшей на ходу стройки. В шестнадцатом и в семнадцатом годах Макарычев перестраивал доменный цех и возводил новую печь — самую большую в Европе. Вон она высится, готовая и мертвая, окованная броней. Свечи на колошнике уходят в небо, как мачты броненосца. Стройка окоченела в разгаре, словно в сказке, когда люди окаменели средь пира с раскрытыми ртами, с не донесенными до губ стаканами.

Газомотор умолк, и ни одного живого звука не слышно на заводе. Доменная не гудит, воздуходувка не подает дутья, в прокатном цехе замер единственный горячий стан.

Однако вокруг не тихо. Мертвый завод тоже шумит. Где-то незакрепленный конец троса, раскачиваемый ветром, со скрежетом трется о конструкцию; шевелятся и грохочут полуоторванные листы железа на крышах; болтаются лопнувшие обручи на доменных печах и стучат о кладку. Это сухой, зловещий шум скелета.

Макарычев быстро шагает в длинном рыжем пальто. То и дело откуда-то выскакивают крупные крысы. Сколько их развелось на заводе! Они пожирают сало с остановленных машин.

И все же, если подняться и пролететь над Донбассом, над Екатеринославщиной, над Криворожьем, где ночное небо когда-то цвело от полыхающих зарев, где пылали сотни печей,— повсюду увидишь мрак, сплошную темь без просвета, и лишь над Старопетровском слегка окрашено небо. Одна домна во всей стране дает чугун, старопетровская № 6, последняя печь Юга.

Вдоль линии цехов вспыхивают электрические фонари, но не ярким белым светом, а красноватым, дрожащим, едва рассеивающим темноту. В ближайшей лампочке ясно видны накаленные докрасна нити, дальние кажутся тлеющими угольками. Это включилась в сеть маломощная паровая машина — «паровушка», как зовут ее на заводе. Макарычев ее бережет как единственный резерв. Ее мощности хватает лишь на то, чтобы освещать завод и качать

воду для охлаждения доменной печи. Расплавленный чугун проел бы стенки, если б прекратилось непрерывное обливание кладки потоками воды.

Впереди в тусклом свете фонаря Макарычев различает на главной железнодорожной магистрали завода темную махину завалившегося паровоза. Этого не было, когда он уходил с завода. Макарычев подбегает туда. Быстрым взглядом окинув картину крушения, он неожиданно улыбается и даже похохатывает под нос. Ему без объяснений понятно, что здесь произошло. На товарных платформах, теряющихся вдали, погружены листы броневой стали. Эту сталь несколько дней грузили под наблюдением офицера для эвакуации в белый тыл. В последний момент, когда состав тронулся и развил ход, кто-то перевел стрелку под движущимися колесами паровоза. Машина свалилась набок, выворачивая шпалы. Макарычеву без слов сообщают об этом помятая, разрезанная колесами стрелка, исковерканные шпалы и положение паровоза.

Смелое дело! Макарычев смеется вслух хриплым отрывистым смехом. И как ни спешит он в силовой цех, он еще на минуту задерживается здесь, на месте аварии, радуясь, что белым не пришлось угнать заводской паровоз. Повреждения не велики, паровоз поднимут краном.

Откуда-то из непроглядной тьмы перед Макарычевым появляется рабочий. Он без шапки, лицо измазано сажей, светлые, как солома, волосы тоже местами испачканы. Макарычев узнает стрелочника Гаркушу.

— Это я, Иван Петрович,— говорит Гаркуша, кивком указывая на паровоз. В его голосе гордость и смущение.

— Ты? Надо удирать.

— Утек. Сижу здесь, в мартеновской печи, подобно таракану. Близко ведь они искать не станут, а?

— Машинист-то жив?

— Соскочил. Он знал... Как вы, Иван Петрович, считаете, а?

В тоне стрелочника, совершившего подвиг, рисковавшего жизнью, еще и сейчас не избавившегося от опасности угодить под пулю, слышится маленькое человеческое желание — услышать похвалу от Макарычева. Макарычев понимает, ему самому хочется сказать что-то ласковое, но он не умеет этого.

— Чего вылез, черт тебя не видал? Хлопнут еще. Полезай обратно,— говорит он ворчливо.

Ворчание Макарычева приятно стрелочнику; в ругательствах он различает одобрение.

Гаркуша, как и огромное большинство рабочих, всей душой на стороне красных. От революции он ждет большого счастья себе, своим детям и всему рабочему народу.

Макарычев же часто заявляет, что мало разбирается в политике. Однако народное движение, события великой революции не могли не затронуть его сердца. В эту минуту они оба — суровый инженер в черной широкополой шляпе и светловолосый, несмело улыбающийся стрелочник — чувствуют себя соратниками.

Молча простояв перед Гаркушей несколько секунд, Макарычев поворачивается и поспешно уходит.

Стрелочник, улыбаясь, смотрит ему вслед, потом скрывается во тьме.

V

Ворота газосилового цеха раскрыты. Ночная смена толпится снаружи, покинув рабочие места. Декабрьская ночь холодна, проносятся порывы ветра, но люди не прячутся в укрытых местах, а, беспокойно переговариваясь, стоят и ходят около ворот. На обломке огромной шестерни сидит старший рабочий Букреев и, слабо охая, прижимает к лицу тряпку, покрытую пятнами крови. Он упал без сознания лицом на железные ступени, отравленный газом, когда кинулся в подвал вытаскивать угоревшего монтера.

Вдоль ворот нервно ходит главный энергетик завода инженер Кричевский. Он замечает подбегающего Макарычева, неуверенно направляется навстречу, поворачивает назад и исчезает внутри серого бетонного здания. Вслед врывается Макарычев. За ним устремляются рабочие; немногие входят в цех, остальные, сгрудившись, останавливаются в воротах.

В огромном, очень высоком зале не ощущается никакого запаха, но красные нити электрических лампочек видны как бы сквозь легкую голубоватую дымку. Это доменный газ, ядовитая окись углерода, «мертвый газ», как говорят рабочие. Он поступает по трубам из доменной печи и, взрываясь в цилиндрах, движет мотор, снабжающий электроэнергией завод, рудник и поселок. Все останавливается на заводе, когда замирает мотор.

Здесь обычно стоит грохот, люди кричат друг другу на ухо, когда машина в работе. Сейчас в силовой станции тихо, рабочие площадки пусты, уходит ввысь огромный неподвижный маховик диаметром в три человеческих роста. Над уровнем пола маховик поднимается лишь наполовину, другая скрыта в бетонной выемке. Тут и там на черных поблескивающих поверхностях виднеются знаки смерти: черепа и скрещенные кости, намалеванные жидким мелом.

— Где утечка? — отрывисто спрашивает Макарычев.

— В подвале. Там остался монтер,— отвечает Кричевский.

— Ну и что?

— Я звонил в спасательную команду.

— Ну?

— Оттуда не отвечают.

— Ну?

Нарастающее бешенство слышится в этих коротких, отрывистых «ну».

— Я послал туда.

Макарычев знает, что во всем комбинате остались две пригодные газовые маски. Они отданы в спасательную команду заводских рудников. Туда, за четыре километра, энергетик послал людей.

Макарычев вскидывает голову, инженер непроизвольно пятится.

— Тряпку!

— Что?

— Тряпку, черт вас не видал! Скорей!

Кричевский быстро находит и подает замасленную обтирочную тряпку.

Макарычев нетерпеливо хватает, ощущает под пальцами масло и отбрасывает с досадой. У него вырывается ругательство, он сбрасывает пальто, пиджак и стягивает через голову синюю бумазейную рубашку. Он проделывает это быстро, одним махом, у него нет ни галстука, ни запонок. Полуголый, вновь нахлобучив шляпу, он подбегает к водопроводному крану, открывает воду и подставляет рубаху.

Намокшей, потяжелевшей тканью он обматывает лицо, закрывая нос и рот. Это до некоторой степени заменит ему маску. По худому сильному телу стекает вода. Он перелезает решетку и по железной лестнице спускается в отравленный газом подвал.

Толпа подается вперед, слышится чей-то сдавленный возглас, и в здании становится тихо.

Вдоль подвала тянутся чугунные трубы, они страшно горячи, их накаляет отработанный газ. Где-то там, среди лабиринта труб, лежит отравленный монтер. Когда мотор работает, трубы сотрясаются, звуки выхлопов доходят в подвал заглушенно и ощущаются как чье-то могучее дыхание. Сейчас подвал не дышит.

Проходят минуты. Обострившимся слухом люди улавливают неясное шевеление внизу. Звук приближается, становится явственнее, уже можно различить шаркающие шаги, словно нащупывающие путь. Все ждут, что вот-вот над колодцем появится Макарычев с бездыханным телом на плечах.

Но вдруг доносится глухой звук падения, и все смолкает в подвале.

Люди слушают, вытянув шеи и стараясь не шуметь даже дыханием. Напрасно, ни единый шорох не нарушает неживую тишину подвала.

Букреев первым бросается к колодцу. Но, обгоняя его, туда же бегут другие, ловко перелезают через решетку и быстро скрываются, словно проваливаясь вниз.

Букрееву приходится отталкивать рабочих от колодца,— в подвал спустилось уже четверо, этого достаточно, другие будут только мешать.

Скоро наверх выдают два бесчувственных тела. Монтера сразу вытаскивают на мороз. Макарычеву надевают пальто на голое тело и тоже несут на вольный воздух. Там он скоро приходит в сознание, вдохнув нашатырного спирта, всегда хранящегося в аптечке газосилового цеха. Макарычеву случалось много раз угорать; его сильный организм, быть может, по привычке, сравнительно легко переносит отравление; другой не очнулся бы так быстро.

Первое его ощущение — сверлящая головная боль и слабость во всем теле. Веки кажутся тяжелыми. Он открывает глаза, видит фонарь, едва светящий красным накалом, и мгновенно вспоминает, что произошло. Он пытается встать, ему помогают. Он смотрит вокруг. Видит на снегу неподвижное тело монтера, которого пытаются спасти искусственным дыханием, поднимая и затем с силой прижимая к бокам его руки; видит кругом рабочих, безмолвно наблюдающих за этим, видит распахнутые ворота цеха, попрежнему пустого, покинутого людьми. Макарычев в гневе

сжимает кулаки; его возмущает, что до сих пор не начата работа по ликвидации аварии. К нему подходит Кричевский. Макарычев замечает его, внезапно краснеет, с искаженным лицом порывается вперед, замахнувшись кулаком.

— Дубина, а не инженер! — кричит Макарычев.— Посылай за дневной сменой. Работа за хлеб, за муку.

В минуты бешенства Макарычев всем говорит «ты». Вновь ощутив слабость, он тяжело садится в снег.

VI

Он сидит; к горлу подступает тошнота, все качается и кружится вокруг. Невдалеке продолжают «откачивать» монтера. По-прежнему поднимают и опускают руки, вытянув изо рта язык. На голову льют горячую воду, чтобы расширить сосуды и вызвать приток крови к дыхательному центру. Мало надежды вернуть этого человека к жизни.

Макарычев сидит, полузакрыв глаза. Головокружение проходит, он поднимается, преодолевая слабость в коленях, и идет к отравленному.

Монтер лежит на спине, на лице нет живых красок, густые тени застыли в провалах закрытых глаз, брови и небольшие усы кажутся угольно-черными на восковой коже.

Макарычев не сразу его узнает. Это Аржанов, младший брат доменного мастера из куракинской гвардии, которого...

Лицо Макарычева становится еще суровее. Недавно белогвардейцы ночью повесили старшего Аржанова на базарной площади Старопетровска.

В ту ночь Макарычева разбудил отчаянный стук во входную дверь. Наскоро одевшись, Макарычев открыл дверь.

На заснеженном крыльце стояла женщина в платке, подталкивая вперед себя мальчика восьми-девяти лет и девочку поменьше. Увидев Макарычева, она истерически вскрикнула и кинулась в ноги, захлебываясь плачем, о чем-то неразборчиво умоляя.

Макарычев поднял ее. Перед ним билась в рыданиях жена доменщика Аржанова, недавно арестованного, у которого он, Макарычев, когда-то крестил мальчишку. Какими-то путями она узнала, что мужа будут вешать в эту ночь, и, захватив детей, побежала к Макарычеву.

Надев пальто, он пошел вместе с женщиной и с ребятами в штаб белого командования. Его принял полковник, от которого Макарычев скрывал запасы заводского хлеба, спрятанного так ловко, что белые власти, твердо зная, что на заводе где-то есть зерно и мука, никак не могли их разыскать. Несколько дней назад полковник попросил заимообразно вагон муки, но Макарычев не дал. Теперь он сам пришел с просьбой. Узнав, зачем явился инженер, полковник грубо его оборвал, предложив не вмешиваться не в свои дела. Ничего не понимая в искусстве взятки, Макарычев, все же, запинаясь, начал говорить о вагоне хлеба. «Хоть сто вагонов, бандита не помилую»,— перебил полковник. «Я ручаюсь за него,— сказал Макарычев,— он такой же бандит, как я».— «Что же, и с вами не поцеремонимся!» — ответил полковник.

Понурясь, Макарычев вышел из штаба на базарную площадь и вдруг в свете луны увидел какие-то приготовления у ближайшего телеграфного столба. Там установили несколько лестниц, внизу стояли военные.

Макарычев пытался увести женщину — особенно жутким ему казалось присутствие детей, ни разу не заплакавших,— но женщина давно заметила суету у телеграфного столба, и никакие слова не могли уже оторвать оттуда ее взгляд.

Из штаба вышел полковник, посмотрел на них, но ничего не сказал.

Скоро из штаба вывели под конвоем рослого мужчину в кепке и в коротком ватном пиджаке. По сутулой спине, по могучей шее, по тяжеловатой походке Макарычев сразу узнал Аржанова. Обычно несколько флегматичный, он в опасные минуты у доменных печей действовал молниеносно — это был один из любимых горновых Константиныча.

Жена вскрикнула и побежала к нему, увлекая за собой детей. Она кричала, хватая солдат за ноги, и распластывалась перед ними на снегу. Дети тоже заревели, порываясь к отцу. Их отогнали ударами сапог и прикладов.

Аржанова повесили на глазах у детей...

— Мерзавцы! — бормочет Макарычев себе под нос, стоя над телом монтера.

С губ угоревшего срывается слабый стон. Вокруг облегченно вздыхают, кто-то смеется. Жив! Монтер открывает глаза, к щекам возвращается краска.

Макарычев улыбается, ловит на себе чей-то взгляд и, мгновенно застыдившись, отводит глаза и бурчит:

— Ну вот, а вы нюни распустили... Где старший?

К Макарычеву подходит Букреев. Рассеченный лоб чернеет запекшейся кровью, половина лица вспухла, левый глаз затек. Букреев давно работает в Старопетровске и помнит, как монтеры устанавливали новенькие газомоторы. Перед пуском на выложенном кафелем полу был разостлан резиновый ковер. Никто не смел войти туда в грязных сапогах. Тогда и Букреев был щеголеватым рабочим, торчком закручивал усы, из карманчика синей тужурки всегда выглядывал блестящий, как осколок зеркала, кронциркуль.

Теперь цех завален поломанными частями, плиты на полу повыбиты. Расколотые оконные стекла заменены ржавыми листами железа. Три бездействующих мотора распотрошены, из их раскрытых внутренностей некоторые детали вытащены и поставлены на четвертый взамен сломанных или изношенных. Стальная рубашка этого последнего мотора лопнула и сшита медными латками. Но на самых ответственных и хрупких частях все же нет ни малейшего пятнышка. Среди развала странен их чистый, благородный блеск. Букреев, словно отражая своей внешностью состояние цеха, одет в грязную, излохматившуюся телогрейку на вате, много раз залатанную. Как почти все здесь, он донашивает последнее. Лишь за усами он ухаживает попрежнему: густые, уже тронутые сединой, они тщательно расчесаны и закручены вверх.

Букреев осторожно ощупывает ссадину на лбу и распухший нос. При нажиме больно. Букреев еле слышно кряхтит. Макарычев исподлобья взглядывает, краснеет и вдруг кричит:

— Ты что же проворонил? Остановил завод, раззява! Я тебя, бродягу, в землю вколочу!

Букреев отнимает руку от лица, выпрямляется. Макарычев продолжает ругаться. На Букреева это действует живительно. Губы, искривленные гримасой боли, сжимаются, выступает резко очерченный энергичный подбородок, и даже усы поднимаются круче. Букреев знает: когда Макарычев краснеет и сжимает кулаки, ему нельзя перечить, пока не «пропесочит».

Вспышка гнева скоро проходит, яростный крик сменя-

ется сердитым бормотанием, лишь тогда Букреев вставляет:

— Вы со свежей головой, Иван Петрович, заскочили, а тут за смену вдосталь наглотаешься. Вот и...

— Вот, вот... Будем чеканить утечку. Спускаться посменно на две минуты. Утром каждому по пять фунтов муки.

— Народ, Иван Петрович, теперь и без муки полезет. А с мукой еще лучше. Завтра праздник, бабы лепешек напекут.

— Какой там еще праздник?

— А как же? — Букреев понижает голос.— Наши придут.

Каждую власть, побывавшую на заводе, рабочие именуют установившейся за нею кличкой: деникинцы, гайдамаки, петлюровцы, махновцы. А красных называют «наши». Это выражение укоренилось в языке. Макарычев подмечал его даже у ребятишек.

Собрав вокруг себя рабочих, Букреев принимается растолковывать задачу.

Макарычев подходит и слушает, по-прежнему насупленный. Ему давно известна сообразительность и опытность Букреева, но все же старый газосиловик часто удивляет его. «Молодец!» — думает он и сейчас.

Букреев замечает, что один из рабочих не слушает, и накидывается на него с руганью. Его интонации и выражения напоминают макарычевские. Со стороны может показаться, что Букреев подражает грозной повадке Макарычева. Это не совсем так. Свою манеру, свои словечки Макарычев заимствовал на заводе от горновых, газовщиков, сталеваров, от людей, работающих среди огня, газа и жидкого металла, где всякая оплошка угрожает смертью.

Много месяцев рабочие живут без регулярных получек. На заводе давно нет хозяев. Бельгийская дирекция бежала; предприятие, употребляя выражение юристов, является вымороченным, то есть не принадлежащим никому. Макарычев, главный инженер завода, остался высшим начальником. Заводской продовольственный магазин, основанный еще в 1916 году, когда начались первые нехватки продуктов питания, время от времени выдает рабочим муку, картофель, крупы и жиры. Мелкосортный стан катает ходкий крестьянский товар — уголок, обручик, шинку, кругляк,

тонкую полоску. Макарычев, оказавшийся как-то незаметно для себя председателем Старопетровской продовольственной управы, отправляет железо по селам в обмен на продовольствие. Туда же идет продукция коксохимического цеха: бензол для двигателей, нафталин для мытья овец и многое другое. Каждый продовольственный маршрут распределяется по уравнительной душевой раскладке немедленно, в одни сутки, чуть ли не прямо с колес, чтоб какая-либо из военных властей не успела реквизировать драгоценный груз. Но некоторый запас муки Макарычев хранит для оплаты самых срочных и опасных работ. В ларях продовольственного магазина почти пусто, но в тупике рудного двора среди множества вагонов стоят три наглухо заклепанных пульмана с крупной надписью «цемент» и с наклейками Новороссийского цементного завода. Кроме Макарычева, лишь машинист Руденко и еще два-три человека знают, что там хранится мука. Макарычев единолично, полновластно и жестко распоряжается этим фондом. Он твердо знает: пока он владеет мукой, руль будет слушаться его.

Спасенный монтер сидит на снегу, силы постепенно возвращаются; ему рассказывают, кто его спас. Монтер встает. Его небольшие темные усы уже не кажутся нарисованными углем. Пошатываясь, он подходит к Макарычеву.

— Спасибо, Иван Петрович,— говорит он.— Ввек вам не забуду.

Макарычев знает, что это отчаянно смелый парень. В дни боев под Старопетровском он при непрекращающейся артиллерийской канонаде отремонтировал с двумя подручными пробитый снарядом наружный газопровод. Восхищенный Макарычев выписал им за это сапоги. Сейчас он бурчит:

— Шут тебя дернул туда лезть. Сколько раз говорилось — вдвоем спускаться. И веревкой, негодяй, не обвязался. Там и дела всего было на десять минут, а теперь из-за тебя до утра простоим.

Монтер знает свою промашку. Утечка газа начинается с маленького — с дырочки, ничтожной, как прокол иглы. Ее можно забить в несколько минут. Монтер спустился в одиночку, упал, а газ, нагретый до трехсот градусов, проел щель на стыке труб.

— Виноват, Иван Петрович. Я думал как бы поскорей.

— Тут нужно не думать, а идти наверняка.

— Как посчастливит, Иван Петрович.

Макарычев краснеет:

— Я тебе, черту, посчастливлю!

Букреев и один из слесарей обвязывают себя веревками. Они первой парой идут вниз, захватив молотки, зубила, свинец и асбестовую набивку. Длинные веревки тянутся за ними, навстречу глядят оскаленные черепа.

Скоро из колодца доносятся глухие удары — надо герметически забить щель промеж труб.

Через две минуты первая пара, пошатываясь, выходит из ворот. В темноте, едва рассеиваемой красноватым светом фонаря, видно, как побелели их лица. Букреев навзничь ложится в снег, веревку снимают. В подвал отправляется смена.

В третьей паре идет Макарычев, чтоб проверить ход работы. Он возвращается посеревший, делает два неуверенных шага, садится и низко опускает голову, уткнувшись лбом в затоптанный снег. Через минуту он откидывается назад, подползает к обрубку железной трубы и устраивается полулежа.

Его мутит, качаются земля и небо, неясными силуэтами шатаются свечи новой печи, словно мачты.

В такие часы, когда останавливается газомотор, когда все стихает и темнеет вокруг, Макарычева преследует образ тонущего броненосца с залитой потухшей топкой. Существует, вероятно, общая профессиональная психологическая черточка у инженера-доменщика и у капитана корабля в открытом море. Тот и другой постоянно, даже во сне, ощущает непрерывность движения механизмов.

Макарычев лежит на снегу. Ему чудится темная, безмолвная, неумолимая вода, подступающая к горлу. Вода затопляет сейчас заводские шахты, насосы стоят, каждый час вода прибывает на четверть аршина. Он, капитан, последним покинет свой броненосец.

Сколько времени лежит он так, с потускневшим сознанием?

Может быть, полчаса, может быть, час. Пара за парой спускаются в подвал слесари, возвращаются, тяжело передвигая ноги, и валятся рядом с Макарычевым. К зданию сходится дневная смена, поднятая со сна на помощь; становится шумнее; уверенно распоряжается Кричевский, он не плохой инженер и лишь растерялся в первую минуту.

Макарычев приподнимается. Вокруг простерты тела, словно на поле брани; некоторые, отдышавшись, сидят; кое-где краснеют огоньки цигарок.

Кричевский выкрикивает очередные фамилии. Кто-то возле Макарычева встает с кряхтением, похожим на стон. Макарычев догадывается, что вызывают уже по второму разу. Он провожает взглядом пару, вторично идущую в подвал, и вдруг ощущает, как любит он их — Букреева, Аржанова, Гаркушу, тех двух, которые скрылись в воротах, и тех, что, ослабев, лежат на снегу. Он нужен им, заводскому народу, ему хорошо среди них.

Со станции доносится паровозный гудок. Паровоз кричит долго и пронзительно, смолкает и снова гудит. Макарычев поворачивается в сторону гудка. Он знает: это бронепоезд Белоконя. Гудок словно кличет Макарычева, словно хочет напомнить слова Толли: «Разве за границей нет заводов?»

На минуту в воображении главного инженера встает работающий полным ходом завод. Идет выпуск чугуна, печи ревут, вокруг все озарено красным, среди пламени двигаются люди в войлочных шляпах,— ни в каком театре, ни на какой картине не увидишь подобной красоты...

Развивая скорость, мимо завода проходит невидимый в темноте поезд. В составе не светится ни одно окно, лишь крупные искры из трубы прорезают ночное небо. Поезд удаляется. Макарычев следит за искрами. Вот прошумел вдалеке железный мост, уже ничего не видно, не доносится стука колес.

Внезапно ночь разрывается вспышкой, на мгновение видно, как взлетают какие-то темные обломки, чуть позднее доходит грохочущая звуковая волна. Белоконь взорвал за собой мост.

— Мерзавцы...— бормочет Макарычев в пространство.

VII

К Макарычеву подходит Кричевский. Молодой инженер виновато смотрит в сторону — сейчас ему трудно разговаривать с Макарычевым:

— Готово, Иван Петрович.

— Проверили?

— Проверил.

Макарычев направляется в здание и, взяв молоток, вновь спускается в колодец. Внизу уже дышится легче. Макарычев постукивает чеканку, прощупывает герметичность шва; свинцовая заусеница колет ему палец, он приглаживает ее легким ударом. Его никто не видит, он улыбается: мотор можно пускать. Под ноги попадается оставленное кем-то зубило, он подбирает и, поднявшись по железной лесенке, перегибается через решетку и сердито спрашивает:

— Кто бросил там зубило, черт вас не видал?

Букреев открывает шибер газопровода. Кричевский включает всасывающий аппарат, электрики и газовщики разбегаются по площадке, слышится характерный треск зажигателя, раздается хлопок первой вспышки. Медленно и трудно сдвинулся огромный маховик, и вдруг как-то сразу все затарахтело, запело вокруг. Стосвечовые лампы, дававшие тусклый красноватый накал, вспыхнули белым светом. В это мгновение в поселке зажглось электричество, в шахтах застучали насосы, двинулись железные суставы воздуходувной машины. В узком просвете облицовочного кожуха видно движение поршня. Блестя смазкой, поршень летает взад и вперед, круглый и длинный, как орудийный снаряд. Это не только внешнее сходство. Действие поршня в газомоторе сходно с действием снаряда. Взрыв газа выталкивает поршень со страшной силой вперед, и он летит в цилиндр, как снаряд в пушечном стволе. Встречный взрыв, вызванный искрой зажигателя, отбрасывает его обратно. Там ударяет новый взрыв. Стремительный бег этого обточенного куска металла, превращаясь в электричество, двигает все заводские механизмы.

Отражения лампочек дрожат в ожившем металле, среди этих ярких бликов потускнели и словно отступили черепа и скрещенные кости.

Макарычеву подают брошенный пиджак и скомканную мокрую рубаху. Он пытается сунуть ее в карман пальто, рубаха не влезает. Отовсюду смотрят на него. Покраснев, он стягивает пальто и остается полуголым под сильным светом лампы. На длинных руках видны темные линии вен; на спине, худой и мощной, много шрамов, царапин, ожогов; некрасиво торчат лопатки — это мужицкая черная кость: дед Макарычева был крепостным у графа Воронцова-Дашкова. Его лицо, сейчас ярко освещенное, заинтересовало и затруднило бы художника. Это лицо контрастов.

Суровость и кротость, крайняя вспыльчивость и крайняя застенчивость, бесшабашная решительность и неуверенность в себе — все это живет вместе, все это можно прочесть в сжатых губах, в мягких, бесформенных очертаниях подбородка и уха, в крутом вырезе ноздрей тонкого, некрупного носа, в ясных глазах, прячущихся под нависшими бровями.

Сейчас он мучительно страдает от застенчивости. Так с ним случается всегда, едва ситуация переходит из деловой в бытовую.

Одевшись, он уходит, глядя вниз и не сказав ни слова. Его останавливает Букреев, подает список рабочих, которым обещана мука, и сует карандаш. Макарычев просматривает и ставит на бумажке закорючку; он не любит писать резолюций, закорючка обозначает букву «М» — первую букву фамилии, только этот знак он обычно и ставит на бумагах.

Слегка сутулясь, он идет по заводу. Небо посерело, светает, шестой номер гудит, клубы дыма над печью уже не розовые, а темные. Он вспоминает о Русланове и прибавляет шаг.

В голубом тумане рассвета проступили очертания завода. Среди множества труб только над двумя-тремя вьется дымок, остальные потрескались, осыпались сверху и торчат, словно обгрызенные. Груды кирпича валяются под ними.

Таков закон индустрии: остановленный завод разрушается скорее, нежели действующий. Макарычев идет мимо пыхтящей домны. Рабочие горна убирают литейный двор; на железных листах пламенеет кокс, подсушивая к выпуску канавку. В большинстве здесь старая куракинская гвардия, побывавшая с Константинычем в Мариуполе, в Краматорской, в Юзовке. Они замечают удаляющуюся сутулую фигуру в черной шляпе, в нелепо длинном рыжем пальто и долго уважительно посматривают вслед главному инженеру — последние доменщики последней печи.

VIII

В коридоре дома инженерской коммуны навстречу Макарычеву выходит Шевчук. Его мужественное молодое лицо осунулось за ночь, на щеках обозначились темные провалы.

— Умер,— тихо сообщает он.

Макарычев стоит понурясь. Ему хочется прижать голову к мертвой груди Русланова и побыть с ним одному. Он стесняется Шевчука, застенчивость сковывает его; он не знает, как надо держать себя с покойниками.

Не поднимая глаз, Макарычев поворачивается и уходит. По безлюдным улицам он медленно тащится домой. Шевелятся губы, он что-то беззвучно бормочет. Навстречу из-за угла выносится отряд кавалеристов с красными лентами на папахах.

Передний всадник внезапно осаживает коня перед Макарычевым, спрыгивает на ходу и радостно кричит:

— Иван Петрович, здорово!

Макарычев видит широкое лицо с чисто выбритым квадратным подбородком, слегка прищуренные умные глаза, могучую, атлетическую шею.

— Щербак, шут тебя не видал!

Щербака знает весь Старопетровск. В забастовку 1914 года он, молодой слесарь, взошел на глазах у тысячной толпы по ступеням главной конторы и вручил лист с требованиями директору завода, толстому, краснорожему Бие, окруженному полицией. После забастовки Щербак был рассчитан из механической мастерской, но Курако, лично подбиравший штат доменного цеха, согласно особому контракту с дирекцией, взял его к себе, сказав: «Ты мне нравишься, парень».

Щербак одет в ладно пригнанную серую шинель, высокие сапоги туго обтягивают ногу. Даже на фронте он сохранил привычную щеголеватость высококвалифицированного слесаря.

Он командует полком и выехал вперед во главе конной разведки, чтобы первому влететь в родной Старопетровск.

— Беляки, Иван Петрович, вытряхнулись?

— А черт их знает.

Щербак улыбается, ему приятна среди знакомых мест макарычевская знакомая манера буркать под нос.

— А у тебя как, Иван Петрович? Все здоровы, живы?

— Русланов сегодня помер...

— Эхма! Жаль хлопца. Лихой был доменщик. А завод как?

— Стоим полным ходом.

— А это что?

Щербак указывает в сторону завода, где размеренно тукает мотор и колышется в небе тяжелый доменный дым.

— Дуем одну печку.

— А шахты?

— Барахтаемся кое-как.

Быстро отерев губы рукавом шинели, Щербак неожиданно обнимает и крепко целует Макарычева.

Макарычеву неловко; он чувствует, как сзади давит твердая ручка плетки, прижатая Щербаком. Ворочая плечами, он с трудом высвобождается.

— Спасибо, Иван Петрович.

— За что?

— Что сохранил завод.

— Что там сохранил? Одну домну... Последнюю.

Щербак вскакивает в седло, трогает коня и, обернувшись, кричит:

— Разделаемся с беляками и воротимся печи раздувать. Ожидай, Иван Петрович, вскорости!

Отряд удаляется на рысях, комья снега летят из-под копыт.

Щербака нагоняет усатый всадник, юзовский шахтер, комиссар полка.

— С кем это ты?

— О, это, брат... это...

Не найдя слов, Щербак высоко заносит руку. Лошадь, испугавшись, дергает и вырывается вперед.

Всадники скрываются в воротах завода. Немного спустя на колошнике недостроенной новой печи, в самой высокой точке завода, взвивается красный флаг.

В морозном воздухе гулко разносятся выхлопы мотора — девяносто ударов в минуту. Дымит шестой номер — единственная домна на Юге, первая печь Советского Донбасса.

1937

ПИСЬМО ЛЕНИНА

1

В конце 1920 года, тотчас после разгрома Врангеля, член Реввоенсовета одной из армий Южного фронта Клявин был переброшен Центральным Комитетом в числе других военных организаторов-партийцев на работу по восстановлению промышленности. Во всей необъятной стране, замученной четырьмя годами империалистической и тремя годами гражданской войны, действовала лишь одна доменная печь — Старопетровская номер шесть. Туда, на Старопетровский комбинат, объединяющий несколько шахт и завод, Клявин был направлен директором. Зимней ночью его поезд со штабом, с политотделом прибыл к месту назначения. Маневровый паровозик потащил поезд со станции на заводские пути.

С площадки вагона, сквозь темь, едва рассеиваемую слабым заревом единственной горячей печи, Клявин вглядывался в черные переплетения металла на вершинах домен, в безмолвные силуэты кауперов, похожих на гигантские, поставленные на попа артиллерийские снаряды. В серых бетонных корпусах чернели провалы окон с выбитыми стеклами. Клявину, никогда не работавшему на заводах, преподавателю математики по дореволюционной профессии, предстояло оживить эти недвижные чудища.

Приступив к работе, он применил испытанный метод военного нажима, писал грозные приказы, но ничего не добился. Тогда он ввел ежедневные субботники и сам возглавил колонны добровольцев труда. Воодушевление рабочих, доведенное до высокого накала усилиями армейских политработников и заводских коммунистов, было достаточно жарким, чтобы опрокинуть любого противника. Клявин

ощущал это чутьем фронтовика. Казалось, сдвинулась омертвевшая заводская махина. Но прошло несколько недель, и производительность неудержимо поползла вниз, атака выдохлась, не свершив желанного чуда. Колонны таяли день ото дня, но Клявин не сдавался и по-прежнему, уже сознавая поражение, маршировал во главе кучки красноармейцев и рабочих на очередной субботник.

Он почти перестал спать, ища и не находя ключа к позиции. Избранный с совещательным голосом на X съезд партии, он отказался ехать, ибо не хотел и не мог показаться в Москве, пока не решил задачу.

Все же решение нашлось.

И вот майским вечером 1921 года Клявин сидит в приемной Ленина.

Клявин один, секретарь ушел о нем докладывать. На бледном молодом лице Клявина то и дело вспыхивает счастливая улыбка и пропадает при малейшем шуме. В безвестном Старопетровске на маленьком участке он, Клявин, практикой доказал истинность теорем социализма. В портфеле у него диаграммы и отчеты. Сейчас он их вынет, положит перед Лениным.

Дверь кабинета открылась, вышла женщина-секретарь с большой пачкой бумаг. Клявин стремительно вскочил и всем корпусом подался к ней.

— Пройдите, товарищ... Только не задерживайте долго Владимира Ильича.

2

Из-за небольшого стола, улыбаясь, навстречу поднялся Ленин.

— Эге, похудел, похудел!.. Здравствуйте, товарищ Клявин!

От этих слов у Клявина пересохло в горле и губы стали вмиг сухими. Как, Ленин его помнит?! Два года назад, в 1919-м, Клявин, будучи одним из заместителей Чусоснабарма (так назывался тогда чрезвычайный уполномоченный Совета Обороны по снабжению армии), несколько раз участвовал в заседаниях Совнаркома и однажды разговаривал с Лениным. Неужели с тех пор? Неужели к нему обращен этот слегка картавый голос? Клявин шел через комна-

ту, ничего перед собой не видя, кроме улыбающегося лица, ласково сощуренных глаз и огромного светлого лба с большими округлыми выпуклостями. Сделав глотательное движение, он с усилием произнес:

— Здравствуйте, Владимир Ильич!

— Садитесь, выкладывайте, что у вас в Донбассе новенького...

Все приготовленные фразы куда-то провалились. Клявин схватил обеими руками портфель: все у него там, он сейчас, сейчас...

Замок, как назло, не открывался. Мучаясь затянувшимся молчанием и своей неловкостью, он дернул изо всей силы, и вдруг — о стыд! о ужас! — из раскрывшегося портфеля на бумаги Ленина вылетели кусок мыла и мочалка, обыкновенная банная мочалка!

Ленин расхохотался. Оцепенев, залившись краской, Клявин смотрел на растерзанный портфель, не в силах поднять глаз на Ленина. Проклятая Галька! Она что-то болтала насчет бани и сунула-таки мочалку.

— По случаю приезда — в баню?

— Да.

— Попариться? Парильни-то в наших московских банях действуют?

— Действуют.

— Не сочиняете?

Отодвинув легкое плетеное кресло, Ленин в расстегнутом пиджаке быстро ходил вдоль большого застекленного книжного шкафа.

— Вот это замечательно! Попариться при большевиках можно, а?

Он крепко потер руки, повел спиной и крякнул, будто сам окатился шайкой горячей воды. Глаза блестели, Ленин посмеивался, рыжеватые усы его не закрывали крупных, полураскрытых улыбкой губ.

В его смехе сквозило не расчетливое довольство хозяина, а нечто иное — простая, бескорыстная радость. Охватившее его чувство было таким человечным, понятным, что Клявин сразу забыл о мочалке, скованность исчезла; с Лениным ему стало легко.

А лицо Ленина уже изменилось:

— А мы-то хороши! Строчим в газетах, черт побери, о чем угодно, сочиняем всякие худые тезисы, а вот о бане написать не нашлось умника.

Он сердито сунул руки в карманы, лоб нахмурился, меж бровей прорезались поперечные морщинки. Клявин поймал в глазах Ленина юмористическую искорку.

— А мне уж никогда, верно, не попариться всласть в московской бане. Пренеприятнейшая должность...

Вздохнув, Ленин развел руками, указывая на большой блокнот со штампом: «Председатель Совета Народных Комиссаров».

Понимая, что надо беречь время, каждую драгоценную минуту рабочего дня Ленина, Клявин начал рассказывать.

На столе Владимира Ильича стояли четыре стеариновые свечи. Их черные, обгоревшие фитили свидетельствовали, что разруха, свирепствовавшая в стране, добиралась и сюда, что и здесь порой потухало электричество, когда замирали паровые турбины МОГЭСа. Ленин сел, потом приподнялся и передвинул подсвечник, заслонявший лицо Клявина. Кстати, незаметным движением он и мочалку сунул куда-то меж папок и книг.

Облокотившись, он налег грудью на стол, чтобы быть ближе к говорившему; левый глаз прищурился, бровь над ним круто изогнулась, сосредоточенное, напряженное внимание выразилось на лице. Появлялась и исчезала лукавая усмешка, иногда Ленин взглядывал на Клявина так, словно просверливал насквозь.

Не чувствуя стеснения, не ощущая преграды между собой и Лениным, Клявин горячо и торопливо говорил о своих неудачных попытках, о своих мыслях и сомнениях.

— Казалось аксиомой, Владимир Ильич, что мы должны придумать что-то новое, совершенно непохожее на капиталистические приемы управления. Потом вдруг осенило: а зачем это делать? Почему не взять сдельщину, элементарную сдельщину, о которой писал еще Маркс, и не поставить ее нам на службу?

— Не мудрствуя лукаво? Ну-ну...

— Комбинат кормил восемнадцать тысяч человек по уравнительной системе. Стой, думаю, нельзя ли хлеб распределить иначе? Нельзя ли платить хлебом за работу, за производительность, а не за принадлежность к пролетарскому сословию? Профсоюзникам это показалось ересью, пришлось выдержать драку, но с марта я все-таки ввел хлебную сдельщину, и вот, Владимир Ильич, результаты.

Клявин достал из портфеля диаграмму и разостлал на

столе. Красная линия, сначала змеившаяся где-то внизу, резко вздымалась, пересекала черную, показывающую производительность забойщика в 1913 году, и поднималась над ней длинным, задорным язычком.

Глаза Ленина побежали по линиям, задерживаясь на цифрах и надписях.

— Как же вы расплачиваетесь? За какую производительность забойщик может получить, скажем, три фунта хлеба? Установлены нормы?

— Я провел одиннадцать тарифных конференций. Со стариками рабочими сидели по нескольку дней...

— Так, ну-ну...

Ленин еще больше оживился и стал с интересом расспрашивать, как были организованы тарифные конференции, какие были споры, инциденты, предложения. Клявин испытывал огромное счастье, понимая, что его сообщения попадают в точку, что достижения Старопетровска в мельчайших подробностях интересуют Ильича. Он говорил с увлечением, все время невольно соскальзывая на рассказ о самом себе, о своей роли, о своих действиях и переживаниях. Ленин не резко, но неуклонно направлял его в другое русло, докапываясь до фактов, характеризующих жизнь заводских людей.

— Проста ли эта система? Доступна ли каждому рабочему? Не усложнили, не запутали? Нареканий нет?

Клявин достал книги учета производительности, расчетные карточки рабочих, хлебные ордера и, привстав, показывал Ленину. Ленин внимательно рассматривал все это, вновь задавая вопросы. В мае 1921 года, после трех лет военного коммунизма, сдельщина была открытием для республики Советов.

Просмотрев документы, Ленин откинулся назад и воскликнул:

— Вот об этом следовало бы потолковать на съезде профсоюзов! А то съехались люди, проболтали шесть суток в общем и целом, а нет того, чтобы из сотни примеров отыскать один хороший, изучить и ему подражать. Ну, старопетровцы!.. Ну, молодцы!..

Он оглянул стол, пощелкал пальцами, что-то ища глазами, приподнял диаграмму, достал из-под нее небольшой блокнот с предсовнаркомовским штампом, взял ручку и стал писать очень быстро, крупным, размашистым почерком, без единой помарки.

Клявин, не удержавшись, заглянул и увидел заголовок: строки Ленина были адресованы рабочим Старопетровского комбината.

Подписавшись, Ленин промакнул, вырвал листок и протянул Клявину.

— Передайте им...— сказал он и тотчас спросил о другом: — Как там в Донбассе дела со Штеровской электростанцией?

Он еще долго расспрашивал о Донбассе, потом сказал:

— Знаете, товарищ Клявин, не задерживайтесь в Москве, возвращайтесь скорее на завод. Предстоят трудные дни, плохо с продовольствием...

Поднявшись, Ленин справился о здоровье, сказал, что в случае нужды его секретарь поможет Клявину быстрее закончить московские дела.

Клявин понял, что пора уходить. Он попрощался.

Откуда-то из-за папок и книг Ленин вытащил мыло и мочалку, подал Клявину и, не сдержавшись, опять расхохотался.

3

Спустя несколько дней Клявин вернулся в Старопетровск. Письмо Ленина в тот же день было прочитано на рабочих митингах. Клявин предполагал доложить о поездке и о встрече с Лениным на расширенном делегатском собрании, но не успел.

В эти дни снова, как и в прошлые весны, стал особо острым, тревожным вопрос продовольствия, вопрос хлеба.

Очередной хлебный маршрут прибыл в Старопетровск не полностью: занаряженные в адрес завода вагоны были отцеплены и переадресованы в пути. Ночью в сопровождении ординарца Клявин поскакал за сорок километров в губернский центр Бахмут.

Ночной Донбасс в тот год не светился огнями. Горловка, расположенная на полпути, угадывалась издалека не по фонарям, а по синим перебегающим огонькам тлеющей серы на огромных горах породы, накопленной десятилетиями.

В Бахмут он примчался на восходе солнца.

Несмотря на ранний час, у здания бывшей женской гимназии, где разместился Опродкомарм, густо, как на ярмарке, стояли лошади в седлах и в запряжке. Вход охра-

нял часовой; двери поминутно растворялись, слышались нервные, повышенные голоса; в тачанках и на земле спали люди, быть может, не одни сутки проведшие здесь.

Клявин вошел, предъявив свой постоянный пропуск. Заместитель начальника, обычно вершивший все текущие дела, отсутствовал. В коридорах, у секретаря мрачно ждали приема директора предприятий, снабженцы, председатели заводских и рудничных комитетов. Начпродкомарм Епифанов сидел на прямом проводе; туда, в аппаратную, часовой никого не впускал.

Клявин подошел к охраняемой двери, пытался предъявить документы, часовой молча его отстранил.

— Да у меня, черт тебя побери, письмо от Ленина! — в отчаянии крикнул Клявин.

Он выхватил из бумажника письмо, развернул, часовой увидел бланк Председателя Совета Народных Комиссаров, подпись Ленина, на секунду заколебался; Клявин рванул дверь и вторгся в аппаратную.

В комнате сухо потрескивал телеграф, медленно выползала узкая полоска бумаги. Епифанов поднял красные от бессонницы, диковатые глаза, нахмурился и буркнул:

— Убирайтесь! Никаких разговоров! Обо всем с заместителем, с заместителем!

Высокий, широкоплечий, он шагнул к Клявину, за ним поволочились обвившиеся вокруг сапог бесконечные метры использованной телеграфной ленты. В окна било солнце, а над аппаратом горела электрическая лампочка. Здесь потеряли счет ночам и дням.

Клявин умоляюще протянул руку с письмом Ленина. Епифанов взял, прочел, лицо смягчилось, он сказал:

— Плохо, товарищ Клявин. Будет еще хуже. Что я могу сделать?

Клявин стал говорить, что нельзя срывать начинание, отмеченное Лениным, что Старопетровск надо как-то особо выделить, что каждый пуд хлеба, доставленный туда, будет распределен не по уравнительной системе, а за действительно выданный уголь и металл. Епифанов слушал. Его то и дело отвлекали, звали к аппарату. Нервно двигая упрямым, тяжелым подбородком, он связывался со станциями, следил за приближением к Донбассу каждого поезда, каждого вагона с продовольствием, соединялся с пунктами погрузки, диктовал резкие, повелительные директивы. Клявину он сказал:

— Насчет хлеба ничего не обещаю. Фонды для металлургии мне сократили вчетверо, разверстка по заводам составлена вашим начальством в Харькове. Вероятно, мы и ее не обеспечим. На свою ответственность могу добавить несколько вагонов жмыха и, пожалуй...— Епифанов скупо улыбнулся: — Ладно, ради Ильича — еще вагон кукурузы.

Клявин долго не отставал, выторговывал еще вагон, еще полвагона.

Епифанов выписал номера вагонов, вызвал секретаря, приказал заготовить наряды и посоветовал Клявину отправиться к Владимирову, наркомпроду Украины.

— Может, он вам что-нибудь подкинет от себя...

— Где он сейчас?

— На станции Волноваха. Где будет завтра — неизвестно.

Из Бахмута Клявин выехал в Харьков, в Центральное правление тяжелой индустрии. Там он настаивал на изменении разверстки, составленной пропорционально количеству едоков на заводах, ничего не добился и ушел, разругавшись, обозвав председателя «лордом — хранителем богадельщины». В Харьков ему прислали заводской паровоз, и он погнался за народным комиссаром продовольствия, специальный поезд которого курсировал по железным дорогам Украины. В результате поездки кое-что удалось вырвать, кое-что обещали, но все это было ничтожно мало для многотысячного Старопетровского комбината.

Вернувшись на завод, Клявин посовещался в бюро партячейки и вечером докладывал о продовольственном положении на заседании заводского комитета. Представители цехов, в большинстве пожилые беспартийные рабочие, насупившись, слушали его негромкую речь. Он рассказал о затруднениях с хлебом, изложил свои мытарства, отчитался, где и сколько вагонов продовольствия удалось раздобыть. Склонив голову, словно думая вслух, он производил расчет. Главное, обеспечить комбинат углем, ежедневно извлекать на поверхность пятьдесят тысяч пудов топлива. Это решает исход боя. Для подземных рабочих необходимо сохранить возможность вырабатывать на основе неограниченной сдельщины два-три фунта хлеба в смену. Сколько же останется на все другие профессии? Он сосчитал, разделил, вышло четверть фунта в день на человека. С этим надо продержаться до нового урожая.

Кончив говорить, Клявин сел, задумался, и вдруг его поразила тишина. Он поднял голову. Рабочие молчали. Ближе всех к нему сидел горновой Родион Никитин, усатый доменщик-богатырь. В его глазах Клявин увидел слезы. Клявин знал, что у Никитина большая семья. Никитин провел по глазам ладонью; ни одна слеза так и не скатилась по темным от вечного доменного жара щекам.

Клявин обвел глазами лица — никто не шевелился, все по-прежнему молчали.

За годы революции Клявин пережил много тяжелого: контрреволюционное восстание в Казани, отступление от Варшавы, гибель товарищей,— но вот эти минуты тишины, эти непролившиеся слезы, это простое молчание было еще страшнее. Если бы люди протестовали, ругались, кричали, было бы, казалось, легче.

После недолгого обсуждения завком одобрил план распределения продуктов.

4

День ото дня становилось труднее. Июль 1921 года был самым страшным месяцем для Донбасса. В мае Донбасс выдал на-гора двадцать четыре миллиона пудов угля, в июне — восемнадцать, в июле — девять. Этого не могло хватить даже на водоотлив, на откачку воды из шахт.

Крупнейшие копи были залиты, целые районы омертвели. Запасы топлива на станциях, обычно подготовляемые заблаговременно на много дней, теперь исчислялись не днями, а часами. Прекратилась доставка крепежного леса из Царицына, почти замерло движение на ввозных путях с Кавказа, подчас не хватало угля для паровозов, принимающих кубанский хлеб.

Потухли доменные печи в Макеевке и в Юзовке, пущенные в начале этого первого мирного для Советской республики года. Одна во всем Донбассе Старопетровская печь все еще держалась на горячем ходу.

В довершение несчастий в Донбассе выдалось знойное, засушливое лето. Непрестанно дули злые суховеи, гоняя по степи черную накаленную пыль. В шахтах падали истощенные, обессиленные лошади. Фуража не было, покосы выгорели, приходилось в деревнях сдирать солому с крыш. Лошадей вытаскивали на ночь из шахт, и они, слепые,

исхудавшие, щипали чахлую жесткую траву. Наутро их спускали обратно. В небольшие клети старого Донбасса лошадь еле втискивалась. Ей связывали все четыре ноги, силой валили в вагонетку и, дрожащую, бьющуюся, вкатывали в клеть.

Эти три месяца Клявин прожил между Старопетровском и Бахмутом. В балках, поросших кустарником и лесом, скрывались банды, расплодившиеся тем летом. Клявин не расставался с маузером и дважды пускал его в ход в дорожных ночных перестрелках. Всю силу ума и воли он затрачивал на то, чтобы достать вагон-другой зерна, чечевицы или жмыха, сотню пудов ржавой селедки, три-четыре бочки жиров.

И все же выпадали дни, когда рабочие не получали даже четверти фунта чего-либо похожего на хлеб.

В один из таких дней Клявина внезапно вызвали по телефону из партийной ячейки доменного цеха.

— Что произошло?

Секретарь ячейки взволнованно ответил:

— Сам увидишь. Бросай все и беги.

Перескакивая через несколько ступенек, придерживая прыгающий маузер, Клявин сбежал со второго этажа главной конторы и понесся к заводу. В самом воздухе, в самой душной июльской атмосфере ему почудилось что-то особенное. Секунду спустя он понял и остановился, напрягая слух. В воздухе не слышалось гудения доменной печи и мерного тукания мотора. Завод стал. Застонав сквозь сжатые зубы, Клявин кинулся дальше.

Еще издали он увидел густую толпу на литейном дворе, крики сливались в глухой рев. Кто-то поднялся над головами, начал говорить; его сволокли вниз.

На каменной кладке печи, на черной броне кауперов, на котлах, на стенках доменной будки, вверху и внизу — повсюду мелом были выведены огромные буквы: «Хлеба! Хлеба! Хлеба!»

Клявин заметил подбегающего с другой стороны партийного секретаря Глушко. Очень бледный, Глушко врезался в толпу, пробиваясь к возвышению, откуда только что исчез человек. Клявин рванулся туда же. Работая плечами, придерживая маузер, чувствуя злобные толчки, он протискивался вперед.

Глушко первый поднялся на железное днище опрокинутой тачки. Клявин вскочил вслед за ним. Несколько

заводских коммунистов уже добрались сюда, другие протискивались сквозь толпу. Клявин потерял фуражку, пуговицы на военном коричневом френче отлетели, ворот распахнулся, открыв грязную рубашку и голую грудь.

На них напирала дошедшая до отчаяния тысячная толпа. Мера напряжения сил, которую никогда нельзя определить заранее, была перейдена.

Клявин смотрел на искаженные лица, темные от рудной и коксовой пыли. Отовсюду злобно сверкали белки. Рабочие были одеты в отрепья, многие в самодельных шапках из брезентовых рукавиц.

Глушко поднял руку и стал выкрикивать слова о долге революционного пролетариата. Ему не дали говорить, на тачку наперли, вокруг началась свалка, чьи-то черные руки рванули на Глушко гимнастерку, пытаясь стащить его вниз.

В этот момент Клявин совершил непростительную, грубую ошибку — он непроизвольно потянулся к маузеру. Под общий дикий крик на тачку вскочил, одним толчком спихнув Глушко, рабочий богатырского роста и в исступлении разодрал на себе рубаху.

— Стреляй! Нет больше мочи жить! Убей, убей, сволочь!

Клявин узнал Родиона Никитина, горнового, что едва не заплакал на заседании завкома. Сознание безнадежности пронзило Клявина. Он понял, что у него не хватит силы овладеть отчаявшейся массой. Он оглянулся. Позади безмолвно высилась остановленная доменная печь, завтра она, не потухавшая все четыре года революции, будет холодеющим трупом.

Горновой теснил Клявина могучей обнаженной грудью, рот его был судорожно раскрыт, вспененная мельчайшими пузырьками слюна сбилась к уголкам губ. Чувствуя, что сейчас произойдет что-то страшное, Клявин вдруг, словно озаренный, выхватил из бокового кармана бумажник и, сразу охрипнув, закричал:

— А письмо Ленина забыли?

Он торопливо достал драгоценную бумажку и резким движением сунул Никитину. Горновой недоверчиво взял ее, расправил, увидел подпись, руки у него дрогнули, он стал вслух разбирать ленинские строки.

Еще не все поняли, что произошло на опрокинутой тачке, но шум сразу стих, постепенно водворилось полное

молчание, и в странном безмолвии остановившегося завода далеко разносились слова Ленина. Они притягивали внимание, надолго, если не навсегда, врезались в память.

...Положение рабочего класса отчаянно тяжелое... Он страдает ужасно... Никогда не было так велико и остро бедствие рабочего класса, как в эпоху его диктатуры...

Ильичу легко давалось самое трудное на свете — просто, естественно говорить правду. Поражала, покоряла именно она, эта резкая, прямая правда.

...Сейчас нет другого выхода, как сделать еще одно величайшее усилие, на которое никогда не был способен ни один класс, кроме рабочего класса, самого революционного, самого героического в истории человечества...

Прочитав последнюю строку письма, Никитин провел ладонью по лбу, огляделся и тихо спросил:

— Как же, товарищи, а?

Его оттиснули, каждому хотелось увидеть руку Ленина, ощупать бумагу собственными пальцами. Никитин передал кому-то письмо, его вновь читали, оно пошло по толпе.

К Клявину письмо не вернулось. С этого дня он его больше не видел. Оно словно растаяло, растворилось среди тех, кому было адресовано. После передавали, что письмо читали где-то в шахте, но кто его держал или видел последним, осталось неизвестным.

Письмо утрачено, вероятно, безвозвратно, сохранилась лишь эта история.

Надо ли говорить, что Старопетровская печь не потухла? Она, единственная на Юге, продержалась летом 1921 года до нового хлеба.

...Поныне среди старых рабочих Донбасса живет эта легенда. Да и легенда ли это?

1937

ЗАПИСКИ ДОМЕННОГО МАСТЕРА [1]

I

Как-то пришлось мне побывать в тех местах, где я родился. Это — бывшая Орловская губерния.

Прожил я там неделю и заскучал по Донбассу, по Макеевке.

И на курорте, в Сочи, произошло со мной то же самое. Там замечательное место — море, розы, парки. Мы с женой все рассматривали, всем восхищались. А потом надоело. Хожу и думаю: когда же наконец в Макеевку вернемся? И даже в Москве, если долго поживешь, тоже о Макеевке тоскуешь.

Конечно, в Сочи природа богаче, чем на Украине. Да и у нас под Орлом хорошо — густые, красивые леса. А на Украине — степи. А все-таки Украина мне милее. Выйдешь в степь, поднимешься на возвышенное место, и видны кругом шахты и заводы. Километров за двадцать видно, как поезд подходит к станции, как пар вылетает из трубы, когда машинист дает свисток. Видно, как где-то вдали крутится колесо подъемной клети в надшахтном здании, как опрокидываются вагончики на терриконах, как выносится из далекой доменной печи бурое облако пыли при осадке.

Когда едешь в поезде из Москвы, видишь, что некоторые пассажиры носы затыкают около Горловки, Никитовки,— там, где начинаются наши места. Здесь серой пахнет, дымом. А мне этот запах привычен. Когда поезд въезжает в Донбасс, первый завод на пути — Краматорский. Тут я всегда смотрю в окно — гляжу на доменные печи, любуюсь, определяю, как работают. На станции Краматор-

[1] Записано со слов обер-мастера доменных печей Макеевки Ивана Григорьевича Коробова.

ской обязательно выхожу. Сойду на платформу, пройдусь, погляжу, нет ли знакомых.

Дальше Константиновка, Горловка — и все смотришь в окно: скорей бы Макеевка показалась. Ее уже со станции Ханжонково за много километров видно.

Есть на пути к Макеевке еще одна станция, где я тоже всегда выхожу из вагона. Это Дружковка со своим старым заводом. Никогда я еще не проезжал мимо, чтобы не выйти, не посмотреть на Дружковку. Даже ночью выхожу.

Там, в Дружковке, я мальчишкой начал работать у доменных печей. Выйдешь на платформу, посмотришь кругом — и вспоминается все, что здесь когда-то пережил.

II

В Дружковку я попал пятнадцатилетним мальчиком. До этого рос в деревне.

Несколько слов о нашей деревенской жизни. Жили мы по-черному. Печь без трубы, дым выходил в дверь. Раскрытую дверь завешивали рядном почти до пола, чтобы закрыться от мороза, а дым медленно выползал в небольшое отверстие под рядном. Когда затопят, нельзя дышать от дыма. Ляжешь на лавку, ноги кверху закинешь, чтоб теплей им было, а голову свесишь до самого пола: там воздух посвежее. Хата так почернела и прокоптилась, что с потолка свисали капли густой смолы, иногда они падали на голову.

Питались главным образом картошкой. Утром, в обед, вечером — все картошка. Да еще редька с квасом.

Хлеб пекли сразу по три пуда, три хлебины — каждая по пуду. Это делалось ради экономии, чтоб хлеб хорошенько зачерствел,— тогда поменьше его едят.

Матери я не помню. Она умерла, когда мне было полтора года. Отец после смерти матери ушел в «заработки», поступил на Юзовский завод к доменным печам.

Рос я с бабушкой, которую называл мамой.

Лицом я вышел в мать — был совершенно рыжий, лицо конопатое, все в веснушках, волосы кучерявились. Ходил в лаптях, в штанах самоделковых, холщовых синих, в белой рубашке с красными ласточками — вставками под мышками.

Стригла меня бабушка по-деревенскому — «под горшок». Это название произошло оттого, что на расчесанные волосы надевался горшок и все, что вылезало из-под горшка, подстригалось ножницами.

Ребята звали меня «плещейкин рыжий», потому что бабушка была из деревни Плещеево. Собственно говоря, мы ведь не Коробовы. Наша настоящая фамилия должна быть Ивановы. Вышло вот что. Первый муж у бабки был Коробов. Когда крепостное право поломалось, он попал в ревизию, и за ним записали три десятины душевой земли. Когда он помер, бабка вышла за николаевского солдата Иванова. Мой отец родился от этого солдата, но николаевские солдаты не имели права на землю, поэтому бабка, чтобы удержать за собой землю, записала ребенка на первого мужа. За хороший магарыч это можно было сделать.

В наших трех десятинах был и луг, и лес, и негодная земля. Пахотной приходилось всего полторы десятины. Этой землей мы и кормились.

Рос я бедокуром. У товарищей был коноводом, озорничал, дрался, лазал за чужими яблоками, не боялся ни собак, ни трепки.

Помню, однажды приехал к рождеству дядя из Юзовки. Зима была холодная, снежная. Он мне говорит:

— Знаешь, Ваня, я видел внизу, на вашем огороде, птичек. Красивые, голосистые, название — ревунки. Можно, говорит, поймать. Только бежать надо утром рано, чуть завиднеется, и обязательно босиком.

Я утром поднялся пораньше, выскочил босиком, наверное, четверть часа по снегу бегал — никаких птичек не видать. Прибегаю домой.

— Ну, и соврал, говорю, никаких ревунков у нас в огороде нет.

Но и я умел бабушку ловко провести. У нас была корова, а молока мы ели мало: бабка била масло и носила в город на базар. Кувшины она завязывала тряпочкой очень аккуратно. Если развязать, бабушка заметит. Тогда я придумал так: протыкаю соломку через тряпочку и через пенку и тяну-потягиваю молочко. Бабка полезет в кувшин снимать сметану — что такое? Пенка целая, а молока нет. Куда же оно делось? Бывало, гадает, гадает, лешего и домового вспоминает. Много времени прошло, пока она узнала, что это я проделываю.

III

Очень рано я выучился курить. Вышло это так. С самых малых лет я пас нашу корову. Как только солнце взойдет, так и выхожу из двора с коровой. Мы, ребятишки со всей деревни, гнали коров по большой дороге и потом пасли стадо на лугу около этого большака. По дороге проходило много бричек и подвод. Люди бросали окурки, мы собирали, вытряхивали табачок и свертывали толстую цигарку — одну на всю компанию. Все ребята прикладывались. Другой раз так затянешься, что из глаз слезы вышибает. Как увидишь, что едет мужчина,— за ним:

— Дяденька, дай табачку на папироску.

Иной даст, а иной сунет руку в карман, а сам пустит лошадь рысью, так и прогонит километра два, а потом еще кнутом учешет.

Три зимы я ходил в школу — это все мое образование.

Когда кончил учение, пошел работать в экономию. Мне было двенадцать лет. Я нанялся за двенадцать рублей работать срок. А срок — это от 25 марта до заговен, то есть до 15 ноября. Весь этот срок я должен был пасти скотину. Но прослужил я недолго, рассчитал, что подрядился слишком дешево. Мне приходилось по пяти копеек в день, а я знал, что на поденной работе ребята получают по десяти и даже по пятнадцати копеек в день.

Бабушка упрашивала меня не уходить из экономии, не ломать контракта, но я с детства был настойчивый. Сказал: «Уйду»,— и ушел. Перешел на хутор на поденную работу. Там платили по десяти копеек в день. Все лето я стерег скотину: коров, овец, коз, на козлах верхом катался. Когда немного подрос, бросил пасти коров, стал скородить (боронить). Эта работа посерьезнее, здесь платили пятнадцать копеек в день.

Своей лошади у нас не было. Мне часто становилось обидно. Ломаю спину на чужого дядю, а своей земли не могу обработать. Эх, иметь бы лошадь!

Один раз в год приезжал домой отец на побывку с завода, чисто одетый, в сапогах, в романовском черненном полушубке. Привозил подарки, баранок, хлеба белого. Я не так отцу радовался, как белому хлебу: такой хлеб мы ели только на пасху.

Как я уже сказал, когда мне минуло пятнадцать лет, отец забрал меня с собой на завод. Он работал тогда в Дружковке. Я шел с ним на станцию в лаптишках, в синих холщовых штанах, в домотканой рубашке с ласточками и думал: заработаю в заводе денег, куплю лошадь и вернусь домой.

IV

Сели мы в поезд на станции Поныри. До Дружковки у нас денег не хватило, взяли билеты не то до Славянска, не то до Лозовой, а оттуда двинулись «зайцами», на тормозах. В Дружковку приехали ночью. Из доменных печей выбивалось пламя, над коксовыми печами горели большие ярко-красные факелы. Для меня это было такой диковиной, что я рот разинул.

Дня через два отец послал меня за колбасой. До лавки я добежал благополучно, купил, а пошел обратно — и не мог найти своего барака. Все дома одинаковые, все из дикого камня, нигде ни двора, ни садика — где тут мы живем? Ходил, блуждал, чуть не заплакал. Потом спустился к заводу, сел и начал соображать. Долго думал, вспоминая, как шли от станции, а потом все-таки смекнул. Пошел в один дом и как раз попал к своим.

Отец попросил, чтоб меня взяли на завод. Десятник посмотрел и сказал, что слишком молод. Но по знакомству и за хороший магарыч меня все-таки взяли. Поступил я дробильщиком в доменный цех. Я разбивал молотком большие куски камня и руды и получал за это сорок копеек в день. Отец тоже работал в доменном цехе клеточником — управлял клетью, которая поднимает материал на колошник. Под доменными, на формовке, работал и дядя.

С первого дня работы я стал интересоваться, что делалось кругом. После обеда ходил я к дяде на формовку, помогал ему, рассматривал доменную печь. Потом стал ходить на бессемер и на прокат.

Пришел я как-то в весовую будку доменного цеха. Там никого не было. Я оглядел все кругом и заметил, что к электрической лампочке тянутся сплетенные проволочки, тонкие, как волоски. Это был оголенный провод, о чем я, конечно, не имел никакого понятия. Мне подумалось: «Вот хороши были бы для балалайки струны». Взялся я

за эти волоски, и вдруг как будто кто-то меня ударил. Посмотрел кругом — никого нет. Берусь опять. Только цапнул — и опять удар. Что такое? Я даже под стол заглянул — нет ли там кого? Попробовал третий раз, и опять такая же история. Тут как раз входит весовщик. Я говорю:

— Дяденька, тут у вас струны хорошие висят, я хочу пощупать, а меня кто-то бьет.

— А ну, говорит, потрогай еще раз.

Я опять тронул и отскочил.

Он как закатится. Минуты три хохотал, а потом сказал:

— Это, парень, электричество. Дело опасное, может убить.

Все начальники и мастера в Дружковке были французы. Я очень заинтересовался тем, как это они говорят по-своему, по-французски, один раз подскочил к ним поближе, думал, что если хорошо прислушаюсь, то что-нибудь пойму. Француз велел переводчику спросить меня, что мне нужно. Я ничего не придумал ответить, повернулся и пошел от них.

Начальником доменного цеха был француз Морель — черноволосый, смуглый, глаза навыкате, как у ястреба. Ходил он с палкой и был очень вспыльчив, часто бил рабочих палкой. Как что-нибудь не по нем, так сразу и замахивается палкой. Русским доменщикам не доверяли, господами в заводе были только французы. Работали они мало. Придет мастер-француз к выпуску, поглядит, покричит и обратно к себе в будку. В обед ему приносят суп и мясо, полбутылки водки, бутылку вина и несколько бутылок пива. Он налижется и ляжет спать. Ночью мастера-французы всегда спали в своей будке. Никто их не проверял — начальник цеха ни вечером, ни ночью в завод не показывался. Фактически доменные печи велись горновыми. Все горновые были русскими. У меня появилась мысль, как бы и мне стать горновым. Я получал сорок копеек в день, а горновой два рубля пятьдесят копеек. Помню, я удивлялся, куда человеку такие деньги деть — целых семьдесят пять рублей в месяц! И я все чаще ходил на горно и на формовку, ко всему присматривался, знакомился с работой. Часто меня из шланга или из ведра водой окатывали. А то зажгут что-нибудь сзади и кричат: «Коробенок, горишь!» Пустишься наутек, а потом видишь, что шутка.

Старался помогать горновым: песок перекидывал, скрап убирал, канавки делал.

Мне сказали, что хороший горновой должен прежде всего уметь метко и сильно бить молотком. Я долго учился этому. Воткну на рудном дворе лом и давай практиковаться — вбивать его в землю молотком. Эту премудрость я осилил. Даже сейчас я могу бить с размаху по иголке с обеих рук и у меня молоток не соскользнет.

Скоро у нас стало известно, что Морель переходит на новый завод, в Макеевку, где будут пускаться доменные печи, и берет с собой рабочих.

В Макеевку поехал и отец. Меня Морель не хотел было брать, но знакомый десятник Чибисов попросил за меня. Морель согласился.

Мне уже не хотелось возвращаться домой, в деревню.

Работать, правда, было тяжело. Работали мы по двенадцати часов, без праздников, без воскресений, одну неделю днем, другую ночью. Перед воскресеньем происходила ломка смен: одна смена двадцать четыре часа отдыхала, другая двадцать четыре часа работала. Но питание было лучше, чем в деревне. Ели борщ, кашу, мясо, колбасу. Особенно мне нравились арбузы, или, как говорят на Украине, кавуны. Я до сих пор не могу забыть одного кавуна, который мы ели в Дружковке. Когда мы его разрезали, на нем как будто сахар был посыпан крупками. Такой сласти у нас в деревне не водилось. И ходил я в заводе чище и одевался лучше. Приехал я во всем деревенском, а потом купил себе брюки, фуражку городскую, теплый пиджак на зиму. После работы мы купались под доменной печью, там в канаве текла горячая вода. Приходя домой, я переодевался в чистое. Стригся я уже не по-деревенскому в кружок, а «под польку».

И наконец, самое главное, меня заинтересовала заводская работа. Я почувствовал в себе способности к доменному делу. Огня я не боялся. Рассуждал так: раз люди работают в огне, так чего же я буду бояться? И я уже полюбил завод. Я уже все там знал, лазал во все туннели, на все вышки. Мне нравилось смотреть, как разливали из бессемера сталь, как прокатывали рельсы. Было очень интересно глядеть, как жмут раскаленный кусок металла и вытягивают его в длинную полосу. Я гордился, что понимаю, откуда берутся рельсы. Я видел, что на заводе можно продвинуться, стать горновым. О том, чтобы быть

мастером, я в то время не мечтал. Пока что мне хотелось перейти хоть в катали, чтоб получать не сорок копеек, а рубль в день.

В марте 1899 года я отправился с товарищем в Макеевку. Со станции Ясиноватая мы пошли пешком. Был ясный солнечный день. Пахло весной. Мы шли по земле, от которой поднимался пар.

V

В Макеевке еще ни одна доменная печь не работала, готовили завод к пуску.

Я поселился с отцом в бараке. Это был большой дом, разделенный перегородкой на две части. В одной половине жило сто человек и в другой сто. Жили грязнее, чем в Дружковке. Разных насекомых — клопов, блох и т. д.— столько было, что в первую ночь я не мог уснуть. Спали на нарах. Уборной еще не выстроили, и кругом барака было все загажено. Когда весна вошла в силу, то улицы распустились в сплошную грязь. Иногда так увязнешь, что ногу вытащишь, а сапог в грязи останется. Поэтому приходилось сапоги привязывать.

Там, где теперь девятая линия, была такая лужа, что хоть на лодке плавай. Однажды около нашего барака пьяный рабочий упал в грязь. Молодые парни, шутки ради, обвязали его веревкой и давай тащить из грязи. Со всех бараков вышли глядеть, как его вытаскивали.

Я поступил на завод, в доменный цех, чернорабочим. Куда пошлют, там и работаешь. Убирали мусор около печи, копали землю, подготавливали доменную к пуску. Потом стала прибывать руда. Меня поставили на выгрузку руды. Там платили, кроме жалованья, по двадцать копеек с вагона.

Работал я на пару с товарищем, Кривоносовым. С отцом я работать не захотел, отец еще по шее даст, а так — я вольный казак. Выгружали мы вдвоем по три, четыре вагона, а французы все были недовольны, все подгоняли: «Скорей, скорей». Им за простой вагона приходилось штраф платить. Они говорили, что у них во Франции один человек может разгрузить пять-шесть вагонов, что русские никуда против французов не годятся. И вот случилось, что на первый день пасхи пришел состав с рудой.

В этот день мы не работали, но дирекция не хотела платить за простой, и поэтому десятник пошел по баракам собирать рабочих. Однако народ уже разошелся, и поэтому пришлось выходить на выгрузку и мастерам-французам. Мы с напарником тоже пошли. И вот началось у нас соревнование: мы с напарником вдвоем три вагона выгрузили, а четверо французов только с одним вагоном справились. Мы над ними потом смеялись: «Не годитесь вы, мусью, против русских».

Выгрузка — тяжелая работа. Особенно туго приходилось с керченской рудой, она очень глинистая. Я был тогда семнадцатилетний мальчишка, еще не окрепший, и вот бросаешь и бросаешь эту руду, и поясница заболит, остановишься, подопрешь поясницу лопатой — лопаты у нас были с ковылешкой на конце — разогнешься и опять пошел бросать. Так на ковылешке и отдыхали.

Был у нас на выгрузке один рабочий по прозвищу Кирсан. Он как-то говорит мне:

— Знаешь, Коробенок (меня все Коробенком звали), я завтра пойду в контору к директору и на колени стану перед ним: попрошу; чтоб он дал мне подряд на выгрузку руды.

А среди нас ходили слухи о том, что в Юзовке один бывший рабочий стал подрядчиком и загреб на этом большие тысячи. Я говорю Кирсану:

— У тебя духу не хватит к директору пойти.

Он божится:

— Ей-богу, пойду.

На следующий день я его спрашиваю:

— Ну как, Кирсан, ходил?

— Ходил.

— Ну и что?

— В контору не пустили.

На этом и кончилось его мечтание.

Первую доменную печь пустили 20 июля 1899 года. Отслужили молебен, собрались начальствующие лица, сам донской атаман приехал.

Жене директора подали факел на длинной палке, и она зажгла стружки в чугунной летке. В те времена на заводах был твердый закон, что доменную печь должна зажигать обязательно женщина.

После пуска меня поставили каталем — подвозить материалы к клети, а отец стал работать верховым, то есть

рабочим наверху, на колошнике. Потом и меня стали брать туда, приучать к верховой работе. Мне там не нравилось. Конус неплотно закрывал печь, газ выходил на волю, мы угорали, и поэтому всегда болела голова. И с каждым днем конус работал все хуже и хуже. Наконец, дело дошло до того, что конус совсем не стал опускаться. Завалка печи прекратилась, доменная остановилась.

Собрались на колошник французы, и выяснилось, что железное кольцо внутри печи, так называемая юпка, предохраняющая кладку от ударов загружаемой руды, что эта юпка покоробилась и задралась кверху. Решили обрубить заклепки, чтобы эта юпка упала в печь. Стали сыпать в домну руду, чтоб на этой руде могли бы стоять слесари. А внизу кокс не потушен, горение продолжается. Потушить доменную нельзя: получится «козел» и печка пропадет. Когда насыпали много руды, то опустили в печь лестницу и приготовили канат, чтобы обвязать того, кто полезет, и вытащить, если он упадет там от угара. Кому-то приходилось лезть первому. Французы посылают рабочих, но никто не соглашался. Каждому страшно лезть в доменную печь, никогда еще наши рабочие этого не видели. И французы не лезут.

Десятник Чибисов кричит:

— Лезьте, ребята!

Но рабочие пятятся.

Тогда Чибисов говорит:

— Я знаю одного парня, который полезет.

И стучит по трубке, которая проведена сверху в весовую будку. Подходит весовщик:

— Что такое?

— Пришли сюда Коробенка! — кричит Чибисов.

Он знал меня еще с Дружковки. Бывало, возьмет за волосы: «А ну, вывернись». Я сразу выворачивался, никто не мог удержать меня за волосы. Он называл меня «отчаюгой».

Весовщик нашел меня:

— Ступай наверх — Чибисов требует.

Прихожу. Чибисов подвел меня к начальнику цеха Морелю и сказал:

— Вот молодой Коробенок. Он полезет в печь.

Морель поглядел на меня:

— Вы можете в доменную печь идти?

— А что там делать?

— Вы там будете только один минут...

Он говорил на ломаном русском языке.

Чибисов сказал мне, что я должен лопатой разровнять руду. Я поглядел в доменную, мне стало интересно, никогда я там внутри не бывал.

— Ладно, полезу.

Бросил туда лопату, обвязался веревкой и полез. Только успел спуститься, а мне уж кричат:

— Вылезай!

А я в ответ:

— Обождите, здесь ничего, здесь прохладно.

Оно и вправду, сильного жара не было, только чувствовалось, как теплый дух снизу идет. Я все кругом осматриваю, руду разравниваю, а сверху кричат:

— Чего так долго? Вылезай.

Я вижу, что начальство уже сердится, поставил лопату и вылез. После этого люди перестали бояться и полезли.

В одной газете, где описывали мою жизнь, я прочел, что меня насильно заставили спуститься в доменную под угрозой расчета. Это неправильно. Я полез ради задора, ради самолюбия, ради интереса к доменной печи. Этот день принес перемену в моей судьбе.

Когда печь пустили, ко мне подошел мастер и спросил:

— На шлаку работать будешь?

На шлаку платили один рубль двадцать копеек, а я получал один рубль. На шлаку работа с огнем, с жидкой огненной массой. Я сразу согласился.

VI

На шлаку я поработал недолго. Работа состояла в том, чтобы опрокидывать ковши с жидким шлаком под откос, на свалку. Теперь все это механизировано, а тогда приходилось вертеть, крутить руками.

Однажды, когда мы выливали ковш, произошел небольшой взрыв. Шлак плеснул мне на ногу, прожег чуни и портянки. На ноге вскочил большой пузырь. Сначала ожог был не особенно болезненным, а когда пузырь лопнул, то стало очень больно.

Это был первый мой ожог. Две недели я не мог работать. Но это меня не испугало, не заставило бояться доменной работы. Я знал, что все наши опытные горновые,

работавшие раньше на других заводах, имели по нескольку ожогов. У некоторых под зарубцевавшейся кожей были синие пятнышки; в этих местах можно было нащупать твердые горошинки чугуна, который вошел при ожоге под кожу и навсегда остался там. Эти горновые не признавали того настоящим доменщиком, у кого не было таких ожогов. Мне хотелось скорее стать таким же, как они, хотелось, чтоб и у меня из-под кожи просвечивали синеватые вкрапления чугуна, хотелось скорее выбиться в горновые и получать по два рубля пятьдесят копеек в день.

Через некоторое время после того, как, поправившись, я вновь вышел на работу, в цехе произошла авария. Чугун прорвал стенку печи и «ушел», как говорят доменщики. Жидкий металл побежал по канаве, наполнил ковш, который стоял на рельсах, полился через край, потек на пути, сжег шпалы и застыл, приварившись к рельсам.

Для ликвидации аварии надо было скорее убрать этот ковш, похожий по форме и размеру на большие котлы, в которых когда-то варили асфальт на городских улицах. Только наш котел был наполнен не смолой, а жидким чугуном, сверху слегка потемневшим. Эту огненную поверхность забросали землей, чтоб сбить жар. При каждом новом броске куча земли, плавающая на чугуне, слегка колыхалась. Потом сверх земли положили доску, упершуюся в края ковша. Надо было вскочить на эту доску и зацепить ковш стальными канатами подъемного крана. Никто не решался это сделать: оступишься, нырнешь, от тебя и пепла не останется.

Тогда Чибисов опять вспомнил обо мне:

— Обождите, я знаю, кто пойдет.

Позвали меня. Начальник цеха Морель спросил:

— Можешь сделать?

Я посмотрел на доску, которая уже слегка дымилась, на людей, меня опять взял задор, и я ответил:

— Можно.

Полез и зацепил канаты.

Морелю это понравилось. Он подозвал меня к себе и говорит:

— Хочешь на аппаратах работать? Газовщиком?

— Воля ваша.

— Нет, ты скажи,— хочешь?

— Дело ваше.

И он до тех пор от меня не отстал, пока я не сказал:

— Хочу.

На следующий день подзывает меня мастер-француз Рого.

— Иди,— говорит,— Коробов, работать на аппараты.

Прихожу к старшему газовщику Астахову, которого я знал еще с Дружковки. Он сидит у себя в будке. Поздоровались.

— Ты чего пришел?

— Рого прислал меня к вам работать.

— Иди отсюда, у меня есть человек.

Я повернулся и пошел. Оказалось, что Астахов уже взял в газовщики своего земляка.

Я опять, как и раньше, работаю на шлаку.

Через несколько дней меня увидел мастер Рого.

— Почему ты не на аппаратах? Почему здесь?

— Мне, господин Рого, Астахов сказал, что у него уже есть человек.

— Пойдем со мной сейчас же на аппараты.

Рого нашел Астахова и закричал:

— Почему ты его обратно посылаешь?

— У меня человек уже работает.

— Пусть твой человек на шлак идет, а здесь Коробенок будет работать.

— А что он понимает?

— Он будет понимать.

Вызвали астаховского земляка, отправили его на шлак, а я остался с Астаховым.

Он взял гаечный ключ и пошел на аппарат, я тоже взял ключ и пошел за ним. Он работает, а я стою, смотрю и ничего не понимаю.

Он говорит:

— Чего ты, как баран, стоишь?

— Я не знаю, что делать.

— Не знаешь... А из-за тебя, дурака, я человека отослал, который знал, как работать.

— Я же ведь не просился сюда, вы меня, Ефтей Тихонович, не обвиняйте.

В двенадцать часов дня он послал меня за обедом к себе на квартиру.

Я прихожу и говорю его жене:

— Ефтей Тихонович просил, чтобы вы обед дали. Я ему снесу на завод.

— Ладно, сейчас соберу.

— Пока вы собираете, я в одно место сбегаю.

Побежал и купил бутылку водки. Принес обед, принес водку. Астахов выпил, поел и стал помягче. После обеда начал кое-что показывать, учить. Я повеселел. Ведь жалованье на аппаратах полтора рубля в день, за тридцать дней сорок пять рублей.

Работаем до вечера. В пять часов приходит в будку отец и некоторые знакомые. Отец говорит, чтоб я купил четверть водки, ведро пива и принес бы на квартиру. Надо же «обмыть». Что же, не меня первого, не меня последнего «обмывали» — так уже было заведено.

Я пошел, купил что полагается, и в семь часов вместе с отцом явились Астахов, десятник Чибисов и некоторые другие. Выпили водку, выпили пиво, послали за вторым ведром, потому что одного ведра мастеровым было маловато.

Так я начал работать с Астаховым на аппаратах. Он газовое дело понимал очень хорошо и меня учил, направлял в работе, за что я всегда ему буду благодарен. Человек он был очень грозный: если заметит промашку, то чуть не бить готов. Но я работал старательно и имел смекалку. Скоро он стал мне одному доверять аппараты. Он гуляет, идет на горно, в весовку, куда хочет, а я один работаю. Переменю аппарат, за манометром посмотрю, температуру запишу — сам себе хозяин. Ночью он ложился в будке спать. Спал он очень интересно: клал под голову кирпичик, и как только подходило время менять аппарат, то как будто его кто-то под бок толкал. Просыпается и говорит:

— Коробенок, иди аппарат менять.

Каждую неделю я ставил Астахову бутылку водки, чтоб он был со мною помягче.

Впоследствии Астахова зарезало поездом в Краматорске. Я много перенял от этого мастера. Особенно приучал он к чистоте, аккуратности и четкости.

После того как я поработал на аппаратах около года, в моей жизни произошло крупное событие.

VII

Я попал столовником в семью одного моего товарища — рабочего доменного цеха.

Случилось это так. Отец мой стал сильно выпивать. Жизнь его сложилась неудачно. Много лет он работал у

доменных печей, имел смекалку, а может быть, и талант доменщика. В наше время он, возможно, стал бы знатным человеком на заводе, но тогда не ценили талантливых людей. Характер у него был резкий, с начальством он ругался, и ходу ему не было. Как и многие из заводских рабочих, задавленных капитализмом, он нашел отраду в водке. К тому же и женился он — второй раз, после смерти моей матери,— как-то нескладно. Его вторая жена пила водку не хуже хорошего мужчины, тоже, должно быть, не от сладкой жизни. Они пропивали все, что зарабатывали.

Как-то спьяну он заснул на колошнике, где работал старшим верховым, и за это получил расчет. Уходя, он забрал все мои вещи — пальто, сапоги и костюм. Да еще оставил на мне долг — восемьдесят рублей. Он был старшим в артели и задолжал эти деньги мяснику.

Мой товарищ,— звали его Алексеем,— имел свою квартирку, где жил с женой, Ольгой Митрофановной. Когда мой отец уехал, он повел меня к жене и говорит ей:

— Давай, Митрофановна, возьмем к себе Коробенка жить. Нам веселей будет.

Она отвечает:

— Если хочешь, возьмем.

Он спрашивает меня:

— Пойдешь к нам столовником?

А я ему:

— Сколько же вы с меня возьмете?

— Десять рублей.

— Ну, ладно. Спасибо.

Стали жить вместе.

Я в это время полюбил одну девушку, Марфушку. Ей было шестнадцать лет, мне восемнадцать. Она жила с матерью, и одному мне как-то неловко было к ним ходить. Всегда, бывало, прошу Митрофановну: пойдем вместе к Марфуше. Митрофановну я не стеснялся. Она была моя землячка, из соседней деревни. Я знал ее давно, она одно время у нас в артели стряпала.

Один раз мне пришлось ее в мешке нести. Она только что приехала из деревни, в поезде ее обокрали, и из обуви остались у нее только валенки. А грязь стояла страшная. Я попросил ее пойти со мной к Марфуше, а ей надеть нечего.

Я говорю:

— Садись в мешок.

Она пожалела меня и согласилась. Я посадил ее в мешок и понес, она голову из мешка высунула и за плечо мое держалась. Добрая была.

Потом Марфуша поступила к подрядчику прислугой. Как-то вечером я задумал там ее проведать. Долго ходил в темноте вокруг дома, видел в открытое окно, как она ходила по квартире. Наконец набрался смелости, решил постучаться, пошел к дверям, но тут как раз вернулся подрядчик. Как он закричит:

— Эй, кто там ходит возле квартиры? Стрелять буду!

Я подался домой,— стреляй, мол, пали в вольный свет!

Мать Марфуши заметила нашу любовь и увезла Марфушу из Макеевки. Она не хотела выдавать ее за меня замуж, потому что знала, что мой отец сильно выпивает, и думала, что я буду таким же. И она нарочно увезла Марфушу — от греха, как говорится.

Я сначала плакал по Марфушке. Забьюсь под одеяло и поплачу. А потом смирился: так, значит, тому и быть.

Ольга Митрофановна была в это время в положении. Я хотел быть у нее кумом. Муж выпроваживал ее рожать в деревню. Ей не хотелось ехать, но она перечить не любила. Я мечтал поцеловать ее на прощанье. Она мне нравилась — скромная, тихая, добрая. Но провожать ее мне не пришлось — она уехала, когда я работал на заводе. Перед отъездом мы сфотографировались трое — она, Алексей и я. Она показывала эту карточку в деревне, но там никто меня не узнавал,— ведь уехал я оттуда мальчиком. Спрашивали, кто это. Она говорила, что это молодой Коробенок, парень хороший, смирный, прямо красная девушка, хорошо зарабатывает, имеет деньги, но не пьет и не гуляет. Через некоторое время, когда она вернулась, Алексей простудился наверху и заболел воспалением легких.

Однажды, когда он лежал в больнице, к нам пришла в гости одна женщина. Сели пить чай. Ольга Митрофановна вышла зачем-то из комнаты, и эта женщина спросила меня:

— Если Алексей помрет, возьмешь ты Митрофановну замуж?

Я в шутку отвечаю:

— Возьму.

Мне и не думалось, что Алексей может помереть.

А оказалось, что он действительно умер. Полежал пятнадцать дней в больнице и кончился.

Ольга Митрофановна перешла жить к одной своей родственнице, а квартиру оставила мне. Я подумал, подумал и решил сватать Ольгу Митрофановну. Правда, она была старше меня на шесть лет, но я чувствовал к ней большое душевное расположение. Ее все уважали и любили, потому что сама она ко всем была ласковая и отзывчивая. Когда она замуж вышла, ей пришлось жить в чужой семье, с сердитым свекром. Когда свекор приходил домой пьяным, все убегали из дома, боялись, что побьет. А она не уходила. Разует его, поставит ему самовар, за квасом сбегает. Свекор говорил:

— Вот, такие-сякие, все поразбежались, а эта не боится. Хоть коротка, а дорога.

Это он так приговаривал потому, что Митрофановна была маленького роста.

Я знал, что она очень честная, никогда не обманет. В артели, когда она у нас кухарила, я видел, что она никогда ни одной копейкой лишней не попользуется, лучше свое упустит, чтоб только человека не обидеть. Если кто поругает ее, она молчит, слова никогда поперек не скажет.

Я подумал и решил: чего я еще буду искать? Лучше этой женщины никогда я не найду. Через одну знакомую я передал Ольге Митрофановне вопрос, пойдет ли она за меня замуж. Проходит некоторое время — ответа никакого.

Вот один раз приносит она под доменные обед своему двоюродному брату. Я сидел около печи. Гляжу, идет мимо Ольга Митрофановна и не смотрит на меня.

Я кричу:

— Кума, обожди-ка.

Она вернулась и встала напротив меня. Я спрашиваю:

— Скажи, Митрофановна, тебе Катерина что-нибудь от меня передавала?

— Передавала.

— Ну как — пойдешь за меня замуж?

— Не знаю. Я уже скоро буду старая, а ты молодой. Ты об этом подумал?

— Обо всем подумал. Ты меня знаешь, и я тебя знаю. Отвечай — согласна?

Но она все-таки ответа не дала.

Вечером я пришел к ней и стал говорить о том же.

А она опять:

— Я для тебя же старая, мне двадцать шесть лет. Сейчас я для тебя хороша, а потом ты скажешь: «Вот навязалась мне старуха». Я этой обиды не перенесу.

— Нет, Митрофановна, никогда ты этого от меня не услышишь.

Несколько дней она еще сомневалась, советовалась с родными, а потом сказала, что согласна.

Некоторые ее предостерегали:

— Смотри, Митрофановна, наплачешься. Ведь знаешь, отец у него какой.

А она отвечала:

— Отец такой, а он совсем другой. Не пьянствует, не гуляет.

Когда Ольга Митрофановна согласилась выйти за меня, то написала, как полагается, матери письмо: «Дорогая мамаша, посылаю вам поклон. Ты хотела, чтоб я ехала домой, но я выхожу замуж за Коробова-сына. Пришли мне свое благословение».

Через несколько дней пришел ответ: «Вот тебе мое благословение — дубовая палка».

Ее мать прослышала, как пьянствовал мой отец, и не дала поэтому согласия.

Я решил съездить на родину, чтоб уладить эту неприятность. Кстати, надо было ехать и насчет паспорта. Я отпросился на две недели, и меня отпустили без расчета.

Приехал я домой, в Орловскую губернию, где не бывал шесть лет. Зашел в избу к родственникам. Меня никто не узнает. Уехал я мальчишкой, а вернулся солидным, хорошо одетым: в пальто, в хромовых сапогах, в галошах и в перчатках.

Когда я сказал, что я Иван, Ванюша, меня начали обнимать, целовать. Пошли разговоры о моей женитьбе. Дядя и двоюродный брат стали меня уговаривать, чтоб я не женился на вдове, потому что для меня и девушек найдется сколько угодно.

Я посмеивался и отвечал:

— Кому что нравится: кому поп, кому попадья, а кому и попова дочка.

А тетка мне сказала:

— Знаешь, Ваня, бери Митрофановну, держись за нее обеими руками. Таких женщин мало, как она.

Наутро поехали в деревню Афанасьевку, где жила мать Ольги Митрофановны. Там я встретил своего дядю. Купили водки, пошли к нему домой. Тетка меня не узнала. Она спросила мужа:

— Это кто? Писарь, что ли?

Он промолчал, и я тоже не открылся. Сели всей семьей за стол, закусили, выпили. Потом дядя спрашивает жену:

— Ты знаешь, с кем пьешь-то?

— С писарем.

Она считала, что если хорошо одет, то, значит, писарь.

— Да ты погляди хорошенько. Какой это писарь?

— А кто его знает?

— Это Иван, племянник твой.

Тут вся родня стала удивляться, каким молодцом я вышел. На следующий день пошли с родней к матери Ольги Митрофановны.

Я привез ей подарки, поговорили, понравился ей, и она дала благословение — вручила мне икону и написала дочери письмо.

Вернулся я в Макеевку, передал Ольге Митрофановне икону и письмо и на другой день вышел на работу, опять стал работать газовщиком.

Тринадцатого января 1902 года мы обвенчались. На свадьбу отец приехал из Дружковки — он опять поступил туда на завод; пришел мастер Рого, Чибисов, Астахов, мои приятели-доменщики и родные Ольги Митрофановны. Свадьбу сыграли знатную. У меня к этому времени было сбережено двести пятьдесят рублей. Тут денег я не пожалел — всего на столе было вволю. Ольге Митрофановне сшил платье, купил новое одеяло, двойной матрац пружинный.

Осенью у нас родился сын. Окрестили его Павлом. Так началась у меня жизнь семейная.

VIII

На заводе тем временем пустили вторую доменную печь. Меня послали туда работать газовщиком и дали мне подручного.

Однако вскоре начался промышленный кризис, металл стал залеживаться на складе, и вторую доменную остановили. Я вернулся к Астахову.

Однако через год опять пустили второй номер. Обермастер Фалькенберг предложил мне идти на горно, поучиться работе горнового. Я с удовольствием пошел на это дело. Горновой в доменном цехе — это самое главное лицо после мастера, чуть ли не второй мастер. Мастера в Макеевке, как и в Дружковке, были сплошь французы. Почти все они, за исключением одного или двух, вели себя так же, как и в Дружковке. К ужину им приносили корзинки с пивом и вином, с бутылкой водки, они пили допьяна, потом ложились в будке на столы и спали до самого утра. Хороший горновой или слабоватый — для таких мастеров все равно: знай себе храпят. Не любили они доменных печей.

Долго работать на горне мне не пришлось. В сентябре 1903 года подошел мой срок призываться на военную службу. В то время призывники тянули жребий. Мне достался дальний жребий, я получил вторую льготу и был освобожден от военной службы. Я вернулся в Макеевку и явился к Фалькенбергу. Он мне обрадовался, пошутил со мной, а потом сказал:

— Вот что, Коробов, ты не будешь больше горновым работать, а пойдешь помощником мастера.

Для меня это было так неожиданно, что я даже не придумал, что сказать. Ведь русских мастеров и помощников на заводах в то время почти не было: всюду засели иностранцы.

Помощником мастера я был назначен 15 ноября 1903 года. Это большая дата в моей жизни. Выдвинул меня на эту должность Фалькенберг. Этот мастер выделялся среди других. Я работал с ним восемь лет, прошел его школу, считаю себя его учеником и хочу рассказать о нем подробнее.

Все наши лучшие макеевские доменщики — Сорокин, Серов, Векличев, Антошечкин, Малин — побывали в его школе, вышколены им.

Фалькенберг был родом из Эльзаса. В 1902 году ему было около пятидесяти лет. Был он невысокого роста, здоровый, толстый, ходил тяжеловато, в усах пробивалась седина. От других мастеров он отличался прежде всего своей хозяйственностью. Придет в цех и сразу заметит малейший непорядок. Подзывает горнового:

— А ну, иди сюда. Смотри, кусок руды у тебя валяется, кусок скрапа попал в шлаковую коробку. Что ты за хо-

зяин? Мы руду за семьсот километров возим, а ты чугун выбрасываешь.

Когда он приехал, то не умел говорить по-русски и ходил со словарем. Если нужно что-нибудь сказать, он сначала в словарь заглядывал. А потом выучился, стал свободно говорить.

Он курил сигары. Помню один случай. Взял он сигару, достал спички, вынул из коробки спичку, посмотрел на нее и положил обратно. Подобрал с полу бумажку, зажег ее о горячий чугун и прикурил.

Я его спросил:

— Господин Фалькенберг, почему вы спичку достали и обратно положили, а от чугуна прикурили?

Он ответил:

— Не понимаешь? Коробка спичек копейку стоит, на нее труд затрачен, а бумажка ничего не стоит, так валяется.

Он и к производству этак относился. Рабочие уважали его за то, что он не признавал никаких магарычей или взяток. Он никогда не предоставлял человеку должности за взятку. Некоторые пробовали ему давать, но он их выгонял.

— У меня своего хватает,— говорил он,— а ты несешь последнее. Если заслужишь — получай, а покупать меня не надо.

И действительно, человек способный, ловкий, старательный у него быстро продвигался. Заслуживаешь — вот тебе вперед дорога; не заслуживаешь — будь позади,— таков был его принцип.

Такой начальник был редким исключением при капитализме. Другие мастера из-за личных счетов не давали людям ходу. Ответил грубо мастеру, или не поднес бутылку водки, или не пошел огород ему копать — и нет тебе повышения, покуда не поумнеешь. А если поругаешься с мастером или же если ему шепнут, что ты где-нибудь за углом костил его, он сразу при удобном случае придерется, оштрафует, а то и выгонит с завода. К кому пойдешь искать правды?

Мне на редкость посчастливилось, что моим начальником был Фалькенберг, справедливый и строгий человек, для которого самым святым было дело, производство.

Он часто делал так: полезет на доменную печь и посматривает сверху, кто как работает. Поработал, сядь,

отдохни, покури. Он против ничего не имел. Но ежели человек покурил, потом поглядел вокруг — не видно ли десятника? — и опять закурил, потом снова оглянулся, снова постоял,— этого Фалькенберг не выносил. Спустится с доменной, подходит к такому человеку и говорит:

— Давай лопату и иди в контору за расчетом. Такой работник мне не нужен.

А я никогда не ходил шагом; пошлют куда-нибудь, так я бегом. Такой у меня характер,— хочу все сделать поскорей, получше. Только курил я в то время много. Помню, один раз бежал-бежал, а потом захотелось покурить, вынул портсигар и пошел шагом, чтобы свернуть цигарку. После этого в цехе говорили: «Что случилось с Коробовым,— он вдруг шагом пошел?»

А Фалькенберг все это с доменной печи высматривал.

Затем он требовал точного исполнения своих приказаний. «Не делай своего хорошего, а делай мое плохое» — это его слова. Был однажды такой случай. Доменная печь долго не работала, и при пуске надо было переменить брызгало.

Фалькенберг сказал монтеру:

— Сделай новое брызгало и поставь.

А у меня точно такое же брызгало было спрятано. Смотрю, монтер гнет трубку, делает брызгало. Я говорю:

— У меня есть такое старое.

— Где? Давай.

Примерили, трубка в точности пришлась. Поставили, приходит Фалькенберг.

— Почему брызгало старое?

Монтер отвечает:

— Я хотел гнуть, а Коробов мне сказал, что у него старое есть.

— Где Коробов? Разве он тебе приказывает?

Зовет меня.

— Кто тебе позволил менять мое распоряжение?

Я говорю:

— Вы сами учили по-хозяйски относиться. Если старое еще годится, зачем же новое делать?

— Надо было меня спросить. Раз я приказал, никто не имеет права менять моего слова.

Я потом подумал и решил, что Фалькенберг прав. В доменном деле такая же опасность, как и на войне. Люди

должны быть приучены к точности, к исполнительности, к дисциплине. Конечно, Фалькенберг служил капиталистическому строю, помогал эксплуатировать рабочих, но он был честный техник. То, чему он выучил меня и других, пригодилось нам, когда заводы стали нашими. Он вышколил людей, которые относятся к производству по-хозяйски.

Я крепко усвоил, что рабочий всегда должен работать честно, что жульничеством и обманом не добьешься ничего. Так и детей я воспитал. И всегда работал добросовестно и от других того же требовал, хотя и знал, что труд наш тяжел неимоверно. Работали мы по-прежнему по двенадцати часов в сутки. А мне, хотя я и стал помощником мастера, приходилось тяжелее многих. Полтора года я работал только ночью. Так приказал Фалькенберг, потому что он знал, что мастера-французы по ночам спят. А мне в течение полутора лет ни одной ночи поспать не удалось. Мастер Валин давал мне часа два соснуть, а когда мастер Жерве дежурил, это было для меня несчастье. Он спит всю ночь, а мне нельзя. Этот Жерве был сонный, туповатый и ленивый. Он хотя назывался мастером, но вместо него работали русские; он был вроде свидетеля.

По воскресеньям он выходил на охоту. Другие вставали чуть свет, а то и ночью уходили за пять — десять километров, а Жерве появлялся из дома часов в одиннадцать, когда все охотники уже возвращались.

Шел он медленно, тяжеловато, с ружьем в руках. Увидит жаворонков, взведет курок и бьет по ним. На охоту он надевал тужурку с накладными карманами: положит жаворонков в карман и шествует дальше. Походит с час, набьет карманы жаворонками, которых никто, кроме него, не стрелял, и возвращается домой. Таким же ленивым он был и на производстве. А считался надо мной начальником, приходилось ему подчиняться.

IX

О революционных событиях 1905 года много рассказать я не сумею. Я в то время не был политически сознательным человеком.

Рядом со мной жил сторож брикетной фабрики, недавно приехавший из Петербурга. Он старался растолковать нам,

что такое революция. Помню, он рассказывал, что питерские рабочие выбирают цеховых старост, что на питерских заводах появились советы старост.

— А для чего эти старосты нужны? — спрашивал я.

Он говорил, что рабочие должны управлять заводами, должны добиться восьмичасового рабочего дня и увеличения заработной платы. А мне не верилось, что когда-нибудь мы будем работать только восемь часов в сутки. И уже совсем немыслимым казалось, чтоб рабочие управляли заводом.

Сторож иногда сердился:

— Экие вы неповоротливые, ничем вас не расшевелишь!

Но каждый вечер он все-таки твердил свое, разъяснял, как только мог. И я хотя по-прежнему сомневался, но начал понимать, что рабочим действительно хорошо бы иметь своих старост, свои комитеты и советы. Но Фалькенберг нас предостерегал. Он говорил, что Франция уже видела революцию, а вы еще не переживали ее и не знаете, чем все это кончится.

— Смотрите,— говорил он,— будьте осторожны. Не идите ни направо, ни налево. Неизвестно, чья сторона возьмет, не присоединяйтесь ни туда ни сюда. Идите по прямой дорожке, работайте честно, и больше ничего.

А жена моя, Ольга Митрофановна, говорила по-другому. Она считала, что надо поддерживать своих товарищей рабочих.

— Мы-то живем ничего,— говорила она,— прилично зарабатываем, а посмотри, как кругом люди страдают.

На заводе шли разговоры о забастовке.

Я спрашивал Фалькенберга:

— А что делать, если товарищи придут снимать с работы?

Он отвечал:

— Если будут гнать, то надо уходить. Противиться нельзя.

Так оно и вышло. Забастовку начал механический цех. Пришли к нам, кричат:

— Выходите все за ворота!

Фалькенберг говорит:

— Разрешите, господа, выпустить чугун. А то доменные закозлятся, и самим же рабочим придется потом мучиться.

Нам разрешили выпустить чугун, потом мы забили фурмы глиной, выпустили газ, все честь-честью, и пошли.

На следующий день все рабочие вышли на демонстрацию. Мы, несколько тысяч макеевских рабочих, шли по главным улицам с красным знаменем. На знамени было написано: «Владыкой мира будет труд». Я шел вместе со всеми, смотрел на эту надпись и все ожидал, что вот-вот выскочат откуда-нибудь казаки или полицейские, разорвут наше знамя и плетками разгонят нас.

И действительно, скоро нам навстречу вышли полицейские. Демонстрация задержалась, но потом смяла полицию и двинулась дальше. Мы шли прямо к полицейскому управлению. На крыльцо вышел пристав и стал что-то грозно говорить. Но мы закричали:

— Долой полицию! Снимай шапку!

Его окружили рабочие, он побледнел и снял свою полицейскую фуражку. Мы спели революционную песню и тронулись дальше. Прошли по французской колонии.

В директорском доме, самом роскошном в Макеевке, все попрятались. Даже в окнах ничего не было видно. Но мы прошли мирно, никто камнем не бросил, затем вернулись в город и разошлись по домам. И первый раз я тогда подумал, что, может быть, оно и вправду — владыкой мира будет труд.

Потом начались митинги — открытые, многолюдные, в центре города. Я был на двух митингах. Ораторы говорили о том, что мы работаем ни за что, что капиталисты нас эксплуатируют и наживают большие деньги нашими руками, что революция уничтожит эту несправедливость.

Я слушал во все уши.

Первый митинг был доведен до конца. К нам подъехали было казаки, офицер приказал рабочим разойтись, но оратор обратился к казакам с речью, и они не подчинились команде офицера, отказались разгонять митинг. Но в другой раз случилось иначе. Мы слышали, что нескольких казаков арестовали, что всю часть заново привели к присяге, и второй наш митинг они, после предупреждений, принялись разгонять плетками. Мне тоже пришлось отведать казачьей нагайки.

Царизм в это время стал везде подавлять революцию. Недалеко от нас, в Горловке, произошла кровавая расправа с рабочими, капиталисты уже не шли на уступки, и нам пришлось возвращаться на работу, не добившись ничего.

Мы долго мучились над тем, чтобы разжечь доменные печи, а мастера-французы смеялись над нами:

— Вот вам прибавка, повозитесь-ка с доменной печью.

После забастовки рабочих совсем согнули в бараний рог, где только было можно. Меня тоже не оставили помощником мастера, а перевели в горновые.

X

Пять лет — с 1905 по 1911 год — я работал первым горновым. Для меня, занимавшего раньше должность помощника мастера, это было понижением; первое время я чувствовал обиду, но скоро перестал огорчаться. Теперь я благодарю судьбу, что мне удалось в те годы поработать у горна. Без этого я не овладел бы искусством доменщика, не стал бы мастером доменного дела. То есть мастером меня, быть может, и назначили бы когда-нибудь, но мы, доменщики, знаем, что есть мастера по должности, по списку, по ведомости, которая лежит у кассира, и есть истинные мастера своего дела, которые иногда даже не числятся в ведомости. Доменщики никогда не признают настоящим мастером того, кто не прошел тяжелой школы у горна.

Горн — это нижняя часть печи, где расположены фурмы, сквозь которые вихрем несется в печь горячее дутье, та часть печи, где расположены также выпускные отверстия (летки) для шлака и для чугуна. Горн — самое опасное место. Там случаются прорывы чугуна, там иногда неожиданно вырывает фурмы. Тогда во все стороны хлещет чугун, шлак, горящий кокс и раскаленная пыль. Там в прежние времена рабочие нередко сгорали насмерть. За горном, особенно за чугунной леткой, горновой должен смотреть, как за своим глазом.

Через маленькие, величиной в ноготок, застекленные гляделки горновой может заглянуть внутрь печи. Пламя там настолько ослепительно, что без синего стекла нельзя смотреть. К глазку можно поднести ладонь, туда упадет яркий пучок света, и на ладони заиграют зайчики — это пляшет кокс в вихревой струе дутья.

Через гляделки по разным признакам, незаметным для непривычного глаза, горновой следит за ходом печи. Всему этому я научился в годы работы у горна. Но старым горновым, и даже горновым нашего времени, свойствен

один недостаток,— они знают только горн. Газовое хозяйство им известно плохо, а загрузке и всему, что с этим связано (подаче материалов, устройству колошника, работе верховых и т. д.), совсем не уделяют внимания. Однако различные расстройства печи чаще всего зависят именно от этого, и горновой, будь он о двух головах, останется бессилен в борьбе с неприятностями, если будет заниматься одним только горном.

Мне повезло в том отношении, что я уже знал газовое хозяйство, а кроме того, работая помощником мастера, привык заниматься всеми цеховыми делами, привык заглядывать во все углы и закоулки, привык вмешиваться во все, что могло повредить ровному ходу печей. Став первым горновым, я при малейшем признаке расстройства печи разыскивал причину, где бы она ни таилась. Я присматривался к работе газовщика, бегал на рудный двор, взбирался на колошник и вмешивался там в дела, не стесняясь, что это как бы не входит в мои функции. Меня ничто не могло остановить, если я чувствовал свою правоту, если я видел халатность или неисправность. Ругался с десятниками, с мастерами, иногда даже с инженерами, а все-таки добивался своего. Как старый практик, я могу дать совет каждому горновому: не замыкайся в отведенный тебе круг, при каждой неприятности докапывайся до корня, иди по следу, куда бы он ни вел, как хороший следователь!

Но все же, как я ни старался, и у меня бывали прорывы горна и другие аварии. Очень уж плохие, очень ненадежные были наши старые макеевские домны.

Однажды и я едва не сгорел насмерть. Печь у нас захолодала и подвисла, то есть материалы остановились и висели сводом над пустым, выгоревшим пространством. Мы пытались выпустить шлак, который едва тек, я «дразнил» его, ширяя в летке длинной пикой. В это время печь «села», материалы рухнули. Из летки и из фурм с силой плеснули шлак и чугун, меня, как волной, покрыло этой огненной лавой. Все на мне вспыхнуло. Еще одна минута, и я сгорел бы заживо. Но меня спас Фалькенберг. Он повалил меня на песок, сбросил с себя пиджак и закрыл меня, чтоб сбить огонь. Подбежали товарищи и сорвали с меня пылающую одежду. Я отделался сильным ожогом. Мне обожгло спину, шею и обе руки. Больше двух месяцев я лежал, а потом ходил в бинтах. От этого ожога у меня

в теле остались вкрапления чугуна. Даже и теперь они прощупываются на спине и в мякоти руки, круглые и твердые, как горошины.

Когда ожог затянулся свежей кожей, я иногда с некоторой гордостью нащупывал или разглядывал просвечивающие синеватые ядрышки. Иногда я давал пощупать и сынам. Это был мой диплом на звание настоящего доменщика. Я видел, что товарищи по работе стали больше со мной считаться, стали признавать во мне человека, понимающего, что это за штука — доменное дело! Я и сам чувствовал, что овладеваю мастерством.

XI

В 1911 году в Макеевке пустили домну № 3. Туда набирали новый штат и меня поставили мастером. Сначала, правда, неофициально, я получал по-прежнему жалованье как горновой и считался вроде «временно исполняющего обязанности», а с 1913 года меня окончательно утвердили в этой должности. Это был первый случай в Макеевке, когда русский доменщик стал мастером.

Что рассказать об этом времени? Тут хороших воспоминаний мало. Правда, получал я уже хорошее жалованье, дали мне квартиру из двух комнат с кухней на старой колонии, где жили служащие, но душевного удовлетворения я не чувствовал. И часто меня грызла совесть.

Дело тут вот в чем. Доменную работу я любил, хотел, чтобы моя печь действовала лучше всех других, хотел, чтоб дело у меня шло лучше, чем у французских мастеров. Если мне предстояла серьезная задача, то я ночь не спал, все обдумывал, как провести безошибочно. Если печь работает плохо, то я целыми днями сидел на колошнике, старался поймать какую-нибудь неправильность в загрузке. Каждый шум, каждый стук был у меня на заметке. Вчера не шумела, а сегодня шумит. Отчего? И мне было приятно, что там, где другие не могли ничего понять, я находил причину и исправлял расстройство в работе. Мне было приятно чувствовать свою смекалку, свою способность, свой талант. А ведь причины неполадок в доменном деле бывают такие, что целый консилиум профессоров их не откроет, если нет практики, если нет внимания к самым пустяковым мелочам.

Вот, например, случай. Расстроилась печь, чугун выходит скверный. В чем дело? Так пробуют, этак пробуют — ничего не помогает. Я по ночам думаю, голову ломаю, не могу сообразить. А оказалось все очень просто. На подаче руды работали каталями два приятеля. В одном было весу ровно пять пудов. А в доменную печь полагалось на каждую подачу загружать пять пудов марганцевой руды. Эта руда лежала у нас далеко, везти ее оттуда в ручной вагонетке тяжело и долго, особенно ночью. Ребята придумали так: пятипудовый парень прятался в вагонетку, другой гнал ее на весы, и весовщик отмечал пять пудов марганца. Ночью, когда темно и люди сонные, это легко им удавалось. Я это дело открыл. За такие фокусы ребятам следовало бы дать расчет. Пришел домой, рассказал об этом жене, а она за них вступилась. Подумал я,— и правда. Ведь люди по двенадцати часов работают, возят на себе сто пудов, как лошади, а получают рубль в день. Конечно, им хочется немного облегчить себе работу. Вот и идут на жульничество. Но и спустить им этого нельзя. Ведь успех в доменном деле зависит от людей. Распустятся, станут обманывать, лодырничать, и тогда, сколько ты ни бейся, ни старайся, печь твоя не будет работать хорошо.

Вот тут и приходилось мучиться.

Характером я вспыльчивый, на людей кричал, требовал добросовестной работы, а по ночам совесть иногда покоя не давала. Вспомнишь, что человек всего тридцать рублей в месяц получает, что семья у него большая, что работает он от зари до зари, и не можешь дать себе отчета, правильно ли, справедливо ли ты поступил.

Теперь нам, мастерам, хорошо — завод принадлежит народу; если мы строго требуем, то не капиталистам этим служим, а своему государству, своему народу; теперь всякому понятно, что труженик — правильный, справедливый человек, а лодырь — негодный человек, а тогда — поди-ка разберись в этом. Я мог бы стать мастером-шкуродером и иногда чувствовал, что становлюсь черствым, жестоким, бессердечным, но каждый раз жена моя Ольга Митрофановна пробуждала во мне совесть. Она была вроде тормоза для меня, не позволяла мне слишком сурово относиться к людям. И я не понимал: в чем же справедливость? Я ли прав, что своим старанием и умением, любовью к труду дошел до звания мастера и командую теперь людьми,

заставляю их работать, наказываю и ругаю их, или же они правы, когда стараются поменьше сделать, стараются отлынивать от своего тяжелого и часто постылого труда?

Я начал было искать в религии решения этих вопросов. У нас в Макеевке появилась баптистская община. Я стал вместе с моим родственником и приятелем Антошечкиным, тоже доменным мастером, ходить на их собрания, слушать баптистские проповеди. Теперь я давно не религиозный. Но тогда мне нравилось, когда они говорили о том, что все люди — братья, что надобно любить друг друга. Под их влиянием я бросил курить и перестал ругаться. В глубине души я не был религиозным и потянулся к баптистскому учению ради того, чтобы сохранить в себе человечность, сохранить в себе совесть, чтоб не стать беспощадным извергом, какими делались некоторые мастера.

Конечно, как я теперь понимаю, во всем этом было много лицемерия, я мог бы стать волком в овечьей шкуре,— у нас такие баптисты были,— но в то время мои искания истинной веры и настоящей справедливости были для меня таким же тормозом, как и влияние жены Ольги Митрофановны. Я старался найти правильный подход к рабочим, чтоб они меня слушались, но не стали бы меня ненавидеть.

Поймаешь человека на каком-нибудь проступке, вроде того, о чем я раньше рассказал. Я мог бы доложить начальнику. Но, думаю, зачем у человека кусок хлеба отнимать? Поругаю его сам и на этом закрою дело.

Потом я держался правила: никогда рабочих не обманывать.

Вот, предположим, какая-нибудь авария или срочная работа. Я говорю рабочим: «Пойдем, ребята, наляжем, а потом я вам дам два часа отдохнуть».

Если они тебе верят, всегда можно заставить работать напряженно. Русский рабочий горы свернет, если вы его не обманете, если к нему правильный подход найдете. Если сегодня я не могу дать им отдохнуть, то объясняю: «Сегодня не выходит, а завтра дам вам отдых»,— и твердо обещание выполняю. Тогда и в другой раз рабочие выручат, только попросите.

Или вот, например, штрафы. Я, как мастер, имел право штрафовать. Увижу провинность, позову рабочего:

— Ты почему не сделал, как я приказал? Вот наложу штраф...

— Простите, Иван Григорьевич, мою промашку.

Я знаю, что рубль каждому жалко заплатить. Ну, думаю, раз человек просит — нужно уважить.

— Ну, ладно, говорю, смотри, другой раз не попадайся!

Но уж если человек постоянно лодырничает или жульничает, то тут я ему не прощал. Тут я не признавал ни земляков, ни кумов, ни сватов. Кумовства у меня на работе не водилось. Рабочие знали: если Коробов наказал кого-нибудь, то за дело, а не по личным счетам. За это меня уважали. Кумовьев у меня было много: наверное, человек у двадцати пяти макеевских доменщиков я крестил детей. Но близкая компания была у меня небольшая, человек шесть-семь — русские мастера-доменщики и первые горновые. Собирались мы несколько раз в год — к каждому на престольный праздник. Каждый из нас справлял престольный праздник своей деревни: один — воздвиженье, другой — покров, третий — николин день.

С Антошечкиным я был из одной деревни, и у нас был один престольный праздник. Мы гуляли два дня подряд — у меня день и у него день. Сойдемся вместе с женами, закусим, выпьем и начнем разговаривать, спорить. А разговоры у нас были всегда одинаковые — о производстве.

Рассказывали разные случаи на печах, спорили, кто лучше всех работает, кто ремонты скорее делает, кто самый смекалистый, кто самый первый доменщик. Иногда так заспорим, что чуть не в драку. Это был кружок людей, которые любили доменное дело.

Но в те времена лучший работник, лучший мастер вовсе не был самым уважаемым человеком на заводе. Мы никогда и не воображали, что о таких людях могут писать в газетах. Наоборот, я, будучи мастером, часто испытывал отчужденность, испытывал одиночество в нашей многотысячной Макеевке. Для рабочих мастер был начальством, неровней, а у высших слоев мастер считался ничтожеством, как всякий, кто трудится руками. Мне приходилось иногда ходить по делу на квартиры инженеров,— там меня дальше кухни не пускали. Любой конторский служащий причислял себя к интеллигенции, а мастер был для него существом низшего класса. И у французов было такое же разделение: француз инженер или служащий не посадит с собой за стол француза мастера.

Разве кто-нибудь из нас мечтал, что лучшие работники станут самыми почетными людьми, что улицы будут украшены их портретами, что их будут награждать орденами и избирать в высшие органы государства?

Так и прожил бы я свой век безвестным, никому не интересным мастером макеевских доменных печей, если бы революция не перевернула до основания весь старый мир.

XII

В 1913 году у меня уже было три сына. Павел родился в 1902 году, Николай — в 1905, и Илья — в 1910. В промежутках между появлением на свет мальчиков рождались девочки, но они, Марфуша и Леля, умерли маленькими. Клавдия родилась позже — в 1916 году.

Когда меня назначили мастером, я обратился к начальнику цеха французу Эстуру с просьбой дать мне квартиру из двух комнат. До этого жил я в одной комнатке.

Он сказал:

— Хорошо, дам.

Прошло много времени, а Эстур, как видно, позабыл о моей просьбе.

Однажды он ехал на лошадях мимо моей квартиры, я вышел на дорогу и остановил его:

— Господин Эстур, поглядите, как тесно я живу. У меня уже дети большие, старшему сыну одиннадцать лет, а живем все в одной комнате,— нехорошо.

Он опять обещал дать, вынул книжку и записал.

Опять прошло больше месяца — никакого результата. В третий раз подхожу к нему и говорю насчет квартиры.

— Разве вы еще не получили? Как же это так? Обязательно сделаю.

И еще раз записал в книжечку.

Проходит неделя, проходят две, а о квартире ничего не слышно.

Обращаюсь в четвертый раз:

— Господин Эстур, мне уже совестно просить. Когда же квартира будет?

— Неужели вам еще не дали?

Вот таким способом я в конце концов добился квартиры из двух комнат. Так «ценили» в прежнее время ма-

стеров. Если бы не моя настойчивость, ничего бы я не получил. А у меня такой характер: поставил себе задачу и добьюсь. Я и на производстве такой. Иногда я говорю о себе: «В дверь выгонят — в окно полезу; в окно выгонят — в дверь полезу».

Примерно такая же история случилась, когда я задумал дать своим детям образование.

У нас в Макеевке было частное учебное заведение (оно, кажется, называлось «прогимназией»). Там учились дети начальников, служащих, торговцев, подрядчиков, но детей рабочих среди учеников не было.

И вот задумал я учить сына в этой прогимназии. Ольга Митрофановна особенно настаивала на этом. Она говорила:

— Ты целый век горбачил, неужели и детям нашим этак же придется? Если мы их выучим, им легче будет жить. А то они нас с тобой спросят, когда вырастут: «Что же ты, отец, хорошо зарабатывал, имел возможность нас учить и не выучил?» Некрасиво это будет.

Подумал я о своей жизни, вспомнил, как тяжело мне приходилось в молодые годы, и согласился.

Прихожу в прогимназию. Директором и владельцем прогимназии был Муромцев. Раньше он служил на военной службе, имел офицерский чин и ходил в офицерской одежде. Волосы зачесывал ежиком, усы закручивал, подобно Вильгельму; когда сердился, то все это дыбом поднималось.

Я спросил у швейцара, где кабинет директора, узнал, как его имя и отчество, постучался и вошел.

— Здравствуйте, Александр Николаевич.

— Здравствуйте. Что вам угодно?

— Хочу сына отдать в вашу прогимназию.

— А вы откуда?

— С завода генерального общества (так назывался тогда Макеевский завод).

— Кем вы там служите?

— Мастером доменного цеха.

Он покривился и сказал:

— Сейчас нет свободных мест.

— Александр Николаевич, может быть, вы как-нибудь найдете?

— А он что окончил?

— Начальную школу.

— Нет, не могу.

— Александр Николаевич, будьте любезны...

— Сказано вам, что нет у меня мест.

Я осекся, поклонился и пошел домой.

В цехе я обратился за помощью к своему начальнику Эстуру. Он написал записку Муромцеву, положил в конверт и дал мне. Потом я пошел к помощнику начальника цеха русскому инженеру Паневу. Я знал, что его дети учились в прогимназии.

Панев сказал мне:

— Хорошо, я поговорю с директором.

Через несколько дней он подозвал меня.

— Я поговорил о вашем сыне. Идите к директору.

Прихожу во второй раз к Муромцеву. Подаю ему конверт с запиской Эстура.

— Это вам, Александр Николаевич. Будьте настолько любезны, может быть, одно место как-нибудь найдется.

— А вы знаете условия прогимназии?

— Какие условия?

— Сколько тут надо платить?

— Сколько?

— Сто пятьдесят рублей в год и форму приобрести мальчику: шинель, гимнастерку серую полусуконную, фуражку.

— Раз надо — уплачу и сделаю.

— Хорошо, пусть приходит, я проверю его знания.

Таким образом в 1913 году Павел был принят в макеевскую прогимназию.

Через год начальную школу окончил Николай. Жена мне говорит:

— Николай тоже просится в гимназию.

— Обождет, очень мал еще.

Он в самом деле был очень маленького роста. И платить за двоих мне было бы трудновато. Жалованье я получал приличное — больше ста рублей в месяц, но как-то тяжело было с деньгами расставаться. Каждый раз, после того как заплачу в гимназию за Павла, долго хожу расстроенный. Ведь в любой момент могли выгнать меня с завода. Вот что было страшно. Выгонят — что будешь делать, пока место найдешь, если денег не скопил? Вот поэтому я до революции тянулся за рублем, считал каждую копейку. Вот поэтому приходилось низко кланяться всем начальникам, даже самому маленькому чину. Теперь

другое дело. После революции характер у меня переменился: я не стал тянуться за рублем.

А Ольга Митрофановна все настаивает:

— Давай и Николая определим в гимназию.

И сам Николай просится. Я решил посоветоваться с учителем начальной школы, не рано ли Николая отдавать в гимназию.

Учитель мне сказал:

— Знаешь что, Иван Григорьевич, твой Николай хотя и маленький, а занимается хорошо. Но если еще один год в начальной школе посидит, вреда ему не будет.

Прихожу домой:

— Вот что, Николай. Учитель сказал, что ты для гимназии еще мал. Поучись еще год в начальной, а там видно будет.

Как заревет Николай:

— Что же я, пока женатый не стану, все буду учиться в начальной школе?

Эти его слова у нас в семье до сих пор помнят.

— Да ведь тебя не возьмут.

— Возьмут.

— А ты сходи вместе с ним,— сказала Ольга Митрофановна.

Делать нечего,— взял Николая с собой и пошел к Муромцеву.

Николая оставил в коридоре, а сам постучался и вошел.

— Здравствуйте, Александр Николаевич. Я к вам опять с просьбой.

— Что такое?

— У меня еще один сын есть. Будьте настолько любезны, примите его. Хотя он очень маленького роста, а занимается неплохо.

— А где он?

— В коридоре стоит.

— Позовите-ка его.

Входит Николай.

— Э, ты очень мал,— говорит директор.

Николай был робкий, но ему так хотелось учиться, что он заплакал и сказал:

— А вы меня проверьте.

— Ну, ладно, проверю. Перестань-ка плакать.

Стал он проверять Николая по арифметике, велел что-то написать, поглядел и сказал:

— Ладно, приму. Ваш старший сын хорошо занимается. Будем надеяться, что и этот будет не последним.

Я обрадовался, поблагодарил и сказал:

— Я тоже думаю, что и из Николая выйдет человек.

Детей воспитывала главным образом мать — Ольга Митрофановна. Она привила им свою честность, доброту, человечность, свое стремление к справедливости. А я мало их касался. Ведь рабочий день — двенадцать часов, да надо выйти пораньше, чтоб смену принять, чтоб все заранее осмотреть, да после работы на час задержишься, пока рапорт сдашь,— вот так и получалось, что дома оставалось время только на то, чтобы поспать. Но иногда посидишь с ребятами, послушаешь, как Павел и Николай рассказывают о гимназии.

Помню, Павел как-то говорит:

— Вчера Субботин такую шутку сделал. Взял бумажку, скатал шариком, послюнил и выстрелил из рогатки учителю в затылок, когда тот у доски объяснял урок.

Субботин — это была известная у нас в Макеевке фамилия. Он торговал шапками. В гимназии много было эдаких богатеньких. Батманов — в его руках была вся мясная и колбасная торговля; Кучеренко — хлебник, снабжал весь поселок хлебом; Перешивайлов — торговля мануфактурой и готовым платьем. Их сынки в гимназии были самые отъявленные лодыри и озорники.

Послушал я Павла и говорю:

— Вот что, сынок. Ты таких шуток не делай. Поймают Субботина,— придет его отец и загладит все. Ежели нужно, он сунет учителю сотенную или две, и делу конец. Если ты это сделаешь, тебя выгонят без всяких разговоров. Я вашего учителя купить не могу, а если приду просить, то на меня никакого внимания не обратят. Вы должны учиться хорошо, потому что работаю я тяжелую работу и плачу из последних денег. А выгонят тебя,— куда пойдешь? На завод, чернорабочим? Будешь лопатой ковырять? Я-то выбился в мастера, хотя и малограмотный, а ты выбьешься ли, это еще вопрос.

Дети все это осознавали и учились хорошо. После того как я своих сынов устроил, туда приняли еще несколько детей заводских рабочих. И получилось так: наши дети лучше всех учились, а богатенькие были на последнем месте.

XIII

В феврале 1917 года мы узнали о революции. Помню, я работал в ночь. Пришел вечером на смену, а в цехе идут разговоры шепотком, что в Питере началась революция.

Утром кто-то прибежал с телеграммой о том, что правительство арестовано, а царь отрекся от престола.

Собралась манифестация, рабочие пошли обезоруживать полицию. Никогда не забуду первого митинга. Выступали ораторы, говорили о свободе, о восьмичасовом рабочем дне, о том, что трудящийся человек должен быть самым почетным лицом в государстве, о справедливой и правильной жизни.

Я стоял, слушал, открыв рот, и думал: «Эх, добро какое!» А когда запели «Братство, любовь и свобода», у меня даже волосы на голове зашевелились, фуражка вверх полезла. Вот, казалось, дожили наконец до счастья.

Но затем начались распри между партиями. Тут я впервые узнал о партии большевиков. Стали выступать большевики и говорить, что Временное правительство ведет неправильную линию, что рабочие и крестьяне должны кончать войну, брать в свои руки власть, прогнать капиталистов и объявить народной собственностью заводы, фабрики, рудники и землю.

А меньшевики говорили, что без капиталистов у нас ничего не выйдет. Меньшевики стаскивали большевиков с трибуны, но они стояли на своем. Я в этих спорах плохо разбирался, но видел одно: на заводе с каждым днем дела шли все хуже и хуже. Дисциплина расшаталась, рабочие среди дня уходили на собрания и на митинги, не действовали никакие уговоры. Я понимал, что каждому хотелось вздохнуть свободно, хотелось сбросить тяжесть изнурительного вековечного труда, но доменные печи оставались без загрузки, чугун не убирался, и становилось боязно: куда же это все идет, чем все это кончится? И я вспоминал слова Фалькенберга: «Вы еще не видели революцию...»

В цехе была такая картина. Сидят катали, чугунщики, курят, разговаривают. Час сидят, два часа сидят, о доменных никто не думает. Французы присмирели. Только ходят, поглядывают, а приказать уже боятся.

— Ребята, давайте работать. Ведь без работы ничто в мире существовать не может.

— Пока что существуем.

Пошла мода щелкать семечки. Весь завод был заплеван кожуркой от семечек. Остановили сначала одну доменную, потом другую. А в декабре, после того как победила Октябрьская революция, дирекция вывесила объявление о том, что завод закрывается. Все получили расчет. Развал был такой, что даже печей не выдули, а бросили, как есть.

Пришел я домой и рассказал, что завод остановился. У сынов в прогимназии дело обстояло лучше,— там занятия продолжались.

Многие рабочие стали разъезжаться по деревням, по родным местам. У Макеевки начались бои, и власть захватили белые. Мы решили обождать, поглядеть, что будет дальше. Но проходит месяц — завод стоит без движения. Я подумал, что ежели эдак будешь чего-то ожидать, то останешься без куска хлеба. Мы по слухам знали, что в деревнях в это время забирали у помещиков и делили скот и земли. Я посоветовался с женой и решил поехать на родину, сначала один, чтоб посмотреть, что там делается и можно ли будет, если придет крайность, перевезти туда семью. Мы уже начали продавать кое-что из мебели. Продали гардероб, буфет, кровати, продали также и иконы. Эти иконы были дорогие, с серебряными ризами,— жена любила хорошие иконы. Продал я их и с той поры перестал молиться. В январе 1918 года я выехал из Макеевки.

XIV

Ехать было очень трудно. На железных дорогах чувствовалась разруха. Подолгу стояли на каждой станции. Солдаты возвращались с фронта, на больших станциях дежурили красногвардейцы, ночью слышалась стрельба. Доехал я до своей станции. Вышел из вагона — снег, ветер, разыгрывается пурга. Собралось подвод восемь в нашу деревню и тронулись друг за другом. А в поле метет, крутит, из-за снега ничего не видно. Дорогу занесло, лошади сбиваются с пути. Сижу я на подводе и думаю, что и у меня, и у всей России жизнь сейчас такая, что ничего впереди не разглядишь. Собьемся с пути и пропадем. К ночи все-таки доехали. Я переночевал у родственников, а утром поехал к теще.

Все меня уговаривают:
— Переезжай в деревню. Дадим земли, дадим скота, будешь хозяйничать.
— Ладно,— отвечаю,— погляжу, подумаю.
В тот день, когда я приехал к теще, как раз в экономии делили свиней и телят. Пошел и я на эту дележку. Народу набилось уйма, шум стоял дикий. Если у человека много скота, он еще хочет, если мало — то этот еще сильней кричит. Делили голосованием. Доходило и до драки.
Не понравилась мне эта жадность, эта дележка, скандалы, неприятности между народом. Посмотрел я на крестьянскую жизнь. Мало изменилось с тех пор, как я ушел из дому мальчишкой. Во многих избах топили по-черному, как и раньше. Жили грязно, черно, хлебают из одной миски, ложки достают из ящика немытые, бери, кто какую хочет. Женщины мучаются в работе. А подойдет весна — еще солоней придется. Тут уже все пойдут работать, даже десятилетние ребята. Хорошего образования получить здесь детям негде. Нет, не понравилась мне деревня.
С тяжелым сердцем возвращался я в Макеевку.
Назад ехать было еще труднее. С Харькова я висел на подножке, а потом бочком-бочком пролез в вагон. Там духота, до рвоты доходило, кричали: «Разбивай окна!»
Жена очень волновалась, не убили ли меня где-нибудь. Подала умыться, накормила, чем пришлось, и стала расспрашивать:
— Ну, как там?
Я сказал ей:
— Буду жить, как придется, на пепле семь лет буду жить, а туда не поеду.
— Почему?
Я рассказал ей о том, что видел в деревне.
Не тянуло меня завести свое хозяйство. Заводская жизнь нравилась мне больше. На заводе я работаю один, а семья у меня спокойна. Жене в поле не идти. Детям тоже. Там обрастешь бородой по пояс, а часто и не умываются. А главное — дети там образования не получат. А мне хотелось выучить детей. Я думал так: сам я ишачил, переносил тяжелую работу, и детям была бы такая доля, если их не учить. Сам я темный, жена темная,— неужели и детям придется быть такими? А в Макеевке хотя завод и стоял, но учение продолжалось.

Кроме того, хотелось верить, что скоро опять задымят наши доменные. Пойдешь на завод, там тихо, жутко, иногда даже испугаешься, когда что-нибудь зашумит,— кирпич какой-нибудь свалится или ворона каркнет,— походишь, поглядишь на холодные доменные и подумаешь: неужели так все это и останется? Ведь без наших доменных вся Россия пропадет. Нет, этого не может быть. Пустят, задуют их когда-нибудь.

Мы с женой так и порешили: будь что будет, а из Макеевки мы никуда не тронемся.

XV

И действительно, в феврале 1918 года вызывают меня к помощнику начальника доменного цеха Паневу.

Он говорит:

— Ну, Коробов, выходи завтра на работу. Будем первый номер раздувать.

Я обрадовался.

Власть у нас в Макеевке держали в то время донские казаки, и все французское начальство оставалось пока на своих местах. Французы командовали и пуском. Обер-мастером был Жерве, о котором я рассказывал. Он и на этот раз был вроде свидетеля, а фактически задувку пришлось проводить мне. Помучились мы сильно. Печи были брошены на ходу. Не выдуты, не очищены, как положено по правилам доменного дела. Пришлось выгрести всю золу, которая там скопилась, а ведь это не домашняя печка: из каждой доменной до полусотни вагонов пришлось выбросить. Кое-как раздули две печи, а третью пока не трогали.

В апреле 1918 года стало слышно, что к нашим местам подходят немецкие войска. Сначала как-то не верилось, но однажды подали на завод поезд, все французы погрузились в вагоны и уехали. В дирекции остался только их уполномоченный, некто Протопопов, какой-то акционер завода.

А две доменные, которые мы пустили, пока что продолжали работать. И как-то вышло само собой, что после бегства французов я стал обер-мастером доменного цеха. Не помню даже, был ли об этом официальный приказ или просто Панев сказал мне, чтоб я занял место обер-мастера. Вот с тех пор и по сие время, то есть больше двадцати лет,

я занимаю пост обер-мастера макеевских доменных печей. Правда, один раз меня сместили, но об этом случае речь будет впереди.

В конце апреля Макеевку заняли немцы. Они сразу все продовольствие поволокли с Украины к себе в Германию — хлеб, яички, масло, свиней, кур, рогатый скот. Туда же и фураж погнали. Стало трудно что-нибудь купить на рынке. А нам перестали платить жалованье. Хозяев нету, завод неизвестно чей. В мае на воротах вывесили объявление, что завод останавливается и все рабочие рассчитываются.

И на этот раз завод остановили как попало, не по-хозяйски. Получили мы расчет. Что же теперь делать? Надо добывать где-нибудь хлеба. Деньги у нас были разные: и царские, и керенки, и украинские карбованцы, и немецкие марки. Соберемся маленькой компанией — трое или четверо — и едем за хлебом. А кругом на станциях стояли немцы, следили, чтоб русские не возили хлеб. Приходилось на лошадях возить из Волновахи, приходилось и на другие хитрости пускаться.

Некоторые думали, что немцы взяток не берут. А я убедился, что берут. В Ульяновке купили мы хлеба. Как на станцию доставить, как в поезд погрузить? Спрашиваем знаками у немецкого жандарма:

— Пшеницу можно провезти?

— Нет.

А когда сунули ему десяток марок, то сразу разрешил.

А то и так было: собралось нас человек десять, купили мы пудов двести пшеницы и погрузили на маленькой станции, где немцев не было. А впереди, на станции Чаплино, немцы делали в вагонах повальный обыск и у всех отбирали хлеб. А мы запечатали наш вагон пломбой, а сами в другие вагоны перебрались. На станции Чаплино подошли к вагону немцы, посмотрели пломбу, покрутили головами и пошли дальше по вагонам. Так и доехали с пломбой до Макеевки.

У нас в Макеевке стояли, собственно говоря, не немцы, а австрийцы. Это народ помягче. Но в тех местностях, куда мы ездили за хлебом, крестьяне рассказывали нам о жестокости немцев. Забирая повсюду пшеницу и скот, они беспощадно расправлялись со всяким, кто осмеливался протестовать. Там бывали расстрелы и массовые порки, там возненавидели немцев.

В ноябре 1918 года в Германии разразилась революция, кайзера спихнули, и немцы подались восвояси с нашей Украины. На их место в Макеевку пришли белогвардейцы. Вокруг Макеевки опять начались бои. Белогвардейцы арестовывали и расстреливали рабочих. Чуть не попал под расстрел и мой Павел. Дело было так. В Макеевке иногда появлялись прокламации большевиков. Однажды утром была наклеена такая прокламация в доменном цехе. Мимо шел Павел, остановился вместе с рабочими и прочел им вслух эту прокламацию. А затем пошел по своим делам. Ему в это время шел всего лишь семнадцатый год, но он был очень серьезным парнем. В гимназии, которая стала называться курсами, он был председателем ученического комитета. В разговорах среди семьи он всегда высказывался за большевиков. В то время он мечтал стать писателем и записывал в толстую тетрадку свои стихи и мысли о жизни. Вечером, в тот день, когда он прочел вслух прокламацию, к нам вдруг постучали. Я открыл. Вижу — белогвардейцы: офицер и два казака.

— Квартира Коробова здесь?

— Да. Что вам угодно?

— Нам нужно к вашему сыну Павлу.

— Его нет дома.

— Мы обождем. А пока произведем обыск. Возьмите понятых.

Я позвал соседей. Начался обыск. Часа три они рылись. Перекопали все сундуки, каждую книжку пересмотрели, в печи, в отдушины заглядывали, матрацы перещупали. Когда офицер взял толстую тетрадку Павла, у меня все внутри похолодело. Но он перелистал ее, потряс — не выпадет ли что? — и положил на стол.

Пришел Павел.

— Это кто?

— Это мой сын, Павел.

— А... Ну-ка, где у вас прокламации спрятаны?

Павел посмотрел на свою тетрадку и, вижу, побледнел.

— У меня, отвечает, никаких прокламаций нет.

— А какой партии вы симпатизируете?

Я не дал Павлу ответить, а вмешался сам:

— Какой он может быть партии, когда ему шестнадцать лет?

А они:

— Вы отец ему, а не знаете того, что он выделывает.

Где вы, молодой человек, взяли прокламации, которые на стену приклеили?

— Я не приклеивал. Прочитал и пошел.

— Другой раз не читайте, а то плохо будет.

На этом все и кончилось. Взяли они охотничье ружье и ушли.

Потом Павел говорил мне:

— Хорошо, что они мою тетрадь не стали читать. Они не оставили бы меня тогда дома...

Если бы Павла взяли, его могли бы расстрелять. Белые расстреливали направо и налево, без всякого суда. Весной, когда стало таять, дети натыкались в степи на мертвую руку или ногу, торчащую из-под снега. Там груды тел были закопаны кое-как.

Зимой этого же года мне пришлось наблюдать такую жестокость белогвардейцев, что до сих пор вспоминать об этом жутко. Меня вызвал Панев и предложил ехать в Азов в качестве грузчика за хлебом для рабочих завода. Был сформирован поезд из заводских вагонов с заводским паровозом, и мы отправились. Приехали в Азов, когда начались уже крепкие морозы. Наш состав продвинули к пристаням, и вдруг я из вагона вижу что-то непонятное. Как будто отары овец на берегу лежат. Что такое? Мороз — и вдруг овцы. Я спросил провожатого, а он ответил, что это не овцы, а мертвые пленные красноармейцы. Он рассказал, что сюда в лагеря присылают пленных на смерть. Все бараки заражены тифом. Пленным не дают ни хлеба, ни воды. Я сам видел, как пленные огребали снег с земли и ели. Для мертвых рыли большие ямы. Рыли пленные под конвоем белогвардейцев. Потом хватали мертвых за ноги и бросали в яму. Закапывали кое-как. Мне рассказывали, что иногда заживо закопанные ночью вылезали из могилы. Когда я увидел это, мне захотелось бежать из Азова. Не Азовом я его называл, а городом смерти.

Когда мы грузили хлеб, на станцию прибыл эшелон с пленными. Один вагон был уже набит мертвыми. Они лежали, как дрова. Среди этой груды мертвых мне особенно запомнился один: большой, красивый, с кудрявыми черными волосами.

Когда пленных выгоняли из вагонов, многие из них плакали: они, наверное, уже слыхали о том, что такое Азов; знали, что здесь смерть их ожидает.

В мае 1919 года красные войска выбили белогвардейцев из Макеевки. Мы встречали красноармейцев, как избавителей. Но в тот раз красноармейцы недолго у нас продержались. Красная Армия была еще слаба, а тут Махно перекинулся на сторону белогвардейцев,— вот и пришлось нашим отступать.

Много молодежи ушло с красными. Отступил с ними и мой Павел. Он в то время, как у нас стояли красные, принимал участие в организации комсомольцев, и его все уже знали как сочувствующего большевикам.

Решили, что пусть уходит он от беды, пусть едет на мою родину, в Орловскую губернию, а там переждет, пока не выбьют белых из Донбасса.

В декабре 1919 года мы узнали, что красные снова наступают. Вот Харьков уже взяли, вот все ближе и ближе к нам.

Под рождество, 24 декабря, всех рабочих, кто остался в Макеевке, созвали в контору и объявили, что завтра утром все должны собраться на станции Макеевка, чтобы рыть окопы против красных.

Мы вышли из конторы, и у всех одно мнение: никуда мы не пойдем, спрячемся в туннелях под заводом, и никакие офицеры там нас не найдут. Но скрываться не пришлось. Утром, когда мы встали, оказалось, что белогвардейцев в Макеевке больше нет. Через сутки пришли советские войска. В этот день у нас был настоящий народный праздник. Во всех рабочих домах встречали красноармейцев как самых дорогих гостей. Все радовались освобождению от белогвардейщины.

Новый год — 1920-й — мы встречали при Советской власти. Собрались маленькой компанией доменных мастеров и горновых и выпили за то, чтоб скорей пустить завод.

XVI

Вскоре действительно было объявлено о пуске одной доменной печи. Я опять вступил в обязанности обер-мастера. Долго мы все подготовляли. Приняли рабочих, поднакопили кокса и руды, отремонтировали доменную и все устройства, загрузили печь и задули. Задувка происходила очень торжественно. Около доменной печи был собран митинг, играл духовой оркестр. А старые рабочие привели

попа. На литейном дворе поп молебен служит, а у горна речи говорят. Но скоро наша доменная печь остановилась. Разруха в Донбассе была такая, что нам не хватило кокса даже для одной печи. Остались в работе одна мартеновская печь и один листопрокатный стан, а для нас, доменщиков, опять не стало дела. Я организовал тогда из кадровых доменщиков артель, которая была названа «Трудовая группа мастеров».

Мы ремонтировали разные механизмы: газомоторы, турбины, насосы и т. д. Хлеб разгружали, когда он прибывал. Всякие аварии помогали ликвидировать.

Однажды единственный на заводе подъемный кран опрокинулся на рельсах. Вызывают меня:

— Товарищ Коробов, сможете с вашей группой поднять кран?

— Отчего же не поднять? Все можем сделать.

Инженеры подсчитали: на подъем крана потребуется десять — двенадцать дней. По их проекту надо было штанги установить, лебедки подвести и т. д. Нам предложили сделать за восемь дней с оплатой по пять фунтов хлеба в день. Я поглядел и согласился. В том месте, где повалился кран, была навалена высокая куча скрапа. Я решил перебросить канат через эту гору и поднять кран без всяких штанг.

Начали работать. Подходит директор и говорит:

— Иван Григорьевич, постарайтесь поскорее сделать.

— А не будете обижаться, если очень скоро сделаем?

— Что вы? Чем скорей, тем лучше.

И мы вместо восьми дней подняли кран за восемь часов.

Вечером каждый принес домой по целому мешку печеного хлеба. На заводе заговорили: почему коробовской артели дали так много хлеба? Но администрация ответила: это удалось так быстро сделать из-за ловкости и смекалки, а мы обязаны заплатить за восемь дней, как условились.

С тех пор наша группа на весь завод прославилась.

Чуть какая авария,— паровоз забурился, станина лопнула или еще что-нибудь,— вызывают нас. Мы за все брались, и всегда удачно выходило.

Но жить все-таки было тяжело. В 1921 году был неурожай, и рабочим иногда по неделе, по две не выдавали хлеба.

Опять приходилось ездить за хлебом.

Помню, поехали мы в Херсонскую губернию. Собрались втроем: я, один мой приятель доменщик и Николай, второй мой сын. Взяли свои «ланцы» на обмен — рубашки, брюки, простыни. Ехали на буферах, на крышах. Паровоз такой дрянненький попался, что не брал состава в гору. Пассажиры выходили, подталкивали поезд и вытягивали на подъем.

Приехали на станцию Долинскую. С крыши вагона, где я сидел, открывалась странная картина. С одной стороны полотна все выгорело, сухая серая земля, жутко смотреть, а с другой стороны — зелень колышется: пшеница, подсолнухи, гречка, что душе угодно.

Нам посоветовали пойти в деревню Устиновку, в двадцати пяти километрах от станции. Со своими пожитками отправились мы туда пешком.

Скоро мы все обменяли, но получили немного — всего двенадцать пудов хлеба. Я говорю приятелю:

— Давай поищем в деревне работы. Может быть, еще хлеба заработаем.

Он согласился.

Идем мы по деревне и спрашиваем в каждой хате: нет ли какой-нибудь работы? Увидели, что в одном дворе дядька хлеб молотит, и к нему:

— Разрешите, уважаемый, вам хлеб обмолотить.

— Не надо, у нас своих хватает.

Идем дальше. Сидит на приступочке у хаты дядя.

— Скажите, пожалуйста, почтеннейший, нет ли у вас работы?

— А что вы можете делать?

— Что скажете, то и сделаем.

— Мне нужно погреб вырыть. Погреб лёж. Можете?

Я никогда о таких погребах не слышал. Что это за лёж? Что это за слово? Однако смело отвечаю:

— Можем.

Он посмотрел недоверчиво и говорит:

— Вот что, хлопцы. Вы идите к такому-то, поглядите, у него эдакий погреб вырыт.

Пошли мы туда. Посмотрели этот лёж. Красивый погреб. Он роется под землей в виде свода или туннеля, только без второго выхода. Сверху туда ведут ступеньки, тоже вырезанные в земле. Спрашиваем, сколько хозяин отдал за работу. Оказывается, двадцать пять пудов пшеницы. Ого, цена хорошая!

— А сколько дней вам его рыли?
— Восемнадцать дней.
— Ох ты...

Я даже закряхтел. Если специалисты восемнадцать дней рыли, то мы когда управимся?

Возвращаемся к нашему дядьке.

— Ну как, беретесь рыть?
— Беремся.
— Сколько же вы возьмете?

Мы говорим, что тот хозяин заплатил двадцать пять пудов пшеницы и мы хотим столько же.

— Нет, хлопцы, эдак дело не пойдет. Двенадцать пудов дам.

Начали торговаться, он уперся на двенадцати пудах и ни в какую. Что поделаешь? Решили взяться. На следующий день приступили. Те работники, которые рыли такие погреба, пришли поглядеть на нас. Когда узнали, что мы за двенадцать пудов согласились, то пожалели нас. Начали мы неумело, они нам дали несколько советов, поглядели и сказали:

— Вы целый месяц провозитесь.

А я, чтоб дух свой поднять, ответил:

— Скорей вас управимся.
— Нет, куда! Глина очень крепкая. Скорей сделать нельзя.

И ушли.

А мы маемся. Глина действительно такая крепкая, что лопата не берет. Стали топорами действовать. И все равно толку мало. Затупили и лопаты и топоры. Понес я их в кузницу точить и вдруг вижу: стоит в кузнице лом с лопаткой на конце. Я сразу смекнул: вот что для такой работы надобно.

Выпросили мы у кузнеца этот лом и молот. Принесли к яме и стали работать по-нашенски, по-доменному. Один держит лом, а другой бьет молотом. Мы хорошо приучены молотом работать. И пошло у нас дело. Глина пластами отваливалась. Мы повеселели. Вокруг нас целый день ребятишки вертелись. Я любитель с ними побалагурить, а им только этого и надо. Мы ни разу и воды не пили: один дыню принесет, другой кавун притащит. За три дня мы выкопали этот лёж и двенадцать пудов хлеба получили.

Приходят те ребята, которые нас жалели, и глазам не верят:

— Вот це работники! Мы восемнадцать дней копали, а они за три дня сделали.

Кончили мы это дело и пошли дальше искать работы. Еще один погреб выкопали, потом коноплю повыдергали.

Прошла неделя — мы заработали тридцать пудов хлеба. Вот это привалило счастье. И уезжать жалко — когда еще можно заработать.

Ночью во сне я увидел жену и детей, которые в Макеевке остались, и забеспокоился о них.

Утром спрашиваю приятеля:

— Ну как, еще будем работать или тронемся домой?

— На твое усмотрение, Иван Григорьевич.

Я решил, что надо ехать. Стали искать подводу до станции. С нас требуют по три пуда пшеницы с человека. Ну, нет,— отдать девять пудов хлеба, когда у нас в Макеевке это целое богатство!

Опять пошли к тому хозяину, у которого рыли лёж, и стали просить, чтобы он отвез нас на станцию.

Он говорит:

— Некогда.

— Да мы чем-нибудь вам отработаем.

— Ну что ж, хлопцы, если хотите, чтоб я вас отвез, сделайте мне пол глиняный в двух хатах.

А хаты у него большие, там работы на два или на три дня. Я говорю:

— Что вы, с ума сошли?

— Как хотите. Иначе не подвезу.

Пришлось и тут соглашаться. Взяли лопаты, начали копать глину. А около нас опять ребятишки крутятся, как воробушки.

Я их спрашиваю:

— Вы, ребята, у мамки месили глину?

— Как же, месили...

— А ну, давай, помогайте нам.

А их около двадцати было. Как начали месить в сорок ног, как пошла работа, только успевай готовую глину носить.

В три часа приходит хозяйский мальчик и зовет обедать. А мы ему:

— Обожди, сейчас кончим и придем.

Он ушел, а через пять минут явился сам хозяин.

— Неужели вы кончаете? Быть этого не может!

Пошел проверять. Наверное, сомневался — хорошо ли

сделано. Везде попробовал, пощупал — не к чему придраться.

— Ну,— говорит,— и работники же вы! Кто вы такие есть? Скажите хоть ваши фамилии, чтоб я помнил.

А раньше не интересовался. Сказал я ему, что мы макеевские доменщики, что меня зовут Иван Григорьевич Коробов. Потом приятеля и сына ему представил.

Интересно, помнит ли этот дядько, как мы глину у него месили? После обеда он нас отвез на станцию.

В эти годы мы, рабочие, оставшиеся в Макеевке, превратились наполовину в крестьян. Я завел корову, заплатив за нее десять пудов пшеницы.

Всего на старой колонии было триста пятьдесят коров — большое стадо. Вечером идут коровы по улицам, мычат, как будто в деревне. Для этого стада был куплен общественный бугай. Свиней выкармливали, гусей начали водить. Картошку сажали и две весны даже пшеницу сеяли. Мешков в то время не было, из мешков штаны и рубахи шили, и вся наша пшеница была ссыпана прямо в комнате в углу.

В те годы появилось много беспризорников и нищих. А жена моя, Ольга Митрофановна, никому не могла отказать, каждому подает.

Я, бывало, ей крепко выговаривал:

— Что ты делаешь? Я добываю, а ты раздаешь. Разве всех можно накормить?

— Не могу я отказать человеку, если вижу, что он голодный.

— Да ведь, если сосчитать все, что ты людям раздала, мы этим могли бы два месяца кормиться.

А она отвечала:

— Если все будут умирать с голоду, то и мы умрем. На весь век хлеба не наготовишь. А пока мы живы — другие пускай живут.

Она не для себя жила, а заботилась о людях. Ей хотелось, чтобы всем было хорошо.

— Если б я была грамотная, то стала бы коммунисткой,— говорила она.

Эту свою черту — сочувствие людям — она и детям привила. От меня им досталась любовь к труду, производственная жилка, а от матери — большая человечность.

Так мы жили до 1924 года. Завод стоял, а мы кое-как

перебивались. Весной 1924 года стало известно, что в Макеевке будут наконец пускать одну доменную печь, что главным инженером к нам едет Бардин.

XVII

Доменную печь мы задули в седьмую годовщину Октябрьской революции — 7 ноября 1924 года.

Для нашей семьи, как и для всех макеевских рабочих, это была большая радость. Но вместе с тем лично для меня пришла и неприятность: Бардин отстранил меня от работы обер-мастера.

Случилось это так. Мы, макеевцы, знали, что Бардин является учеником знаменитого доменщика Курако. У Курако была дружная, крепко сплоченная армия. «Куракинцы» всегда работали целыми отрядами, группами. Если кто-нибудь из инженеров «куракинской школы» приходит на завод начальником доменного цеха или главным инженером, то вслед за ним появляется целая группа «куракинцев» — и инженеры, и чертежники, и механики, и мастера, и даже горновые. Они еще в дореволюционное время привыкли работать с механизмами, каких у нас, на наших старых макеевских печах, и в помине не было. В годы разрухи, когда наш завод стоял, я ездил в Енакиево смотреть на их работу. Енакиевская доменная печь была одно время единственной действующей во всем Донбассе. Там тоже еле-еле тянули, о хорошей работе и думать не приходилось, но все-таки на доменной печи действовала механическая загрузка. Летку в Енакиеве забивали не вручную, как у нас, а пушкой. Мне все это понравилось, но особой хитрости для хорошего доменщика я там не видел. Посмотрел и подумал: я эту пушку в два дня освою и лучше енакиевцев буду ею действовать.

Когда нашу макеевскую печь подготовляли к пуску, на ней тоже установили пушку, привезенную из Енакиева. Кроме того, с Енакиевского завода, который в 1924 году был остановлен, привезли и другое оборудование. Но не только оборудование. Бардин взял оттуда и своих «куракинцев»-доменщиков, в том числе и обер-мастера.

Бардин меня вызвал и сказал:

— Вот что, Иван Григорьевич, я хочу дело так поставить, чтобы давать на нашей доменной печи двенадцать тысяч пудов чугуна в сутки...

— А я четырнадцать тысяч хочу дать.

— Обождите. Я пригласил из Енакиева обер-мастера и мастеров, которые знают мои требования. Пускай они поработают, а вы пока будете распоряжаться по двору.

— Иван Павлович, я лучше каждого вашего мастера сработаю.

— Не обижайтесь, я знаю, что вы дело понимаете. Жалованья мы вам снижать не будем.

— Нет, Иван Павлович, мне это обидно.

А он буркнул:

— Как я сказал, так и будет. А потом посмотрим.

Проходит две недели. У нас на заводе действовал газомотор, который питался газом от доменной печи и давал электрическую энергию во все цехи. А на доменной печи часто горели фурмы (так называются, как я уже пояснял, приспособления, через которые идет дутье). Как сгорит фурма, надо ее менять и останавливать для этого доменную печь. А когда доменная останавливается, то весь завод встает, потому что в это время газомотор лишается газа. А каждую фурму меняли долго — по полчаса, иногда по часу, потому что в цехе не все еще было прилажено и дисциплина была очень шаткой.

Однажды вижу, идет вдоль печей Бардин с начальником цеха. Я подхожу:

— Иван Павлович, когда же я опять на печах буду работать?

— Обождите, Иван Григорьевич, вот наладим дело... тогда и займусь вашим вопросом.

— Да я лучше всех, Иван Павлович, налажу.

Бардин поглядел на меня из-под своих густых бровей и спрашивает:

— А сумел бы ты сменить фурму, не останавливая доменную печь?

То, что он предложил, было совершенно невозможным делом. Не останавливать доменную печь — это значит дуть в нее. И вот, представляете, в печь поступает дутье, а в это время мы должны открыть одно отверстие, из которого будет вылетать пламя и огненная пыль, и сменить в этом отверстии приспособление. Я никогда не слыхал, чтоб где-нибудь меняли фурмы на ходу.

А Бардин продолжает:

— Каждая остановка печи нам в пятьдесят тысяч рублей обходится. Если бы вы, Иван Григорьевич, сумели

менять без остановки, то была бы хорошая премия вашей бригаде.

А мне в таком деле премия уже мало интересна, у меня самолюбие мастера разыгралось, захотелось свое искусство показать, сделать то, чего никто другой не может.

И, еще не обдумав, я с маху отвечаю:

— Сделаю, Иван Павлович.

Он посмотрел и распорядился поставить меня старшим мастером в ночную смену и разрешил мне подобрать себе бригаду.

Пошел я к печи, долго стоял и ходил вокруг, как будто первый раз доменную видел. Потом отправился к нашим самым лучшим макеевским доменщикам, с которыми двадцать лет вместе работал. Поговорили, обдумали совместно, все заранее подготовили, каждую затычку осмотрели и решили взяться.

Когда сгорела фурма, я снизил давление дутья до двадцати сантиметров, перевел печь на самый тишайший ход, скомандовал, дал полную остановку на одну минуту — и сразу же у нас новая фурма на месте. Остановка была такая ничтожная, что газомотор даже не поперхнулся. Тотчас дали дутье, и опять побежал по трубам газ.

Под утро пришел к нам Бардин.

— Ну, как,— спрашивает,— удалось?

— Удалось.

— Завод не остановил?

— А разве вы сами не знаете?

— Ну, молодец. Продолжайте, Иван Григорьевич, и дальше так же.

Некоторое время я поработал старшим мастером в смене, а потом Бардин назначил меня опять обер-мастером. Оказалось, что и мы, макеевские доменщики, понимаем дело не хуже некоторых «куракинцев».

XVIII

В первые годы после пуска остановленного завода мастерам приходилось очень туго.

Когда мы требовали добросовестной работы и вводили трудовую дисциплину, некоторые рабочие смотрели на нас, как на бывших прислужников капитала, которые хотят завести на заводе прежние порядки.

Старых рабочих, которые испытали двенадцатичасовой рабочий день и капиталистическое угнетение, которые приобрели вместе с тем трудовую индустриальную закалку, на заводе осталось немного. Большинство состояло из новых рабочих, приехавших главным образом из деревень. Пришлось крепко с ними скандалить. Вот для примера несколько картинок того времени.

Прихожу я на печь, а мастер созывает рабочих летку пробивать. Гляжу — некоторые отлынивают: один пошел воду пить, другой совсем из виду скрылся. А мастер уговаривает их, как барышень.

Я спрашиваю мастера:

— Ты что, разучился людьми командовать? Голос потерял?

А потом к рабочим, которые «волынили»:

— Вот что, ребята. Не желаете работать, так получайте расчет. Никто вас здесь не держит, никто кланяться в ножки не будет.

А мне кричат:

— Что это тебе, старый режим?

Я отвечаю:

— Режим новый, а работать нужно. Без работы никакой режим существовать не будет, и сами мы первые подохнем.

А мастер глядит на меня и усмехается:

— Вот и ты, Иван Григорьевич, начинаешь уговаривать.

Плюнешь с досады, а делать нечего — приходится каждый день уговаривать и ругаться.

В другой раз прихожу в пять часов утра, за час до гудка. Вижу — одного чугунщика нет на месте.

Спрашиваю:

— Где такой-то?

— Пошел за номерами.

— Почему он за час до смены пошел, что это за порядок?

— А это мы его послали.

Оказалось, для того чтоб всем не ходить в контору, не снимать своих табельных номеров, рабочие посылали за номерами одного, а потом расходились по домам каждый своим путем, кому где ближе: в то время ограда вокруг завода была развалена, везде можно пройти.

Я дожидаюсь чугунщика, а внутри у меня все кипит. Приходит.

— Где ты был?

— Ходил за номерами.

— Кто тебе разрешил бросить работу?

— А тебе что? Больше всех надо?

— Отвечай, что спрашивают: кто тебе разрешил бросить работу?

— Не ори, подумаешь, какое дело...

— Я орать не буду, а с завтрашнего дня ты у горна работать больше не будешь, а пойдешь в катали.

— Не пойду.

— Нет, пойдешь.

— Посмотрим.

— Посмотрим.

В ночь выходит на работу эта смена. Я послал на место этого чугунщика другого человека. А он опять пришел на горно.

— Ты зачем явился?

— А тебе что? Где работал, там и буду работать.

— Нет, не будешь. На твое место другой человек поставлен.

— А я не уйду.

— Как хочешь. Здесь по штату положено десять человек, и все десять на местах. А ты одиннадцатый, и платить никто тебе не будет.

— Куда же мне идти?

— Отправляйся в катали.

— В катали я не пойду.

— Ну, дело твое...

Я ушел, а через некоторое время все десять человек явились ко мне в будку и кричат — не будут работать, если я этого чугунщика прогоню.

Но этим меня не испугаешь. «Ежели доведется, думаю, возьму двух-трех из коренных макеевцев, сам вместе с ними встану на чугун, и за всех вас десятерых сработаем».

А им твердо говорю:

— Не будете — и не нужно. Можете идти из цеха.

Они топчутся, кричат. Я начал выкликать каждого поодиночке:

— Будешь работать?

— Не буду...

— Тогда уходи. Вот тебе пропуск за ворота.

Спрашиваю другого:

— Будешь работать?

— Не буду...

— Уходи...

Они видят, что я не шучу, и уже четвертый или пятый отвечает:

— Буду.

— Тогда отправляйся на чугун.

В конце концов получилось так, что все сказали «буду», я их выпроводил, а чугунщик, которого я перевел в катали, остался у меня один.

— А ты будешь работать?

— Каталем не буду.

— Не хочешь — не надо. У меня разговор с тобою кончен.

А он грозится:

— Погоди, я найду на тебя управу.

Он всюду ходил на меня жаловаться — и в профсоюзную организацию, и к директору, и к Бардину. Меня несколько дней таскали. А я уперся:

— Не приму на чугун — и все тут. Мне дезорганизаторов не надо.

И Бардин меня в этом поддержал. В конце концов приходит этот чугунщик в цех и говорит мне:

— Иван Григорьевич, извини меня. Я думал, что и сейчас можно так, как в семнадцатом году. Я свою ошибку осознал. Разреши мне идти работать на чугун.

— Что же, раз ты обещаешь, что исправишься, иди на свое место.

Я всегда придерживался правила, что мастер не должен во что бы то ни стало наказывать, что если человек сознает и просит, то можно и снисхождение оказать. Нападать легко, прогнать еще легче, но я считаю, что это последнее дело,— сумей-ка исправить человека.

Бывало и так, что у печки в данное время рабочим делать нечего, их посылали на другую домну, которую мы готовили к пуску. Тут тоже не обходилось без скандалов. Им приказываешь, а они не хотят идти.

— Вы же, ребята, ничего здесь не делаете, а там невпроворот работы. Разве это по-хозяйски?

— Скажите, пожалуйста, хозяин выискался. Хозяев мы давно прогнали.

— А сам ты разве в заводе не хозяин?

— На что мне твой завод? Я приехал заработать сапоги и кожаную куртку, а завод твой мне не нужен.

— Вот и видно, что ты не хозяин. Был бы ты хозяином, держал бы работника, который лодырничает? Прогнал бы его, куска хлеба не дал бы. И тебя прогоним. На дурницу у нас не оденешься и не обуешься.

А мне опять кричат:

— Старый режим хочешь вернуть?

Даже на собраниях некоторые называли меня «старорежимцем». Кричали:

— Он опять с рабочего хочет шкуру драть. Выгнать его вон с завода.

Но со стороны честных работников всегда у меня была поддержка. И Бардин заступался. Он говорил:

— Если Коробов с вас спрашивает, то я с него спрашиваю. Он дело требует.

А все-таки приходилось тяжело.

Помню, был такой случай.

Прихожу ночью в будку, там все горновые спят вповалку. У нас в то время разрешалось спать между выпусками чугуна, но один из горновых обязан был дежурить около печи. Бужу их и спрашиваю:

— Почему вы, товарищи, все в будке собрались? Почему не оставили дежурного?

А мне отвечают:

— У нас там есть собака на цепи. Пусть лает.

Так про мастера выразились.

— Напрасно, говорю, вы его собакой называете. Он не собака, а ваш начальник. Он не может вместо вас у печи дежурить. У него и кроме этого работы много: ему нужно за каталями наблюдать, за ковшами следить, а вы тут валяетесь. Я это прекращу, так у нас дело не пойдет.

А меня и здесь «старорежимцем» назвали.

Понемногу дисциплина установилась. Партийная организация с каждым годом все крепче бралась за это дело. Без нее и без поддержки честных рабочих нам, мастерам, ничего не удалось бы сделать. И в профсоюзной организации, которая у нас в Макеевке в течение долгого времени брала под защиту дезорганизаторов производства, начался поворот. Но среди профсоюзных работников Макеевки нашелся один, который захотел проводить слишком тонкую «политику». Он пришел ко мне в будку с группой рабочих, которые были недовольны, и стал вместе с ними меня

обвинять. Когда разговор окончился и мы остались с ним одни, он сказал:

— Мы с вами, Иван Григорьевич, сделаем так: вы свою линию продолжайте, спрашивайте работу, а если я на вас буду нападать, то этого не бойтесь. Это я нарочно,— должность у меня такая.

Меня это взорвало.

— Ты хочешь перед рабочими быть добрым человеком, а я чтобы сукиным сыном был? А тебя я и без твоих уловок не боюсь, потому что честно поступаю. Кто заслужил, с того буду требовать, того буду гонять, а кто не заслужил, к тому не придерусь напрасно. А тебя за твои разговоры первого надо гнать с завода.

И сколько бы меня ни пытались сбить с прямой дороги, я гнул свое — требовал честной работы, по-хозяйски относился к производству. И никому не давал поблажки — ни свату, ни куму, ни коммунисту, ни беспартийному. Время показало, что я был прав. Сейчас всем известно, что партия требует от всех нас добросовестной, преданной работы, требует твердой дисциплины труда.

XIX

В 1927 году в Макеевке началось строительство новой доменной печи — самой большой по тому времени в Союзе, полностью механизированной.

Вместо Бардина главным инженером у нас уже работал М. В. Луговцов — друг Бардина и ученик Курако. А начальником доменного цеха стал Кизименко — тоже ученик Курако.

Разговоры об этой печи начались еще при Бардине. У «куракинцев» издавна была хорошая традиция — на всех заводах, где им приходилось работать, они стремились во что бы то ни стало строить новые доменные печи по проектам Курако. Сам Курако спроектировал несколько механизированных доменных цехов, но ему ни разу не пришлось выстроить хотя бы одну печь, в которой воплотились бы все его замыслы. Он умер в 1920 году, в самом начале революции, не дождавшись нашего индустриального расцвета.

Его ученики, которые пришли в Макеевку, решили здесь осуществить то, чему их учил Курако, решили выстроить доменную печь, еще невиданную в то время в на-

шей стране,— самую большую по размерам, оборудованную механической загрузкой, бункерами, вагон-весами, разливочной машиной и т. д. Теперь мы привыкли к таким печам — их можно видеть в Магнитке, в Кузнецке, в Макеевке, на «Запорожстали» и на многих других заводах. А в то время подобные печи были только в Америке.

Помню, как Луговцов однажды встретил меня на литейном дворе и радостно сказал:

— Знаешь, Иван Григорьевич, где будет Америка? Здесь, у нас, в Макеевке. Будем строить самую большую печь в Союзе. Скоро не мы будем ездить в Америку, а американцы к нам. Наша печь будет больше, чем американская.

Оказалось, что из центра было получено разрешение приступить к проектированию печи.

Здесь же в цехе, в конторке, расположилось проектное бюро. Во главе его встал начальник доменного цеха Кизименко, а общее руководство осталось за Луговцовым.

Печь проектировалась не по готовым американским чертежам, а все создавалось заново. В макеевской цеховой конторке обсуждали, как лучше сделать самую малейшую деталь.

Часто Кизименко вызывал и меня в эту конторку, куда любил приходить Луговцов,— они советовались со мной, как со старым практиком, по разным вопросам. Я тоже давно думал о том, как получше построить доменную печь, всегда залезал внутрь печей при всех ремонтах и изучал там прогоревшую кладку. Доменщик, как следопыт, многое может понять в темном доменном искусстве по следам огня, оставшимся в кладке.

Я и раньше кое-что изобретал по доменному делу, кое-что ввел практически, а теперь, когда начались наши разговоры в конторе, мысль заработала еще ходчей. Мы спорили о том, как лучше устроить фурму, о конструкции холодильников, о том, какая пушка была бы самой удобной и надежной. Кизименко и Луговцов соглашались с некоторыми моими предложениями. В дальнейшем, когда мы построили несколько новых доменных печей, еще больше моих предложений вошло в конструкцию. И я с гордостью могу сказать, что первая механизированная печь Советского Союза, выстроенная в Макеевке, была по конструкции не только «куракинской», но в какой-то степени,— пусть даже малой,— и «коробовской».

В этой же конторе, где велось проектирование, работал тогда и мой Илья. Он работал чертежником, и там, у Луговцова и Кизименко, у инженеров куракинской выучки, была его первая теоретическая школа доменного дела после практики в цехе, где я сам обучал его.

Раз уже зашла у нас речь об Илье, то я скажу немного об этом моем младшем сыне. Он был самый у меня бедовый. С ним, пока он не окончил школу, беспокойства у меня было больше, чем с другими сыновьями.

Он рос отчаянным мальчишкой, драчуном. Ему два раза в драках пробивали голову, до сих пор у него на голове два глубоких шрама. В нем развит дух противоречия. Всегда он хочет сделать не так, как ему старшие велят, а так, как он сам находит нужным.

Окончив семилетку, он поступил в ФЗУ (школа фабрично-заводского ученичества). Там ученики проходили в классах разные науки и одновременно работали четыре часа в день в цехах завода. Илья пошел, конечно, по доменному делу и проходил практику в нашем цехе.

Проходит некоторое время, и я вижу, что мой парень на заводе работает, а в классы не ходит.

Спрашиваю:

— Почему в ФЗУ не ходишь?

— А чего я буду ходить? Я все знаю, что там преподают. Мне туда ходить не нужно.

Я подумал, что, может быть, и вправду так: парень семилетку кончил, хорошо учился, должно быть, и в самом деле все хорошо знает. А в цехе он работал газовщиком. Он сам ворочал делами, задавал вопросы мастерам, старался усвоить, как надо доменную печь остановить, как в ход пустить и т. д. А дома со мной спорил. Все, что я говорил, оспаривал. Книг набрал, научные доводы приводил, расчеты делал, иногда меня так раззадоривал, что у нас с ним крик в доме поднимался. «Ну, думаю, из парня будет толк».

И вдруг получаю письмо: «Ваш сын Илья Коробов увольняется с завода по 2-му параграфу, то есть за непосещение школы». Вот это здорово!

Я пошел к заведующему ФЗУ. Он мне сказал, что по металлургии и по математике у Ильи хорошие отметки, а по русскому языку, по ботанике, по истории, по политическим наукам — плохо.

Прихожу домой, зову Илью. Он мне говорит, что он

и не будет изучать эти науки, что они доменщику не нужны. Долго я с ним бился, уговаривал, рассердился так, что даже распоясал ремень:

— А это видишь? Попробуешь у меня этого, а потом скажешь, нужны эти науки или не нужны.

Он упрямый, но меня не переупрямишь. Обещал все-таки учиться, выполнил обещание честно и окончил ФЗУ.

В доменном цехе он проработал два года, был и газовщиком, и верховым, и горновым — все работы практически прошел. А потом поступил чертежником и участвовал в проектировании первой советской механизированной печи. Затем поступил в институт, туда же, где учились раньше Павел и Николай. Металлургию все они проходили у академика Павлова. Илья и там постоянно спорил, всегда Павлову на лекциях вопросы задавал. Павлову он понравился. Когда Илья окончил институт, Павлов спрашивал:

— Нет ли еще Коробова? Неужели это у меня последний Коробов?

В институт Илья уехал в 1927 году, как раз когда мы закончили проектирование и приступили к постройке печи.

А из Москвы приехал Павел — молодым, только что окончившим инженером. Он проработал один год в Макеевке, а потом перешел в Енакиево сменным инженером доменного цеха.

Постройка печи началась при нем, а окончилась уже без него. Строили мы очень долго — больше двух лет. Наконец 29 сентября 1929 года мы задули нашу новую доменную печь. Это был большой праздник для Макеевки.

XX

С новой печью нам пришлось сначала принять много горя. Ведь никто еще в СССР на такой большой печи не работал. Мы ошибались в шихтовке, воздуху давали меньше, чем печь просила, заливали фурмы шлаком. И постоянно ломались механизмы. Особенно мучили нас скипы. Скипом называется вагончик, который подымается по наклонному мосту на вершину печи и там опрокидывается, ссыпая плавильные материалы в приемную воронку. Эти скипы у нас чуть ли не каждый день бурились, то есть сходили с рельсов при подъеме и особенно

при опрокидывании. Каждый раз мы по десять часов возились, чтобы поднять и поставить на место скип.

Я спросил у Луговцова:

— Неужели и в Америке скипы так бурятся?

— Нет, Иван Григорьевич, там они ходят, как часы. В чем же причина? Никто не понимает. Я сам ночи не сплю, думаю над этим и ничего не могу понять. Потом несколько дней просидел на колошнике, глядел, как ходят скипы, и старался разглядеть, в чем их неисправность. Наконец увидел, что тормоза не держали при опрокидывании. Мне сначала не поверили. «Как так: тормоза у нас такие же, как в Америке, почему там держат, а у нас не держат?» Но я глазу своему верю, стою на своем. Повел инженеров на колошник, посадил рядом с собой и показал то, что сам увидел. Когда стали разбираться, то оказалось, что фактический объем скипа был больше, чем подсчитано в проекте. Поэтому полный скип кокса весил у нас больше, чем в Америке, и тормоза, следовательно, были слабыми, не удерживали такую тяжесть.

Много было подобных неполадок. Но для доменщика лучшей школы не придумаешь. Кому пришлось впервые осваивать механизированные печи, тот должен благодарить судьбу. Каждую, самую дрянную частичку приходилось по двадцать раз проверять, прилаживать. Тут поймешь, что к чему. А у меня такой характер, что если увижу что-нибудь новенькое по доменному делу, то я буду не я, если не попробую своей рукой.

Часто случались аварии и на разливочной машине. Чугун выливать некуда, работаем тихим ходом. Подходит время выпуска, а ковшей нет. Все начальство бегает, чтоб скорей ковши подать. Сам Луговцов на паровозе за ковшами ездил. Бывали случаи, когда мы заливали чугуном площадки и пути.

Мне это освоение досталось тяжело. День и ночь находился в заводе. Приду домой, пообедаю и опять на завод. Возвращаюсь часов в двенадцать ночи, лягу спать, а часа через три вызывают экстренно на завод: там опять авария.

Не успели мы эту печь освоить, как в 1931 году пустили вторую такую же большую, новую, механизированную.

На совещании перед пуском многие говорили, что пускать еще нельзя, потому что разливочная машина не го-

това, больших ковшей нет, мы не сможем выпускать чугун из доменных печей.

Но решили по-другому: стране нужен чугун, будем мучиться, изворачиваться, а все-таки вторую «американку» пустим.

Сейчас весело вспоминать о том времени, а тогда было не до смеха. Вот, например, ковши. Долго мы требовали новых больших ковшей и наконец получили, обрадовались. Выложили их огнеупором, высушили, повезли в цех — стоп. Ковши оказались такими большими, что не могли пройти под нашими старыми мостами. За трое суток мы подняли мосты своими силами, протащили ковши, подвезли к печи и налили чугуном первый большой ковш. В него семьдесят пять тонн вошло, наших старомьких надо бы пять или шесть на такую порцию. Эх, думаем, добро! Подцепили паровоз, а он не может тронуться с места. Пригнали второй паровоз. И два паровоза не могут сдвинуть такой большой ковш, налитый дополна. Вызвали третий паровоз, поставили сзади, чтоб подталкивал. Насилу три паровоза взяли. Паровозы ведь у нас маленькие, еще от «генерального общества» остались, а ковш по советскому размаху сделан. Пути под этим ковшом оседают, страшно смотреть: вдруг забурится. И была у нас каждый день такая картина: три паровозика один ковш тянут, а мы все, во главе с Луговцовым, вслед бежим на всякий случай.

Мы хлопотали о больших паровозах, о перешивке заводских путей, о второй разливочной машине, но партия решила покончить все наши мучения по-другому, так, как мы и не мечтали. Решено было перестроить весь завод до основания, расширить территорию, проложить новые пути, соорудить новые цехи, отжившие старые снести, то есть воздвигнуть новое, социалистическое предприятие на месте старой Макеевки.

Если я не ошибаюсь, это решение было принято, когда к нам первый раз приехал наш нарком Серго Орджоникидзе.

XXI

Первый раз товарищ Серго приехал к нам весной 1932 года. Работали мы плохо, но в ожидании наркома все почистили, убрали, побелили. Наконец стало известно,

что Орджоникидзе прибыл в Макеевку и идет к нам — в доменный цех.

Я ожидал около летки. Показалась большая группа людей. Впереди шел нарком, которого я увидел впервые. Плотный, с длинными черными усами, он был одет в серую шинель до пят, в сапоги, в армейскую фуражку защитного цвета.

Директор завода подозвал меня и представил наркому. Я пожал его руку и постарался получше рассмотреть его лицо. В тот раз мне особенно запомнились живые, зоркие глаза и орлиный нос.

Директор сказал:

— Это, товарищ Серго, коренной макеевский доменщик. Работает с основания завода. У него три сына — металлурги.

Серго спросил:

— Не ваш ли сын, товарищ Коробов, работает в Енакиеве начальником доменного цеха?

— Мой...

— Крепкий доменщик. Пожалуй, вас побьет.

— Никто нас не побьет, товарищ нарком, ежели...

— Ежели... что ежели?

Я стал рассказывать о наших недостачах, о том, как три паровоза один ковш возили, а мы за паровозами бегали, о том, как разные комиссии к нам приезжали.

— Приедут, посулят горы золота, уедут — и железа не пришлют.

Серго рассмеялся, взял меня под руку и повел с собой. Я говорил, а он смеялся, и мне самому было весело рассказывать.

И под конец я так сказал:

— Ежели нам предоставят все, что требуется, никто нас не побьет.

— И Кузнецкий завод побьете? — спрашивает Серго.

А в это время на Кузнецком заводе пустили первую доменную печь.

— Побьем, товарищ Серго.

— Ну, хорошо. Через год приеду, погляжу, как вы свое слово держите.

Второй раз он приехал осенью 1933 года. За это время мы получили много оборудования, научились вести механизированные печи и работали неплохо. Свое слово мы сдержали — обогнали Кузнецкий завод. Правда, енакиев-

цев мы к тому времени еще не побили. Они дали такой рост выплавки, какого никто не ожидал. Это было тем более удивительно, что работали они на старых, немеханизированных печах, а у нас к тому времени работали уже три новых печи. Мне было немного завидно, но и приятно, потому что начальником доменного цеха в Енакиевском заводе был мой Павел. Товарищ Серго и в этот раз, насколько мне помнится, заехал сначала в Енакиево, а потом прибыл к нам. Он меня узнал, подошел, пожал руку и сказал:

— Вы в прошлом году старше выглядели, а сейчас помолодели.

А я ответил:

— Жизнь получшела — и я помолодел. Еще лучше жизнь будет — еще помолодею.

— А работать не тяжело?

— Теперь легче стало, когда новые доменные освоили. Да вы, товарищ Серго, меня стариком не считайте. Я с любым молодым на кулачки выйду. Я до сих пор по тридцать — сорок километров на велосипеде в выходные дни отмахиваю.

— Любите в степь проехать? Поохотиться?

— Люблю, товарищ Серго.

Он так душевно расспрашивал, что я рассказал ему о нашем семейном велосипеде, большом, тяжелом, из первого выпуска Харьковского завода, которым мы пользовались все четверо, когда сыны жили еще дома. Потом поговорили о работе, о печах, о заработке и попрощались.

Серго уехал, а через несколько дней меня вызвали к директору, который сообщил, что товарищ Орджоникидзе прислал мне в подарок легковую машину.

Это была такая неожиданность, что я сначала даже не поверил. А потом вспомнил, как мы разговаривали о велосипеде, и понял, какой внимательный и чуткий человек Серго.

Следующий раз я встретился с товарищем Серго через год в Москве.

У нас на заводе случались перебои в снабжении коксом, да и кокс часто прибывал недоброкачественный, мусористый. Директор послал меня в Москву поговорить об этом в наркомате, и если удастся, то лично с товарищем Серго.

Кроме того, у меня было и личное дело. Дочь моя Клава собиралась родить, и к ней уехала на время родов моя

жена. Это была уже не Ольга Митрофановна. Моя первая жена, мать всех моих детей, Ольга Митрофановна, умерла в 1930 году.

Это было самое большое горе, которое знала наша семья. Ольга Митрофановна умерла на ходу, на ногах, умерла так, как и жила,— за работой, в заботах о детях, о семье. Она часто болела, но в постель не ложилась и, преодолевая болезнь, продолжала работу по хозяйству. Она умерла внезапно, оставив горячий утюг на столе, где гладила для нас белье.

Она иногда говорила:

— Улетят от нас дети, тогда можно и умирать.

Свою главную жизненную задачу она видела в том, чтобы воспитать детей, чтобы вывести их на дорогу к счастью. Она умерла, выполнив эту задачу, умерла, словно разрешив себе теперь отдохнуть. Ко дню ее смерти Павел и Николай были уже инженерами, Илья учился в московской Горной академиии, а Клава окончила семилетку.

Я всегда плачу, когда рассказываю об Ольге Митрофановне. У меня, у всех сынов и у дочери висит ее портрет. Память о ней свято хранится в семье, и каждый из нас в радостные для семьи дни жалеет, что нет с нами Ольги Митрофановны.

К Клаве, которая уже училась в Москве, поехала моя вторая жена Анна Никитишна.

Меня тоже потянуло в Москву. Хотелось посмотреть внучку, навестить Клаву и Николая, который после окончания института остался в Москве научным работником.

Когда я вышел с московского вокзала на площадь, то рот разинул. Мне показалось, что Москва, с ее трамваями, троллейбусами, автомобилями, вертится вокруг меня. Дня два меня водили по Москве, а потом уже понемногу я сам начал учиться ходить по столичным улицам.

Пришел в Наркомат тяжелой промышленности. Позвонил по телефону секретарю Серго, мне выдали пропуск, и я поднялся в приемную наркома. Секретарь спросил, какое у меня дело. Я сказал, что хотелось бы поговорить с товарищем Серго относительно кокса.

— Хорошо, посидите, я доложу.

В приемной сидело несколько директоров. Я уселся рядом с ними. Секретарь вошел с бумагами в кабинет наркома, и через две минуты дверь кабинета открылась и

оттуда вышел сам Серго. Он увидел меня, улыбнулся, поздоровался и сказал:

— Пойдемте ко мне, товарищ Коробов.

В кабинете он стал расспрашивать о заводе. Я отвечал весело,— мы работали хорошо, уже два года подряд держали первенство в металлургии. Затем я сказал ему насчет кокса. Он записал и тут же дал распоряжение секретарю. Затем стал расспрашивать о семье, о сыновьях. Я рассказал, что дочь родила дочку, что по этому случаю и жена приехала в Москву.

— Значит, жена ваша сейчас в Москве?

— В Москве.

Он позвонил, и опять вошел секретарь. Серго сказал ему:

— Завтра в шесть часов вечера товарищ Коробов с женой будут у меня обедать. Устройте им все, что нужно, с машиной и так далее...

Я поблагодарил и поднялся, чтобы уходить. А Серго не отпускает.

— Посидите, расскажите еще о заводе.

— Я пойду, товарищ Серго. Вам ведь каждая минута дорога. В приемной много народу ожидает.

— Ну, хорошо, до завтра. В Москве не нужно ли вам чем-нибудь помочь?

— Нет, товарищ Серго, спасибо.

Я стал уже выходить, а потом вернулся и сказал:

— Вот только одна есть просьба. Никто из нас — ни жена, ни дочь, ни сын — не были в Кремле. Хотелось бы поглядеть.

Серго опять вызвал секретаря:

— Устройте Коробову, чтобы он с семьей мог осмотреть Кремль.

Мы вышли. Секретарь куда-то позвонил по телефону, а потом сказал:

— Приезжайте со своей семьей завтра в двенадцать часов дня к Боровицким воротам.

Назавтра я, жена, Николай и Клава пошли в Кремль. У ворот часовой стоит. Я к нему подошел:

— Здравствуйте, товарищ.

— Здравствуйте. Что вам угодно?

— Хотим Кремль посмотреть.

Он засмеялся:

— Без пропуска нельзя.

— Как же нельзя, когда мне сказали, чтоб я к двенадцати часам пришел.

— А как ваша фамилия?

— Коробов.

Часовой пошел в будку, потом вернулся, попросил мой паспорт. Мои родные подошли и тоже паспорта достали. Но часовой сказал им:

— Не нужно. Он один за всех вас отвечает.

Нам дали провожатого, и мы вошли в Кремль. Походили там часа два. Были в Оружейной палате, в соборе, царь-пушку и царь-колокол смотрели.

Осмотрев Кремль, мы вернулись домой. В половине шестого за нами, на квартиру Клавдии, пришла машина. Товарищ Серго прислал свою машину и своего шофера. Жена не хотела ехать.

— Я там умру со страха. Не буду знать, в какой руке ножик, в какой вилку держать.

Но я сказал:

— Раз Серго пригласил, то нужно ехать.

Оделись и поехали.

Въезжаем в кремлевские ворота. Стоп. Часовой видит, что идет машина Серго, а сидит в ней не Серго.

— Ваш пропуск?

— У меня пропуска нет.

— Как фамилия?

— Коробов.

— Езжайте.

Шофер подвез нас к небольшому домику старинного вида с маленькими окнами и повел на второй этаж. Лестница тоже старинная, крутая, без площадок. Я подумал: «Если оступишься и полетишь, то костей не соберешь». В квартире Серго нас встретила его жена Зинаида Гавриловна.

Я с ней был немного знаком раньше. Она вместе с Серго приезжала к нам на завод, и я показывал ей доменные печи. Она вспомнила об этом.

Вошли в столовую. Стол уже накрыт. Мебель у них в квартире очень чистенькая, но простая. Никаких роскошных вещей нет. Нигде не только золота, но и позолоты не видать. Все очень скромно и уютно. Через несколько минут вошел товарищ Серго. Он был одет в белые брюки, белый китель и белую фуражку. Поздоровался, пошел мыть руки, вернулся и пригласил к столу:

— Садитесь, пора обедать.

А я сказал:

— Вы, товарищ Серго, помыли руки, а мы нет.

— Извините, я об этом позабыл.

Повел нас в ванную, мы там помыли руки и затем вернулись в столовую. За стол сели пятеро — Серго, Зинаида Гавриловна, мы и брат Серго, худощавый и высокий.

Серго сказал, что его брат будет тамадой, и спросил:

— Ну, что будем пить? Как вы на этот счет, Иван Григорьевич?

Я сказал, что выпью рюмку кахетинского. Серго засмеялся:

— Разве с кахетинского начинают? А ну, тамада, наливай что полагается.

Его брат взял бутылку коньяку и стал наливать в маленькие рюмочки. Зинаида Гавриловна разрешила налить себе только полрюмки, но Серго сказал:

— Ты не делай вид, будто не можешь выпить. Полной рюмкой должна с Коробовым чокнуться.

И налил ей дополна. А потом вздохнул и налил себе нарзану. Он объяснил, что ему недавно вырезали одну почку и теперь ему уже никогда не пить спиртного.

Зинаида Гавриловна сказала:

— Если бы не вы, то Серго ночью приехал бы обедать. Я уже забыла, когда он вовремя обедал.

Выпили по одной, Серго сказал:

— Давай, тамада, по второй, а то одной там скучно будет. А потом пусть каждый пьет, что ему нравится.

Зинаида Гавриловна сама принесла из кухни суп. Она все подавала сама. Я заметил, что в кухне была какая-то старушка, должно быть, домработница, но к столу все носила сама Зинаида Гавриловна. Конечно, мы стеснялись: я, правда, еще не так стеснялся, потому что не первый раз видел Серго, а жена сначала слова не могла сказать. Серго предлагал ей есть, сам накладывал на тарелку, шутил с ней, и понемногу ее застенчивость прошла. А я скоро почувствовал себя так просто и легко, как будто у отца родного в гостях. Разговаривали сначала о заводских делах. И даже, пожалуй, не столько о делах, сколько о людях. Говорили о директоре, о главном инженере, о начальнике доменного цеха. Серго расспрашивал о них всякие подробности, интересовался моим мнением. Потом стали говорить

о других металлургах — я их знаю множество: через Макеевку, наверное, прошло не менее сотни инженеров.

Потом Серго стал рассказывать своему брату и Зинаиде Гавриловне о моем сыне Павле, который к этому времени был переведен из Енакиева в Днепропетровск начальником доменного цеха. Серго говорил, что многие профессора и даже академики советовали закрыть этот завод, как совершенно устаревший, который всегда будет работать плохо, с большим убытком. А Серго послал туда моего Павла, и Павел показал там класс работы, на практике разбил все доводы профессоров, положил на обе лопатки академиков и вывел завод чуть ли не на первое место в советской металлургии.

Время пролетело незаметно. Я взглянул на часы и увидел, что уже десять.

Мы поднялись, и я сказал:

— Мы уже четыре часа у вас просидели, сколько времени отняли. Разрешите поблагодарить вас, товарищ Серго.

— Я сам с удовольствием с вами посидел. Вам спасибо за компанию.

— Я, товарищ Серго, не могу найти слов для благодарности. Раньше я никогда и не мечтал даже возле стен кремлевских побывать, а вот пришлось в самом Кремле сидеть. Да у кого? Если по-старому сказать, то у министра.

Серго обнял меня и сказал:

— У нас при Советской власти сегодня я нарком, а завтра ваш сын может быть наркомом.

А Зинаида Гавриловна сказала на прощание моей жене:

— Вы завтра позвоните, я пошлю за вами машину, и мы поедем по городу. Я Москву вам покажу.

Серго вышел из квартиры с нами, мы вместе сели в машину, он доехал до наркомата и направился к себе в кабинет работать.

XXII

Первую в Советском Союзе механизированную доменную печь пустили, как я уже говорил, в Макеевке в 1929 году. А затем на всех южных заводах стали строить такие печи. Осваивали их не легко. Случались поломки, аварии, расстройства и даже закозления.

Несколько раз в особо тяжелых случаях посылали меня на помощь другим заводам. Кто-то назвал меня в шутку «доктором доменных печей».

Первый выезд был у меня на завод имени Ворошилова (бывший Алчевский) в 1933 году. Мне позвонил директор и сказал, что по распоряжению товарища Серго я должен выехать в Алчевск, чтоб помочь там вылечить доменную печь.

В Алчевске я застал целый консилиум ученых доменщиков во главе со своим старым знакомым М. В. Луговцовым.

Он обрадовался мне и сказал:

— Пойдемте, Иван Григорьевич, посмотрим доменную печь. Случай исключительно сложный. Мы сидим около нее уже целую неделю и не можем разобраться.

Я посмотрел. Печь механизированная, американского типа, такой же величины, как макеевская, девятьсот тридцать кубометров объема, должна давать около тысячи тонн чугуна в сутки. А выдавала она сто — сто пятьдесят тонн и один только брак. Так продолжалось уже около месяца, с самого дня пуска, и день ото дня дело становилось хуже.

Я походил внизу, посмотрел в фурмы, они еле-еле светят,— на глазах пропадает печь. Спросил у мастеров, почему так плохо дело. Никто толком не говорит.

Я полез наверх, посмотрел загрузочные аппараты, там оказалось все в порядке. Осмотрел приборы — нагрев дутья хороший, давление достаточное. В чем же тут собака? По своему давнишнему опыту я знал, что такие длительные расстройства происходят главным образом из-за неправильностей в загрузке. Опять полез на колошник и опять не нашел там никаких неисправностей. Спустился в бункерное помещение, посмотрел материалы, полез в самое грязное место, где кокс просеивают аппаратом «гризли», выпачкался, как трубочист, но зато увидел, почему печь болеет. Пошел в гостиницу мыться. Навстречу Луговцов.

— Ну, как, Иван Григорьевич, что-нибудь нашел?

— Нашел.

— Что?

— Собирай свою комиссию, я сначала вас послушаю, а потом сам скажу.

После обеда собралась комиссия. Все наши ученые доменщики высказывают свои мнения. Один говорит, что внутри печи образовался холодный столб, что надо его разогреть и тогда печь пойдет. Другой говорит, что все дело в химии, что химический состав шлаков не тот, что нужно. Потом выступает третий, четвертый и т. д.

Дошел черед и до меня. Я говорю:

— Завтра же эта печь у меня даст не сто пятьдесят тонн, а пятьсот или шестьсот.

— Как так? Почему?

— Так, всего-навсего аппарат «гризли» немного надо подправить.

Луговцов не соглашается.

— Что там подправлять? Там вся конструкция в точности такая, как в Макеевке.

— Да, такая. Только решетки круто поставлены, и потому мелочь и мусор не просеиваются, а скатываются в бункер и идут в печь. Доменная замусорена коксовой мелочью, в этом вся ее болезнь. Тут работы всего на два часа, и завтра же она поправится.

Взялись за «гризли», дали правильный наклон, и на следующий же день печь выдала пятьсот тридцать тонн.

Вызывали меня и на другие заводы, и всегда находилась какая-то очень простая причина неправильного хода печи. Иногда мне даже бывало удивительно: причина у людей перед глазами, а они ее не видят. Приходилось и Павлу помогать. Однажды я к нему приехал, а он жалуется, что одна печь отстает от других, никак он ее не настроит. Пошел я к печи, полез наверх. Печь была старого типа, с ручной загрузкой. Верховые сами опрокидывали вагонетки с материалами. Контроль у Павла был хороший, материл заваливали в разные точки по окружности для равномерного распределения, но в одном месте стояла железная штанга. Мне сразу стало понятно, что в той точке, где укреплена эта штанга, вагонетку нельзя опрокинуть — штанга мешает рабочему,— и поэтому в этом месте материала попадает недостаточно.

Я сказал Павлу, чтоб он убрал эту штангу, и тогда печь наладится. Он так и сделал. Все исполнилось, как я ему предсказал. Потом он благодарил за хороший совет.

В Макеевке тоже дела шли неплохо. Все старые печи мы снесли и работали на четырех новых, давая около

четырех тысяч тонн чугуна в сутки. Макеевские доменщики избавились от выматывающего, изнурительного труда. Механизация сделала наш труд человеческим. В 1932 году мы завоевали первенство среди советских доменщиков и из года в год удерживали свое первое место.

Через несколько лет я опять побывал в гостях у Серго на его подмосковной даче. Потом видел его, когда приезжал в Москву получать орден. Он пришел в Президиум ЦИК СССР, когда товарищ Калинин выдавал металлургам ордена, и опять очень ласково со мной разговаривал. Это была последняя наша встреча. Когда радио принесло весть, что Серго не стало, я не мог удержать слез.

XXIII

В 1938 году меня выбрали в Макеевке депутатом Верховного Совета УССР.

На предвыборных собраниях я рассказывал избирателям о своей жизни, о том, что довелось мне увидеть и пережить за сорок лет пребывания в Макеевке.

Я вспомнил, каким грязным поселком была при капиталистах наша Макеевка, ныне один из крупнейших городов СССР. Вспомнил, как весной и осенью на улицах всегда стояло несколько брошенных, завязших в грязи бричек, которых не смогли вытащить лошади. А теперь макеевские улицы асфальтированы, теперь в Макеевке устроены парки, стадионы и сады, действуют театры, клубы и кино.

Я рассказал и о каторжной работе на капиталистическом заводе, о двенадцатичасовом рабочем дне, о вечном страхе оказаться безработным. А теперь отошли в невозвратное прошлое самые тяжелые профессии доменного дела: нет у нас ни каталей, исполнявших лошадиную работу, ни чугунщиков, волочивших клещами раскаленные чушки чугуна, ни верховых, всегда отравлявшихся угарным газом. Советские доменщики управляют механизмами, их труд стал человеческим.

Я рассказал, как тяжело было рабочему человеку дать образование своим детям, вспомнил о своих посещениях макеевской прогимназии, где учились сынки торговцев и начальников, о том, как я кланялся директору, упрашивая принять моего сына.

А теперь в нашей Макеевке десятки средних школ и несколько высших учебных заведений. Лучшие, самые просторные и самые красивые здания нашего города принадлежат школам.

Я рассказал и о своих детях, о всей нашей трудовой семье.

Павел был в то время директором Магнитогорского завода, самого крупного в стране, выстроенного в годы первой пятилетки. Правительство наградило его орденом Ленина, а народ избрал депутатом Верховного Совета СССР.

Николай преподавал теорию металлургии в институте имени Сталина и в Промышленной академии. Сотни его учеников работают на заводах Советского Союза. Наш нарком выдвинул его в то время на пост заместителя главного инженера всей металлургической промышленности. И об Илье я рассказал подробно. Когда я говорил о нем, своем младшем сыне, мне было и радостно и немного обидно. Илья отбил у нас, макеевцев, первенство, забрал красное знамя, которое мы держали много лет. Он работал в то время начальником доменного цеха Криворожского завода и первый не только среди нашей семьи, но и среди всех металлургов Советского Союза воплотил в жизнь, внедрил работу по графику. То, что казалось некоторым неосуществимой фантазией, он сделал законом производства. Этого он добился в борьбе, на деле опровергая мнения многих признанных авторитетов металлургии.

Сказал я и о Клаве, которая училась в то время в киношколе и исполняла роль жены рабочего в кинокартине «Ленин в Октябре». Она говорила мне, что, играя эту роль, она старалась быть похожей на свою мать, на нашу покойную Ольгу Митрофановну.

Всюду, где бы я ни выступал, мне задавали десятки и сотни вопросов. И я отвечал, говорил опять о своей судьбе, о том, как революция сделала нас, людей труда, первыми людьми в нашем государстве.

1939

У ВЗОРВАННЫХ ПЕЧЕЙ

1

Мы стоим среди взорванных доменных печей Макеевки.

— Вот тут и грузились в эшелоны, прямо на заводе, ночью,— говорит старый Коробов.

Он, глава семьи доменщиков Коробовых, так и зовется у металлургов «старым» в отличие от сыновей.

За время войны мы видимся первый раз. Он показывает мне, корреспонденту из Москвы, странно безмолвный цех, где раньше в любой час дня и ночи четыре печи, башни-великаны, гудели так, что, разговаривая, всегда приходилось напрягать голос.

Коробов рассказывает, как идет восстановление, но поминутно отвлекается. Ему хочется вспомнить обо всем, что пережито в годы войны: и о том, как грузились в октябрьскую ночь 1941 года, как покинули завод, как ехали. Шутка ли — двадцать восемь суток шли макеевские эшелоны до Урала.

Два года старый Коробов пробыл на Урале вместе с немалой армией металлургов Юга, которые были переброшены туда, чтобы в далеком тылу продолжать работу, давать армии металл.

Ему шестьдесят три года, но усы и теперь ярко-рыжие, лишь чуть-чуть с сединой. Держится он солидно, даже с некоторой важностью, чего, вероятно, сам не замечает. Однако натура то и дело берет свое: чем-либо увлекшись, он моментально входит в азарт, сразу забывая о солидности, подобающей ему, знаменитому обер-мастеру доменных печей.

2

Одна домна уже восстановлена и готова к пуску.

У соседних печей броня разворочена, вздыблены листы и прутья железа; а эта блестит, выкрашенная черным ла-

ком, в котором весело играет солнце. Внизу, у горна, где конструкция подвергается особенному действию жара, не все можно красить, там домну побелили жидким мелом, на котором пока незаметно ни пятнышка. Работающая печь никогда не бывает такой чистенькой.

Я расспрашиваю Коробова об Урале. Он отвечает:

— Работают полным ходом. Никогда так не работали. Одна Магнитка дает столько стали, сколько в ту войну вся Россия не давала. А Кузнецк? А Тагил? А Златоуст?

Он почему-то и сейчас входит в азарт, будто продолжая какой-то незаконченный спор. Длинные рыжие усы воинственно приподымаются; он косится на меня: не собираюсь ли вступить в спор я? Но я молчу.

Коробов оглядывает цех. До войны доменные печи Макеевки, выстроенные взамен прежних, устаревших, начисто снесенных, соперничали по мощности с магнитогорскими. Здесь был самый крупный металлургический комбинат Юга. Сюда любил приезжать народный комиссар тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. По этим плитам, по этому помосту из стальных листов, которые теперь порваны и заржавели, он не один раз прохаживался со старым Коробовым, полуобняв его, чтобы в шуме печей ясней различать голос, и порой хохотал, выслушивая ответы макеевского обер-мастера.

Коробов оглядывает цех и вдруг еще азартнее восклицает:

— А все-таки у нас в Макеевке устройство лучше. Везде я побывал: и в Магнитке и в Кузнецке — и нигде не нашел умней нашего устройства. Гляди-ка!..

Он ведет меня к восстановленной печи и демонстрирует различные ее детали, порой заставляя куда-либо пролезть или что-то собственноручно повернуть, чтобы я убедился, что здесь конструкция удобнее и проще, чем в Магнитке.

Показывая рукой на линию разрушенных печей, он объясняет, как расположены пути жидкого чугуна и шлака, как приспособлены подъемные сооружения.

— Эх, красота какая! — восторженно восклицает он.

Я всюду вижу задранное рваное железо, рухнувшие тележки мостовых кранов, скрученные взрывами балки, безобразные кучи золы и растрескавшегося в пыль беловатого известняка с темными вкраплениями

обгоревшей руды; рабочие отгребают лопатами эту массу от печей, а она все сыплется и сыплется через проломы.

— Какая же это, Иван Григорьевич, красота?

Он улыбается:

— Э, к этому нам только руки приложить. Это все мы восстановим.

— А надолго ли, Иван Григорьевич, затянется восстановительный период?

Коробов возмущенно отмахивается обеими руками.

— Какой там период? Никакого периода! Поднимем с ходу! Вернется народ с войны, а у нас все готово, все горяченькое.

— Но в чем же все-таки будут основные трудности?

— Какие трудности! — с тем же возмущением восклицает он.— А ну, лезьте-ка за мной! Чего отстаете? Айда выше, выше... Поглядите отсюда на завод. Видите? Паровозы ходят, аглофабрика работает, мартен работает, электростанция работает. Сходите туда, на электростанцию, там поставлен генератор, у которого на заводской марке выбито: «Ленинград. 1943». Ленинградцы в блокаде такие машины строили. Вот там были трудности! А теперь мы получаем эти машины для восстановления. А Урал сколько нам дает? Сейчас все, что хочешь, заказывай на Урале. Свиноматок и коров для подсобного хозяйства и то с Урала получаем. Говорю — поднимем с ходу!

Помолчав, он произносит:

— Теперь-то нам не тяжело. А вот губить завод было тяжело. Восстанавливать легче, чем губить.

— А как губили? Как это было, Иван Григорьевич?

3

— Команду насчет этого нам дали в ночь на десятое октября сорок первого года,— говорит Коробов.— Я находился не в цеху, а на погрузке эшелона. Вот там, около блюминга...

С верхней площадки, куда мы поднялись, видна территория завода. В разных точках вспыхивают голубоватые молнии электросварки, ясно заметные даже в солнечный день. Вдалеке вырисовываются и будто курятся геометри-

чески точные пепельно-серые вершины: это накопленные десятилетиями насыпи пустой породы у шахт.

Коробов продолжает рассказ:

— Разве кто думал, что допустим сюда гитлеровцев, что оставим Донбасс? Когда началась война, все располагали, что на Днепрэ их задержим. И вдруг узнаем: они перешли Днепр.

Завод действовал с полным напряжением. Ни одну печь, ни один стан не остановили — давали и давали металл для обороны.

У меня гостила невестка, жена Ильи,— это мой младший сын, директор Днепропетровского завода. Он вывозил на восток оборудование своего завода; потом с нового места дал жене телеграмму: «Приезжай». Я посадил ее с детьми в машину, погрузил все ее манатки, и мы с женой поехали провожать невестку на станцию.

А тут прошел слух: Коробов-де дал драпака, подался из Макеевки. На другой день приходили к нам на квартиру женщины, даже малознакомые.

— Здравствуйте, Иван Григорьевич. Как живете?

— Ничего, спасибо.

— А где ваша жена?

— Дома.

— Дома?

— Да. На что она вам?

Они мнутся. Вызываю жену: нате, мол, глядите. Некоторые признавались:

— В народе прошел слух, что вы, Иван Григорьевич, уехали.

— Никуда не уехал и, будьте спокойны, уезжать не собираюсь. Не отдадим Донбасса!

Говорю всем: «не отдадим», а сам и верю и не верю. Иногда чувствую, что сердце под коленкой. Но виду не подаю, усы не вешаю, по два раза на дню гребешком расчесываю, чтобы не повисли.

А на дворе октябрь. Чтобы дух поднять, купил триста килограммов капусты:

— Бери, жена, сечку. Руби, секи. Пускай все видят, что Коробов капусту на зиму заготовляет.

Фронт недалеко, а доменные идут во весь ход, выдаем выпуск за выпуском, дома жена капусту рубит. И вдруг вечером девятого октября вызывают меня в контору.

Там, в кабинете директора,— главные люди завода. Я думал, что идет совещание, но все, кто там был, молчали, никто не держал речь. Директор сказал мне кратко:

— Завод эвакуируется. Первым эшелоном отправляем женщин и детей. Начальником эшелона будете, Иван Григорьевич, вы. Погрузка сегодня в ночь на путях блюминга. К вашему же эшелону, возможно, успеем прицепить несколько вагонов с оборудованием. Вот вам, Иван Григорьевич, удостоверение.

Он протянул мне удостоверение, а у меня, чувствую, дрожит рука. И не хочу поднять такую руку, не хочу, чтобы все увидели, как она дрожит. Директор посмотрел на меня и положил бумагу на стол передо мной.

Потом что-то вычеркнул в блокноте и обратился к начальнику электросварки. Дал распоряжение изготовить через два часа сколько нужно железных печек и установить в вагонах. А я стою, слушаю и не знаю, что сказать, о чем спросить. Наконец осилил себя, взял удостоверение и спросил:

— Куда же мы?

— На Урал. В точности место еще неизвестно.

Я задал еще несколько вопросов: насчет паровозов, продовольствия, топлива. Директор на все ответил.

— Теперь, Иван Григорьевич, идите. В цех можете не заходить. Все, что требуется, сделаем без вас. Берите семью и отправляйтесь прямо к блюмингу. Состав уже будет там.

Я вышел. На улице было темно. Моросил дождь. Небо черное, земля черная, все черным-черно. В домах и на заводе ни одной полоски света: все замаскировано. Но гудели, как всегда, доменные печи. По тону слышно — идут ровно, горячо. И вдруг там мелькнули красноватые отсветы. Это выпускали чугун. Как мы ни маскировали завод, всюду закрывая железными колпаками горячий металл, но когда из печи бежал огненный поток, всегда в эти минуты ночь становилась розоватой.

Я остановился и смотрю. Неужели последний раз я это вижу? Неужели через несколько часов... Что через несколько часов? Только тут я отдал себе отчет в напоследок сказанных словах директора: «В цех можете не захо-

дить. Все, что требуется, сделаем без вас». Что же сделаем мы с доменными? Неужели будем губить своей рукой?

А ведь там, на печах, люди еще ничего не знают. Печи гудят, выдают чугун.

По улице шли прохожие. Еще никто не спешил, не волновался; до рабочих еще не дошла весть, что завод живет последние часы. Кто-то из встречных засветил на момент фонарик, навел на меня, узнал, поздоровался, спросил:

— Что нового?

Я хотел сказать и не сказал. Как выговорить: «Отдаем Макеевку, уходим». Стою перед ним, кусаю губу и молчу. Так, без слова, я и ушел в темноту.

Около дома встретил соседа Тимофея Кузьмича Векличева. В темноте узнал я его походку. Это тяжеловесный могучий доменщик, таких выбирали на горно в старину. Он старше меня на несколько лет — старый доменный мастер, старый друг. С ним я поговорил.

— Собирай, Тимофей, семейство. Дела плохие. Сейчас отправляем женщин и детей.

Векличев сказал:

— Никуда я не поеду. Живу здесь с основания, здесь мне и помирать. И семейство тут останется. Думали мы промеж себя и на этом порешили. Никуда не тронусь с родины.

— Что ты? Какая у тебя тут будет родина? Ведь придут же враги!

— Все переживали. Переживем и это.

5

Дома я предложил жене быстро собираться.

— Лишнего не бери. Разрешено на каждую семью двести килограммов багажа.

А сам смотрю кругом и всего жалко. Кровати у меня были никелированные, гардероб с зеркалом, для жены была приобретена швейная машинка. Помню, как покупал каждую вещь, как осматривал, ощупывал в магазине, как привозил домой. И все это надо бросать, увязывать узлы и уходить. Куда? Я еще и сам не знал города, куда нас повезут. Пока просто в темноту.

Жена спросила:

— А патефон брать?

— Как у тебя язык повернулся? Песни играть, что ли, мы едем?!

Уложил узлы в свою машину «эмочку», сел в последний раз за руль. Любил я ее. Без машины я знал только Макеевку, станцию Ясиноватую, город Сталино, а на машине на полтораста километров вокруг Макеевки все места изъездил. Иногда в свободный день заведешь ее чуть свет и покатишь с женой и внучатами к морю, в Мариуполь, искупаешься там, поваляешься на морском песке, а вечером — опять в Макеевке; пьешь на крыльце чай, и машина стоит рядом.

Она мне потом снилась. Нет, не в пути, не в поезде. В пути некогда было думать о машине, надо было думать о тех, кого я вез, кого доверили на мою совесть, на мою ответственность.

Сел в последний раз за руль. Ну что же, раз такое дело, ведь не родился же я с машиной.

В темноте, чуть освещая путь подфарками, подъехали к блюмингу. Состав был уже там. Кругом, куда не взглянешь,— мрак, но завод еще действовал. Слышались удары паровых молотов, визг круглой пилы, режущей раскаленный металл, покрикивали невидимые паровозы, низко и ровно гудели доменные печи. Смотрел, смотрел туда, там тоже ни зги. Неужели так и уеду, не забежав к печам, не попрощавшись?

Но уже подходят люди, уже спрашивают:

— Кто начальник эшелона?

Надо исполнять обязанности. Я пошел вдоль поезда, осмотрел состав. В теплушках были устроены нижние и верхние нары; печки уже были сварены, установлены, впереди стояли пульман угля и два паровоза под парами.

В поезде был один пассажирский вагон. Ключа ни у кого не оказалось. Я взял плоскогубцы, открыл дверь. Опять заболело сердце,— ну вот, мы и на колесах. Прощай, прощай, Макеевка!

В каждое купе я пустил по одной, по две семьи с самыми малыми ребятами.

Вдали, над станцией Ясиноватая, встали и зашарили по небу лучи прожекторов. Потом забили зенитки. Нам было видно, хотя очень неотчетливо, как струями, будто из брандспойта, летели вверх красные и белые пули. Дошел тяжелый удар бомбы. Еще раз! Еще раз! Сначала в ночи

вспыхивало пламя, потом, долго спустя, докатывался звук. Гитлеровцы бомбили Ясиноватую, крупнейшую распределительную станцию Донбасса, через которую предстояло ехать и нам.

А у нас, на путях блюминга, шла погрузка в эшелон. Этим занимались мужчины — отцы и мужья,— они отправляли семейства, а сами должны были еще задержаться, чтобы демонтировать и вывезти со следующими поездами оборудование.

Никто не спорил из-за мест. В полной темноте грузились молча, лишь изредка переговариваясь вполголоса. От одного к другому прошла весть: враг ворвался в Мариуполь и теперь с тыла охватывает центры Донбасса.

Среди ночи затих блюминг; прокатные станы были остановлены; уже ниоткуда не слышалось привычного лязга стали. И лишь доменные печи по-прежнему шумели. Низкий гудящий звук стал еще более мощным — так бывает, когда усиливают дутье. Но сколько я ни поглядывал туда, красноватых сполохов уже не появлялось. Давно кончилась бомбежка, замолкли зенитки, погасли далекие прожектора, а чугуна из печей не выпускали.

Время шло к свету. Все, кто уезжал с первым эшелоном, уже сидели по вагонам. Я принял продовольствие; вместе с паровозной бригадой проверил тормоза, простукал скаты. Из конторки блюминга позвонил директору.

— Поезд готов к отправке.

— Хорошо, Иван Григорьевич. Ясиноватая пока не принимает. Думаю, часа через два тронетесь. Ждите команды.

Я прошел по зданию блюминга. Душу давила тишина. Звук шагов отдавался от стен, от черных железных ставень, наглухо закрывавших окна. При свете больших электроламп слесаря и электрики почти бесшумно развинчивали двигательные механизмы.

На дворе помутнело. Неясно проглянули темные коробки смолкших цехов, черные окна. А доменные все гудели и гудели.

В вагонах люди сидели тихо, не ложась, не раздеваясь. Я походил, походил около паровоза, потом не вытерпел и сказал машинисту:

— Добегу до печей. В случае чего — гуди мне. Дай длинный и короткий. Возвращусь в момент.

На печах я застал ночную смену. Ее время кончалось, но никто не готовил цех к смене. Бросив инструменты, рабочие сидели и бродили около печей. Люди похудели, осунулись за одну ночь. В первую минуту никто не сказал мне ни слова.

Песчаная канава, по которой выпускают чугун, была на некотором протяжении аккуратно сформована, а дальше из кучи песка торчали лопаты. Я по привычке перешагнул канаву, чтобы не потоптать. Но один из доменщиков крикнул:

— Чего бережешь?

И большим деревянным башмаком наступил на приглаженные лопатой стенки.

Заглушая все, от печей несся низкий дрожащий рев. Под огромным давлением, которое явно было выше допустимого (что легко было определить по звуку, даже не глядя на приборы), в каждую печь сквозь двенадцать фурменных отверстий рвался раскаленный воздух. Шагнув ближе, я почувствовал, что чугунные плиты под ногами дрожат. Высоченная домна дрожала как струна.

На шихтовой доске мелом были написаны цифры. Я взглянул и остановился. Такой шихты никогда не загружали, наверное, ни в одну домну во всем мире. Пропорции кокса, руды, известняка были такими, что в другое время у меня волосы зашевелились бы под шапкой. При такой шихте неизбежен «козел»: шлак и чугун теряют текучесть и неминуемо застынут в печи огромным монолитом, который ничем не разобьешь, не расплавишь, который можно лишь кусками отрывать взрывчаткой. Это была шихта на закозление.

Горновой покричал мне в ухо:

— Восемь часов не выдаем ни чугуна, ни шлака.

Но было понятно и без объяснений, что горн сверх меры переполнен густой клокочущей массой.

Я побежал в будку мастеров к приборам, но в этот момент рев дутья на одной печи оборвался. Она ухнула и еще сильней затрепетала. Расплавленный чугун, скрытый за броней, с силой хлынул в фурменные рукава. Кругом все затряслось. Печь простонала, как живое существо, и затихла.

...Через несколько минут дежурный инженер выключил

дутье на следующей печи. Загруженные материалы рухнули и внутри этой домны; печь, как мы говорим, «села», бурлящий чугун и тут рванулся в фурменные рукава, чтобы через некоторое время застыть, закозлиться.

Все печи, одна за другой, были остановлены с «козлами». Когда пресекся рев последней печи, на заводе наступила вдруг мертвая тишина.

В тиши кто-то шепотом выговорил:

— Боже мой!

Меня звали гудки. Я повернулся и побежал к поезду...

7

Иван Григорьевич помолчал. С верхней площадки мы смотрели на развороченный взрывами цех.

— Мы закозлили наши печи,— продолжал он,— а взорвали их гитлеровцы. Они все собирались пустить хоть одну доменную, но так и не смогли. За двадцать два месяца они выплавили на мартеновских печах лишь четвертую часть нашей нормальной дневной производительности. За двадцать два месяца они взяли с завода одну четверть того, что он давал за сутки. А уходя, все подорвали. Теперь мы восстанавливаем. Это веселее, чем губить. Вы приглядитесь к людям, как работают. Тимофею Векличеву почти семьдесят лет, а он и молодым показывает класс работы. Узнал, что такое родина.

— А разве раньше он этого не знал?

— Как тебе сказать? Всем нам война по-новому дала понять, что такое родина.

— Расскажите, Иван Григорьевич, а удалось ли все же эвакуировать завод?

Коробов усмехнулся.

— Изволь, все ему расскажи в десять минут. Достаточно я с вами занимался. Пройти надо по работам. Приходите на квартиру вечером. Там и доскажу.

8

Нет надобности описывать подробности нашей вечерней встречи.

Мы сидели на крыльце дома, где жил Коробов. Взорванные печи были видны и отсюда. Много раз доводилось

мне бывать в Макеевке, но в тот вечер я впервые чувствовал там запах акации. Три года трава и деревья Макеевки не вдыхали заводского газа; три года на зелень не садилась рыжая доменная пыль. Об этом зашел разговор...

— Сейчас женщины требуют,— сказал Коробов,— чтобы и завод пустить и природу сохранить. Так наседают, что и не отвяжешься. Оно, конечно, и вправду хорошо...

Он показал на пруд. Под легким ветром взбегали маленькие волны. Вечернее солнце отражалось там дорожкой золотистых взблесков, будто из тысячи зеркалец вылетали слепящие зайчики. Три года назад в пруду не было ни одной рыбы, ни одной нити водорослей, на кромке берега всегда оседала неприятная маслянисто-черная жижа, а теперь взблески стали живыми, по цвету волны угадывалась прозрачно-голубоватая чистая глубь.

— Надо весь доменный газ,— продолжал Коробов,— забирать у нас на дело, чтобы не выходил на волю. Сейчас проектируем дать этот газ на квартиры всей Макеевки...

Мгновенно увлекшись, он стал объяснять проект. Потом улыбнулся.

— А ведь и с газом, с пылью Макеевка была для нас так хороша, как ничто на свете. Летом жена сорвет бывало веточку акации, моет ее под краном и все принюхивается: не запахнет ли? Нет, не пахла. А на Урале мы развели всякие цветы, но жена один раз призналась, что все эти цветы отдала бы за одну заморенную макеевскую веточку. Тосковали по Макеевке... Эх, как тосковали...

Один-два моих вопроса вернули Коробова к продолжению рассказа.

— Да, прирастает народ к месту,— произнес он.— Никому не хотелось бросать дом, имущество, завод, уходить неизвестно куда, где-то мыкаться.

Некоторые старые рабочие рассуждали, подобно Тимофею Векличеву:

— Все переживали. Переживем и это.

Помню, как наш эшелон уходил по заводским путям мимо доменного цеха. У загубленных печей стояли горновые. Там все было покончено, но они не снимали брезентовых спецовок, не шли по домам. У меня не поднялась рука махнуть им на прощание. И нам никто не махнул.

9

В нашем эшелоне двинулись из Макеевки двести восемьдесят семейств.

На станции Ясиноватая мы простояли целый день. К вечеру туда подошли другие эшелоны из Макеевки. За один день на заводе сняли с фундаментов и погрузили стан «250», стан «300», две воздуходувки, много машин и моторов. Около пятисот вагонов оборудования удалось вывезти с завода.

Ночью мы опять тронулись. Небо над Донбассом было красным. Где-то, как далекий гром, ударяли пушки. На одном повороте, откуда на минуту открывался город Сталино, мы увидели стрельбу трассирующими пулями. Поезд шел среди пальбы, среди пожаров. В вагонах все будто притаились.

С разъезда Землянки днем всегда можно было разглядеть далекую Макеевку. А по ночам с начала войны завод был темен. Но теперь там полыхали огни. Горел материальный магазин, горели склады масел, запасы кокса и угля.

Поезд прибавил ходу, а мы все смотрели, не отрывая взгляда от сполохов огня, исчезающих за горизонтом, от зарева над покинутым заводом.

Но вот все слилось в багровом небе. Прощай, Макеевка! Прощай!

10

Минули сутки, еще одни сутки, поезд медленно продвигался на восток. Уже вокруг не стреляли, не бомбили с самолетов, ночи стали темными, без зарев.

На второй или на третий день пути мы узнали, что Макеевку заняли немцы.

Теперь для меня Макеевкой, живой частицей Макеевки, был порученный мне эшелон. На меня была возложена ответственность за двести восемьдесят семейств. Всех надо было накормить, всех доставить в целости.

Сбоку железнодорожного пути гнали и гнали на восток стада коров, гурты овец. Мясо было дешевое. Овцы не выдерживали долгих переходов, начинали хромать, их прирезывали и задешево продавали в эшелоны. Вместе с уполномоченными от вагонов я каждый день на разных

станциях получал по продовольственному листу для эшелона хлеб. На станции Дебальцево, еще в Донбассе, нам привезли на заводском грузовике несколько ящиков сливочного масла. В общем, голодными не сидели. Добрались...

11

Об Урале много рассказывать я не буду.

Седьмого ноября, в годовщину революции, наш эшелон прибыл к месту назначения — в город Тагил. Пришлось побегать, пока я разыскал председателя горсовета. Для праздника я у него разжился водкой, конфетами, мешком сахару, бочкой сельдей и все это роздал народу. Мы справили праздник в эшелоне.

Я думал, что мне, как многим другим макеевцам, придется работать в Тагиле, но нарком вызвал меня в Свердловск и сказал:

— Ты, Иван Григорьевич, поработай по всему Уралу. Будешь ездить с завода на завод, усматривать неполадки по доменному делу. Надо прививать уральским заводам южную культуру.

И стал я ездить по заводам. Где только я не побывал! В Салде, в Кушве, в Алапаевске, в Серьгах, в Чусовой, в Первоуральске, в Верхнем и Нижнем Уфалее — ну, в общем, ежели все уральские заводы вспоминать, то весь этот лист испишем.

И вот, куда ни приедешь, везде встретишь знакомых, везде расставлены южане.

Зима сорок первого года оказалась очень трудной. Заводы работали еще не в ту силу, как нужно. Однако к весне дело стало налаживаться; старинку поломали; заводы стали работать лучше, а затем и вовсе хорошо, постоянно с перевыполнением. Сами уральцы удивлялись: «Многому мы у вас научились».

Про уральцев я скажу так: это труженики. Суровые, упорные труженики. Мы с ними сработались, они тоже признали нас работниками.

Вначале уральцы исподлобья смотрели на наших жен. Укоряли их за то, что не умеют косить, пахать, запрячь лошадь, пасти скот. Ведь на Урале по-старинному почти каждый рабочий имеет свой клин земли. Женщины ворочают там землю, как хороший мужик.

Мне много раз доказывали, что земля и собственный дом навсегда удерживают рабочего около завода, обеспечивают заводу постоянный состав. Но я всегда отстаиваю наш южный порядок, тот, к которому привык в Макеевке.

Свои старинные порядки уральцы в обиду не давали.

Любят они свой Урал. Что говорить — местность действительно богатая. Всюду горы, леса, быстрые реки. Сурово, дико, но красиво. Где-нибудь встанешь и глядишь, любуешься природой. Но долго не простоишь — очень много комаров. Терпения нет от комаров.

Охота там хорошая,— в лесах не только глухари, тетерева и рябчики, но есть и медведи, олени, лоси. Везде слишком глухо. Поэтому на охоту ходить там жутковато. Я лично не ходил — боялся, что можно заблудиться.

Богат Урал своими недрами. Это цветущий край. А то ли еще впереди! И все-таки мне было там не по себе. Милей Макеевки я нигде места не нашел.

12

Хотите, чтобы про сынов я рассказал? А вы лучше лично их порасспросите, пусть сами отвечают.

Ну, что я могу сказать?

Илья работал во время войны заместителем главного инженера и начальником доменного цеха на новом заводе, который воздвигался около Челябинска. Площадка была очень хорошая, и строился прекрасный завод. К стройке приступили после начала войны, а тепель, через два с половиной года, там уже в ходу две доменные печи и много других цехов.

Теперь Илья возвратился на свой пост в Днепропетровск. Восстанавливает там завод. Грозится, что заведет устройство поудобнее, чем в Ма́кеевке. У него свои чертежи, он всю войну их чертил в Челябинске. Но ведь и мы не просто восстанавливаем копию Макеевки, а с улучшением. Поглядим, кто кого осилит, где горячее пойдет дело,— у него или у нас, в Макеевке.

Теперь о Николае. Вы его знаете, это мой средний. Он у меня тихий, молчаливый, в мать. До войны работал профессором металлургии и в 1940 году был назначен на большую научную должность — директором всего Гипро-

меза[1]. Но в те времена он часто бывал не в настроении. Иногда он мне высказывал, что лежало у него на душе. «На лекциях я внушаю одно,— говорил он,— а в заводской жизни вижу другое. Я учу, что руду надо мыть, надо сортировать, а у вас загрузка идет прямо с колес. Привезли руду — и сразу в печь. А ежели нет привозу два-три часа, то и нечего грузить,— дергай, останавливай доменную печь. Диспетчеры сидят на телефонах, нервничают, да и вся работа идет на нервах, рывком, напором. Новые печи пускаем с недоделками, со всякими времянками... А на лекциях я учу,— говорил он,— что нельзя пускать домну с недоделками, доказываю, что это страшная растрата народного труда».

А недавно он мне сказал: «Первый раз за все годы, как я стал работать в металлургии, у меня на душе полное удовлетворение...»

Вот ведь вышла какая удивительная вещь! Со стороны многие, наверное, думают: во время войны на заводах стало еще больше спешки, горячки, нервничания, крика; везде недохватки, простои, рабочие все это одолевают отчаянным напряжением сил — в этом-де народный героизм.

Ан нет! Во время войны, правда, не сразу, а приблизительно на второй год, мы наладили заводское дело так, что и профессор мой доволен. Работаем спокойно, не с колес; работаем, как велит наука.

Вы приглядитесь, как мы здесь доменную печь пускаем. Очень спокойно, все нам обеспечено, за всю революцию никогда так не пускали.

Почему? Конечно, вы человек приезжий, в нашем деле многого не понимаете, это не удивительно. Но иногда я и сам не понимаю, как все это совершилось. Сам не понимаю, вот что удивительно!

13

Ну, очередь за Павлом. В феврале 1942 года он был назначен директором Магнитки.

Когда я приехал к Павлу на Магнитку, у него дома на столе лежала маленькая книжка — сочинение нашего знаменитого полководца Александра Васильевича Суворова.

---

[1] Гипромез — Государственный институт по проектированию металлургических заводов.

Я ее по вечерам читал, в ней написано много замечательного. На службе у командира должна быть жестокость, но и доброта. К солдату всегда надо относиться по-человечески. Солдат — это самое большое звание. Все это сказано про армию, но к производству точь-в-точь подходит. Я до сих пор жалею, как я эту книжечку в карман не захватил. Потом, без меня, Павел ее кому-то отдал.

У него во всем такой подход. Скажем, на доменной печи или где-нибудь в другом цехе работа идет плохо. Павел приходит и спрашивает у начальника цеха:

— Говори, что тебе нужно, чтобы поправить дело?

Выслушает, запишет, потом приложит старание и все даст человеку для работы. Приходит второй раз:

— Ну, еще что тебе нужно?

И второй раз даст, что нужно. Приходит третий раз.

— Все имеешь? Ничего не нужно?

— Спасибо, Павел Иванович. Ничего не нужно.

— Ну, брат, теперь давай работу.

А ежели не сработаешь и после этого — тут Павел жесток. Я его отец; кому и знать, если не мне, какое мягкое у него сердце, а случалось, что и я его не узнавал. У него есть словечко «барахольщик». Так он называет тех, кто не исполняет своего дела, у кого голова и совесть не отданы заводу. При разговоре с «барахольщиком» он не кричит, не стучит по столу, но что-то чувствуется в нем такое, что и мне делается страшно, хотя я нахожусь в сторонке.

На Магнитке Павел завоевал большой авторитет тем, что вникал в быт рабочего, в человеческую жизнь. У Павла заведено: как бы он ни был занят, а должен найти в сутках один час, чтобы принять рабочих. К нему шли в кабинет и даже домой с просьбой и нуждами. Всяким человеческим несчастьям, пусть очень маленьким, он отдавал частицу сердца, мысли, придумывал, чем можно помочь.

14

В ночь на 5 сентября 1943 года мы услышали по радио, что Макеевка занята Красной Армией, освобождена от фашистских захватчиков. Все взялись звонить друг другу по телефону, поздравлять с Макеевкой. Звонили даже по дальним линиям — с завода на завод.

Мне еще днем позвонил Николай из Свердловска, сказал, что вылетает в Макеевку. Я подумал, что он шутит.

— Куда ты полетишь, когда Макеевка еще не взята.

— Ничего. Сегодня ночью услышите, что ее взяли. Пиши, отец, письмо макеевцам.

Но я все-таки не верил, пока не было объявлено по радио. А как услышал, то меня вдруг затрясло. Помните, я вам рассказывал, как дрожала у меня рука, когда было объявлено об эвакуации. Так и теперь: трушусь — и все. Полчаса или, может, больше не мог совладать с дрожью. Тут же ночью я добился, дозвонился к Павлу.

— Павел! С Макеевкой тебя! Правда, что Николай уже полетел туда?

— Правда.

— Павел! И я прошусь! Можно мне поехать?

— Обожди немного. Поедешь дней через десять. Надо оформлять разрешение. Ожидай, тебе будет телеграмма.

Прошло десять дней — телеграммы нет. А напротив, пришло распоряжение наркома, чтобы я выехал в Верхнюю Синячиху по проверке углежжения: дознаться, докопаться, почему заводам слабо поступает уголь. Я опять позвонил Павлу.

— Что же это? Когда же я в Макеевку?

— Ничего. Вернешься из командировки и поедешь.

Я проездил почти месяц, искал фальшь в работе, потом вернулся, и опять для меня никакой телеграммы. Еще раз позвонил Павлу. Он сказал, что нарком пока не хочет отпускать меня в Макеевку.

— Придется, отец, еще немного подождать.

— Как так? Нет у меня мочи ждать!

— Потерпи. Ничего не поделаешь.

Я походил, походил около телефона, как тигр в клетке, и... э, будь что будет! Взял трубку и позвонил наркому.

Позвонил я ему, поздоровался, рассказал про дрова, про углежжение, про всю работу, а потом спросил:

— Товарищ нарком, когда же я в Макеевку поеду?

— Там, Иван Григорьевич, тебе делать еще нечего. Доменные печи пока не восстанавливаем. Подвозим оборудование и материалы. Не поедешь же бездельничать?

— Товарищ нарком, мне хотя бы посмотреть! Разрешите, я съезжу, посмотрю и сразу же обратно.

— Ну, это можно...

Уже шел декабрь. На Урале стоял сорокаградусный мороз. Было солнечно. Снег до того блестел, что приходилось жмуриться. В такой день я выехал.

15

Опять миновал я пол-России, но уже скорым поездом. Когда начался Донбасс, то от окошка я уже не отходил. Поезд шел через Ворошиловград, Лисичанск, Енакиево. Впечатление было подавляющее. Все станции разрушены, вместо зданий валялся битый кирпич. Только Енакиевская станция одна единственная была цела.

Все встречные составы шли порожняком. Подумать только,— из Донбасса, из угольного Донецкого бассейна, где шахты и заводы всегда тужили о порожняке, шли и шли пустые составы. Но это немного и порадовало: ого, сколько гонят в Донбасс металла, леса, машин, продовольствия; ого, сколько мы даем сюда!

Здесь декабрь был мокрым, с неба текло, земля размокла. Я хотел слезть на разъезде Землянки, но было слишком грязно, я побоялся, что где-нибудь увязну, не дойду. Решил доехать до станции Сталино, а оттуда как-нибудь машиной.

Много раз я бывал на этой станции, но когда сошел, то потерялся. Стою и не знаю, в какую сторону идти. Ничего от станции не осталось — ни одного здания, ни одной будки, лишь кое-где мокли под дождем разбросанные глыбы кирпича, еще связанного цементом.

В городе я разыскал представительство Наркомчермета, и меня на машине подбросили в Макеевку.

Странной она мне показалась! Я приехал в сумерках, около шести часов вечера. На улицах — ни души. Дома серые, обшарпанные, на тротуарах и на мостовой валяются упавшие с крыш мятые листы железа, будто и не живет никто. Смутно так, печально...

Я проехал по городу. Цирк взорван, самые лучшие здания взорваны. Отовсюду я смотрел на завод. Там тоже все тускло, печально. Раньше, при светомаскировке, завод тоже был темным, но в темноте там что-то двигалось, шумело, а теперь была безжизненная тусклота. Только над мартеном иногда появлялось маленькое зарево. Я сказал шоферу повернуть из центра в заводскую колонию. Подъехали к моей квартире. Дверь сорвана, все настежь. Внут-

ри пусто, стены обшарпаны, грязь, холодно, жутко. Вышел на волю, поглядел по сторонам. Соседние дома тоже разорены, тоже без дверей, без стекол. Постоял, подождал: не пройдет ли где человек, не заслышу ли шаги? Нет, не слыхать.

Куда же идти? Отправился в главную контору. Там в коридорах ярко горело электричество, а в кабинете директора происходило совещание. Я отворил дверь и вошел.

Совещание вел наш Кротов, тот самый, что и прежде был директором Макеевки. К нему собрались главные люди завода. Народу было, конечно, поменьше, чем на таких же заседаниях раньше,— многим старшим командирам Макеевки еще не позволили выехать с Урала.

Директор увидел меня.

— А, вот и Иван Григорьевич!

Он показал на меня рукой и засмеялся. На минуту сам собой получился перерыв. Со мной стали здороваться, приветствовали, шутили. И только тут дошло до души — ведь я же в Макеевке! Ведь это тот же кабинет, куда меня вызывали вечером 9 октября 1941 года. Это тот же директор, который тогда кратко сказал: «Завод эвакуируется. Первым эшелоном сегодня в ночь отправляются женщины и дети». Сейчас он улыбается — тридцатипятилетний, ладный, энергичный. У него блестят глаза. Что говорить, красивый парень! Да и я тут не из последних. На мне была хорошая одежда: кожаное пальто, суконная фасонистая кепка. Я поправил усы, немного выпятил грудь. Стою и смеюсь вместе со всеми.

Директор сказал:

— Ну, хватит, хватит... К делу! Садись, Иван Григорьевич.

Один инженер, старинный знакомый, пригласил меня переночевать, а рано утром, чуть развиднелось, я пошел на завод.

16

Опять накрапывал дождик, земля совсем распустила губы. Я опять видел серые дома, с которых кусками поотстала и обвалилась штукатурка, но настроение у меня было другое, чем вчера в сумерках. Сапоги выше головок испачканы в грязи, но даже и это было мне приятно. На Урале в дождливое время ноги скучали по донбассовскому

месиву. На Урале этого нету — вода скатывается, ноги не вязнут. Когда мы жили в Макеевке, то из года в год ругали макеевскую грязь, заасфальтировали главные улицы, но в то утро меня не тянуло на асфальт.

В доменном цехе меня обступил народ.

— Здравствуйте, Иван Григорьевич. Вы, оказывается, живой, а тут при немцах пропечатали в газетах, что вас бомбой разорвало.

— Живой, ребята. Что мне сделается?

— Да еще и помолодели!

— А что вы думаете? На Урале мороз сорок градусов, воздух здоровый. Не то что тут,— всю зиму дождь да грязь.

Я подхваливаю Урал, а самому все тут мило: и дождь, и ветер, и ржавое рваное железо, которое просит рук, и знакомые люди, несколько макеевских доменщиков, которые прожили вместе со мною на заводе по тридцать и по сорок лет. Но они изменились, стали какими-то прибитыми, худыми, старыми, бородатыми, беззубыми.

— Конечно, говорю, помолодел. Не то что вы...

Я сказал это не со зла, но смотрю: люди потупились, будто в чем-то виноватые. А Тимофей Векличев сказал:

— Эх, Иван Григорьевич... Сейчас-то мы уже немного отошли, поправились. А приехать бы тебе, когда враг отступал, вот посмотрел бы, какие тогда мы были. Согнуло нас при нем. Да мы и сами старались быть стариками; ходили скрючившись, запустили бороды, чтобы в Германию не угнали. Прятались от него, жили в погребах. Забьешься куда-нибудь в дыру и кусаешь пальцы. А что больше кусать? Хлеба-то никто нам не давал.

Вы Тимофея видели? Теперь он снова вошел в тело, посвежел, стал бриться. Когда он проходит ночью мимо моих окон, я опять узнаю его по шагам, опять слышу, что идет тяжеловес.

Узнал Тимофей, что такое родина.

Вот что было в Макеевке при гитлеровцах. Через несколько дней после того, как вступили в Макеевку, они собрали в цирке митинг. Выступил один ихний офицер, который мог говорить по-русски, и стал завлекать молодежь в Германию. Он говорил так: каждому молодому человеку интересно побывать за границей, поглядеть, как живут заграничные люди. Мы приглашаем вас, господа, в Германию. С каждым желающим будет заключен договор на

один год, проезд туда и обратно бесплатный, в Германии будете кушать белый хлеб и сливочное масло. Уговоры не подействовали: начали угонять народ насильно. Потом стали приходить письма от наших людей из Германии. В этих письмах многое было сказано притчами, чтобы не разобралась вражеская цензура, но отцы и матери разобрались. Оказалось, что те, кого угнали в Германию, живут там за колючей проволокой; их гоняют на работу и с работы под конвоем; кормят не маслом и не белым хлебом, а баландой, болтушкой для свиней; за всякое неподчинение бьют резиновыми палками или расстреливают.

Били рабочих и в Макеевке. Всем было приказано выходить на работу. Гитлеровцы гоняли людей грузить железнодорожные составы.

Порядки на работе были такие: заметит гитлеровец, что плохо стараешься, и бьет резиновой палкой или просто сапогом под зад. А однажды был такой случай. Надсмотрщик куда-то отошел и рабочие сели отдохнуть, перекурить. Но из окна главной конторы их увидел директор — фашист. Он стал на них кричать, а им не слышно. Тогда он взял у караульного винтовку и из окна начал стрелять по рабочим.

Наши попытались бороться, дать отпор.

Гитлеровцы еще больше озверели. Расстреливали в городском саду, не позволяя убирать тела. Вешали на главной площади.

Притихла, помертвела Макеевка. Народ стал прятаться и разбегаться.

Гитлеровцы взяли заложников. Подержали их месяца два, а потом всыпали каждому по пятьдесят шомполов и отпустили.

Все, кто мог приютиться в деревне, побежали из Макеевки, побежали от палки, от голодной смерти, от расстрела.

Теперь, день за днем, они, старые макеевцы, возвращаются к заводу из разных краев и областей.

А многим некуда было бежать: все корни пущены здесь. Целыми обозами за триста — четыреста километров макеевцы ходили добывать хлеб. Соберут всякие манатки, запрягутся, подобно лошадям, в самодельные двухколесные тележки, и идут, идут по пыли, по снегу, по грязи в Таврию или Приднепровье, идут, выбирая проселки поглуше, чтобы — не дай бог! — не встретиться с фашиста-

ми. Умирали, замерзали дорогой. У моего двоюродного брата жена родила в таком походе, и ребенок замерз.

А ежели вдруг на дороге покажется вражеская машина, то тут спасайся, кто может! Люди кидались в канавы, в рожь, в кусты, бросая добро, только бы схорониться от фашистов, потому что они всякого могли пристрелить без суда и без закона, просто за то, что ты идешь без разрешения по дороге.

17

При наступлении наших войск гитлеровцы жестоко сопротивлялись в Донбассе, не хотели отдавать это богатство.

Но подошел день, когда в Макеевке был вывешен приказ: всем до единого жителям, старым и молодым, уходить с фашистами. На заводские пути были поданы два состава товарных вагонов, жителям велели собираться туда. Полицейские ходили по квартирам, по дворам и выгоняли людей.

Народ стал прятаться. Но в доме прятаться страшно: при отступлении гитлеровцы зажгут дома. В погребах или где-нибудь около домов тоже страшно: полицейские везде обшаривают, обыскивают.

И побрели люди к эшелонам на заводские пути. Побрели из-под палки, словно и вправду подчинившись. Но на заводе каждый исчезал будто под землю. Люди ускользали в подземные трубы, в тоннели, в колодцы нагревательных печей. В лесу так не спрячешься, как на заводе. Но отсиживаться в этих потаенных местах боялись: все знали, что фашисты будут взрывать завод.

И вот разными путями люди выбирались на край завода, а оттуда в поле. Был сентябрь, на полях еще дозревала кукуруза, и там по широкому склону попрятались люди. Кукуруза всех укрыла.

Ни один человек не сел в поданные гитлеровцами вагоны. Ни один! Фашисты даже не стали убирать пустые составы, а со злобы подорвали на месте, на путях. Потом начали взрывать цехи.

А наши сидели в кукурузе, все слышали и видели. Слышали, как приближалась пальба. Видели, тайком выглядывая, как гитлеровцы, ведя бой, отстреливаясь, отбегали к Макеевке.

И тут вышел такой случай. На гребешок балки выскочили галопом красноармейцы на конях. Люди в кукурузе закричали:

— Наши, наши!

Но враг открыл пальбу из пулеметов по первым появившимся красноармейцам. Это, наверное, была разведка. Бойцы повернули коней и скрылись за склоном.

И вдруг в один момент желтоватое кукурузное поле стало темным. Только что ветер ходил по ниве, поле казалось пустынным и вдруг словно почернело от людей. Им показалось, что Красная Армия отходит, они кинулись догонять красноармейцев.

Кругом свистели пули, фашисты нарочно направили пулеметы на жителей, немало людей было убито, но каждый был согласен пробежать под пулями, только бы не остаться у врага.

Тимофей Векличев бежал со своей старухой так, что заночевал только на станции Иловайская. Продрал тридцать километров от Макеевки.

Вот как оно обернулось! Не поехал, когда мы его звали, а потом, когда выпил горькую чашу, сам бросил все до последней нитки, бросил дом и завод, под пулями побежал отыскивать потерянную родину.

18

На этом Иван Григорьевич закончил свой рассказ.

Солнце уже скрылось. В быстромеркнущем небе смутно вырисовывались темные контуры завода.

— Чуете? — сказал он.— Запахла ночная фиалка.

Да, из маленького сада у квартиры Коробова дошел тонкий нежный аромат. Такого запаха, как и медового духа акации, я никогда здесь не знавал.

— Теперь народ осмелел, опять стал требовательный,— продолжал Коробов и засмеялся.— Требуют вот, чтобы всегда так пахло... Вот и ломаем голову, чтобы и завод был и фиалки...

Коробов встал; в полутьме был едва различим его профиль. Он с шумом втянул воздух. И проговорил:

— Хорошо как!..

1944

ТИМОФЕЙ — ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ

Повесть

1

Директор завода Локшин сказал мне:

— В этом вам поможет Алексеев. Я с ним поговорю.

— А кто он?

— Начальник технического отдела завода. Наш талант. По должности ему полагается сидеть и думать о том, что завод будет делать завтра.

Мне показалось, что в глазах директора, несколько скрытых очками, мелькнула улыбка. Локшин продолжал:

— Кроме того, он составляет историю завода, собирает и бережет все исторические материалы. Кроме того...

Теперь улыбка Локшина стала совсем откровенной. Я подхватил:

— Кроме того, кто он еще?

— Немного романтик... Но идите к нему. Вы сами все увидите.

2

В комнате технического отдела стояло пять или шесть столов. Приходилось тесниться, ибо большое здание главной конторы, взорванное немцами со всеми другими заводскими сооружениями, еще не было отстроено вновь.

Войдя, я приостановился. Хотелось определить на глаз, кто здесь начальник. Но я не угадал. Алексеев — его мне через минуту указали — сидел где-то сбоку, не на видном месте. Впрочем, меня сбило не это, а его пиджак — очень поношенный, в котором владелец, видимо, залезал и заползал черт знает куда,— пиджак, явно не подходящий для начальника отдела, кому положено сидеть и думать. На плече по темно-коричневому сукну шел белый след сере-

бристо-алюминиевой краски, которой в эти дни, накануне пуска, малевали цех тонкого листа. Я прошагал мимо Алексеева к другому столу. Там, к некоторому моему смущению, обнаружился мой промах. Пришлось повернуться и внимательнее посмотреть на начальника отдела.

Склонившись, он что-то писал, не отвлекаясь.

Я подошел. Мы познакомились. Помню первое впечатление: какой здоровый, свежий цвет лица, какие хорошие глаза! Они будто освещали моложавое, приблизительно тридцатипятилетнее, чисто выбритое, слегка загорелое лицо.

По-видимому, за Алексеевым, который относился к своему виду с совершенной беззаботностью, все же кто-то любовно следил дома. Под пиджаком, много раз, наверно, со вздохами чищенным и мытым, была надета белая, свежая рубашка. Небрежно распахнутый ворот приоткрывал заросшую, сильную грудь. Однако когда Алексеев вынул носовой платок, за платком из кармана потянулся галстук. Алексеев быстро затолкал его обратно. Густые темно-русые волосы лежали и торчали по всем направлениям; несомненно, они не раз сегодня после утренней прически были взъерошены пятерней. Глаз сразу подметил еще одну черточку: продольную ямочку на подбородке.

Я сказал, что намереваюсь написать очерк о восстановлении завода. Алексеев оживленно ответил:

— Да, да, мне говорили о вашей задаче. Это замечательная тема — наш завод. Вы уже были на листопрокате? Видели, как монтируется стан? Напишите что-нибудь яркое о стальном листе!

— О листе? Разве это так интересно?

— Конечно. Стальной лист — это наше будущее.

И Алексеев кратко объяснил, что в свое время в металлургии господствовали рельсовые станы, порожденные развитием железных дорог, но автомобиль потребовал лист, потянул за собой другого рода станы — листовые. Я вынул блокнот, записал: мне понравилась простота и ясность этой мысли.

— Но лист,— продолжал Алексеев,— нужен не только для автомобилей. Все, что делается из железа, можно производить, штамповать из листа. Даже стальные балки для строительства самых крупных зданий. Постепенно стальной лист вытеснит все. Особенно нержавеющий

лист — дешевый, прокатанный массовым, валовым способом. Мы уже несколько лет работаем над проблемой дешевой нержавеющей стали.

Поощряемый моим вниманием, Алексеев с увлечением заговорил о нержавеющей стали. Очевидно, таково было его свойство: он легко откликался, легко отдавал себя людям. Я узнал, что на листовом стане можно прокатывать двухслойную и трехслойную сталь; дешевый черный металл как бы оденется в нержавеющий слой.

— Но этого мало,— говорил Алексеев.— Литая, нержавеющая сталь тоже должна быть дешевой. Для этого ее надо плавить в больших печах мартеновским способом, чего нигде еще не умеют. Самые крупные заводы нержавеющей стали рассчитаны на выплавку нескольких тысяч тонн в год. А мы в своих мартенах дадим за двое суток годовую программу такого завода. Удивим мир, забросаем страну нержавеющей сталью!

В окно виден завод. Мартеновский цех являет собой черную груду развалин, откуда, словно взывая, торчат деформированные ржавые балки. Там еще не начали разбирать разорванную кладку кирпича и рваное, скрученное взрывами железо. Вдали над доменной печью вздымается красивое розовато-бурое облако, рельефно вырисованное в голубом небе. Как ни посмотришь на завод, взгляд всегда хоть на мгновение задержится на этом дыме, окрашенном пылью руды. Я знаю, что пыль выносится в воздух вместе с доменным газом, который до пуска проката не используется как горючее; знаю, что идеал доменщиков — чистое небо над печью; и все-таки нерассеивающийся тяжелый дым кажется красивым, как знамя жизни над мрачными, почерневшими завалами. В другой стороне высятся, словно дворцы из стекла и камня, восстановленные здания листопрокатных цехов; около них все сейчас в движении, армия строителей сконцентрирована там. А у разрушенных мартенов пустынно. Но Алексеев говорит про эти мартены так, будто в них уже пламенеет, плавится сталь.

Я спрашиваю, показывая туда:

— Когда все это будет восстановлено? Страшная картина!

— Да. Я тоже сначала так переживал. Но потом мы научились поднимать эти завалы. Вы когда-нибудь видели немецкую инструкцию о том, как разрушать? Это тол-

стая книга со схемами и чертежами. В этой книге несколько профессоров исследовали проблему, как с наименьшими затратами получать максимальный разрушительный эффект. Приведены даже денежные сметы на уничтожение разного рода строений.

— Мне передали,— говорю я,— что вы составляете историю завода.

— Да, пока пишу о том, что у нас было до войны. Там четыре периода, четыре главы. Первый период у меня закончен.

— Какой же это период?

— Сталь «ДС» — «Дворец Советов». Первый заказ нашему новому заводу. Это особенная сталь. Для нее был установлен новый ГОСТ.

И для меня он расшифровывает:

— Государственный общесоюзный стандарт. Для стали «ДС» мы разработали его.

— А второй период?

— Среднемарганцовистая сталь для морской брони.

Эти слова звучат торжественно. Алексеев охотно приводит две-три подробности из истории этой стали.

— А потом?

— Автомобильный лист.

Я удивлен. Мне впервые приходится встречать такого рода разделение истории завода на периоды: по маркам стали. Удивлен и слегка разочарован. Неужели мой собеседник — узкий техник? Не может быть! Это так не похоже на тот облик, который у меня уже возник. И тотчас мне приходит мысль, что влюбленный в свое дело садовод, скажем, Мичурин, мог бы так говорить об истории своего сада, о плодах, которые он вырастил.

— А потом? — спрашиваю я.

— Война... Мы очень быстро освоили новую сталь: танковую, броневую... И вот день, когда немцы прорвались к заводу. В то утро я набил в карманы и за пазуху технологические карточки, пятьсот шестьдесят штук.— Алексеев, улыбаясь, показывает, как у него все оттопыривалось.— Так с ними и ходил, с ними и спал. И все время себя ощупывал. Они побывали на Востоке, а теперь снова здесь.

— Это большая ценность?

— Государственная. А для меня это... мое творчество. Там вся технология разных сталей для листа. Пока в своей

жизни я только это и успел. Конечно, еще очень мало. Особенно по сравнению с тем, о чем мечтается.

Я посматриваю на его свежее, с легким загаром, смугловато-розовое лицо и говорю:

— О, вы еще много успеете сделать! У вас такой здоровый вид.

— Здоровый? — переспрашивает он.— А ведь у меня... у меня туберкулез... Знаете, чуть не сказал «был», но про эту болезнь, тетушку-чахотку, кажется, не полагается говорить «прошло». Сейчас я в порядке, а вот два года назад мне было плохо.

— Как же вы вылечились?

— Врачи мне сказали: «Хотите жить — бросайте на несколько лет завод, бросайте металлургию, поселяйтесь в лесу, становитесь лесником». А я не бросил! И вот, видите... Но, впрочем, это неинтересно...

— Почему неинтересно?

Я воскликнул это с живостью. Пожалуй, лишь сейчас я ощутил, как притянул, привлек мое внимание этот немного странный инженер, «романтик», как назвал его Локшин.

3

Ежедневно бывая на заводе, который у строителей, восстанавливающих разрушенные цехи, все еще зовется площадкой, встречаясь со многими людьми, я часто наведываюсь и к Алексееву.

Сумерки. Мы разговариваем, еще не зажигая электричества. Из отдела все разошлись, столы пусты. Алексеев тоже давно собрался уходить, нахлобучил кепку, но, по обыкновению, увлекся и сидит со мной уже полтора часа, отвечая с удивительной готовностью на мои вопросы.

Меня все в нем интересует. Даже его кепка. Она очень странная — светло-желтая, цвета горохового супа, совсем не под стать темно-коричневым пиджаку и брюкам. Подмывает спросить: «Откуда у вас такая кепка?»

Но мы говорим о дне остановки завода, о 1941 годе...

Время от времени по стене проплывают неширокие красноватые полосы. Это за окном, во дворе обрезков, в воздухе передвигаются раскаленные куски металла из-под заготовочного стана и падают с тяжелым глухим

стуком. Ровно шесть лет назад тут оборвался этот стук, все замерло, все стихло на заводе. Немцы прорвались неожиданно. Отходя, наши успели взорвать мощную электростанцию. В четыре часа дня завод был обесточен.

«Обесточен!» В полутьме я наскоро заношу в блокнот это слово. Оно звучит как «обескровлен».

Алексеев говорит; я слушаю, порой опять записывая для памяти одно-два слова. Мне хочется знать, что делал в тот день Алексеев.

— С завода я бросился в райком,— вспоминает он.— Дело в том, что в июне, за две недели до войны, меня приняли из кандидатов в члены партии. А партийный билет я еще не успел получить. Райком от нас далеко, один раз я опоздал, другой раз не застал секретаря. Машины в моем распоряжении не было. Из райкома уже выносили на грузовик какие-то длинные железные ящики. Я к секретарю: «Пожалуйста, выдайте скорей мой партбилет».— «Ты очумел? О чем ты думал раньше?» А уже слышна пулеметная стрельба...

Он повествует дальше. Опять красноватые полосы проходят по стене, озаряя комнату, озаряя Алексеева.

Улучив удобную минуту, спрашиваю:

— Тимофей Тимофеевич, откуда у вас такая кепка?

— Некомплектная?

— Да, немного странная.

— Осталась от костюма. У меня был новый летний костюм такого цвета. Как-то вечером я заговорился на улице с товарищем, присели на скамью, я снял пиджак, потом пошли. А через полчаса опомнился: «Где мой пиджак?» Так и пропал. Ну, брюки стали некомплектными, я их отдал.

— А кепка?

— Кепку сохранил... С кепками и шапками у меня всегда беда. Голова слишком большая. На свою голову я не могу подобрать готовую кепку в магазине. Хочу когда-нибудь поругаться в Москве, в Палате мер и весов, по поводу шапочного ГОСТа: черт возьми, на каком основании я не подхожу под ГОСТ? Эту кепку мне сшили на базаре. А идти снова заказывать, являться на примерку — это...

Алексеев машет рукой. Я улыбаюсь. Да, видно, он не скоро переменит эту кепку.

4

Как-то вечером я зашел к Алексееву домой, чтобы вернуть взятые у него материалы. Мне открыла жена Алексеева — Наташа. Я уже два или три раза мельком встречал ее здесь. При знакомстве она протянула маленькую руку с коротко остриженными ногтями и сказала: «Наташа».— «А по отчеству?» Она засмеялась: «Не надо. Я не привыкла. Просто Наташа».

Худенькая, быстрая, «верткая», как однажды сказал про нее Алексеев, она в самом деле казалась еще не выросшей для отчества. Конечно, просто Наташа.

Приходя к Алексееву, я ее почти не замечал. Она появлялась на несколько минут, прикрывала газетой красивую вышитую скатерть в том месте, где я раскладывал и чинил карандаши, поправляла узорную дорожку — наверное, ее рукоделие. Передо мной мелькали быстрые маленькие умелые руки, которые были всегда такими чистыми, что казались прозрачно-розоватыми. Потом Наташа бесшумно уходила. У дверей она задерживалась и с чуть заметной счастливой улыбкой наблюдала за нами — за мной и Алексеевым. Видимо, она очень серьезно, с уважением относилась к нашим занятиям.

На этот раз она сказала, что Алексеев еще не вернулся с завода, должен скоро прийти, и пригласила подождать. Мы вошли в знакомую мне комнату. Сели у стола с дорожкой. Я по привычке стал расспрашивать:

— Наташа, вы где-нибудь работаете?

— Да, врачом в заводской больнице.

— Вот как?! Уже врач?

— Да. Я недавно окончила медицинский институт.

— По какой же специальности?

— Я выбрала хирургию. Но операций мне, конечно, еще не доверяют. Говорят: «Поработайте пять-шесть лет, тогда начнете оперировать». Пока при операциях я только присутствую как ассистент. А руки горят, хочется самой!.. Улучишь момент, возьмешь иголку и подошьешь, поможешь. Иногда врач прикрикнет: «Не вмешивайтесь!»

Я смотрю на ее, казалось бы, слабые, по величине почти детские, розоватые тонкие пальцы, на коротко остриженные, с блеском нелакированные ногти. Так вот

почему эти руки вымыты столь тщательно! Черт возьми, как же я до сих пор не разглядел эту Наташу? Впрочем, проглядеть ее немудрено. Она неприметна — на улице не обернешься. Худощава, чуть веснушчата, русоволоса — вот и все. Только теперь, вступив с ней в разговор, я замечаю трудноуловимую прелесть этого лица: оно поминутно меняется, живет, легко передавая, словно некой второй речью, игру, движения души. Я спрашиваю:

— Давно ли вы поженились?

— О, уже два года!

— Два года?

Мне сразу вспоминаются слова Алексеева: «Два года назад мне было плохо».

— Да,— отвечает Наташа.— Анна Петровна, моя тетя, у которой я с детства жила, сказала мне: «Не смей выходить за него замуж. Ты себя погубишь. Если выйдешь, я от тебя откажусь!» Я ей ответила: «Как ты не понимаешь? Я его люблю».

Наташа улыбается, и ее неприметное бледноватое лицо вдруг становится красивым. Это счастливая, немного смущенная улыбка любви. Кроме этого определяющего выражения можно прочесть и другие оттенки — упрямство, недоумение: «Как она могла не понимать?»

Мы разговариваем всего пять или десять минут, а разговор, как я чувствую, все время касается самого главного в жизни Наташи. Думается, в этом сказалась одна характерная черточка людей нашей страны: доверие, расположенность к писателю, желание или даже как бы долг все ему открыть.

— Мы полюбили,— продолжает Наташа.— Вначале он все не решался меня с собою связывать. Из-за своего здоровья. Нет, вы еще не знаете, какой он...— Наташа опять улыбается чему-то.— Какой он честный!

— Как же вы его лечили?

— Всяко. Читала, расспрашивала, старалась узнать, как вылечивались другие. Тут главное режим. Режим наперекор всему. Физкультура, обтирания, отдых. Тимофей — и режим...

Она лукаво смотрит на меня, и мы оба улыбаемся. Да, Алексеев — и режим... Трудновато!

— Наташа, где же вы познакомились с Тимофеем Тимофеевичем? Расскажите мне, пожалуйста, все с самого начала. Хорошо?

— Не знаю. Я буду стесняться. Ведь про него надо рассказывать как-то особенно, с выражением, что ли... Или...

Она быстро вскакивает, мгновенно устраивает полный беспорядок на столе, встрепывает свои гладко зачесанные волосы и изображает стремительную походку Алексеева. Потом, повернувшись к окну, звонко кричит:

— «Тимок, ты вернешься вовремя?» — «Вернусь, вернусь...» А сам уже и не оглядывается, уже про все забыл, кроме завода!

И Наташа опять очень похоже и очень смешно изображает своего Тимофея. Я вижу, какая она веселая, задорная, счастливая, вижу, какая награда судьбы дана Алексееву в этой любви.

5

— После первой встречи,— сказала Наташа,— я не могла понять, понравился он мне или нет...

Эта встреча произошла так. В доме инженера Ярченко, где, рано потеряв родителей, жила Наташа, праздновались именины хозяйки, Анны Петровны, красивой, властной женщины. Наташе, шестнадцатилетней ученице десятого класса, Анна Петровна сказала:

— Ты еще школьница, тебе еще рано быть со взрослыми. Поужинаешь с мальчиками в детской, потом укладывайся спать.

— Хорошо,— послушно ответила Наташа.

В доме собрались гости. В детскую доносились поздравления, возгласы, смех; здесь, на краю стола, где Анна Петровна поставила и для детей праздничный ужин, ее сыновья занялись шахматами. Наташа взяла учебник английского языка, тетрадку и, стараясь ничего не слышать, стала переводить.

Вдруг распахнулась дверь. В комнату сразу ворвался из столовой гомон, стук и звон. И запоздавший возглас:

— Куда вы? Сюда нельзя, Тимофей Тимофеевич!

Но гость уже оказался в комнате. Его галстук немного съехал набок; волосы были взвихрены. Вошедший мгновенно с живым любопытством все оглядел. Улыбка делала заметнее продольную ямочку на подбородке.

— А почему тут грустят эти затворники? — произнес он.— Анна Петровна, пустите их на волю!

— Тимофей Тимофеевич, не портите мне, пожалуйста, детей. Им надо спать. А завтра рано утром — в школу.

— У, какая выдержанная мама! Ребята, тогда знаете что? Хотите, я сыграю с вами в шахматы?

Отозвался младший:

— Вы Павлика не обыграете. Он в седьмом классе первый шахматист.

— Вот и замечательно! Павлик, расставляй!..

Но тут вмешался Ярченко, которого Наташа называла дядей Колей, толстяк, начальник заводской лаборатории.

— Какие еще шахматы? — закричал он.— Вы же сели играть с нами в преферанс.

— А я сыграю и в преферанс и в шахматы. Ребята, расставляйте! Сообщайте мне ваши ходы, а я буду отвечать, не глядя на доску. Закачу вам два или три мата, чтобы вы спокойно потом спали.

Ярченко настойчиво звал гостя, но Алексеев подошел к Наташе.

— А девочка почему в клетке? — спросил он.— Чем вы занимаетесь?

Наташа не отвечала. Она отчужденно глядела из-под сдвинутых бровей.

— А, изучаете английский? И давно?

В ответ снова молчание.

— Хотите, я напишу вам маленькое письмо по-английски? Задам вам три вопроса. Вы мне ответите?

Дичась, Наташа передернула плечами. Ярченко снова зацепил партнера под руку и повлек из детской.

Потом часто открывалась дверь, кто-нибудь из мальчиков выбегал к карточному столу и приносил написанные на листках блокнота шахматные ходы Алексеева. Он действительно, как и грозился, «закатил» мальчикам два мата, не глядя на доску. Наташа в своем уголке медленно, слово за словом, переводила с английского записку, которую прислал ей Алексеев. В столовой уже играли на рояле, танцевали. Кто-то запел. Дверь опять на минуту раскрылась. Наташа взглянула. Алексеев пел, держа в руке веером карты и бросая их одну за другой на стол, когда в игре наступала его очередь. Рядом стоял Павлик и громогласно оглашал свой ход. Продолжая петь, Алексеев вынул блокнот, что-то написал, вырвал листок и вру-

чил мальчику. Тот помчался к себе в детскую, к шахматной доске; дверь снова закрылась. Наташа закончила перевод записки. Три вопроса, которые ей задал Алексеев, были следующие: «Кем вы хотели бы стать?», «Какой ваш любимый предмет в школе?», «Стоит ли когда-нибудь в жизни унывать?».

Наташа перечла свой перевод и разорвала бумажку на клочки. Потом быстро сбросила платье и ботинки и легла под одеяло, повернувшись к стенке.

Наутро она спросила у Анны Петровны:

— Кто это у нас вчера был? Ну, этот, немного сумасшедший?

— А... Это Алексеев — начальник дяди Коли.

— Начальник? Не похоже...

— Да. Его никогда не дозовешься в гости. А вчера вырвался... Чудак! Проиграл в преферанс сто пятьдесят рублей.

— Как же он проиграл? Смотри, ведь он так умеет в шахматы...

— Непрактичный человек. Что он тебе написал?

— Разные глупые детские вопросы. Спрашивал, как девочку...

— А кто же ты? — удивленно произнесла Анна Петровна.

Наташа не ответила.

6

Ночь. Мгла прорезана языками огня, пламенем пожаров. Это страшная, памятная для города и для завода ночь 1941 года.

Светит неполная луна. Цехи завода протянулись вдоль реки. На том берегу уже немцы. Там, извергая густой дым, который даже ночью при луне кажется угольно-черным, пылает огромное хранилище горючего. Какие-то строения горят на большом острове, озаряя взорванный, словно переломленный ударом палицы, мост.

Здесь, на этом берегу, напротив острова, тоже уже захваченного немцами, пламя взвивается над заводом ферросплавов. В другой стороне в небо рвется столб огня над деревообделочным заводом.

Где-то близко бьют пушки; снаряды с шелестом, с гудом пролетают над цехами; видны вспышки разрывов.

На путях около четырехэтажного здания главной конторы стоит состав открытых платформ и корытообразных металлических вагонов из-под кокса и руды.

Состав гружен листами броневой стали. На листах сидят люди. Многим зябко, они кутаются или соскакивают и ходят, хотя ночь не холодна.

В голове поезда дымит паровоз. Кочегар подкидывает и подкидывает в топку уголь. Все готово, чтобы тронуться по первому распоряжению. Но распоряжения нет.

На шпалы, на путевой щебень под паровозом падают отблески огня из топки. Тут, на территории завода, где еще вчера в горячих цехах, протянувшихся на несколько километров, плавили и прокатывали металл, где никак не могли полностью замаскировать ночные выпуски чугуна из доменных печей, где сквозь неплотности зачерненного фонаря крыши по пробегающим огненным змейкам можно было видеть, как идет прокатка в ночной смене,— теперь тут, за оградой завода, недвижно чернеют цехи, освещенные багровым небом. Отсветы паровозной топки остались тут единственным живым огоньком. Да, пожалуй, еще возникающие кое-где на миг красные точки цигарок...

Тока на заводе нет; печи застыли; недвижимы все механизмы, все мощные мостовые краны; береговая насосная не подает воды. В цехах под главные моторы, под главные приводы прокатных станов заложен аммонал в мешках или попросту в бумажных кульках, наскоро свернутых из чертежей. У машин в темноте сидят инженеры. Они готовы по первому распоряжению запалить бикфордовы шнуры и бежать к автомашинам, которые дежурят у цехов.

7

Директор завода Локшин пытается связаться по телефону с Москвой. Он вызывает:

— Харьков! Харьков!

Наконец откликается харьковская телефонная станция. Сдерживая нервные нотки, Локшин убеждает:

— Товарищ телефонистка! Прошу вас, проследите лично, чтобы я мог поговорить с Москвой, с народным комиссаром черной металлургии. Около нашего завода немцы... Харьков! Харьков!

В мембране слабо слышится:

— Вызываю вам Москву...

— Спасибо! Но, пожалуйста, следите лично... Я не имею права без разрешения — вы понимаете, товарищ телефонистка?! — ни взорвать завод, ни оставить его в сохранности врагу.

Снова доносится голос:

— Понимаю. Подождите.

Локшин ждет у трубки. В кабинете никто не разговаривает. Потрескивает горящая свеча. При каждом орудийном выстреле чуть дребезжат зашторенные стекла.

Наконец Локшин слышит:

— Москва на линии. Говорите.

Он кричит:

— Москва? Товарищ Тевосян?

— Слушаю. Это Локшин?

— Да. Товарищ Тевосян, на левом берегу, в пяти километрах от завода, немцы.

— Знаю. Что у вас?

— У нас так: ремонтный завод покинут и горит...

— Почему покинут? Кто...

За тысячу километров в знакомом голосе с гортанным восточным акцентом слышен гнев. И вдруг связь прерывается посреди фразы. Локшин некоторое время ждет, потом кричит:

— Харьков! Харьков! Товарищ телефонистка!

Издалека слышится:

— Да. У нас в Харькове воздушная тревога... Уже бросают бомбы... Надо идти в убежище!

— Телефонистка, не уходите!

— Я не уйду! Подождите...

Локшин опять терпеливо ждет. В слабое гудение мембраны врываются далекие глухие удары. Затем снова слышится голос харьковской телефонистки:

— Линия с Москвой повреждена.

— Черт возьми! Когда же исправят? Харьков! Харьков!

Мембрана доносит еще один удар. Слабое гудение прерывается.

Локшин тяжело кладет трубку, смотрит на присутствующих и произносит:

— Нарком успел сказать только одно...— Он на минуту замолкает, обдумывая слова наркома.— Только одно... Насчет ремонтного завода: «Почему покинут?»

Слова Тевосяна Локшин передает с твердым, слегка гортанным выговором и с выражением гнева, которое уловил по телефону. Вопросов ему не задают. Он встает и выходит из кабинета.

8

Алексеев рассказывает мне об этих днях. Он подобрал для меня немало документов об остановке завода: последние листы цеховых книг с последними записями сменных инженеров, черновики подробного доклада наркому.

В докладе наркому сказано так: «Перед заводом стояла задача: работать до последнего дня, не снижая выпуска военных сталей...»

— Мы возненавидели луну,— говорил Алексеев.— Смотрели на нее и думали: «Нашла бы туча!» Немецкие бомбардировщики прилетали к самому полному свету луны, когда луч прожектора почти бессилен. Они бомбили город, железную дорогу, мост (там при луне блестели рельсы), но завод не трогали. Наверно, они приберегали его для себя. Под бомбежкой уезжали семьи. Мы истомились, изнервничались от ночных тревог, от недосыпания, но завод работал полным ходом, работал днем и ночью...

Читаем дальше черновик доклада:

«С утра восемнадцатого августа завод оказался под обстрелом. При отходе Красной Армии в четыре часа дня была взорвана плотина. Подача тока прекратилась. Завод лишился также и воды, ибо вследствие резкого падения уровня в реке после взрыва плотины насосы оголились. Поэтому не смогли работать и собственные силовые установки завода. Все механизмы в цехах остановились».

— Я не запомнил звука взрыва плотины,— рассказывал Алексеев.— Но вдруг мы перестали слышать орудийную пальбу, завывание самолетов, перестали слышать друг друга. Все было заглушено ревом воды, которая ринулась вниз, после того как был взорван бетонный массив. Все как бы смолкло вокруг, когда погибла плотина. В этом молчании мы прощались с ней. Потом уровень воды в котлах стал падать, мы потушили топки...

«Руководящим работникам цехов был роздан аммонал, чтобы в случае дальнейшего отхода Красной Армии

вывести из строя жизненно важные центры завода» (из доклада наркому).

— Вместе с главным инженером мне пришлось,— говорил Алексеев,— определять эти жизненно важные центры. Затем начальники цехов были собраны у главной конторы. Никто из нас не умел взрывать, кроме подрывников из копрового цеха. Они здесь же показали инженерам, как обращаться с капсюлем и бикфордовым шнуром. Локшин сказал всем: «Без моего распоряжения никаких взрывов! Только если я лично приду и лично дам указание — только в этом случае взрывать».

А невдалеке уже горел ремонтный завод. Мимо нас проходили, порою бежали оттуда рабочие. Впоследствии директора этого предприятия судили за то, что он в панике поджег и бросил завод.

Локшин был бледен, но внешне спокоен.

«По местам, товарищи,— сказал он.— Я вас не подводил и не подведу. Отсюда я уйду последним».

— На случай отступления,— продолжал Алексеев,— в центре завода стояли грузовики и к главной конторе был подан эшелон с паровозом под парами. Цеховики разошлись с мешками аммонала по объектам, а я отправился к себе в отдел.

Там уже никого не было. Я пересмотрел архив, отобрал основное — технологию производства наших сталей, так называемые технологические карточки. Задумался: где сейчас мое место? Может быть, сегодня же вступить в Красную Армию и пойти с винтовкой в бой? Нет, не имею права. Я специалист по военным сталям, я должен давать армии сталь. Перебирал карточки авиационной, автомобильной, танковой стали. Думал. Потом связал эти карточки в пачки, положил в карманы и за пазуху и уже не расставался с ними. Это, как я уже сказал, большая государственная ценность. Малоценные бумаги уничтожил, все остальное сложил в папки и сдал начальнику секретного отдела.

К вечеру положение стало еще более напряженным. Слышалась не только орудийная, но и пулеметная стрельба. Тысячи людей покидали свои дома и пешком уходили от немцев. Шли по шоссе, мимо нашего завода. А Лок-

шин ждал. И коллектив, костяк завода, не распавшийся в этом испытании, ждал вместе с ним какой-то решающей минуты. Ждали инженеры в цехах у бикфордовых шнуров и мешков с аммоналом.

Ночью по распоряжению Локшина я должен был находиться в эшелоне.

Открытые платформы и корытообразные железные «гондолы» гружены броневым листом. Сидим на листах, ждем. Смотрим на пожары. Слышны выстрелы, взрывы.

По эшелону пронесся слух, что воды в паровозе осталось только на один час. А на заводе воды нет.

К паровозу прошел Локшин. Ничего никому не сказал, только прошел. Нелегка его ответственность. Надо решать, как быть с эшелоном. Там более тысячи людей, есть женщины и дети. Нельзя потерять на месте последнюю воду. Все смолкли. Смотрят в сторону паровоза, где сейчас, наверно, совещаются машинист и директор.

Гудок. Это сигнал: в вагоны! Еще один гудок. И поезд трогается.

Двигаемся по заводским путям к выходной стрелке. Едем без сигнальных огней, без фонарей, медленно, как будто ощупью. Проезжаем мимо длинного черного здания. Это мартеновский цех, где раньше никогда не было темно. Там мы осваивали, но так и не успели освоить сталь для снарядных гильз. Вот что надо скорее дать армии!

Поезд идет быстрей. Уже не видно заводских строений. Прощай, прощай, наш завод!

А в докладе наркому сказано кратко:

«Ночью был отправлен эшелон с заводскими работниками и членами семей. На территории завода осталось сто двенадцать человек с задачей не оставить врагу предприятия в рабочем состоянии, если наступит критический момент».

9

Светает. Тонкая полоса утренней зари почти сливается с далеким заревом на западе. Быстро идет эшелон. К кому-то притулившись, дремлет под рокот колес Алексеев. На другой платформе, рядом с Анной Петровной,

сидит с открытыми глазами Наташа и смотрит на ровную степь, подернутую утренней дымкой. Многие, как и Наташа, не спят в эшелоне.

Внезапно она восклицает:

— Танки! Тетя Аня, наши танки!

По дороге, пролегающей близ железнодорожного пути, вздымая пыль, идут на большой скорости танки с пятиконечными звездами на броне — идут к фронту, к заводу, к пожарам. Наташа считает:

— ...восемь, девять...

Анна Петровна тормошит мужа:

— Коля, смотри! Наши!

Из раскрытого люка одной из машин молодой танкист в запыленном черном шлеме глядит без улыбки на поезд. Наташа считает:

— ...двенадцать, тринадцать...

Ярченко будит соседа, главного бухгалтера завода:

— Борис Иванович, видишь?

— ...семнадцать, восемнадцать...

Поезд мчится, на дороге оседает поднятая гусеницами пыль, больше танков не видно.

— Восемнадцать! — звонко кричит Наташа.

— Мало! Ничего не сделают! — говорит главбух.

Одно мгновение Наташа молча смотрит на него. Этот взгляд настолько выразителен, уничтожающ, что бухгалтер невольно произносит:

— У, какая у вас... девочка!

Анна Петровна оборачивается, но Наташа уже как бы безучастна; ее глаза устремлены по-прежнему на пробегающие мимо дороги и поля.

10

В этот час из директорского кабинета, где уже подняты шторы, Локшин наконец-то разговаривает по телефону с Москвой, с Тевосяном.

Нарком спрашивает:

— Зачем же ты отправил людей?

— Не мог держать паровоз под парами. На заводе нет воды.

— В реке у тебя нет воды? Трескотни, наверно, на берегу было много?

Локшин отвечает без обиняков:

— Да, Иван Федорович... Стрельба.

Тевосян сразу смягчается. Так действует на него всегда прямота, откровенность.

— Давай, Андрей Кузьмич, поправлять дело. Собирай народ!

— Да. Сейчас телеграфирую, чтобы состав вернули.

— Правильно! Коммунистов, комсомольцев в эшелоне много?

— Есть... Вернутся.

— Действуй!.. Электроэнергию дадим заводу из Донбасса. Этим уже занимаются. Завтра будешь иметь ток. Знай, Андрей Кузьмич: надо помереть, но вывезти завод из-под носа у немцев.

11

Пригревает утреннее солнце. Эшелон стоит на небольшой станции.

Алексеев задумчиво бродит недалеко от поезда. Вот он остановился, поднял палец, уставился в пространство, что-то пробормотал, несколько раз досадливо прищелкнул пальцами, взъерошил волосы и опять зашагал.

Эшелон несколько скрыт от его взгляда другим товарным составом, тоже груженным листовой сталью. Оба паровоза смотрят на восток. В противоположной стороне, на горизонте, темнеют, как мазки копоти на синеве, дымы далеких пожарищ.

Алексеев опять поднимает палец, улыбается, разговаривает с собой. Он видит не станцию, не степь, а огромный мартеновский цех своего завода. Там, у приоткрытого окна жарко пылающей печи, он стоит рядом со старшим сталеваром и, поднеся к глазам синее стекло, вглядывается в кипящую, пузырящуюся, ослепительно белую сталь. Уловив в пламени какой-то оттенок, он поднимает палец и кричит:

— Ну-ка, теперь дадим туда титана!

В воображении он наскоро заносит в записную книжку: «Плавка № 202» и значком, принятым в химии, отмечает добавку титана...

Перед ним цех листопроката. Где-то в смутной дали пролетов цеха выносятся из-под валков темно-малиновые широкие ленты металла. В нагревательную печь посту-

пает очередная стальная пластина, на которой выведены большие белые цифры «202». Алексеев командует:

— Прибавить пятьдесят градусов температуры!

Он опять улыбается, бормочет...

Раздается длинный, прерывистый, зовущий гудок паровоза. Алексеев вскидывает голову, оборачивается и бежит к поезду, придерживая связки карточек за пазухой.

На путях происходит что-то непонятное. Кто-то перетаскивает чемоданы на другой поезд. Некоторые там уже устроились.

— Тимофей Тимофеевич! Залезайте к нам! Едем назад!

Из-за борта вагона-«гондолы» выглядывают возбужденные лица заводских комсомольцев. Другой голос откликается:

— Ребята, споем «Наш паровоз...».

И парень затягивает:

Наш паровоз...

Сразу подхватывает десяток голосов:

Вперед лети!
В коммуне — остановка...

Алексеева замечает начальник эшелона Воронько, главный прокатчик по заводской должности, энергичный, суровый человек.

— Алексеев, где ты пропадаешь? О чем ты, черт побери, думаешь в такой момент?

— О чем? — растерянно отвечает Алексеев.— Понимаешь ли, я, кажется, понял, почему у нас не удается гильзовая сталь.

Неподалеку стоит в сторонке Наташа. Она слышит Алексеева и не может сдержать улыбки.

— Почему же? — с интересом произносит Воронько, но тотчас спохватывается: — Ну тебя... Где это теперь «у нас»?

— Где?..

Не найдясь, Алексеев неопределенно вертит перед собой пальцами.

— Забудь пока о всяких сталях,— говорит Воронько.— Получена телеграмма Локшина, чтобы мы все возвращались демонтировать и вывозить завод. Дальше надо отправить только женщин. А видишь, что творится?!

Снова приведу страничку из блокнота, где записаны воспоминания Алексеева.

«...Некоторые говорили: «Если мы вернемся, то, наверно, встретим по дороге нашу последнюю группу. А может быть, их уже нет в живых! Куда же мы поедем! В пекло? На смерть?»

Но большая часть держалась крепко: «Возвращаться! Скорей ехать! Скорей спасать завод!»

Некоторые колебались. Метались между двумя поездами. Мы решили идти агитировать. Я начал с наиболее солидных, с китов. Взялся за главбуха. Нет, не поддается. «Я везу платину. Я сам ее спасал из-под огня. Сдам ее в банк и об этом позвоню наркому. Не вернусь. И не приставайте».

К нему уже и Ярченко подтащил свои чемоданы. Берусь за этого».

Ярченко стоит рядом с Анной Петровной между поездами. Алексеев убеждает:

— Подумай... Сейчас ты выбираешь: с нами ты или не с нами. Если не веришь в нас, в нашу победу, если думаешь, что впереди только разгром, тогда оставайся, мы вернемся без тебя.

Ярченко мнется, неуверенно посматривает на жену. Подходит несколько комсомолок-лаборанток. Среди них и Наташа. Одна из девушек весело и как бы по-военному рапортует Ярченко:

— Товарищ начальник центральной лаборатории! Мы тоже возвращаемся... Просим зачислить на все виды довольствия.

Ярченко бурчит:

— Что вы будете там делать?

— Исполнять все ваши распоряжения.

— Но я...

Не договорив, он опять смотрит на жену, глазами спрашивая ее совета.

— Коля! — Анна Петровна со слезами целует его.— Коля, за нас не беспокойся!

Она обнимает его, всхлипывает и вдруг накидывается на Алексеева:

— Но вы хоть, по крайней мере, подождите, пока я отберу для него вещи!

— Тетя Аня,— говорит Наташа,— и я возвращаюсь...

— Ты что еще вздумала? Кто тебя возьмет?

— Вот девушки берут как комсомолку.

— А я не отпускаю. И белья тебе не дам.

— Что же, я им так и скажу: «Выручайте, тетя Аня белья мне не дала».

— Замолчи!

Взволнованная, разгневанная, Анна Петровна смотрит, словно не узнавая, на приемную дочь. Видно, что девушка не подчинится. Анна Петровна опять всхлипывает, целует мужа, целует Наташу.

— Поезжайте...

И вот после всех сборов и расставаний эшелон трогается к заводу, к фронту, к дымам.

— На душе было смутно, тревожно,— вспоминал Алексеев.— Что там впереди? Сидим на тех же платформах, сидим уже посвободней, не тесно...

Песня. Я подхватываю. Старая революционная песня «Смело, товарищи, в ногу...». Перекинулась и на другие платформы. Весь поезд поет...

Едем уже час, другой...

Часто останавливаемся среди степи, паровозная бригада осматривает путь. Утром в этих местах была бомбежка. Минуем сброшенные под откос обгоревшие цистерны. Уже не поем. Все приутихли. Вечереет. Двигаемся очень медленно. Впереди слышна орудийная пальба. Там дымят, догорают пожарища. Видим, как под насыпью у мостика стоят в засаде или в укрытии наши танки. А поезд — дальше, вперед. В темноте, без огней. На самой малой скорости, почти бесшумно въезжаем в завод.

12

Ночь. Заводская лаборатория. Зал испытательных машин. На паркете блестит лунная дорожка. Слышны близкие выстрелы орудий.

Здесь, разостлав на полу свои пальто, устроились на ночлег Ярченко и Алексеев. Обоим не спится. Ярченко ворчит:

— Демонтаж... Какой тут демонтаж? Ставили годами, а хотим все поднять в два дня.

На территорию завода прибывает состав подъемных кранов. Проплывают на фоне вечернего неба длинные ажурные стрелы. У кранов на каждой платформе — по три-четыре десятка человек. Поезд останавливается под прикрытием степы цеха. Начальник эшелона подходит к Локшину:

— Андрей Кузьмич, монтажники Ново-Краматорского завода прибыли в твое распоряжение. Показывай, за что браться...

Локшин жмет руку краматорца.

Цех тонкого листа. Пневматическими молотами крошат фундаменты, обнажают глубоко уходящие в бетон болты. Автогенщики режут эти болты струей почти бесцветного огня.

Наташа разносит к рабочим местам миски с горячим наваристым супом. В цехе стекла вылетели от пальбы; явственно слышно, как гудит, приближаясь, снаряд. Под защитой массивной станины рабочий с опаской поглядывает вверх, потом смотрит на Наташу, на протянутый поднос, покачивает головой и улыбается.

Мимо проходит Локшин.

— Здравствуйте,— говорит он Наташе.— Вы, если не ошибаюсь, учитесь в медицинском институте?

— Да... На втором курсе.

— У вас хорошие руки для медички.

— Почему же?

— Не дрожат...

Наташа краснеет. Локшин продолжает:

— Сегодня мы разворачиваем медпункт. Придется вам поработать там.

Подъемные краны вытаскивают из ворот цеха и опускают на большегрузные платформы тяжелые сочленения прокатного стана. На стене белеет огромная надпись: «Вывезем завод из-под носа у немцев!»

Сюда подъезжает еще один эшелон с рабочими Донбасса.

Машинист подъемного крана оборачивается к замедляющему ход эшелону:

— Откуда?

Ему отвечают, называя свой завод.

Проходят и проходят вагоны.

— Откуда? — опять кричит машинист крана.

Ему опять отвечают.

— Добро! — довольно бурчит он,

Из так называемого шинного туннеля извлекают на поверхность и наматывают на деревянную катушку электрокабель. Много подобных катушек уже приготовлено к отправке.

Алексеев пишет черной краской на борту катушки номер, затем внимательно рассматривает медные жилы в срезе кабеля. Проходит Наташа с санитарной сумкой:

— Тимофей Тимофеевич!

Он не откликается.

— Тимофей Тимофеевич!

— А?

— Тут у вас никому первая помощь не нужна?

Он повторяет за ней, явно, еще пребывая в каком-то своем мире:

— Тут... у вас... первая помощь...— Только теперь эти слова доходят до его сознания.— Нет, Наташа, спасибо, никому...

— О чем вы вот так все время думаете?

Наташа непроизвольно изображает его рассеянный вид. Алексеев говорит:

— О стали. Хочу выплавить такую сталь, чтобы она тут,— он опять трогает пальцем обрез кабеля,— заменила медь.

Он наклоняется и поднимает с земли винтовочную гильзу.

— И эту вещь тоже хочу сделать из стали... И такие же гильзы для снарядов, чтобы бить и бить вон тех...

Он с силой, словно ударяя, показывает туда, где за строениями завода скрыта река.

Наташа спрашивает:

— Такую сталь очень трудно сделать?

— Нет. Интересно. А вам, Наташа, трудно сейчас?

— Да, иногда... Когда уже ничем нельзя помочь... Но если могу, если нужна, тогда мне очень хорошо, Тимофей Тимофеевич.

Ночь... Груженые поезда уходят с завода. Вспышка орудийного выстрела, словно зарница, освещает на миг огромную надпись на стене цеха: «Вывезем завод из-под носа у немцев!»

Уже вывезено все оборудование завода. Уже разбирают и грузят железные конструкции здания. Виден насквозь огромный пустой цех с развороченными выступами фундаментов стана.

Уходит состав подъемных кранов. На последних груженых поездах рабочие покидают завод. По заводскому асфальту уходят один за другим последние грузовики с людьми. Замыкая колонну, идет санитарная машина. Из кузова смотрит в боковое окошко Наташа.

Локшин объезжает покинутый завод на своей машине; заходит в опустевшие, оголенные здания цехов, где гулко отдаются шаги.

Потом машина мчится по шоссе вдогонку ушедшей колонне. На пригорке Локшин кладет руку на плечо шофера:

— Останови!

Оба выходят. Отсюда виден весь завод. Он кажется нетронутым. В пасмурном осеннем небе вырисовываются ажурные конструкции доменных печей; высятся шестнадцать тонких черных труб над мартеновским цехом; стоят, как дворцы, облицованные мраморной крошкой цехи листопроката. Лишь в одном из них разобрана часть стены и крыша.

Тяжела минута прощания. Шофер, богатырь с виду, рябоватый украинец Гуц, не может сдержаться, по его лицу скатываются слезы.

13

Передам здесь рассказ Алексеева о том, как он ехал с заводским эшелоном в глубь Сибири в ноябре и декабре 1941 года, в пору великого переселения, перебазирования индустрии на Восток.

— И вот что еще помнится,— говорил Алексеев.— Встречи с листом.

— Как так — с листом?

— Да. Со стальным листом нашего завода. Увидишь, как летят наши самолеты, и порадуешься: «Вон он, наш листик!»

Алексеев так и произнес — «листик». Меня опять удивила и тронула нежность, с какой он говорил о стали. Он продолжал:

— Повстречаешь идущий фронту состав с автомашинами — и опять узнаешь свой металл. Или вся железнодорожная автоблокировка. Мы давали много тонкого листа для заводов «Транссигнал». Бывало, смотришь в кабинете на такой заказ, на отпечатанное сверху крупными буквами слово «Транссигнал» и думаешь: «Зачем им столько листа? Что они делают с нашим листом?»

Алексеев рассказывает. Я порой опять ловлю в его лице милое полувопросительное выражение. Вместе с ним я как бы заново вижу привычные, примелькавшиеся взору зеленые, оранжевые, красные электросветляки на железных дорогах, вижу длинные стальные козырьки над этими, как их называют техники, глубокоизлучателями.

Сколько Алексеев ни ехал — по Центральной ли России, по Приуралью и Уралу, по Сибири,— всюду через каждый километр он встречал эти козырьки, встречал свой лист.

С гордостью он говорит:

— Я ездил поездом по Германии и по Англии. Там нет такой автоблокировки. А у нас она проведена повсюду, даже через всю Сибирь... В те дни отступления на душе иногда становилось очень тяжело. Мы уже были за Волгой, когда из оперативных сводок узнали, что немцы подступили к Москве. Посмотришь на забитые эшелонами пути, на измученных беженцев, которые едут уже месяцами, и... И вдруг мимо нас к Москве стали проноситься через каждые пятнадцать — двадцать минут эшелоны с войсками из Сибири. Несколько суток в таком темпе, по точному графику проходили эти поезда. И опять подумалось: «Вот как действует автоблокировка, пригодился наш листик!»

Затем Алексеев говорит, что еще одно впечатление во время поездки было очень сильным: географические карты на стене в кабинете Тевосяна. Я восклицаю:

— Как, разве вы были у Тевосяна?

— Да, в пути нам принесли телеграмму Локшина. В ней сообщалось, что мы, несколько человек, начальники цехов и отделов, должны по вызову наркома явиться к нему, как только наш поезд прибудет в Москву.

Мне хочется, чтобы Алексеев описал по порядку эту встречу, но он все-таки сначала досказывает свое.

В кабинете наркома Алексеев увидел три большие карты Советского Союза. В каждую было вколото множество флажков. Но флажки располагались не по линии фронта, просекающего сверху донизу страну, а по линиям железных дорог, ведущих на Восток. Тевосян подошел к карте и спросил:

— Какой, товарищи, номер вашего эшелона?

Получив ответ, он просмотрел несколько флажков, которые небольшой гроздью сосредоточились в точке Москвы, и удовлетворенно кивнул: обозначение эшелона на карте не расходилось с его действительным местонахождением в этот час. Затем, показав на цепь флажков, протянувшуюся через всю карту на Восток, нарком произнес:

— Это ваш завод!

И Алексеев вздрогнул от этих очень простых слов. Он много дней подряд видел забитые эшелонами станции; ему порой казалось, что там хаос, неразбериха, отчаяние, и вдруг здесь ему предстала четкая, как бы очищенная от пены и брызг, линия эскадры, совершающей маневр в бою.

Действительно, боевой фронт металлургии, фронт сражения за металл, пролегал тогда не только у печей на Востоке, но и по линиям этих флажков на карте наркома, по железным дорогам, спасающим южные заводы.

14

Опишу теперь по порядку встречу инженеров с Тевосяном.

Вечер. Зашторенные окна Наркомата. Инженеры ожидают в приемной, когда приедет нарком. Вот он быстро входит, снимая на ходу черную фетровую шляпу. У него черные глаза, черные небольшие усы, черные блестящие волосы без единой сединки и очень смуглый, почти оливковый цвет лица. Из-под распахнутого осеннего пальто виден твердый, накрахмаленный воротничок.

— Признаться, я предполагал,— рассказывал Алек-

сеев,— что такой воротничок надевают только в особо значительных случаях. И потом даже расспрашивал. Нет, оказалось, что он, наш нарком, всегда таким появляется на службе.

Кабинет наркома размером с небольшой зал. На письменном столе ничего лишнего. На стенах уже известные нам географические карты с линиями флажков. Тевосян расспрашивает инженеров о подробностях эвакуации. Его все интересует: как свыкались люди с обстрелом, как обеспечена комплектность погрузки оборудования, как смазаны и упакованы машины, как питаются в пути эвакуированные работники завода.

Раздается телефонный звонок.

— Да, да, я слушаю,— говорит кому-то в трубку Тевосян.— Что? Я для того и нахожусь на работе, чтобы меня беспокоили...

Разговор продолжается. Нарком говорит, что эвакуированный завод будет развернут на Востоке. Там, на площадке, уже строятся здания цехов.

— Завтра, товарищи, вы поедете скорым поездом туда принимать прибывающее оборудование. Надо сразу монтировать — даже без крыш над головами...

Он подробно разбирает с инженерами вопросы монтажа и пуска. Алексеев сидит позади всех, внимательно слушает, вдумывается. К нему обращается нарком:

— А тебе, товарищ Алексеев, надо поехать на Урал. Там на одном заводе уже освоили гильзовую сталь.

— На каком же?

— На очень маленьком. Как говорилось раньше, захудалом.— Нарком называет завод.— А придется поклониться тамошним людям, поучиться у них понимать душу металла. Оказалось, они добились успеха после того, как добавили...

— Титана?! — восклицает Алексеев.

— Угадал... Но я думаю, что дело еще не только в этой добавке. Понимаешь? — Тевосян произносит это «понимаешь» уже не тоном командира, а инженера-сотоварища, тоже влюбленного в металл; каким-то новым огоньком загораются его темные глаза.— Понимаешь, ведь в

дальнейшем процессе надо как-то смягчить влияние титана. Как ты на это смотришь?

В кабинете идет разговор, увлекательный для сталеплавильщиков, о технологических тонкостях рождения новой стали, о душе металла. Это любимая тема, любимое дело Тевосяна, он мог бы проговорить о стали до утра, но...

— Задача такова, товарищи, что дорог каждый день, даже каждый час. С расчетом на эту сталь уже строится там, на вашей площадке, завод боеприпасов. Алексеев изучит опыт уральцев. И затем надобно быстро перенести этот опыт в ваши громадные масштабы. Работать по-военному, по-фронтовому! Армия ждет нашей стали...

— Знаете, что самое поразительное в Тевосяне? — сказал мне Алексеев.— Соединение страсти революционера, коммуниста и страсти сталеплавильщика, инженера-металлурга. Вся его служба, вся жизнь — металлургия.

— Почему вы говорите «служба»? Это какое-то отмершее слово.

— Нет... В армии отвечают: «Служу Советскому Союзу». Мы ведь тоже так служим.

15

Вокзал крупного города в Сибири. С асфальта широкого, просторного перрона счищают и сметают снег. Подкатывает пассажирский поезд с запада. На перроне немного пароду; спокойно выходят пассажиры; кажется, будто здесь нет войны.

Эту фразу вслух произносит Алексеев.

— Профессор, как здесь у вас тихо,— говорит он, озираясь,— кажется, будто и нет войны.

— Носильщиков, однако, я не вижу,— бурчит его собеседник.

Алексеев одет в белый дубленый полушубок, в валенки; на голове меховая ушанка; ее уши развязаны, одно опущено, другое торчит вверх. Рядом стоит его случайный спутник по вагону профессор Кравцов, главный врач новосибирской городской больницы. Под седыми бровями очки в золотой оправе старинного типа.

На путях виден состав с пушками. По обширному перрону то и дело быстро проходят офицеры и солдаты.

— Да, все-таки война,— говорит Алексеев.— Ну, дожидаться нечего!.. Давайте, профессор, ваш чемодан.

— Нет, нет, оставьте... И прежде всего застегните ворот. Не забывайте, батенька, что вы простужены. И вообще извольте, как больной...

— Какой я больной? — Алексеев смеется.

Он решительно поднимает чемодан и идет в вокзал.

Внутри он останавливается пораженный. Главный зал до того велик, что кажется пустынным.

— Красота! — восторженно говорит Алексеев, глядя ввысь на стеклянный фонарь крыши.— Это... Это как наш цех листопроката...

— Поднимайте выше!.. Это как наша Сибирь.

— Сибирь? Неужели архитектор так задумал?

— Да. В Москве вы такого вокзала не найдете. А буфет? Давайте-ка заглянем, хлопнем по единой, а потом поедем. Полечу вас по-старинному.

— А как?

— Возьму к себе в больницу. Сначала ванну, потом еще раз чарку водочки — и спать! Вам не надо никаких лекарств. Только поваляться три-четыре дня, поспать по-человечески.

— Да, это хорошо бы: поспать по-человечески...— с улыбкой говорит Алексеев.

На миг у него опускаются веки. Видно, что он действительно утомлен и болен: видно, как ему хочется лечь. Но он продолжает:

— Не могу... Каждый час, профессор, дорог... Спасибо вам. Увидимся еще когда-нибудь?

— Очень опасаюсь, что увидимся, когда вас ко мне доставят на носилках. Будь моя воля, я бы вас арестовал и уложил!

— Все равно удрал бы! Где мне тут узнать, когда идут поезда в город Восточный?

— Понимаете ли вы, неразумный человек, что даже и города такого еще не существует?!

— Существует.

— Не слыхал... Живу здесь сорок лет, а не слыхал...

Профессор поправляет шапку Алексеева, завязывает у него под подбородком оба уха, пытается застегнуть ворот его полушубка и бурчит:

— Черт побери!.. Где же вы крючки пооторвали? Извините меня, бить вас, сударь, некому.

16

Ранние сумерки. Свет электричества в окнах вокзала пока кажется бледным; фонари на перроне еще не горят. По путям идет с чемоданом Алексеев.

— Скажите,— кого-то спрашивает он,— где тут рабочий поезд на Восточный?

— Не знаю, товарищ.

Алексеев неуверенно оглядывается на здание вокзала. Быстрой походкой его нагоняет девушка в валенках, в беличьей шапке, в туго подпоясанной короткой ватной стеганке. У нее с собой книги, обернутые по-школьному черной клеенкой и стянутые двумя ремешками с деревянной ручкой. Алексеев обращается к ней:

— Скажите... где тут...

И вдруг девушка останавливается:

— Тимофей Тимофеевич?

Поскользнувшись, может быть от неожиданности, он чуть не падает и роняет чемодан.

— Наташа!

Она смеется и помогает ему.

— Ух, какой тяжелый! Не поднять,— говорит она про чемодан.— Что такое вы везете?

От отвечает, чуть понизив голос:

— Стальной лист с Урала... Все мои тамошние плавки...

— Тимофей Тимофеевич, вы... вы все такой же!

Наташа улыбается ему, не сознавая, как ее красит эта улыбка. Алексеев тоже рад: наконец-то в незнакомом краю, на неведомом Востоке, за три с половиной тысячи километров от обжитого, теперь разоренного и захваченного немцами заводского гнезда, он встретил первого живого человека оттуда, из тех дорогих мест. И он расспрашивает прежде всего о заводе. Сколько мартеновских печей в ходу? Листопрокат смонтирован? И горячий и холодный?

Только узнав обо всем этом, узнав, что уже работают и горячий и холодный цехи, хотя над ними еще нет кровли,— только после этого он спрашивает:

— А как же вы, Наташа?

— Учусь в мединституте. Помогаю в госпитале. А воскресенья провожу в Восточном, у своих.

— А как ваши? Как Анна Петровна? Помните ту станцию, с которой мы поехали обратно на завод?

— Конечно... Воронько на вас кричал: «О чем ты думаешь в такой момент?» А вы робко так ответили: «О стали».

Неожиданно вспыхивает фонарь. Они улыбаются друг другу — девушка в подпоясанной короткой стеганке и инженер в белом полушубке, с чемоданом, наполненным железом, которое пропутешествовало тысячи километров по Сибири.

Это еще не любовь. Наташа испытывает лишь смутную нежность к этому немного странному большому человеку, похожему чем-то на ребенка. А Алексееву просто хорошо, тепло на душе от этой встречи с Наташей, которая здесь, под небом Сибири, кажется почти родной.

17

— А ну теперь дадим туда титана! — кричит Алексеев.

В мартеновском цехе еще не выложены стены; сквозь железные колонны здания видна зима, зимняя стройка; ветер гонит снежную пыль по завалочной площадке. Но здесь уже плавят сталь. Приоткрытое окно печи излучает жар и нестерпимый для глаза свет кипящей стали.

Полушубок Алексеева измазан фиолетовой марганцовистой рудой и графитными следами металла, который не зря называется черным... Уши шапки развязаны, у ворота все еще не пришит крючок. Но Алексеев счастлив. Он в своей стихии; перед ним огромный современный цех, современная большая мартеновская печь; в такой печи еще никто не выплавил гильзовой стали, и он ведет плавку, он творит, ощущая, как художник, как талант, душу металла.

— Пробу! — кричит он.

Специальным инструментом — длинной ложкой — зачерпывают из печи пробу. Небольшой столбик стали быстро темнеет, остывает. Удар молота. Столбик разбит надвое. Алексеев разглядывает излом. Уже несколько подобных проб стоят на железном столе возле Алексеева.

— Ну как, Тимофеич? Есть? — спрашивает старший сталевар.

Алексеев все еще смотрит на темный блеск излома. Потом, сияя, отвечает:

— Есть! Подготовляй выпуск! Есть, дорогой, у нас гильзовая сталь!.. Гляди, вот она какая!

Протягивая пробу сталевару, он, словно жалея с ней расстаться, не может выпустить ее из рук и опять любуется блеском или, вернее, чем-то в этом блеске, во что проникает его взор.

Это не знахарство, не волшебство, не дедовский секрет, что когда-то ревниво хранили мастера. Нет, это дар, редкий дар инженера-металлурга, который, взглянув на излом стали, почти мгновенно определяет с точностью лабораторного анализа ее строение и химический состав.

Детство около вагранок, около потоков чугуна, курс института, страсть инженера, страсть познания, упорство большевика, десятилетие работы у станков, у печей и в лаборатории — вот что обострило до проникновенности этот редкий дар, этот взгляд инженера Алексеева.

Идет разливка стали. Алексеев взобрался почти к подкрановым балкам, на самую верхнюю галерею пролета. Он опять вынимает из кармана пробу, поворачивается к вольному свету, к металлургическому каркасу будущей стены, где площадка словно обрывается в зиму, и вдруг... И вдруг он отсюда первый раз по-настоящему видит строящийся город заводов.

Небо всюду прочерчено строительными мачтами; каменщики кладут кирпич; к ним взлетают на блоках бадьи дымящегося подогретого раствора; верхолазы на жуткой высоте, открытой всем ветрам, устанавливают железные стропила крыш, монтируют, сваривают, крепят.

Неужели это происходит наяву в дни страшного нашествия на Россию, происходит где-то среди заметенной снегами бескрайней Сибири?

Внизу взрывают землю; выгребают ее, мерзлую, ковшами экскаваторов из траншей и котлованов; на длинной стреле крана проплывает в воздухе к еще не достроенной коробке цеха, к проему его будущих ворот, большой электромотор. На снегу стоят рядами знакомые деревянные катушки с кабелем. Сразу несколько заводов, переброшенных сюда, возрождаются на этой площадке.

К мартеновскому цеху подъезжает легковая машина директора завода. Кабина пуста, лишь за рулем шофер Гуц. В цехе он находит Алексеева и кричит ему снизу:

— Тимофей Тимофеевич!

Но Алексеев не слышит. Его лицо сейчас обращено не к цеху, не к металлу, а в широкий мир, что с верхней галереи открылся перед ним. Гуц поднимается к нему:

— Тимофей Тимофеевич!

— А?

Рассеянный вид Алексеева вызывает у исполина шофера добродушную улыбку. Однако Гуц пытается говорить строго:

— Товарищ Алексеев! Мне велено узнать: сегодня вы обедали?..

— Сегодня... вы,— повторяет Алексеев, но эти слова так и не доходят до него.— Смотри-ка, какой город! А как они работают! — Он показывает на верхолазов.— Чем одарить этих людей?

И вдруг он кашляет, хочет и не может справиться с приступом сухого кашля.

— Э, вы на ветру не разговаривайте,— заботливо говорит Гуц.— Оберегайтесь! Это сибирские морозы. Поедемте-ка, Тимофей Тимофеевич.

Наконец долгий и мучительный приступ проходит. Алексеев спрашивает:

— Куда?

— Андрей Кузьмич приказал вас разыскать и везти в столовую. Наверно, говорит, Тимофеич позабыл пообедать.

— Позабыл,— признается Алексеев.

18

Листопрокат. Здесь тоже отовсюду дует; некоторые окна не остеклены и заставлены стальными листами; еще нет парового отопления, и огромный цех обогревается попросту горячим металлом и открытыми жаровнями с тлеющим коксом.

Из печи с глухим стуком поочередно выпадают раскаленные пластины стали; массивные, быстро вращающиеся ролики влекут их к прокатным устройствам. Валки захватывают светящуюся заготовку, она бежит все бы-

стрее сквозь могучие механизмы проката и наконец вылетает на простор длинного помоста малиновой лентой листа.

Мчатся и мчатся эти ленты; механические моталки тотчас их сматывают в рулоны, которые по конвейеру уходят еще дальше.

А к нагревательным печам едут по роликам новые холодные пластины. На каждой четкой белой надписью обозначен номер «Г-1». Это поступает в прокат первая плавка гильзовой стали. Мастер нагревательной печи говорит Алексееву:

— Гильзовая?

— Да.

— Должно, сильно от нас ее дожидают! Ну, открываю ей ворота! С богом!

Туда, в огненный зев, одна за другой вкатываются пластины «Г-1»...

Телефонный разговор Восточный — Свердловск. Там, в Свердловске, в центре Урала, разместился в ту зиму Народный комиссариат черной металлургии — штаб битвы за металл.

Т е в о с я н. Ты понимаешь, о ком я говорю?

Л о к ш и н. Да.

Т е в о с я н. Сегодня он звонил насчет марки «Г». Спросил, сможем ли мы дать ее через два месяца.

Л о к ш и н. Постараемся дать раньше. У нас, Иван Федорович, положение таково: вчера прокатали первую партию.

Он не договаривает, прислушивается. В неоштукатуренных бревенчатых стенах директорского кабинета, где ровно гудит печка, гулко отдается далекий пушечный выстрел.

— Вот, Иван Федорович, слышно, как испытывают... Сдается, что мы все еще на Юге... Вы понимаете?

Т е в о с я н. Да... Сколько штук испытываете?

Л о к ш и н. Сто двадцать четыре. По одному... По одному изделию из каждого листа. Сталь как будто удалась. Анализы в точности соответствовали техническим условиям.

Снова доносится выстрел. Бревна на сорокаградусном сибирском морозе резонируют как струны. Локшин повторяет:

— Иван Федорович, слышите?

Вечером к бревенчатому бараку заводоуправления подъезжает заиндевевшая автомашина. Главный прокатчик Воронько и Алексеев вернулись с испытаний. Они молча всходят на крыльцо. Отсюда их сегодня провожал директор, уверенный, что они привезут хорошие вести. Сейчас они идут к нему.

Сразу встав из-за стола, Локшин вопросительно смотрит на вошедших. У Алексеева усталое, посеревшее лицо; на щеках и под глазами обозначались резкими тенями впадины, каких не было прежде; даже продольная черточка на подбородке теперь словно проведена резче. Он говорит без предисловий:

— Андрей Кузьмич, вся партия негодна!

— Как? Все сто двадцать четыре снаряда?

— Да, все сто двадцать четыре.

— Почему же?

— Не понимаю... Еще не понимаю... Будем искать.

19

О дальнейшей борьбе за марку «Г», за гильзовую сталь, Алексеев рассказал мне так.

— Все мы, работники завода, жили одной мыслью: скорее дать военные стали. Никто из нас, конечно, не представлял еще, где, когда и как будет нанесен страшный удар гитлеровцам; никому еще не рисовались великие дни нашего наступления, но все мы знали одно: врага будут бить нашей сталью, нашими снарядами.

Однако металл не получался. На листовой стан шел поток плавок из мартеновских печей, по две, по три плавки ежедневно; мы бились уже много дней над маркой «Г», однако на испытаниях в поле, в боевой стрельбе, по-прежнему обнаруживалась негодность нашей стали.

Но ведь небольшие старинные заводы Урала уже освоили, уже давали стране такую сталь. Мы снова и снова анализировали опыт уральцев, их техническую документацию, строго копировали их технологию — металл не получался. Прокатывали на своем стане заведомо отличные слитки с Урала, но лишь портили у себя уральскую гильзовую сталь.

Почему же? Теперь я могу ясно вам ответить. Уральцы создали свою технологию для тихоходных станов ста-

ринного типа, где суточное производство листа исчисляется не тысячами и даже не сотнями, а всего десятками тонн. На таких тихоходных станах горячий металл в последних стадиях прокатки уже значительно остужен. А у нас скорость проката шесть — восемь метров в секунду, мы катаем быстро, горячо.

Эта мысль о разнице температур при выходе листа уже смутно брезжила передо мной, но все же помог случай.

Ночью мы заканчивали прокатку очередной партии металла марки «Г». Оператор понервничал, сделал неверное движение. Все мы к тому времени изнервничались, измотались. Уже почти два месяца длились наши неудачи на заводе. Днем и ночью мы катали марку «Г», уже выдали несколько тысяч листов, но ни один — вы понимаете, ни один лист! — не оказался годным для снарядных гильз. Все отгружали как рядовой металл.

А война шла. Сводки с фронта в эти дни кратко сообщали: «Особых изменений не произошло». Нам казалось: не произошло — мы виноваты...

Оператор понервничал, сделал неточное движение. Никакой поломки не случилось, сработал электропредохранитель, и в одной секции проката, у моталок, автоматически выключился ток. К моталкам выходил предпоследний лист партии. Ролики на две-три минуты остановились, и случайно задержанный на выходе лист быстро потемнел, остыл. Его хотели сразу сбросить в брак, но потом решили все же смотать. Я особо отметил этот холодносмотанный лист, но при анализе в лаборатории чего-либо особенного в нем не обнаружил. Пожалуй, структура показалась мне чуть лучше. Но, поворачивая под микроскопом срез листа — тонкую стальную полоску,— я был далек от мысли, что буквально держу в руках решение. Однако на следующий день мы получили с испытательного полигона первую обнадеживающую весть: «Все по-прежнему плохо, только один лист хорош». Представьте, это был тот самый лист, который мы собирались кинуть в брак!

Тогда только пришло озарение. Мы стали производить опыты с задержкой листа перед моталками. Одна партия получилась еще неустойчивой, но часть листов уже пошла в дело. Следующая партия была лучше. И наконец, третья оказалась превосходной — все сто процентов наше-

го листа годились для стрельбы. Это был триумф, праздник завода.

В своем рассказе Алексеев умолчал, что работал над гильзовой сталью больным. После победы завода он слег.

20

Капает с крыш. Сверкают на солнце сибирской весны неисчислимые кристаллики талой корочки снега. Алексеев смотрит из окна лаборатории. Здесь же стоит его кровать со смятым одеялом, смятой подушкой. Его бьет озноб, волосы мокры от пота, руки и ноги кажутся ему странно тяжелыми, но он все-таки встал, чтобы хоть из окна взглянуть на заводской торжественный митинг.

Видна трибуна, сколоченная из нестроганых досок. Около нее тысячи людей. Кто-то в распахнутой меховой куртке, без шапки говорит с трибуны.

А Алексеев кутается в полушубок, кашляет сухо, мучительно долго, вытирает ладонью пот — и опять смотрит.

Трибуна. Локшин наклоняется к своему соседу, новосибирскому профессору. Под седыми бровями профессора очки в золотой оправе.

— Иван Александрович, сейчас от подшефного госпиталя. Вы!

— Что я?

— Выступаете.

— Слуга покорный!.. На морозе держать речей не буду. И никому не порекомендую...

— Иван Александрович, несколько слов... Привет от интеллигенции.

И Локшин громогласно объявляет:

— Слово предоставляется главному врачу подшефного нам госпиталя, трижды орденоносному профессору Ивану Александровичу Кравцову.

Профессор сердито встает:

— Товарищи, я тут уже заявил, что на морозе никаких речей произносить не буду...

Перед ним одетая по-рабочему толпа, мужские, женские, детские, почти сплошь без румянца, без улыбок, лица, на которых тенями легла печать многодневного утомления и суровости. Старый профессор смолкает, буд-

то что-то глотает,— может быть, комок, подкативший к горлу,— и договаривает:

— А только низко поклонюсь вам от всех русских людей!

Он склоняет голову и стоит так, не слыша, как ответной волной несутся к нему рукоплескания.

После митинга Локшин говорит:

— Иван Александрович, к вам есть небольшая просьба. Посмотрите одного больного. Это человек, который создает новые стали.

Профессор не может не поворчать:

— Ну вот... Я сегодня к себе в госпиталь не заглянул... Где он, ваш больной?

Лаборатория. В этот праздничный день Алексеев сумерничает в одиночестве; ему не лежится; в полушубке, надетом на нижнюю рубаху, он бродит по комнате, рассеянно трогает пробы металла, потом открывает несгораемый шкаф. Там в особых картотеках хранятся технологические карточки, которые когда-то на Юге, в день прорыва немцев к заводу, Алексеев уложил за пазуху и везде носил с собой. Сейчас он любовно их перебирает. Возникают заголовки карточек: «Сталь «ДС». Операция 36. Третья добавка ферромарганца», «Автомобильная сталь. Операция 114. Отжиг листа».

Картотеку стали «Г» он вынимает, ставит на стол, поворачивает выключатель под белым стеклянным абажуром и садится работать. Изредка заглядывая в потрепанную записную книжку, он заполняет карточки. Порой он задумывается, покусывает палец, иногда улыбается найденному ясному слову; ложбинка на подбородке кажется сейчас совсем детской. Вот он пишет, нет, не пишет, а выводит: «Сталь «Г» (гильзовая). Операция 62. Сбив окалины водой». Эти строки, эти заглавные слова он подчеркивает волнистой линией.

Стук в дверь. Алексеев оборачивает карточку чистой стороной:

— Войдите!

Входят профессор и Локшин.

— Где же ваш больной? — спрашивает профессор.

Он платком протирает очки, надевает их и узнает Алексеева.

— Ну, вот, увиделись,— буркает он, протягивает Алексееву руку, пожимает и недовольно посвистывает: — Э, сударь, у вас температура не меньше тридцати восьми.

— Да,— признается Алексеев.

— Почему же не лежите?

— Заканчиваю одну работу.

— А мне, сударь, сдается,— зная уже упрямство Алексеева, профессор намеренно прибегает к сильным выражениям,— сдается, что вы приканчиваете собственную жизнь. Снимайте-ка ваш кожух... Послушаем, что там у вас.

Старик долго выслушивает, выстукивает грудь Алексеева. Затем, повернувшись к Локшину, выпаливает:

— Как же вы, милостивый государь, могли допустить, что у вас человек в таком состоянии все еще работает? Его надо немедленно отправить в госпиталь... Сейчас же!

— Профессор, я поправлюсь здесь,— говорит Алексеев.— Теперь я работаю немного, могу полежать, поспать сколько угодно — и чувствую себя гораздо лучше.

— Позвольте мне сказать вам все начистоту. У вас, выражаясь по-старинному, чахотка. Или, если это вам более понятно, начало туберкулезного процесса в обоих легких.

— Но...— Алексеев побледнел.— Но я должен все-таки остаться до тех пор, пока... Пока вот это...— Он показывает на стол.

— Дорогой мой, если вы не захотите побороться за свою жизнь, то вам осталось жить очень недолго.

— Ну что вы?! Меня полгода назад освидетельствовала медицинская комиссия. Я был... Я был годен в авиацию... Только не пустили воевать.

— Эх! — Профессор не сдерживает досады.— Эх, почему вы, Тимофей Тимофеевич, не легли ко мне на три-четыре дня, когда мы с вами в поезде познакомились?

— Тогда не мог,— произносит Алексеев.

В этих трех словах, может быть, весь его характер; в этих трех словах приоткрылась, может быть, какой-то стороной тайна великого упорства, великих дел поколения.

— Тимофей Тимофеевич...— тоном глубокого уважения говорит профессор, но тотчас сердито кричит: — Связать его по рукам и по ногам и немедленно отправить! Отправить со мной вместе!

Палата новосибирской больницы. Алексеев лежит, повернувшись лицом к стене. Другой больной, в светло-коричневом фланелевом халате, тщетно взывает:

— Товарищи, кто же сыграет со мной в шахматы?

У него уже расставлены на шахматной доске черные и белые. Но никто не откликается.

— Товарищ инженер, вы совсем не играете?

Алексеев молчит. Ему тяжело. На воле весна; сырая потеплевшая земля в несколько дней оделась, как это бывает только в Сибири, буйной яркой зеленью; в саду появились колокольчики, одуванчики, ромашки, такие большие, каких Алексеев никогда не видел. А он все температурит, все лежит или изредка бродит по саду. Выздоровеет ли он когда-нибудь? Его мать умерла в тридцать лет от туберкулеза. Неужели и ему в тридцать лет суждено то же? Неужели придется умереть, почти ничего не совершив из того, что задумал? Он не узнал еще и счастливой любви, домашнего личного счастья. Неужели и этого уже никогда не будет?

Он одевается и идет побродить. В коридоре ему встречается группа студентов. Алексеев уступает дорогу и видит знакомые просто причесанные русые волосы, знакомое лицо.

— Наташа! — негромко окликает он.— А почему вы здесь, Наташа?

— На практике перед экзаменами.

В ее руке стянутая все так же аккуратно ремешком связка книг в черной потертой клеенке.

— Вы, наверное, торопитесь? Я вас задержал?

— Нет, не тороплюсь.

— Тогда... Тогда, Наташа, посидите немного со мной.

Они сидят в саду. Алексеев вертит только что сорванную полевую ромашку.

— Это еще небольшая,— произносит он.— Вчера я видел вот такую: стебель в поперечнике пять-шесть миллиметров, венчик — миллиметров шестьдесят.

— Как вы странно говорите о цветах... «Венчик — миллиметров шестьдесят»... Вы, должно быть, и здесь думаете о металле?

— Да. Скучаю, Наташа. Хочется много еще сделать.

Он говорит о себе так доверчиво, так искренне, что у нее внутри что-то сжимается. Потом он рассказывает о разных встречах в госпитале, раздумывает перед Наташей вслух. Нет, никто еще с нею так не разговаривал. Наконец Алексеев спохватывается.

— А вы как? — спрашивает он.— Как вы живете? Что у вас за книжки?

— Это к экзаменам. Мои учебники.

— Покажите, Наташа.

Она послушно развертывает свой сверток. Сверху лежит объемистый том «Работа сердца».

— «Работа сердца»,— читает вслух Алексеев.— Как же оно работает?

— Про это долго рассказывать...

— А вы расскажите... Вправду, Наташа... Мне интересно.

Она взглядывает на него искоса, видит живое внимание в вопрошающей улыбке, в глазах и...

И вот на земле перед скамейкой уже начертано палочкой сердце с его клапанами, предсердием и аортой. Алексеев все спрашивает, допытывается, Наташа с увлечением объясняет.

— О, вы это сдадите на пятерку.

Вдруг слышится дальний орудийный выстрел. Алексеев сразу отвлекается, поднимает голову. Стреляют еще и еще.

— Что это? — спрашивает Наташа.

— Так... Испытания снарядов.

У него грустное лицо.

— Тимофей Тимофеевич! Ведь я знаю! Это вы... Это ваша сталь.

Неожиданно для самой себя она наклоняется и прижимается щекой к его руке. И тут же, вспыхнув, покраснев, как еще никогда не краснела, она вскакивает и быстро уходит. Ей мучительно стыдно.

— Наташа! Куда вы?

Она оборачивается. Алексеев выглядит таким недоумевающим, огорченным ее внезапным уходом, что Наташа мгновенно забывает о себе.

— Приду! — кричит она.

Уже схлынула краска, схлынул приступ стыда. Наташа еще раз оборачивается и уже может шутить:

— Книжки-то у вас... Значит, приду!

Она скрывается. Алексеев растерянно смотрит на объемистый том «Работа сердца».

С книжками, с развернутой черной клеенкой Алексеев возвращается в палату, ложится, рассматривает книги. К нему снова взывает сосед по палате:

— Товарищ, неужели вы совершенно не играете в шахматы?

Не меняя позы, Алексеев отвечает:

— Делаю ход: е два — е четыре...

— Разве вы играете?

— Увидите. Жду вашего хода.

С недоверием поглядывая на Алексеева, любитель шахмат выдвигает пешку.

Рассказывая мне несколько лет спустя об этом дне, Алексеев со смехом заключил:

— И я, не глядя на доску, закатил ему мат в пятнадцать ходов.

22

Эта фраза Алексеева записана в моем блокноте. Приведу еще несколько отрывков оттуда, из этих беглых карандашных записей воспоминаний Алексеева и рассказа Наташи.

Наташа. В тот день я еще не знала, что люблю. Я чувствовала только очень острую жалость. Большое к нему уважение и жалость.

Назавтра пришла в больничный сад. Издали увидела, что Алексеев идет по аллее с женщиной-врачом. Улыбается ей, оживленно разговаривает. Меня что-то кольнуло... Что это было? Тогда еще не поняла.

Он мне обрадовался. Мы ушли в глубь сада, сели на скамью около кустов шиповника.

Мне было странно: такой большой человек и так слушает, что я говорю. Улыбка не обидная, добрая...

Алексеев. У нее была жажда говорить. А раньше я замечал, что дома, среди своих, она редко-редко что скажет. Болтали часа три на самые разные темы. Я больше расспрашивал. О ее жизни, об экзаменах, о городе Восточном, о заводе. Ответы нестандартные. Имеет свое мне-

ние, рассказывает с увлечением, с огоньком. Душа, ум, юмор. Красивый лоб, «лобастая», красивые волосы, золотистые. Подумал: «Золотой огонек».

Н а т а ш а. Цвел шиповник.

— Сорвать вам эти цветочки?

— Сорвите.

Для меня еще никто не срывал цветов. Принес. Почему-то вздохнул. Сказал мне:

— У вас красивые зубы. Не мелкие. Зубы смелого человека.

А потом... Взял за плечо. Наклонился к этому шиповнику.

— Как пахнет!

Мне обидно, неудобно. Неужели он такой же, как и все? Хочу отодвинуться и боюсь, что он подумает: это из-за того, что он болен. Положил руку на спинку скамьи. Я отстранилась.

— Что вы, Наташа?

— Мне так душно...

А он словно не понимает. Вскочила и ушла. Потом плакала. Дура, дура, ты думала, он интересуется тем, что ты рассказываешь! Решила, что больше к нему не приду.

И не пришла.

А л е к с е е в. Я пришел сам. Меня летом выписали, прикрепили к туберкулезному диспансеру в Восточном. Начал работать. Пришел в гости к Ярченко.

Кипучая деятельность Анны Петровны. Куры, свинка, огород, клубника. Увлечена этим. Некоторые из южан в Сибири словно увяли, опустились, а у нее энергия, собранность, высокий тонус жизни. Искусные руки.

У Наташи тоже искусные руки. Та же порода, воля, упрямство, характер, что и у Анны Петровны, но по-иному устремленные.

Со мной — замкнутая. Совсем другое лицо, без улыбки...

Кому я нужен такой? Она права, что отвернулась.

Н а т а ш а. Я замкнулась. Он приходил, смотрел вопросительно, недоуменно, а я старалась уйти.

Как быть? Не хочу с ним встречаться. Не надо. Сказать, чтобы не ходил, нельзя. И не сказать — тоже нельзя.

А он и сам перестал ходить. На заводе опять делали новую сталь. Он был поглощен, видимо, этим. Иногда вижу из окна: он идет вечером с завода. Рядом с ним инженеры, молодежь. Его очень любили. Но все расходились по домам, по семьям, а он один. Вижу: идет куда-то один, грустит. Подойти к нему? Подойду.

Расстались в два часа ночи. А в восемь утра он уже позвонил с завода тете Ане.

— Как поживаете? Как дети? Как Наташа?

— Вот до утра с кем-то прогуляла.

— Ай-ай-ай... С кем же?

— Она хитрая. Не скажет. Приходите, Тимофей Тимофеевич. Поругайте ее.

А я лежу и смеюсь под одеялом.

Сентябрь. Снова учеба. После занятий скорее на поезд, скорее на Восточный, домой: я его увижу.

Иногда он освобождался поздно. Но все равно: жду, жду. Весело вместе. Иногда он совсем не мог прийти: всю ночь на заводе. Тогда вечер как будто пустой. Всегда бы быть вместе...

Мой день рождения. Придет ли, вырвется ли? Смотрю из окна. Тимофей Тимофеевич идет с завода. Он посмотрел вверх, будто на небо. Увидел меня и дал знать глазами, что придет. Сразу стало весело.

В этот вечер на моем празднике у него опять кашель. Он кашляет, а у меня разрывается сердце. За таким человеком надо ухаживать, как за ребенком.

Тетя Аня приглашает: «Идите пить чай». Он пошел к столу. Я вдруг подумала: «Если он сейчас повернется ко мне, значит, он будет моим мужем». И он повернулся, подошел, посмотрел в глаза.

— Да, да, Наташенька, так оно и будет!

— Что будет? О чем вы?

А л е к с е е в. Как-то пошли в поле к железнодорожной насыпи. Сухой вечер. Закат. В Сибири после заката еще долго, целый час, в небе светлый след, светлая полоса.

Налетел дождик. Обратно? Нет, до черты, до насыпи. Я снял пальто. Подаю Наташе. Не берет. «Вам без пальто нельзя». Накинули одно пальто на двоих. Идем, молчим. Чувствую, что оба хотим сказать друг другу что-то хорошее, что-то очень важное. И не смогли.

Вернулись затемно. Еще сидели. Проводил ее к дому. Знал, что не имею права ее поцеловать, дал себе слово, что не поцелую. Когда поцеловал, я растерялся, она растерялась.

— Тимофей Тимофеевич, я вас люблю.

Рванулась, убежала по ступенькам. Я не мог спать. Пошел бродить.

Н а т а ш а. Утром проснулась счастливая. Не выдержала, все рассказала тете Ане.

— Ты с ума сошла! Это же совсем больной, конченый человек!

— Он станет здоровым.

— Никогда. Он забывает есть и спать. Он не умеет жить. Что ты делаешь? Ты себя губишь!

— Как ты не понимаешь? Я его люблю.

— Я не позволю... Чего улыбаешься? Ты хочешь, чтобы я отказалась от тебя?

— Я не могу иначе.

23

Домашний кабинет профессора Кравцова. Занавеси спущены, комнату освещает лампа под оранжевым шелковым абажуром.

Алексеев одевается после медицинского осмотра. Профессор еще раз подносит к свету рентгеновские снимки. Алексеев не выдерживает:

— Иван Александрович, что же вы скажете?

— А вы послушаетесь?

— Иван Александрович, я вам сейчас доверяю все.— Алексеев слегка протягивает руки, будто там, на ладонях, его здоровье, его счастье, его будущее.— Как вы скажете, так и поступлю.

Профессор подходит к двери, отворяет ее.

— Машенька,— кричит он,— сделай милость, никого к нам не пускай! И к телефону не зови.

Он усаживает на диван Алексеева, садится рядом, снимает очки. Без очков сразу пропадает его напускная суровость. Он смотрит на своего гостя-пациента выцветшими дальнозоркими глазами, о чем-то думает и мягко говорит:

— Расскажите-ка мне, дорогой Тимофей Тимофеевич, всю свою жизнь.

— Всю жизнь?

— Да... Я ведь не пилюли собираюсь вам прописывать. О жизни идет речь.

24

Не знаю, как в тот раз Алексеев рассказал профессору свою историю. Я передам ее по-своему.

Ему шесть лет. С другими ребятишками он играет «на шлаку», где полным-полно разноцветных легких стекловидных осколков,— на шлаковой свалке Луганского чугунолитейного завода. Кто-то подзывает его:

— Беги скорей в больницу! Твоя мать там умирает.

Он запомнил пыльное окошко, к которому прижался, глядя в палату; запомнил мать с запрокинутой на подушке головой, ее неузнаваемое белое лицо.

В тот день его мать умерла от туберкулеза.

Ему двенадцать лет. Он уже учится в фабзавуче, работает четыре часа в день в модельном цехе, точит на станке по дереву. На нем во все времена года солдатская папаха и перешитая солдатская шинель, сапоги на деревянных подошвах с окованными железом каблуками, что собственноручно ему сделал отец, столяр-модельщик.

Мальчик выточил себе на станке шахматы. Отец, чернобородый, суровый человек, увидел дома шахматы, изломал, сжег и пригрозил:

— Убью, если еще увижу. Не смей этим завлекаться. Это все одно что карты.

— А сам ты? Сам играешь в карты.

— Сначала надо иметь профессию. Читай, учись.

На другой день сын читал газету. Отец сказал:

— Ну вот... Этим образовывайся.

В газете был помещен шахматный отдел. Мальчик, не отрываясь, смотрел на маленький оттиск шахматного поля и старался в уме решить задачу-двухходовку. Так он научился играть без доски.

В доме не водилось шахмат, но он знал наизусть учебники теории, разыгрывал по книгам сотни партий.

Он любил давать, дарить.

Появился Декрет о Советском гербе, о Советском флаге. Маленький столяр-модельщик выточил шишечку для своего флага. Она всем понравилась. Кто-то попросил выточить такую же. И в нерабочее время Алексеев стал делать шишечки. Делать и дарить. В предпраздничные дни, когда вывешивались флаги, весь поселок был украшен его шишечками.

Чернобородый властный отец был алкоголиком. И талантом — неразвернувшимся, ожесточившимся. Отец работал в двух местах: днем — на заводе, вечером — в городском театре. Там, в театре, он был столяром, машинистом сцены, электриком, монтажником всех декораций. Дневной заработок он сполна отдавал жене, второй матери Тимофея, а про вечерний говорил:

— Это мое. В этих деньгах с меня спросу нет.

Запивая, он приводил в дом бродяг, странников, «странных людей», как тогда говорилось: по-русски хлебосольно кормил их, подливал и подливал водки и рассуждал с ними о жизни.

В добром настроении говорил сыну:

— Ну, конек, пойдем в театр.

Мальчик влюбился в театр. На сцену он смотрел как очарованный. Не мог спать после представления; лежал с закрытыми глазами, а перед ним, как в наваждении, шел спектакль. По памяти он написал «Майскую ночь», которую видел на сцене. Потом сочинил две или три пьесы.

Было еще нечто чаровавшее его. Огонь, пламя потоков чугуна. Он делал модели для литья и часто наведывался в литейный цех. При выпусках чугуна из вагранки он подходил близко к бегущему, жаркому, сияющему, как вечернее солнце, выбрасывающему тысячи звездочек металлу и завороженно смотрел. Хотелось учиться, что-то создать, что-то большое принести людям. Но чему учиться? Он и сам еще этого не знал.

Вступил в комсомол. Ему поручили работу с пионерами, с детьми. За это он взялся с увлечением. Вот где он мог отдать себя, всю свою одаренную, нерастраченную, стремившуюся неведомо куда натуру! Он, шестнадцати-

летний комсомолец, сразу завоевал любовь и доверие ребят. Самые отчаянные сорванцы становились его друзьями и помощниками; вместе с ними он придумывал развлечения, путешествия, кучу разных необыкновенных дел.

Ему сказали:

— Вы замечательно работаете с пионерами. Это ваш талант. Надо его развить. Хотите поехать учиться в Академию детского воспитания имени Крупской?

Он покраснел. Щеки словно обдало жаром. В воображении возникли тысячи взлетающих звездочек-искр и чуть пахнущий серой дымок от расплавленного бегущего металла.

— Нет,— сказал он,— я хочу... хочу быть инженером.

Шахматный турнир города Луганска. Алексеев уже был известен среди местных шахматистов как сильный игрок. Его пригласили участвовать в турнире. Из двадцати партий он лишь первую сыграл вничью, все остальные выиграл. Еще никто в шахматных турнирах Луганска не выходил на первое место с таким блеском. В городе был некоторый шум: молодой рабочий наголову разбил всех шахматистов.

Упоение победой было таким сильным, что он возмечтал стать знаменитым шахматистом.

Новый турнир на первенство Донбасса. Среди участников — чемпион Луганска Алексеев. Он выигрывает первую, вторую, третью, четвертую партии. Потом поражение. Очень чувствительный, легкоранимый, он не сумел сразу оправиться, как бы сбился с ноги и проиграл еще две или три партии. На финише снова подъем, успех. В итоге Алексеев завоевал третье место.

Там он впервые понял, что шахматы, как и всякое творчество, требуют, чтобы им была отдана вся жизнь. Но стоит ли ему день и ночь думать над шахматами? Хочет ли он только сюда устремить все свои силы, всю одаренность, еще неясную, не разгаданную для него самого, которую он чувствует в себе? Нет, не этому он посвятит жизнь!

И третий призер Вседонецкого турнира рабочий Луганского завода юноша Тимофей Алексеев решает навсегда отказаться от шахмат. С тех пор лишь однажды, уже в институте, опять вспыхнуло это увлечение, но Алексеев

легко справился с ним. Потом никогда больше он не сыграл ни одной партии в официальных турнирах.

Учиться, учиться! Готовиться к экзаменам в вуз!

У Алексеева уже было среднее образование. Он окончил так называемую профтехническую школу, где учеба совмещалась с работой на заводе. Теперь, продолжая работать, поступил на вечерние курсы по подготовке в вуз. Там он увлекся математикой и, хотя этого вовсе не требовали на курсах, перерешал все подряд задачи по учебникам, которые еще и теперь известны школьникам: Рыбкина — по геометрии и тригонометрии, Шапошникова и Вальцева — по алгебре. Он решал их почти с таким же удовольствием, как решал раньше задачки на воображаемой шахматной доске, находя единственные и тонкие ходы.

И вот наконец по решению комитета комсомола ему выдана путевка в политехнический институт в Новочеркасск. На экзаменах он отличился. Его зачислили на факультет, который считался до некоторой степени привилегированным — на механический.

Однако всякий раз, когда Алексеев воображал свою будущую инженерскую жизнь, ему станови лось как-то не по себе, как-то холодновато без жара раскаленного металла, без пламенеющих потоков, которые очаровали его с детства. Он отказался от механического факультета и твердо сказал немного удивленному проректору, что решил стать металлургом.

«...Понимаешь ли ты, почему мы так увлечены техникой? Не только лично мы с тобой, но вся партия, комсомол? Уясняешь ли ты один чисто психологический оттенок, помимо политических причин? Ведь большевики — партия рабочего класса, ведь мы рождены индустрией».

Это несколько позже он написал другу юности, которого называл братом.

Он шел не против волны, а по волне.

Кем стал бы он, этот немного странный, талантливый юноша-мечтатель, этот Тимофей — Открытое сердце, как обращался к нему в письмах друг,— кем стал бы он в прежней России, если бы не произошла социалистическая революция и рабочий класс не взял власть в свои руки?

Он, конечно, разделил бы долю множества сломанных,

потоптанных талантов из народа, повторил бы в новом варианте, и наверно более несчастливом, путь отца.

Новая Россия, Советская страна, стала для Алексеева родиной дважды и трижды, родной матерью, даровавшей ему творческую жизнь.

В институте, в лабораториях, Алексеев просиживал, не замечая времени; стал сверх программы своего курса овладевать английским языком.

Преодолевая застенчивость, Алексеев, лучший студент курса, впервые выступает на общем собрании института, критикует профессора кристаллографии. Этот профессор, надменный и равнодушный, не скрывает пренебрежения ко всему советскому, ко всему, что рождено в России, и верит лишь в заграничную науку.

— Я месяц работал в лаборатории,— говорит с трибуны Алексеев,— и он ни разу ко мне не подошел. Он не зажигает в нас любви к кристаллу!

В аудитории проносится смешок. Секретарь студенческой парторганизации смотрит на Алексеева с досадой: «Не так, не то говорит парень!» Алексеев краснеет, заглядывает в бумажку, где он записал план выступления, и, справившись с минутным замешательством, убежденно продолжает:

— Да, он не любит своего дела, не любит нас и...— от волнения Алексеев чуть заикается,— и даже своей родной страны. Я это докажу по пунктам.

Видно, что у этого немного стесняющегося комсомольца есть доводы, есть мысль. Зал затихает. Несколько сот студентов слушают комсомольца Алексеева.

Решительный разговор с той, кого он любит. Он упрямо произносит:

— Нет!

Она продолжает убеждать:

— Ты знаешь себе цену. Ты сможешь работать в Ленинграде, в Москве, в любом большом городе, на самом прекрасном заводе. Будем там развиваться, расти, ходить в театры. Зачем нам здесь жить в бараке?

— Но ведь мы же с тобой комсомольцы!

Они идут по берегу реки, удаляясь от строительной площадки, где роют и вывозят землю, заливают бетоном

котлованы, закладывают будущий завод. По окончании института они оба посланы сюда.

Она говорит:

— Тогда я уеду одна!

И она уезжает... Уже ее вещи на извозчике, уже одна ее нога ступила на подножку. И вот еще какая-то последняя возможность, последнее слово:

— Тимофей!

Он мигом вскидывает лохматую опущенную голову.

— Тимофей, ты ко мне еще приедешь!

Его глаза, где вспыхнула было надежда, снова печальны, суровы.

— Нет! — говорит он.

Тосковал. Замкнулся. Забывался за книгой. Дал себе слово не раскисать. Решил изучить еще один язык. Устраивал вместе с товарищами металлургическую лабораторию, где ему предстояло работать; бережно втаскивал на плечах аппаратуру в пустое, только что отстроенное здание. Ждал, когда же наконец он увидит, возьмет в руки первую сталь своего завода; мечтал об этом дне.

Это совершилось. У него перехватило дыхание, он не мог разговаривать, когда выпускали первую плавку. Теперь в этом царстве пламени, среди жара и сияния металла он стоял не как очарованный мальчик, а как инженер. Но тоже очарованный.

Отныне помимо работы в лаборатории он оставался каждый день еще на восемь часов, на всю вторую смену, в сталеплавильном цехе, у печей. Через год он уже безошибочно, с лабораторной точностью, определял, вглядевшись в излом стали, ее химический состав. Затем по ходу плавки старался предугадать, предсказать, какова будет проба. И угадывал.

— Я дрожал от нетерпения,— вспоминал Алексеев,— ожидая этих проб, этих изломов.

К нему пришли товарищи.

— Тимофей, нельзя жить так: только завод и книги. Хочешь летать?

— Летать?

— Да. Мы организуем авиационный кружок. Бери его, ребята! Тащи его на вольный воздух!

Так вошло в его жизнь еще одно увлечение: авиация. Он, молодой лаборант-металлург, инженер-комсомолец, с

упоением слушал лекции о воздухоплавании; искусными руками потомственного столяра-модельщика мастерил и запускал авиамодели; заодно с товарищами впрягался и натягивал резиновый амортизатор, который потом, действуя, как тетива, забрасывал в воздух фанерный легкий аппарат. На этом планере впервые в одиночку взлетали участники кружка. Настала и его очередь.

— Ребята, натяните мне покрепче!

И вот он в небе. И растерялся от восторга. Поднялся — и не полетел. Планер клюнул носом — упал.

После Алексеев думал: «Может быть, это символ моей жизни — подняться и не полететь?!»

Нет, он полетел... Стал инженером-творцом, создателем новых марок стали.

Как ни странно, но первой творческой работой Алексеева, который казался таким особенным, таким нестандартным, была борьба за стандарты, за ГОСТы в той области, где доселе они не применялись,— в лабораторных испытаниях.

— Я являюсь автором ГОСТа на удар, ГОСТа на растяжение,— с гордостью говорил Алексеев.

Это случилось так.

Завод плавил специальный металл и частью прокатывал у себя, частью отправлял слитки станам других предприятий. Там технический контроль, производя испытания этой стали, принимал ее без возражений; здесь Алексеев, уже начальник лаборатории, беспощадно браковал ее — сталь своего завода.

— Я испытываю правильней, точней,— упрямо заявлял он.— И берусь где угодно доказать, что мы даем государству не ту сталь, которую должны давать.

— Прошу не мудрить,— раздраженно сказал ему главный инженер,— вы режете завод.

— Режу завод — поднимаю металлургию.

Разногласия так обострились, что последовало вмешательство Государственной комиссии. Алексеев доказал, что каждый завод испытывает металл по-своему, порой ненаучно, примитивно.

Разработанные им стандарты испытаний были приняты в качестве ГОСТов, каких раньше не существовало, и введены по всей стране.

Он стал в двадцать восемь лет начальником технического отдела завода, того отдела, где по долгу службы надобно мечтать, воображать, думать про завтра. Уже ни одна новая сталь завода не создавалась без его участия. Эти годы взлета, творчества — годы стали «ДС», автомобильной и других — были самыми радостными в его жизни.

Неужели же он все-таки упал? Ему теперь тридцать два года, и вот он...

25

И вот он у профессора.

На столе — уже остывший самовар, стакан холодного чая перед Алексеевым. Он заканчивает рассказ:

— Тут, в Сибири, мне понравилось. Я бы здесь остался. Мне не нужен большой город. Только завод, большой завод. Ведь у меня, Иван Александрович, особенная специальность: соединение металловедения, то есть изучения зерна стали, с металлургией, с производством такой стали тысячами тонн. Знаете, о чем я мечтаю? Быть ученым на заводе. Таким был путь, например, Бардина, доменщика-академика.

Алексеев замолкает, ждет.

— Тимофей — Открытое сердце,— произносит профессор.— Друг хорошо вас назвал...

Профессор надевает очки.

— С заводом,— говорит он,— вам придется расстаться.

— Как? Это...— Алексеев не может найти слова.

— Я же не сказал навсегда. Но, по крайней мере, на два-три года. Поселяйтесь где-нибудь среди природы, в лесу или саду. И увлекайтесь там, увлекайтесь чем угодно. Найдите себе дело по душе, отдавайтесь ему, но дышите чистым воздухом, без заводского дыма. Поселяйтесь в лесу, и я дам вам подписку, что через два-три года ваши легкие будут здоровы.

— И тогда я смогу вернуться?

— Если будете только тосковать, не дам подписки. Прожить эти годы тоже творчески, с подъемом, с огоньком, как это свойственно вашей натуре,— вот, Тимофей Тимофеевич, ваша задача. Извольте-ка ее решить. И женитесь, дорогой, смело женитесь! Жена в лес с вами поедет? Ну, конечно же, поедет! Но с Сибирью прощайтесь!

Вы южанин, для вас наши зимы слишком жестоки. Перебирайтесь в теплые края. Ищите там точку, где... Ну, точку опоры... Чего пригорюнились? Говорю вам: будете здоровы!

— И он мне сказал: «Будете здоровы!»

Горят фонари в городе Восточном; над высокими, сейчас почти неразличимыми трубами завода вьются голубые язычки сгорающего газа. Этого не увидишь днем. Алексеев и Наташа идут рядом по неулежавшемуся, раннему снежку.

— Как хорошо! — говорит Наташа.— Как хорошо мы будем жить! Ты рад?

Он не отвечает. Долго идут молча.

— Тимок, почему же ты такой?

— Какой?

— Унылый. А кто мне когда-то написал? — Она несколько по-ученически выговаривает английскую фразу, означающую в переводе: «Стоит ли когда-нибудь унывать?»

Они уже не раз вспоминали свою давнюю первую встречу, шутливую записку Алексеева на английском языке. Алексеев и теперь чуть улыбается воспоминанию. Вздохнув, он повторяет за Наташей:

— Да. Стоит ли когда-нибудь унывать?

— Теперь у тебя есть цель: вернуться на завод. Мы, Тимок, поборемся и победим! Скоро я уже буду врачом и найду работу в любом месте, которое ты выберешь. Обещай мне, что ты сделаешь так, как велел профессор. Обещаешь?

Алексеев грустно смотрит на голубое пламя, трепещущее в ночном небе.

— Обещаю,— говорит он.

Он уезжает... Между ним и Наташей все ясно, все решено; они почти не говорят в последние минуты перед отправлением поезда. Шофер Гуц внес в вагон его чемодан.

Провожать приехал и Локшин. Директору до сих пор все еще не верилось, что завод останется без Алексеева. Вернется ли он когда-нибудь в металлургию? Локшин бодро говорит:

— Ну, лесник, садись! Кати на юг. И я, наверно, скоро буду там. Нарком так дал понять. Набирай здоровья, Тимофеич, и являйся потом к нам, туда. Будем тебя ждать. Еще покатаем с тобой листик! Ну, теперь поворачивайся к невесте. Не буду вам мешать! Давай руку, лесник!

Алексеев смотрит в окно. Медленно проплывает запорошенный снегом город заводов, выросший в годы войны среди сибирской равнины.

26

Приметы давно прокатившегося фронта. Шапка снега наросла на опрокинутом в канаву длинном немецком грузовике. Почти смыта дождями надпись на прорезанной трещинами штукатурке взорванного дома у дороги: «Вперед, на запад!»

Локшин и Гуц выходят из машины. Это тот самый пригорок, откуда три года назад они последний раз смотрели на оставленный завод; теперь отсюда же можно окинуть его первым взглядом.

Но завода нет... Нет ни одной трубы. Бесформенные черные нагромождения видны там, где стояли цехи-дворцы листопроката. Среди сплошных развалин, среди словно раздавленных цехов высится лишь накренившаяся, как падающая башня, одна доменная печь. Другие домны брошены наземь.

Директор и шофер переглядываются и, ничего не сказав, садятся в машину.

По дороге, проложенной у взорванных цехов, идет красноармеец. На поясе у него два убитых зайца.

Машина Локшина снова останавливается. Он удивлен.

— Где, друг, подстрелил?

— А здесь их сколько угодно.— Красноармеец показывает вокруг на мрачные завалы среди нетронутого снега и добавляет: — Вот, гады, что наделали!

Дорогу пересекает заводской железнодорожный путь. Немцы подорвали каждый рельс. Ногой Локшин слегка расчищает дальше нить рельсов. Да, каждый рельс, каждый рельс перебит взрывчаткой.

Железные колонны зданий вырваны и повалены как будто бурей. Нет, то не буря. Подножие каждой переломанной взрывом колонны помечено стрелкой, указывающей вниз, и буквой «F», с немецкой аккуратностью обведенной голубым кружком,— первой буквой слова «Feuer» — «огонь». Здесь были точки взрывов.

Где-то за этими подавляющими душу разрушениями слышится стук топоров. Оставив машину, Локшин по пешеходной тропке направляется туда.

Тут, в центре завода, где когда-то повсюду, во всех сооружениях, главенствовал металл, плотники ладят деревянный домик.

Локшин спрашивает:

— Где здесь контора?

— А вот мастерим, мил человек...

Кто-то в развязанной ушанке уселся на коньке крыши и, свесившись, опускает шнурок с гирькой. Снизу кричат:

— Хорош! Хватит, Тимофеич!

Локшин вскидывает голову. Да, на коньке крыши Алексеев. Одно ухо шапки у него, как в былые времена, лихо задралось.

— Тимофеич, черт! — кричит Локшин и впервые здесь, на разрушенном заводе, улыбается.— Ты как здесь? Слезай!

Через минуту Алексеев стоит перед директором.

— Как ты здесь, лесник? — опять спрашивает Локшин.— Ведь мы тебя провожали в лес!

— А здесь тоже...— смущенно объясняет Алексеев,— тоже вроде леса... Даже и лисицы есть.

— Но тебя как занесло?

— Заглянул на один день. И вот...— Алексеев разводит руками, потом находит еще один довод в оправдание.— Воздух очень чистый.

27

Вот мои дальнейшие записи, сделанные со слов Алексеева.

Я ехал в Киевскую область, в сосновые леса, но поезд проходил как раз мимо той станции, близ которой находился наш завод. Было около одиннадцати часов ночи.

Я вышел посмотреть вокруг. В Сибири уже три недели назад лег снег, а здесь накрапывал дождь. Подставил под дождь руку — теплый. Кругом тихо и темным-темно. Когда-то небо по ночам здесь было розоватым. Присмотришься к отсветам и видишь: повезли слитки из мартена; выпускают шлак, бегут змейки листа. А теперь — ни огонька, ни искорки. И пахнет степью, травой. Сильно потянуло хотя бы взглянуть на прощание еще раз на эти места, увидеть, что сталось с заводом. Вбежал в вагон и быстро собрал вещи. Себе я говорил: «Один денек! Один денек побуду здесь, а завтрашним поездом поеду дальше».

Весь день ходил среди развалин. Сначала по городу. Он строился вместе с заводом. Красивый, чудесный город. Дома светлые, большие. Вы можете сейчас уже судить. Восстанавливаются быстро. А тогда — ни души. Почему-то поразило, что ни разу нигде не залаяла собака. Мертвый город. На улице Ленина остался невредимым только один дом. Всюду торчат обломки стен. Прошел мимо сквера. Фонтан. Когда-то здесь была скульптура: резвящиеся дети, пионеры. Теперь — изуродованные фигурки, без голов, без рук...

Прошел дальше. Набрел на заводский гараж. Слышу голоса. Ремонтируют, стучат. Несколько трофейных грузовиков пускают в дело. Стою, жадно всматриваюсь в каждого рабочего. Нашлись знакомые.

— Тимофей Тимофеевич, с приездом!

Обступили, рады, что приехал. Сзади шепот:

— Кто это?

— Начальник технического отдела. Металлург.

— Ого, металлурги собираются!..

Не мог сказать, что сегодня отсюда уеду.

Подвезли на завод. Захотелось побродить одному. Завалы, завалы... Трудно было вспомнить, какие строения когда-то находились здесь. Ориентировался по единственной не рухнувшей доменной печи, вспоминал генеральный план завода. Внутрь поваленных цехов нельзя было пролезть. Сплошь груды исковерканного металла, бетона, кирпича...

Постепенно стал понимать систему разрушений. Гитлеровцы это делали не в спешке. Они подрывали лишь определенные ряды колонн, чтобы другие обрушились сами.

Стены вместе с крышей валились внутрь здания, все погребая под собой. Жуткое искусство. Жуткая расчетливость и злоба.

Думалось: «Сколько понадобится времени, чтобы все это разобрать? Можно ли это восстановить?» А кругом пустынно, никого не видно у завалов.

В моем любимом мартеновском цехе все печи раздавлены упавшими верхними конструкциями. Но крыша не завалилась. Она лишь одним углом уперлась в землю, а с противоположной стороны удержалась на нескольких согнутых колоннах и висела над завалом. Листы волнистого железа шевелились, раскачивались от ветра и скрежетали, стонали. Этот скрежет раздирал душу. Постоишь несколько минут, посмотришь и идешь дальше.

Над развалинами летали ястребы, коршуны, копчики; где-то здесь они свили свои гнезда. Потом я узнал, что в подземных коммуникациях завода развелось много зверья.

Перед войной мы высадили на заводе сотни тонких саженцев, теперь они стали неузнаваемо рослыми деревьями. Во многих местах поднялся кустарник. Это сделали годы. Здесь никто не плавил металла с тех пор, как мы ушли.

На крыше мартеновского цеха, в том углу, где она склонилась к земле, я увидел странную картину: из водосточного желоба выглядывали живые кустики тополя и вербы. Годами здесь слеживалась пыль, ветер занес семена, и они дали ростки на железной крыше, на пятнадцатиметровой высоте. Ростки удержались даже при взрыве, когда осела крыша.

Я шел по этому кладбищу дальше и дальше.

Маленькая ячейка восстановления уже существовала. Сюда были присланы из разных мест несколько старых работников завода. Встречи, расспросы, рассказы. Припоминаем, где теперь наши инженеры и рабочие, разбросанные по всей стране. Кто-то принес две папки, несколько сот писем на имя завода. Я бросился читать их, словно письма родных. Спрашиваю:

— Всем ответили?

— Стыдно сказать, Тимофей Тимофеевич, никому. Руки не доходят.

Возмутился. Взял папки, несколько дней провел над ними. Письма отовсюду, куда война занесла наших людей: из Магнитогорска, с небольших уральских заводов, даже с Дальнего Востока. И больше всего с фронта. Все спрашивали: как дела на заводе, сильно ли разрушен, когда начнет работать?

Я ответил на все письма, и прежде всего фронтовикам. Описал разрушения. «Нашего завода нет. Немцы уничтожили все. Бейте их, чтобы больше никогда не повторилось такого».

Потом написал ответы всем другим, кто спрашивал о судьбе завода. Никому из товарищей так и не сказал, что намеревался отсюда ехать дальше.

Старался больше бывать на свежем воздухе. Вспомнил специальность столяра-модельщика; строил с плотниками первый барак для конторы.

Приехал Локшин. Привез решение правительства о восстановлении завода, о пуске первой очереди через два года. Мне он сказал:

— Теперь мечтай! И клади мне на письменный стол свои мечты.

Мечтай! Да, я соберу сотни мечтаний! Сажусь снова за письма. Пишу прокатчикам, доменщикам, сталеварам! «Товарищи, начинаем восстанавливать завод. Не теряйте времени. Присылайте мне все свои мысли, все пожелания о том, как изменить конструкции станов и печей, чтобы они были еще лучше, чем раньше. Я вам обещаю внести это в проект: мечту горнового, мечту электрика, водоснабженца, лаборанта, начальника цеха».

В ответ — новые сотни писем.

28

Рассказ Наташи.

Он уехал. Письма с дороги. Иногда три-четыре письма в день. Он писал: «Пока ты со мной, хотя и далеко от меня, я верю, что поправлюсь. С твоим именем буду жить и бороться за жизнь».

И потом вдруг молчание. Непонятное долгое молчание. Я извелась. Что с ним? Несчастье? Или разлюбил? Нет, он не мог бы так оборвать.

Наконец странное короткое письмо: «Наташа, прости меня! Я остался на заводе. Что будет со здоровьем, не знаю. Может быть, я здесь все-таки поправлюсь, а может быть, и нет». Дальше он писал, что теперь, не уверенный в здоровье, он не имеет права связывать мою жизнь со своей. А в письме перед словом «прощай» все-таки были два слова, которых я искала: «Люблю тебя». Он никогда не написал бы неправды.

Как он там живет? Ведь там все разрушено. Мы, в Восточном, уже об этом знали. Он и здесь-то забывал обедать. А там? Где он питается, где спит? Ходит по слякоти. Весь день, наверно, в мокрых сапогах. Топить нечем. Кашляет. Конечно, кашляет.

Анна Петровна отказалась от меня.

— Он сумасшедший, и ты такая же... Ты губишь свою жизнь!

Ее слова не задевали меня. Я с ней даже не спорила. Она крикнула:

— Делай как хочешь! Я тебе не буду помогать.

Поехала, добралась, отыскала его.

Он вскочил, покраснел, когда я вошла. Вижу — смутился, рад. Как же он тут жил? Дом наполовину разрушен. На штукатурке трещина от потолка до пола. Вместо стола — ящик. Холодная железная печка. И книги, книги, чертежи. Книги на кровати, на полу.

— Наташенька, ты? Зачем ты?

Он засуетился, схватил с печурки чайник, черный, закопченный.

— Наташенька, как ты изменилась!

— Изменилась?

— Да. Вошла такая... мужественная, что ли... энергичная. А мне ты рисовалась слабой.

— Нет, я не слабая, Тимок.

Подошла к нему. Позабыв чайник, он куда-то кинулся из комнаты. Вскоре вернулся с дровами. Вернулся другим, потемневшим. Занялся печкой.

— Тимофей!

Не смотрит.

— Тимофей, как твое здоровье?

— Хорошо.

Молчим. Потом повернулся ко мне:

— Нет, Наташенька, не хорошо.

— Тимок, я тебя поправлю! Я совсем к тебе.

— Нет, Наташа, не надо.

Он стал со мной говорить мягко, добро... Как старший брат, как друг.

— Кроме чувства, человеку дана мысль и совесть... Я, может быть, не выздоровею, семьи не вытащу, а тебе сломаю жизнь. Ты никогда меня не упрекнешь, но я буду знать, что ты несчастна. Наташенька, а вдруг любовь пройдет?

— У меня не пройдет, Тимок.

— Откуда ты можешь знать? Ты себя проверила? Поддалась порыву, а потом раскаиваться будешь... Ты только начинаешь жить. Ты еще полюбишь, Наташа. Еще убедишься, как я сейчас прав.

Он проводил меня, устроил в общежитии. Я шла рядом с ним, думала, как он не прав. Просит проверить себя — что ж, проверю...

Уехала в областной город, в институт, где училась раньше. Оформилась, занимаюсь, сдаю зачеты, заканчиваю последний курс. И тоскую, борюсь с тоской.

Этот город тоже разрушен. С жильем очень трудно. Сплю на столе. Топлива не хватает. Мерзнем дома, мерзнем в институте. Ничего... Я все, Тимок, преодолею. Сдаю все зачеты на пятерки. Увлекаюсь наукой, практикой в госпитале, мечтаю о хирургии. И тоскую, все-таки тоскую.

Сижу в аудитории после зачета. Только что получила пятерку. Студент-однокурсник спрашивает:

— Наташа, почему вы такая грустная?

Уже не первый раз он подходит ко мне с добрым словом. Вижу — славный, хороший. Он мне нравится. Стала с ним дружить. Не получается. Идем вечером по саду, я задумаюсь — и вижу Тимофея. Да и некогда гулять по саду. Идут последние зачеты, впереди выпускные экзамены.

Хочу, очень хочу быть врачом. Делать операции — четко, искусно, чтобы человек не потерял ни одной лишней кровинки. Спасать жизни.

И тебя, Тимок, поправлю! Слабая? Нет, я не слабая, Тимок!

Снова стучу в его дверь. Не отвечает. Еще раз стучу. Ключ торчит в замке, а ответа нет.

Вхожу. Он лежит в кровати, небритый, посеревший. Взгляд тусклый, больной. Комната все так же не прибрана. Хорошо, что хоть окно настежь раскрыто. Но стекла, кажется, с зимы не мыты.

Узнал меня. Опять, как тогда, вспыхнул.

— Наташенька, прости, я сейчас... Выйди на минутку. Я сейчас встану.

— Об этом, Тимофей Тимофеевич, пусть раньше скажет свое слово врач.

Протянула ему свой диплом.

— Извольте, Тимофей Тимофеевич, прочитать!

Он взял, взглянул.

— Наташенька, ты уже врач?! Какой ты молодец! Поздравляю тебя... И ты уже...

Сказал и запнулся. Я повторила его тоном:

— «И ты... уже...» Что, Тимофей Тимофеевич?

— Устроила свою судьбу?

— Устроила. И больше не желаю слышать твоего хныканья: «Не вытащу семьи». Теперь у меня есть профессия и работа. Я теперь, Тимок, надежный человек. Проверенный. Мой диплом ты получил. Это во-первых. А во-вторых, принимай этот чемоданчик. В нем, Тимок, все мое приданое.

— Наташенька, но... но...

Заикается, волнуется. Снова это его «но»...

Посмотрели друг на друга. Оба засмеялись.

— Разрешаю... Вставай!

И поженились. Я стала работать в хирургическом отделении больницы Заводстроя и выхаживала, поправляла Тимофея. Собственно говоря, для выздоровления были все условия, все, о чем говорил ему профессор: чистый воздух, увлекательная работа и уход. И еще дружба. Весело было дома, тепло. Я боролась за режим. Обтирания утром и

вечером. Прогулка. На работу обязательно пешком по зеленой аллее. Только в дождь едем автобусом. Завтрак, обед — какой никакой, время нелегкое, а приготовлен вкусно. Теплое молоко. Старалась, чтобы с маслом. И мало-помалу стали исчезать кашель, температура. Тимофей загорел, поздоровел, стал таким, каким вы его увидели.

Тимофей много работал. Говорил так:

— Восстанавливать, но не копировать. Жить технологией прошлого стыдно, преступно!

Ловил искорки, как он это называл. Искал, вызывал у людей творческие мысли. Организовал бюро рабочего изобретательства. Всегда около него люди с такой искоркой. Любят его. Делился со мной:

— Хочется, Наташа, чтобы каждый рабочий чувствовал себя хозяином завода.

Иногда нервничал. Говорил про одного начальника стройки:

— Нет у него мысли, размаха... Самовлюблен, ограничен. Буду выступать против него на партсобрании.

— Тимок, надо ли это тебе?

— Иначе нельзя. Провалит дело. Не может, пусть уйдет с дороги.

А другой строитель его восхищал.

— Умный, живой, остро переживает, быстро реагирует... А главное, Наташа, это идейный человек.

Вот еще его слова:

— Для меня сначала совесть, партия, завод, а уже потом, Наташа, семья.

Да, таким я его полюбила. Такой он и сейчас.

29

Мы стоим в самом центре завода, где к торжественному дню, к пуску листового стана, устраивается сквер. Ветер треплет волосы Алексеева, выбивающиеся из-под нахлобученной гороховой кепки.

— Теперь от нас ждут автомобильного листа,— говорит он.— Так ждут, как когда-то ждали марку «Г».

Перед нами площадка, где всюду видны люди за работой, где уже плавит чугун первая домна, где высятся в

разных местах четкие, словно чертежи, конструкции заводских строений.

Под горячим летним солнцем поблескивает стена восстановленного цеха: строители опять любовно подбавили в облицовочную мраморную крошку антрацитовой мелочи и темного толченого стекла. Здесь же, у этой воздвигнутой заново стены, разбирают и вывозят остатки завала. Струей невидимого отсюда огня автогенщики разрезают на части изуродованные, скрученные в три погибели балки; рабочие подъемных кранов захватывают петлями тросов эти отрезки; трос напрягается, вытаскивает, поднимает железину из груды.

По асфальту проносятся грузовик за грузовиком с железным ломом. А на расчищенную землю тотчас сваливают с машин чернозем; его разравнивают женщины; возникает еще нечеткий рисунок дорожек и клумб; подходит грузовик с цветами.

Распахнуты все ворота пускового цеха. Там уже покрыты серебристо-алюминиевой краской колонны, балки, галереи, будки оператора. На этом фоне кажется темным блеск обточенной стали в механизмах проката. У ворот и даже внутри цеха среди геометрически строгих очертаний металла горят, словно в лагере, костры. Это подростки-ремесленники мостят торцовый пол, обмакивая в кипящую смолу деревянные шестиугольные шашки, всюду насыпанные там кучками.

Площадка залита солнцем; все живет. Но еще мрачнеют развалины мартена, и над далекой трубой коксового цеха, самой высокой на заводе, вьется красный флаг. Верится, когда-нибудь великий художник, избравший своей темой эпоху войн и революций, еще изобразит эту картину: обломки и цветы, могучие механизмы и костры, прекрасный мир борьбы — площадку восстановления 1947 года.

Стан решили пускать в тиши, глубокой ночью, чтобы не собралось слишком много народу. Но люди, которые возродили из развалин, из железного бурелома этот цех, с вечера стояли в пролетах и не хотели уходить, ожидая первого листа.

Лишь сверху, из будки оператора и с железной галереи, можно увидеть от края до края этот цех, протянув-

шийся на полкилометра. Над линией проката горят в два ряда тысячесвечные лампы, но даль ровного помоста, куда побегут ленты металла, кажется туманной. Оттуда светится фиолетовый кружок, сигнальный огонь, обозначающий, что путь листу открыт. Директор завода Локшин сказал мне в этот вечер, глядя туда, в неясную даль цеха, заканчивающуюся повисшей в высоте фиолетовой точкой: «Это как океанский пароход». Я ощутил в ту минуту, что он тоже романтик.

Сверху я вижу: Локшин в темной кепке, в очках, в будничном парусиновом костюме стоит на площадке нагревательных печей, прислонясь спиной к железной ограде. Ровно шесть лет назад, когда немцы прорвались сюда и по заводским крышам, по скатам волнистого железа загремела шрапнель, он сказал начальникам цехов: «Товарищи, я уйду последним». Сейчас, вольно опершись на поручень площадки и, казалось бы, ни во что не вмешиваясь, Локшин снова ведет свой корабль.

Среди собравшихся я отыскиваю глазами тех, с кем познакомился здесь: вижу Люлько, черноволосого, словно цыган, знаменитого монтажника, который изобрел так называемую «телескопическую стойку», изобрел способ поднимать и расправлять без демонтажа рухнувшие смятые железные каркасы зданий; вижу инженера Стукова, который выпрямил накренившуюся доменную печь, для этого разрезав ее надвое; вижу Смирнова, заместителя парторга стройки, кто с увлечением рассказывал мне о героях площадки. А вон и приметная кепка того, кому на этих страницах дано имя Алексеева.

Вдруг гул разговоров обрывается. У нагревательных печей все озаряется красноватым светом. Из приоткрытой заслонки мягко падает на массивные стальные ролики разогретая почти добела пластина металла. Оператор повернул рукоятку — и тотчас тронулась, поехала по завертевшимся роликам раскаленная сталь. Механизмы стана обжимают, растягивают ее, она бежит все быстрей и быстрей, превращаясь в тонкий стальной лист. На простор железного помоста выносится темно-малиновая лента. Тишина. Лишь мощно и ровно, как море, как отдаленный водопад, шумят механизмы. Вылетают последние метры полосы, вот мелькнул ее хвост и... И мерный шум машин вдруг заглушается аплодисментами. Никто не держал ре-

чи, никто не выкрикнул горячих слов, но волнение и радость прорвались в рукоплесканиях. А по железному помосту уже мчится новая лента: стан пошел.

Я опять нахожу в толпе кепку Алексеева. Он аплодирует вместе со всеми. Рядом, на уровне его плеча, виден профиль Наташи. Она тоже хлопает, смеется, смотрит на проносящуюся мимо жаркую сталь и все-таки на миг искоса взглядывает на своего Тимофея.

На этом я прощаюсь со своим героем. Такой отличительный, порою нелепый, смешной, он все-таки, как я убежден, в чем-то самом главном характерен для поколения.

До свидания, Тимофей — Открытое сердце!

1947.

НОВЫЙ ПРОФИЛЬ

1

Из машинописного бюро принесли удостоверение. В нем говорилось, что инженер Андрей Михайлович Шумейко, старший калибровщик завода «Югосталь», командирован на строительство Гидроузла и уполномочен выяснить на месте все вопросы, связанные с качеством нового профиля, изготовленного по заказу стройки.

Главный инженер Казаринов прочел бумагу, вставил чернилами после слов «нового профиля» три буквы ШКО (что означало «шпунт корытообразный, опытный») и подписал.

— Когда думаете выехать?

— Как выехать? Вылететь!

— В такую-то погодку? Нет, пожалуй, самолетом вы туда не попадете...

Не отвечая, Шумейко поднимается и подходит к окну. Он, конечно, знает, что на дворе слякоть, но сейчас хочет с новой точки зрения расценить погоду. В подернутых рябью больших и малых лужах дрожат, поблескивают отражения фонарей, освещающих территорию завода. Резкий весенний ветер рвет, прижимает к земле светлые и черные дымы, а также языки огня, вымахивающие из заводских труб. Несутся облака — низкие, рваные, чуть не задевающие за верхушки домен. Впрочем, не разберешь,— может быть, это тоже дым. В непроглядном небе ни одной звезды.

Однако Шумейко говорит:

— Ерунда. Погода как погода.

И берет телефонную трубку. Казаринов прислушивается.

— Как нелетная? Где туман? Вот ерунда...

Есть люди, по виду которых трудно судить об их переживаниях. Таким был и Шумейко, металлург-прокатчик,

старший калибровщик огромного южного завода. Всегда казалось, что он вот-вот отпустит шутку,— так насмешливо, юмористически оттопыривалась его нижняя губа. В затруднительных случаях он молчал, пыхтел, но губа оставалась все такой же.

Казаринов знал его манеру, понимал сейчас его состояние. Главный инженер тоже был прокатчиком по специальности, прошел школу Кузнецкого завода, поработал в свое время и оператором на рельсовом стане, и начальником смены, и механиком рельсо-балочного цеха. Там же, в том же великолепно оборудованном цехе Кузнецкого завода, он провел два или три года в калибровочном бюро и знал вдоль и поперек крупносортную прокатку.

Сдержанный, немногословный, он порой учил Шумейку упорству, целеустремленности, твердости характера. «Надо помнить,— говорил он,— что ни один новый профиль никогда легко не удавался. Надо приготовиться к тому, что пройдет и день, и два, и восемь, и шестнадцать, а металл не будет слушаться, не пойдет в ваши калибры. И вера пошатнется. Проще всего отступить, бросить это дело. Но надобно упорствовать».

2

Да, пришлось поупорствовать, чтобы прокатать стальную шпунтовую сваю — новый профиль металла, новый не только для «Югостали», но для других наших заводов.

В строительном деле издавна пользовались деревянным шпунтом. Здесь уместно кратко пояснить значение слова «шпунт». В «Толковом словаре» Владимира Даля введено выражение «паженые сваи» — от слова «паз». Вряд ли можно считать удачным это где-то найденное местное речение. Зато само толкование слова блещет, поражает, как всегда у Даля, свежестью и точностью. В словаре значится: «Шпунтовые сваи, паженые, где каждая входит продольным гребнем своим в паз другой, и все составляют одну плотную связь, и при хорошей работе даже не пропускают воды».

В ином, составленном в наши дни словаре употреблено при объяснении слова «шпунт» чудесное меткое

выражение «сплотка» — «сплотка с пазом соседней доски».

Вот такой профиль, еще неведомый прокатчикам, такие полосы стали, которые могли бы составить единую стенку или сплотку металла, завод взялся изготовить для одной из строящихся крупнейших гидроэлектростанций.

Конфигурация шпунта была разработана совместно московским научно-исследовательским институтом и калибровочным бюро завода. Первую наметку, принятую в дальнейшем за основу, дал Шумейко. Затем он же, Шумейко, занялся калибровкой. Подготовка к горячему опробованию взяла несколько месяцев. Наконец работа над шпунтом была перенесена из бюро в цех. В борьбу за новый профиль включились мастера и рабочие-прокатчики... Да, пришлось поупорствовать не одному Шумейке. И профиль был освоен. Торжественно отправили первую партию ШКО. По заводским путям прошли груженые платформы с надписями — приветами от металлургов «Югостали» тем, кто возводит плотину на великой русской реке. И вот...

Вот на столе Казаринова телеграмма от управления Гидростроя, сообщающая, что профиль оказался непригодным. Правда, такого утверждения в телеграмме не содержалось, но, как ни вертел ее Шумейко, сколько раз ни перечитывал, сомнений не было: никакими усилиями строителям не удавалось забить шпунтовый ряд, шпунтины заклинивались, не шли. Но почему?

Конечно, это можно выяснить, понять только на месте. Надобно немедля ехать. Но как? Самолета не будет! Пассажирский поезд, как выяснилось, уже ушел. Следующий — через сутки.

Казаринова не обманывает независимый вид Шумейко, не обманывает даже тогда, когда старший калибровщик пытается пошутить:

— Остается одно — двинуть товарным. Со шпунтом.

— Знаете, что остается? — откликается Казаринов.— Осуществить вашу давнюю мечту. Звоните на пристань.

Как-то этой весной Шумейко сказал Казаринову: «Вот бы проехаться по реке, взглянуть на нее, новую. Не узнаешь, пожалуй».

Поговорив с диспетчером пароходства, Шумейко вызывает лабораторию сталеплавильного цеха:

— Пожалуйста, товарища Шумейко. Нину Николаевну Шумейко... Нина, это я... Дело вот в чем... Прежде всего темпы! Можешь ли ты быстро добраться домой и сложить мой чемодан?

— Ты уезжаешь? Куда? — слышится в мембране.

— На Гидрострой. Сегодня! Пароходом. Понимаешь, поезда надо ждать, затем пересадка, потом...

— Что-нибудь случилось с новым профилем? — перебивает Нина Шумейко. Кого-кого, но ее не обманет деланно бодрый тон мужа. Тот не отвечает, телефон доносит лишь знакомое посапывание.— Ладно, Андрей... Бегу домой.

После краткого напутствия главный инженер говорит:

— А не вызвать ли нам на завод Василия Павловича? Попросим Москву, чтобы его к нам командировали. Обстоятельства такие, что... Посоветуемся со стариком. Что вы об этом думаете?

— Я? Да... Конечно, нужно вызвать.

3

Перед отъездом Шумейко заглянул в свой служебный кабинет. Впрочем, эту комнату, где старшему калибровщику принадлежал большой покатый чертежный стол, никто не называл кабинетом. На подоконниках лежали образцы разных профилей, деревянные, слегка обгоревшие формы, опытные отливки из свинца. Здесь же можно было увидеть и отрезки ШКО. Паз, или замок, расположенный вдоль обеих кромок полосы, напоминал в поперечном сечении приоткрытые клещи или несколько разжатый кулак. Входя одна в другую, шпунтины как бы смыкались, сцеплялись меж собой этими клещами. Нелегкая задача! Бывали дни, когда даже Шумейке казалось, что в грубых массивных механизмах прокатки немыслимо получить такой сложный фасонный замок. И все-таки он был получен!

Прибирая свой стол, свое привычное рабочее место, Шумейко невольно поворачивает в руках, разглядывает отрезок, или так называемый темплет шпунта. Резкие частые удары металла о металл доносятся из соседней комнаты. Там идет непрестанная работа над новыми калибрами валков. Слесари-шаблонщики, почти сплошь мо-

лодежь, вырезают из листовой стали с точностью до десятых долей миллиметра те самые фигуры последовательных превращений полосы в готовый сорт, те самые калибры, которые Шумейко умел вообразить, впервые создать на чертеже.

Однако умел ли? «Не вызвать ли на завод Василия Павловича?» — только что сказал главный инженер. И Шумейко ответил: «Да... Конечно, нужно вызвать».

Всего шесть или семь месяцев назад этот покатый стол, на который сейчас смотрит Шумейко, был столом Василия Павловича. Весь этот небольшой, выкрашенный в розовый цвет домик, приютившийся возле рельсо-балочного цеха, домик, в котором разместились калибровочное бюро и мастерская шаблонов, звался тогда «будкой Василия Павловича». Шумейке нравились такие словечки, прозвания. Он любил подмечать своеобразные характерные выражения, живую заводскую речь. Сейчас он подумал, что вот будкой Шумейки» еще никто эти комнаты не окрестил. Во всяком случае, самому Шумейке ни разу не довелось слышать таких слов. И вдруг это кольнуло его. И снова мысли вернулись к шпунту. Какую же ошибку, какой же промах он допустил, создавая новый профиль? И нет Василия Павловича. Нет возможности его спросить...

Василий Павлович всегда сидел вот здесь, на этом стуле. Возле, на подоконнике, обычно лежала голубая коробка сигарет. Он вынимал свой старый прокуренный мундштук, разламывал длинную сигарету надвое, с удовольствием закуривал и, посматривая то на Шумейко, то на расплывающиеся клубы дыма, размышлял вслух, размышлял всегда о калибровке. Он, Василий Павлович Колесников, принадлежал к тем редким людям, которых называют кудесниками и чародеями металла. Вернувшись после войны с Урала на родной юг, на восстановленный из развалин завод «Югосталь», Василий Павлович служил тут старшим калибровщиком. В помощники он взял Шумейко. Оставшись вечным холостяком, Василий Павлович отдал, казалось, всю свою нежность металлу. На завод, на свою ежедневную службу, он всегда являлся будто на свидание: морщинистые щеки были выбриты, седые, чуть-чуть с чернью волосы причесаны на прямой пробор. Очень скромный, стесняющийся высказывать свое мнение по вопросам, в которых считал себя недостаточно сведущим, Колесников с удивительной проникновенностью и

теплотой рассуждал о металле. Шумейко любил его слушать.

Василий Павлович имел обыкновение говорить про металл — он: «Он упрямый. Он не хочет течь в калибрах так, как это нужно нам. Он течет сам по себе. Это течение нужно угадать. Уловить его желание. И так направить, так оградить это течение, чтобы попасть в тон собственному его желанию. Ваша фантазия, ваше воображение работает над этим. Это художество, искусство. Вы, калибровщик, постигаете душу металла». Шумейко, шутя, отвечал: «Это, Василий Павлович, идеализм. Приходите-ка к нам на кружок по философии. Мы там малость пощипаем ваши теории». Василий Павлович смущался: «Ну, если я не совсем так выразился...» — «Нет, Василий Павлович, вы выразились очень хорошо. Выразились поэтически. Ведь не верите же вы всерьез в душу металла...» — «Как сказать... Я верю в то, что он самостоятельный. И не легко поддающийся. Не всякая узда по нем приходится. Нужен долгий опыт, и привязанность к нему, и способность видеть в мечтах его течение, чтобы направить его так, как этого хочет человек».— «И еще, Василий Павлович, нужно горячее желание, нужен энтузиазм!» — «Это уже по вашей части. Тут вас нечему учить».

Быстро перебирая чертежи, Шумейко сейчас словно видел легкую, несколько смущенную улыбку Василия Павловича, видел мундштук с дымящейся короткой сигаретой в его старческих, желтоватых от никотина пальцах.

Конечно, завод никогда не расстался бы с Колесниковым, но его все же отвоевал научно-исследовательский институт черных металлов. Василий Павлович был полгода назад переведен туда. Что говорить, это талант необыкновенный!

И этот самый человек избрал Шумейко своим помощником, учеником. Но есть ли в нем, Андрее Шумейке, жилка истинного калибровщика? Такого, который наделен чудесным даром понимать и чувствовать то, что Василий Павлович называл «душой металла»?

Колесников оставил Шумейко здесь вместо себя, доверил ему свое дело. За это время Шумейко улучшил ручьи для швеллера «24», что удешевило этот сорт; далее, по чертежам Шумейки цех выпустил новую мощную балку для крупнопанельного строительства; затем с необычайным увлечением, с энтузиазмом, которому, как выразился Ва-

силий Павлович, его нечего было учить, порой ночами напролет предаваясь грезам калибровщика, видя в воображении протекающий меж валков металл, он занялся шпунтом, новым профилем для гидростанций.

Шумейко знал, что тонкую, сложную фигуру замка, напоминающую приоткрытые клещи, почти невозможно или, во всяком случае, очень трудно прокатать; знал, что сходные профили ранее не удавались, но именно это теперь вдохновляло его. Все югосталевцы-прокатчики разделяли такое стремление. На этом, собственно говоря, Шумейко и основывался в своих замыслах и расчетах.

Его помощники были не только те, кто трудился вместе с ним в небольшом домике, в бывшей «будке Василия Павловича», но и многие рабочие и инженеры рельсо-балочного цеха. Сколько усилий потребовал новый профиль! Почему же, почему же он не годен?

4

Шумейко был не из тех, кто легко обнаруживает душевную тревогу. Он спокойно попрощался со своим заместителем, с товарищами — работниками вечерней смены, пошутил с шаблонщиками, которые выскочили на крыльцо, на воздух, провожать своего начальника.

Покинув «будку Василия Павловича», Шумейко направился в ворота рельсо-балочного цеха. Уходя из своего бюро, он всегда избирал этот путь — вдоль линии прокатки.

Невысокий, широкоплечий, в сером плаще, в потрепанной кепке, сдвинутой на коротко стриженный затылок, старший калибровщик шел, будто никуда не торопясь, по узкому проходу, а рядом за железными перильцами, то навстречу Шумейке, то в обратном направлении, легко перегоняя его, неслись раскаленные светящиеся полосы, обдавая лицо жаром. В отдаленном конце цеха, за спиной Шумейки, то и дело взвывала круглая пила, рассекающая на равные отрезки выданную из чистового калибра полосу. Скрежет пилы, вгрызающейся в горячую, еще багровеющую сталь, сопровождался всякий раз фонтаном искр, взлетающих под самую крышу.

Цех издавна катал этот профиль — трубную заготовку, кругляк. Полоса проходила обычные калибры — квадрат,

ступеньку, ребро, овал, круг, и все же сегодня было как будто что-то новое, что-то особенное в равномерном скольжении раскаленных заготовок. Да, сегодня кругляк задавался в валки на новых скоростях. Одна за другой пунцовые сияющие полосы, пока что ромбовидные в поперечном сечении, бегущие по массивным вращающимся роликам, со всего разгона послушно попадали в нужный калибр, в так называемый ручей между валков, обжимающих, вытягивающих сталь, придающих ей все более близкий к кругу профиль.

Все механизмы прокатки обслуживались лишь несколькими рабочими-вальцовщиками. Когда-то на станах прежнего, уже устаревшего типа вальцовщики, вооруженные длинными клещами или особыми ломиками, подводили полосу к калибру, подталкивали ее туда. Ныне вальцовщики в новейших прокатных цехах сделались, по существу, людьми новой профессии,— теперь они ухаживали за автоматикой, заменившей все ручные инструменты, налаживали, настраивали ее.

Вон они, несколько вальцовщиков, стоят, будто ничем не занятые, возле клети, у пары валков, пропускающих пламенеющий металл. Кто-то, заметив калибровщика, подбежал к перилам и одним движением легко перемахнул через них. Мгновение спустя он уже здоровался с Шумейкой. Кепка, рубаха из грубой парусины, такие же штаны — все было пропитано черной лоснящейся смазкой, утратило первоначальный цвет. Темный налет металлической пыли, оседавшей здесь всюду, лежал на широком молодом лице, свежий черный штришок смазки наискось пролегал на выпуклости лба, ярко блестели живые серые большие глаза. Это был старший вальцовщик молодежно-комсомольской бригады Володя Боровик. Мягкий мощный шум механизмов, несколько напоминающий рокот водопада, мешал говорить, и Боровик, показав кивком головы на пробегающие огненные брусья, спросил лишь улыбкой и глазами:

«Ну как, хорошо?»

«Очень хорошо»,— ответил взглядом Шумейко.

Недавно этот самый улыбающийся сероглазый Володя Боровик в трудную минуту, когда профиль ШКО после множества повторных попыток упорно не удавался и в сердце Шумейки уже заползало уныние, внес неожиданное

предложение от всей своей молодежной бригады. Одна из главных трудностей изготовления шпунта заключалась в том, что тонкие края, перья полосы, из которых в заключительных стадиях прокатки формировался замок, быстро остывали, темнели и уже не поддавались обжатию в последних калибрах. Не потерять температуры, бороться за температуру — под таким девизом велась пробная прокатка нового профиля. И Боровик предложил увеличить скорость вращения рольгангов, убыстрить темпы прокатки.

Убыстрить? Но ведь уже и так были достигнуты, казалось бы, самые высокие, технически возможные скорости.

В Америке, например... В Америке? Но разве там есть, скажем, молодежно-комсомольские бригады? Америка, дорогие товарищи, отстала. Помощник начальника цеха по оборудованию не спорил. Он лишь сослался на проект, наш советский проект Ново-Краматорского завода. «Такие скорости там не предусмотрены»,— говорил он. «А мы там предусмотрены?» — мгновенно парировал Боровик. «Нет, не могу взять на себя ответственности. Вы обязаны понять, что при малейшей неточности удар полосы в торец линейки или по валку будет настолько силен, что...» — «А у нас неточностей не будет. Молодежно-комсомольская бригада берет на себя такое обязательство и вызывает все другие смены на соревнование».

Главный инженер коротко сказал: «Попробуем». Для новых скоростей механик цеха вместе с обер-мастером, коноводом всех вальцовщиков и операторов, сконструировали новые приспособления, позволяющие направлять полосу наверняка. И в один прекрасный день из последнего калибра вынеслась наконец светло-малиновая длинная шпунтина с отлично удавшимся замком, в котором, как и следовало, все размеры были соблюдены до десятой миллиметра.

И все-таки на стройке шпунт почему-то забракован. Шумейко отогнал терзавшие его мысли о шпунте. Глядя на проносящиеся полосы, он видел возможность изменить калибровку кругляка. Да, теперь, после того как был прокатан шпунт, уже ни один профиль нельзя катать по-старому.

Вальцовщик будто угадал мысли калибровщика. Склонившись к уху Шумейки, он прокричал:

— Диалектика, Андрей Михайлович! Все течет, все изменяется.

Володя Боровик всю зиму проучился в кружке по истории партии, которым руководил Шумейко. Тот засмеялся в ответ и тоже закричал:

— Правильно, Володька! Как сказал Тарас Шевченко: «Все иде, все минае и краю не мае...»

Боровик закивал, заулыбался, показывая ровные белые зубы, и вновь, легко перескочив через перила, вернулся на свое место у клети.

5

Еще нечто новое было сегодня в цехе.

Навстречу Шумейке по высветленному множеством подошв стальному полу, в котором сияющими бликами отражался электрический свет, быстро шла девушка в белом халате. В каждой руке она держала блестящие алюминиевые судки.

— Зина, что я вижу? — еще издали закричал Шумейко.— Не верю своим глазам. Победа?

Зина не стала кричать. В ее лице, которое никто не назвал бы точеным — выдавался нос, торчали скулы,— было столько живости, огня, что одним прищуром глаз, одной мелькнувшей лукавой гримаской она ответила: «Еще бы! Разумеется, победа!»

Однако, когда она подошла к Шумейке, ее лицо столь же живо изобразило гнев.

— Андрей Михайлович, вы что, хотите меня выдать?! И так уже Васильевна догадывается.

Васильевне, грозному директору столовой, совсем не следовало бы о чем-либо догадываться. Шумейко примирительно сказал:

— Ну, расскажи скоренько, как у вас там... Как было дело?

Он, редактор стенной газеты, мог быть доволен. Видно, не зря газета провела целую компанию, не зря строчил заметки славный рабкор «Вилка», что в белом халате стоит сейчас перед редактором. Из номера в номер газета бомбардировала столовую цеха, требуя, чтобы была введена подача горячих блюд к месту работы. Что делать, если непрерывный процесс металлургического производства не

отпускает от себя надолго рабочих и мастеров? Что же, прикажете им удовольствоваться бутербродами? Нет, «Вилка» предлагала иное. И вот она добилась своего. Подавальщица Зина (Что? Нет, она не имеет ни малейшего понятия о том, кто писал эти заметки о косности директора столовой!) носит с нынешнего дня в прокатный цех судки, от которых поднимается вкусный парок, передает их на рабочие места.

— Сейчас, сейчас, Андрей Михайлович,— говорит она.— Вот только отнесу. И догоню вас!

Она быстро идет к чистовой клети. Там ее ждут. Шумейке некогда остановиться, некогда посмотреть, как ее встретят вальцовщики. Он шагает дальше и все-таки на ходу оглядывается. Подавальщица... Всего лишь подавальщица в цеховой столовой... И вместе с тем будущий металлург. Она учится на заочном отделении металлургического техникума. Молодые прокатчики — ее друзья. Помнится, во Дворце культуры она отчаянно отплясывала русскую с Боровиком. Что говорить, славная пара... Вот судки уже вручены вальцовщикам. Зина спешит вслед своему редактору. Нагоняет его.

— Знаете,— заговорщицки шепчет она, наклонившись к Шумейке,— карикатуру, Андрей Михайлович, еще не снимайте. Рано... Все еще может сорваться...

Гул прокатки заставляет ее повысить голос, она осматривается — не заметно ли где-либо на горизонте директора столовой — и вдруг, рассмеявшись, машет рукой. Живое, лукавое лицо тотчас передает ее мысль: «Ладно, пусть увидит!»

Зина поспешно излагает, как была воспринята карикатура, эта последняя капля, сломившая упорство директора. У Васильевны на рисунке был воинственный вид, из уст ее вырывались фразы: «Судков нет. Подавальщиц не хватит. Не допущу обедов в цех!» И Васильевна, увидев, как ее разрисовали, два часа ходила по двору, не могла войти в столовую.

Зина хохочет, затем становится серьезной, говорит:

— Теперь мы должны закрепить новый порядок. Это уже сделаем без вас. Можете, Андрей Михайлович, спокойно уезжать...

— Уезжать? Ты откуда знаешь?

— Все знаю... Где же люди больше всего разговаривают, как не у нас, в столовой?

— И про шпунт говорят?

— Андрей Михайлович, не вам унывать! Вы лучше передайте там, на стройке...

— Что передать?

— Наш опыт, конечно. Пусть и у них носят обеды на рабочие места.

— Уж не хочет ли некая «Вилка» прославиться на весь Союз?

— А что же? Метод Зинаиды Стечкиной.— Она комично раскланивается.— Счастливого пути, товарищ редактор.

6

Шумейко идет по цеху дальше. Уже видны главные ворота цеха. Близ ворот расположен ряд красиво отделанных щитов.

Здесь же, среди разных призывов и плакатов, высится доска Почета с фотографиями передовиков, лучших людей цеха, а в большой застекленной витрине находится переходящее Красное знамя, завоеванное прокатчиками «Югостали» в соревновании металлургов. В этом же красочном ряду висит и цеховая стенная газета «Рельсы коммунизма». Внизу последнего столбца под чертой написано: «Ответственный редактор А. Шумейко».

На заводе знали, что у Шумейки есть писательская жилка. Вначале обнаружились его таланты драматурга, он оказался автором юмористических сценок на местные темы, сценок, которые с успехом ставил заводской драмкружок, а затем стало известно — этого Шумейке не удалось скрыть,— что он пишет большую повесть-хронику о своем цехе.

Кому же и быть редактором стенной газеты, как не своему писателю? Так рассудило цеховое партийное бюро.

«Рельсы коммунизма» привлекали читателей. В каждом номере — так завелось при Шумейке — обязательно помещались фотографии и карикатуры. Порой карикатуры появлялись отдельно, в виде своего рода экстренного приложения, называвшегося «Крокодил в рельсо-балочном цехе».

В качестве художников, авторов смешных рисунков, темы для которых Шумейко собирал от своих рабкоров, а также и придумывал сам, выступали два-три молодых

прокатчика. К ним недавно присоединился Сергей, старший сын Шумейки, восьмиклассник, будущий карикатурист, как считалось в школе и дома.

Редактор взглянул на газету. В этом номере его перу принадлежали строки: «Недалеко время, когда сквозь шлюзы мимо новой гидростанции пойдут корабли, на которых юноши и девушки нашего города отправятся учиться в Московский государственный университет, и сердце их наполнится гордостью за своих отцов и братьев, металлургов «Югостали», руками которых изготовлены балки для высотного здания университета и шпунты для великой плотины».

Шпунты... Шумейко сдержал вздох. Неподалеку от газеты был приколот большой, с немного обтрепавшимися уголками, расчерченный в клетку голубой лист, так называемая синька — обычный календарный график работы рельсо-балочного цеха на текущий месяц. Каждый инженер, каждый рабочий мог узнать, взглянув на этот лист, какой профиль будет прокатываться в то или иное число месяца. С завтрашнего дня по графику предполагалось катать шпунт. Но слово «шпунт» было уже зачеркнуто, вместо него химическим карандашом написано — «двутавровая балка».

Шумейко знал, что после телеграммы Гидростроя новый профиль, конечно, будет снят с плана прокатки, и все же у него защемило сердце, когда он увидел вычеркнутое слово «шпунт».

Где же она, в чем же она, его ошибка? Почему, почему же завод не смог дать стране новый профиль?

7

Где же она, в чем же она, его ошибка?

Шумейко сидел на палубе парохода «Генерал Доватор». Прогноз погоды, сообщенный вчера аэропортом, оказался верным. Выдался неважный денек. Ветер гнал по реке мутноватые, глинистого оттенка волны со вспененными гребешками. Вешняя вода, кое-где захватившая неоглядные просторы, уже начала спадать. Высший уровень, какого она достигла в эту весну, был как бы отмечен на кустах лозы, густо разросшейся по берегам. Клонимые порывами бури верхушки ярко зеленели, а ниже, под свое-

го рода чертой половодья, показавшийся на свет из убывающей воды лозняк желтел еще не набравшими сил бледными листочками.

Устроившись спиною к ветру, расстегнув плащ, Шумейко достал из вместительного кармана своей свежей, сурового полотна куртки большой блокнот в твердой обложке, карандаш и, открыв чистую страницу, стал писать весточку домой. Выведя первое слово «Сыны», он опять посмотрел вдаль, на неприветливые взмученные волны, на обнажившиеся кое-где пески, темноватые под заволоченным небом. В мыслях вновь засверлил тот же вопрос: «Где же она, в чем же она, моя ошибка?»

Однако надо же написать своему семейству. Младший сынишка Вася взял с него обещание слать вести каждый день. Он так и сказал: «вести со знаменитой стройки». Затем, раскрыв перед Шумейкой пустую коробку из-под печенья, добавил: «Твои письма будут храниться здесь». И поставил коробку в книжный шкаф, подаренный обоим мальчикам, на полку, где был наклеен ярлычок: «Путешествия и открытия».

Ветер мешал писать, трепал листы блокнота, но Шумейко выводил: «Сыны! Погода как раз подходящая для будущего флотоводца. Шторм баллов на двадцать». Однако летописец-путешественник тут же спохватился. Молодой Василий Шумейко, которого он называл в письме будущим флотоводцем, не любил, когда взрослые подтрунивали над тем, что было дорого его мальчишескому сердцу. Он всерьез занимался спортом, отлично нырял ласточкой, ходил под парусами на шверботе и собирал библиотеку, посвященную подвигам русских моряков. Кем станут они, эти хлопцы, два сына Шумейки, жившие в веселой комнате, одна стена которой была завешана географическими картами и портретами мореходов, а другую украшали акварели, подписанные инициалами С. Ш., изображавшие цветы, деревья, улицы и милые сердцу Шумейки просторы цехов, озаренных пламенеющей сталью? В семье издавна предполагалось, что дети, когда подойдет время, изберут профессию металлургов. Это, однако, отнюдь не мешало отцу поощрять разные их интересы и увлечения, далекие не только от выплавки или проката металла, но и от обязательных школьных дисциплин. Мама была строже. Шумейко знал: в нужную минуту всегда почувствуется ее крепкая рука, мама не позволит своим трем

стригункам (если в этом числе считать и его, Андрея) безрассудно разыграться... В общем, всему находилась мера. А насчет профессии... Ну, если уж на то пошло, разве сыновьям заказаны другие пути, кроме металлургии? Разве мало иных чудесных профессий?

Вот и сейчас Шумейко описывал в своем первом послании дорожные наблюдения и встречи, рассказывал о том, люди каких профессий едут рядом с ним на стройку.

«Представляете, ребята, вчера ваш отец преспокойно сидел на палубе, и вдруг один из пассажиров вынул из коробки и направил на него огромный пистолет. Успокойте маму — я цел и невредим. А человек этот оказался совершенно мирной личностью. Он сконструировал новый пистолет для испытания прочности бетона. Будет стрелять в бетон. Чего только не изобрел этот мой спутник. Его специальность — исследования прочности гидротехнических сооружений. Приборы, придуманные им, будут навек замурованы не только в бетон, но и в землю под плотиной. Провода от этих приборов побегут в лабораторию. Колебания стрелочек станут сообщать людям, каково давление на грунт, не оседает ли какая-нибудь часть плотины, и много других тайн, которые не смогут обнаружить водолазы и даже мальчики, отлично ныряющие ласточкой».

Далее Шумейко написал о шофере, который ехал с ним в одной каюте. Шофер водил такси во Львове, но затосковал по большим делам. «Дайте мне масштаб»,— говорил он, направляясь на строительство.

А утром в буфете один человек, севший за стол рядом с Шумейкой, долго смотрел на нелюбезную сумрачную продавщицу и вдруг громко и сокрушенно сказал: «Эх, не любите вы торговать». Он ехал работать в торговой сети городка строителей.

«А еще здесь присутствует, — с улыбкой продолжал строчить Шумейко,— некто, прозванный мною человек-загадка. Это громадный дядя, настоящий Карабас-Барабас. Конец бороды своей он вполне может засовывать в карман. Куда и зачем он едет, никто не знает. Он упорно молчит. Но я все-таки узнаю, кто он таков, и обязательно сообщу об этом вам».

Шумейко откинул страницу. Еще несколько фраз, несколько шутливых слов мальчишкам. Затем его лицо, вечно сохраняющее — кстати и некстати — насмешливо-лукавый вид, поднялось от блокнота. Шумейко мысленно

увидел жену — все еще стройную, легкую, с шапкой поблескивающих черных кудрей. Нина заботливо уложила его чемодан, и он еле успел с ней попрощаться, заговорился с Васей, потом заспешил на пристань. А Нине даже не обещал скучать по ней. Эхма... Шумейко вывел: «Мальчики, не обижайте маму». Оттопырил нижнюю губу, подумал и продолжил: «Шепните ей: я ее люблю».

8

Они узнали друг друга в незабываемые годы первых больших строек.

Шумная аудитория. Студенты-второкурсники Днепровского металлургического института ожидают очередной лекции по физике. Ряды уходят полукружьем ввысь. В огромные окна светит ноябрьское, все еще щедрое солнце. Внизу, близ кафедры, на длинном широком столе расставлены трансформаторы и реостаты. Рубильники на мраморном щите не включены. Там висит предупреждающий ярлычок: «Под напряжением 380 вольт».

Раскрывается дверь — и вместо профессора теоретической физики появляются несколько человек: директор института, секретарь парткома и Антонов из райкома комсомола. Видимо, предстоит нечто серьезное. Все разговоры обрываются.

На кафедру всходит директор. В темных волосах уже пролегли седые нити. На отвороте пиджака — орден Красного Знамени. Это бывший металлист-ленинградец, слушатель вечерних общеобразовательных курсов в дореволюционные годы, большевик с 1916 года, комиссар продотряда в восемнадцатом, комиссар полка в девятнадцатом.

— Товарищи,— произносит он,— металлургическому гиганту на Урале, о строительстве которого каждый из нас знает, нужны молодые техники. Нужны безотлагательно, теперь же, этой же зимой, к пуску первой доменной печи и первого мартена. Там, на строительной площадке, открываются ускоренные трехмесячные курсы, которые будут выпускать техников, необходимых заводу. Мы пошлем туда только добровольцев.

В аудитории тихо. Осеннее солнце играет, вспыхивает яркими радужными точками в подвесках большой

люстры. Директор смотрит на присмиревших студентов.

— Только добровольцев! — повторяет он.— Те, кто туда поедет, будут через три месяца уже работать на заводе. А оканчивать институт, приобретать знания и диплом инженера придется несколько позже, на заочном отделении, без отрыва от основной работы. Таких аудиторий,— директор со сдержанной улыбкой обвел вокруг рукой,— там еще нет. Зато там воздвигаются самые большие в Европе доменные и мартеновские печи. Там с первого же шага вы, кого я уже позволю себе назвать «новоуральцами», будете осваивать самую передовую технику, самые новые металлургические агрегаты, каких на юге еще нет.

Директор на несколько мгновений замолкает. Молчит и аудитория. Все ждут еще каких-то его слов.

— Вы не найдете там пока благоустроенных домов,— продолжает он.— Придется, товарищи, пожить в бараках. Это стройка. Это создание могучей индустриальной крепости социализма на востоке. Я, товаращи, почел бы за счастье и за честь поработать там.

После этих слов невнятный гул идет по аудитории. Потом сыплются вопросы:

— А кто там будет преподавать?

— А как с теплой одеждой? Ведь там морозы в пятьдесят градусов...

— Товарищ директор, а правильно ли это — бросить сейчас учебу?

Этот вопрос, высказанный вслух, вертелся, конечно, на языке у многих. Как так — покинуть милый южный город? Расстаться с этим прекрасным институтом, куда еще совсем недавно все они, нынешние второкурсники, мечтали поступить? Оставить близких и любимых? Уехать туда, где уже стукнули морозы, уже воют бураны? И все же... Там, на востоке, на площадке прославленного Ново-Уралстроя, день и ночь клепают высоченные домны, укладывают в котлованы бетон, монтируют заиндевевшие стальные конструкции, колонны будущих цехов, строят, возводят социалистический гигант металлургии.

Те, кто останется, спокойно окончат институт. Вот и Антонов из райкома комсомола повторяет вслед за директором, что на площадке Ново-Уралстроя нужны только добровольцы.

Студент Андрей Шумейко поднимается со своего места. Он принял решение и сейчас скажет об этом. Однако его опережает взволнованный звонкий голос:

— Можно мне сказать?

Шумейко оглядывается. В одном из верхних рядов вскочила Нина Казаченко. Андрею запомнилось это мгновение. На фоне окна четко обозначен, словно вырезан, ее силуэт, ее вскинутая голова с шапкой кудрей. На свету виднеются даже отдельные встрепанные волоски. Она непривычно серьезна. Однокурсники прозвали ее Казачком, привыкли к ее постоянной улыбке. Кажется странным, что сейчас не блестят ее зубы, всегда такие яркие, такие белые на фоне очень смуглого лица.

— Я поеду! — твердо произносит она.— Запишите меня.

— Ну нет!..

Это выкрикивает Андрей. К нему поворачиваются привыкшие к его шуткам товарищи, некоторые заранее улыбаются.

— Ну нет, первым номером меня...

Второкурсники смеются. Смеется и седоватый директор, с орденом Красного Знамени на отвороте пиджака.

Встает еще один студент, тоже записывается добровольцем. За ним следует четвертый, пятый...

9

...Снова трансформаторы и реостаты. Образцы железных руд. Фильтры, пробирки и колбы с реактивами. Микроскопы, спектроскопы под чехлами.

Горят электролампы, на которых еще нет абажуров. Идет собрание комсомольцев центральной лаборатории Ново-Уральского завода.

Лаборатория еще не имеет своего здания и размещена в крыле заводоуправления. Приходится тесниться. Комсомольцы проводят перевыборы бюро. Сидят на скамейках, табуретах, ящиках, некоторым не хватило мест, они стоят, а тут же, в этой комнате, занятой отделением анализа железных руд, пылают почти бесцветным огнем газовые горелки, поднимается пар из кипящего раствора, девушка-лаборантка в рабочем халате дробит руду в электрической шаровой мельнице. Другая лаборантка прильнула к глазку

микроскопа. Форточка раскрыта. Врывается клубящийся студеный воздух. За окнами, на которых нет еще ни штор, ни занавесок, темный вечер. Впрочем, нет, не темный. Всюду сверкают прожекторы и фонари. Землекопы и в этот час взрывают, разбивают кувалдами и кайлами, вынимают мерзлый грунт. Покачиваясь, плывут полосы света от автомобильных фар. На вершине недавно задутой первой доменной печи Ново-Уральска гирлянды сияющих лампочек. Неподалеку, тоже в высоте, вспыхивают голубые огни электросварки. Там вырастает домна № 2. А из невидимой во мгле, уходящей в небо цилиндрической трубы первого мартена вымахивает огненный султан, вьющийся по ветру, словно алый вымпел, красный флаг революции.

Собрание комсомольцев ЦЗЛ — что означает центральная заводская лаборатория — продолжает обсуждать кандидатуры в состав нового бюро.

— Нина Казаченко,— произносит председатель.— Кто, товарищи, выскажется за?

Сама Нина стоит, наклонившись над градуированной склянкой. Она, руководитель отдела, заканчивает вместе с лаборантками срочный анализ.

— Кто выскажется о Казаченко?

С разных сторон раздаются голоса:

— Можно не высказываться. И так все ее знаем.

Ее действительно все знают. На ускоренных курсах, где готовили молодых техников для пусковых объектов Ново-Уральского завода, Нина училась лучше всех. Она увлекалась химией, охотно помогала товарищам составлять формулы химических преобразований, заражала всех своим увлечением. Здесь, как и на Днепре, ее называли Казачком. Могло показаться, что она уже много зим проходила в валенках, они как будто вовсе не мешали ее быстрому шагу. На ней ладно сидела туго подпоясанная ватная стеганка. Черные волосы, выбивающиеся из-под бобриковой серой ушанки, немедленно белели на морозе. На смуглом лице то и дело появлялась улыбка.

Заодно с другими курсантами она участвовала в субботниках на «Мартенстрое», таскала носилки с битым кирпичом, а потом в торжественный день пуска, опять-таки наравне с товарищами, произвела спектральный и химический анализ первой стали, выплавленной в первой мартеновской печи Ново-Уральска.

В центральной заводской лаборатории, куда она попала вместе с несколькими выпускниками курсов, ее, девятнадцатилетнего техника, вскоре назначили руководителем группы анализа железных руд. Теперь через ее руки проходили все пробы руд, поступающих на заводские пути. Она отвечала за то, что разные примеси, содержащиеся в образцах, и в особенности вредные — цинк, медь, сера,— будут своевременно и точно выявлены. Кроме того, поставив себе целью закончить свое инженерное образование, Нина Казаченко училась на заочном отделении Уральского индустриального института.

Сейчас в этой же комнате, где идет собрание, она заканчивает анализ пробы. Ее пальцы испачканы фиолетовой, почти черной пылью. На лицо тоже села пыль руды. Из-за этого кажутся подведенными большие глаза, которыми она оглядывает собрание. За столом возле председателя сидит Шумейко. Ему хочется встретить ее взгляд, поймать ее улыбку.

Представитель райкома комсомола поддерживает кандидатуру Казаченко.

— Должен вам, товарищи, признаться,— говорит он,— что у нас есть намерение посоветовать новому бюро избрать Нину Казаченко ответственным секретарем вашей комсомольской организации.

Нина отодвигает пробирку, выпрямляется.

— Нет,— кричит она,— я снимаю свою кандидатуру. Нельзя мне быть секретарем. И в бюро я не смогу работать.

— Почему?

— Потому что... Ребята, я хочу стать настоящим инженером. Знающим, квалифицированным. Таким, каких требует наша промышленность... А всякие отвлечения, всякая общественная работа... Нет, это невозможно...

На минуту в комнате водворяется молчание. Слышно, как падают капли фильтруемой смеси.

Кто-то задает вопрос:

— То есть комсомол мешает тебе стать инженером?

Нина отвечает не сразу. Вернее, вместо ответа она произносит:

— У нас есть другие... Те, которые согласны быть членами бюро и даже секретарями. А мне и так не хватает времени... Нет, вы меня не заставите. Лучше не выбирайте.

Нина стоит в испачканном рабочем халате. Она и сейчас улыбается.

— А мы тебя и не выберем.

Этот возглас собрание поддерживает неясным грозным гулом. Андрей Шумейко уже не ловит взгляда Нины.

Вот, значит, как относится она к комсомолу. Для него, Шумейки, с мальчишеского возраста комсомол был дороже семьи, родного дома. Он, деревенский парнишка, не видевший до четырнадцати лет паровоза, выросший в гнетущей бедности, вынужденный батрачить, вместо того чтобы ходить в школу, впервые узнал в комсомоле радости истинно человеческой жизни, радости творческого дела. Едва сдерживая восторг, он, еще не слишком большой грамотей, клеил впервые в жизни стенную газету, орган сельской ячейки комсомола. Комсомол послал его на учебу. Сначала это были районные курсы, куда он, простой деревенский малец, пришел босиком, чуть вразвалку (как шагают те, кому привелось много походить), смущающийся и казавшийся оттого неуклюжим. Далее путевка на рабфак, рабочий факультет Днепровского металлургического института, путевка опять же от комитета комсомола. С комсомолом связано все лучшее, все самое дорогое в его жизни.

А вот у Нины Казаченко нет времени для комсомола. «Вы меня не заставите...» Да разве нужно заставлять? В эту минуту она была ему чужая.

10

На бюро комсомола ЦЗЛ обсуждался вопрос о Казаченко, о ее поведении на собрании.

Бюро собралось в шлифовальной мастерской, в небольшой комнате, где изготовлялись для исследования под микроскопом шлифы ново-уральской стали. Заседание ведет вновь избранный секретарь Андрей Шумейко. Он спрашивает, обращаясь к Нине:

— Ты по-прежнему считаешь, что общественная работа в комсомоле мешает стать настоящим инженером?

Она похудела, смуглые щеки втянулись, брови сдвинуты, две морщинки обозначились на лбу. Но она не опускает, не отводит глаз под взглядом Шумейки.

— Нет, я этого вовсе не считаю. И тогда не считала. Я говорила только о себе.

— Как это только о себе?

— Я себя знаю...

— А вот мы-то, оказывается, тебя не знали,— вырывается у Шумейки.

Пожалуй, ему одному понятна вся горечь этих слов. Нет, Нина тоже почувствовала ее.

— Товарищи, ну как вам объяснить? — Она волнуется, краснеет.— Ведь я... Я хочу стать хорошим инженером, таким, который...

Ее перебивают:

— Хорошим советским инженером?

— А каким же?

— И поэтому не можешь быть хорошей комсомолкой?

— Нет, я просто хотела сосредоточиться... Понимаете, все внимание, все силы...— Нина говорит, не оканчивая фраз.— Я так представляла себе... Я изучу сейчас специальность, овладею техникой... Не буду пока ничем отвлекаться, только наука, только работа...

— Погоди,— раздается голос одного из комсомольцев.— А революция? А борьба за социализм? На это ты не хочешь отвлекаться?

— Нет, но...

— Погоди... Ты думаешь, что сейчас нашей стране нужны узкие специалисты? Да? Думаешь, узкие специалисты — это люди будущего?

Нина молчит. Ее продолжают атаковать вопросами.

— Разве ты не хочешь быть инженером-коммунистом?

— Знаешь ли ты, что при коммунизме человек будет разносторонне развитым? Или не веришь в коммунизм?

Нина молчит.

— Так что же,— сурово говорит секретарь комсомольского бюро Шумейко.— Отвечай. Что же, хороший инженер не может быть хорошим комсомольцем, коммунистом?

— Нет, я так не думаю.— И Нина повторяет: — Я говорила о себе. Я себя знаю... Я не умею совмещать. А если...

— Что если?.. Не сможешь работать, как все мы?

— Не знаю... Боюсь, что стану гусем...

— Гусем?

— Да. Гусь и летает, и бегает, и плавает. Но летает он хуже орла, плавает не так, как рыба. А разве он может бежать, как олень?

Шумейко тотчас парирует:

— А ты не думала о том, что сделаешься камбалой?

— Камбалой?

— Да. Рыбой, которая зряча только с одной стороны. Половиной рыбы.

Андрей видит перед собой большие блестящие черные глаза, видит растерянное лицо девушки и думает о том, как не похожа она, Нина Казачок, на уродливую рыбу камбалу. Пожалуй, она, скорее, напоминает именно оленя. Однако Андрей не меняет тона.

— Бывают люди,— продолжает он,— про которых можно сказать «половина человека». Разве ты хочешь быть такой?

Нина не отвечает. Лишь отрицательно качает головой. Затем выговаривает:

— Ребята, неужели вы собираетесь исключить меня из комсомола?

Эти слова произнесены с таким отчаянием, что подруга Нины, член комсомольского бюро, нарушая всякий порядок, кричит ей:

— Нинка, ведь тебе же говорят: будь комсомолкой. Все хотят тебя видеть настоящей комсомолкой. Любим же тебя!

Секретарь бюро Шумейко строго обрывает девушку. Особенно неуместными ему кажутся слова: «Любим же тебя!» Что это еще такое? Он предлагает перейти к прениям.

Один за другим члены бюро серьезно, сурово говорят о Казаченко. Затем принимается решение: объявить ей выговор за неправильное поведение на собрании.

11

...Весна. Легкие перистые облака в голубом небе. Вечернее солнце уже касается горы, окрашивая край неба шафранными, нежными тонами.

Многое переменилось на площадке Ново-Уралстроя. Четыре трубы высились над четырьмя мартенами, уже плавящими сталь. А рядом верхолазы уже монтируют две следующие трубы. Далее, по оси завода, идут строительные работы второй очереди. В разных местах вынимают и вывозят землю, бетонируют фундаменты, поднимают же-

лезные колонны зданий. Некоторые здания уже выстроены. Цех-блюминг уже пущен. Там, над этим цехом, едва заметно курятся конусообразные кирпичные трубы нагревательных колодцев. Еще дальше встают просвечивающие железные каркасы будущих прокатных цехов.

Молодой металлург в сиреневой майке, в серой кепке, сдвинутой на коротко подстриженный затылок, сидит на бетонной балюстраде у въезда на рабочую площадку мартеновских печей. Поблескивают рельсы, уложенные в кирпичном полу. Цех так просторен, что прямо туда, к печам, через сквознину торцовой стены, подаются груженые составы. С балюстрады взгляду открыт весь печной пролет.

Юноша безотчетно следит за движениями могучей завалочной машины, посматривает на сталевара, зачерпнувшего из ванны длинной железной ложкой пробу; наблюдает за игрой света, падающего из приоткрытого окна печи, и в то же время не упускает из виду небольшой двери, ведущей в лабораторию мартеновского цеха.

Да, сталеплавильный цех Ново-Уральска уже имеет свою лабораторию. Там работает Нина Казаченко, руководя группой спектрального анализа. Ей доверили это немалое, непростое дело. Другие лаборанты, получившие подготовку в ЦЗЛ, тоже разлетелись по цехам. Почти все они серьезно изучают производство черного металла. Андрея Шумейко, например, перевели на блюминг. Новую для него специальность прокатчика он начал осваивать с самой низшей ступени, став рядовым рабочим нагревательных колодцев.

И ведь это не кто иной, а именно он, Андрей Шумейко, восседает сейчас на бетонной балюстраде. Он, видимо, закончил свой рабочий день. Из-под серой кепки торчат мягкие, встрепанные, просохшие на ветру после душа русые волосы. Свежая майка и отутюженные брюки сменили спецовку. Уже немало времени сидит он здесь, у въездного проема, упорно наблюдая за процессами сталеварения. Это занятие не мешает, однако, ему искоса поглядывать на ничем, казалось бы, не примечательную упомянутую выше дверь. Наконец эта дверь отворяется. Руководитель группы спектрального анализа появляется оттуда, быстро идет к выходу. Минуту спустя Нина Казаченко уже за пределами цеха. На ней, как обычно на работе, немаркое темно-

синее платье, волосы подвязаны красной косынкой. Остановившись у рельсовых путей, она смотрит на закат, подставляет лучам смуглое лицо. Верхушки нежно-зеленых тонких уральских березок на пригорке освещены солнцем. Как хорошо сейчас, наверное, там, в березовой рощице, что близ строительной площадки. Прекрасный тихий вечер. Но для Нины он будет, как всегда, рабочим вечером. Надо готовиться к зачетной сессии, к экзаменам за третий курс. А погулять?.. Нет, это не для нее. Еще придет денек, когда она даст себе волю, разгуляется. Тогда только держись. А сейчас домой... Крепкие ноги в тапочках, в подвернутых носочках уже несут ее вдоль бетонной балюстрады.

Она проходит так стремительно, что молодой металлург в сиреневой майке, спохватившись, еле догоняет ее.

— А говорила, что не бегаешь, как олень...

— Ты? Откуда ты здесь?

У Шумейки такой вид, словно он выпалит что-то забавное. Но вместо этого раздается смущенное пыхтение.

— Понимаешь, случайно заглянул... Давно не был на мартене... Хотел посоветоваться с тобой по одному вопросу...

Он сам замечает, что у него получается неладно. У Нины лукаво вспыхивают глаза. Ресницы тотчас тушат этот блеск. Она помогает ему вывернуться.

— Посоветоваться? Давай...

— Пойдем,— небрежно бросает Шумейко, хотя они давно уже идут.— Мне надо с тобой поговорить.

— О чем?

— О стали.

— О чем?

Шумейке наконец удается преодолеть смущение, которое нежданно-негаданно охватило его в первую минуту этой встречи.

— Хочу посоветоваться с тобой,— повторяет он.— Завтра дают на одну смену нагревательные колодцы в полное мое распоряжение. Предстоит провести одно исследование. Я этого добился.

Шумейко взглядывает на Нину,— не хвастливо ли у него получилось? Однако Нина одобрительно улыбается ему. Она видит, что кепка, съехавшая совсем на затылок, того и гляди свалится с головы исследователя, но боится сказать ему об этом, чтобы вновь не смутить его.

— Знаешь,— продолжает Шумейко,— ведь наши колодцы никак не могут нагреть нужного количества металла. Держим блюминг на голодном пайке.

— Знаю, слыхала. Но почему же?

— Старший сварщик объясняет это так: потому что для нагрева не хватает газа. И он старается заполучить в рабочее пространство, сжечь как можно больше газа. Давай положим этому конец.

— Мы?

— Мы. Посмотри-ка...

Андрей указывает на трубы нагревательных колодцев. Там курится, расплывается в небе еле заметный дымок.

— Посмотри,— говорит он.— Старший сварщик попросту не знает химии. Ведь несгоревший газ уносит с собой тепло. Надо уменьшить подачу газа, и в колодцах станет горячей. Завтра на колодцах буду старшим я. Понимаешь?

— Понимаю. Ты уже сделал расчеты?

— Конечно. Просмотришь со мной, а? Хотя... Хотя товарищ Казаченко, кажется, не умеет отвлекаться?

Нина смеется и первая поворачивает к нагревательным колодцам.

— Нам необязательно туда,— говорит Шумейко.— Посидим где-нибудь на воле.

— Нет, пойдем на место действия. Там будет видней.

Они идут по территории завода. Солнце уже скрылось, заря стала багровой, кое-где в легких сумерках зажглись фонари. Вечер не приостанавливает стройки, не прекращает движения на площадке. Экскаватор, выпускающий из железной трубы клубы черного дыма, копает выемку, выгребает в отвал землю своим ковшом-лопатой. Проезжают машины, проезжают лошади, везущие груженные землей грабарки. Слышны тяжелые мерные уда́ры и свист отработанного пара. Это забивают так называемой «бабой» сваи в слабый грунт. Быстро крутятся барабаны бетономешалок. Укладчики бетона забирают на тачки готовую смесь, везут, опрокидывают в опалубку, трамбуют.

Вот и здание блюминга. Сквозь раскрытые ворота видна линия нагревательных колодцев. Машинист специального крана то и дело достает оттуда светящиеся разогретые болванки и несет к блюмингу.

Нина и Андрей сидят под открытым небом, где уже засияла первая звезда, сидят на твердом стальном слитке у штабеля таких же слитков. У него в руках раскрытая

записная книжка, в ней все его расчеты. Нина предлагает поправочный коэффициент. Они спорят, намечают программу завтрашнего дня, программу действий Андрея.

...Уже все обдумано, обсуждено. Ни одной цифры уже не разберешь в записной книжке — сюда в тень штабеля не добирается даже смутный свет луны, вышедший на свое дежурство. Надо бы идти по домам, но они сидят, не двигаются, молча смотрят, как вскидывается, выбивается пламя из-под чугунных крышек нагревательных колодцев. Странное волнение все сильнее охватывает обоих. Пожалуй, оба знали, что такой вечер когда-нибудь придет, оба его ждали. Вечер самого обыкновенного майского дня...

Эту дату навсегда запомнили и праздновали в семье Шумейки. Повод был вполне достаточным — план и расчет, разработанные у штабеля слитков, принесли победу. Однако сыновья так и не знают, что в этот вечер их родители впервые поцеловались.

12

С тех пор прошло много лет. Андрею Шумейке выпало на долю счастье страстно, глубоко полюбить, счастье, которое дано совсем не каждому. И узнать ответную, не менее преданную, не менее сильную любовь.

Все эти годы они работали рядом, она в лаборатории сталеплавильного цеха, он на прокатке. Вместе они стали инженерами, оба вступили в партию.

Шли годы, определялся профиль каждого из них. Нина специализировалась на создании новых марок стали. Он, осваивая разные квалификации на прокатке, все более находил вкус в калибровке, начал работать в калибровочном бюро.

Над многими сталями, многими новыми сортами металла они потрудились вместе — она в лаборатории мартеновского цеха, он на крупносортном стане. Вот и теперь, когда они опять живут на Юге, на восстановленном после ужасных разрушений заводе «Югосталь», у них вновь и вновь общие работы.

Сталеплавильный цех дал новую специальную марку стали — шпунтовую сталь, которая соединила в себе особую мягкость, пластичность в прокатке с высокой механической прочностью и устойчивостью против коррозии.

Без такой стали не удалось бы прокатать шпунт. И все же...

Все же пришлось ему, инженеру Шумейке, разработавшему калибровку шпунта, прочесть телеграмму Гидростроя, которая, если говорить прямо, означала, что новый профиль неудачен.

Нина, конечно, огорчилась не менее его, но сказала:

— Рано вешать нос. Поезжай.

13

«Я ее люблю»,— написал Шумейко. Налетевший порыв ветра ухитрился выдернуть у него из-под руки и стал трепать несколько листков блокнота. Да, на таком ветру писать все же трудновато.

Захлопнув блокнот, Шумейко посмотрел на полноводную вспененную реку, разлившуюся вширь на полтора или два километра. Слева, на обрывистом, высоком берегу, недоступном паводку, тракторы вспахивали неоглядный клин земли. Сизые клубочки дыма выбивались из выхлопных труб.

Скоро сюда, в эту степь, придут новые машины, приводимые в движение электричеством,— электротракторы, электрокомбайны. Всюду встанут шеренги стальных мачт, в небе между мачтами протянутся черные, слегка провисающие линии проводов, по которым заструится ток. Гигантские стройки превратят в электроэнергию силищу этой реки. Вешняя вода — вот эта самая, которая бьет в борт парохода и разлетается мутными брызгами, которая далеко залила заросший лозой песчаный низкий диковатый берег, которая из года в год веками без пользы скатывалась в соленое море,— будет задержана плотиной, останется в огромнейшем водохранилище и, обузданная человеком, послушная ему, пойдет по распределительным каналам в степные пространства, вот туда, за горизонт, где издавна не хватает воды. Все здесь переменится. Перед мысленным взором Шумейки вставали заводы электрометаллургии, которые вскоре появятся на этих берегах. О, как украсят такие заводы эту реку, эту степь. Да, вон славная площадка для завода.

Стоя у ограждения верхней палубы, куда нет-нет и долетала водяная пыль, срываемая ветром с гребешков,

глядя на разлив, на берега, на тракторы, Шумейко вдруг остро ощутил, что мир, в котором он живет,— это мир непрестанных изменений, где постоянно возникает, борется и торжествует новое.

Подгоняемый ветром, слегка покачиваясь на разошедшейся волне, пароход неуклонно шел вперед. Ветер хлестал Шумейко в спину, трепал полы плаща, плащ парусил, будто помогал движению парохода. Хорошо дышать воздухом бури, воздухом борьбы.

Наглядевшись, Шумейко спустился на нижнюю палубу, где были расположены служебные помещения и каюты. Проходя по коридору, он на минуту задержался у одного из раскрытых окон машинного отделения. Оттуда струился жаркий дух, запах горячей смазки. Мерно вращались, поблескивая обточенной сталью, мощные сочленения паровой машины. Сквозь решетки, уложенные вместо пола, можно было рассмотреть кочегарку. Там, в чреве парохода, то и дело распахивались заслонки топок. В огненных отсветах виднелись обнаженные до пояса рабочие, черноватые от угольной пыли, которые неустанно подгребали лопатами уголь и с размаху кидали его в пламенеющие жерла.

«Вот он — век минувший,— подумал Шумейко.— Скоро по реке пойдут новые суда — электроходы».

И опять ощущение непрерывных изменений мира, в котором он живет, охватило Шумейко.

14

Неподалеку от машинного отделения помещался красный уголок. Еще утром, заглянув в одно из окон, выходивших в коридор, Шумейко подметил это местечко, где можно было почитать газеты и журналы или сыграть в шахматы. Здесь он спокойно закончит письмо. Сядет около иллюминатора, вынет блокнот... Однако не тут-то было. Прокатчика как будто ждали в этой комнате. Едва он показался в дверях, как прозвучал возглас:

— Браток, срочно требуется один забойщик. Просим, заходи, «забьем козла».

Это жаргонное выражение любителей игры в домино «забьем козла» было знакомо Шумейке, хотя ему не часто

случалось играть в домино — пожалуй, лишь в. доме отдыха, в дни отпуска. Крепко загорелый паренек, пригласивший Шумейко, тут же поправился:

— Не браток, а дядько... Извиняюсь, не рассмотрел...

— Налетел, Мишка, на мель,— не замедлил подтрунить один из сидевших за столом.

— Ничего, Миша, забьем. Будешь моим напарником. Идет? — произнес Шумейко.

Миша был немногим старше его мальчишек, но держался куда солиднее. В разрезе распахнутого ворота черной потертой косоворотки виднелась флотская тельняшка.

— Ты, Миша, матрос?

— Я? Я здесь старшим штурвальным,— Миша постарался сказать это небрежным тоном.

— Старшим штурвальным? Такой малец?— Вот о ком Шумейко напишет своему будущему флотоводцу.— И тебе доверяют вести пароход?

— Через часок приходите наверх, к штурвальной будке. Поглядите.

Игра началась. Ставили кости с громким пристуком. Шумейко и Миша прекрасно понимали друг друга. Иногда, нарушая правила игры, Миша подавал глазами знаки, мигал своему напарнику. Старший штурвальный веселился. Противная сторона — два молодых матроса — была разбита наголову. Выиграв, Шумейко не мог удержать довольной улыбки. Со вкусом сыграли и следующую партию. Потом Миша сказал:

— Ну, мне надо идти. Время готовиться на вахту.

Он посмотрел в иллюминатор. Пароход держался подмытого водой, оползающего берега. Обнажились, повисли плетями над рекой корни деревьев. Некоторые стволы уже рухнули и, еще цепко держась в грунте, лежали верхушками в воде.

— Глядите,— проговорил Миша,— скоро тут будут совсем другие берега. Везде на оползнях и на песках будет поставлена стальная стенка. Уже и металл делают для этого. Стальной шпунт, слыхали?

— Слыхал,— растерянно ответил Шумейко.

У него опять сразу защемило сердце. Ведь тут еще никто, ни Миша, ни его товарищи, никто не знал, что шпунт не удался. И опять в уме засверлил прежний вопрос: почему же? Почему?

Шумейко уступил свое место новым игрокам.

Он перешел к другому столу, где лежали газеты и журналы. Рассеянно перелистал «Огонек». Фотографии показывали погрузку автомобилей-самосвалов на железнодорожные платформы, работу над новыми мощными лампами дневного света в московском научном институте, сборку экскаваторов в малоизвестном городке Коврове. Да, повсюду творятся большие дела. А он, Андрей Шумейко?

Как он мечтал о шпунте! По ночам видел, как металл течет в калибрах. Мечтал, что этот шпунт — сплоченная стальная стена, стальной ряд, забитый глубоко в землю, через который не проникнет вода,— мечтал, что этот шпунт станет широко известным в народе, полюбится народу... Шумейко далеко занесся в своих мечтах. Не только на крупных гидростанциях, но и на любой колхозной плотине виделся ему стальной шпунт. Сейчас такие плотины насыпаются из земли, укрепляются деревянными сваями, кольями, перевитыми плетнем, и все же почти каждую весну полая вода рвет, уносит немало таких запруд. А когда появится шпунт — всем доступный, всем известный, массовый, дешевый сорт металла, забьют шпунтовый ряд поперек речки или ручья: вот и плотина. Никакой паводок ее не стронет, век будет стоять. А оползни? Разве зря уже идет молва про будущие стальные берега?

Конечно же, такой шпунт будет,— даст ли его Шумейко или другой калибровщик.

Да, или другой калибровщик... Ведь сказал же главный инженер: «Не вызвать ли Василия Павловича?» И Шумейко ответил: «Конечно, нужно вызвать».

Сейчас в воображении он увидел любимого учителя. Пачку сигарет в голубой коробке на подоконнике... Мундштук в пожелтевших от никотина пальцах... Однажды, в сумерках, когда в комнате, где находились рабочие столы Василия Павловича и его ученика Шумейки, никто из них еще не повернул выключателя, не зажег света, старый калибровщик вдруг сказал:

— Как-то встретил я нищего... Слепого нищего...

Он подошел к окну, не глядя на Шумейко. Тот молчал. Это так редко случалось, чтобы Василий Павлович говорил

не о металле, не о калибровке. Что же он скажет дальше? Шумейко боялся неосторожным словом спугнуть настроение старика.

— Его вел мальчик, и он пел,— продолжал Василий Павлович.— В его песне были слова: «Я половина человека»...

— Половина человека?! — воскликнул Шумейко.

Когда-то, много лет назад, еще в Ново-Уральске, на одном из заседаний бюро комсомола он сам, Андрей, употребил это выражение.

— Да... Половина человека...— повторил Василий Павлович.— И знаете...

Он вставил в мундштук сигарету, но не закурил, не чиркнул спичкой, продолжая сумерничать.

— Знаете... Мне показалось... Показалось, что и я... Я тоже половина человека...

Высказав эту, очевидно, мучившую его мысль, Василий Павлович не стал вдаваться в разъяснения. Он по-прежнему смотрел в окно. Жалость охватила Андрея. Он сразу понял, о чем говорит его учитель.

Оба молчали... Василий Павлович отошел от окна, зажег спичку, поднес к сигарете. Андрей увидел его морщины, выцветшие добрые глаза, глубокие складки у губ. И снова нахлынула жалость.

И все же... Все же вот теперь, когда обнаружилось, что с новым профилем стряслась какая-то еще никому на заводе не ясная беда, в которой, возможно, виноват калибровщик, приглашают его, Василия Павловича, того, кто сам себя назвал «половиной человека». Что же, может быть, и надо быть таким? Может быть, именно такие люди, узкие специалисты, не знающие иных интересов, кроме излюбленной профессии, и создают новые профили? И может быть, непонятная ошибка, которая произошла теперь... Шумейко не хотел формулировать дальше, но он все же это сделал... Может быть, ошибка в том, что он, Андрей Шумейко, человек не того профиля?

Подняв голову, он взглянул в темноватое, выходившее в коридор окно. В стекле неясно предстали его черты. Не слишком почтенная физиономия. Даже Миша, восемнадцатилетний хлопец, назвал было его «братком». Светлые встрепанные волосы,— никогда почему-то не удается их пригладить. Светлые брови. И эта оттопыренная губа. Нет, он не нравился себе... Нет, не гож ты, Андрей... Ко-

нечно, вся ошибка, вероятно, в том, что он не из тех людей, которые создают в технике новое.

В письме домой, которое он тут, в красном уголке, заканчивал, не отразились эти мысли. К чему писать о минутах уныния? Только одной Нине он когда-нибудь это расскажет. А сейчас... Сейчас, родные, ваш отец плывет очень весело, сидит в красном уголке, глядит через иллюминатор на реку, разлившуюся в последний раз,— да, да в последний, широким разливам на ней больше не бывать, вся вешняя вода будет задерживаться плотиной в водохранилище, в новом степном море,— видит берега, которые, как уже знают речники, скоро укрепит шпунт.

И вдруг это же слово — шпунт — опять донеслось от стола, где играли в домино. Предыдущие реплики Шумейко слышал в пол-уха:

— Ну, забойщик, ставь,— говорил кто-то.

— Нет, товарищи, я не забойщик. Если хотите знать, я закоперщик...

— Ишь ты... Закоперщик... С чем же это кушают?

— Закоперщик, это, товарищи, значит заправила, заводила на копровых работах... Эй, копра, на дело! Шпунт будем на плотине забивать. Вот кто я таков!

16

Шумейко вскинул голову. Шпунт? Он не ослышался?

Закоперщиком отрекомендовался худощавый, малорослый, как это можно было видеть, хотя он и сидел, человек со смуглым от постоянного пребывания на воздухе — на жаре и на морозе — лицом. На высоком лбу пролегли глубоко прорезанные тонкие морщины. По игре глаз, по размягченной, умиротворенной улыбке, по некоторым запинкам в речи и размашистому жесту можно было безошибочно определить, что закоперщик, или, как он о себе сказал, заводила на копровых работах,— в легком подпитии. Среди пассажиров, зашедших в красный уголок, Шумейко приметил и чернобородого молчальника, кого в своем письме он окрестил Карабасом-Барабасом, именем страшного бородача из сказки «Золотой ключик», вселявшего некогда робость в сердца его мальчишек. Он, как и Шумейко, внимательно смотрел на закоперщика.

Меж тем разговор за столиком, где «забивали козла», продолжался:

— С бригадой едете? Или в одиночном порядке?

— Нет, чудак человек, не в одиночном... Туда сейчас двинулся весь «Основстрой».

— Как?

— «Основстрой»... По сооружению оснований. Это наше звание: основстроевцы. Где монументальные сооружения, там и мы. Только я вернулся с отпуска, и сразу давай, давай, Ануфриев, без задержки на новую стройку. Все уже уехали, дело за тобой... Ну, это нам уже известно — где запарка, там Ануфриев... Где кладем основы, там Ануфриев...

Не нарушая хода игры, закоперщик ставил камни, когда ему приходила очередь, и разглагольствовал.

Бородач встал и подошел к играющим. Дослушав очередную тираду закоперщика, он произнес:

— Где же вы работали?

Шумейко предполагал, что у человека такого атлетического сложения будет обязательно богатырский голос. Однако тот заговорил неожиданно тихо. К тому же он пришепетывал — не вполне чисто произносил некоторые буквы. Сквозь черную заросль усов блеснули стальные зубы. Очевидно, обе челюсти были заменены протезом. Шумейко пригляделся и увидел, что борода скрывала след тяжелой раны на обращенной к нему стороне подбородка, впадину-шрам, где уже никогда не вырастет ни одного волоска.

— Э, дорогой товарищ! — воскликнул Ануфриев.— Спросили бы лучше, где я не работал... Москву знаешь? Театр Красной Армии знаешь? Кто под него сваи забивал? Ануфриев. Малый театр знаешь? Кто ему выправлял осадку? Кто был закоперщиком?

Далее Ануфриев помянул набережную Москвы-реки, причалы Севастополя, Мурманска, Владивостока, скиповые ямы в Магнитогорске, домны в Чусовой, коксовые батареи в Губахе, паровые молоты на Кировском заводе в Ленинграде,— везде он побывал, везде строил основания, заколачивал сваи или шпунт.

— А ШКО ты забивал? — по-прежнему тихим голосом спросил Карабас.

Шумейко сидел не шелохнувшись. Лишь приподнялись светлые брови. Неужели все это наяву? Неужели и вправду тут, на пароходе, люди, о которых еще вчера он не имел никакого представления, казалось бы, случай-

ные попутчики, толкуют о его детище, даже называют марку профиля?

— ШКО? Нет, такого не слыхали.

— Услышишь,— коротко сказал чернобородый.— Молотами двойного действия ты орудовал?

— Ну, это освоили... Стерлитамакского завода...

— Как они в работе?

— Хороши... Тонкая машина... Это молота «всех побивахом»...

На лице бородача вдруг выразилось такое удовольствие — губы расползлись в улыбке, небольшие глаза засветились,— что закоперщик воскликнул:

— Это, должно, ваши? Не конструктор ли вы будете?

— Нет... Я по внедрению... Должность такая — внедренец, понимаешь?

— Значит, внедряете Стерлитамак?

— Занимался этим... А теперь я в Краснощекове. Пустили там такой заводик, что... Про краснощековские молота слышал?

— Слухи слыхивал... Это какие же?

— Какие? Краснощеково знаешь?

— Ну, скажем, знаю...

— Нет, видать, не знаешь. Это Сибирь... «Во глубине сибирских руд»... Самая что ни на есть сибирщина. А теперь там такие молоточки сотворили... Такие молоточки, лучше чем Стерлитамак. Останешься доволен. Удар легонький. Вот так поглаживает...

Могучим, устрашающим кулаком внедренец несколько раз легонько стукнул в воздухе. Видны были несмываемые следы смазки и металла, давно въевшиеся в пальцы.

Он присел к столу, немного потеснив игроков.

— А это, если дозволите спросить, у вас откуда? — Ануфриев показал на страшный шрам, прикрытый черной бородой.

— Это... Под Корсунь-Шевченковским. Теперь-то ничего... Восемь месяцев слова не мог молвить.

— А мы прошли южнее... Прямо на Румынию. Кантемировская гвардейская стрелковая. Разрешите доложить: гвардии старший сержант Ануфриев... Где запарка — там старший сержант Ануфриев. Везде закоперщик.

Ануфриев, видимо, хотел пуститься в воспоминания, но Шумейке не терпелось. Он направился к Карабасу. Впрочем, и в мыслях калибровщик уже не называл его

так. Шумейке было досадно, что этого человека, так страшно раненного на войне, он избрал в своем письме объектом шутки. И кроме того... Кроме того, этот милый чернобородый внедренец только что произнес три буквы «ШКО».

Шумейко подошел к нему и совершенно безразличным, как ему казалось, тоном произнес:

— Вот вы сказали ШКО? У вас забивали этот профиль?

— Я не дождался... Шпунт к нам еще идет. А я... Вызвали с нашими молотами сюда на стройку. Экстренно вызвали... И вы тоже по шпунту?

Шумейко коротко ответил:

— Да...

Ануфриев весело сказал:

— Ясно, по шпунту... Все мы едем по поводу шпунта. Вон сколько народу стронулось — тут и Сибирь, тут и Москва. Всей Россией поднялись... Так неужели не забьем?

Кто-то пошутил:

— Раз Ануфриев тут, стало быть, забьем. Одно слово: «Основстрой»...

Но закоперщик не подхватил шутки.

— Мы все «Основстрой»,— серьезно проговорил он.— Основстроевцы, понятно?

17

Сумерки. Ветер утих. На реке зажглись огоньки бакенов.

Шумейко давно бросил свое письмо в почтовый ящик на небольшой пристани. Последнее добавление он вывел на уже заклеенном конверте. «Опускаю письмо в заслуживающем внимания месте. Пока это только пристань Хуторки. А через три года здесь будет огромный порт. Побольше Ростовского. Здорово?»

Теперь Шумейко стоит на верхней палубе у штурвальной будки, где за рулевым колесом восседает Миша. На старшем штурвальном уже не косоворотка с небрежно распахнутым воротом, а рабочая форма речника — суконная черная куртка, так называемая форменка, и черная фуражка с красивым, вышитым серебряной канителью гербом.

Уже близка конечная остановка парохода, пристань «Гидрострой». Почти все пассажиры уже вышли на палубы, вглядываются в даль или в проплывающие, неясно различимые в полумгле берега. Можно разглядеть нескончаемые горы булыжника, сложенные на береговой излучине. Усилилось движение по реке, подчас проносятся моторные лодки, катера, обозначающие себя освещенными окнами и сигнальными разноцветными фонариками. Прошумит такое встречное судно, и опять тихо на широко разлившейся реке... Уже не свистит ветер, улеглась волна, от спокойной воды, в которой играет отражение звезд, исходит глубокий темный блеск. Слышно лишь, как ударяют по воде плицы колес парохода.

Темнеет. Уже не распознаешь булыжника на берегу. И вдруг вдали на подернутом чернотой небе показалось легкое, смутноватое, будто предрассветное сияние.

— Она,— произнес Миша.— Стройка...

Голос его прозвучал торжественно. Никто не отозвался. Все глядели туда, на проступавшее все яснее, явственнее с каждой минутой белое зарево электрических огней. Можно было подумать, что впереди очень большой город, в котором ярко освещены множество площадей, тысячи улиц. Потом на бледном мерцающем фоне стали выделяться отдельные более яркие туманности, своего рода озера светящихся точек. Казалось, до них еще очень далеко. Миша сидел выпрямившись на своем посту. Подчиняясь его рукам, уверенно поворачивающим штурвальное колесо, пароход продолжал огибать излучину... В какой-то момент из-за поворота неожиданно ударил в глаза ослепительный прожекторный луч. Шумейко невольно зажмурился. Полоса света двигалась, обгоняя пароход. Теперь можно было увидеть, что не один, а несколько прожекторов, укрепленных на кузове большого, высокого, словно ангар, экскаватора, поворачиваются вместе с этим кузовом вслед за длинной стрелой, выносящей из выемки по крутой дуге повисшей на стальных канатах ковш. Вот ковш, почти серебристый в белых электрических лучах, неслышно опрокинулся. Темная неясная масса вынутого грунта посыпалась в отвал. Медленно поднялась, заклубилась пыль. Но ковш вместе со стрелой уже отправился обратно, гребень отвала исчез в сумраке, пучки ослепительного света снова прошлись по реке, по пароходу, заставляя жмуриться.

— Шагающий,— сказал штурвальный.

Он поднял руку, взялся за шнур, потянул вниз. Низкий протяжный гудок — салют приближающейся стройке — разнесся над рекой.

Вот и фонари пристани... Пароход осторожно, плавно подвалил к барже. Затихли плицы, брошены чалки, спущены мостки.

Виднеются силуэты автобусов, грузовиков, легковых машин на берегу. Можно прощаться с пароходом, выходить.

18

Кабинет начальника строительства Ивана Аникеевича Свешникова. Шторы на окнах не задернуты. За стеклами — сияющая электричеством белая ночь стройки. Все время слышно, как мимо дома мчатся и мчатся машины. По стенам кабинета, где горит лишь настольная лампа, то и дело проползают световые полосы от проносящихся автомобильных фар.

На рябоватом лице Свешникова большой, что называется, утиный, нос. Руки, которые сейчас держат письмо, поданное калибровщиком Шумейко, знавали, несомненно, лопату или молот. Пальцы сильные, широкие, с коротко подстриженными крепкими ногтями. Большой палец правой руки искалечен — на том месте, где положено быть ногтю, розовеет мягкая округлость, словно маленькая культя. На висках пролегла седина.

— Садитесь, садитесь, товарищ Шумейко. Значит, прямо с парохода?

Прежде чем начать разговор, Свешников вызывает секретаршу, дает ряд распоряжений. Затем говорит:

— Кстати, позвоните в гостиницу... Товарищ только что...

— Знаю. Уже, Иван Аникеевич, позвонила.

Он отпускает секретаршу, оглядывает севшего в глубокое кресло металлурга.

— Так, — неопределенно выговаривает начальник стройки.— Это вы, товарищ Шумейко, работали над этим профилем?

— Я.

В другой момент Шумейко не сказал бы так. Он назвал бы имена многих товарищей по заводу, инженеров и рабочих. Однако тут, когда следовало отвечать за не-

успех, он произнес «я». Пауза. Свешников внимательно смотрит на представителя завода. Почему у этого инженера такой вид, словно он сейчас изречет нечто смешное? Свешников невольно улыбается.

— Конечно, не я! — выпаливает Шумейко (ему показалось, что начальник стройки заподозрил его в хвастовстве).— Не один я. Все работали над новым профилем, весь цех. Но закоперщик я.

— Закоперщик? Уже и в забивке кое-что понимаете?

— Нет, не особенно. Не могу этим похвалиться. Сегодня на пароходе встретил закоперщика.

— А, кадры «Основстроя»? Хорошо, подъезжают основстроевцы. Ну-с, товарищ закоперщик...— У Свешникова неторопливая, спокойная манера, он не прочь в подходящую минуту пошутить, но Шумейке чудится, что начальник стройки разговаривает с ним подчеркнуто сухо.— Ну-с, товарищ закоперщик, неладно с вашим детищем. Мы уже больше месяца бьем шпунт и, по существу, ничего не забили.

— Ни одной шпунтины?

— А что нам одна? Одну-то еще загоняем. А вот следующую в сплотку с первой не можем забить.

Шумейко знал, что услышит здесь эти или подобные слова, но теперь, когда они прозвучали, он, как и на заводе перед синькой, в которой было вычеркнуто слово «шпунт», опять чувствует боль. Помолчав, Свешников спрашивает:

— Скажите, вы себе ясно представляете, какую службу у нас будет нести ваш шпунт?

— Конечно, более или менее представляю...

— Так... Все же давайте-ка это проясним.

Придвинув к себе большой блокнот, Свешников отрывает чистый лист и быстро набрасывает очертания плотины. Искалеченный палец без ногтя верно ему служит, крепко придерживая острый карандаш.

— Посмотрите,— говорит Свешников,— мы ставим плотину на песчаном грунте. Вот это все пески. Ниже — включения галечников. Еще ниже поясок водонепроницаемого мергеля. Видите, я его помечаю. Вода будет прорываться сквозь песок под бетонное сооружение. Если мы это дозволим, река постепенно подмоет плотину. Поэтому мы решили преградить путь просачивающейся воде шпунтовым заслоном, сплошным металлическим фартуком,

который достигнет — видите? — достанет, когда его забьют, этой прослойки мергеля.

Глядя на чертеж, Шумейко слушает объяснения начальника стройки. У этого человека с мужицким лицом, с широкой рабочей рукой точная речь инженера-гидротехника. В эту речь, своеобразно окрашивая ее, нередко врываются иные, так называемые простонародные, слова. Иван Аникеевич говорит и чертит, изображает на своем наброске расположение шпунтовых рядов. Снова немного помолчав, дав металлургу время рассмотреть набросок, он спрашивает:

— Ну, а если мы не сможем заколотить шпунт? Как же тогда?

И сам отвечает:

— Есть другое инженерное решение...

На том же листе он рисует это другое решение, требующее очень значительных или, говоря точней, огромных дополнительных работ по бетонированию ложа реки, примыкающего к верхнему бьефу.

— Видите,— объясняет,— этот вариант позволяет нам обойтись без шпунта. Однако,— тут он опять поднимает маленькие умные глаза на калибровщика,— тогда мы оттянем по крайней мере на год пуск гидроузла. Нарушим свое обещание.

— Из-за того, что?.. Из-за шпунта?

— Да... Когда в Центральном Комитете партии доложили, что шпунт не идет, то...

— Центральному Комитету докладывали про шпунт?

— Конечно. Когда там узнали, что... Одним словом, к нам на подмогу уже прибыл «Основстрой». И не только «Основстрой».

— Не только? — живо спрашивает Шумейко.— А что же еще?

— Сейчас к нам шлют молоты со всего Союза. Молоты новой конструкции, пневматические, дизельные, электрические...

— Электрические? Это что-то новое... Какие же они? Как они работают?

— Сам еще не видел. Ждем конструктора с его машинкой... Собственно говоря, это не молот в нашем обычном представлении, а вибратор. Мысль тут такова: загонять шпунтины не ударом, а способом вибрации.

— Когда же этот конструктор будет здесь?

— К сожалению, мы этого еще не знаем.

Теперь уже не начальник стройки, а приехавший крепыш металлург расспрашивает, требует ответа. Свешников нажимает кнопку звонка. В кабинет опять входит секретарша.

— Скажите-ка,— говорит Свешников,— давно ли мы запрашивали о приезде этого... как его... профессора?..

Стройка связана со многими профессорами во многих городах, но секретарша мгновенно угадывает:

— Крайнюкова?

— Вот, вот... Вибраторщика...

— Недели полторы назад. Сейчас, Иван Аникеевич, посмотрю и скажу точно.

— Не надо. Пошлите-ка снова телеграмму. Сообщим ему, что с завода приехал калибровщик. Поторопим... Еще раз напишите ему: для доводки механизма, для экспериментирования предоставим здесь, на месте, все условия.

Секретарша быстро записывает текст.

— Благодарю вас,— говорит Свешников, отпуская ее.

Еще некоторое время Шумейко проводит в кабинете. Начальник стройки охотно отвечает на его вопросы, опять для ясности кое-что чертит.

— Завтра, товарищ Шумейко, в котловане сами все увидите.

— Завтра? А сейчас?

Шумейко хочет сию же минуту, тут же, очутиться в котловане, где безуспешно бьют шпунтовый ряд. А Свешников смеется. У него раскатистый, заразительный хохот, моментами поднимающийся до дискантовых нот.

— Не круто начинай,— выговаривает он.— Круто кончай...

Шумейко понимает, что пора прощаться. Только вот эти листочки, эти чертежи, что набросал Свешников, ему хотелось бы взять с собой.

— Чтобы поразмыслить? — спрашивает Свешников.

— Да,— отвечает Шумейко.

Он не добавляет, что впоследствии, когда эти наброски уже станут ему не нужны, они займут почетное место в коробке с надписью: «Вести со знаменитой стройки».

— Значит, условились, товарищ Шумейко. Сейчас на боковую, а с утра за дело. По рукам?

Улыбаясь, он встает и протягивает прокатчику широкую, словно лопата, руку.

И вот наконец утро. Еще очень рано. В номере гостиницы полутемно. Свет проникает сквозь зазоры между занавесью и окном. Боясь разбудить соседей, Шумейко осторожно приподнимает край ниспадающей шторы. Не спится ему в первую ночь по приезде. На улице блистают обращенные к встающему солнцу стены домиков. По просторной, дочерна накатанной асфальтовой дороге то и дело проносятся грузовики, сопровождаемые длинными тенями. Шумейко быстро, бесшумно одевается. В какой-то момент, словно посмотрев на самого себя со стороны, он усмехается: куда, черт возьми, его несет в такую рань? Разве что-нибудь переменится в судьбе шпунта, если он, Шумейко, явится ни свет ни заря в котлован?

Он выходит из гостиницы. Неподалеку остановка автобуса, курсирующего по маршруту Управление — Котлован. Еще с вечера Шумейко заприметил на столбе фонаря зеленую дощечку, объявляющую об остановке. Скорей бы подошла машина. Но, посмотрев на золотистое, пока еще не ослепляющее солнце и вдруг ощутив холодок рассвета, он соображает, что, пожалуй, никакого автобуса сейчас не будет. Рано. Так что же? Стрелка на дощечке указывает маршрут. Вперед.

Он идет по улицам городка строителей. Некогда оглядываться. Но все же... Как изменились времена. Четверть века назад, когда он, Андрей Шумейко, вместе с группой товарищей приехал на площадку Ново-Уралстроя, на гигантскую стройку тех годов, немало народа там размещалось в бараках, в палатках, в землянках, отовсюду лепившихся к фронту работ. Барак, куда поместили прибывших курсантов, был сложен из прессованной сухой соломы, соломита. Хороший удар в стену кулаком — и кулак на улице. Сейчас Шумейко с улыбкой, с гордостью вспоминает об этом. Да, кое-что испытали, выдюжили, кое-что создали, свершили на родной земле. Еще в те времена заложили основание. Хорошо сказал вчера на пароходе закоперщик: «Все мы основстроевцы, понятно?» Замечательное слово — «основстроевец», «поколение основстроевцев».

Зато теперь где они, землянки? Вдоль широких проспектов просторно расположились одноэтажные и двухэтажные дома, то бревенчатые, свежие, с не обшитым

ничем срубом, то штукатуренные — кремовые и голубые. Около некоторых разбиты палисадники. На траве, на листьях акации, тамариска, густых вьющихся побегах винограда блестят капли росы.

На одном из перекрестков глазу вдруг открылся горизонт. Уходили вдаль стальные мачты высоковольтной передачи. Поднимались, двигались в утреннем голубом небе длинные стрелы экскаваторов. Они, видимо, не прекращали работы всю ночь. Из ковшей, вскидываемых ввысь, темными грудами падала, лилась земля. Свежая насыпь отмечала прорытое в степи, исчезающее за небосклоном русло. В другой стороне высился ряд портальных кранов. Над опорными рамами, напоминающими огромные буквы «П», тоже реяли стрелы, обтянутые черными нитями тросов. Сейчас один из кранов осторожно опускал висящий в воздухе на стальных канатах большой металлический каркас. Несколько ближе к городку вставали башни бетонных заводов-автоматов с наклонными загрузочными галереями.

Следуя повороту дороги, Шумейко повернул туда — к кранам, к бетонным заводам. Ему почудилось, будто в картине, которую он старался разглядеть, была некая странность. Казалось, в пейзаже чего-то не хватало. Но чего же? Шумейко пытался сосредоточиться на этом неопределенном ощущении, отыскать ответ, но другое впечатление отвлекло его.

Вдоль улицы, по которой он шел, тянулась толстая, почти в метр диаметром, стальная труба. Один из стыков, туго схваченный болтами, видимо, недавно протекал. Возле него наросла груда песка с пологими правильными склонами, будто приглаженными морской волной. Вода уже стекла с этого курганчика. Шумейко остановился. Как он ни стремился скорее в котлован, тут он не мог прошагать мимо. Он тронул ногой отлогую сыроватую поверхность — подошва не отпечаталась в песке. Он надавил сильней, даже ударил ботинком, однако песок был тверд, как монолит. Потом он, металлург-калибровщик, не удержался и провел рукой по стальной поверхности трубы. Интересно, где катали такую громаду? Наверное, на новом большом стане в Заднепровье... Шумейко уже сообразил, что перед ним трубопровод землесосного снаряда, перекачивающего на многие километры неисчислимые количества так называемой пульпы — смешанного с водой песка. Вон идет полукругом светлый, сливающийся с блестящим

небом контур насыпанного, или, верней, намытого крыла плотины. Да, да, туда, опираясь на железные стойки, простираясь над степью, подходят несколько пульпопроводов. Но где же землесосные снаряды, эти машины, перебрасывающие, перекачивающие грунт?

Шумейко оглянулся. Линия пульпопровода исчезала за поворотом. Куда же она ведет? Где дымовые трубы этих землесосных заводов? Где дымки над ними? Он обвел взглядом горизонт. И вдруг понял, чего не хватало в пейзаже. В небо не поднималось ни одной трубы, нигде не клубился дым. Лишь два или три паровоза дымили на путях, да и то слегка, будто стеснялись своей отсталости. И еще стлалась полоса дыма над невидимой отсюда рекой, по всей вероятности из трубы парохода.

А экскаваторы, краны, бетонные заводы, землесосы — все это действовало без топлива, без кочегарок и котлов, все это приводилось в движение электричеством. Величественная гидростанция, одна из тех, которым предстоит создать в стране новую электрическую технику, сама создавалась такого рода новой техникой, электрической техникой коммунизма.

20

Городок остался позади. Дорога пошла степью. Шумейко шагает по обочине. Идет он, как обычно, несколько враскачку,— в студенческие годы его дразнили морячком. На ходу он напевает любимую песню: «Раскинулось море широко». Кепка сползла на затылок, порывы ветерка шевелят клок встрепанных русых волос, глаза иногда щурятся, стараются все разглядеть.

Как-то сразу придвинулись, выросли, приобрели рельефность опорные рамы портальных кранов. Пожалуй, Шумейко уже близок к цели. Наверное, там-то и вырыт котлован. Оттуда катят и катят самосвалы, груженные песком. Порой из угадываемой выемки показывается кончик экскаваторной стрелы, прочерчивает короткую дугу и исчезает. Железная конструкция, которую опускал кран, тоже уже скрылась. Лишь по-прежнему натянуты державшие ее ниточки канатов.

Туда, к подножию кранов, въезжает по железнодорожной колее маленький зеленый мотовоз в голове нескольких

платформ, на которых выстроены конусообразные, характерных очертаний, бадьи с бетонной смесью.

Шумейко невольно ускоряет шаг. Конечно, там, именно там, укладывают бетон, воздвигают массив будущей плотины. Конечно, там же и забивают шпунт. Однако новое впечатление опять заставляет его остановиться. Перед ним раскинулся совершенно удивительный завод, или цех стройки. Если бы у Шумейки было сейчас время пройтись по территории, где велись работы, поразившие его, постоять, порасспросить, он бы узнал, что этот участок называется не заводом и не цехом, а двором — арматурным двором. Из железных прутьев и стержней здесь монтировали огромные блоки, каркасы арматуры, необходимой в железобетонных сооружениях. Такая арматура заделывается, заливается бетоном, пронизывает во всех направлениях его толщу.

Виднелись выкрашенные алюминиевой краской, словно посеребренные, будки операторов. Из ближней выглянула девушка. Ей привиделось изумление и даже, пожалуй, восторг в глазах этого незнакомого, неожиданно появившегося человека. Нет, она ошиблась. Насмешливо оттопыренная нижняя губа словно говорила: «Этим нас не удивишь».

Девушка невольно улыбнулась. Такова особенность Шумейки: взглянув на него, почему-то хотелось улыбнуться. Тотчас отведя глаза, девушка продолжала уверенно, умело поворачивать рычажки на щитке управления. Ей, девушке с ямочками на щеках, в легком голубом платке, движениям ее небольших рук подчинялась на этом участке транспортировка металла, подача стержней к правильным и резальным станкам.

Всюду тут, на вязке арматурных сеток, тяжелый физический труд был заменен механизмами. Операторы, сплошь молодежь, управляли автоматикой. Даже точечная электросварка проводилась механически.

Путь Шумейки пролегает вдоль всего двора, и он может проследить, как возникает каркас арматуры. Вот этот каркас и готов! Краны подхватывают, поднимают этот остов, похожий на огромную длинную корзину, сплетенную из круглых полос стали, переносят к поданному сюда поезду, опускают на платформы. Вот просигналил маленький зеленый мотовоз... И каркас отправился, пошел туда, к портальным кранам. А механизмы продолжают чистить,

выпрямлять, резать, гнуть стальной кругляк, вяжут следующий каркас.

Шумейко шагает по обочине шоссе. Чем ближе к котловану, тем теснее в степи. К бетонным заводам тянутся длинные насыпи щебня, галечника, гравия.

Машинист мотовоза наблюдает из своего окошка, как льется бетон в бадьи, установленные на платформах. На розовых щеках и подбородке заметны два или три небольших пореза — похоже на то, что парень лишь учится бриться. Из-под кепки выбивается пышный, светлый, как лен, чуб, который, видимо, является предметом особой заботы молодого машиниста.

Поздоровавшись, Шумейко спросил:

— Как тут поближе, поскорее пройти в котлован?

— В котлован? Садитесь, подвезу...

Шумейко взобрался по железным приступкам в небольшой чистенький вагончик, где уже жужжал мотор.

— Только извините, жарко,— сказал машинист.— От мотора жарко. Ну, это уже отживает.

— Что отживает?

— Мотовозы. Скоро их отставим. Пустим тут электровозы.

Дав гудок, он плавно стронул, повел поезд. Шумейко еще раз внимательно оглядел его. Да, ничего особенного — обыкновенный советский паренек.

21

Наконец Шумейко у котлована, где воздвигается железобетонная плотина.

Калибровщик стоит на песке, на пологом откосе котлована, возле небольшой деревянной красной будочки. Такие будочки-киоски, далеко заметные из-за своего алого цвета, опоясывают всю чашу котлована, виднеются и на гребне и на склонах. Вероятно, их здесь около сотни.

От одной будочки к другой быстрым легким шагом ходит-похаживает юноша-казах в светло-голубой рубашке с засученными рукавами. На голубом четко выделяется маленький темно-красный значок с золотыми буквами ВЛКСМ. Комсомолец заглядывает в окошки, порой отворяет дверь, прислушивается к ровному, едва уловимому гудению электромеханизмов и опять, закрыв киоск, предо-

ставив самой себе машину, идет дальше. Уже второй раз он приближается к Шумейко.

А тот все смотрит и смотрит в котлован, на картину великого строительства. Вчера вечером, когда пассажиры с палубы парохода «Генерал Доватор» вглядывались в берег, в полумглу, в далекое еще зарево электрических огней, им вдруг ударил в глаза, заставил зажмуриться слепящий, яркий белый свет прожекторов шагающего экскаватора. Как ни странно, но теперь, в этот свежий ранний час, когда обширнейшая выемка, куда смотрит Шумейко, наполовину еще затенена, он опять испытывает нечто подобное, глаза поражены будто блеском, сиянием.

Позже в письме домой Шумейко именно этим словом и определил свое впечатление: сияние. Всегда сдержанный в выражении своих чувств, он, однако, так и написал: «сияние новой техники».

В отдаленной части котлована, напоминающего очертаниями чашу московского стадиона «Динамо», но увеличенную в несколько раз, вгрызались в грунт экскаваторы-«уральцы», расширяя выемку, а в центре уже был уложен слой бетона, целый бетонный плац, такой ровный, гладкий, что хоть бегай там на роликовых коньках. Туда, на эту твердую гладкую поверхность, так называемую водобойную площадку, будет ниспадать скатывающаяся с плотины вода. А пока среди блистающего бетонного поля стоят два стандартных сборных домика с радиомачтами на крышах, с выбегающими в разные стороны проводами телефонной связи,— два домика, где, видимо, расположен полевой штаб стройки. Близ штаба водружен большой щит-плакат, надпись на котором ясно различима: «Товарищи строители, выполним обещание, которое дали партии. Пустим реку через плотину в сентябре этого года».

В сентябре. До срока остается лишь четыре месяца, а плотина... Плотины еще не было.

С края на край, во всю ширину котлована, переброшена покоящаяся на высоченных металлических устоях эстакада, где проложены рельсовые пути для поездов и кранов. Оттуда свисали длинные каучуковые черные хоботы, сквозь которые стекали, ложились в основание плотины массы бетонной смеси.

А что происходит по другую сторону эстакады, где будет водонапорная часть? Ярус арматуры загораживает тот отрезок котлована, но оттуда доносятся тяжелые мер-

ные удары, там все время всплывают облачки пара. Это не шпунт ли забивают?

Шумейко поворачивается туда, прислушивается, но на глаза опять попадаются те же красные будочки, похожие на киоски прохладительных вод. Зачем они здесь? Каково их назначение?

Молодой казах приближается к Шумейке. Если калибровщик был поражен сиянием новой техники, как бы исходившим из этой огромной чаши, из пространства, в котором были сосредоточены буквально тысячи всяческих больших и малых механизмов, то юноша-казах заметил как бы отблеск этого сияния на лице Шумейки. Удивительно, каким восхищением светится лицо этого солидного человека в светлом полотняном костюме со сдвинутой на затылок кепкой. Да, конечно, солидного, такого плотного, основательного и все же,— если вглядеться в его немного лукавое, живое лицо,— все же еще совсем молодого.

Подходя, казах улыбается ему и встречает ответную улыбку.

22

— Здравствуйте,— произносит Шумейко.

— Здравствуйте,— тотчас откликается казах.

— Скажите, можно у вас спросить...

Не дожидаясь, пока Шумейко кончит фразу, казах с готовностью быстро восклицает:

— Пожалуйста, пожалуйста!..

Шумейко спрашивает о красных павильончиках. Для чего они расставлены? Для чего нужны машины, находящиеся в них?

— Пожалуйста,— повторяет казах.— Можно смотреть. Можно и воды попробовать...

— Воды? Какой воды?

Казах снова улыбается, показывая ровные, белые зубы. Ему приятно, что он, по обычаю своего народа, может хоть чем-то угостить этого обратившегося к нему человека, по всем признакам, пришедшего сюда впервые. Отворив будочку, легкий, узковатый в кости юноша в голубой рубашке быстро достает стакан, наклоняется, поворачивает маленький кран. На земляной пол бьет тонкая сильная струя. Хозяин передает гостю наполненный, прозрачный, как хрусталь, стакан.

— Спасибо,— говорит Шумейко.— Не знаю, как вас называть.

— Джабиль,— отвечает комсомолец.— Электрик Джабиль Агишев.

Он с гордостью выговаривает слово «электрик». Шумейко медленными глотками пьет. В воде, очень чистой, холодной, какой-то странный и, пожалуй, приятный, будто железистый привкус. Такой воды Шумейко никогда еще не пробовал. Держа стакан, он вопросительно смотрит на электрика.

— Земля! — восклицает тот.— Такой вкус дает земля.

Затем он объясняет, что насосы непрерывно осушают котлован, сосут воду из земли. Ведь здесь же совсем рядом, в двухстах метрах от противоположного, вон там, края котлована, течет река. Громадная русская река, которая будет повернута сюда, пропущена через плотину. Нижняя отметка котлована на восемнадцать метров ниже уровня реки. Вода немедленно бы затопила тут все, если бы не эти будочки, эти электронасосы.

— Глядите,— указывает Джабиль,— внизу есть даже немного пыли. Глядите, где едут машины. Вот как там сухо. Это мое... Моя ответственность...

С готовностью, со знанием дела, свободно пользуясь специальными терминами, он, электрик-комсомолец, отвечает на разные вопросы Шумейки. Высота плотины? О, плотина будет выше эстакады. Будет даже выше, чем кончики стрел на портальных кранах. Здесь река прыгнет вниз с высоты в двадцать пять метров. Вся эстакада со стальными стояками останется в теле плотины, будет замурована, как арматура в массиве бетона. Хоботы, свисающие с эстакады? О, это не просто хоботы, а виброхоботы. Вы слышали об этом? Вибрирующие хоботы. При вибрировании сцепление между частицами бетонной смеси ослабевает, масса приобретает текучесть, стремится заполнить целиком все просветы арматуры. Конечно, это электрические хоботы. А как же? Он даже обижен, этот молодой электрик, таким вопросом Шумейки. Здесь все действует от электричества. Откуда энергия? Глядите, вон стальные мачты, провода. По этой линии мы получаем сюда ток из Днепрогэса.

— Из Днепрогэса? За тысячу километров?

Джабиль улыбается. Вопросы Шумейки доставляют ему, электрику-казаху, рабочему великой стройки, нескры-

ваемое удовольствие. Шумейко смотрит на его радостное смуглое лицо, на блестящие глаза. И калибровщику вдруг припоминаются первые бригады казахов-землекопов на площадке Ново-Уралстроя.

...Зима. Изморозь повисла в воздухе. Затвердевшую, схваченную стужей землю бурят, взрывают, глыбы раскалывают стальными клиньями, по которым с размаху бьют кувалдами. Траншею шинного туннеля роет бригада казахов. На многих лисьи малахаи, пестрые восточные ватные халаты, уже кое-где порванные, истрепавшиеся, с торчащими из дыр клочьями ваты. Казахи тоже бьют кувалдами по стальным клиньям, бьют неумело и несильно, с трудом откалывая куски земли. Часто садятся отдыхать. Некоторые озираются на смутные в тумане стальные громады домен, извергающие синее пламя. Древний даровитый народ с большой самобытной культурой, казахи тогда только начали приобщаться к индустрии.

Как-то на дороге, пересекающей из конца в конец площадку Ново-Уралстроя и уходящей далеко в горы, появилась странная процессия... Медленно переступают верблюды, на них неподвижно восседают люди с монгольскими, как бы бесстрастными лицами. Впереди старики аксакалы. Никто из них не глядит по сторонам, словно не удостаивая взглядом этот мир, эту непонятную силу, вторгшуюся в пустынные горы. Гудят доменные печи, над одной полыхает вырвавшийся из печи газ; по рельсам проходят ковши, наполненные жидким чугуном; дым паровоза, стелющийся над этими ковшами, озарен огненными отблесками; в разливочном пролете мартеновского цеха взлетают тысячи искр, там выпускают плавку, а у них, у кочевников, медленно проезжающих здесь па верблюдах, непроницаемые, замкнутые лица. Но на одном из верблюдов сидит позади аксакала мальчик. Он оборачивается, хочет все рассмотреть, охватить узкими зоркими глазами. На минуту он замирает, перестает вертеться, видимо, после замечания всадника, но любопытство, тяга к этому необыкновенному, сверкающему миру берет верх, он снова оглядывается, поворачивает туда и сюда голову.

...По-прежнему, словно хозяин, Джабиль показывает гостю местные достопримечательности, ему хочется еще и еще видеть интерес на лице Шумейки.

— Слышите,— произносит Джабиль,— слышите, как там стучат?

— Да, да, все время слышу. Что это?

— Это забивают шпунт. Стальные шпунтины... Знаете, для чего они нужны?

Но этот славный человек дальше не слушает. Он кивает, поворачивается и уходит. Уходит туда, откуда слышатся удары, где загоняют в землю шпунт. Джабилю обидно. Надо бы этому приезжему еще разъяснить, что такое шпунт.

23

Тропинка, протоптанная по песчаному откосу, ведет под железную эстакаду, перегораживающую котлован. Шумейко проходит под эстакадой. Остается еще несколько шагов, и он наконец у цели. Шумейко останавливается — то ли потому, что сильно забилось сердце, то ли просто оттого, что отсюда, с этой возвышенной точки, открылась вся панорама забивки ШКО.

На рельсах, проложенных по дну котлована, установлено несколько металлических башенных копров. Силой пара поднимается к вершине копра стальная чушка, так называемая баба. В какой-то момент стоящий у копра рабочий дергает длинную веревку, ведущую вверх к коромыслу парораспределительного крана, пар с шумом устремляется наружу, и баба падает, ударяя по торцу шпунтины.

Было нечто очень знакомое в этой картине. Конечно, еще на площадке Ново-Уралстроя Шумейко видел такие же бабы. Да что Ново-Уралстрой? Испокон веков подобным же способом, даже без паровой машины, вручную, при помощи ручного ворота, поднимающего бабу, забиваются всякие сваи. Но здесь почему-то стальные шпунтовые сваи не идут, не поддаются мерным нескончаемым ударам бабы.

Невеселая картина представляется взору калибровщика. Вот он и встретился со своим детищем. В разных местах торчат загнанные на некоторую глубину в землю одинокие шпунтины, подчас искривленные, их уже никто не пытается забивать дальше. Их концы расплющены, разбиты многими тысячами ударов. Некоторые, тоже с размочаленными головами, выдернуты из земли и валяются там-сям, согнутые, смятые. В них не сразу признаешь те

ровные, прямые, с сизоватым отливом — только что из-под валков — полосы шпунта, которые ушли сюда на железнодорожных платформах с торжественными надписями: «Строителям плотины от металлургов «Югостали».

Нет, здесь, по эту сторону железной эстакады, глаз не встречает той красоты, того сияния, что как бы излучал главный фронт работ.

Мимо копров, мимо погнутых, брошенных свай старший калибровщик «Югостали» идет к домику, где разместилось управление «Основстроя». И вдруг его окликает звонкий голос:

— Товарищ Шумейко!

Он оглядывается. На стеллажах, покрытых досками, кое-где уже зачерненными маслом, монтируется какой-то механизм. Легко перескочив через тавровую балку, лежащую на двух стояках-опорах, к Шумейко быстро подходит улыбающийся молодой рабочий в сапогах, в замасленной брезентовой куртке, туго стянутой ремнем. В первый момент Шумейке чудится, что перед ним откуда ни возьмись вальцовщик Боровик... Тот вот так же легко перескакивал через стальные перила, ограждающие прокатное поле. В довершение сходства на лбу этого парня косой темный штришок смазки. Или царапина? Да-да, царапина. Он выше, тоньше станом, чем плотный, коренастый Боровик. Кто же это?

— Товарищ Шумейко, не узнаете? Ступина не узнаете?

Шумейке неловко признаться, но он не помнит, кто такой этот паренек, что так открыто улыбается ему.

— Ступин, Василий Ступин,— повторяет рабочий.— Мы же у вас забивали сваи под рельсопрокатный стан. Я был у вас в политкружке. И писал заметки. Ну «Боек». Помните, «Боек»?

— Боек?! — восклицает Шумейко.— Так бы сразу и сказал.

Он мгновенно вспоминает стесняющегося нескладного подростка, в ту пору только еще выпущенного из ремесленного училища, масленщика на компрессорах, который приносил ему, редактору стенной газеты, заметки, подписанные «Боек».

Они садятся на свежие доски — обрешетку стеллажа. Слесари ведут сборку, кто-то залез под обрешетку, лег там, словно шофер на спину, из-под стеллажа торчат лишь большие сапоги. Ступин кричит туда сквозь доски:

— Филипп Филиппович, встретил знакомого. Позвольте перекурку.

Получив разрешение, Ступин не тянется за папиросой,— он не из курильщиков, хотя отдых все равно называет перекуркой.

Присев, Шумейко на минуту чувствует усталость. Шутка ли такой конец: Управление — Котлован. Столько необычайных впечатлений, одно за другим...

А может быть, это не усталость? Если говорить начистоту, Шумейко подавлен печальной, даже мрачной, как ему кажется, картиной забивки шпунта. Конечно, он не вешает носа, не показывает, что приуныл. В такой момент ему особенно приятна эта нежданная-негаданная встреча редактора с рабкором, с Васей Ступиным, «Бойком», который знает, помнит «Югосталь», рельсопрокатку, стенгазету «Рельсы коммунизма».

— Боек, Боек,— говорит Шумейко.— Вот здорово. Как же ты сюда попал?

— А с «Основстроем». Я, Андрей Михайлович, теперь помощником механика.

— Ого! Скажи-ка мне, помощник механика, как тут со шпунтом? Знаешь, где его катали?

Разумеется, Ступин знает. На каждой шпунтине оттиснуто слово «Югосталь». Шумейко рассказывает Бойку, как изготовляли этот профиль, как уже торжествовали, но... В чем же, Вася, тут загвоздка? Ты думал об этом? Конечно, Боек думал. Еще бы не думать.

— Ну выкладывай, выкладывай, Боек. Глаз у тебя острый, рабкоровский,— говорит Шумейко.— Наверное, и здесь строчишь заметки?

— Здесь? Мы здесь еще не начали выпускать газету... Только неделя, как прибыли.

— Плохо. Редактор, видно, спит.

— Где тут разоспаться? Монтаж, молота новые подходят...— И Ступин смущенно добавляет: — Редактор-то я...

— Ты? Почитаем, поглядим твою газету...

— Андрей Михайлович, а если бы мы первый номер вместе?... Поможете?

— Своему рабкору? Придется помочь.

— А еще... Как вы думаете? Я ведь собираюсь на заочный. Чем я хуже других? И знаете куда. В литературный.

— Что же, способности у тебя есть.

— А мне, Андрей Михайлович, иногда приходит мысль: может быть, это нехорошо. Увлекаюсь механикой, электрикой, дизелями, моторами, а хочу на литературный... Может, надо выбрать что-нибудь одно из двух: или технику, или...

— Боек, Боек... Мы с тобой, кажется, очень похожи. И думки одинаковые. Признавайся, повесть пишешь? Об «Основстрое»?

— Только, товарищ Шумейко, никому не говорите... «Основстрой» у меня назван совершенно по-другому: «Фундаментстрой». А? Как вам кажется?

— Хорошо. Очень хорошо. Отлично... Только вот, Боек, загвоздка...

Они сидят на свежих досках, слегка пахнущих сосной. Шумейко показывает на торчащие шпунтины.

— Только вот, Боек, загвоздка... Шпунт-то у нас с тобой не идет... Скажи, в чем дело?

— Так сразу не скажешь...

— Ну, а не сразу?

— Еще не додумался, Андрей Михайлович.

— А другие рабочие что думают? Что предлагают? Собраны их предложения?

Шумейко и здесь, как и в кабинете начальника стройки, закидывает собеседника вопросами, допытывается, требует ответа. Ступин теряется под таким напором: многое из того, что интересует калибровщика, ему пока неведомо, неясно. Но это не обескураживает Шумейко: он продолжает расспрашивать. Ступин рассказывает о новых молотах, которые прибыли на стройку. Некоторые уже смонтированы, пущены в работу не только здесь, у этой эстакады, но в другом месте, на шлюзах, где по проекту тоже следует быть шпунтовой стенке. Но успеха нигде еще нет. Мучают перекосы, заклинивания в замках.

Из-под обрешетки выбирается тот, кого Ступин называл Филиппом Филипповичем. Шумейко с удивлением видит чернобородого внедренца с сибирского завода, Карабаса-Барабаса. Сибиряк улыбается, узнав Шумейко. Сквозь заросль усов поблескивают стальные зубы.

— Скоро повстречались,— говорит он.— Будем знакомы. Мнухин... Филипп Филиппович Мнухин.

Шумейко отрекомендовывается.

— Поздненько выбрались,— произносит Мнухин.

Он не вполне ясно произносит некоторые буквы, пришепетывает. Может быть, Шумейко ослышался?

— Поздненько? А вы когда же сюда явились?

— С парохода. Вместе с молоточком.— Мнухин употребляет уменьшительную форму, хотя его молоточек занимает несколько громадных ящиков, стоящих на песке, частью уже раскрытых.— И уже монтируем. Хотите поглядеть?

24

С этого часа для Шумейки слились день и ночь.

День и ночь, в три смены, велись работы на участке «Основстроя», как, впрочем, и повсюду, на всех пунктах стройки. В котловане не знали темноты. Не знали даже сумерек. Чуть меркло небо, как осветители включали тысячи фонарей, прожекторов, ламп дневного света.

Шумейко вошел в жизнь «Основстроя». Он приглядывался, изучал процесс забивки, расспрашивал закоперщиков, компрессорщиков, инженеров.

Даже в гостинице он жил по соседству с несколькими инженерами и техниками — основстроевцами, тоже обитавшими там. Как-то само собой случилось, что вместе уезжали в котлован, вместе возвращались на отдых.

В вечерний час Шумейко прилег на койку. Смыкаются, тяжелеют веки. Сквозь дрему он слышит, как дежурная в коридоре отвечает кому-то по телефону:

— Товарища Сороковых? Кажется, в номере...

Гм, звонок товарищу Сороковых. Это интересно. Кому, зачем понадобился главный инженер «Основстроя»? Слышны его шаги, он идет по коридору, полнеющий пятидесятилетний мужчина, Михаил Афанасьевич Сороковых. Он, как и Шумейко, недавно прикорнул. И вот вышел из номера в просторных пижамных штанах и в рубашке-сетке с короткими рукавами.

— Слушаю,— раздается его зычный голос.— Да, да, он самый... Что? Поданы на пути разгрузки? Сколько вагонов? Шикарно. А шеститонная прикатила? Я спрашиваю: шеститонная баба прибыла?

Получив утвердительный ответ, Сороковых довольно крякает и похлопывает себя, как в бане, по голому полному бицепсу. Задав еще несколько вопросов, он гулко кричит в трубку:

— Выгружайте и везите сразу же на место. Сегодня же начнем монтировать. Сейчас я к вам выезжаю...

Его голос слышен во всех комнатах на этаже. Машина стоит под окном. Шумейко вскакивает. Какой там отдых!

— Михаил Афанасьевич, я с вами...

— Прошу, прошу... Слышали? Завтра ахнем шеститонной.

Несколько минут спустя они уже в машине. Сороковых сидит на переднем сиденье, рядом с шофером, несколько откинувшись назад. Он переоделся в темную рубашку с галстуком, в рабочий коричневый костюм, в котором не постесняется забраться на копер, на кран или под стеллажи сборки. Кепка лежит на коленях. Ветер овевает вьющиеся седоватые пряди. Сороковых с удовольствием затягивается толстой папиросой.

Он работает в «Основстрое» давно, еще со времен первых пятилеток, с самого учреждения этого треста, созданного, как было сказано в постановлении правительства, для сооружения искусственных оснований и сложных фундаментов. Сороковых полюбил кочевую жизнь строителя, вечный напор, темп пятилеток, находил вкус в решении трудных технических задач, имел организаторскую жилку, волю, неистощимый запас сил. Несколько лет назад он был назначен главным инженером треста. Теперь, по его мнению, «Основстрой» — образцовая организация. Имеются отстоявшиеся, проверенные на многих стройках приемы работы. Сконструированы копры «Основстроя», паровые бабы «Основстроя». Еще не было случая, чтобы «Основстрою» не удалось заколотить сваи.

Обернувшись к Шумейке, он произнес — далеко не впервые — эту фразу. Всякий раз, когда Сороковых видит волнение, встревоженность в широких глазах Шумейки, ему хочется поделиться своим постоянно чудесным настроением. Разве не бывало, что дело не ладилось? Он, главный инженер, не сидел у себя в Москве, выезжал на место — нередко с бригадой закоперщиков, поддавал жару, темпа, все впрягались и вытаскивали. Пусть товарищ калибровщик перестанет нервничать.

— Хотя ШКО — это профилек, доложу я вам... Нелегкий профилек... Да не переживайте же, голубчик... Шеститонная приехала. К утру смонтируем и стукнем. Нет такой сваи, чтобы не поддалась шеститонной бабе. Поле-

зет, полезет, как миленькая, в грунт. Вот увидите — не захочет, а полезет...

И Сороковых крякает, будто хватив добрую чарку водки.

25

Копер шеститонной паровой бабы смонтирован, установлен на рельсы. Подъемный трос, пропущенный через проушину бабы, натягивается, влечет ее вместе с резиновым шлангом паропровода к вершине копра. Верхолазы укрепляют направляющие стрелы, приводят бабу в положение изготовки для удара.

Вовсю светит полуденное майское солнце. С эстакады по-прежнему стекают через виброхоботы массы жидкого бетона, заполняющего ячейки арматуры. Все глубже погружаются в бетон железные устои эстакады. По-прежнему стрелы портальных кранов спускают в котлован новые и новые каркасы, сплетенные из мелкосортных круглых профилей.

А внизу, на песке, на участке «Основстроя», стальной крюк подтаскивает обвязанную тросами шпунтину и медленно поднимает ее. Вскоре эта длинная, в двадцать пять метров, корытообразная, уже чуть порыжевшая полоса металла колышется, покачивается в воздухе. Ее заводят в замок уже забитой, торчащей на несколько метров соседней шпунтины. Команды подает Ануфриев, тот, кто еще на пароходе отрекомендовался заводилой на копровых работах. Разумеется, он уже не в том благостном, умиротворенном состоянии, каким был за игрой в домино, глаза внимательны, четок каждый жест, обращенный к машинисту подъемного крана или к рабочим копра.

— Вира!.. Майна!.. Майна!..— выкрикивает он.

Наконец шпунтина на месте, вошла своим замком в замок соседней. Оба замка тщательно вычищены, обильно смазаны, поднятая шпунтина, сомкнутая с забитой, легко скользит вниз под действием собственного веса и упирается в песок. Теперь надо начинать забивку.

Шумейко стоит возле этой пары шпунтин, приглядывается, наблюдает. Замок, погруженный в грунт полосы внизу, то есть ниже уровня земли, заполнен, плотно засорен песком. В этом-то главная трудность забивки. Надо не только вогнать на заданную глубину шпунтину саму по

себе, но и вытолкнуть, выбить песок, закрывший узкий, очень точно прокатанный просвет замка. Песок там застревает, царапает, заедает, заклинивает сталь. Может быть, калибровщику следовало бы сделать замки попросторнее? Нет, на это нельзя пойти. Само назначение шпунта — борьба с фильтрацией, с просачиванием воды — требует высокой точности в сплотке стальной стены. Строители пробовали при забивке как-либо закрывать этот просвет, приспосабливали специальные стержни, но такие попытки пока были безуспешны. Шумейко стоит, смотрит, думает.

Кран, установивший шпунтину, отодвигается, уступая место копру.

Ануфриев издает клич закоперщика, приступающего к бойке:

— Эй, копра, на дело!

Попыхивая паром, копер подвигается к шпунтине. Ануфриев проводит мелом на темной поверхности металла резкую белую черту. Глядя на такую метку, легче следить, как погружается шпунтина. Затем закоперщик взбирается по железной лестнице на одну из верхних площадок копра и тем же куском мела выводит на свае ее номер — 163. У Шумейки, внимательно следящего за всем, екает сердце: «Черт возьми, сколько штук уже испорчено». Рабочие копра заняли свои места. Двое держат длинные веревки, тянущиеся к бабе, к коромыслу парораспределительного крана.

Еще раз все оглядев, Ануфриев на своей площадке взмахивает рукой, словно командир-артиллерист, подающий команду «огонь», и выкрикивает:

— Давай!

Рабочий дергает веревку, наверху над бабой вылетает белый, словно ватный, клубок пара, и баба тотчас низвергается, наносит первый удар всей своей шеститонной массой. Видно, как дрогнула свая. Белая отметка подалась к земле.

— Пошла, пошла! — кричит Ануфриев.

Рабочие поочередно дергают веревки, баба то поднимается под давлением пара, то при его выхлопе срывается, обрушиваясь на торец шпунтины. Шумейко притрагивается к свае. Он, калибровщик, как бы ощущает напряжение металла от этих ударов. ШКО выдерживает эти удары. Сотрясаясь, он толчками уходит и уходит в землю. Профиль специально сделан корытообразным, чтобы не гнуть-

ся, не сминаться при таких напряжениях, и толщина рассчитана на удары самой тяжелой бабы. И все-таки Шумейко чувствует всем своим существом, как трудно металлу.

Он стоит, смотрит. Такова сейчас его работа. Калибровщик должен видеть, как применяется, как ведет себя в деле профиль металла, прокатанный по его чертежам. И потом совершенствовать профиль, глубоко понимая нужды, требования строителей.

Удары мерно падают. Проходит много часов. Вместо дневного светила зажглись сотни электрических солнц. Уже другой закоперщик ведет бойку. А свая все та же — № 163. Она ушла на добрый десяток метров в землю. Но по меловой отметке всем видно, что глубже шпунтина не идет. Шеститонная баба нескончаемо поднимается и падает, но шпунт уперся. Еще, еще сыплются удары. И вдруг металлическая полоса начинает сгибаться. Это пока едва заметно, но забивку тотчас прекращают.

Шумейко словно потемнел. Нет, он не раскис. По-прежнему кажется, что он подтрунивает над всяческими бедствиями, но на лбу, над переносицей вдруг пролегла морщинка, светлые брови сдвинулись.

Что же делать? Еще усиливать этот профиль? Увеличивать его жесткость? Сделать его более тяжелым, более грубым? Нет, чутье калибровщика восстает против этого... Ведь затрачено столько усилий, чтобы прокатать тонкое перо, шпору полосы, выдать из чистовой клети легкий прочный замок. Теперь отказаться от всего этого? Все отяжелить?

Шумейко с неприязнью смотрит на грубую стальную гирю, бабу, которая требует более грубого шпунта.

— Давай, давай, ребята, выправлять! — кричит закоперщик.

— Давай, давай! — раздается зычный голос Сороковых.

Рабочие обвязывают сваю стальными канатами, оттяжками и с помощью лебедок выпрямляют ее. И опять бухают, бухают удары. И снова день... Снова яркое майское солнце. Опять у копра командует Ануфриев. Высится та же шпунтина № 163. С каждым выхлопом пара падает, падает шеститонная баба. При каждом ударе баба упруго отскакивает — это знак, что свая уперлась, не идет глубже. Но закоперщик продолжает упорно бить. Вдруг лопа-

ется одна оттяжка, следом обрывается другая, шпунтина снова слегка клонится.

Приходится опять останавливать забивку. Главный инженер «Основстроя» Михаил Афанасьевич Сороковых досадливо покряхтывает. К нему подходит Ануфриев.

— Не идет, чтоб ей пропасть. Отказывается.

— Вижу, голубок... Вижу — не хочет и... И не лезет...

— Что же будем делать, Михаил Афанасьевич? Может, еще вдарить?

— Погоди... Надо нам с тобой подумать. Поработать головой. Пока кончай...

Ануфриев возвращается к копру, подает команду; древнюю команду закоперщиков, кончающих бойку:

— Копра, с дела!

Лебедка оттаскивает копер.

Из песка вздымается, торчит еще одна недобитая шпунтина.

Неподалеку стоят Шумейко и Боек.

— Скоро, наверное, выбросим все эти бабы,— говорит Ступин.

Шумейко усмехается.

— В скрап? На переплавку?

— А что? Увидите, так оно и сбудется. Уж ежели эта бабища не помогла, то... Слово-то какое. Вдруг на такой стройке... баба. Вы, товарищ Шумейко, ведь уже посмотрели стройку. Видели технику?

— Да. Там, за эстакадой, уже век электричества, а тут...

— Век пара,— подхватывает Ступин.— Истинная правда. В этом, по-моему, и причина. Профиль новый, тонкая вещь...

— Тонкая? — Шумейко не удерживается, чтобы не переспросить.

— Очень... все в аккурат. Размерчики тютелька в тютельку. А забиваем... Забиваем бабой. Вот и все...

26

— Вася, давай-ка плоскогубцы,— просит Мнухин.

Бригада основстроевцев под началом молчаливого Мнухина собирает последние узлы пневматического молота двойного действия Краснощековского завода. Тут по-

могает и Шумейко. Он уверяет, что совсем забыл прокатное дело. Какой он там калибровщик! Он основстроевец, механик, закоперщик. Нет, без всяких шуток, не может же он бездельничать, ходить и наблюдать, когда все работают.

— Не зевай, Боек... Берись-ка за боек,— говорит он.

— Андрей Михайлович, вы все-таки псевдоним не разглашайте.

— Ты думаешь, народ не догадывался, кто такой у нас Боек? Государственная тайна? Ладно, псевдоним твой кончился. Ты теперь подписываешься полностью: ответственный редактор Ступин.

Мнухин присоединяет шланг сжатого воздуха. Потом вытирает тряпками, или, как говорят, концами, замасленные большие руки. Приближается долгожданная минута — испытание собранного молота.

— Вася, открывай воздух,— негромко велит Мнухин.

Поворот рукояти — и молот застучал. Часто, часто застучал, вхолостую. Мнухин послушал, остановил, что-то отрегулировал, опять пустил, опять послушал. Какое у него хорошее, можно сказать, вдохновенное лицо. И дернуло же Шумейко назвать его Карабасом-Барабасом. Мнухин что-то произносит, но в трескотне молота нельзя расслышать ни одного слова. Филипп Филиппович опять выключает воздух. Молот затихает, теперь слышен пришепетывающий голос:

— Пошли испробуем, ребята. Благо ночь, начальников поменьше.

Через некоторое время молот подвешен к длинной стреле башенного крана. Поворачиваясь, описывая огромную дугу, стрела несет его в воздухе к линии будущего шпунтового заслона. Поглядывая на молот, бригада идет вдоль эстакады. Не смолкает мерный металлический стук баб. Шеститонная отставлена, но другие продолжают действовать, упорно колотить. Впереди всех шагает Вася Ступин. Ему не терпится испробовать в деле молот, необычный новый молот, который он собственными руками собирал. В электрическом свете чернеет недобитая шпунтина № 163 с оборванными тросами. Ступин шагает мимо.

Но Мнухин зовет:

— Вася, постой...

Он не может крикнуть, но десяток голосов дружно подхватывают:

— Вася, сюда! Вернись!

Мнухин оглядывает торчащую, поднимающуюся почти до помоста эстакады шпунтину № 163, потом подмигивает бригаде:

— Ребята, не добить ли эту?

Кто-то высказывает сомнение:

— Чего порченное трогать?

Но Ступин уже загорелся:

— Добьем, Филипп Филиппович. Вот это будет ловко... Сейчас ее подтянем...

Боек — уже преданный сторонник внедренца из Сибири, рьяный патриот краснощековского молота. Покажем этим бабам, черт их побери! Он бежит в кладовую.

Вскоре свая № 163 обвязана новыми тросами. Работают лебедки. Натягиваются тросы. Шпунтина вновь поставлена строго вертикально. Ступин проверяет по отвесу прямизну.

— Хорошо! — кричит он.

Филипп Филиппович еще раз сам все оглядывает. Мотнув головой в знак одобрения, он отдает новые распоряжения своей молодой ватаге. Надо очень точно установить молот на шпунтине, закрепить его там. По рельсам подъезжает кран. Мнухин взбирается в кабину машиниста. Вася с товарищами крепят молот к свае. Шумейке снова приходится только смотреть. Стоя на песке, он глядит вверх. Этот молот будет работать без копра. Он, как и другие молоты двойного действия, не обрушивается на сваю силой своего веса, а наносит специальным бойком частые легкие удары. И кроме того, краснощековский молот умеет и кое-что еще.

Вот он застучал... Звук очень мягкий,— вероятно, молот опять пока пущен вхолостую. Но что это? Свая стала подергиваться, чуть-чуть пошла наверх. Ого, какой молот! Действительно чудо-молоточек! Тянет заклинившуюся сваю на себя. Теперь звук переменился, стал жестче, это уже ударяет сталь о сталь. И вдруг шпунтина, которая не поддавалась страшным ударам шеститонной бабы, медленно поползла вниз. Заметно, как близится к земле белая отметина и цифра 163.

Шумейко смотрит на часы. Двадцать минут третьего. Прожекторы и лампы, размещенные в сотне или, может быть, в тысяче точек на эстакаде, на кранах, на копрах, на фонарных столбах дают ровное, без резких теней, освещение. Да, хорошо испытывать новый механизм в такой

спокойный глухой час. Ну и удивится же Сороковых, когда утром увидит, что номер 163... Позвольте, а кто же это идет к шпунтине? Кто гаркает на весь котлован:

— Андрею Михайловичу мое...

Да, да, это он, полнеющий, неутомимый, жизнерадостный Михаил Афанасьевич Сороковых. А вот съезжает с откоса «газик», подкатывает сюда. Из машины выходит начальник стройки Свешников. Уже собираются? Уже знают об испытании?

27

Наступает утро. Молот все работает. Уже забиты номера 163 и 164. Медленно погружается шпунтина 165.

Шумейке уже нечем помочь бригаде сборщиков, он больше не закоперщик, не механик. Он часто присаживается на доски или на лежащие шпунты и сидит так, уставившись на свое детище. Его новый плащ, в котором он чувствовал себя на пароходе почти щеголем, сейчас измят, запачкан ржавчиной, песком. Шумейко этого не замечает. Он поглощен иным: у него на глазах забиты сваи ШКО 163, 164, идет в грунт 165. Чудесное утро. Вася Ступин уже сдал смену, ушел переодеваться и сейчас подходит к фронту забивки в пиджаке, в поблескивающих черных ботинках. Под мышкой толстая книга. На корешке оттиснуто «М. Горький. В людях». Много читать в эти дни не приходится, но у Бойка правило: хоть страницу в день. Можно будет почитать в автобусе... Впрочем, надо еще успеть по дороге домой заглянуть, будто невзначай, на арматурный двор, где работает некая девушка. Можно без устали глядеть, как движениям ее небольших рук подчиняется транспортировка металла, подача стержней к правильным и резальным станкам. Вечером надо будет предпринять более серьезное ознакомление с арматурным делом. А пока... У Бойка множество всяких планов. Прежде всего надо бы выспаться после ночной смены. Затем... Но он не уходит, смотрит и смотрит, как работает краснощековский молот.

И вдруг... Молот звучит по-иному. Его стрекот, звук частых ударов металла о металл сразу стал резче. Все настораживаются. Сколько ни гляди, белая черта застыла на месте. Шпунтина уже не погружается. Молот продолжает бить. Напрасно...

По знаку Мнухина выключают воздух. Он сам, чернобородый внедренец, поднявшись к молоту, переводит его на обратный ход. Молот опять пущен, свая дергается, двигается вверх. Молот ее снова забивает. Нет, она уперлась, не идет в грунт.

Всем понятным жестом Мнухин прекращает забивку. Молот смолкает, внедренец спускается с площадки крана. Шумейко идет ему навстречу.

— Филипп Филиппович... Это из-за чего?

Ему хочется спросить, не подвел ли профиль, не обнаружились ли сейчас какие-то пороки ШКО, но эти слова застревают в горле. Внедренец понимает калибровщика.

— Нет, дело не за вами,— говорит Мнухин.— Молот немного соскользнул от сотрясения и... И внецентренный удар... И перекос шпунтины.

— И что же делать? Нельзя ли поправить?

— Не поправишь... Надо выдергивать.

Ступин стоит, вытянув шею, прислушивается к тихому пришепетывающему голосу. Как же это так? Нельзя поправить...

К Мнухину подходят Свешников и Сороковых. Начальник строительства расспрашивает сибиряка. Тот повторяет объяснение. Свешников выслушивает, задает несколько вопросов, потом отпускает внедренца.

— Теперь дожмем! — восклицает Сороковых.— Теперь пойдет... В основном, Иван Аникеевич, задача решена.

— Вы думаете? — произносит Свешников.— Так и будем работать с перекосами, с выдергиваниями?

— Дожмем,— говорит Сороковых.— И ведь... Ведь никаких более совершенных молотов у нас с вами, Иван Аникеевич, нет. И ждать нечего...

— Вот как?.. От профессора Крайнюкова телеграммы не было?

— Нет, Иван Аникеевич. Ничего не было.

— Ну, будет. И сам он скоро у нас будет.

28

Шумейко привык держать слово. Он каждый день пишет своему семейству. В его блокноте, из которого он выдернул первые листки еще на пароходе, почти не осталось чистых страниц. Только вот беда — исписал-то он много,

но как-то так случилось, что несколько дней ничего не отсылал. Не успевал дописать, оставлял незаконченным.

Сегодня, вернувшись в гостиницу из котлована после первого опробования краснощековского молота, Шумейко приводит в порядок свои дела. Проглядев блокнот, он решает: пусть так и катят домой эти отрывочные записи, вести со стройки. Вместе с тем у него приготовлен сюрприз сыновьям: плотный конверт большого формата с отпечатанным в типографии штампом стройки. Это он выпросил для них у Елизаветы Николаевны, секретаря Свешникова. Такой конверт особенно приятно вложить в коробку, что стоит в книжном шкафу на полке, где красуется ярлычок: «Путешествия и открытия».

«Мальчишки, были бы вы со мной,— таковы первые слова одного из незаконченных писем,— сколько бы мог я вам показать. Вчера я взобрался на крышу бетонного завода и пожалел, что со мной нет нашего живописца Сережи. Приезжий художник рисует с крыши панораму стройки. Невозможно рисовать, жалуется он. Все тут меняется. Вчера стоял сарай, художник постарался изобразить, как блестит его просмоленная толевая крыша, а сегодня нет ни крыши, ни сарая, бульдозеры тут прокладывают дорогу, экскаваторы-канавокопатели роют кювет. А завтра и их тут уже не будет... Как же быть художнику? Что же рисовать?

С каждым днем вырастает и плотина... А город? Временный городок строителей отсюда скоро уберут, а постоянный город вырастет на холмах, которые не зальет вода. Там тоже все в движении. Сегодня фундамент, послезавтра коробка из блоков, а еще через несколько дней— здание... А река, которой мы любовались с крыши. В реку опрокидывают с баржей щебень, булыжники...»

А вот это письмо Шумейко начал писать в котловане.

«...Ребята, скоро здесь будет вода, огромное, шириной до тридцати километров, зеркало воды. Сейчас это трудно представить. Ухают, стучат паровые бабы, лязгает, звенит железо. Всюду песок. От проходящих машин поднимается пыль... Иногда совсем забываешь о том, как изменится все здесь к следующей весне. А потом взглянешь вокруг, на

небо, на солнце и вспомнишь: здесь засверкает необозримая водная гладь. И тишина... Вернее, однотонный, ровный шум водопада. Но этот гул не будет отпугивать птиц... Над водой, над нашим новым степным морем полетят белые чайки. Пойдут пароходы. Они ждут своих флотоводцев. Васенька, ты обязательно побываешь в этих просторах...»

«Нина! Всю жизнь мы с тобой делаем металл, но мы не думали, не представляли, что он таким потоком, такой массой может пойти в одно место, на одну стройку.

Краны, эстакады, мотовозы, экскаваторы, копры, арматурные каркасы, землесосные снаряды, трубы пульпопроводов — все это наше, все это металл. Тысячи, десятки тысяч тонн металла. Прибавь еще к этому наш шпунт. И не забудь про автомашины. Здесь они ходят нескончаемыми вереницами. Куда ни взглянешь — всюду грузовики, стальные самосвалы. А помнишь, как все мы следили за восстановлением «Запорожстали»? Помнишь эти заголовки во всех газетах: «Борьба за тонкий стальной лист». Вот он где теперь, автомобильный лист «Запорожстали»,— на стройках гидростанций, в тысячах машин Гидростроя».

«Знаете, мои хорошие, мне кажется, что я попал в огромную лабораторию. Я вам уже писал про виброхоботы. Это изумительная штука: вибрация, виброметоды бетонных работ. По залитому свежим бетоном пространству ходят девушки в резиновых сапогах, держа в руках небольшие стержни. Каждая из девушек опускает на минуту, нет, не на минуту, а на четверть минуты, палочку в бетон, вынимает и снова опускает в другом месте, рядом. Эти стержни — электровибраторы. Они вибрируют в бетоне, делают его жидким, текучим, а он сам собой уплотняется, заполняет все пустоты...

У нас на забивке шпунта тоже, наверное, будет испробован способ вибрации, вибропогружения. Ждем из Москвы конструктора виброаппарата. Обязательно, мои родные, вам все подробно опишу».

Но одно письмо Шумейко не отправил домой.

«...Если бы ты, Нина, знала, как я измучился. Представляешь, без всякого дела и в то же время в постоянном напряжении я стою и стою в котловане. Смотрю, как забивают шпунт. Я не могу понять: почему он не идет? Откуда

эти бесконечные перекосы? В чем неправильность профиля?

А что, если это — отражение какой-то неправильности во мне самом? Неправильности моего профиля? Понимаешь, перекос всей моей жизни.

И вдруг ты однажды мне скажешь: «Сам захотел стать таким. Не отдал всего себя металлу». И ты мне, может быть, напомнишь, что когда-то на бюро комсомола...

Нет, ты этого не скажешь, не напомнишь! Ты теперь и сама такая...

Знаешь, Нина, кто мы все такие? Мы — основстроевцы (здесь работает организация «Основстрой»). Мы творим новое государство. Разве мы делаем только металл?

Но что же со шпунтом? Вот мучение! Нина, мне тяжело. Если бы ты была теперь рядом со мной...»

Шумейко перечел это письмо и, устыдившись своей слабости, разорвал его.

29

Боек свободен. Еще утром он как бы невзначай прошелся по арматурному двору. Теперь в час, когда кончается дневная смена, у него опять пробудился живейший интерес к делу вязки арматурных каркасов.

Он приоделся, волосы после душа почти высохли, их удалось причесать почти ровнехонько на пробор. Он вышел бы без кепки, но надо хоть малость прикрыть подсохшую царапину на лбу. Стараясь не испортить складку на брюках, он усаживается на штабель стальных стержней арматурного двора.

На дворе почти не видно людей, но в высокой серебристой будке, разумеется, полагается быть оператору — тому, кто управляет перемещением стальных стержней к правйльным и резальным станкам.

Кажется, оператор уже заметил товарища Ступина. Из будочки, крытой алюминиевой краской, выглянул кто-то с ямочками на щеках, в легком голубом платке, выглянул, увидел помощника механика из бригады «Основстроя», опустил глаза, скрылся. Нет, нет, не думайте, что Надя его ждала. Собственно говоря, если хотите знать, она его даже не заметила. Просто, надо было посмотреть, как идет транспортировка. Левой рукой она поворачивает черный рычажок, ногой нажимает педаль; на ленту транспор-

тера ложатся связки прутков, придвинутые автоматическими стальными пальцами. Хорошо... Еще поворот рычажка... Так... И больше ничего на свете ее не занимает.

«Ладно,— думает Ступин,— не заметила? А нам это и не требуется».

Он склоняется над книгой Максима Горького «В людях». Уже несколько дней в свободные часы он увлеченно читает ее, но сейчас что-то мешает ему. Хочешь не хочешь, а перекошенная шпунтина, которую надо выдернуть, так и стоит перед глазами. Как Мнухин сказал? Внецентренный удар? А ведь вначале все так радовались успеху... Кругом все время раздается лязг железа. Ступин поднимает голову и невольно следит за процессом вязки арматуры. Следит далеко не в первый раз. Любопытное дело. Интересно, кто придумал такой способ? Раньше арматуру всегда завозили на место бетонных работ в виде отдельных прутков, стержней. А теперь вон какие блоки. Два крана поднимают громадный остов, для которого подано несколько платформ.

Раздается звонок. Этот трезвон — знак окончания смены. На часах ровно пять. Надя сдает сменщице пост, быстро в глубине будки достает зеркальце, поправляет волосы, косынку. Теперь немного, совсем немного пудры. Вы думаете, она для кого-то прихорашивается? Нет, она же никого не видела.

Спустившись с лесенки, она направляется к площадке, откуда пойдут в городок машины. Десяток шагов, другой... Быстренько, быстренько. Сейчас он нагонит, покраснеет, воскликнет: «Вот так повстречались!» Но сзади не слышно шагов. Девушка в голубой косынке идет медленней, затем останавливается, затем слегка поворачивает голову назад.

Васи Ступина нет... Что такое? Где же он? Ах да, ведь она забыла в будке что-то очень важное... Конечно, конечно, там, кажется, осталась вчерашняя газета. Надя решительно меняет направление и идет обратно.

Боек не видит ее. Он давно уже вскочил со штабеля и воззрился на поднятый краном каркас. Надя не может сдержать улыбки. Вот так же недавно ее насмешил Шумейко, впервые глядевший на арматурный двор. У Васи сейчас совсем глупое лицо. Кепка набекрень, сбоку на лбу наискось пролегла заживающая темная царапина. Книга

забыта на пачке стержней. Надя не знает, что перед ней изобретатель, озаренный вдохновением, догадкой. Тысячи лет изобретатели в подобные минуты восклицали: эврика, нашел, сообразил.

Надя подходит.

— Вася, ты? Вот не ожидала...

— Надя. Надька... Схватил... Нашел, ты понимаешь?

— Нет, ничего не понимаю.

— Схватил. Пойдем.

— Куда?

— В котлован. Пойдешь со мной? Мы сделаем. Мы...

— Мы?

— Да. Мы выставим стенку. Будем забивать стенкой... Соображаешь?

Нет, она еще ничего не соображает. Но хотя Надя совершенно случайно подошла к Бойку, теперь она идет рядом с ним, идет бог знает куда, в степь, в далекий котлован. По дороге Вася ей докладывает все подробности про ШКО. Как хорошо рассказывать, когда на тебя так понимающе глядят милые глаза и ты видишь такие знакомые ямочки на щеках.

— Надя, это так просто. Мы заранее соберем стенку из шпунта... Вот как у вас, на арматурном дворе, заранее собирают каркасы. Сделаем сплотку из ста или двухсот шпунтин. Поставим эту стенку. Представляешь? Так он у нас стенкой и пойдет.

— Бежим,— говорит Надя.

Они берутся за руки. Кто сказал, что Надя не героическая девушка? Смотрите, какой хороший вечер, а она уступает его этой, как ее, шпунтовой стенке.

— Вася, а к кому мы?

— Конечно, к Мнухину. Это такой человек. Это такой... Погоди, ведь он сейчас в гостинице...

И они поворачивают. Автобус подвозит их к гостинице. Лихорадка творчества пожирает Васю. Скорей, скорей к внедренцу. Ступин отворяет дверь.

Надя деликатно остается ждать его на скамейке у входа в гостиницу. Она рада, конечно, за этот шпунт, но все же...

Вот и книгу он бросил. Она с нежностью прочитывает заголовок: «М. Горький. В людях». Это книга Васи, он ее читает. Надя печально глядит на молодые топольки, чуть шумящие листвой на легком ветре. Уже смеркается...

Слегка розовеют облака. Что может быть лучше этого часа?

Из гостиницы выходит Ступин. Грустный, растерявшийся.

— Надя...

— Что случилось? Ошибка?

— Он спит.

— Спит?

Значит?.. В мыслях проносится: значит, можно пойти погулять. Может быть, этот Мнухин проспит до самой ночи.

— Спит,— повторяет Ступин.— И конечно, нельзя его будить.

Наде хочется воскликнуть: «Ну, ясно, нельзя!» — но она тихо произносит:

— Почему нельзя? По такому случаю можно и разбудить.

— Можно? Надя, ну до чего же ты всегда... Всегда правильно скажешь.

Он устремляется к двери, затем обарачивается и секунду смотрит на девушку в голубой косынке, смотрит так, что Надя понимает: этот вечер все равно принадлежит ей.

30

Поутру Ступин вместе с Мнухиным, с Шумейкой, с несколькими основстроевцами, собиравшими сибирский молот, планируют на месте, в котловане, как сплотить, выставить стенку шпунта. Они удобно расположились на тех же стеллажах, перевернув три-четыре доски свежей, чистой стороной наверх.

У Мнухина на коленях альбом ватмана; на доске коробка цветных карандашей. Филипп Филиппович любит все изобразить четко, наглядно. Он уже всей душой принял мысль Бойка. Конечно, если шпунтины будут заранее сомкнуты замками, если каждая будет погружаться меж двух направляющих, то не станет перекосов, искривлений...

Ступин еще не может успокоиться, щеки его горят, он всех перебивает, вносит предложения. Чернобородый сибиряк понимает его состояние, по понемногу стаскивает его с небес на землю.

— Не заносись, Вася. Об этом и без тебя умные люди думали. Но рассудим-ка. Это непростое дело. Ведь высота шпунтины двадцать пять метров, а и следующую, чтобы завести в замок, надо поднять на столько же. Шутка ли. Где такие краны? В общем, придется на опорных рамах двух портальных кранов монтировать новый кран.

Боек не может скрыть разочарования:

— Строить новый кран?

Ему не терпится тут же, сегодня же составить стенку, опробовать такой способ забивки.

— Зачем новый,— восклицает он,— когда с этим справится шагающий?! У него вылет стрелы семьдесят метров.

— Шагающий? Это ты хватил,— подаст голос один из участников бригады.— У шагающего и без нас по горло дел.

На стройке о шагающем экскаваторе говорят, как о живом существе. Он вместе со всеми трудится, шагает по степи. Мнухин подтверждает:

— Шагающего не дадут. Нужно другое решение.

Здесь же на доске сидит Шумейко. Он старается выглядеть спокойным. Слова его звучат степенно:

— Филипп Филиппович, надо подумать вот о чем... Мы же хотим, чтобы шпунтом мог пользоваться каждый колхоз. Но если нужна эстакада, а на эстакаде портальные краны, а на них еще новый кран, то...

— Э, товарищ Шумейко. Об этом мы позаботимся... Выпустим в Краснощекове специальный кран для шпунта. Со складной выдвижной стрелой. Хочешь — выдвинь ее на двадцать метров, хочешь — на пятьдесят. Пожалуйста, каждый колхоз может воспользоваться. Но... Но теперь-то, пока этого нет, надо на месте найти выход.

Мнухин начинает чертить, ему подают советы, у него уже немало помощников, приверженцев — рабочих-основстроевцев. Еще совсем недавно Шумейко думал, что он применяет свою особую методику, привлекая к калибровке рабочих, прокатчиков. Теперь он видит, что это методика многих людей Советской страны, рабочий стиль страны.

Несколько голов склонилось над чертежом. Так всех их и застает тетя Даша, рассыльная при управлении «Основстроя».

— Товарищ Мнухин, вам бумажечка. Распишитесь, будьте добреньки.

На папиросной бумаге напечатано приглашение на техническое совещание у главного инженера «Основстроя».

— А мне? — спрашивает Шумейко.— Есть там для Шумейки?

Тетя Даша перебирает тонкие листочки.

— Вот для вас, товарищ Шумейко. Распишитесь.

— Совещание о забивке,— прочитывает вслух Мнухин.

— Ясно, о забивке...— Ступин поворачивается к тете Даше.— А нам приглашение?

— Нам, милок, надо погодить. Нас там не спрашивают.

Что за глупые шутки? Но тетя Даша уже отошла, уже прикрепляет к доске объявлений большой лист бумаги.

— Это кстати. На совещании, Вася,— говорит Мнухин,— с этим и выступим.

— Нам выступать не придется, мы там не требуемся,— буркает Боек.

— Ну, не горячись... Сейчас разработаем чертеж. И пойдешь со мной.

Шумейко поднимается.

— Постойте... Поглядим, что там написано.

На доске объявлений, на белом листе, что прибила тетя Даша, выведено:

«...СОВЕЩАНИЕ В КАБИНЕТЕ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПО ВОПРОСУ ЗАБИВКИ ШПУНТА...

ПРИГЛАШАЮТСЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ. ПРИСУТСТВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО»

Шумейко удивлен. А рабочие? Почему Сороковых не пригласил рабочих? Даже не сказано «желательно». Черт возьми, это просто дико.

— Да, никуда не годится,— говорит Мнухин.— Пойдемте-ка, Андрей Михайлович, к Михаилу Афанасьевичу. Скажем ему...

— Нет! — восклицает Шумейко.— Ступин! Где здесь редактор Ступин? Давай выпустим-ка «Крокодил»...

...Из альбома Мнухина вырваны два листа ватмана, мобилизованы цветные карандаши. Уже выводится заголовок «Крокодил» в котловане». На твердой шершавой бумаге появляется некое подобие шагающего экскаватора. За

ковш, за канаты, за стрелу цепляются люди. Правда, они скорее напоминают фигурки, составленные из спичек,— художников здесь не нашлось («Эх, пригодился бы сейчас Сережа, старший сынок»,— думает Шумейко), но смысл ясен. Под рисунком подпись: «Рабочие ведущих профессий «Основстроя»: Шагающий, помоги! Перебрось на техническое совещание у главного инженера. Иначе туда нам не попасть».

В уголке Боек ставит свою подпись: ответственный редактор Ступин.

Ярко разрисованный лист повешен на доску объявлений рядом с извещением о собрании.

У доски останавливаются основстроевцы. Слышится смех, одобрительные возгласы.

По участку «Основстроя» идет Свешников, быстрый, озабоченный, с острым, все примечающим взглядом. Подходит к доске объявлений. Читает. Смеется.

Потом вынимает карандаш и, не откладывая дела в долгий ящик, приписывает к строке «Приглашаются инженерно-технические работники» еще одну строчку: «и рабочие ведущих профессий «Основстроя». И ставит свои инициалы «И. С.». Большой палец, изуродованный, без ногтя, отлично ему служит, крепко прижимая карандаш.

31

Техническое совещание «Основстроя», о созыве которого извещал листок на доске объявлений, происходит под навесом, у фронта работ. Никого не смущает, что здесь склад досок, шпал, металла, что не всем хватило места. Собралось много народу — инженеры, техники, рабочие. Участники совещания сидят на табуретках, на досках, кое-кому пришлось разместиться просто на брезенте, разостланном на песке.

За столом сидит Михаил Афанасьевич Сороковых, жизнерадостный, уверенный, как всегда. Он одобрительно смотрит на Ступина.

— Хорошая мысль. Теоретически правильно задумано. Все дело только за краном.

Он снимает трубку телефона, прикрепленного к столбу.

— Дайте начальника стройки. Кабинет Свешникова... Алло... Лизочка? Рад слышать ваш голос,— Сороковых не

забывает быть любезным.— Соедините, дорогая, с Иваном Аникеевичем.

Некоторое время длится молчание. Все ждут.

— Иван Аникеевич? Да, Сороковых. Иван Аникеевич, звоню прямо с совещания. У нас тут есть одна идея. Доложили Мнухин и Ступин. Ступин... А? Что? Редактор? Верно, есть за ним такое. Он, Иван Аникеевич, у нас помощником механика. Суть предложения в том, чтобы бить стенкой. Заранее выстраивать шпунт...

И Сороковых кратко излагает начальнику стройки идею, которую только что обсуждали на совещании. Свешников соглашается предоставить «Основстрою» два портальных крана.

— Что? Вибратор? — продолжает Сороковых.— Завтра, Иван Аникеевич, особо соберемся по поводу вибратора, послушаем профессора. Да, он здесь... Присутствует.

Сороковых взглядывает на высокого лысеющего человека, который, повесив на гвоздь фетровую шляпу, сидит на небольшом, величиной с табурет, ящике.

— Сегодня же приступим к делу. А кроме того,— товарищ Свешников просил отнестись к этому с особым вниманием,— кроме того, завтра все мы прослушаем сообщение приехавшего к нам профессора Анатолия Сергеевича Крайнюкова о погружении свай методом вибрации.

От себя Сороковых добавляет:

— На доклад профессора приглашаем рабочих ведущих профессий.

С табурета поднимается долговязый, одетый пока что аккуратнее других, еще не потерявший на стройке столичного вида, конструктор вибропогружателя.

— Зачем завтра опять собираться? — говорит он.— Мое сообщение будет кратким. Давайте я сейчас же вам все покажу. Минутное дело, Михаил Афанасьевич, а?

— Вы, Анатолий Сергеевич, сразу нашими темпами жить начинаете... Ну как? — обращается Сороковых к собранию.— Не будем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?

Собрание откликается одобрительным гулом. Все с интересом смотрят на Крайнюкова. Он уже откинул крышку ящика, на котором сидел.

— Михаил Афанасьевич, куда бы поставить вибратор?

— Тащите прямо на председательский стол. На самое почетное место. Ребята, помогите-ка профессору.

— На этот стол? Нельзя...

— Почему нельзя? Крепко стоит. Выдержит.

Сороковых двумя руками пробует пошатнуть стол. Тот недвижим, словно вкопанный. Впрочем, он и в самом деле вкопан. На толстый столб, глубоко сидящий в земле, набита прочная столешница из струганых досок. На такой стол действительно можно поставить изрядную тяжесть. Сороковых живо встает со своего места, полнота не мешает ему быть подвижным, энергичным. Но Крайнюков все же не соглашается.

— Михаил Афанасьевич, сидите, не беспокойтесь. Стол я не займу.

Но Сороковых командует:

— Давайте, давайте, ребята, сюда...

— Ну, если уж вам так угодно,— произносит Крайнюков с тонкой, едва заметной улыбкой.

Двое рабочих легко поднимают, ставят на стол аппарат Крайнюкова. Это, собственно говоря, небольшой электромотор, а под ним — скрытый стальным кожухом самый механизм вибратора.

Возле стола на штабеле досок, рядом с Мнухиным, рядом с рабочими расположился Ступин. Он подался вперед, вытянул шею. Неужели этот небольшой легкий механизм сможет сделать то, что оказалось не под силу шеститонной бабе?

Электромотор уже подключен к сети. Крайнюков все с той же почти незаметной улыбкой прижимает рубильник к контактам. И вдруг стол — добротный, прочный, врытый в землю стол, за которым только что сидел главный инженер,— мгновенно по самую столешницу уходит в песок. Ахнув, Сороковых успевает схватить свои лежащие на столе часы. Прижатая к песку, столешница трещит. Крайнюков выключает аппарат, стихает легкое жужжание мотора. Профессор спокойно поправляет галстук, будто сейчас произошел ничем особенно не примечательный случай.

— Немного неловко получилось, Михаил Афанасьевич,— говорит он.— Но я же предупреждал. Разрешите, я теперь сам установлю вибратор.

Аппарат водружен на штабель леса. Крайнюков рассказывает, как он напал на мысль о погружении свай способом вибрации.

— Я, товарищи, раньше работал над проблемой борьбы с оседанием фундаментов. Вы знаете, какие бывают в этом деле неприятности. Здания, расположенные по соседству с паровыми молотами, сильно садятся в грунт. Ведь волны распространяются в грунте, как во всякой другой среде. Изучение этих волн стало моей специальностью.

Крайнюков, естественно, не касается подробностей своей биографии. Основстроевцы пока не знают, что этот высокий лысеющий профессор в чесучовом пиджаке когда-то, в дореволюционном Петрограде, был мальчиком на побегушках у владельца двух кинематографов. С катушкой, частью фильма, мальчик Крайнюков мчался по городу из одного кино в другое, оставлял свою ношу, схватывал уже показанную, прокрученную часть и с ней бежал обратно. Так он и носился каждый вечер между этими двумя кинематографами, чтобы владелец мог извлечь двойной доход с одной взятой напрокат ленты. После революции Толя Крайнюков прижился в отряде Красной гвардии, побывал на многих фронтах, затем в мирные дни начал учиться, о чем мечтал давным-давно, был принят на рабфак, закончил несколько лет спустя политехнический институт и стал заниматься тем, что назвал сейчас своей специальностью: изучением волн, распространяющихся в грунте.

— Исследования выяснили,— говорит Крайнюков,— что вибрация в грунте вызывает самую большую осадку. Это и навело меня на мысль: нельзя ли искусственно вызвать, создать такие волны, чтобы осадка происходила не на сантиметры, а на метры, и не в год, а в минуту. Сейчас, товарищи, я вам кое-что покажу.

Он поднимает высокий стакан. Наполняет его песком, сверху кладет блестящий стальной шарик. Силой собственной тяжести шарик немного вдавливается в рыхлый песок. Крайнюков ставит стакан на вибратор.

— Включаю,— говорит он.

Все встают, теснятся к аппарату. Момент легкой незаметной вибрации — и стальной шарик скользнул вниз, исчез в песке. Крайнюков поднимает прозрачный сосуд над головой. И без того рослый, он еще привстает на доску. Всем видно донышко. Сквозь стекло отчетливо проступает стальной шарик, очутившийся на дне.

— А теперь еще один заслуживающий внимания опыт.— Крайнюков вынимает из кармана другой шарик.

Обыкновенный целлулоидный розовый шарик для настольного тенниса.

Шумейко, конечно, стоит тут же. Может быть, никто с таким напряжением не следит за происходящим.

Крайнюков подкидывает легкий шарик, тот стукается о доску и упруго отскакивает. Мячик положен на дно высокого стакана, сверху насыпан до краев песок. Поворот рубильника. Почти незаметно сотрясается, дрожит вибратор. Розовый шарик выскакивает, словно из воды, на поверхность песка. Вот она — вибрация!

— С древнейших времен,— говорит Крайнюков,— человек загонял сваи в землю методом удара. Других способов не существовало. Мы впервые вводим новый принцип погружения свай. Мы применяем метод вибрации. Вибратор подобного типа уже опробован при погружении труб в нефтяной промышленности. Теперь применим виброметод здесь. Вместе, товарищи, будем тут, в полевых условиях, совершенствовать, доводить машину. Верно?

Крайнюков невольно адресуется к пареньку, высокому, как и он сам, с царапиной на лбу, с горящими щеками, к Васе Ступину, который не может оторвать глаз от вибратора.

— Я, товарищи,— продолжает профессор,— останусь здесь до тех пор, пока мы не добьемся полного успеха. Буду работать, как прораб. Мне нужны помощники. Хорошие механики найдутся?

— Найдутся,— раздается со всех сторон.

Ануфриев протискивается поближе к вибратору, похлопывает по стальному кожуху.

— Можете надеяться,— говорит он Крайнюкову.

Вася Ступин молчит. Его уже пленила необыкновенная машина, он мечтает узнать, понять ее, поработать с ней, но ведь рядом стоит Мнухин. Может быть, ему, внедряющему сибирский молот, будет обидно, что Васю так притянул, привлек вибратор. Однако чернобородый сибиряк легонько подталкивает Ступина вперед. И негромко произносит:

— На такой стройке люди найдутся.

32

Уже выставлена стенка шпунта. Она тянется на двести метров, простираясь от бокового склона почти до середины котлована. Шпунтины стоят в ряд, замок в замок, единой

сплоткой. Шумейко любуется этим стальным темным заслоном — вот они встали, богатыри, теперь их не перекосят, не согнут, не изуродуют удары. Одна за другой, нерушимой стенкой, шпунтины пойдут в грунт.

И они действительно идут. Находясь на площадке башенного крана, Мнухин руководит забивкой. Там, высоко над дном котлована, свежий ветерок с реки треплет его бороду.

После сообщения Крайнюкова о виброметоде погружения свай Филипп Филиппович отнюдь не приуныл. «Великое дело вибропогружатель,— размышлял он,— но и наш молоточек, краснощековский, не попадет в отставку. Вибраторы пока работают лишь в песчаных грунтах. Как же быть, если придется иметь дело с глинами, галечниками, известняками? Как быть, если в песке на пути шпунтины повстречаются прослойки иных пород? Нет, без молоточка пока что не обойдемся. Хорошо было бы смонтировать на одном кране с длинной выдвижной стрелой и вибратор, и краснощековский молот! Может быть, так оно и станется».

Молот стрекочет. Частыми легкими ударами он понемногу вгоняет сваи в землю. Одну на несколько метров вглубь, потом на столько же вторую, третью... Молот приходится переставлять, всякий раз заново крепить, но стенка, шпунтина за шпунтиной, мало-помалу оседает.

А на другом конце выстроенного шпунтового ряда подготовляется опробование вибратора. Ануфриев, знатный закоперщик, привыкший командовать «вира! майна!», тут сам занял место верхолаза, сам закрепил вибратор на торце крайней шпунтины. Туда, к вибратору, тянется толстый пучок электропроводов.

Внизу, на песке, собралось много народу. Тут и долговязый профессор, чесучовый пиджак которого уже далеко не так свеж, как в первый день приезда, и грузноватый Сороковых, и калибровщик Шумейко. Среди рабочих виден Боек. Как всегда, он не умеет скрыть своего нетерпения. Теперь, когда по его предложению бригада краснощековского молота осваивает метод забивки шпунта единой стенкой, Васю разбирает волнение за судьбу новой машины — за этот легкий, даже изящный вибропогружатель, уже привинченный к шпунтине. Ведь есть же разница — загнать в песок обыкновенный садовый стол или такую вот железную громадину. Что, если вибратор

подрожит, поработает на верху стены, а она, эта стальная тяжелая завеса, так и будет выситься, не удостаивая этот мелкий предмет своим вниманием?

Приготовления кончены. Крайнюков кладет ладонь на рукоять рубильника. Легкое движение. Контакты сомкнуты, дан ток... И на глазах у всех крайняя шпунтина, к которой прикреплен вибратор, заскользила в грунт. Она именно скользит, быстро уходит. Вот и не видно белой отметины. Вот и ее номер — 586 — скрылся в песке. Погружение замедляется, становится будто затрудненным. Крайнюков выключает ток. Шпунтина выглядывает, как по проекту ей и полагается, на три метра из земли. Она погружена всего за полторы минуты.

Ануфриев с помощниками отвинчивают вибратор. Глаза копперщика словно говорят: «Где новые дела, там и Ануфриев! Где кладем основы, там Ануфриев!» Поднявшись на площадку крана, он крепит вибратор к следующей свае. Эта пошла в землю, как и первая. И опять — всего за полторы минуты.

Шумейко едва верит тому, что он видит. Упрямые шпунтины, измучившие строителей Гидроузла, не поддававшиеся страшным ударам шеститонной бабы, теперь как бы сами, без малейшего насилия, под действием почти неуловимой, незаметной вибрации идут в грунт. Трудно калибровщику сдержать улыбку, которая — хочешь не хочешь — то и дело проглядывает, красит не слишком красивое лицо Шумейки. Ему сейчас не удается придать своему лицу привычного насмешливого вида,— оно открыто радостно.

Пожалуй, один Крайнюков не разделяет общего восторга. Он озабочен.

— Тяжеловато идет,— говорит он.

— Тяжеловато? — переспрашивает Шумейко.

— Да... Трудно ему.— Крайнюков показывает вверх, на вибратор.— Очень тяжелый, грубый профиль...

— Грубый?

Нет, Шумейко не ослышался. Конструктор вибропогружателя действительно назвал ШКО тяжелым, грубым профилем. Как же так? Ведь еще недавно здесь, на стройке, Шумейко размышлял над тем, не следует ли отяжелить, укрепить ШКО, сделать его более прочным, более жестким... И вдруг эти слова: «очень тяжелый, грубый профиль...»

Очередная шпунтина быстро уползает в грунт. Вот ее ход замедляется. Да, очевидно, аппарату Крайнюкова уже нелегко передавать ей вибрацию. Профессор явно неспокоен. И будто в подтверждение его слов, которые он только что сказал Шумейке, из вибратора с треском вылетает длинная голубая искра.

Тотчас шпунтина останавливается. Вибрация прекращается. Что-то случилось с аппаратом. Его отвинчивают, быстро разбирают. Причина поломки налицо: треснул вал вибратора.

— Ничего,— говорит Крайнюков.— Сделаем другой вибратор... Помощней, потяжелей... Приспособимся к этому профилю.

Шумейко пыхтит. Как это «приспособимся»? Разве не они, прокатчики, обязаны дать профиль под стать новому способу забивки — самому передовому, небывалому? В самом деле, зачем придавать шпунту корытообразную форму, предназначенную для сопротивления тяжелым ударам бабы? Зачем сохранять такую толщину, нужную опять-таки лишь для устойчивости при забивке. Постепенно в воображении возникают первые, еще смутные очертания нового, видоизмененного шпунта. Новый шпунт будет плоским, более тонким. Все очертания, все размеры будут служить лишь одной цели, для которой в подобных случаях и предназначен шпунт: борьбе с фильтрацией.

Предстоит работка всем помощникам калибровщика Шумейки, рельсо-балочникам «Югостали». Нелегко будет прокатать еще более тонкое перо. И понадобится новая сталь. Прежняя уже не подойдет. Будет, Нина, работа и тебе!

Новый профиль все яснее вырисовывается в фантазии калибровщика.

33

Машина несется по территории завода «Югосталь». Шумейко сидит рядом с водителем. Остаются в стороне доменные печи, над которыми колышется тяжелый, рыжеватый дым. Здесь, возле доменного цеха, даже асфальт стал коричневым. Ветер крутит, гонит вихорьки темно-рыжей, почти фиолетовой рудной пыли. Ее запах, чуть отдающий серой, газком, приятно почуять снова.

А вот и мартен. Через торцовый проем виден каскад

искр и словно ожившее в огненных отсветах волнистое железо крыши. Теперь близок и прокатный цех. Быстро придвигаются высокие конические трубы нагревательных колодцев.

Шумейко притрагивается к плечу шофера:

— Завернем на минутку на мартен.

— К лаборатории?

Шумейко молча кивает. Конечно, к лаборатории. К Нине.

Машина остановлена у бетонной балюстрады, почти такой же, как и у въезда в сталеплавильный цех Ново-Уральска. Обычной неторопливой походкой Шумейко идет по площадке печного пролета. Одна дверь... другая... Лаборатория. Отделение новых сталей. Комната инженера-сталеплавильщика Нины Шумейко.

Она склонилась над микроскопом, наведенным на шлиф стали. Видна лишь смуглая рука, осторожно передвигающая винт, и копна черных, уже с серебряными нитями кудрей. Неподалеку на мраморном столе пламенеет горелка. Там работает молодая лаборантка.

Андрей Шумейко негромко окликает:

— Нина!

Она мгновенно отрывается от микроскопа. Улыбаются крупные губы, кончики которых, как и в молодости, загнуты чуть вверх. С годами смуглое лицо пополнело, плечи округлились, в черных глазах засветилось спокойствие.

Он стоит в помятой, сдвинутой на затылок кепке. На полотняном костюме, который свежим, отутюженным жена вложила ему в чемодан, темнеют пятна смазки, которые, наверное, ничем уже не отмыть. Комично выпячена нижняя губа. Но что-то новое, что-то незнакомое появилось в его облике. Сразу даже не определишь, что же именно.

— Нинка! Я на одну минутку...

Он быстро обнимает, быстро целует ее. Лаборантка деликатно рассматривает на свет пробирку. Несколько откинувшись, Нина разглядывает лицо мужа. Да, что-то новое. Но что же?

— Поздравляю,— говорит она.

— С чем?

— А как же? Мы же все уже знаем... Профиль годен.

— Годен? Ах, да... Совершенно правильно. Но

знаешь.— Андрей оглядывается на лаборантку, приникает к уху жены, шепчет: — Нинка, он не годен.

— Как? Что ты выдумываешь?

— Не годен. Тяжел для новейшего метода забивки. Ну, для вибропогружателя. Вы получили мое письмо о вибропогружателе?

— Десять раз перечитали... Мальчишки надоели мне со своей коробкой.

— А как они?

— Очень хорошо. Некому было их баловать.

— Узнаю нашу строгую маму.

— Андрей, а насчет ШКО ты меня дурачишь?

— Честное слово, не дурачу.

— Почему же тогда... Я же вижу, что ты доволен.

Он опять подается к ее уху:

— Придумал новый профиль.

— О, господи!

— Этот уж старик! Пойдет для краснощековских молотов. А для вибропогружателя... Для вибропогружателя сделаем новый. Тонкий, плоский, легкий. Металла пойдет вдвое меньше. Нинка, вся калибровка у меня в уме уже готова. Надо только...

— Догадываюсь, что надо...

— Сталь! Нужна новая сталь... Чтобы мы могли при прокатке тоньше дать замок. Ты понимаешь? Сталь ВШ. Вибро-шпунтовая.

Он смеется, берет ее за плечи, смотрит в ее черные глаза. Она протягивает ему шлифованную пластинку стали, четырехугольное металлическое зеркало.

— Взгляни-ка на себя. Взгляни, какой ты...

— Ну, какой же?

— Новый,— тихо отвечает она.

Ему некогда себя рассматривать. Едва взглянув в шлифованный металл, он прижимает к себе Нину, крепко целует ее в губы и выходит из лаборатории.

34

И вот он идет к себе в калибровочное бюро через рельсопрокатку.

У главных ворот цеха на щите газета «Рельсы коммунизма». Ого, редколлегия выпустила свежий номер. Молодцы.

Сегодня же начнем готовить следующий, расскажем прокатчикам об их победе. Еще в дороге у Шумейки сложилась в уме статья. Она будет называться «Новый профиль». В ней он расскажет о своей поездке, своих встречах, о новом профиле советского человека. Хотелось бы и книгу, и повесть-хронику о своем цехе, которую он все-таки допишет, назвать так же: «Новый профиль».

В цехе катают ШКО. В противоположном конце линии прокатки, в неясной глуби цеха, взлетают и взлетают искры над циркулярной пилой, словно приветствуя Шумейко. Из своей застекленной вышки его увидел оператор Табаков, улыбнулся, поднял руку, смахнул со лба бисеринки пота и потянул за шнур. Тотчас над будкой засвистел гудок — сигнал бригаде нагревательных печей: «Давай, давай металл, шевелись». Прокатка спорится. Уходят, уплывают к чистовой клети и дальше к пиле раскаленные полосы нового профиля. Нет, уже не нового.

По высветленной множеством подошв насечке стальных плит быстро шагает навстречу Шумейке подавальщица Зина, она же рабкор «Вилка», в зеленых тапочках, в подкрахмаленном белом халате. В обеих руках — пустые судки. Она спешит, но, конечно, на минутку задержится, столкнувшись с редактором.

— Внедрили! — восклицает она.— Теперь крепко!

Будто монтер или вальцовщик, она поднимает большой палец. Ее лукавое живое лицо победоносно.

Спохватившись, она поздравляет Шумейко.

— С чем, Зина?

— Сами знаете... Вот...

Она показывает на проносящиеся мимо, обдающие жаром полосы шпунта.

— Васильевна-то... Узнала, что вы приезжаете и...

— Откуда же узнала?

— Э, где же и новости, как не у нас? Узнала и сказала... Нет, вы никогда не угадаете... Сказала: «Ну, в будку Шумейко я сама буду носить обед».

Зеленые тапочки заскользили дальше по насечке стальных плит.

Будка Шумейко... Он впервые это слышал. Неужели это уже заводское выражение?

Вон снова знакомые лица. Кто там, у чистовой клети? А, Боровик — старший вальцовщик молодежно-комсомоль-

ской смены. На стройке Шумейко иногда вспоминал его, глядя на Бойка. Перед глазами Шумейко возник котлован, ровная длинная стенка забитого шпунта, такая, какой она была, когда Шумейко, уезжая, кинул на нее последний взгляд. Да, сплоченная, единая стена...

И у Шумейки возникает мысль: все мы — Боровик, Боек, Зина, Табаков, Свешников, Филипп Филиппович, штурвальный Миша, закоперщик Ануфриев, электрик Джабиль Агишев, профессор Крайнюков, Нина, он — калибровщик Шумейко,— все, кто по праву называет себя советским человеком, это единая стена, нерушимая сплотка металла.

Знакомой дорожкой он приближается к выкрашенному в розовый цвет домику, к калибровочному бюро рельсопрокатки. В этот солнечный горячий день входная дверь раскрыта. Шумейко останавливается у порога. Его еще никто не замечает. И вдруг он слышит глуховатый, словно немного дребезжащий голос своего учителя Василия Павловича. Старый калибровщик разговаривает с шаблонщиком, комсомольцем Сашей Веховым.

— У тебя, Саша, получается, как в комиссии по разоружению. Много обещаешь, а ничего не даешь.

Вот как? Василий Павлович рассуждает о политике.

Вехов молчит. Василий Павлович продолжает выговаривать:

— Энтузиазма что-то маловато у тебя... А без энтузиазма, Саша, новые профиля (старый прокатчик так и произносит — профиля) не получаются...

Неужели это он, кто когда-то смущенно говорил: «Энтузиазм это по вашей части»? Нет, Василий Павлович, это и по вашей части. И не такой уж вы старый человек. Сейчас я вас обрадую: мы будем говорить о калибровке. О новом профиле.

И Шумейко входит в свою будку.

1951

Рассказы о Серго

ВТОРОЕ ВЕНЧАНИЕ

Рассказ

Серго! Напишу ли когда-нибудь роман о нем? Не однажды в разных своих вещах я пробовал рисовать этого пленившего меня — да только ли меня! — давно завладевшего моими писательскими помыслами Большого Героя некоей моей будущей книги. Из года в год я все изучаю, изучаю, собираю всякие подробности о нем. Как-то даже тронул его темные (но не черные), немного перевитые сединой, на удивление мягкие, волосы: они, некогда срезанные парикмахерскими ножницами, были бережно хранимы Зинаидой Гавриловной, женой, потом вдовой этого замечательного коммуниста. Она их показала мне, повествуя о жизни и смерти Серго.

Передам ли когда-нибудь читателю многие слышанные мной рассказы про Серго, воспроизведу ли неиссякавший порыв, напор, жаркую страсть преданного Ленину революционера?

Увижу ли писательским взглядом картины высшего душевного подъема Серго, отдавшегося делу индустриализации, испытавшего в пору первых пятилеток великое счастье созидания? Где найду краски, будет ли верной рука, чтобы яркость тех дней, яркость его переживаний на моих страницах не померкла?

Когда-то Зинаида Гавриловна Орджоникидзе поведала мне эту историю. Расскажу ее по-своему.

1

Год 1916-й. Сельцо Покровское в далекой Якутии, в почти пустынном, немилосердном краю Северной Сибири. Две деревянные церквушки и одна каменная новая, кладбище, приходская школа, амбулатория-больничка, лавка, ряд дворов, цепко разместившихся на крутом берегу широченной Лены. Окрест — то в полусотне, а то и за сотню верст от села — редко разбросаны якутские улусы. Зимой

оттуда к Покровскому стягиваются санные дороги. А от ближайшей железнодорожной станции село отделено двумя тысячами километров водного пути или зимнего почтового тракта.

Осенью в селе появился новый ссыльный, нашедший занятие и пристанище в сельской больнице: он оказался по профессии фельдшером. Склад смуглого лица, да и произношение, отмеченное резким акцентом, были, несомненно, кавказскими. Кавказец приехал очень худым, изможденным: позади остались три года в Шлиссельбургской крепости, нескончаемые этапы в ножных кандалах и путь по Лене в арестантской барже. И все же прибывший осунувшийся ссыльный сразу удивил всех жизнерадостностью. Охотно шутил, заразительно смеялся, носил наперекор всякому начальству красный галстук — как знак некой несдавшейся твердыни. Таким предстал жителям Покровского молодой Орджоникидзе, уже приобретший известность в партии русских революционных марксистов, звавшихся большевиками.

Лишь еще один большевик обитал в Покровском — легонький, подвижный Алексей Платонович Кауров. Тогда, в 1916-м, на третий год мировой войны, они, два большевика, знавшие друг друга еще по Тифлису и Баку, встретились как побратимы, опять во всем между собой согласные, принявшие безбоязненный анализ Ленина, его вывод: поражение собственных правительств, превращение империалистической войны в гражданскую.

Серго был одарен открытой и пламенной натурой. Мысли, впечатления, переживания — все он приносил Каурову.

День 15 октября 1916 года был для Орджоникидзе знаменательным. Ему исполнилось ровно тридцать лет. Накануне с последним перед ледоставом пароходом прибыла для него посылка из Тифлиса от брата Папулии, железнодорожного телеграфиста. Папулия прислал шерстяное одеяло, чесучовую рубашку, теплые носки, белье и разные грузинские лакомства. Серго приоделся в честь своего тридцатилетия: вышел на работу в новой чесучовой рубашке, подпоясанной витым, красного шелка, кушаком с кистями. Теперь взамен снятого галстука алел цветом революции этот поясок.

Под вечер в больницу за фельдшером пришли из дома местного священника, где заболел ребенок. Орджоникидзе не замешкался, перекинул через плечо поверх осеннего

пальто медицинскую сумку, зашагал без шапки — он издавна предпочитал ничем не покрывать густые свои волосы — по морозцу, по первому снежку к ладному бревенчатому дому возле церкви.

Прихворнувший мальчик лежал в постели. Еще трое детей, мал мала меньше, втиснулись под стол, испугавшись незнакомого дяди в длинной рубашке, его острых усов, нависшего носа, вороха разросшихся темных волос. Определив простуду, Серго быстро, простыми средствами оказал помощь больному, успокоил его, побалагурил, пошутил с ним. А упрятавшаяся под столом троица все не решалась покинуть надежное прикрытие. Серго умел ладить с детьми. В его сумке оказалась чучхела — грузинская сласть из посылки брата. Перочинным ножом Серго нарезал ломтики, протянул под стол, стал угощаться и сам, причмокивая, изображая удовольствие. Вскоре он, сев на пол, сложив ноги по-турецки, вступил в беседу с малышами, уже переставшими бояться.

По приглашению родителей фельдшер остался ужинать. Взрослые члены семьи сошлись в горницу поговорить с этим большеглазым общительным кавказцем. Священник отец Иннокентий был примерно ровесником Серго. Русые недлинные усы и коротковатая бородка не застили крупных свежих губ. Свое священническое одеяние он тут, дома, носил внакидку — в распахе виднелась сатиновая темная рубаха. В семейном кругу занимали места и миловидная, в кружевном воротничке, жена священника, и не отличавшаяся тонкостью черт лица, скорее грубоватая, его двадцатилетняя сестра, местная учительница, с которой Серго уже как-то прежде познакомился. Главенствовала за столом бабка, здесь давняя хозяйка, Агапия Константиновна, смуглая, сухого сложения, с горбинкой на носу, родом забайкальская казачка.

Иннокентий стал сразу расспрашивать о столкновениях, расколах в международном и российском социалистическом движении. В интонациях, в глазах читалась живая любознательность. Можно было в иную минуту подумать, будто вопрошает не попик, а обросший бородой студент, заядлый участник какого-нибудь полулегального кружка.

Однако вмешалась Агапия Константиновна:

— Уймись ты, Иннокентий. Выпьем, гостюшко, за твое здоровье. Только скажи толком, как тебя звать-величать. Не пойму: или ты Григорий Константинович, или,

вот как мне сказала Зина,— казачка строго посмотрела на учительницу-дочь,— ты Сергей?

— Не Сергей. Серго,— поправил гость.

И тут же поведал происхождение своего имени. При крещении нарекли его Григорием. Мать вскоре после родов умерла. Младенца взяла бабушка, но заявила: «Не желаю звать его Гришей, хочу, чтоб он был Серго». И на этом заупрямилась. И все родственники перед ней, старшей, смирились. Так с самых ранних лет он, в метрике Григорий, приобрел по бабушкиной воле новое имя.

— Настойчивая у тебя бабушка,— сказала хозяйка.— И сам в нее удался?

Серго засмеялся:

— Наверное, немного есть.

— Лет-то тебе сколько?

Серго не открыл тайну своего нынешнего дня, кратко ответил:

— Тридцать.

— Жену-то к себе выписал? Приедет?

Опять фельдшер рассмеялся:

— Много колесил по белу свету, но нигде, черт побери...— Он спохватился: — Извините, вырвалось.

— Ничего. Я и сама, бывает, могу к черту послать. На чертушку у нас запрета нет.

— Можно,— благодушно подтвердил пастырь.

— Принимаю к сведению... Так, где только ни бывал, не нашел свою суженую.

— А ты думал как? Простое дело? Еще исстари говаривали: несуженый кус изо рта валится.

— Несуженый кус! Здорово сказано! По-марксистски, да и только.

— По-марксистски? — с интересом переспросил Иннокентий.

— А что же? Если не опираешься на ход истории, все мечтания — несуженый кус.

— Да погодите вы,— перебила бабка.— Значит, Григорий Константинович — Сергей, выпьем за твое здоровье. Человек, вижу, ты хороший, ремесло у тебя доброе, жить тебе и поживать.

Серго встал, прижал руку к груди:

— Благодарю. Благодарю от всего сердца. Но пусть мне будет разрешено прибавить и свой тост. Иначе не могу. За революцию!

— Лихой же ты! — сказала бабка.

Ее рюмка с легким звоном коснулась рюмки гостя. Примеру матери последовал и священнослужитель. Его жена, порозовев, вымолвила:

— За ваше здоровье, Григорий Константинович!

— Зовите меня лучше Серго. Мне Серго привычней. И безо всяких отчеств.

А Зина чокнулась с ним молча. И, слегка отпив, отставила посудинку.

2

Продолжался обильный по-сибирски ужин. Отец Иннокентий снова стал расспрашивать о разногласиях, о течениях среди социалистов. Властная казачка опять было одернула:

— Дай гостю поесть.

— А я,— объявил Серго,— могу и есть и разговаривать.

Командуя переменой кушаний и затем наконец обязательным русским чаепитием, Агапия Константиновна тоже принялась дотошно вызнавать, каким же способом революционеры ленинского толка намерены разделаться с войной и что у них дальше на уме. Возбужденный, поощряемый вниманием, Серго оставался и тут, как везде и всюду, агитатором. Или, пользуясь хорошей формулой, не нам принадлежащей, лучше скажем о нем так: ему и не требовалось брать на себя задачу агитатора, было достаточно быть самим собой. Он, как впоследствии вспоминали участники того застолья, крыл всех и вся. Особенно доставалось социал-патриотам, предателям Интернационала. Серго выражался яростно, сильно и, не упуская случая чертыхнуться, посылал к дьяволу, к чертям трухлявых социал-болтунишек, не годных к революционному делу.

— Удалец! — сказала бабка.— И сколько вас таких на всю Россию?

— Мы, матушка, воины мировой армии рабочих. Они, наши товарищи, поднапрут там, мы наляжем здесь.

— И что получится?

— Революция! Власть рабочих и крестьян.

— Тешишь себя сказками.

— Нет, мы не деточки! Уж если здесь, в доме священ-

ника, на краю света, весь вечер рассуждаем о революции, значит, впрямь подступает ее срок.

Серго порассказал и о своих поездках за границу, о Париже и Праге, о том, как слушал лекции Ленина, изучал марксизм в партийной школе во французской деревеньке. Про Ленина говорил влюбленно. Постарался его охарактеризовать. Сила анализа, научной проницательности. И мужество идти против течения. И вера в завтрашний день. И необычайная энергия.

— Вместе с ним и мы полны энергии!

Серго, впрочем, мог бы обойтись и без такого восклицания. Душевный заряд прорывался в широте жеста, в блеске глаз, передающих и убежденность, и презрение, и улыбку.

Посматривая на сидевших за столом, фельдшер иной раз взглядывал и на Зину. Она, как и прежде, помалкивала: видимо, по природе не речистая. Серго в тот вечер поначалу ее не особенно и примечал. Потом что-то в ней притянуло его взор. Красива? Скорее, пожалуй, можно назвать некрасивой. Широк нос, излишне выделяются и скулы. Да, Зина пошла в уже покойную бабушку-полуякутку. Серго узнал об этом позже, а тем вечером, за ужином, увлеченно излагая свои верования, воззрения партии, которой принадлежала его жизнь, нет-нет да и поворачивал голову к учительнице. Ее темно-синие — такой колер не причислишь к обычным — глаза были внимательны. В какую-то минуту Серго в них различил, как в дальнейшем он признался, понимание. И вдруг уверился: молчаливая девушка понимает его, понимает и слова и душу.

Тем временем разговорился Иннокентий, пустился в воспоминания о духовной семинарии в городе Якутске, где и в среду семинаристов проникала от ссыльных социалистическая литература, даже происходили обсуждения, читались рефераты в той или иной комнате воспитанников, и споры длились за полночь.

— Эта закваска, Серго, и теперь при мне.

Орджоникидзе без околичностей спросил:

— Зачем же вы пошли в священники? Такой к тому же молодой. Разве нет других дорог?

— Видишь ли, в бога я не верю. А пришлось.

— Как то есть — пришлось?

Иннокентий объяснил: учился в семинарии, потом стал там преподавателем. Женился, пошли дети. Неожиданно отец жены, священник, был свален, разбит параличом.

Надо было брать его приход, перенимать паству, а то все это — и дом, и земля, и доходы,— все рухнуло бы. Параличный еще прожил, пролежал три с половиной года. И вот его похоронили, растут четверо детей, свою долю уже не переменишь.

— Нет, Иннокентий. Кривить душой — этому оправданий не отыщешь. Бросай рясу!

Уже оба они обращались друг к другу на «ты». Бабка вмешалась:

— Ишь ты, какой черкес! Махнул сабелькой, все разрубил.

— Да я вовсе не черкес. Грузин.

— Ну все едино. Еще жизнь тебя поучит. Попадешь еще в такую закруть, что придется и тебе покривить душой.

— Никогда.

— Гляди, не зарекайся.

— Скорей сам себя зарежу.

И опять он увидел внимательные Зинины глаза, тяжеловатый ее подбородок, некрупные ровные губы, готовые, как показалось, и приоткрыться, и навсегда сжаться.

3

Новый фельдшер и в следующие дни торил дорожку в дом священника, наведывал поправлявшегося мальчика. Ребята наделили веселого лекаря-грузина, зачастившего в дом, прозванием собственной придумки: дядя Грузя.

Затем Серго уговорил Агапию Константиновну принять его в столовники, начал столоваться в этом доме.

Фельдшерские обязанности, выезды в улусы иногда заставляли его опаздывать к обеду. Как-то, явившись в неурочный час, он застал из взрослых одну Зину. Сперва обоих охватило смущение. Подав дяде Грузе обед, Зина села за этот же стол проверять ученические тетради. Серго поглядывал на нее и, ухватившись за тему, что как бы подвертывалась сама собой, принялся расспрашивать о местной школе, об учительствовании. Стараясь побороть принужденность, отвечать пообстоятельнее, Зина все же не могла обрести словоохотливость.

— Что вы теперь проходите?

— Пушкина.

— А сами что читаете?

— И сама Пушкина.

— А статьи Белинского о Пушкине прочли?

— Прочла.

— Понравилось?

— Еще бы. Очень.

Серго заулыбался, заблестели его белые зубы, повел речь о Белинском — «неистовом Виссарионе», с сочинениями которого познакомился еще в фельдшерском училище, потом вернулся к ним в тюрьме.

— Неистовый...— произнесла Зина. Она тоже улыбнулась. По-крестьянски простое лицо стало светлей, будто изнутри вспыхнул фонарик.— Неистовый Серго.

Обоим не забылся этот миг, остался для них неким событием, порожком, что они вдруг переступили. Слово за слово, разговор побежал живей. Беседа опять повернула к школе. Серго обещал Зине помочь в составлении каталога школьной библиотеки. Зина сказала, что, возможно, поедет покупать книги в Якутск; лишь девяносто километров отделяли этот город, центр Якутии, от Покровского.

— А если и я с вами? — спросил Серго.— Возьмете?

— Что же, возьму.

— Еду! — тут же решил Серго.— Покачу туда за медикаментами. Подам, Зина, к вашему крыльцу мой фельдшерский выезд. Не испугаетесь?

— Чего?

— Такого ямщика.

— Не испугаюсь.

И вот морозным ранним утром фельдшер-кавказец под звон привязанных к дугам колокольчиков осадил перед домом священника санную парную запряжку. Уже не однажды пускаясь в путь в здешнюю стужу, Серго и теперь обрядился по-дорожному: болтались уши шапки-малахая, тяжелый, длинный, опоясанный красным кушаком тулуп почти достигал лодыжек, упрятанных в меховые сапоги, короткая дошка, шуба шерстью наружу, виднелась под тулупом. Серго вылез из кибитки, но заходить в дом не пришлось. Зина поджидала его, сбежала с крыльца, тепло закутанная.

Следом, накинув шубейку, платком прикрыв черные с проседью волосы, вышла сухощавая смуглая мать. Губы были неодобрительно сомкнуты. Серго приготовился выслушать внушение. Однако, оглядев дорожный убор своего столовника, строгая бабка рассмеялась:

— Ишь и тут выпустил красное.

Подошла к нему, поправила его сбившийся шарф, застегнула его дошку:

— Поезжай, но смотри у меня...— Она поднесла сухонький крепкий кулачок прямо к носу ссыльного: — Гляди, разбойник!

Серго прижал к тулупу обе руки, скрытые в огромных варежках:

— Да не зарежу, не зарежу вашу дочку.

Спутники втиснулись в кибитку. Зина взяла вожжи. Стронулись полозья, зазвенели бубенцы.

...Вернулись в Покровское вечером следующего дня на тех же малорослых сибирских маштачках. Звон бубенцов оборвался у дома, где квартировал Кауров. Тот прильнул к не подернутому наледью овалу оконного стекла, увидел в санках закутанную Зину и рядом Серго, который, будто не чувствуя стужи, сидел, распахнув ворот тулупа и сдвинув на затылок ушастую шапку. Жест, по-всегдашнему широкий, выразительный, позволял догадаться: Серго убеждает Зину зайти вместе к его другу.

Они вошли в своих зимних одеяниях.

— Платоныч, мы к тебе на минуту,— объявил Серго.

Зина была серьезной, даже сумрачной, словно бы ее судьба сейчас решалась. Несколько осипшим грудным голосом произнесла:

— Здравствуйте.

Присела. Кауров обратился к Орджоникидзе, показал на распах его тулупа:

— Как ты отваживаешься в таком виде ездить? Ведь простудишься.

— Мне жарко! — был ответ.

Помолчали. Так в молчании и протекла минута. Зина поднялась:

— Серго, едемте. Мама меня ждет.

И, не внимая упрашиваниям Каурова: «Побудьте же еще!», по-прежнему серьезная, оставила комнату.

— Сокровище! — выдохнул Серго.

— А за тобой она пойдет?

— Пойдет.

Отбрасывая меховыми сапогами тяжелые овчинные полы, будто давая этим исход пылу, Серго кинулся вдогонку.

Завязавшуюся любовь вскоре приметил материнский глаз. Мать корила Зину:

— Бегаешь и бегаешь с этим черкесом, будь он неладен.

А ему сказала:

— К нам больше не ходи. Кормить тебя не буду.

— Почему?

— Сам знаешь. И эти дела ваши прекращай. Знаю, завертишь ее, а потом кинешь. Нет, нет, ничего не хочу слушать. И не смущай девушку.

— Клянусь вам честью революционера...

— Ух ты! Не про нас этакая честь. Куда ты тянешь Зину? Богом прошу, не тронь ее, отыди.

Власть матери была достаточной, чтоб больше не столовать фельдшера, но оказалась ничтожной перед силой чувств. Непокорная дочь и не ведавший смирения грузин, бросавший вызов и богу и чертям, всем господам земли и неба, продолжали встречаться, влюбленность становилась жарче.

В начале нового, 1917 года Серго и Зина сердечно проводили Платоныча. Кауров был вытребован в уездное воинское присутствие, взят в армию, и по зимнему тракту вместе с другими новобранцами его повезли, или, как говорится на Руси, погнали, в запасной полк на обучение. Серго с неистощимым оптимизмом предсказал:

— Где именно, не поручусь, то ли до фронта, то ли на фронте, но повстречаешь революцию!

Это жизнерадостное напутное слово стало угадкой. Минул январь, блеклое северное солнце, еще немощное против морозов, постепенно шло на прибыль, близился март, и вдруг в какой-то день в Якутию долетел с телеграфной скоростью всполох Февральской революции.

Серго прослышал эту весть, находясь далеко от Покровского в очередном фельдшерском объезде. Но вот он, соскочив с санок, взбежал на знакомое крыльцо, куда и подходить ему велением бабки запрещалось, ступил в сени, в горницу и как был, в дохе, в тулупе, в капелюхе, очутился перед Зиной.

— Ура! Революция! — прокричал он.

— Да.

Светилась, обрела еще добавочную яркость синева ее глаз, устремленных на него.

— Покачу сразу в Якутск. Зиночка, поедете со мной?

— Но не сию же минуту.

Они вышли на улицу, долго ходили. Меж ними уже раньше все было решено: она станет его женой, повсюду ему будет сопутствовать. Теперь условились: Серго немедля едет в Якутск, потом возвратится за ней.

Расстались у дверей амбулатории. Серго напоследок испытующе взглянул в Зинины глаза:

— Зина, до конца ли ты понимаешь человека, с которым свяжешь свою участь?

Она медленно кивнула. Серго, однако, продолжал:

— Знаешь ли ты, что тебе предстоит? Непокой, скитания, вечная борьба. А может быть, и пуля. Не жди достатка. Всегда будем в нужде. И куда бы революция ни поставила меня, мы с тобой вовеки останемся такими же бедняками, как сегодня. Идешь на это?

Зина улыбнулась:

— Ох, какие ужасы!

...В Якутске Серго с маху окунулся в разворот революционных событий. Он был введен от большевиков в новый орган власти, названный по образцу Великой французской революции Комитетом общественной безопасности. Образовался и Совет рабочих и солдатских депутатов. Там Серго стал членом президиума. Кипение политической работы поглощало сутки за сутками. Митинги. Конференции рождающихся профессиональных союзов. Новые люди в суде. Крестьянский съезд. Везде увлеченно участвовал, выступал Серго.

Он и в Якутске не оставил свою повинность фельдшера. «До двенадцати часов дня работаю в больнице,— писал он Зине,— а остальное время посвящаю другой, любимой работе. Мы, политические ссыльные, думаем зафрахтовать отдельный пароход с баржей и уехать числа 17—20 мая». Почтовый листок заключала строчка: «Я так утомлен, что еле вожу пером».

5

Наконец Серго выкроил время, помчался на санях по осевшему снегу, здесь еще без краю расстилавшемуся, в Покровское, к Зине. Опять он переступает порог в доме

священника. Зина ждет своего Серго. Но на этот раз она не одна в горнице. Там же сидит, накинув полушалок, сухопарая темноликая Агапия Константиновна.

— Зачем пожаловал? — неприветливо встречает она гостя.

— За вашей дочкой! — без запинки объявляет Серго.

Вмешивается Зина:

— Мама, вы же знаете. Поженимся и уедем вместе.

Властная хозяйка промолчала. Прошлась.

— Когда будете венчаться?

Ответила Зина:

— Мама, венчания нам не надо. Бога мы не признаем.

— Как так без венца? Вы ополоумели?

— Как видите, в здравом уме,— с усмешкой сказал Серго.

— Опозорить ее хочешь? Что она у меня, уличная? Ты, черкес, без ножа меня решил зарезать? Не отдам девку тебе. Нет моего согласия!

Запахнув полушалок, Агапия Константиновна мрачно пошла к двери. Обернулась.

— Если с ним уедешь без венца, у тебя матери не станет.

Сухим блеском, без слезинки, горел ее неумоляющий и неумолимый взгляд. Наотрез объявив свою волю, мать удалилась.

— Зина, что же делать?

Зина сидела, подперев руками опущенную голову.

— Не знаю. Решай ты.

...Серго в ту ночь не смог уснуть. Ходил и ходил в своей комнатенке. Как быть, как быть? Идти в церковь? Изменить убеждениям? Нет, легче отнять себе руку, чем совершить крестное знамение. Нет, Зина и без церковной церемонии с ним уедет. Переступит волю матери. Но только ли волю? А вдруг жизнь? Опять виделись сухо горевшие, неумоляющие темные глаза. И опущенная голова дочери. Какой камень ляжет ей на сердце! Нет, революционер не может, не должен с этим считаться. Тебе еще неминуемо придется узреть рухнувшие судьбы, страдания, кровь. Ты к этому готов. Значит, что же? Бери на свою совесть хрупнувшую долю матери? Совесть революционера, что она тебе велит?

Серго все метался, не находя решения. Вот жизнь тебе

послала испытание. Покажи, кто ты таков, на что ты годен. Всплывали разные доводы:

— Не устрашился же Ленин церковного брака.

И сразу явилось возражение:

— Это же вынуждалось самодержавием. Теперь царский режим сброшен. А я... Нет, не могу сфальшивить.

И не было в селе друга-однопартийца, которому отворил бы душу.

— Платоныч, как мне тяжело!

Наутро, так почью и не прикорнув, похудевший, почерневший за одни сутки, Серго себе сказал:

— Пойду на эту казнь.

В сельской церкви в тот же день был совершен обряд венчания.

Невеста обошлась без свадебного убранства, без фаты, ограничилась лишь белым платьем. И подружек не призвала. Вековые обычаи, старинные приметы оба молодых согласно отмели. Но, ступив на паперть бок о бок с нареченным, Зина ему шепнула:

— Венчальные свечи разом задувать, чтобы жить вместе и умереть вместе.

— К дьяволу все эти свечи! — прошипел Серго.

Отец Иннокентий, блистая золотой ризой, благообразный и серьезный, чин чином в почти пустой церковке освятил брак, обвел вокруг аналоя «рабов божьих» Григория и Зинаиду, возложил венцы на черную и русую головы. Обручальные кольца, тяжелые, червонного золота, венчавшимся подарила загодя Агапия Константиновна. И вот, когда подошло время надевать кольца, сочные губы неверующего попика слегка дрогнули в усмешке. Черт возьми, Серго чуть не выскочил из церкви. Кем, кем он оказался? Никчемным болтунишкой! Расписывая за столом свою прямизну, принципиальность, говорил: «Иннокентий, бросай рясу», объявил: «Кривить душой — этому оправдания нет», а сам вот покривил, приплелся к алтарю, позволил надеть себе это, будь оно проклято, кольцо. У, как тяжело, как стыдно!

Завершена наконец-то обрядовая канитель. Никакого свадебного пиршества — так просил Серго — не было устроено. Однако мать, теперь уже приходившаяся Серго тещей, дома ему поклонилась, блюдя правила:

— Зятенька-зятек, съешь пирожок. И выпей со мной чарочку. Жить вам поживать и добра наживать.

Серго снял обручальное кольцо с Зининого пальца, присоединил свое и положил на стол:

— Добра мы наживать не будем. И золота не заведем.

— Да ты мне только дочку береги.

— Себя так беречь не буду, как ее.

Не утирая навернувшихся слез, казачка еще раз поклонилась зятю:

— Так чокнемся, Григорий Константинович — Серго!

6

Лишь в двадцатых числах мая началось судоходство по очистившейся ото льда, разлившейся вширь Лене. Якутская колония ссыльных, насчитывавшая примерно человек сто, зафрахтовала пароход и двинулась в полумесячное плавание вверх по течению в Иркутск.

Среди дня пароход привалил к крутому берегу села Покровское, где полагалась двухчасовая стоянка. Упрямая казачка и тут взяла свое: друзья Серго, бывшие ссыльные, были приглашены отобедать в ее доме. Этак мать все-таки справляла и свадебное торжество и проводы отбывавшей — кто знает, не навсегда ли? — с зятем дочери. Опять слезы мешались со счастьем.

Серго только покачивал кудлатой головой, душевные терзания уже отошли вдаль, был радостен, весел. Теща выложила ему просьбу:

— Не откажи. Кольца-то наденьте.

— Зачем? Не надо.

— Уважь. А то сердце у меня будет неспокойно.

И Зина сказала:

— Сделаем маме приятное, наденем.

Серго со вздохом натянул кольцо.

Пиршество удалось на славу. Разумеется, требовали: «Горько, нужно подсластить!» Пришлось молодой чете подняться. Серго поцеловал мягкие податливые губы раскрасневшейся жены. И прокричал:

— Одного раза, товарищи, хватит. А больше, хоть расшибитесь, подслащивать не станем.

Улучив минуту, Зина ему тихо сказала:

— Мама дает мне золотые часы. Взять?

— Только попробуй! Увидишь, что с ними тогда будет.

И вот отплывающие опять стоят на палубе. Уже от-

пяты мостки. Медленно поворачиваются, шлепают плицы. Ширится кромка воды меж пристанью и пароходом. Все село высыпало провожать ссыльных Якутии. Отец Иннокентий благословляюще чертит крест в воздухе. Гомонят его детишки, прощаясь с дядей Грузей и тетей Зиной. Бабка и сморкается, и машет носовым платком, и вдруг угрожающе выставляет сухой кулачок. Серго угадывает невыговоренное:

— Гляди, разбойник!

А она уже опустила руки, смотрит, смотрит.

Зина сжимает широкими ладонями бортовые перильца, по скуластым щекам сползают слезы. Серго запевает «Варшавянку». Многие спутники тотчас подхватывают, к отдаляющемуся берегу задорно несется:

В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.

Упрямо бьют по воде плицы. Пароход выбрался почти на середину могучей, размахом в три километра, Лены. Даль уже стушевала фигуры провожающих. Едва виднеется Покровское. Солнце горящим бликом отражается в маковке каменной церкви, где совершает требы Иннокентий. Пассажиры разошлись по судну.

Посвежевший ветер уже насухо смахнул влажные дорожки с лица Зины. Она взглянула на свою обхватившую поручень кисть, двинула пальцами, полюбовалась кольцом, улыбнулась. Серго это приметил. Но с виду остался спокоен.

— Зина, дай твое кольцо.

Она сняла, подала ему. Он стянул свое и, положив оба на ладонь, слегка размахнулся и бросил в Лену. Раздался чуть слышный бульк. Зина ахнула. А Серго рассмеялся:

— Ты еще все-таки не поняла, за кого вышла. Теперь-то уразумела?

Она ярко засиневшими, изумленными глазами уставилась в него:

— Уразумела.

— Что?

— Потом тебе скажу.— И погодя молвила: — Это было, Серго, вторым нашим венчанием.

<1969>

СЕРГО В БАКУ

1

Баку. Осень 1920 года. Во вместительной комнате, что нередко служила здесь, в райкоме, залом, Руся вела протокол собрания. В стекла постукивал подхватываемый сильным ветром дождь. Причудливо изогнутая люстра, которая досталась вместе с особняком бежавшего нефтепромышленника бакинским коммунистам, освещала внимательные лица, большей частью молодые. Молодость тогда никого не удивляла. Партработники в восемнадцать или в девятнадцать лет не считались юнцами. Докладчиком был Саша Онисимов. Кожанку он снял, оставил на спинке своего председательского стула, вышел в белой с незастегнутым воротом косоворотке поближе к собравшимся. У него была слабость к такого рода белым или кремовым рубахам, как бы символизирующим чистоту. Конечно, в бакинской пыли он нечасто их носил и, бывало, не утруждая мать, сам на ночь простирывал.

Продолжая неторопливо докладывать, Онисимов присел на край легкого конторского стола. Речь шла о предстоящей регистрации членов партии и о выдаче единого билета взамен всяких временных разнообразных удостоверений о принадлежности к партии. В рабочих ячейках следовало без каких-либо формальностей обменивать партдокументы, но для непролетарских элементов — таков был термин тех времен — регистрация должна стать и проверкой.

Руся прилежно записывала, однако успела заметить, как приоткрылась дверь из коридора. У двери появилась плотная, показавшаяся даже приземистой фигура в длинной, до пят, серой шинели, в шлеме-буденовке. Руся сразу узнала на редкость широкие черные глаза, нависший, что

называется орлиный, нос, мягкую выемочку на подбородке. Сколько раз на больших собраниях и на митингах она видела издалека эти черты, слушала, как с резким грузинским акцентом, вовсе не звонко, скорей глуховато, даже чуть шепелявя, незамысловатыми обиходными словами, порой без стеснения чертыхаясь, этот человек говорил с трибуны. Переживший падение Бакинской коммуны и два года спустя возвратившийся в Баку с первыми отрядами обтрепанной, но грозной советской 11-й армии, он, Серго Орджоникидзе, или, как его повсюду называли, товарищ Серго, работал теперь на Кавказе, был председателем Кавказского бюро, учрежденного Центральным Комитетом РКП.

Приоткрыв дверь, Орджоникидзе постоял не входя. Русе подумалось: он, видимо, шел сверху — с третьего или со второго этажа. Шел и завернул в райком. Кое-кто из сидевших оглянулся. Онисимов тоже, конечно, заметил пришедшего, однако ничем, хотя бы лишь движением брови, этого не выказал. По-прежнему отчетливо, без единой запинки, не пользуясь листком, что лежал рядом, он продолжал свое сообщение. Сейчас к нему прислушивался и Орджоникидзе.

Руся принялась за протокол, потом опять подняла голову с тяжелой темной косой — эту косу она никак не решалась остричь — и вдруг как-то наново, словно бы глазами Серго, узрела Сашу.

Ей понравилось, что он в белехонькой с расстегнутым воротом рубашке, изгнав всякую официальщину, этак попросту сидит на краю стола, немного подавшись к тем, кто ему внимает. Далеко не доставая пола, свешиваются его ноги. Видно, как скошены, стоптаны каблуки его прочных, аккуратно вычищенных, зашнурованных тонкими ремешками сыромяти военных ботинок. Стоптаны... Значит, непоседа, не кабинетная, не чернильная душа. И губы, что сейчас шевелятся, выговаривая слово за словом, открывая ряд миндалевидных белых, красивых зубов, обветрены на свежем воздухе, даже кожица шелушится.

Онисимов сжато характеризует своеобразие исторических условий, сложившихся в Баку. Фразы лаконичны, ясны. Одна от другой как бы отделены паузами. Славная бакинская организация засорена мелкобуржуазными, идейно неустойчивыми, а также примазавшимися элементами. Они проникли в нее и в последние месяцы подполья

на подъеме революционной волны, и особенно после победы.

Определения точны. Однако, вслушиваясь, Руся уже не впервые отмечает: у Саши небогатый запас слов. И тут же мысленно вступается за него перед Серго: «Товарищ Серго, это ведь дело наживное, над языком можно поработать, запас слов придет».

Не добавив каких-либо рассуждений к кратким, острым формулировкам, что являлись как бы выжимкой, эссенцией из решения Бакинского комитета партии, Онисимов уже оперирует фактами и цифрами. Изменения социального состава организации за последний год — несколько весомых доказательных цифр. Нарушения дисциплины, взыскания — снова доскональный анализ, подкрепленный цифрами.

Вдвоем с Русей, ведающей партучетом, Саша немало дней потрудился над этой статистикой. Он не удовлетворялся сведениями, которые подготовляла Руся, требовал анкеты, протоколы, отчеты, обнаруживал неясности, неточности, ошибки, сам щелкал на счетах. И, докладывая теперь испытанным коммунистам-бакинцам, уверенно называл цифру за цифрой наизусть, не прибегая к помощи листка, недвижно покоящегося на столе.

И опять это нравилось Русе: обходясь без бумажек, глядя прямо в глаза слушателям, он, Саша Большая Голова, не позволял возникнуть никакой преграде между ними и собой.

С той же привлекательной пунктуальной деловитостью Саша заговорил о порядке, что является обязательным при проверке и регистрации.

Карандаши во многих руках быстро ходили по страницам блокнотов вслед за его словами. Склонясь над протоколом, вела свою скоропись и Руся. Речь Онисимова, логичную, скупую, лишенную каких-нибудь неожиданных своеобразных поворотов, легко было записывать. «Скудный словарь»,— снова подумалось Русе. И еще в мыслях мелькнуло: «Сам он этого не замечает».

2

В какой-то миг Руся снова взглянула на дверной проем. Что такое? Дверь приоткрыта. Неужели товарищ Серго послушал-послушал — и ушел? Да, видимо, так.

Должно быть, решил, что тут все идет, как надо. И все же обидно, что не посидел на собрании. И не напутствовал.

Досада, однако, оказалась преждевременной.

Минуту спустя в комнату шагнул Орджоникидзе. Теперь он, уже сняв длиннополую шинель и суконный шлем, выглядел вовсе не приземистым, а, скорее, статным. Мягкий стоячий воротник военной гимнастерки гармонировал с прямым поставом шеи. Быстро пройдя к столу, Орджоникидзе сел, с кем-то поздоровался глазами. Сейчас Руся смогла различить особенность их блеска — не сухого, каким сверкает в изломе антрацит, а увлажненного, такого, как у спелой вишни. Оттенок буйно разросшейся волнистой шевелюры тоже был мягким — графитным, а не черным.

Серго отстегнул прикрепленную к петельке нагрудного кармана металлическую тонкую цепочку, вытянул часы, положил перед собой.

Онисимов, не меняя непринужденной позы, закончил доклад. Легко соскочив на пол, он направился к своему председательскому стулу. По пути он поклонился товарищу Серго. Орджоникидзе протянул ему руку. Маленькая Сашина кисть потонула в большой складной пятерне Серго. А тот еще и другой рукой ласково похлопал локоть Саши. Руся увидела, как смуглые, или, вернее, подернутые от природы легкой коричневатостью, еще к тому же загорелые, щеки Онисимова, всегда будто бесстрастные — даже режущий бакинский норд не умел их разрумянить,— чуть вспыхнули. Он, наверное, остро пережил это мгновение, ласковый жест Серго.

Пролетело еще несколько секунд, и в комнате снова раздался ровный голос Саши:

— Прошу, товарищи, задавать вопросы.

Поднялся рябоватый, крепко сбитый Глущенко, секретарь ячейки университета:

— У меня вот что. Понятно, мы должны очиститься. Но как быть, товарищ Саша, с такими, например, как наш студент Перселени? Парень честный, способный, но городит чушь... Ну, прямо грузинский самостийник. Грузию, мол, не трожь... Мы сами...

— Так какой же тут вопрос? — едко проговорил Саша.

Руся уставилась в бумагу. Замерло перо, которым она только что вписала: Перселени. Недобрым предвестником была резкость Онисимова. Бедняга Илларион, Ильюшка-заводила, плохи твои дела.

На днях в этой же комнате, где один угол — вон у окна возле несгораемого шкафа — принадлежал Русе и ее учетному хозяйству, прозвучал энергичный возглас:

— Русудан! Здорово!

Взмахом руки Русю приветствовал пылкий воитель недавних (или, пожалуй, уже давних) бурных ученических собраний длинный худой Илларион Перселени. Его заостренный хрящеватый нос был, как обычно, оседлан очками. Круглые вороненой стали ободки касались темных пушистых бровей. За очками ясно виднелись голубовато-серые, всегда оживленные глаза. Сколько раз в канувшие времена Илларион, бывало, приходил на занятия социалистического молодежного кружка и то к случаю, то вовсе без всякого случая выкладывал неожиданные предложения, порою сумасбродные. Страстный спортсмен, неутомимый левый край на футбольном поле, любитель природы, гребли, рыбной ловли, он долго уговаривал членов кружка коллективно уйти в дикий лес, уйти — и не возвращаться до тех пор, пока там, в лесу, всеми не будет проштудирован «Капитал». И конечно, так и не уговорил.

Он же, самовозгорающийся Илларион, некогда первым выдвинул мысль о забастовке — всеобщей стачке учащихся Баку — в ответ на исключение из гимназии двух старшеклассников, отказавшихся предать товарища. Эта затея, поначалу опять было причисленная к вздорным, получила, однако, поддержку серьезных партийцев-большевиков, близких к юношеским революционным кружкам, быстро овладела умами. Собрание ученических делегатов в кинотеатре «Рекорд» провозгласило забастовку. Зажигательную речь там произнес и неустрашимый Перселени. Выступив, он то присаживался, то вскакивал, кочевал по залу и наконец уместился возле Руси. С подмостков говорил молодой преподаватель-словесник, декларировавший солидарность с учащимися группы учителей, говорил сильно и умно о чести, благородстве, человеческом достоинстве, что ненавистны героям вицмундира, столпам гимназической муштры, для которых целью, идеалом воспитания является юный подлец. Перселени наклонился к Русе, подперевшей ладонью горячую щеку, нелепо шепнул:

— Ух!

Руся ощутила тогда нервную дрожь его плеча. Ее тоже пронимал озноб.

Немало времени минуло с тех пор. И вот коммунист Перселени, все тот же быстрый, неуемный Ильюша, пришел в райком к коммунистке Русе Цомая. Поздоровавшись, он произнес:

— Пошли в коридор, поговорим.

— А здесь нельзя?

— Можно и здесь. Только потихоньку. Поняла? — Его прирожденная улыбка, игравшая в загнутых кверху уголках губ, стала таинственной.— Есть дело. Ты очень нужна.

— Опять что-нибудь придумал?

Илларион кивнул.

— Нечего пассивничать! — Этот глагол «пассивничать», сочиненный им самим, был его излюбленным осуждающим словечком.— Я записываю в отряд.

— Отряд? Какой?

— Коммунистический. Грузинский.

Он разъяснил свою придумку. Надо сколотить боевую группу добровольцев, чтобы поднять восстание в Грузии, где еще властвовали меньшевики. Русины глаза, в которых только что играл добрый смешок, стали серьезными. Втайне она давно подготовила себя к самопожертвованию в борьбе, к тому, чтобы положить жизнь ради мировой революции, ради партии. Перселени продолжал быстро шептать. По его мысли, в отряд следовало принимать только грузин. Красная Армия Советской России не должна переступать границу Грузии.

— Свою революцию мы сделаем, Русудан, сами. Других об этом не попросим.

Руся кончиками пальцев слегка откинула завитки волос, буйно выбившихся на виски. Четко обозначилась крутая линия ее выпуклого лба. Нет, она, кажется, напрасно приняла все это всерьез.

— Что ты все время Русудан и Русудан? Раньше я была для тебя Руся... Или так надобно для колорита?

— Не придирайся. Вникни в суть.— Тон Иллариона вдруг изменился, стал вопросительным.— А? Как, по-твоему, я прав?

Руся подумала. В новой затее Иллариона она видела его чистую душу и путаную голову. Как это отделить? Она мягко сказала:

— Что значит других? Разве ты не пошел бы помогать, скажем, польской или немецкой революции?

— Слушай, не считай меня, пожалуйста, полным дуралеем! — Перселени опять воспламенился.— Конечно, я пошел бы! Но прежде всего они должны позвать. А мы, коммунисты-грузины, никого не позовем. Поднимем восстание и сшибем меньшевиков. И объявим Советскую власть в Грузии. Поняла? Согласна записаться?

— Погоди. А если вызовется добровольцем кто-нибудь из русских?

— Ничего ты не поняла. В таком деле русских нам не надо. Только грузины. В этом-то весь смысл.

— Товарищу Саше ты про это говорил? Как он считает?

— Ну его. Больше ходить к нему не буду.

— Что же он все-таки сказал?

Будущий командир повстанческого грузинского отряда обиженно выпятил большую нижнюю губу:

— Сказал, что у меня каша в голове.

Руся усмехнулась: определение было метким. Ей вместе с тем пришлось по нраву, что у суматошного Иллариона достало мужества не скрыть язвительную оценку Онисимова.

— И еще добавил, что такое выражение,— продолжал Перселени,— часто употребляет Ленин. Порекомендовал изучать Ленина.

— А ты отказался?

— Зачем отказываться? Но и ему почтительно дал этот же совет.

Сквозь очки Илларион бросил победительный, или, что называется, соколиный, взгляд, как бы предлагая отдать должное его находчивости, но тотчас сознался:

— Это, Руся, я приврал. Блеснуло в голове, когда от него вышел.

Состроив гримаску, он сам над собой посмеялся. И заспешил — его где-то ждали приверженцы. Распростился с Русей, обещав снова зайти, чтобы потолковать более основательно.

3

Теперь на совещании, посвященном предстоящей проверке, Онисимов резко произнес:

— Так какой же тут вопрос? — И, помедлив, как бы отыскивая, взвешивая фразы, еще сказал: — Было бы не-

правильно на этом собрании заниматься вопросом о том, место ли в партии конкретно тому или иному человеку. Хотя бы и такому, который уже приобрел известность в нашей организации как один из горе-рыцарей национал-коммунизма. Предоставим товарищам на месте при проверке внимательно и объективно разобраться и вынести свое решение.

Секратарь ячейки университета, однако, не удовлетворился:

— Товарищ Саша, нужна принципиальная ясность. Перселени я назвал только для примера. Иногда такое сморозит, ну, будто идейный противник. И с другой стороны — наш! Поручи ему самое трудное, опасное — пойдет! Готов на подвиг. Что с этакими делать? Вычищать?

Онисимов четко ответил:

— У нас, товарищ Глущенко, принцип один — единство мысли, единство воли, железная дисциплина в рядах партии. Об этом, товарищи, еще в «Что делать?» писал Ленин.

Руся быстро протоколировала. Она знала: Саша поклонялся Ленину, стремился быть по-ленински непримиримым, по-ленински скромным. Со свойственной Онисимову способностью выделять, выжимать главное, он и сейчас в нескольких непреложных, ясных фразах сформулировал организационные принципы партии:

— Идейная мешанина, всяческие путаники в большевистской организации нетерпимы.

Через плечо Руся взглянула на Миглушу, пристроившегося у окна. Он, тоже привлеченный к делу проверки, будто ждал этого взгляда. Оба поняли друг друга, оба думали об Илларионе. Сколько раз когда-то левый край Перселени был противником Миглуши на футбольных состязаниях. Противником и славным товарищем. Не отрадна его участь. Но что можно сейчас сделать? Как вмешаться?

Онисимову было задано еще несколько вопросов. О Перселени больше никто не упомянул.

Руся пропустила миг, когда со своего стула встал Орджоникидзе. По-видимому, Саша лишь кивком или жестом предоставил ему слово:

— Товарищи, очень сожалею и прошу извинить,— прозвучал глуховатый характерный голос,— что не могу остаться на собрании до конца.

Держа наготове ручку в тонких, почти детских, чуточку испачканных чернилами пальцах, Руся теперь во все глаза смотрела на Серго. Его извинительная первая фраза, конечно, не нужна для протокола. Исполнил некое правило вежливости — только и всего. Однако большой загорелой рукой Серго взял со стола часы, подержал на ладони. Это простое движение как бы освежило общепринятые выражения. Сразу поверилось, что он действительно хотел бы здесь еще побыть.

— Собственно говоря,— продолжал Серго,— в моем выступлении, пожалуй, нет нужды. Товарищ Онисимов отлично все сказал. Могу лишь признаться, что у меня, старого партийного работника, пробуждается особая любовь и особое чувство счастья, когда вижу, как подросли молодые силы.

Опять жили его руки. Серго широко их раскинул, как бы обнимая всех собравшихся.

— Все же некоторыми мыслями, товарищи, я поделюсь. По-моему, первейшая задача в вашей будущей работе по выдаче партийных билетов и проверке рядов партии заключается в том, чтобы добраться до человеческого сердца. Сердце революционера, сердце, отданное рабочему делу,— это самая великая ценность.

Руся строчила, не дописывая слова, стараясь полнее зафиксировать речь Серго. Он развивал дальше свою мысль:

— Прежде всего, товарищи, надо вытащить на свет и выгнать к чертям фальшивых коммунистов, людей без революционного огонька в сердце.

Эти энергичные слова «выгнать к чертям» сопровождались столь же энергичным взмахом кулака. Затем Серго поднял указательный палец:

— Затрону, товарищи, еще одну проблему, с которой каждый из нас сталкивается. Я имею в виду национальные струнки.

Объяснив сложность и запутанность национальных отношений на Кавказе, он продолжал:

— Мы, коммунисты, все без различия национальностей являемся членами единой коммунистической семьи. В наших рядах нет и не должно быть места ни малейшей национальной розни.

Для тех, кто сейчас здесь находился, лучших партийцев района, это утверждение, пожалуй, не нуждалось в до-

казательствах. Серго все же убеждал, приводил доводы. Далее с присущей ему сочностью стиля он сказал, что надо обязательно вышибить из партии всевозможных черносотенцев, последышей российского колонизаторства. Царизм оставил препакостное наследство — недоверие к России малых народов на окраинах. Это наследство следует целиком выкинуть как негодный хлам.

— Нечего обманывать себя и строить иллюзии. Без российского пролетариата у нас, товарищи, ничего не вышло бы и не выйдет. Азербайджанской республике достаточно на двадцать четыре часа отделиться от Советской России — и она будет разгромлена международной буржуазией. Но не бывать этому!

В подтверждение он ударил ладонью по столу. Вероятно, хотел стукнуть более или менее сдержанно (или, возможно, стол был легковат), но в увлечении не сообразовал силу удара. Подпрыгнула, чуть не опрокинулась служившая Русе чернильница-непроливайка. Серго, видимо, сам был удивлен чрезмерностью хлопка. Он посмотрел на свою ладонь, покачал головой, улыбнулся, прижал руки к груди, молча извиняясь перед девушкой.

— Да-а...— протянул Серго.— А все потому, что под горячую руку попала международная буржуазия.

Собрание откликнулось смехом и аплодисментами. В них нашли разрядку чувства, что возбуждал этот запальчивый, открытый, с острыми усами человек в армейской суконной гимнастерке, руководитель большевиков Закавказья. Пронесшаяся веселая минута не помешала ему вернуться к своей серьезной теме.

— Товарищи, всем вам известно, что в братской могиле двадцати шести бакинских комиссаров лежат рядом тюрок и грузин, русский, армянин и еврей. Пусть же эта дорогая нам всем могила будет укором и проклятием для тех, кто хотя бы на минуту изменит великому всемирному делу трудящихся. Яд национализма, быть может, самая серьезная для нас опасность. Мы должны использовать и проверку, чтобы каленым железом выжигать, вытравлять этот яд.

Руся уловила движение Онисимова. Он слегка подался к ней, безмолвно проверил, как она записывает.

Серго снова взглянул на часы. Стрелки, видимо, сказали: пора!

Закончив воодушевленным призывом, он с привычной широтой жеста воздел на прощание руки и быстро пошел к двери. Однако вдруг прищелкнул пальцами и обернулся:

— Да, чуть не позабыл... Хочу спросить про этого лютого зверя, нашего идейного противника. Если не ошибаюсь, Перселени? Сколько ему лет?

Ни к кому в отдельности Серго не обращался. Не раздумывая, порывисто поднялась Руся:

— Семнадцать, товарищ Серго.

Одолевая смущение, она, совсем еще девочка, стояла в сшитой из ряднины своей рабочей курточке. Внимательного наблюдателя — позволим себе заимствовать из старых романов такой оборот — мог бы удивить взгляд непотупленных глаз, взгляд, в котором странно соединялись незащищенность и отвага. Серго улыбнулся, природная доброта просквозила в этой улыбке.

— Ваш ровесник?

— На один год старше.

— Как вас зовут?

— Руся... Русудан Цомая.

— У меня к вам, товарищ Руся, будет просьба. Или нет... Для товарища Глущенко это сподручней. Товарищ Глущенко, передайте, пожалуйста, этому вашему тигренку, чтобы зашел ко мне. Пусть приходит как-нибудь пораньше утром на квартиру. Я с ним потолкую.

И Серго покинул комнату.

4

Два или три дня спустя в эту же комнату, где с утра гудели разговоры, опять вторгся взбудораженный Перселени. Его вид был необычным — подобно пулеметной ленте у красногвардейцев семнадцатого — восемнадцатого годов, на груди выделялась надетая через плечо кожаная коричневая сумка для патронов. В руке он держал ружье-двустволку. Из-под съехавшей на ухо кепки воинственно торчал клок мягких каштановых волос. Сквозь очки оглядев комнату, Илларион стремглав подошел к Русе, протянул ружье:

— Ух! Посмотри, какая вещь!

— Что с тобой? Откуда ты?

— Понимаешь, со мной сейчас случилось то, чего еще никогда я... Ну, словом, я был у Серго.

— Что же он тебе сказал?

— Гляди, он сделал так.— Перселени широко растопырил пальцы на одной руке.— Сделал так и повел со мной беседу. Сказал: во-первых, ты дурак. Во-вторых, мальчишка.— По ходу рассказа один за другим пальцы загибались.— В-третьих, ни черта не понимаешь в революции...

Почти все, кто находились в комнате, оборвали разговоры. Шумное повествование Перселени привлекло общее внимание. Он опять кинул взгляд по сторонам и решил далее не ронять своего достоинства:

— Ну, а в-четвертых и в-пятых... Про это, Руся, как-нибудь в другой раз тебе скажу... Потом Серго снял со стены это ружье и патронташ. «А чтобы ты не унывал, вот тебе подарок»!

Илларион горделиво опять потряс двустволкой.

— О чем же еще вы говорили?

— Еще?

Явственней обозначилась улыбка, не покидавшая загнутых вверх уголков губ Иллариона.

— Товарищ Серго берет меня в политотдел армии.

Руся воскликнула:

— В политотдел армии? Замечательно! Но как же ты?.. По-твоему, ведь...— На миг ее круглое нежное лицо стало лукавым.— По-твоему, Красная Армия...

— Э...— Илларион вновь растопырил пальцы.— Во-первых, как тебе известно, я был дураком. Во-вторых, Красную Армию создал Ленин. В-третьих... Ну, словом, пассивничать не собираюсь. На, вот записка от товарища Серго.

Сдвинув патронташ, он достал из бокового кармана сложенный листок бумаги, развернул. Строки были адресованы секретарю райкома Онисимову. Руся прочла: «Товарищ Онисимов. Прошу откомандировать члена партии тов. Иллариона Перселени в распоряжение политотдела 11-й армии. С. Орджоникидзе». Подписываясь, Серго, видимо, сильно нажал перо, чернила чуть разбрызгались.

— Ильюшка, я так за тебя рада. Только как же ты с учебой?

— Временно побоку. Успею доучиться.

— Правильно. Сейчас отыщу все, что надо, и пойдем вместе к товарищу Саше.

— Нет, ступай к нему одна. А то я...— Перселени нагнулся и шепнул: — А то посоветую ему изучать Ленина. Или еще что-нибудь порекомендую.

С нужными бумагами Руся вошла в келью-кабинетик Онисимова. Саша внимательно просмотрел записку Орджоникидзе и, ничем не выразив своего отношения к происшедшему, обмакнул ручку в чернильницу, аккуратно стряхнул лишнюю каплю и красивым округленным почерком, отчетливо выделяющим каждую букву, написал: «К исполнению». Казалось, он так и промолчит. Он, однако, спросил:

— Что же ты по этому поводу думаешь?

Русе хотелось сказать, что, столкнувшись с чьей-либо ошибкой, Саша нередко не видит за ней человека, не видит его сердца. Но неожиданно для себя она произнесла:

— Знаешь, Саша, я давно замечаю, что у тебя скудный словарь.

— Как?

— Небогатый выбор слов.

— Возможно. Но я тебя спрашивал не об этом.

— Почему не об этом? Разве в выборе слов не отражается, схватываешь ли ты оттенки, богатство, разные противоречия жизни? Все может отразиться. Даже...— Руся запнулась.— Даже широкая или узкая душа. Не сердишься?

— Нет.— Улыбка приоткрыла крепкие белые Сашины зубы.— Спасибо, что сказала. Ну, иди.

И Онисимов придвинул к себе лежавшую перед ним папку с отчетами низовых организаций.

<1966>

МОЛОДЫЕ ГОДЫ

Рассказ

1

Руся Цомая (обозначим тут же ее полно грузинское имя Русудан) вступила в партию в 1918 году, еще будучи ученицей последнего класса Бакинской гимназии. Отец девочки, Миха Цомая, был, что называется, человек-кремень. Рожденный в семье крепостных, он подростком ушел из Грузии в Баку, нещадным трудом грузчика на пристанях и в железном ряду рынка зашибал копейку, урезал себя во всем, складывал медяк к медяку, гривенник к гривеннику и к сорока годам выбился в люди, открыл собственную скобяную лавку. Жизнь, ожесточившая душу новоявленного третьей гильдии купца, постепенно заслужившего репутацию безупречной честности, отяжелила его взгляд, сделала резкими черты бородатого лица.

Лишь упрочив дело, он взял в жены смирную соплеменницу-грузинку.

В 1902 году на свет появилась Русудан. Миха и с ней оставался замкнутым, крутым. Его язык, давно отученный от задушевных мягких слов, наверное, уже и не мог их выговаривать.

Робкая мать часто задумывалась, не умела выторговать копейку на базаре, что-нибудь выгодно купить. Муж без стеснения попрекал ее куском. Однажды Руся пыталась вступиться, но тяжелыми, как удар кулака, словами отец принудил девочку замолкнуть. Подошло время, Миха Цомая, чье беспорочное имя уже полтора десятилетия значилось на вывеске мрачноватой, как и сам хозяин, лавки, отвел дочь в гимназию. За право учения он ежегодно уплачивал немалую сумму и порой с грубой беззастенчивостью напоминал девочке об этом.

Перейдя в пятый класс с отличными отметками по всем предметам, Руся отказалась от денег отца, нашла уроки,

чтобы дальше учиться за свой счет. Это опять был ее бунт, но уже не детский, не беспомощный. Отец кричал, наложил запрет. Руся не опустила перед разъяренным отцом темных больших глаз. Не повышая голоса, Руся сказала, что уйдет из дома, если по-прежнему будет лишена свободы. Характер натолкнулся на характер. Человек-кремень, подростком ушедший из семьи, уступил дочери-подростку.

Отстояв свои права, Руся теперь упивалась вольностью. Можно бегать по урокам, выступать с рефератами в гимназическом литературном кружке, читать полузапрещенного Бельтова-Плеханова и «Политэкономию» Железнова, декламировать в дружеской тесной компании не пропущенные цензурой, но просочившиеся и в Баку строчки Маяковского: «В терновом венце революций грядет шестнадцатый год...»

Революционные грозы одна за другой загрохотали в семнадцатом. Маленькая, с большими глазами, большим, типично грузинским ртом, обилием черных волос, заплетенных в толстенную косу, Руся, прозванная «Шарик», сразу же оказалась среди инициаторов, создателей социалистического кружка учащихся. Случалось, она с двумя-тремя подругами часами простаивала на митингах, подчас пробиралась и на галерку театра, где заседал жарко бурлящий Бакинский Совет рабочих депутатов. Провозглашение власти Советов, Бакинская коммуна, наступление турок, контрреволюционный переворот, английские войска в Баку — все это видела, пережила гимназистка Руся.

Дома наконец произошел давно назревавший взрыв. Узнав, что дочь разделяет программу коммунистов — Руся в этом страшном последнем разговоре с отцом оказалась тоже кремешком,— держит руку смертных врагов Михи Цомая, покусившихся на все устои, что для него были священными, старик проклял дочь. Порвавшая с отцом, лишенная и матери, не решившейся преступить волю главы дома, Руся покинула родной кров.

Она исполняла скромную, но опасную партийную работу — была одной из связных затаившегося в подполье Бакинского комитета большевиков. Нежное округлое девичье лицо, неосознаваемая женственность, веселый нрав вряд ли могли навести кого-нибудь на мысль, что эта малышка принадлежит партии.

Руся поселилась у соученицы по гимназии, дочери электромонтера, здоровячки Ани Кошелевой, тоже приобщенной к подполью. В какое-то утро Аня заметила из окна подозрительную фигуру на тротуаре. Да, над квартирой, где обитали подруги, нависла полицейская сеть. Видимо, по следу маленькой связной шла контрразведка. Все же удалось схитрить, выскользнуть из наблюдения. В тот же день обе подпольщицы получили инструкцию: исчезнуть из Баку, уехать в Темир-Хан-Шуру. Была дана и явка.

Прошло несколько месяцев. И вот — март 1920 года. Советские войска гонят деникинскую армию. Ширится восстание красных партизан-дагестанцев в тылу Деникина. Повстанцы собственными силами забирают у белых Темир-Хан-Шуру — центр Дагестана. Несколько дней спустя в этот разросшийся из старого аула город входят далеко растянувшиеся конные и пешие колонны Красной Армии. На главную улицу высыпали всех возрастов жители, даже и женщины-горянки (им этого не разрешали вековые правила Востока, мусульманский шариат). Бойцы-дагестанцы, вздымая над папахами ружья и клинки, восторженно встречали бойцов российской и всемирной рабоче-крестьянской революции.

Двухэтажное здание, где два года пребывала деникинская комендатура, увенчано красным полотнищем — теперь этот дом Ревкома. Охрану несут вооруженные дружинники, горцы и русские; среди них и наши две девушки-бакинки. Они просят направить их добровольцами в Красную Армию, мечтают войти в Баку в рядах воинской части. Их просьба, однако, не уважена. Коммунистки нужны и здесь, в Дагестане.

Вскоре телеграф приносит весть: бакинские рабочие вышли на улицы, буржуазному правительству предъявлен ультиматум — сложить оружие, сложить власть. И одновременно советские войска прорвались в город.

Снова две девушки, скромно именуемые культработниками, стремятся вернуться из Шуры в родной Баку. И снова им отказывают: поработайте на месте, несите партийное слово в аулы, укрепляйте Советы, тем более что в горах не перевелись банды, еще надеющиеся посчитаться с коммунистами.

2

Однажды среди лета, уже под вечер, Руся и Аня снова пошли к секретарю Дагестанского обкома отпрашиваться в Баку. Зной южного июля в этот час уже свалил, служебный день закончился, но в обком можно было наведаться и еще позже: там не знали урочного времени, почти все работники обкома проживали здесь же, в комнатах второго этажа или во флигеле.

Девушек, однако, сразу же постигло разочарование. Секретарь, как им сообщили, уехал в Ростов на совещание. Его замещал Кауров, редактор областной газеты. Но сейчас секретарский кабинет был пуст, Каурова в обкоме не оказалось. Девушки уже намеревались уходить, но кто-то надоумил заглянуть во флигель: возможно, Кауров ушел поработать к себе в комнату.

По дорожке буйно разросшегося сада они поспешили туда. Прямо перед ними в просветах листвы — Русе запало это в память — был виден розового каления большой, уходящий за гору шар солнца.

— Вперед! — крикнула Руся. И первая взбежала по крылечку в раскрытые сени. Но здесь застеснялась.

В дверь Каурова храбро постучала Аня. Сквозь филенку донеслось нечто нечленораздельное. Аня толкнула дверь. Подруги вошли разом. Вошли и тут же в замешательстве остановились.

Сидя на койке, прикрыв одеялом ноги, заместитель секретаря обкома, он же редактор областной газеты, чинил свои военного образца брюки, наверное единственные. И был углублен в это занятие. Вместо иглы (иголки в ту пору всюду были редкостью) ему служил остро зачищенный карандаш. Проколов дырочку в потертой зеленоватой ткани, он всучил туда суровую некрашеную нитку, положил стежок. Не поднимая головы, опять пустил в дело карандаш, снова продел нитку. Можно было бы поразиться его житейской неустроенности, его неумению, если бы не удивительная ловкость, с которой он клал шов.

Сквознячок — и окно и дверь были распахнуты — пошевеливал его зачесанные назад, очень светлые, словно выгоревшие добела, тонкие волосы. На макушке проступала небольшая круглая лысина. Ветер стронул со стола несколько бумаг, перевернул листы раскрытой книги.

Кауров поднял взор, увидел вошедших, сконфузился, пробормотал:

— Какая штука...

Его брови, в отличие от зачеса, были густо-черные, будто нанесенные углем. Этот броский твердый штрих, пожалуй, противоречил мягким чертам, улыбке, что выказывала ямочки на осмугленных здешним зноем, румянящихся щеках. Или, быть может, составлял некую гармоничную добавку. Кауров поправил, подтянул выше одеяло. Повертел брюки. И тотчас в нем пробудился юмор, сверкнули искорки в серых глазах.

— Ничего страшного,— заговорил он.— Дотачаю, на минуту отвернетесь, вот и все. Но тем не менее...— Он покусал верхнюю губу, удерживая улыбку.— Тем не менее следует, товарищи, определить свою позицию: или туда, или сюда.

Аня воскликнула:

— Товарищ Кауров, я сбегаю, принесу иголку.

— Спасибо. У меня нитка самоходная, в иголке не нуждается. Шью по-сапожному, щетинкой. Привелось обучиться.

Он мог бы сказать: «тюрьма обучила», но предпочел несколько безличный оборот. Вновь стал класть стежки. Опять зарозовела его плешинка. Аня решительно прикрыла дверь, села на стул. На другом пристроилась Руся.

— Ну-с, культурка... С чем пришли?

«Культуркой» Кауров окрестил девичью стайку — культотдел Ревкома. А «культурка» заглазно звала его Платонычем, укоротив имя-отчество Алексей Платонович. Здесь, в глубине Дагестана, он вел теоретический семинар по изучению партийной программы, принятой съездом год назад, был неутомимым лектором, а также почти несменяемым и, можно сказать, популярным докладчиком о текущем моменте на всех крупных собраниях в Темир-Хан-Шуре. Еще молодой, тридцатитрехлетний, но уже принадлежавший к необыкновенно уважаемому, снискавшему — надо ли добавлять? — ненависть контрреволюции, поколению старых большевиков, член партии с 1903-го, наполовину грузин, наполовину русский, он, некогда студент-математик, испытал долю эмигранта, затосковал по России, вернулся, снова студенчествовал, не терял связи с партией, сотрудничал в большевистской периодике и в первый же год войны угодил в ссылку.

Стараясь не глядеть на его шитье и кончик белой, совсем без загара ноги, Руся рассматривала стол. Громоздятся книги. Некоторые переплетены. Можно разобрать фамилии авторов. Роза Люксембург, Каутский, Лафарг, Маркс и Энгельс, Ленин, снова Маркс. Желтеет табак в початой пачке. Рядом на газете — обломанный кусок серого хлеба.

Вновь вскинув голову, Кауров поймал ее взгляд.

— Да, книга и хлеб,— произнес он.— Книга и хлеб на столе у каждого — вот, если хотите, формула пролетарской революции.

Платонычу, видимо, самому понравилось его нечаянное определение. Он даже поднял острием вверх свой карандаш. Словно подзадоренная этим жестом назидательности, Руся вдруг возразила:

— А власть?

— Что власть?

— Книгу и хлеб может принести за каждый стол и решительная буржуазная революция.

— В России?

— Мне показалось,— не без лукавства парировала Руся,— что вы дали общетеоретическую формулировку.

— А не кажется ли вам, товарищ Руся, что истина всегда конкретна?

— Ой! — неожиданно вскрикнула Руся. И объяснила театральным шепотом: — Меня щиплет Аня: не спорь с ним, а то провалим свое дело.

— Да вовсе я ее не трогала,— отозвалась Кошелева.

Все трое рассмеялись. Карандаш Каурова опять принялся исполнять роль шильца.

— Итак, культурка, с чем пришли?

Девушки приготовили убедительную речь. Говорить начала Аня:

— Мы подготовили для работы в культотделе несколько горянок. Некоторые вам известны.

— А, первые ласточки...

— Пожалуй, уже вторые,— мгновенно поправила Руся.

Утвердительный кивок Платоныча был ей ответом. Да, конечно, идет уже новая волна национального женского движения в Дагестане. Молодец девочка! Строга к словесам. Строга и весела.

Аня деловито назвала по именам трех или четырех горянок.

— Их уже надо выдвигать. Они, Алексей Платонович, нас заменят. И даже...

Кауров прервал:

— Все понял. Доводов не требуется. И меня, товарищи, манит Баку. А еще сильнее Питер. Однако же, как видите... Ну-ка, отвернитесь.

Минуту спустя, уже одевшись, он аккуратно заправил одеяло, оглядел себя, одернул выцветшую воинскую гимнастерку:

— Сойдет с горчичкой.

Почесал глубоко вдавшийся мысок залысины.

Девушки сидели погрустневшие. Наверное — в который уже раз! — предстоит выслушать нравоучение.

Оторвав листок папиросной бумаги (эта роскошь, папиросная бумага, была в числе других трофеев захвачена па складах бежавшей белой армии), Кауров широковатыми ловкими пальцами свернул цигарку, закурил.

Что же сказать этим двум бакиночкам? Пожалуй, выпала подходящая минута, чтобы объяснить молодым коммунисткам один диалектический закон: революционные центры, города-магниты, кроме силы притяжения наделены и противоположным свойством: распространяют революционную энергию во все стороны, шлют всюду своих намагниченных, наэлектризованных посланцев. Он вновь посмотрел на девушек, встретил серьезный, ожидающий взгляд Руси. Кауров улыбнулся. Теоретические соображения он отставил. И кратко произнес:

— Что же, поезжайте.

Аня воскликнула:

— Когда же? Сегодня?

— Откладывать не советую. А то берегитесь, передумаю.— Он опять покусал верхнюю губу.— Передумаю. Или того хуже: сдам полномочия.

— Успеют ли нам приготовить документы? — усомнилась Руся.

Кауров взглянул в окно. В закатном огне резко чернела волнистая линия гор.

— Так, может, не сегодня? — сказал он.

Девушки молчали. Но и молчание нередко обладает красноречием. Поезд на Баку отправлялся именно сегодня в ночь. А следующий пойдет через трое суток: таким в те времена было пассажирское движение.

— Пожитки-то уложите? Не опоздаете?

Руся мигом ответила:

— А чего укладывать? У большевика багажа нет.

Кауров еще раз вгляделся в находчивую круглолицую грузинку. Этак же нередко она вела себя и на семинаре: вдруг удивляла задором, острой мыслью. Недавно отлично разобрала движение Шамиля, четко разграничила две стороны: национально-освободительный дух, что близок, дорог каждому пролетарскому революционеру, и наряду с этим отсталость, дикость, религиозный фанатизм, которые исторически обречены. И в разгоревшемся споре сумела выдвинуть пример: Шамиль покровительствовал поэтам — певцам освободительной борьбы, и в то же время его наибы толстой ниткой безжалостно зашили рот поэтессе Анхиль Мариам, которая в своих песнях изливала душу горянки, любовь, тягу к свободе, зашили, ибо женщине по шариату запрещено сочинять стихи. Так как же не отделять, не различать две стороны — справедливую войну и жестокий реакционный уклад исламизма? Помнится, уже тогда Каурову подумалось: молодец девочка! Да, жаль отпускать такую.

— А у меня вот,— он показал на книги,— багаж есть... Таскал с собой и по фронтам. Ей-ей, сам не понимаю, как все это уцелело.

Руся пошутила:

— Ну, на такой багаж запрета нет.

Изгиб черных бровей Каурова стал будто круче. Да, решено: пусть едут. Пусть их растит Баку. Приняв решение, которое, как он был убежден, являлось, по существу, правильным, Кауров подчас мог пренебречь формой. Так он поступил и теперь.

— Сегодня же езжайте. А я позвоню в Баку. Там пойдете в райком к Саше Онисимову. Может быть, случаем, его знаете?

— Знаю,— ответила Руся.

В свое время она, подпольщица-связная, два или три раза приходила в контору акционерного общества «Каспий — Волга». Младший бухгалтер Саша Онисимов привлекательно ей улыбался. Прямая полоска пробора виднелась в его приглаженных каштановых волосах. Пиджачок в полоску, брюки со складочкой, белейший подкрахмаленный воротничок, серый галстук — все было к одному: ни дать ни взять образцовый конторщик, да и только. Но Руся о нем ведала иное. Передавала ему то

привет и письмо от несуществующей тети из Дербента, то невинную книгу с изящной бумажной закладкой.

Кауров заключил:

— Берите курс прямо к нему. Сейчас позвоню и на станцию, чтобы вас посадили... Да, города-магниты...

Это выражение, произнесенное со вздохом, было единственным отзвуком мыслей, которые он, поклонник диалектики, так и не развил перед проспавшими юными бакинками.

3

Думается, читатель нам простит, если дорожные пейзажи и вид советского Баку останутся непарисованными в нашем повествовании.

Одну сценку, впрочем, хочется воспроизвести.

Гурьба ребят на узкой бакинской улице. Малыш в полотняной выцветшей буденовке — ее мягкий козырек налезает на глазенки — вскакивает на приступку крыльца и с явно деланным грузинским акцентом возглашает:

— От имени непобедимой славной Красной Армии приветствую товарищей рабочих!

Кто-то из ребятни кричит:

— Не так. Дай мне!

Буденовка водружена на другую голову. Пристроченная к полотну кумачовая звезда краснеет над облупившимся носом. И раздается голосок: выкрикивающий опять-таки с акцентом:

— Товарищи! От имени революционного Военного совета доблестной Одиннадцатой армии с величайшим удовольствием вас приветствую!

Руся и Аня, идущие с вокзала с одним чемоданом на двоих, приостанавливаются, переглядываются. Мальчишка сумел передать интонацию человека, который выступал перед тысячной толпой и в Темир-Хан-Шуре. Серго Орджоникидзе — вот кто поразил, притянул к себе бакинскую уличную ребятню.

На каком-то перекрестке девушки расстались. Аня, захватив чемодан, конкой поехала домой; Руся решила идти сразу в райком.

На трех этажах углового здания в центре города поместились три партийных учреждения: наверху — Центральный Комитет Коммунистической партии Азербайд-

жана, пониже — Бакинский комитет, а в первом этаже — райком.

Держа свой старенький школьный портфель, Руся минуту постояла у этого дома, некогда выстроенного для одного из нефтяных королей. В прежние годы она не раз здесь проходила, но сейчас, навсегда запоминая, наново разглядывала броскую орнаментировку — причудливые каменные кружева. Непроизвольно оправила искрасна-коричневое форменное гимназическое платье, из которого еще не выросла, сбереженное во всех передрягах. Тронула пальцами косу — не расплелась ли? Пригладила выбившиеся черные прядки, обойдясь, разумеется, без зеркала,— Руся презирала бы себя (таковы были времена!), если бы хранила в портфельчике или в кармане эту принадлежность барышень. Ну, Руся, смелей — тут твоя семья!

Взбежав по крыльцу, она вошла в райком. Несколько человек разговаривали в обширном коридоре. Руся всмотрелась. Нет, никого тут она, кажется, не знала. Спросила шедшую с папкой гладко причесанную женщину, как пройти в кабинет секретаря.

— Ты к товарищу Саше?

— Да.

— Иди вон в крайнюю комнату. Он там.

— А он не занят? Может быть, надо подождать?

— Ничего. У него и подождешь.

Удерживая просившуюся на губы улыбку, Руся подошла к кабинету Онисимова. Неожиданно распахнулась дверь, оттуда появился долговязый носатый Миглуша. Знакомый легкий оттенок рыжины окрашивал встрепанные волосы. Когда-то он, старшеклассник-реалист, был, как и Руся, членом бакинского общегородского ученического комитета. Теперь он возгласил:

— Руся! Каким счастливым ветром принесло тебя сюда?

И с картинным испугом покосился на дверь, которую успел притворить,— за нею был скрыт товарищ Саша. Покосился, сам себе погрозил пальцем, улыбнулся. Руся тоже ответила улыбкой.

— Ну, как ты живешь?

— А ты?

— Обо мне потом,— заявил Миглуша.

Но тут же поведал, как судьба (он опять показал глазом на дверь, за которой находился Онисимов) кинула

его, раба божьего, Валентина, сначала на профсоюзную работу, а затем... Спохватившись, он себя прервал:

— Мы же решили: обо мне после. Ты-то, ты-то как живешь?

Руся заговорила. Миглуша откликался мимикой, восклицаниями, вопросами. Она наскоро выложила о себе все. Тут и плоские дагестанские крыши потонувшего в садах городка. Ревком, поездки в аулы и... И тоска по Баку. И десяток минут у Каурова, который с таким простосердечием, человечностью отпустил в Баку. И нестерпимо долгие стоянки поезда, степи и пески и, наконец, нефтяные вышки, вышки... И вот она здесь прямо с вокзала.

— Теперь досказывай, Валентин, о себе.

Миглуша воодушевился, но, едва опять зазвучал его голос, дверь кабинета раскрылась. На пороге стоял Саша Онисимов.

4

Изложим здесь же — раз подошел случай — историю знакомства, сближения Миглуши и Онисимова.

Длинный, с рыжеватой буйной шевелюрой, реалист Миглуша когда-то приобрел популярность как центр нападения сильной футбольной команды рабочего поселка Сурханы, выступавшей нередко и в городе. Настал час, когда герой футбольных схваток оказался и героем революционных выступлений учащихся Баку, подвластного в то время мусаватистскому антибольшевистскому правительству. Исключенный из реального училища, устроившийся ради хлеба насущного рабочим-верхолазом городской телефонной станции, он, привязав к щиколоткам стальные когти, сунув за пояс телефонную трубку, ловко вскарабкивался на столбы, быстро находил, исправлял повреждения. Он нашел дорогу и в подпольную большевистскую ячейку, был принят в члены партии. И, не оставляя намерения продолжать образование, поступил на вечерние курсы, где готовили к экзаменам на аттестат зрелости.

Опоздав на первое занятие, Миглуша волей этого случая втиснулся за парту рядом с тем, кто расположился в одиночку. Это был Онисимов, крупноголовый, аккуратно причесанный, аккуратно одетый конторщик акционерного общества «Кавол», что в расшифровке означало «Каспий — Волга».

В последующие дни Валентин, рьяный новобранец-подпольщик, не раз пытался завязать с этим своим одногодком беседу о революции, о Советской власти, но правильное, крупной лепки лицо, зеленоватые глаза соседа по парте оставались равнодушными.

Впрочем, нельзя было сказать, что Онисимов начисто чурался общественных обязанностей. Избранный в правление профессионального союза конторских служащих города Баку, он взял там на себя бухгалтерскую часть, принимал членские взносы, выписывал каллиграфическим почерком квитанции, содержал в ажуре финансовые дела своего союза. Иногда и на курсах, пользуясь десятиминутной переменкой, он доставал счеты, которые всегда вместе с учебниками обретались в его сумке, и кипу приходо-расходных профсоюзных документов, с необыкновенной быстротой щелкал костяшками. Казалось, счетоводство было его единственной страстью или, по крайней мере, единственным живым интересом.

Порой этот прилежный ученик вечерних курсов вынимал карманные часы — большие, с двойной крышкой, которые, как однажды мельком он пояснил, отдал ему, подростку, начавшему служить, отчим-переплетчик. Таким Саша Онисимов иногда и возникал в мыслях Миглуши — узкоплечим, уже посутулившимся, склонившимся над бумагами юношей с часами, не тратившим зря ни минуты.

Валентин пробовал вовлечь пунктуального конторщика в разговоры о музыке, о художественной литературе. Напрасно.

— Безделица,— пренебрежительно говорил Онисимов.

На курсах он шел одним из первых. Ему легко давалась математика, память была поразительной, исторические даты он запоминал с пунктуальной точностью. Лишь стихи с трудом заучивал. И сочинения не вытягивал на пятерку: грамматических ошибок он не делал, соблюдал знаки препинания, но преподаватель, влюбленный в русскую литературу, все же постоянно сбавлял Онисимову балл за сухость изложения.

Неприступность Онисимова раззадорила Миглушу. Неужели не найдется какой-нибудь зацепки, чтобы политически развить, расшевелить, притянуть к революционной борьбе этого рыцаря своей прекрасной дамы — Бухгалтерии?

Среди множества знакомых Миглуши нашелся радушный, общительный Степа Айвазянц, игравший полузащитником, или, как тогда говорилось, хавбеком, в футбольной команде торговых и конторских служащих Баку. В свое время Степа был однокашником Онисимова-школьника, а теперь тоже служил в «Каволе». Миглуша однажды присел на часок со Степой, любителем застольных встреч, и расспросил про Онисимова.

И вот что узнал. Бедность преследовала семью, где вырос Онисимов. Его отчим, брошюровщик, часто болел, рано начал глохнуть, потерял место в типографии, обзавелся собственным переплетным станочком, но заказы были редки, заработки непостоянны. Мать брала стирку, ходила мыть полы, лишь бы дать детям образование. Двенадцати лет Александр поступил в частную торговую школу, где обучали коммерческой арифметике, счетоводству, бухгалтерии, коммерческой корреспонденции, каллиграфии. Уже на второй год он чуть не распростился со школой: не было денег, чтобы внести плату за учение. Владелец школы, оценивший способности и изумительный почерк Онисимова, согласился взамен платы использовать его как делопроизводителя и счетовода. Все воскресенья Александр просиживал в школьной канцелярии. Окончив школу в 1916 году, он был принят на службу в «Кавол». И там быстро опередил сверстников, с кем вместе кончал школу. В 1918 году он был уже возведен в ранг младшего бухгалтера.

Миглуша допытывался:

— А революционные события хоть как-нибудь его затронули?

Беспартийный Степа любил порассуждать о революции, взвесить шансы большевиков и буржуазии, но тут лишь развел руками:

— Не знаю. Не заметно.

— Но хоть какие-нибудь человеческие чувства ему свойственны?

— Помогает семье. Вытягивает младших.

— А еще что? Ну, скажем, он, может быть, влюблен?

Степа, известный склонностью к слабому полу, засмеялся:

— Бегает от девушек. Как-то к нему в контору приходила какая-то пичужка. Так он почти тотчас веко-

чил: «Ой, живот болит». И удрал. Мы уж над ним трунили: «Как тебе не стыдно. При девушке у тебя заболел живот».

— Ну и ну. Редкостный экземпляр.

— Уникум. Так у нас все его зовут.

5

Тем временем ячейка телефонной станции, насчитывавшая двенадцать коммунистов, изредка собиравшаяся где-нибудь на пустыре или в укрытом углу склада, избрала Миглушу секретарем.

Нелегальная большевистская организация Баку разделялась на районы: Биби-Эйбат, Балахны, Завокзальный район, Морской район, Город, Черный город и другие. Став секретарем, Миглуша получал информационные и директивные письма городского райкома — листки папиросной бумаги, тесно заполненные строчками машинописи. Как позволяли судить эти документы, неведомый Валентину райком действовал с удивительной четкостью: сообщения о событиях, партийные решения доставлялись без опоздания, каждое письмо помечалось порядковым номером и датой. Под текстом была неизменно выстукана подпись: Саша.

Письма неоднократно напоминали, что сыскная сеть не дремлет. Нужна величайшая осторожность. Легкомысленное отношение к правилам нелегальной работы есть преступление перед партией. Смотрите в оба. Не ротозейничайте. Никогда не болтайте лишнего.

Наряду с этим директивы требовали не замыкаться лишь в партийной скорлупе. Храни тайну партии, но иди к массам, общайся, веди индивидуальную агитацию и пропаганду.

Кроме Миглуши на курсах учились и еще несколько молодых подпольщиков. Они быстро по отдельным словечкам, по другим признакам, которые вряд ли мог подметить посторонний слух и взор, распознали друг друга и, не создавая оформленной группы, осмотрительно гнули свое, искали, вербовали сочувствующих. Валентин не отставал в этом от товарищей. Однако тот, с кем он сиживал за одной партой, оставался по-прежнему неуязвим, недоступен агитации. Таких звали «наплевистами» — им наплевать на судьбы человечества, великие вопросы вре-

мени. Но он, этот уникум конторского дела, черт побери, молод. Ему лишь семнадцать лет. Рано ставить над ним крест.

Миглуша решил выкроить часок в воскресенье и под каким-нибудь предлогом заглянуть домой к невозмутимому юноше-бухгалтеру. Э, ведь отчим Онисимова берет книги в переплет. Откладывать задуманное в долгий ящик — не в характере Миглуши. И вот — воскресный день. Крупными хлопьями падает мокрый снег, тотчас в лужах тающий. Узкие, плохо замощенные улочки. Тесный дворик с выложенной битым кирпичом дорожкой. В первом этаже, почти полуподвале, обитала семья пожилого переплетчика.

Сюда с тяжеловесным тючком вторгся Валентин. За столом в низкой мрачной комнате Александр вычерчивал усеченную пирамиду — такой урок был задан на курсах. Приход Миглуши, казалось бы, совсем его не удивил.

— А, забрел-таки...

— Ты разве меня ждал?

— Еще бы... Тебе, наверное, понадобилось переплести книги?

Склонив набок массивную, причесанную на пробор голову, Онисимов с откровенной усмешкой разглядывал незваного пришельца. Улыбка чуть приподняла коротковатую верхнюю губу, оттененную пушком.

— Не книги,— ответил Миглуша.— Журналы. Два комплекта «Нивы».

— Извини, ошибся,— по-прежнему едко продолжал Александр.— А потом надо же преподать мне политграмоту. Ну, не теряйся. Приступай. Пять минут тебе достаточно?

Эта холодная умная издевка доконала Миглушу. Он, что называется, хлопал глазами, не зная, что сказать. На выручку неожиданно пришел мягкий женский голос:

— Саша, хватит тебе. Прими гостя по-человечески. Присаживайтесь.

Девушка, сидевшая в сторонке (войдя, Миглуша мельком ее приметил), поднялась, приблизилась к язвительному младшему бухгалтеру, коснулась пальцами его плеча. Тотчас исчез немилосердный оскал Александра.

— Знакомься, Валентин. Катя, моя старшая сестра. Учительница. Пока, к сожалению, безработная. А это...— В зеленоватых глазах снова блеснула насмешка, одна-

ко уже не отчужденная, не злая.— Это не могу сказать, что самый умный, но самый славный из моих сокурсников.

Несколько оправившись от замешательства, Миглуша лишь теперь смог рассмотреть сестру Онисимова. И втайне подивился. Яркая, останавливающая взгляд наружность, ни единым украшением не подчеркнутая. Даже брошки не виднелось на скромной белой блузке.

Миглуша уселся. Черт возьми, чем же пронять образцового конторщика? О волнующих политических событиях, конечно, с ним не поговоришь. Не прочитать ли сатирические стихи Демьяна Бедного, в которых остро высмеяны бюрократические уродливости в советских учреждениях? Недавно Миглуша встретил эти стихи в истрепанных, тайными путями дошедших в Баку номерах московской «Правды». Встретил, восхитился, заучил. Любопытно, как воспримет Онисимов эти строфы, посвященные делу управления хозяйством и — ей-ей, ведь это так! — бухгалтерии, учету, счетоводству. И далее, петелька за петелькой, завяжется беседа. Да, да, вот ключик к Онисимову.

После нескольких незначащих фраз Миглуша, взбив пятерней волосы, сообщает:

— На днях мне случайно попалась замечательная вещь.— Он понижает голос.— Стихи Демьяна Бедного. Могу прочесть.

— Брось,— коротко отвечает Онисимов.

— Погоди. Сначала послушай, потом будешь судить. Тем более что вещь посвящена... Знаешь кому? Тебе. И всем другим рыцарям ордена конторщиков.

Гость ожидает реплики: «А ну, прочти»,— однако его никто не поощряет. Что же, он без промедления все-таки начинает декламировать. Но слушатели невнимательны. Катя чему-то усмехается — усмешка умна, как и у брата,— и просто-напросто выходит.

Миглуша не обескуражен, читает дальше.

— Брось,— повторяет Александр. И спокойно добавляет: — В шахматы играешь?

— Да.

— Так давай сыграем. Подожди. Попрошу у соседей шахматы.

Онисимов критически оглядывает свой незаконченный чертеж, аккуратно протирает тряпочкой дешевый учени-

ческий рейсфедер. И, точно что-то в себе приоткрывая, с негаданной доверчивостью говорит:

— Будут ли когда-нибудь у нас с тобой настоящие большие готовальни?

Бог мой! Валентин со вкусом, с легкостью чертил, но тоже пользовался дешевенькими рейсфедером и циркулем. Конечно, хорошо бы стать обладателем богатого набора чертежных инструментов, но... Ха-ха, вот так мечта!

Стол очищен. Александр отправляется за шахматами, гость остается в комнате. В дверь заглядывают две или три ребячьи рожицы. Кем-то вспугнутые, они вдруг исчезают. С поклоном входит немолодая женщина. Черные волосы заметно перевиты блестящими седыми нитями. Лицо смуглое, загорелое, почти цвета корицы. Густые, красивого изгиба брови сединой еще не тронуты. Она принесла гостю чашку чая.

Миглуша вежливо встает. Опустив чашку на стол, женщина спрашивает:

— Вместе служите с моим?

— Нет. Вместе учусь.

— Ох, как он хотел всегда учиться. Дашь ему две копейки на завтрак, а он купит себе перья. Спрошу: «Сын, почему ходишь голодный?» — «Чтобы красиво писать».

Она садится, ей хочется и рассмотреть пришедшего, и порассказать о любимом сыне.

— Никогда во дворе он не играл. Ни одного часа не проводил попусту. О чем ни попросишь, всегда скажет: «Хорошо, мама, сейчас». Только грубую работу не мог делать.

— Почему?

— Руки. Берег руки.

Возможно, мать еще многое поведала бы Миглуше, но возвращение сына с шахматной доской под мышкой заставляет ее смолкнуть. Она поспешно поднимается.

— Мама, вы куда? — Александр почтителен и нежен с матерью.— Мы сыграем, а вы посидите, отдохните.

Мать отказывается:

— Сейчас принесу тебе, Саша, чайку.

...Шахматы расставлены. Сделаны первые ходы. Онисимову игра явно доставляет удовольствие, он не торопится, вдумывается, прихлебывая чай.

Известно, что в игре — шахматы не составляют исключения — проявляется характер. Среди своих приятелей

Миглуша считался способным шахматистом, немного занимался теорией, разбирал, случалось, партии, получившие приз за красоту, любил эффектно разгромить противника. Уже по первому десятку ходов он определил, что Онисимов играет осторожно, скучновато, выжидательно. Видимо, он и в шахматах мелок. Риска, темперамента, огня от него ждать не приходится. Ничего, скоро зададим ему жару, он у нас попляшет. Но что это? Как он сумел прорваться? Откуда у него эта стремительность? Остро атакует. Ничего, ничего, защита еще есть. Но... Вот так история! Неужели мат следующим ходом? Да, Миглуша терпит поражение.

— Черт, ты здорово играешь. С тобой надо посерьезней.

— Глубокомыслием, конечно, ты не отличаешься.

— Давай, Александр, еще одну сыграем.

Однако Онисимов уже равнодушен к шахматам.

— Безделица,— роняет он.— Извини, я должен заниматься.

...Снова Миглуша бредет по слякоти бакинских улиц. И тащит обратно свой тючок, насчет которого Онисимов твердо сказал: «Забирай. Незачем тебе это переплетать». Чего же Валентин добился? Ничего. Получил мат. И хватит, хватит тратить силы на этого заскорузлого, будто облеченного в броню младшего бухгалтера. Примерный служащий! А ты, чудак, хотел его пронять. Ну и пронял, как плетью по воде. Решено: махнуть на него рукой.

6

По-прежнему Миглуша регулярно получал через связного отпечатанные на папиросной бумаге письма райкома. Очередное письмо извещало о том, что назначена городская партийная конференция. Ячейкам предлагалось послать делегатов на конференцию. Под текстом стояла привычная подпись: Саша.

Делегатом ячейки телефонистов был избран Миглуша. Разумеется, согласно правилам конспирации ему не полагалось знать до поры до времени, где и когда соберется конференция.

Однажды на курсах в час последнего урока — это была, как запомнилось Миглуше, письменная по тригоно-

метрии — крупноголовый сосед по парте провел под аккуратно испещренном уравнениями листом, каллиграфическую завитушку, знак оконченной работы, и преспокойно сказал:

— Валентин, приходи завтра в пять часов на Парапет.

Миглуша недоуменно на него воззрился:

— Зачем?

— К тебе подойдет человек, который тебя знает. И ты его знаешь. Понял? А теперь...

— Что? Что?

— Теперь решай свою задачку. Она у тебя, кажись, подвигается со скрипом. Переключи активность на тригонометрию.

Удивленный делегат не сразу возвратился к синусам и тангенсам. Неужели Онисимов сейчас исполнил роль связного? Неужели кому-то удалась затея, которую Миглуша счел безнадежной — привлечь к партийному делу, к партийным поручениям, пусть на первых порах крохотным, этого чистюлю в галстучке, в брюках со складочкой?

Назавтра в назначенный час Миглуша прохаживался по расположенному в центре Баку людному садику, именуемому «Парапет». Неожиданно он заметил Онисимова. Темный костюм, как всегда, свеже отглажен. Ботинки безукоризненно блестели. Облик младшего бухгалтера завершался еще одним штрихом — аккуратно завязанной папкой, которую тот держал под мышкой. Странно, какие дела занесли его в этот шумный сквер? К тому же он направляется, кажется, прямо к Миглуше. Да, подошел. Без дальних слов сказал:

— Пойдем.

Вчера Валентин был изумлен. Сегодня — ошарашен.

— Так это ты? Ты — человек, которого я знаю?

Во взгляде Онисимова он — в который уже раз! — прочел насмешку. Впрочем, сейчас это выражение смягчалось приязнью. Образцовый служащий «Кавола» ответил кратко:

— Помолчи.

Деловито шагая, не разговаривая, Онисимов привел Валентина к помещению профессионального союза «Игла». Следом за своим проводником Миглуша поднялся на второй этаж, вошел в небольшой зал, где уже собралось несколько десятков человек. Впервые оказавшись на партийной конференции среди, так сказать, кадровиков подполья, Миглуша невольно осмотрелся. Изрядную часть

конференции составляла молодежь, немало было и людей под тридцать и за тридцать, лишь некоторые принадлежали к возрасту постарше.

А где же Онисимов? Наверное, исполнил свое и удалился. Ладно, завтра встретимся, перемигнемся. Черт возьми, до сих пор не верится, что и этот «наплевист» стал нашим.

Конференцию открыл пожилой сероглазый крепыш. Его профессию, принадлежность к морю, к матросскому сословию, выдавала не искоренимая ничем давняя татуировка — якорь, обвитый канатом,— на тыльной стороне широченной ладони.

— Кого, товарищи, изберем председателем?

Единодушно, без голосования, бразды были вверены ему же.

— Секретарем,— продолжал он,— думаю, пусть поработает товарищ Саша.

Моряк-председатель не добавил никакой рекомендации. Несомненно, здесь отлично знали это имя, каким постоянно скреплялись все письма райкома. Кандидатуру, не обсуждая, утвердили.

Устроившийся в одном из передних рядов, Миглуша уже в эти минуты с волнением ощущал сплоченность, сколоченность организации.

Тем верменем из глубины зала к столику президиума быстрой походкой шел только что избранный секретарь конференции — причесанный на пробор зеленоглазый юноша в темном в полоску пиджаке, в белой рубашке с подкрахмаленным воротничком и неброским галстуком. Маленькими, изящными, почти женскими руками он на ходу развязывал папку.

— Сперва, товарищи,— произнес председатель,— на всякий пожарный случай кое-что предусмотрим. Товарищ Саша, твое слово.

Положив папку, товарищ Саша — тот, кто для Миглуши еще вчера был лишь выутюженным младшим бухгалтером,— объяснил, как и куда уходить, если явится полиция. Он показал окно, выводившее на крышу сарая, и запасную дверь, ведущую во двор,— там через невысокий забор можно выбраться на соседние участки и на улицу. Саша говорил ровным тоном, не жестикулируя, не употребляя лишних вводных слов, вроде «так сказать» или «понимаете». Голая точность, пунктуальность — таков был

его способ выражения. Это придавало краткой речи остроту, деловую остроту, позволим себе такое определение.

Лишь в заключение он пошутил:

— Надеюсь, никто пенять не будет, если эти сведения не пригодятся. Потерянное время отнесем к страховым издержкам.

И улыбнулся. Улыбка была открытой, привлекательной — Миглуша, пожалуй, еще не видывал такой у Онисимова. Вдруг подумалось: «Славная физия».

Закончив, Саша сел, вынул карманную жестяную ручку — он всегда пользовался только собственным пером,— приблизил чернильницу, находившуюся на столе, достал из папки стопку бумаги, крупно вывел заглавие: «Протокол». Привычный каллиграфический росчерк увенчал прописную букву.

Конференция приняла повестку дня, начался доклад о задачах партии, а Миглуша нет-нет и посматривал на Сашу, на его маленькую руку, быстро заполнявшую страницы.

7

Предварившее порядок дня слово товарища Саши нежданно пригодилось. «Пожарный случай» грянул. Прозвучал возглас:

— Полиция!

Доклад оборвался. Председатель энергично скомандовал:

— Товарищи, всем уходить!

Лишь минуты две спустя в зал профсоюза «Игла» ворвался узколицый раздраженный околоточный в офицерской, защитного цвета, гимнастерке с двумя или тремя охранниками. Почти все делегаты уже ускользнули, некоторые еще выбирались в окно и в запасную дверь.

— Стой! — крикнул околоточный.

Не решаясь стрелять, потрясая наганом, он злился и на этих подпольщиков-большевиков, исчезавших на глазах, и на беспомощное, безвольное правительство мусаватистов, не осмеливавшееся открыто послать к черту демократию, разогнать профсоюзы, запретить собрания, забастовки, тощенькие рабочие газеты.

— Стой! — вновь загремел его крик.— Кто здесь является ответственным лицом? Стой! Кому я говорю?

Разумеется, приказы были тщетными. Лишь зеленоглазый, с пробивающимися усиками юноша в пиджаке и галстуке стоял возле стола, будто ожидая, когда к нему обратится околоточный. Сашина большая голова была в эту минуту словно бы всажена в плечи — лишь это, пожалуй, выказывало, как сейчас он собран. Пораженный хладнокровием Онисимова, Миглуша тоже приостановился, не желая покинуть в такой миг товарища. Саша недовольно покосился на Миглушу, показал взглядом в окно. Но Валентин медлил. И вдруг Саша принялся рвать бумагу. Миглуша ясно видел: это были чистые листы, однако Онисимов разрывал их на клочки. Околоточный кинулся к нему:

— Не сметь! Не сметь!

И схватил обрывки.

— Чего же ты зеваешь? — Это восклицание Онисимова было обращено к Миглуше.— Догоняй!

Мимо полицейского Саша ринулся к окну. Миглуша выпрыгнул за ним. Потом они перемахнули какую-то ограду, вынеслись на улицу. Сумерки уже притемнили город, светились первые вечерние огни. Сзади слышались свистки, угадывалась погоня. Вот засвистали и где-то впереди. И некуда свернуть, любой двор может стать ловушкой.

Внезапно Онисимов остановился, окликнул Миглушу и влетел в лавчонку-мастерскую, где, как свидетельствовала вывеска, выделывались чувяки. Миглуша за ним следовал. На низком табурете под лампой восседал с кривой иглой седоватый сапожник-армянин. Онисимов выкрикнул лишь одно слово:

— Резня!

Валентин не успел даже подивиться Сашиной находчивости. Слово оказалось столь впечатляющим, что, хотя белокожий Миглуша не мог бы, как говорится, ни при какой погоде сойти за армянина, да и внешность Онисимова была далека от армянской, хозяин мастерской мгновенно задвинул засов, погасил лампу, открыл заднюю дверь; туда кинулись подпольщики, туда вслед за ними подался и кустарь.

Выйдя задворками на другую улицу, двое сокурсников где-то вскочили на конку, доехали, почти не разговаривая до Баилова мыса — последней остановки.

Давно отстала погоня. Никто, кажется, не следил за ними и на конке. Покинув вагон, они пустынной троп-

кой зашагали в темноту. И наконец ощутили себя в безопасности.

Во мгле то реденькой, то частой россыпью проступали огни Баку. Была различима длинная подкова набережной, обозначенная фонарями. В дальнем конце этой подковы неясными гроздьями мерцали лампочки Черного города.

8

...В какой-то вечер Саша не посетил курсы. Не приходил и в следующие вечера. Пропал из Баку. Нет, он не был арестован. Лишь позже Миглуша узнал, что младший бухгалтер «Кавола» получил задание партии: пробраться сквозь занятые белыми пространства в Советскую Россию, передать там информацию о борьбе в Баку, восстановить оборванную связь.

Справившись с этой задачей, Онисимов вступил в Красную Армию, воевал. В апреле 1920 года он, начальник политотдела дивизии, вернулся с советскими войсками в Баку. Здесь был демобилизован, опять стал секретарем райкома, теперь уж не подпольного.

И вот он, раскрыв дверь, стоит на пороге своей секретарской комнаты.

Руся смотрит на него. Куда делись складочки на его брюках, белый воротничок, галстук, классический вид юного конторщика? Надетая навыпуск легкая светлая косоворотка стянута армейским ремнем. Густые, желудевого оттенка волосы, некогда приглаженные на пробор, жестковато вздымаются над правильно обрисованным лбом. Просвечивающие молодые усики затеняют впалую верхнюю губу.

Худенький мальчик — таким было мгновенное впечатление Руси. И лишь в следующую минуту оно, первое впечатление, сменилось иным: острота зеленоватых глаз, ироничная усмешка делали Сашу старше его лет.

Словно не замечая Руси, он обратился к Валентину:

— Ты, кажется, куда-то торопился? Если не ошибаюсь, в массы?

— Да, я только...

— Ну, ну, спешил, так поспешай! — И обернулся к Русе: — Здравствуйте, товарищ Цомая. Вы ко мне?

Почему он так странно ее встретил? «Товарищ Цо-

мая». «Вы». Чувствуя, как от обиды вдруг вспыхнули щеки, она выпрямилась:

— К вам.

— Идемте.

Попрощавшись глазами с Миглушей — тот бодро вскинул свою рыжую голову: мол, не дрейфь,— Руся вошла в кабинет секретаря райкома.

Впрочем, слово «кабинет» отнюдь не подходило к скромной комнате-клетушке, которую облюбовал для себя товарищ Саша. Небольшой конторский стол, три-четыре стула составляли меблировку этой келейки. На длинном красноватом листе, который прикрывал столешницу, не виднелось ни одной кляксы, ни одного оттиска чернил. Вряд ли обладатель этой комнаты, подчеркнуто равнодушный к удобствам, понуждал себя блюсти порядок. Наоборот, чистота, видимо, была его пристрастием. Чернильница-непроливайка и обыкновенная ученическая ручка, лежавшая на пестрой фланелевой перочистке, служили ему письменным прибором.

— Садись,— проговорил Саша.— Можешь не повторять свою историю. Я отсюда слышал.

Слава богу, перешел на «ты». Не затаив обиды, Руся напрямик спросила:

— Саша, почему ты так странно меня встретил?

Нередко быстрый на язык, умеющий прервать, срезать собеседника, Онисимов знавал и иную манеру: медлительность, размеренность речи. Произнесет фразу — и как бы поставит многоточие, затем вымолвит следующую — и снова пауза, словно бы нужная ему, чтобы подобрать выражения. Так он разговаривал и сейчас.

— Что же, выясним этот вопрос. Для начала дай свои партийные документы.

Руся раскрыла портфельчик. Выложила на стол отпечатанное на пишущей машинке удостоверение о принадлежности к партии, выданное Дагестанским обкомом. Такие удостоверения в те месяцы являлись и в Дагестане и в Баку своего рода партбилетами — на обороте отмечалась уплата членских взносов.

— А открепление, Саша, не оформлено. Мы с этим не успели. Товарищ Кауров сказал, что он тебе позвонит.

Онисимов не притронулся к Русиной бумажке.

— Следовательно, нет и направления в Баку? И записи о снятии с учета?

— Я же тебе объяснила.

Молчание. Руся воскликнула:

— Он разве не звонил?

Снова молчание.

— Саша, можешь спросить Аню Кошелеву. Ты ведь ее знаешь.

Опять долгая пауза. Онисимов наконец ее нарушил:

— А известно ли тебе, что в ту ночь, когда вы вдвоем уехали, в Темир-Хан-Шуре был бой, ворвалась банда?

— Банда? Мы ее отбили?

— Мы? — Русю хлестнула ирония.— Отбили каким-то образом без вас.

Руся вновь поборола обиду.

— Жаль, не пришлось участвовать в таком горячем деле.

Искренность этого возгласа не смягчила Сашу.

— Другие участвовали, а вы удрали.

— Ты не имеешь права!

— Как же иначе я могу это расценить? Уехали без документов, не снялись с учета... В военной обстановке это можно назвать лишь дезертирством.

Неторопливость речи делала особенно тяжкими обвинения Онисимова, он их не выпаливал сгоряча.

— Но Кауров знает...

— Опять двадцать пять. Ты полагаешь, что Кауров будет о вас помнить? Ему больше думать в бою не о чем? А если он погиб? Что с вами еще делать, как не отдать под суд за дезертирство?

Вторично прозвучало это безжалостное, клеймящее слово. Русю уже покинуло чувство оскорбленности. Нарастало отчаяние, логика Онисимова была неопровержима. Комната, стол, волосы Саши — все вдруг утратило четкость, расплылось перед Русей. Онисимов неумолимо продолжал:

— Вряд ли можно удивляться, что эту мелкобуржуазную безалаберность проявила ты, интеллигентка. Показала себя твоя закваска.

Даже тогда, в восемнадцать лет, Онисимов если сек, то умел больно, очень больно высечь. Руся глядела вниз. Поникшая голова девушки не остановила его.

— Но не пойму, как могла Кошелева, дочь рабочего, человека из пролетарской среды, пойти на такой поступок.

Руся вскочила.

— Я к ней сейчас поеду. И мы... Мы первым же поездом вернемся в Темир-Хан-Шуру.

— Нет, вы не вернетесь. Мы будем вас судить.

Он все-таки довел ее до слез. Они закапали на гимназическое платье. Неожиданно Саша улыбнулся.

— Больше, Руся, так не делай. Кауров мне позвонил. Я, конечно ему высказал, что уставный порядок он не вправе нарушать. Перестань же, не реви.

Сквозь пелену влаги, еще набегавшей на глаза, она различила его привлекательную открытую улыбку. Едва поверилось: неужели это он, только что подвергший ее истязанию, теперь с несомненной приязнью улыбается? Опять показалось: мальчик, большеголовый, умный мальчик.

— Но как же ты мог так меня мучить?

— Поделом! Излечишься от легкомыслия. Это, кстати, особенно необходимо на работе, которую я хочу предложить тебе.

Она вытерла слезы.

— Ой, Саша, Саша... Какую же работу?

Не спеша он взял удостоверение, которое Руся еще в начале разговора положила перед ним, всмотрелся, повернул оборотной стороной, проверил, уплачены ли членские взносы, видимо, удовлетворился, вернул бумажку Русе.

— Вот что... В райкоме нужен заведующий информационно-учетным отделом. Пойдешь?

— Ой, Саша, Саша...— повторила она.— Ты был прав, но...

Он опять смотрел на нее с обезоруживающей ясной улыбкой. Она почувствовала, что простила его. Тоже улыбнулась.

— Пойду.

— Так пусть наш разговор будет для тебя первой инструкцией. А теперь... Тебе надо, наверно, подкрепиться. Не ела с утра? Пошли в столовую, пообедаем вместе.

— Но у меня нет талонов.

— Пустое. Потом выпишем. В этом-то нам с тобой на слово поверят. Так идем?

— Идем.

<1970>

СЧАСТЛИВАЯ РУКА

(Рассказ хирурга)

1

Сергей Петрович Федоров дал мне кличку Пистолет. В хорошие минуты, когда он бывал мною доволен, это прозвище видоизменялось. Предлагая чашку кофе с коньяком, он произносил:

— Выкушай, Антонио-Пистолето.

Любитель острого, а подчас и по-народному грубоватого словца, он говаривал так:

— Хирургу необходимы руки, голова и зад.

При этом тонкая улыбка появлялась под его черными с проседью усами, острые концы которых по-вильгельмовски торчали вверх. Сергей Петрович до конца дней холил свои усы, накладывал на ночь специальную повязочку.

— А у тебя, Антонио,— продолжал он,— есть голова и руки, но зада нет.

И, попыхивая сигарой — всюду, где бы Федоров ни появлялся, его сопровождал запах сигары,— Сергей Петрович развивал излюбленную мысль о бесконечной терпеливости, с какой хирург обязан исследовать, изучать человеческое тело, каждое отдельное страдание, каждый отдельный случай, требующий вмешательства вооруженной скальпелем руки.

Всех нас, своих учеников, Федоров называл на «ты». Происхождение этого «ты», думается, таково. Еще в начале века Федоров работал в московской клинике профессора Боброва. Там был введен порядок: никаких разговоров, ни одного лишнего слова во время операции. Раздавались лишь приказания:

— Скальпель!

— Пинцет!

— Ножницы!

— Клемм!

Изгонялись даже лишние слоги. Произносилось не «дайте», «положите», а «дай», «положи».

Этот же строгий дух дисциплинированности, собранности был характерен и для операционной Федорова. Привычное «ты» учителя-хирурга перекочевало из нее и в обыденные отношения.

2

В 1921 году Федоров, бывший лейб-хирург царя, был арестован. Следствие вела Петроградская Чека. Мы, молодые ученики Федорова, работавшие в хирургической клинике Военно-медицинской академии, стороной прослышали, что у Сергея Петровича были найдены письма из-за границы от брата, сановника рухнувшей монархии, деятельного противника Советской власти. Обвинение было серьезным: связь с контрреволюционной эмиграцией, содействие ее козням. Раскрытие какого-то нового большого заговора, в котором среди прочих фигурировала и фамилия Федорова-эмигранта, еще больше отяготило судьбу Сергея Петровича. Письмо-ходатайство Пироговского общества врачей, председателем которого долгие годы был Сергей Петрович, осталось без ответа.

Как раз в это время из нашей клиники выписывался один неприметательный пожилой человек. Кажется, по профессии он был часовщиком. Или, может быть, портным. Мне удалось спасти ему руку, и к тому же правую, пораженную из-за ничтожной царапины страшным заражением — газовой гангреной. На фронте, в годы войны с немцами, газовая гангрена влекла за собой немедленную ампутацию или смерть. Но уже в гражданскую войну в нашем хирургическом автоотряде, действовавшем под Петроградом, мы научились путем своевременных разрезов, открывающих путь воздуху, обыкновеннейшему воздуху, который уничтожает анаэробные бактерии, одолевать гангрену. Прощаясь, мой пациент сказал:

— Доктор, я бедняк, но как бы хотелось вас отблагодарить. Если бы я мог что-нибудь сделать для вас...

— Бросьте... Давайте-ка вашу руку. Жмите мою. Крепче! Еще крепче! Боли не чувствуете? Ну вот, это и есть самая лучшая для меня благодарность.

Пожимая мою руку, он радостно смеялся. Я, однако, был невесел. Старик спросил:

— Доктор, скажите, почему все вы в последние дни такие скучные? Неприятности, что ли?

Я ответил:

— Наш учитель в тюрьме.

— За что? Кто он?

— Федоров. Хирург.

— Федоров? Какой же это Федоров? Один Федоров делал операцию моей родственнице.

— Что у нее было?

— Удаляли гнойную почку. Спас от верной смерти. Знаете, в больнице на Лиговке.

— Да, это он.

— Боже, тот самый Федоров? Она прожила еще четырнадцать лет после операции. Всю жизнь его благословляла.

— Теперь ему конец...

— Не может быть! Надо же разъяснить... Знаете, кто вам поможет?

— Ну?

— Дочь этой женщины. Она помнит, как он спас ее мать. Это же первый хирург!

— Дочь? Кто же она?

— Софья. Софья Либкнехт. Неужели вы не знаете, кто такой Карл Либкнехт? Сонечка — его вдова. Она после его гибели живет в Москве. Все вожди знают ее. Она кому хотите позвонит. Слушайте, доктор! Едемте в Москву!

Разумеется, я взволновался. Пошел к товарищам, к начальнику клиники, затем в Пироговское общество. Меня снарядили в Москву. Я выехал туда в хмурый декабрьский денек вместе с моим благодарным пациентом.

3

Софья Либкнехт обитала на Тверской в гостинице «Люкс», которая в те времена служила приютом иностранным коммунистам, общежитием Коминтерна.

Вопреки звонкому названию, гостиница являла собой скромные, лучше сказать заурядные, меблированные комнаты. В ней не было ни строгой, под старину, роскоши «Савоя», ни помпезных просторов «Метрополя». В коридорах не хватало света; стены, как это исстари заведено

в недорогих гостиницах, были окрашены в немаркий темный колер.

Вдова Либкнехта, бледноватая черноволосая полная женщина, приветливо встретила меня.

— Садитесь... Я уже все знаю,— сказала она.— Спасибо вам, что спасли руку моего дяди.

— Помилуйте... Это же мой врачебный долг.

Она помолчала.

— Долг — большое слово. Очень большое.

Затем подняла трубку телефона, назвала номер.

...Позволю себе здесь небольшое отступление. Много лет спустя после этой встречи я услышал в театре из уст артиста Яхонтова, выступавшего с композицией «Война», несколько строк из письма Карла Либкнехта. Величественная музыка сопровождала чтение. Либкнехт из каторжной тюрьмы писал другу-жене:

«Я не думаю о том, чтобы изнеживать своих детей. Пусть они с юности получают раны, тогда они своевременно закаляются.

И не очень люби солнце,
И не слишком люби звезды.

Ты порицаешь: я часто повторял одно и то же. Нет, это не старческая слабость. Я готов пожертвовать тысячу собственных жизней для содействия одному тому, что могло бы помочь русской и мировой революции».

Внимая этим прочитанным со сцены словам, предназначавшимся лишь для жены, я вспоминал небольшой номер «Люкса», бледную женщину, рожденную в России, когда-то уехавшую получить высшее образование за границу, ставшую там верной до гробовой доски подругой неустрашимого, великого духом революционера, того, о ком написал Ленин: «Либкнехт один. Вся будущность за ним».

Скажу еще вот что. Смерть Либкнехта, убитого выстрелами в затылок офицерским конвоем, до сих пор памятна моему поколению. Я, молодой врач Красной Армии, командир передвигавшегося на машинах «Скорой помощи» хирургического автоотряда, узнав об этой смерти, яснее понял: такова участь побежденной революции. И еще раз в душе оправдал беспощадность борющейся революционной власти.

Талант Яхонтова, слова, произносимые его богатым интонациями то звучным, то глуховатым голосом, всколыхнули все это во мне...

...Телефонный разговор длился недолго. Я услышал:

— Феликс, здравствуйте... Вчера я вам говорила насчет Федорова. Его ученик сейчас сидит у меня. Хорошо. Я передам.— И, повернувшись ко мне, сказала: — Завтра к девяти утра идите к товарищу Дзержинскому.

4

На следующее утро, еще задолго до девяти, я подошел к зданию ВЧК. Свистел ветер, гнал снежную пыль по засугробленной Лубянской площади.

Мне выписали пропуск, дали провожатого и через какие-то внутренние лестничные переходы, через целую галерею пустых комнат привели в приемную Дзержинского. Там пришлось подождать. Наконец женщина-секретарь пригласила войти.

В остекленном выступе, что зовется фонарем, стояли два кресла. Дзержинский указал мне на одно из них, сам остался на ногах. Разузоренные морозом окна бросали ровный ясный свет на его острое лицо с выступающими из-за худобы скулами. Очень высокий лоб был испещрен ранними морщинами. Мой глаз врача отметил, что кожа на лбу иногда подергивалась, вероятно вследствие огромного переутомления. Изможденную шею облегал ворот суконной военной гимнастерки. Насколько я понимаю, Дзержинский принадлежал к тому же типу революционеров-аскетов, что и тот, кто написал из тюрьмы жене: «И не очень люби солнце, и не слишком люби звезды». Впоследствии я прочел, что однажды в музее живописи Дзержинский сказал товарищу: «Зачем ты меня сюда привел? Не хочу красоты, пока не закончена борьба...» Впрочем, вернемся в кабинет.

Едва я успел рассмотреть Дзержинского, как он, словно подгоняемый нескончаемым нервным напряжением, резко спросил:

— Что скажете, молодой человек?

— Товарищ Дзержинский, я приехал из Петрограда от Пироговского общества... У меня письмо...

— Как вы попали к Софье Либкнехт?

Несколько огорошенный резкостью его вопросов, я начал излагать обстоятельства, приведшие меня в номер гостиницы «Люкс». Дзержинский не дождался, пока я закончу. Видимо, с первых же фраз ситуация стала ему ясной. Он перебил:

— Софья мне говорила о вашем Федорове... Вы приехали его выгораживать?

— Нет, товарищ Дзержинский. Не выгораживать. Мы не вправе утверждать, что за ним нет вины. Но мы, его ученики, можем просить о помиловании. Верните нам Федорова.

Мне показалось, что Дзержинский смягчился. Желтоватые веки опустились, прикрыв сверлящие глаза, взгляд которых трудно было выдержать. Он прошелся по комнате нервным быстрым шагом. Потом опять устремил на меня взор.

— На днях получено письмо о Федорове от германского общества врачей. Это тот самый Федоров?

— Да. Разумеется, тот самый.

— Откуда о нем знают за границей? Он выступал с докладами на международных съездах?

— Не только это, товарищ Дзержинский. Знаменитые иностранные хирурги приезжали к нам для того, чтобы посмотреть операции Федорова.

Торопясь, комкая фразы, опасаясь, что Дзержинский опять вот-вот меня прервет, я рассказал, что Федоров является основоположником, отцом русской хирургической урологии, что он разработал собственную, ранее не известную технику операций на почках, мочеточниках, желчных путях. Ему принадлежит честь создания цистоскопа, ректоскопа, тончайших катетеров, позволяющих исследовать в отдельности правую и левую почки. Мировая хирургия взяла от Федорова эти инструменты. Старик немец Каспер, понаблюдав его операции, заявил: «Я был учителем профессора Федорова, теперь я стал его учеником». Далее я перечислил отзывы Мэйо, Зауэрбуха, других мировых авторитетов. Сказал и о том, что после Октябрьской революции Федоров остался верен врачебному долгу, продолжал оперировать, продолжал учить. Мы, молодые советские хирурги, перенимаем его методику и технику, составляем его школу. Потеря Федорова станет невозместимым ударом для всех нас, для настоящего и будущего русской хирургии.

Дзержинский, не перебивая, ходил по кабинету. Наконец вновь обратился ко мне:

— А к царю ваш Федоров был весьма приближен. До самой минуты отречения. Да и потом продолжал у него бывать.

— Товарищ Дзержинский, дело в том, что наследник — мальчик Алексей — страдал гемофилией. Это ужасное заболевание. Несвертываемость крови. Можно истечь кровью от малейшего пореза. И Федоров как врач...

Далее я стал торопливо пересказывать некогда описанный в газетах разговор царя с лейб-хирургом при подписании отречения от престола. Николай попросил Федорова, не скрывая, ответить: «Сколько еще может прожить Алексей?» В те времена медицине еще не было известно переливание крови. И Федоров сказал: «Он проживет не больше чем до 16—17 лет». Николай подписал отречение и за сына.

Дзержинский опять не дослушал. Все это, видимо, он отлично знал.

— Гм... Друг царя. Его советчик...

— Да, советчик царя,— воскликнул я.— И царь хирургов!

Впервые за все время нашего разговора Дзержинский слегка улыбнулся. Тут мне следовало бы помолчать, но, уже торжествуя победу, я продолжал:

— А главное, товарищ Дзержинский, у него счастливая рука.

— Счастливая рука? Что это за мистика?

Тон Дзержинского стал отчужденным. Наверное, вылетевшая у меня фраза была им воспринята как легкомысленная. Мне вдруг показалось, что для него как бы обесценились, стали менее серьезными все мои доводы, мои горячие слова. Эх, Антонио, Антонио-Пистолето! Какая нелегкая дернула тебя молвить про счастливую руку? Ведь и сам Федоров никогда не употреблял подобных выражений. Наоборот, он не уставал едко высмеивать ходячие словечки: «хирург-прозорливец», «хирург-виртуоз», «хирург-волшебник». Особенно доставалось словцу «хирург-джигит», которое, как уверял Федоров, он однажды где-то вычитал.

Так что же мне делать? Отказаться от вылетевших слов? Или поспорить, объяснить?

В эту минуту дверь кабинета раскрылась.

— Феликс, здорово!

Явственный кавказский акцент своеобразно окрасил это жизнерадостное восклицание. Вошедший был одет в полувоенную куртку-френч; широкий ремень туго стягивал талию, придавая фигуре стройность. К буйной черной шевелюре давненько не прикасался парикмахер. Задорно вились кончики длинных усов. Нависший над усами крупный с горбинкой нос — такой нос зовут орлиным — позволял угадать грузина.

Дзержинский с улыбкой, сразу смягчившей его строгие черты, сказал:

— Ей-ей, ты входишь,— и с тобою входит юг.

Действительно, свежий здоровый загар, золотивший кавказское смуглое лицо, напоминал о южном солнце, казался удивительным в московских снегах, что лежали за окнами, подернутыми инеем.

Из нагрудного кармана, над которым алел маленький эмалевый флажок — значок члена Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, кавказец вынул плоские черные часы, прикрепленные к петельке шнурком, взглянул, покосился на меня.

— Феликс, я не помешал?

— Нисколько. Садись, садись. Еще несколько минут...

Дзержинский подошел ко мне. Вдруг какая-то мысль заставила его вновь обернуться к усевшемуся уроженцу юга.

— Слушай, ты же был фельдшером! Что ты скажешь насчет такой вот чертовщины: счастливая рука?

Грузин неожиданно расхохотался. Глубокая ямочка ясно обозначилась на его подбородке.

— Феликс, притащу тебе когда-нибудь статью Пирогова «О счастье в хирургии». Не читал?

Эх, ведь и мне надо бы сослаться на эту статью! Сразу вспомнилось ее полное название: «Рассуждение о трудностях хирургического распознавания и о счастье в хирургии».

— О чем там говорится? — спросил Дзержинский.

— Как раз об этой чертовщине. О том, что бывают счастливые и несчастливые хирурги. Да только ли хирурги? У меня, если хочешь знать, тоже легкая рука.

Бывший фельдшер живо поднялся. Видимо, он был очень общителен, любил поговорить.

— В семнадцатом году на пароходе,— продолжал он,— когда возвращались из ссылки, позвали раба божьего. Роды, акушерки нет, принимай ребенка. Что же? Принял чудесного мальчишку. Вскинул его вот так...

Грузин со смехом воздел руки — каждый его жест источал энергию,— продемонстрировал, как вознес младенца.

— Вскинул и предложил: «Назовем Владимиром, в честь Ленина...» Недавно повстречал мамашу. Мальчишка здравствует. И зовут его Володькой! А? Счастливая рука!

Дзержинский спросил:

— Ты Федорова знаешь?

— Хирурга Федорова? Кто же его не знает? Еще в фельдшерской школе мы занимались почками по Федорову.

Взглянув на меня, он обо всем догадался.

— А, вот в чем дело... Вмешиваться, Феликс, не могу, но ежели уж ты меня спросил, то присоединяю свой голос старого фельдшера за Федорова.

— Ну, будем надеяться,— произнес Дзержинский,— что когда-нибудь он окажется тебе полезным.

— Благодарю.— Грузин снова рассмеялся.— Лучше пусть он тебе понадобится.

Дзержинский опять посмотрел на меня.

— Вы военный врач?

— Да.

— В гражданской войне участвовали?

— Да. Был начальником фронтового хирургического автоотряда.

— Ну, стало быть, поверим Федорову?

Неожиданно он мне подмигнул. Подмигнул, как своему,— с хитринкой, добродушно. Тотчас он вновь стал серьезен.

— Итак, товарищ военврач, мы Федорова освободим. Но возьмем его из Питера. Пусть поживет в Москве. Мы тут за ним присмотрим.. Можете передать это Пироговскому обществу.

Обрадованный, я вышел от Дзержинского и лишь за дверью сообразил, что в волнении не сказал спасибо, даже не откланялся бывшему фельдшеру.

Ровно семь лет спустя, незадолго до наступающего нового, 1929 года, я сидел у Федорова в его домашнем кабинете.

После освобождения из тюрьмы Сергей Петрович провел некоторое время в Москве. Меня, думается не по заслугам, он считал своим спасителем. «Отныне ты будешь,— объявил он,— моим сыном в хирургии». Он взял меня с собой в Москву. Случилось, что там я свалился в сыпняке. Почти месяц Федоров ежедневно приносил мне в палату очень вкусные бульоны и всяческое иное подкрепление. В больнице изумлялись: сам великий Федоров носит ему передачу! Выздоровев, я продолжал работать под началом Федорова, ассистировал ему во всех серьезных случаях.

Прожитые в Москве годы были исключительно плодотворными для Федорова. Там он написал широко известный труд объемом почти в тысячу страниц «Хирургия почек и мочеточников», являющийся и поныне основным пособием не только для хирургов, но и для терапевтов. В Москве же он перевел с немецкого и капитальную работу Вильдбольца, тоже посвященную хирургии почек.

Оставаясь, однако, заядлым петербуржцем, он с тонкой улыбкой, имевшей великое множество оттенков, говаривал о себе: «Сослан в Москву». Наконец Федорову разрешили вернуться в город любимых проспектов, уже ставший тогда Ленинградом. С ним возвратился и я в нашу старую клинику Военно-медицинской академии.

Утро того дня, о котором далее последует рассказ, было для меня не из приятных.

В клинике я показал Федорову одного больного, которому сделал операцию удаления аппендикса, применив новинку, описанную в заграничном журнале. Новинка заключалась в том, что отсечение производилось через очень маленький разрез, сквозь который могли пройти только два пальца, вооруженные инструментом. Отослав больного, Федоров, одетый в белый медицинский халат, без околичностей спросил:

— Какой дурак делал эту операцию?

— Сергей Петрович,— пролепетал я,— так делают немцы.

— Думаешь, у немцев дураков нет?

Мой огорченный вид не вызвал снисхождения.

— Какие у тебя основания ограничиваться таким разрезиком? Ты же не обревизовал полость живота. Мы претендуем на научную хирургию, а ты гонишься за модой.

Федоров презирал моду в медицине, «модник» у него было ругательством. Все же он заключил по-отечески:

— Приходи, Антонио, вечером ко мне. За кофеем (слегка щеголяя некоторыми старинными выражениями, он так и произносил: «кофеем») потолкуем.

7

И вот вечерком, в последних числах декабря 1928 года, я сидел у Федорова, к которому частенько захаживал и без приглашения.

В его кабинете выстроились книжные шкафы. На письменном столе виднелись корректурные оттиски журнала «Советская хирургия», одним из ревностных редакторов которого стал Сергей Петрович. Стены были увешаны полотнами известных, частью даже знаменитых русских и западных живописцев. Меж картин уместилось несколько больших фотографий. На одной был запечатлен сам Сергей Петрович в форме свитского генерала с вензелями на погонах. Стрелки холеных усов торчали вверх. Лысина еще увеличивала большой лоб, открывала купол черепа. На снимке виднелась надпись, сделанная рукой Федорова: «Ставка. 1916».

Живой оригинал этого портрета, почти не изменившийся за дюжину лет, одетый уже не в мундир, а в безукоризненно сшитый костюм, сидел, покуривая сигару, на диване и, не стесняясь меня, устроившегося в стороне, неторопливо беседовал с таким же лысым, как и сам он, тоже в пенсне, профессорского вида посетителем. Гость этот некогда был одним из царских поваров. Бывшие кулинары царя не забывали Федорова. Любитель изысканной еды, стяжавший даже при дворе славу гурмана, Сергей Петрович множество раз делил трапезу с царем, высказывал тончайшие замечания знатока-лакомки, но никогда не подводил поваров. С ними у него бывали отдельные, так сказать приватные, беседы. Потрясения семнадцатого года разметали царских кухарей в разные

стороны. Однако в дни семейных праздников в доме Сергея Петровича кое-кто из них, выказывая уважение и любовь, приходил к нему блеснуть искусством.

Помню, Сергей Петрович, выговаривая по давней привычке несколько в нос, сказал:

— А какое вино пойдет у нас к редиске?

Я не позабыл эту фразу, ибо впервые тогда не без удивления узнал, что редиска требует лишь строго определенных вин. Собеседник Федорова не успел ответить. Раздался необычно громкий, необычно продолжительный звонок телефона.

Оправдывая свое прозвание, к аппарату, разумеется, подскочил Антонио-Пистолето. Телефонистка спросила:

— Квартира профессора Федорова?

— Да.

— Он дома? Попросите его к телефону. Вызывает Москва по правительственному проводу.

8

Прихватив с собой сигару, Сергей Петрович пересел поближе к телефону, взял трубку.

Я смотрел на его руку, которую столько раз видел в прозрачной перчатке хирурга,— широкую, волосатую, коротконалую, вовсе, казалось бы, не подходящую к его виду Юпитера, к породистой барственной осанке.

— Федоров у телефона,— со своим французским прононсом сказал он.

Однако тотчас, с первых слов, что донесла мембрана, его серые глаза под стеклышками пенсне, всегда безупречно прозрачными, стали очень серьезными. Я услышал:

— Да, свое заключение подтверждаю... Откладывать нельзя... Согласен, если больной мне доверяет... Где? Когда?.. Хорошо, но ставлю условие: приеду со своими ассистентами. Фамилии? Пожалуйста.

Федоров назвал меня и еще одного своего ученика, которого из-за богатырского роста товарищи именовали Крошкой.

Разговор закончился. Я видел, что Сергей Петрович взволнован:

— Слава богу, решено! Поедем, Антонио, после Нового года в Москву.

— Операция?

— Да. Помнишь, я говорил про наркома? Слава богу! Если бы еще с этим тянуть, дело кончилось бы плохо.

По рассказам Сергея Петровича я уже в общих чертах знал о болезни Серго Орджоникидзе. Его периодически мучили боли в области живота и поясницы, порой повышалась температура, он плохо ел. Анализы тоже вызывали тревогу.

Прошлым летом врачи послали его на отдых в Гагры. Там же обычно проводил лето на собственой даче и Федоров, делая операции в местной клинике. Однажды к нему пришел нарком, попросил медицинского совета. Тщательно занявшись больным, проделав ряд исследований, Федоров, верный правилу быть откровенным с теми, кто нуждался в хирургическом вмешательстве, сказал ему: «Курорт вам не поможет. Не помогут и лекарства, которыми ныне располагает медицина. Нужны, конечно, дальнейшие исследования, но для меня несомненно: у вас туберкулез почки. Необходима операция. Она, как и всякая серьезная операция, сопряжена с риском, но другого исхода я не вижу».

Орджоникидзе уехал. В Москве были проделаны биологические пробы, оказавшиеся противоречивыми. Некоторые были положительными: да, почка выделяет туберкулезные бациллы. Другие получились отрицательными. Федоров настоял, чтобы нарком съездил в Берлин в клинику пунктуальнейшего Брандта или старика Каспера. Проверка в Германии подтвердила: у Орджоникидзе туберкулез левой почки. И все же некоторые солидные медики в Москве рекомендовали осторожность, выжидание.

Федоров не стерпел. Его всегда отличало горячее отношение к больному. Он сам не однажды формулировал главнейшие принципы, устои своей хирургической школы: научный подход к решению всех медицинских вопросов, глубокая самокритика хирурга, раскрытое сердце, доброта, гуманнейшее отношение к страдальцу человеку. Отбросив формальности, пренебрегая тем, что ответственность за жизнь и здоровье наркома нес не он, хирург-ленинградец, а другие врачи, Федоров написал в Москву, что наркома может спасти лишь операция, что дальнейшее промедление приведет к роковому исходу.

Звонок из Москвы явился ответом на это письмо.

Разволновавшийся, даже расчувствовавшийся, дважды повторивший «слава богу», Сергей Петрович минуту-другую спустя вновь стал Федоровым Великолепным.

Вернувшись на диван, раскурив сигару, он обратился к своему гостю:

— Так какое же вино пойдет у нас к редиске?

Бывший царский повар не смог, однако, сразу настроиться на прежний лад.

— Сергей Петрович, а какой он из себя?

— Нарком? Как бы это вам изобразить? В Грузии, Евдоким Иванович, бывали?

— Доводилось. Отдыхал.

— У местных жителей бывали?

— Как же... Не без этого.

— Представьте себе этакого хозяина... Обаятельного, широкой души. Встречались вам такие? Он вас привечает, угощает, сам выпьет с вами, притащит лучку с грядки, шашлык подаст вот так...

Федоров выпрямился, воздел обе руки, будто держал в каждой по шампуру с дымящимся, сочным шашлыком. Этот жест вдруг что-то мне напомнил. Шевельнулось какое-то неясное воспоминание. А Федоров, вдохновленный присутствием почтенного повара, продолжал еще и еще добавлять подробности к картине, родившейся в его воображении гастронома.

— Он ставит возле вас и имбирь, и красный перчик, и чеснок. Смеется, если вам кушанье понравилось. Наливает стаканчик за стаканчиком на пробу чуть ли не из каждого своего бочонка. Суньтесь-ка к нему с деньгами, обидите навек... Ну, словом, очаровательная личность.

Взглянув на меня и уже явно обращаясь не только к повару, Федоров закончил свой набросок последним широким мазком:

— Душа человек... Жаждет накормить, порадовать, осчастливить целый мир... Таков он, этот нарком-жизнелюб!

Едва Федоров произнес слово «жизнелюб», как смутное воспоминание приобрело отчетливость.

Не он ли, этот горбоносый южанин, заступившийся у Дзержинского за Федорова, не он ли и есть больной нарком, которого Федоров на днях будет оперировать? Я быстро спросил:

— Он бывший фельдшер?

— Не знаю... Не пришлось слышать об этом,— сказал Федоров.

— Носит на груди красный флажок? Значок члена ВЦИК?

— Нет, никаких значков, никаких орденов не носит.

— Такой стройный, худощавый?

— Что ты! Если и был худощавым, то больная почка давно нарушила обмен. Грузноват... Хотя любит ходить.

— Но ямочка-то на подбородке есть?

— Это есть.

Конечно, ямочка была весьма недостаточной приметой, но почему-то во мне крепла уверенность: это он, это тот самый!

Впрочем, к чему строить догадки? Ведь скоро я его увижу.

10

Однако еще до личной встречи мне пришлось, так сказать, заочно столкнуться с наркомом. Он вмешался в некоторые наши врачебные дела. Это произошло так.

В начале января — за несколько дней до той даты, что была намечена для операции,— Крошка и я, два ассистента, выехали в Москву. Федоров пока остался дома.

В Москве в лечебно-санитарном управлении мне сказали, что я назначен ответственным за операцию. Я удивился:

— Что это значит: ответственным за операцию?

— За антисептику... За то, чтобы не было сепсисов и перитонитов. Словом, за все...

— Но у вас есть же глава хирургического отделения. И существует штат.

Ответ был короток:

— Спорить не о чем. Мы имеем указания.

Дисциплина военного врача заставила меня вытянуть руки по швам.

— Слушаюсь.

А сам подумал: неужели начать с недоверия персоналу? С мелочной проверки? Взять под контроль каждого, кто прикосновенен к антисептике?

Несколько раз я захаживал в больницу, осматривал прекрасно оборудованную операционную, знакомился с

врачами, с медицинскими сестрами и нянями. И ничего не предпринимал. Внутренний голос предостерегал меня от какого-либо решительного шага. На ум приходила арабская поговорка, которую любил Сергей Петрович: «Если не знаешь, как поступить, не поступай вовсе».

Я делился сомнениями с Крошкой, но тот лишь разводил своими лапищами.

Миновал день, другой. Вечером, когда я уже собирался лечь, в дверь постучали. После моего «да» вошел крепыш лет сорока с широконосым угловатым лицом. Он оказался начальником секретариата Орджоникидзе. Какая-то хроническая болезнь горла делала его голос сиплым. Позже я с ним подружился. (Кстати замечу, что в клинике Военно-медицинской академии мы ему вернули звучный, чистый голос, сняв фиброму с голосовых связок.)

Подружился и узнал его историю. Ткач с московской фабричной окраины, красногвардеец, чекист, он получил задание охранять наркома. Тот присмотрелся к рабочему-чекисту, испытал его во всякого рода деловых поручениях, раз от разу все более серьезных, затем вверил ему свой секретариат.

Отрекомендовавшись, усевшись на предложенный стул, поздний гость сказал:

— Я к вам с просьбой от наркома.

— Пожалуйста.

— Сегодня он встревожился. И, откровенно говоря, даже вспылил, когда узнал, что ради него в больнице будет введен какой-то особенный контроль.

— Да, мне предписано так поступить.

— Доктор, а надо ли это? Не почувствуют ли люди, что им не доверяют?

Я признался, что меня тоже беспокоят подобные мысли.

— Не будет ли, доктор, надежнее вести дело на доверии? Во всяком случае, нарком об этом просит. Даже требует...

Даю слово, я это слушал с удовольствием. На душе становилось легче. И вдруг я услышал:

— В больничных порядках он разбирается до тонкости. Сам был когда-то фельдшером.

— Фельдшером? Так это он?

Наша беседа оживилась. Я предложил разделить со мной скромную вечерю, гость не отказался, за стаканом вина я порассказал о Федорове, о том, как я попал в кабинет Дзержинского, как повстречался с сыном жаркого Кавказа.

Начальник секретариата не остался в долгу, отвечал на мои расспросы. Я узнал некоторые поразительные подробности из жизни Орджоникидзе, узнал, что маленький красный флажок, тот, который я видел на его френче, теперь покоится на груди Ленина, похороненного в Мавзолее.

...В тот вечер, когда сердце Ленина остановилось, к нему, умершему, приехали со съезда Советов самые близкие товарищи. В их числе находился и он — Серго Орджоникидзе, некогда слушатель ленинской партийной школы под Парижем. Боевой орден, алый знак отваги, был возложен на грудь Ленина, собранного в последний путь. Но принадлежащий Ленину маленький красный значок, отметка члена ВЦИК, не отыскался. Бывший слушатель партийной школы снял свой значок и укрепил на темно-зеленой поношенной военной куртке Ленина. С тех пор Серго другого значка не надевал.

Теперь, в час моих сомнений и раздумий, от него пришло слово: доверие.

Собрав на следующий день персонал хирургического отделения, я сказал:

— Товарищи, вам известно, насколько серьезна предстоящая операция. Ответственность за нее, в частности за антисептику, возложена на меня. Должен сказать, что я всем вам доверяю. Всем и каждому в отдельности. Никаких проверок устраивать я не буду. Как работали, так и работайте. Это, товарищи, мое единственное распоряжение ответственного за операцию.

Я услышал: «Правильно!», увидел улыбки, просветлевшие глаза.

11

Орджоникидзе поступил в больницу лишь вечером накануне операции.

Он шел коридором в защитного цвета тужурке, в сапогах, осторожно ступая, как бы опасаясь спугнуть больничную тишину. Рука держала разбухший портфель. Боль-

ного сопровождал мой давний товарищ, заведующий хирургическим отделением, умница Алеша Очкин.

В первый миг нарком мне показался незнакомым. Внове была желтизна щек, не разрумяненных даже с морозца, и некоторая излишняя полнота. Буйная шевелюра исчезла, была начисто сбрита. (Орджоникидзе, как я позже узнал, расстался с ней перед поездкой в Германию.) Однако нависающий орлиный нос остался прежним. Не изменились и крупные, блестящие, как спелые черные вишни, глаза, вовсе не больные, не усталые.

Ко мне обратился Очкин:

— Вы еще не знакомы с нашим больным?

Я молча поклонился. Нарком остановился.

— А, единомышленник... Добрая примета...

О чем он? Не принял ли меня за кого-либо другого?

— Единомышленник? — переспросил я.

— Ну да... По вопросу, бывает ли счастливая рука. Не позабыли?

Я снова лишь кивнул, удивленный его памятью на лица. Узнал меня через восемь лет, узнал, несмотря на белый халат, белую шапочку! Нарком продолжал:

— Хитра судьба-злодейка.

Я бодро ответил:

— Сергей Петрович Федоров не признает никакой судьбы-злодейки. И нам не позволяет... Пойдемте...

На секунду я запнулся, не зная, какое употребить обращение: то ли «товарищ нарком», то ли по имени-отчеству? Нарком понял мое замешательство.

— Называйте меня попросту: товарищ Серго,— предложил он.

Это не прозвучало фразой. В его манере действительно не было никакой важности, ни одного признака сановности. Я посмотрел на портфель в руке наркома.

— Это, товарищ Серго, придется оставить.

Однако тут больной решил по-своему.

— Не могу, товарищ доктор. Немного должен поработать, закончить...

Через некоторое время он, переодетый в больничное белье, уже лежал в отведенной для него палате.

Меж тем в больницу приехал Федоров. Сверкая лысиной, оставляя за собой запах крепких духов и сигарного дыма, пропитавшего усы, неизменно величавый, он прошагал к Орджоникидзе. Осмотрев больного в последний

раз перед операцией (этот осмотр происходил без меня, и я ничего, к сожалению, о нем не смогу рассказать), Сергей Петрович пришел в ассистентскую.

— Не знаю, Антонио, как быть,— произнес он.— Завтра чуть ли не пол-Москвы собирается на операцию.

Я воскликнул:

— Как так? Никого не пускать! Будем, Сергей Петрович, работать без посторонних, как в своей клинике.

— Но как откажешь? Просятся большие лица.

— Не пускать! — повторил я.— Если вам это сделать неудобно, ссылайтесь на меня: есть-де ответственный за операцию. Он не разрешает.

— Гм... Лечащих врачей надо же пустить. Некорректно отказать. Тем более оба написали возражение.

— Против операции?

— Да... Пожалуй, и к делу успели уже подшить.

Федоров сопроводил эти слова тонкой усмешкой. Я не сдержался, чертыхнулся. Черт возьми, не с легким сердцем приступишь к операции, имея за спиной два изложенных в письменной форме возражения.

— Спокойствие, Антонио, спокойствие... Будем держать себя по-рыцарски.

— Хорошо. У них есть право. Пусть присутствуют.

— Однако и рыцарям,— продолжал Федоров,— не обязательно быть дураками. Пригласим и наших приверженцев.

— Кого?

— Ну, Розанова. И еще бога Саваофа.— Федоров снова усмехнулся. Богом Саваофом звался из-за огромной бороды один старый большевик, влиятельный, знающий медик.— Хотя на бога завтра мы, Антонио, надеяться не будем.

Так был решен вопрос о том, кого завтра допустить на операцию.

Вскоре Федоров уехал до утра. Орджоникидзе продолжал мирно пребывать в своей палате.

Впрочем, мирно ли? Протекал час за часом, а он не гасил у себя свет. Наконец, после того как пробило одиннадцать, я к нему наведался.

Устроившись на кровати полулежа, он, в распахнутой нижней рубахе, читал с карандашом какие-то отстуканные на машинке материалы. На столике находилось несколько книг. Одна или две были раскрыты.

— Товарищ Серго, надобно спать. Так к операции не готовятся.

Ответом послужила улыбка. В ней было и смущение, и извинение перед доктором, и что-то совсем иное, как бы взгляд издалека, откуда больничные порядки, возможно, кажутся совсем малозначительными.

— Исправляю стенограмму,— объяснил нарком.

Он перевернул лицевой стороной вверх, показал мне уже отработанные страницы. На первой я увидел карандашный заголовок: «О борьбе с бюрократизмом». На следующей строчке значилось: «Речь на районной партийной конференции». Далее лист был испещрен поправками.

— На сегодня хватит,— продолжал настаивать я.— К утру вы должны выспаться.

— Завтра вы меня зарежете,— как и недавно, нарком говорил шутливо,— а товарищи станут меня ругать: «Выступил на конференции, а выправить стенограмму не потрудился». И будут правы.

Я подхватил шутку:

— Не зарежем. Не разбойники.

Но нарком уже был серьезным. Большие, сейчас утомленные глаза обратились к странице, на которой я его застиг.

— Тьфу, черт... Разве уснешь, когда столько переврано?

Продолжая исправлять стенограмму, он извиняющимся тоном вновь сказал:

— Не могу, доктор, подвести товарищей.

— Товарищ Серго, постарайтесь закончить поскорей.

— Постараюсь, постараюсь...

И все же застекленная фрамуга над дверью палаты еще долго светилась.

12

Невыспавшийся Орджоникидзе утром выглядел неважно. На операционный стол его взяли очень бледным.

Вы уже знаете, что у Федорова на этом белом поле боя были свои святые правила: никакого перешептывания, ни одного лишнего слова или жеста. Нас, участников операции, было четверо: сам Сергей Петрович, два его ассистента и Очкин, выполняющий обязанности наркотизатора.

Кроме того, несколько поодаль стояли еще четыре врача: известный московский хирург Розанов, два профессора, которые лечили наркома, и бог Саваоф. Разумеется, сейчас огромная борода Саваофа пряталась под марлей. Антисептическими масками были закрыты и все другие лица (в нашем деле это именуется: полная панцирность), виднелись лишь глаза.

Тишина. Больной лежал молча с полуопущенными веками. Движением головы, обращенной к Очкину, Федоров повелел давать наркоз. Операция началась.

Мы обнажили операционное поле. Сильной короткопалой рукой Федоров как бы провел легкую черту, сделал широкий боковой разрез, открывающий доступ к почкам с той стороны, где они не прикрыты брюшиной. В хирургии этот боковой разрез и поныне зовется федоровским. Знаток топографической анатомии, Федоров первый в истории медицины предложил идти именно этим путем к сокровенным, фильтрующим кровь, органам.

Мы, его ассистенты, быстро накладывали зажимы, осушали рану, помогали оператору.

Уже частью рассечены, частью раздвинуты мышцы. Приоткрылись почка и ведущая к ней мощная, толщиной приблизительно в мизинец, пульсирующая сосудистая ножка. Хирург продолжает свою точную работу. Наконец он осторожно приподнимает почку, извлекает ее на свет, еще живую, не отделенную от тела.

Боже! В руке у Федорова совершенно здоровая почка. На ней нет ни малейшего изъязвления, ни одного гнойного пятнышка, никакого признака туберкулеза.

Тишина не нарушалась. И все же я ощутил, как все, кто присутствовали на операции, словно единым движением подались вперед, впились глазами в то, что находилось в руке Федорова.

Сергей Петрович посмотрел на меня. Мне показалось, что он хочет что-то прочесть в моем взгляде.

13

Что же он мог прочесть? Только мое смятение.

Множество раз я ассистировал Федорову, множество раз сам делал схожие операции, но дотоле не видел, чтобы больная почка имела такой здоровый вид. Подобные

случаи не упоминались и в классическом труде Сергея Петровича.

Стряслась ошибка. Одна из тех, которые знавал и Пирогов. Недаром, недаром же он озаглавил свою являющуюся криком сердца статью «Рассуждение о трудностях хирургического распознавания и о счастье в хирургии».

Хирургическое распознавание... Вот сколь оно обманчиво! Проделаны десятки исследований, биологических проб, а почка — мы ее видим воочию, Федоров держит ее в руке,— почка здорова.

А если ошибка заключается в том, что туберкулезом поражена не эта, левая, а другая почка? И мы удалим здоровую и оставим одну больную? Тончайшая методика Федорова, позволяющая изучать состояние каждой почки в отдельности, исключала, казалось бы, такую возможность, но все-таки, но вдруг... Ведь в медицине, в хирургии, еще так много непонятного и неизвестного.

Помню, в ушах зазвучала совсем не подходящая к этой напряженной минуте хоровая песенка, которую я как-то слышал под Воронежем:

Почему? Да потому...
Отчего? Да оттого...

Ошибка, которую мы бессильны объяснить.

Но как же быть? Не доводить, не доводить дело до беды! Приостановить, прекратить операцию! Положить почку на место, зашить рану. Скорее, скорее это сделать!

Думается, именно это выражал, кричал мой взгляд. Федоров продолжал на меня смотреть. Неожиданно его серые глаза под безукоризненно прозрачными стеклами прищурились. Не проскользнула ли в тот миг под белой маской его умная усмешка.

Он скомандовал:

— Клемм!

Эта команда означала: Федоров принял решение продолжать операцию. Его колебания длились лишь несколько мгновений. Удобный мощный клемм системы Федорова сжал сосудистую ножку, пресек ток крови.

Взмах скальпеля... Почка отделена.

Далее предстояло наложение петли из крепкой шелковой нити на отверстые стволы сосудов, перевязка сосудистого пучка. Это ответственный момент операции. Подается команда: «Снять клемм!» — и, как только перерезан-

ный пучок освободится от зажима (именно в этот самый миг!), затягивается петля.

Федоров произнес эту команду. Я раздвинул, потянул на себя клемм. Внезапно рука Федорова дрогнула, он на мгновение опоздал. Взвилась, засвистела тонкая струя крови. Приученные не действовать без приказа, мы, оба ассистента, замерли. В таких случаях, когда из крупной артерии начинает фонтаном бить кровь, больной в две-три минуты может погибнуть на столе.

Федоров не потерял самообладания. Удерживая правой рукой выскальзывающую, подернутую жиром сосудистую ножку, он быстро ввел левую руку глубоко в рану и там втемную сразу нашел и сжал брюшную аорту. Кровотечение тотчас прекратилось.

Это был, как говорят французы, «ку де метр» — удар мастера — мастера топографической анатомии. Вновь прозвучали приказания нашего старого учителя. Пучок был перевязан. Все произошло молниеносно. Лишь красные брызги на белоснежных простынях и халатах да ничтожное пятнышко крови на стеклышке пенсне Сергея Петровича напоминали о грозной минуте.

Пожалуй, только тогда я понял, почему Федоров согласился оперировать лишь со своими ассистентами. Другие, не вышколенные им, кинулись бы помогать, могла возникнуть гибельная суета.

Операция шла к концу. Удаленная почка, на которой по-прежнему нельзя было заметить ни единого внешнего свидетельства болезни, уже лежала в тазике. По неписаному закону хирургии никто, кроме оператора, не смел первый к ней притронуться.

Предоставив нам осушать и зашивать рану, Федоров взял почку и пошел к окну. Походка была не совсем твердой, сдернувшая марлевый панцирь рука слегка дрожала.

Скальпелем он рассек почку. И вдруг улыбка — не та, слегка ироничная, тонкая, что нередко возникала под усами, а совсем иная, проступившая и в крупных губах, и в крыльях породистого носа, и в заблестевших глазах, озарила лицо Федорова.

Протянув руку, он показал рассеченную почку. В разрезе были ясно видны три углубления с изъязвленными краями, три туберкулезные каверны. Обсеменяя организм палочками Коха, они создавали страшную опасность.

Такова была эта операция. Старый русский хирург,

создатель школы, поверил не внешнему виду, не впечатлению, а исследованию, методу, науке. В ту минуту, когда он колебался, подверглись испытанию все его убеждения врача, преданность той хирургии, что, по его выражению, претендует быть научной.

Отложив почку, сдвинув со лба белую шапочку, сняв прозрачные перчатки, он не спеша протер меченное кровью стеклышко, достал сигару.

14

Осталось досказать немногое.

Спустя час к больному вернулось сознание. Мы, оба ассистента, находились в палате. Он застонал. Крошка пытался своими сильными ручищами уложить его повыше, поудобнее. Больной вскрикнул.

— Потерпите. Скоро станет легче,— сказал я.

Возможно, ему, закаленному бойцу революции, полагалось бы и сейчас найти в себе силы для бодрого ответа, для шутки, но он страдал, как самый обыкновенный человек.

— Больно... Больно...— вырвалось у него.

Почти месяц я провел у постели Орджоникидзе. Об этом месяце надо бы особо рассказать. Но теперь я выделю только один случай.

Нарком поправлялся медленно. Его навещали друзья, родные. Несколько раз побывал Киров, наезжавший из Ленинграда. В больнице постоянно дежурила жена наркома, бывшая учительница из сибирского села, крепкая, мужественная, неговорливая. Она не теребила нас расспросами, но всегда была готова чем-либо помочь. Мы ее почти не замечали, но, едва случалась нужда в ее содействии, она, незримая помощница, тотчас появлялась.

Однажды, примерно недели через полторы-две после операции, меня вызвали в проходную, сообщив, что какой-то старик из Дагестана просит свидания с наркомом.

Пришелец оказался почетным стариком (у горцев существует это звание, даруемое одноаульцами). Вид седого сухощавого дагестанца несколько меня смутил. Одет он был красочно, но чрезвычайно бедно. На выцветшей ветхой черкеске, украшенной газырями и красным башлыком, виднелись заплатки. Обувь была и того хуже.

— Нарком вас знает? — спросил я.

— Наш аул известен князю бедных,— с достоинством ответил старик.— Во время войны против господ он нас поднял своим словом. Теперь мы узнали, что он болен, и я к нему приехал со словом от аула. Оно поднимет больного орла.

Я пошел к Орджоникидзе.

— Товарищ Серго, к вам хочет пройти довольно странный старик из Дагестана. Мы затрудняемся: пустить или не пустить?

— Конечно, пустите. А чем же он странный?

— Очень уж плоховато одет. Черкеска чуть не рассыпается.

Неожиданно Орджоникидзе побагровел. Нависающий нос, щеки, раздвоенный подбородок — все налилось кровью. Черные глаза приобрели грозный блеск. Я не раз слышал, что нарком вспыльчив, но впервые видел его в гневе.

— Какого черта! — Он стукнул по больничной тумбочке так, что задребезжали мензурки и стаканы.— В какой стране вы изволите, товарищ, жить?

Я молча выслушал его нагоняй. Вспышка миновала. К смуглому лицу постепенно вернулась послеоперационная бледность.

— Если уж обращать внимание на одежду,— успокоившись, сказал нарком,— то лишь в пользу того, кто не имеет хорошего костюма. А то какого же черта мы называем себя рабоче-крестьянской властью?!

Пропуская старика, не сразу согласившегося закрыть газыри белым халатом, я попросил, чтобы он пробыл у больного не более десяти минут. Но прошло и десять, и двадцать минут, а Серго не отпускал дагестанца. Порой из-за двери доносился хохот; впервые в больнице нарком так от души, так заразительно смеялся. Выждав полчаса, я приоткрыл дверь. Больной, или, вернее сказать, выздоравливающий, обряженный в синюю больничную фланель, сидел на постели и, подавшись грузноватым корпусом к гостю, слушал его оживленную речь. Беседа явно доставляла удовольствие обоим. Заметив меня, Орджоникидзе в ответ на мои знаки отмахнулся.

Без малого час он держал у себя старика. Потом вместе с ним вышел (к тому времени Серго уже мог немного ходить) и, обняв за плечи, что-то с улыбкой на ходу до-

сказывая, проводил к лестнице. Затем постоял у окна, глядя во двор. Вероятно, выходивший из больницы дагестанец обернулся. Энергичным движением Орджоникидзе поднял обе руки, посылая прощальный привет.

Мне вспомнилась минута, когда вот так же, с поднятыми руками, он жизнерадостно воскликнул: «Назовем Владимиром, в честь Ленина!»

По какому-то удивительному совпадению день его встречи с почетным стариком стал переломным в ходе выздоровления. Словно хлебнув неведомого нам лекарства, нарком быстро пошел на поправку. А быть может, и впрямь слово, принесенное с далеких гор, где когда-то во главе с «князем бедных» сражались первые красные отряды, подняло больного орла?

15

Несколько лет спустя в зале Военно-медицинской академии отмечался юбилей Федорова, сорокалетие его научной и педагогической деятельности.

Разумеется, было много приветствий, адресов, телеграмм. Не забыл юбиляра и знакомый нам нарком. Он прислал телеграмму: «Обнимаю, благодарю, жму счастливую руку счастливого советского хирурга».

Сергей Петрович, заметно постаревший, но сохранивший и прежние стрелы усов, и всю осанку Федорова Великолепного, то и дело поправлял пенсне, заодно смахивая с глаз влагу.

Был оглашен и приказ народного комиссара по военным и морским делам. В частности, приказ гласил:

«Несмотря на то что профессор Федоров занимал видное положение в старой России и был с ней связан целым рядом служебных и иных взаимоотношений, он с первых дней Октябрьской революции, как истинный ученый, стал активно работать в стенах Военно-медицинской академии, перешедшей в руки Рабоче-Крестьянской Красной Армии... В ознаменование сорокалетнего юбилея профессора Федорова Революционный Военный совет СССР постановляет: присвоить его имя 1-й хирургической клинике Военно-медицинской академии».

Приветствия наконец были исчерпаны. Долго не стихали аплодисменты, когда наш учитель поднялся для ответного слова.

Вначале он всех поблагодарил. Его уже старческий голос был более глуховат, чем обычно. Федоров волновался. Припомнив свою давнюю статью «Хирургия на распутье», он сказал, что ныне работает над книгой «Пути советской хирургии». Мы, его ученики, знали об этой готовящейся книге. Отрицатель волшебства и наития в своей благородной профессии, Федоров предвидел будущий подъем и расцвет хирургии, опирающейся на исследовательские институты, экспериментальные научные центры, лаборатории, щедро создаваемые по всей стране.

— В свое время народная власть отнеслась ко мне с доверием,— продолжал он.— С гордостью называя себя советским врачом, я хочу в этот большой для меня день поговорить...

На миг ему изменило дыхание. Мы ждали: о чем же он скажет в такой день?

— Хочу поговорить о счастье в хирургии. Существует мнение, что есть хирурги счастливые и хирурги несчастливые. На основе опыта всей моей жизни я пришел к иному взгляду.

Голос постепенно становился ясным. В свете электричества поблескивала правильно округленная, красивая голова.

— Пришел к иному выводу,— повторил Федоров.— Есть хирурги внимательные, серьезно подготовленные к своему призванию, тщательно исследующие каждое страдание, которое взывает к их вмешательству, глубоко вдумчивые, всесторонне оценивающие показания к операции. У таких хирургов бывает счастливая рука. А те, кто пренебрегает высокими требованиями научной хирургии, даже не всеми, но хотя бы какими-либо из них, те всегда будут несчастливыми хирургами.

После своего большого дня Федоров прожил недолго. В 1935 году мы похоронили его, хирурга-ученого, познавшего тайну счастливой руки.

1959

ТАЙНА УСПЕХА

Собирая материал для новой книги о советских металлургах, я недавно побывал у Василия Семеновича Емельянова. Наутро ему, начальнику Главатома, предстояло вылететь в служебную командировку, а вечерок он уделил мне, чтобы рассказать о своих сотоварищах по давней специальности — электрометаллургах, о том, как были созданы наши сверхпрочные, жароупорные и другие необыкновенные стали. Василий Семенович достал старый альбом, показывал фотографии, порой выцветшие. На этих снимках я легко узнавал и самого Емельянова, невысокого, сухощавого и, вероятно, застенчивого; его аккуратно причесанная голова, ныне будто чуть присыпанная серебрящимся алюминиевым порошком, постоянно виднелась где-нибудь на заднем плане или сбоку.

В подходящую минуту я задал своему собеседнику вопрос, возможно несколько наивный (впрочем, наивные вопросы, думается, входят в наш литераторский инструментарий): в чем тайна последних успехов нашей техники, как их объяснить?

Раздумывая, начальник Главатома взглянул на лист раскрытого альбома. Оттуда смотрело знакомое лицо Серго Орджоникидзе. Его слегка свисающие густые усы не скрывали улыбки. Народный комиссар тяжелой промышленности был снят в небольшой группе металлургов. Среди них, опять где-то сбоку, находился и Емельянов.

Сейчас он, уже ставший с тех пор, как и все мы, старше почти на четверть века, улыбнулся, словно отвечая на улыбку наркома.

— Тайна? — протянул он.— Орджоникидзе тоже допскивался тайны. С вашего разрешения я расскажу эту историю.

Тридцатые годы... Емельянов назначен техническим директором нового, оборудованного с великолепной щедростью Челябинского завода ферросплавов. В те времена другого подобного завода на советской земле не было. Однако дело в Челябинске не ладилось. Электроды — толстые черные стержни, необходимые для электроплавки,— не удавались, растрескивались, крошились. Почти сто процентов шло в брак. Это «резало» завод, металлургию всей страны.

Орджоникидзе много раз звонил директору, выспрашивал его по телефону и наконец вызвал к себе.

— Расскажи, из чего делаются эти электроды? Что входит в их состав?

— Антрацит, кокс, смола.

— Погоди. Давай по порядку.— Серго придвинул блокнот, взял карандаш.— Значит, во-первых, антрацит?

— Да.

— Какой антрацит?

— Обыкновенный, малозольный.

Серго записал: «Антрацит».

— Так. Дальше.

— Кокс... Размалываем и даем в смесь.

Карандаш наркома вывел: «Кокс».

— Что еще?

— Смола.

— Какая?

— Каменноугольная.

Список пополнился смолой.

— Что еще?

— Больше ничего.

— Так-таки вовсе ничего?

— Да, товарищ нарком.

— Ну, теперь понятно, почему электроды у тебя не получаются. Нужна еще одна составная часть.

Серго опять пустил в ход карандаш, на листе блокнота появилось: «Организация дела». Эти же слова он повторил вслух:

— Организация дела... С умом, со здравым смыслом... Вот чего в ваших электродах не хватает!

...Емельянов взглянул на меня, тонко прищурившись. Что же, пожалуй, я получил ответ на свой вопрос. Примечательная перестройка, характеризующая всю нашу жизнь последних лет, поднятые семафоры на путях творческой отваги, соединение великих усилий и сверху и снизу — все это мы можем рассмотреть, не прибегая к микроскопу, в шлифах наших сверхпрочных, жароупорных и других необыкновенных сталей. Да, организация дела — вот, помимо всего прочего, из чего создается сталь!

1959

Комментарии

Произведения Александра Бека при его жизни выходили отдельными изданиями и объединенные автором в тематические сборники.

Собрание сочинений, где представлена значительная часть творческого наследия писателя, осуществляется впервые и является посмертным.

В него входят все произведения, опубликованные при жизни А. Бека (кроме критических статей и очерков 20-х годов), а также произведения, опубликованные посмертно,— роман «На своем веку» и рассказ «Апрельские тезисы». В четвертом, последнем, томе собраны заметки и выступления писателя в периодической печати, его дневники, материалы из записных книжек.

При расположении произведений по томам редакция учитывала волю автора, который, составляя прижизненные сборники, всегда придерживался тематического принципа. Внутри томов, как правило, произведения следуют в хронологическом порядке.

Под каждым произведением указана авторская дата его написания. В случае ее отсутствия в угловые скобки заключены даты, означающие время, позже которого данное произведение не могло быть написано. Тексты произведений печатаются по последним прижизненным изданиям.

Основные сборники: «Жизнь Власа Лесовика» (М., 1939), «Доменщики» (М., 1946), «Зерно стали» (М., 1950), «Тимофей — Открытое сердце» (М., 1955), «Счастливая рука» (М., 1962), «На фронте и в тылу» (М., 1965), «Мои герои» (М., 1967), «Почтовая проза» (М., 1968), «В последний час» (М., 1972), «Такова должность» (М., 1973).

Первый том открывается автобиографическим очерком «Страницы жизни». Затем следуют повести и рассказы о становлении и развитии отечественной металлургии.

Герои их — говорит Бек в статье «Книги жизни» — «это круг металлургов или, еще суживая, доменщиков», открывшийся ему в начале тридцатых годов, когда он работал по заданию горьковской редакции «История заводов и фабрик», а позднее — «Кабинета мемуаров», готовившего серию сборников «Люди двух пятилеток».

«О Курако я написал свою первую повесть. Потом еще и еще трудился над образами металлургов, врубался в этот пласт, приносил читателю отколотые и как-то мною выделенные небольшие куски». («Новый мир», 1967, № 11, с. 221).

Эта метафора точно передает особенность книг Бека о металлургах. Все они, за исключением обособленных повестей «Тимофей — Открытое сердце» и «Новый профиль», отошли, «откололись» от нескольких более объемных замыслов (подробнее о трансформации замыслов см. в комментариях к самим произведениям) и составляют своеобразные циклы, скрепленные центральными героями и единством места действия.

Заключает том цикл рассказов о Серго Орджоникидзе, который начал формировать сам автор, собрав большую часть из них в сборник «В последний час». Рассказы эти расположены не хронологически, а по времени происходящих в них событий.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Страницы жизни

Впервые — «Вопросы литературы», 1960, № 3, под заглавием «Жизнь подсказывает».

Сохранилась машинопись автобиографии с точной датировкой: 16 ноября 1959 года.

Каждый раз, готовя автобиографический очерк к переизданию, Бек пополнял заключительную часть новыми сведениями о событиях своей литературной жизни.

В последней авторской редакции (1969) «Страницы жизни» напечатаны в сб. «Советские писатели. Автобиографии», т. IV. М., «Художественная литература», 1972.

Стр. 38. *«... поработал два года на одном из заводов Москвы».* — В 1922—1924 годах Бек работал кожевником на заводе им. Землячки.

Впервые под этим названием — «Знамя», 1934, № 5.

Повесть написана в результате поездки А. Бека в 1932—1933 годах в Сибирь с бригадой литераторов, взявшейся по заданию редакции «Истории заводов», руководимой А. М. Горьким, создать «Историю Кузнецкстроя» (общий замысел реализован не был).

При распределении материала между членами бригады Беку досталась никем доселе не изученная история жизни крупнейшего русского доменщика Михаила Константиновича Курако (1872—1920). Работа над образом Курако положила основу документально-художественному методу Бека, которому он оставался верен на протяжении всей своей творческой деятельности. «Я уже чувствую, что в отличье от моего прежнего писательства обладаю некой школой, неким методом. Это сделала для меня «История Кузнецкстроя»,— замечает он в письме от 24 июля 1933 года. (А. Бек. Почтовая проза. М., «Советский писатель», 1968, с. 100. Все письма, вошедшие в «Почтовую прозу», адресованы Л. П. Тоом. Далее ссылки на эту повесть даются по данному изданию в сокращении *Почт. пр.*, с указанием страницы).

Первоначально в 1933 году намечались к опубликованию «Главы истории Кузнецкстроя» в альманахе «Год XVII», но А. М. Горький, редактор альманаха, прочитав их в верстке, отклонил. «Горький посоветовал переработать, развить вещь» (*Почт. пр.*, с. 108).

В том же году «Главы» были изданы на правах рукописи, для обсуждения, тиражом 1000 экземпляров.

Дорабатывая главы по совету Горького, Бек думает назвать повесть «Копикуз». В письме от 2 марта 1934 года он сообщает: «...Предполагаю напечатать «Копикуз» (то есть главы в виде повести под таким заглавием и без всякой ссылки на «Историю Кузнецкстроя»)» (там же, с. 123). Но уже 17 марта 1934 года эта повесть была принята в журнале «Знамя» под названием «Курако». Бек как бы подчеркивает, что повесть является законченным портретом знаменитого доменщика и независима от «Истории Кузнецкстроя».

Для журнальной публикации автор расширил рассказ о детстве Курако, описание офицерского бала и сцену восстания; обогатил новыми деталями образы Лутугина, Грума-Гржимайло и — в особенности — Федоровича (в последующих изданиях Кратова).

Публикация в «Знамени» сопровождалась подстрочным авторским примечанием, которое в дальнейшем не перепечатывалось: «Повесть не вполне подходящее название для этого произведения. В нем нет вымышленных имен. Действующие лица фигурируют

под собственными именами: события, имеющие историческое значение, соответствуют действительности...

Повесть «Курако» — плод работы автора в писательском коллективе, проведшем около года на площадке Кузнецкстроя. Состав коллектива — З. Кряжникова, И. Рахтанов, Н. Смирнов, Л. Тоом и автор.

В июне 1933 года мы потеряли Н. Г. Смирнова, лучшего и опытнейшего писателя в коллективе. Каждый из нас обязан Смирнову многим. Отличный мастер и знаток сюжетной прозы, он строго судил наши рукописи и раскрывал нам тайны мастерства. Его памяти посвящаются лучшие страницы повести.

Повесть не могла быть написана без внимательной и чуткой помощи общественности Кузнецкстроя. Ей выражает горячую благодарность автор».

Повесть была встречена литературной общественностью и критикой с интересом.

При подготовке к печати сб. «Доменщики» Бек вновь отредактировал повесть. Некоторым реальным персонажам дал вымышленные имена (Федорович переименован в Кратова, Гудков — в Гладкова, Бардин — в Макарычева, Свердлов — в Милютина); глава «Тревожные дни» получает название «Восстание», пересматривается принцип ее внутреннего членения: эпизод прихода Дитмана к Курако расширен и выделен в самостоятельную подглавку.

Подробнее о творческой истории «Курако» см. «Почтовую прозу» (т. 4 наст. изд.).

В 1939 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышла биография Курако, написанная А. Беком (под псевдонимом И. Александров) и Г. Григорьевым. В дальнейшем она выдержала ряд переизданий.

Стр. 60. *«... брат знаменитого Дмитрия Трепова — «патронов не жалеть».* — Д. Ф. Трепов — государственный деятель царской России. В дни октябрьской политической стачки 1905 года он приказал войскам и полиции: «Холостых залпов не давать и патронов не жалеть».

Стр. 80. *«В сражении на Марне».* — Крупнейшая битва первой мировой войны на реке Марне в 1914 году между главными французскими и германскими силами, закончившаяся поражением немецких войск.

События одной ночи

Впервые — «Знамя», 1936, № 4, с авторским примечанием, которое в дальнейшие переиздания не входило: «В повести рассказан эпизод из истории Сталинского (бывшего Юзовского) метал-

лургического завода. Некоторые из центральных действующих лиц живы, они фигурируют под измененными фамилиями».

История создания повести «События одной ночи», подробно прокомментированная Беком в «Почтовой прозе», непосредственно связана с неосуществленным замыслом романа «Доменщики», в котором писатель предполагал на фоне до- и послереволюционной металлургии скрестить различные сюжеты. «Хочется дать пересечение нескольких линий,— писал он в июне 1934 года,— столкнуть капитализм и социализм. Смогу ли дать в романе «Доменщики» остроту такого столкновения?» (*Почт. пр.*, с. 145).

Но, собирая материал для романа «Доменщики», писатель встречается с рядом новых характеров, увлекающих его и трансформирующих первоначальный план. И впоследствии Бек принимает решение «...писать не огромный романище в 50—60 листов, а 6—7 сравнительно коротких вещей» (там же, с. 236).

«Вчера начал беседы с Луговцовым (прототип Максима Луговика.— *Т. Б.*),— пишет Бек из Харькова 26 ноября 1934 года.— Вот здесь я напал на золотую жилу — дед горновой, отец горновой, а самому ему, юноше, Курако помог стать инженером» (там же, с. 161).

В письме от 28 ноября 1934 года Бек сообщает: «Луговцов дал материал, который позволяет выделить из большого замысла отдельную первую повесть» (там же, с. 162).

В марте 1936 года первая повесть задуманного цикла, «События одной ночи», была завершена. Редактируя ее для публикации в «Знамени», Бек развил линию Максима Луговика. «Теперь она (повесть.— *Т. Б.*) зиждется на противопоставлении Свицына (прототипа Крицына.— *Т. Б.*) и Максима, чего раньше не было» (там же, с. 238). Авторская трактовка образа Крицына запечатлена в наброске главы о праздничном ужине: «Задача — показать Свицына во всем его блеске и намекнуть, что за этим блеском что-то гнилое» (Архив Бека); и в дневнике 1935 года: «...человек (Свицын.— *Т. Б.*), продавший свое первородство за чечевичную похлебку? Это, пожалуй, тема» (почт. пр., с. 226).

В критических откликах на «События одной ночи», в частности в статье В. Перцова («Литературные записки (1936)».— В кн: «Год XX, Альманах одиннадцатый». М., Гослитиздат, 1937, с. 350—384), отмечались излишняя эстетизация быта инженерной среды и показ Курако преимущественно в узкопрофессиональной сфере, но в целом повесть была признана безусловной удачей писателя. «Вот я перевалил за вторую повесть,— читаем в дневнике Бека.— Теперь я действительно заработал репутацию настоящего

писателя — надежного, основательного, не однодневку...» (там же, с. 241).

Включая повесть в сб. «Жизнь Власа Лесовика», Бек изменил фамилии некоторых ее героев, но затем вновь вернулся к журнальной редакции.

Влас Луговик

Впервые — под заглавием «Жизнь Власа Лесовика» в одноименном сборнике с примечанием: «Это повествование составлено из воспоминаний рабочего-доменщика Власа Степановича Луговцова (ныне покойного), пополненных рассказами его родных, земляков и старых рабочих Сталинского (бывш. Юзовского) завода».

Основой для создания повести послужили двадцать тетрадей с записями Власа Луговцова — прототипа Власа Луговика, фигурирующего в повестях «Курако» и «События одной ночи».

Впервые об этих тетрадях Бек упоминает в письме от 13 декабря 1934 года из Сталино, где он проводил беседы, собирая материал для романа «Доменщики» (см. комментарий к повести «События одной ночи»): «...Есть ценнейшая находка. Оказывается, отец Луговцова, старик горновой (он умер в прошлом году), в последние годы жизни писал свои воспоминания — исписал несколько тетрадок. Теперь эти тетрадки у меня в чемодане. Ура! Ура! Ура!» (там же, с. 169).

«...Читаю записи старика Власа Луговцова...— пишет Бек спустя несколько дней.— Он будет прекрасным типом в «Доменщиках». Вечный труженик. Смирение и труд — его философия... Прекрасный, колоритный тип. Находка» (там же, с. 170).

Историей жизни Власа Бек предполагал открыть роман «Доменщики» («... Хорошо ли, что я начинаю биографиями,— в первой главе биография Власа и Максима, во второй — биография Гулыги?» (там же, с. 211). Но позже приходит к замыслу сделать ее самостоятельной повестью одновременно с общим решением разбить роман на ряд «коротких вещей».

Тетради Луговцова, хранящиеся в архиве писателя, позволяют восстановить предварительный этап работы Бека над повестью: в него вошли нумерование, расшифровка и конспектирование записей, почерк и орфография которых делают их труднодоступными для чтения. По каждой из тетрадей Бек составил краткий путеводитель: «начало работы Власа — 3, детство — 4, поп Константин — 7, старался угореть — 8, песня пряхи — 9, поводырь слепца — 17» и т. д.

Сопоставление записей Луговцова с текстом повести дает представление о сложном пути превращения документального матери-

ала в художественную прозу. Бережно сохранив стиль воспоминаний Луговцова, Бек провел строгий и целенаправленный отбор фактов и творчески скомпановал их, смещая акценты и хронологию, чтобы выдвинуть на первый план наиболее характерное.

В сборнике «Жизнь Власа Лесовика», куда, кроме комментируемой повести, вошла также повесть «События одной ночи», изменены фамилии ряда героев обоих произведений. Но в сборник «Доменщики» повесть, отредактированная автором, вошла под заглавием «Про старое и новое» и герой выступает как Луговик. Готовя повесть для сб. «Мои герои», писатель дает ей название «Влас Луговик» и вносит стилистические поправки.

Последняя домна

Впервые — «Индустрия социализма», 1939, № 2, под заглавием «Последняя печь». В журнальной публикации отсутствует сцена столкновения Макарычева с Толли и Белоконем, инженерами-доменщиками, перешедшими на сторону белых.

Материал для повести был накоплен писателем в два этапа. Общее представление о событиях в Енакиево (в «Последней домне» поселок назван Старопетровском) Бек получил, еще проводя беседы в 1933—1935 годах. «Вчера осматривал Енакиево, поселок и завод, места, где жили мои герои — Бардин, Курако, Луговцов. Видел знаменитую печь номер шесть, которая не останавливалась всю революцию и гражданскую войну...» — рассказывает он в письме от 4 мая 1935 года. (*Почт. пр.*, с. 214).

Замысел повести относится к 1936 году. Бек фиксирует в дневнике: «Все яснее вырисовывается план повести для «Двух пятилеток». Пока это будет еще не «Югосталь»... (Роман «Югосталь» или «Инженер Макарычев», фигурирующий в дневниках и письмах Бека под двумя названиями, незавершенный, сгорел в числе других материалов в 1942 году.— *Т. Б.*) «...В основу беру историю Бардина на Енакиевском заводе. В центре характер Макарычева (Бардина), ясный мне... Доменный цех — это его мир...» (т а м ж е, с. 238).

В марте 1937 года Бек выезжает в Енакиево, чтобы писать там задуманную повесть, параллельно добирая недостающий материал. Дневниковая тетрадь Бека, озаглавленная им «Енакиевские записи», а также письма к Л. П. Тоом того же периода (март — май 1937 года), хранящиеся в его архиве, обнажают своеобразие метода писателя, проявившееся и в работе над «Последней печью».

«...С сегодняшнего дня я начинаю проводить вечера воспоминаний маленькими группами, по 5—6—7 человек, по цехам. Сегодня электрики, завтра железнодорожники, послезавтра доменщики

и т. д. Я хочу таким образом пропустить через себя человек сто, из них выделить трех-четырех и с этими еще беседовать и беседовать отдельно...» — пишет Бек и добавляет: «...Дело тяжелое, но иначе нельзя. Писательская добросовестность не позволяет!»

Кроме того, Бек изучает материалы местного архива, сохранившиеся с 1895 года: «Где у меня есть хорошие успехи — это в разработке архива. Нашел массу ценнейших материалов, и эпоха делается для меня яснее и яснее. Самое приятное, что материалы подтверждают мою прежнюю концепцию и обогащают ее».

Продолжая беседы и архивные разыскания, писатель приступает к непосредственной работе над повестью: «Можешь меня поздравить, с завтрашнего дня начинаю писать. Поездка уже дала мне очень много,— рассказывает он в письме от 6 апреля 1937 года.— Я убедился в том, чего раньше не понимал (или понимал неясно), что рабочий любит свой труд. Даже самый грязный, тяжелый труд, например кочегара или шахтера, является любимым, дает удовлетворение, дает содержание жизни... Вот я читаю Золя «Жерминаль», у него шахтеры ненавидят труд. У меня будет совсем наоборот (если это мне удастся показать)... И мой Бардин в высшей степени выражает эту преданность труду, эту любовь к труду, которая живет в тысячах рабочих...»

В процессе создания повести Бек перестраивает ее план: предполагая вначале дать широкую картину восстановления промышленности, он ограничивает повествование эпизодом «борьбы за последний живой островок средь моря разрухи». «Вот как случается с моими вещами,— признается он в одном из писем,— размахиваюсь, потом сокращаю, сокращаю, и в печать идет в виде отдельной повести одна десятая задуманного. «Курако» — первая часть «Истории Кузнецкстроя», «События одной ночи» — первая часть «Доменщиков», «Последняя домна» тоже будет, как видно, лишь первой частью большой эпопеи...»

Машинопись раннего варианта повести, где под именами героев угадываются прототипы (Бардин, Гулыга; машинопись — Гардин, Булыга; окончательный текст — Макарычев, Белоконь) и где сцена разрыва между бывшими сподвижниками лишь намечена, содержит запись Бека, на обороте одной из страниц формулирующую принципиально важную идею, которую автор, дорабатывая повесть, сознательно заострил:

«Недостаток этой сцены (встреча) в том, что здесь не выявлена противоположность между Булыгой и Гардиным:

Булыга и Толли спасают свою шкуру

Гардин не уйдет, не может уйти

Как же он уйдет, убежит

если Русанов (в окончат. тексте Русланов.— *Т. Б.*) отдал жизнь

если рабочие работают голодные, на четвертушке

если все разваливается, родина гибнет,

а он убежит.

До конца на посту!» (Архив Бека. Сохранена пунктуация автографа).

В сб. «Доменщики» повесть «Последняя печь» вошла без сокращений и затем неоднократно переиздавалась под заглавием «Последняя домна».

Письмо Ленина

Впервые — «Знамя», 1956, № 4.

В основе рассказа лежит эпизод неосуществленной «большой эпопеи», лишь часть которой вышла в свет, отделившись в самостоятельную повесть (см. комментарий к «Последней домне»).

Прототип Клявина — И. И. Межлаук, с которым писатель познакомился в 1934 году, собирая материал для романа о Бардине, и затем неоднократно встречался. «Нить жизни Бардина, теперь ставшая моим путеводителем, привела меня вновь к Валерию Ивановичу Межлауку, некогда председателю Главметалла, а также к его брату Ивану Ивановичу, который в своем поезде члена Реввоенсовета 2-й армии приехал директором завода в Енакиево, где безотлучно находился Бардин. Далее И. Межлаук, в прошлом учитель латинского языка, организовал и возглавлял несколько лет трест «Югосталь». Повествование Ивана Ивановича, не однажды встречавшегося с Лениным, захватило меня...» (*Почт. пр.*, с. 156).

При создании рассказа автор опирался на устные воспоминания и легенды, возникшие вокруг ленинского письма.

В поисках утраченного письма В. И. Ленина, сотрудник Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС Ф. Межлаук обнаружил в енакиевском журнале «Вестник Рабочего Правления» № 9—10 за 1921 год приветственное письмо В. И. Ленина от 25 мая 1921 года горнякам Петровского округа. (См: Ф. Межлаук, А. Трошина. Письмо Ленина.— «Огонек», 1960, № 49, с. 3, а также: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 43, с. 294).

Записки доменного мастера

Впервые — «Индустрия социализма», 1939, № 10—12.

Журнальная публикация была дана как рассказ И. Г. Коробова в литературной обработке А. Бека («И. Коробов. Сорок лет моей

жизни. Записи доменщика. Со слов И. Г. Коробова записал А. Бек»). Однако уже в рецензии Г. Мунблита «Записки» оцениваются как собственное произведение Бека: «Разумеется, Коробов — не писатель. И, читая его воспоминания, не следует умалять роль А. Бека, записавшего эти воспоминания...» («Литературная газета», 1940, 20 марта, № 16, с. 3).

История создания «Записок доменного мастера» характерна для творчества Бека: эта вещь отделилась от более масштабного, не воплощенного в первоначальном объеме замысла. В 1938 году Бек в поездках по Донбассу собрал обширный материал для романа о знаменитой семье металлургов Коробовых — об отце обер-мастере и трех его сыновьях. «Я по-настоящему увлекся этой семьей,— писал Бек.— Но книга не получилась. Слишком много было умиления, это ее и испортило... Но тема не давала мне покоя, и я попробовал сделать книгу от имени старика, который сам чрезвычайно интересно рассказывал. Так и назвал ее: «Рассказ доменного мастера». На этот раз получилось естественней, и книга вышла. Вот с какой трудностью приходят удачи и как непросто писать о рабочем классе». (А. Бек в подборке «Герои книг — современники».— «Труд», 1970, 24 марта, № 69, с. 3).

Готовя для печати сб. «Мои герои», Бек переработал четыре последние главы и сократил их до двух.

Через много лет материал, собранный о знаменитой династии доменщиков Коробовых, нашел своеобразное воплощение в последней работе А. Бека — в романе-записках «На своем веку», опубликованном посмертно в журнале «Знамя», 1973, №№ 4 и 5.

У взорванных печей

Впервые — «Новый мир», 1944, № 10, с подзаголовком: «Рассказ старого Коробова».

Рассказ «У взорванных печей», являясь самостоятельным произведением, продолжает «Записки доменного мастера», с которыми он объединен фигурой главного героя, Ивана Григорьевича Коробова. О взаимосвязи этих рассказов писал Н. Атаров в отзыве на сб. «Тимофей — Открытое сердце», хранящемся в архиве Бека: «На фоне широкой картины быта дореволюционных и послереволюционных рабочих-доменщиков вырастает яркий характер талантливого русского мастера, превращающегося из хозяина дома в хозяина производства... Стоит только сравнить рассказ Коробова о том, как ему жалко было расставаться с деньгами, которые нужно было вносить за право учения сыновей в училище («Записки доменного мастера», глава XII.— *Т. Б.*), с тем, как он купил триста

килограммов капусты и погнал жену на двор с сечкой, когда немцы подходили к Макеевке, чтобы народ перестал паниковать, увидев, что Коробовы капусту на зиму заготовляют!» («У взорванных печей», глава 3.— *Т. Б.*)

Готовя рассказ «У взорванных печей» для сб. «Зерно стали», писатель значительно сократил описание работы завода в первые месяцы войны, эпизод с проводами невестки, портрет уральцев, главу, посвященную распределению продуктов среди эвакуированных, главу о Павле Коробове и финал рассказа. В ряде случаев автор пересмотрел принцип членения текста на главы.

Тимофей — Открытое сердце

Впервые — «Год XXXI», альманах первый (М., 1948).

В том же году «Тимофей — Открытое сердце» дважды вышел отдельным изданием как очерк (М., Библиотека «Огонек» и М., Профиздат), в сб. «Зерно стали» вошел без обозначения жанра, а при включении в одноименный сборник автор дал ему в подзаголовке новое жанровое определение — повесть, так и закрепившееся за этим документально-художественным произведением.

«Тимофей — Открытое сердце» написан в августе — ноябре 1947 года в результате творческой командировки на завод «Запорожсталь».

В блокноте с планами и набросками к очерку «Встреча на «Запорожстали» (таково его черновое заглавие) зафиксированы размышления писателя над стилем и композицией будущей вещи: «Делать короткими главками, как бы *кадрами* (подчеркнуто А. Беком.— *Т. Б.*), как бы бросая, забывая Соловьева (Лука Соловьев — прототип Тимофея Алексеева.— *Т. Б.*). Чтобы не было тягучки... Стиль — кино-лаконичность с замечаниями, переходами, свойственными прозе» (Архив Бека).

Художественный замысел четко реализован писателем. Интересно, что Н. Соколова, охарактеризовавшая «Тимофея — Открытое сердце» как «рассказ, разросшийся в маленькую повесть», отмечает в своей рецензии: «Чередуются в напряженном ритме главки-картины, написанные в настоящем времени, как пишутся киносценарии; каждая из таких главок представляет собой законченный эпизод, с самостоятельным местом действия...» (см. Зерно характера.— «Новый мир», 1951, № 5, с. 243).

Другие критические отклики на это произведение были также одобрительными. (См.: Важдаев В. Заметки об очерке.— «Новый мир», 1948, № 11; Коптяева А. Творцы жизни.— «Литературная газета», 1948, № 84, 20 октября).

Впервые — «Новый мир», 1951, № 10.

Повесть, первоначально задуманная как рассказ, написана в перерыве между работой над главами романа «Талант» («Жизнь Бережкова»). 30 мая 1951 года Бек записывает в дневнике: «Сегодня принимаюсь за рассказ «Новый профиль». Это займет дней десять. Потом снова — роман, роман» (Архив Бека). Созданию повести предшествовала поездка на строительство Куйбышевской и Цимлянской гидростанций.

«Новый профиль» вызвал ряд критических откликов, солидарных в том, что автору не удалось слить производственную коллизию с развитием образа ее героя — инженера-прокатчика Андрея Шумейко и что элементы очерка и беллетристики не составляют органического жанрового единства (см.: Б. Агапов. О жизненной правде.— «Литературная газета», 1951, № 128, 27 октября).

Отвечая на анкету, составленную А. Сурковым при подготовке к докладу «О состоянии и задачах советской литературы» на II Всесоюзном съезде писателей, Бек в 1954 году писал о «Новом профиле»: «Считаю эту вещь не вполне удачной, она была для меня первой попыткой отойти от документальной прозы. Возможно, в дальнейшем я еще поработаю над ней» (Архив А. Бека).

Перерабатывая повесть для сб. «Счастливая рука», Бек подверг ее обширной стилистической правке и внес изменения в экспозицию. В журнальном варианте Шумейко едет на строительство Гидроузла пароходом, пренебрегая срочностью работ, без веских на то причин. В новой редакции автор мотивировал путешествие нелетной погодой.

РАССКАЗЫ О СЕРГО

Образ Серго Орджоникидзе привлекал внимание А. Бека на протяжении всей его творческой деятельности. Поиски материала для разных книг сталкивали писателя с соратниками Орджоникидзе по дореволюционной подпольной работе, гражданской войне, деятельности в Закавказье и в Москве — на посту наркома тяжелой промышленности. Своими воспоминаниями о Серго делились с писателем жена Орджоникидзе — Зинаида Гавриловна, академики Бардин и Павлов, авиаконструкторы Туполев, Лавочкин, Швецов, Микулин, директора предприятий и строек Гвархария, Франкфурт, Дымшиц, доменный мастер Коробов, его сыновья и другие.

К осуществлению давнего замысла — создать произведение о Серго, который до сих пор выступал лишь в эпизодах книг Бека,—

писатель вплотную подошел в последнее десятилетие своей жизни: он одновременно работал над романом «Двадцатые годы», публикуя его фрагменты как самостоятельные рассказы («Серго в Баку», «Молодые годы»), и над биографией Орджоникидзе для серии «Пламенные революционеры» (М., Политиздат), предполагая назвать эту книгу «И мимо всех условий света». «Задуманная мною книга будет построена как роман в новеллах или, говоря точней, цикл новелл, связанных единой темой, единым героем»,— писал Бек в заявке на книгу (Архив Бека). Композиция ее также позволяла писателю выносить на суд читателя отдельные новеллы незавершенного целого («Второе венчание», «Счастливая рука», «Тайна успеха»). Полностью ни первый, ни второй замысел Бек реализовать не успел.

Рассказы, которые вошли в сб. «В последний час» (М., Воениздат, 1972), и в сб. «Такова должность» (М., «Сов. писатель», 1973) печатаются по редакции Воениздата, так как здесь автор объединил «Рассказы о Серго» в цикл, открыв его своеобразным вступлением (см. комментарий к рассказу «Второе венчание»).

Второе венчание

Впервые — «Литературная Россия», 1969, № 20, 16 мая.

Готовя текст для сборников «В последний час» и «Такова должность», Бек внес в него ряд стилистических поправок, а для сб. «В последний час» предварил первую главку рассказа вступлением о «Большом Герое», которое можно рассматривать как пролог ко всему циклу (рассказ в газетной публикации начинается фразой «Год 1916-й», а в сб. «Такова должность» — словами «Когда-то Зинаида Гавриловна...»).

Стр. 562. *«...в партийной школе со французской деревенькой».*— Речь идет о школе в Лонжюмо.

Серго в Баку

Впервые — «Литературная Россия», 1966, № 43, 21 октября.

В сб. «В последний час» вошел со вставками и исправлениями. Онисимов в газетной публикации носит фамилию Потапов.

Молодые годы

Впервые — «Смена», 1970, № 10, под заглавием «Те далекие годы», со сноской: «Отрывок из романа «Двадцатые годы». Ранее был напечатан эпизод из этого отрывка под названием «Книга и хлеб» — «Московская правда», 1963, № 212, 8 сентября.

Отрывок, переработанный и дополненный, вошел как рассказ в сб. «В последний час» под заглавием «Молодые годы» и в сб. «Такова должность» под заглавием «В двадцатом». Между двумя редакциями существует разночтение: «Товарищ Саша» в сб. «В последний час» — Онисимов, в сб. «Такова должность» — Потапов.

Стр. 586. *«В терновом венце революций грядет шестнадцатый год...»* — цитата из поэмы Маяковского «Облако в штанах».

Счастливая рука

Впервые — «Знамя», 1959, № 12.

Материал для рассказа собран летом 1959 года в Ленинграде, где Бек провел несколько бесед с А. Максимовичем, прототипом рассказчика («Антонио»). (Записи хранятся в архиве писателя.)

Готовя рассказ для сб. «Счастливая рука», Бек подробнее разработал образ Дзержинского; главу, в первой публикации седьмую, разбил на две, тем самым логически выделив важную в повествовании медицинскую предысторию операции Орджоникидзе. Писатель исправил также вкравшуюся в журнальный вариант фактическую ошибку. В сборнике Софья Либкнехт фигурирует не как дочь пациента, а как его родственница, так как отец С. Б. Либкнехт, Борис Ильич Рысс, умер в 1915 году, задолго до описываемых в рассказе событий.

Стр. 614. *«...Яхонтова, выступавшего с композицией «Война».* — Композиция создана В. Яхонтовым в 1929 году для репертуара так называемого «театра одного актера» — «Современника». Одна из сцен полностью посвящена Карлу Либкнехту. Чтение сопровождалось музыкой Баха, Дебюсси, Равеля. *«И не очень люби солнце...»* — цитата из Эврипида. *«Либкнехт один. Вся будущность за ним».* — Неточная цитата из доклада В. И. Ленина на собрании большевиков — участников Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов 4(17) апреля 1917 года. У Ленина: «Один Либкнехт... Вся будущность — за ним» (Полное собр. соч., т. 31, с. 112).

Тайна успеха

Впервые — «Литература и жизнь», 1959, № 52, 1 мая.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

РАССКАЗЫ О СЕРГО

Бек А.
Б 42 Собрание сочинений в 4-х томах. Том I. Повести и рассказы. Вступ. статья М. Кузнецова. Коммент. Т. Бек. М., «Худож. лит.», 1974.

656 с.

В первый том собрания сочинений Александра Бека вошли произведения, созданные писателем в 30—50-е годы и составившие своеобразную документально-художественную хронику становления и развития отечественной металлургии.

В них ярко и достоверно изображены все эпохи советского государства: революции и гражданской войны — «Курако», «События одной ночи», «Последняя домна»; годы первых пятилеток — «Влас Луговик», «Записки доменного мастера»; Отечественной войны — «У взорванных печей», «Тимофей — Открытое сердце» и послевоенного восстановления — «Новый профиль».

Здесь же представлены написанные Беком в последние годы жизни рассказы о первом народном комиссаре тяжелой промышленности — Серго Орджоникидзе, чья деятельность была тесно связана с созданием советской индустрии.

Б $\frac{70302\text{-}315}{028(01)\text{-}74}$ подписное Р 2

Александр Альфредович Бек

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ I

Редактор З. Батурина

Художественный редактор В. Горячев

Технический редактор С. Журбицкая

Корректоры Н. Замятина и И. Филатова

Сдано в набор 28/II 1974 г.
Подписано в печать 18/IX 1974 г. А 12005.
Бумага типогр. № 1
Формат 84×108 1/32
20,5 печ. л. 34,44 усл. печ. л.
35,679+1 вкл.=35,728 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз.
Заказ 888. Цена 1 р. 40 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Полиграфический комбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров Белорусской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Минск, Красная, 23.